Валентин Иванов

РУСЬ ВЕЛИКАЯ

33

Валентин Иванов

РУСЬ ВЕЛИКАЯ

ЛЕНИЗДАТ
1984

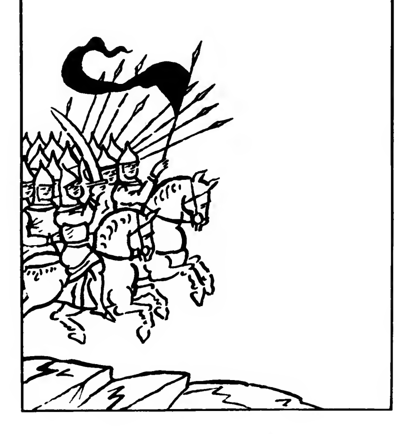
Клянусь честью, ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков.

А. С. ПУШКИН

Валентин Иванов

РУСЬ ВЕЛИКАЯ

РОМАН–ХРОНИКА



84.3(2)7
И20

Иванов В. Д.

И20 Русь Великая: Роман-хроника.— Л.: Лениздат, 1984.— 576 с.

Переиздание романа известного советского писателя, посвященного событиям XI века – периода государственного объединения Киевской Руси, ее выхода на европейскую арену.

И $\frac{4702010200-169}{М171(03)-84}$ 305–84

84.3(2)7

Глава первая

ГРОМЧЕ ЗВЕНЯЩЕЙ БРОНЗЫ

МНОГО ЛИ, МАЛО ЛИ МЕСТА НА ЗЕМЛЕ, коль измерить от востока до запада? И сколько всего места лежит между полуночью и полуднем? Кто отгадает?

Некогда в Элладе у горной долины над пропастью сидел страшный человеко-зверь Сфинкс и задавал прохожим загадку: какое животное утром ходит на четырех ногах, днем — на двух, вечером — на трех? Недогадливых Сфинкс убивал. Нашелся прохожий с ответом: это животное — человек, и Сфинксу пришлось самому броситься в пропасть, и дорога стала свободной. Не на счастье отгадчику, лучше было б ему быть растерзану Сфинксом. Древние боги с него взыскали по-божески, бесчеловечно, и ужаснулся он собственной мудрости. Ни к чему человеку знать слишком много, незнание лучше знания.

В сфинксовой пропасти вечно темно. В эллинских долинах лежат густые тени от эллин-

ских гор. Солнце, не так долго помедлив после полудня, падает за возвышенья, даря вместо дня длинные сумерки и раннюю ночь. Там не загадаешь, сколько будет от востока до запада, сколько от полудня до полуночи. И так видно: от горы до горы либо от горы до берега моря. Тесно.

Русская земля другая. Для нее та загадка и годится. Недостижимый купол небес солнце обходит за день да за ночь. Вот тебе мера, вот тебе и отгадка.

Ключи, ручейки, ручьи, речки, реки. Озера проточные или закрытые для выхода воды — будто глаза земли. Болота, болотца. Одни сухим летом прячутся, другие — терпят. Разве только в болотах бывает вода дурной на вкус, но все же не горькой, поит человека, растение, зверя. Повсюду богатство сладкой воды, и близка она. Нет реки или ручья — легко вырыть колодезь. У нас воду не ценят: не с чем сравнить.

Реки указывают, где верх земли, где низ. Наверху — начало. Глазочек. Росточек живой и будто бы слабый, как почка. Из глуби земли трепещет струечка в чашке песка. Мелко. Живой воды едва в горсть наберешь, можно горстью всю выплескать. Однако ж чаша быстро наполнится. Замутил — дай отстояться, увидишь, как на дне, раздвигая песчинки, бьется ключик-живчик, выталкиваясь наружу. Мелкие песчинки кружатся в легкой струе, как толкунцы летним вечером. Те, что крупнее, лежат. Тяжелы, не поднять. Слабосильный ключик, пустяк, нитка иль паутинка.

Однако же любо русскому потрудиться у такого вот малого ключика. Кто-то свалил дерево, размерил бревно, рассек на коротыши по размеру, зарубил концы в лапу, чтобы держались, и врыл в землю малый сруб, верхний венец подняв над землею. Сделался ключик заключенным.

Пока случайный прохожий-проезжий мастерил из бересты ковшик, ключик, наполнив четырехгранную чашу своего деревянного кремля, перелился через край и потек дальше по старому ложу, будто так и было от века. Напившись, прохожий ковшик не бросил. Вбил кол, на сучок повесил берестянку. Ладно так, издали видно.

Говорил, воду не ценят? Да, не ценят воду, чем попало черпают, бросают что придется, топчут, падаль мечут — большое все терпит. Берегут детскую нежность ключей. Реки, озера сотворены ключами. Иссякнут они, забившись грязью, не станет ни рек, ни озер, земляная вода уйдет стороною. Потому-то и берегут ключи: в них сила,

в них начало вод русской земли. В других землях, где реки начинаются от льдов снежных гор, все может быть по-иному. Каждому своя честь, свой закон, от рожденья. В беззаконии только нет закона.

Камня мало, зато леса много. Где посуше, там сосновое краснолесье. В борах почва тонкая, меньше штыка лопаты, под ней пески. Ель любит жить по глинам. Лиственное дерево, предпочитая жирные почвы, приживается всюду. Леса заступают русскую землю, леса заставляют ее стенами, реки текут в лесах, и ключи поднимаются по древесным корням. По рекам открыты пути, по рекам — легкие дороги, русские общаются реками, волоком перетаскивают лодьи от истока к истоку. Так вяжется русская общность от ледовых морей и до теплых.

Думают, будто бы реки, как торные дороги, породили Русь. Без рек будто бы ничего-то и не было. Сидели бы люди в лесу, держась каждый за свою поляну.

Для каждого деревца, для каждой травинки, цветка — слово. Нашли сочетанья звуков для всего, слышимого ухом, видимого глазом, осязаемого, обоняемого, ощущаемого на вкус. Все сущее собрано словом и словом же разъединено на мельчайшие части. Дерево — это и корень, и ствол, и ветки, и листья, и черенок листа, и жилки его, и цвет, и плод, и кора, и чешуйки ее, и сердцевина, и заболонь, и свиль, и наплыв, и сучок, и вершинка, и семя, и росток, и почка, и много еще другого, и все в дереве, и для каждого дерева, для каждой его части — слово. Для самой простой вещи есть и общее слово-названье, и для каждой части свое слово-названье. Чего проще — нож? Нет, вот — клинок, вот — черенок. В клинке — обух, лезвие, острие; черенок — сплошной либо щеками, отличается по материалу — костяной, деревянный, какой кости, какого дерева, цвета, выделки...

Твореньем множества слов добились выразить и не видимое глазом, не ощутимое ни одним из внешних чувств, сумели понять внутренний мир и о нем рассказать, поняли гнев, любовь, жалость, жадность, зависть, тоску и для этого безграничного мира, от которого все идет, создали из звуков слова, открыли возможность поиска главного и стали понятней себе и другим.

Достигли широких слов, кто-то первым сравнил теченье реки с течением непостижимого времени, и был понят, и само слово назвали глаголом, то есть делом, ибо в слове уже есть дело — начало; и произносящий слово есть творец и работник, ибо слово рождается необ-

ходимостью души и ума, и, будучи делом, требует дела же, и живет, расширяясь само, расширяя творца, вызывая его искать новых слов, находить их, и дает радость, так как созданье новых слов есть творчество мысли, воплощаемой в словесное тело.

Не речные дороги, а общее слово-глагол сотворило единство славянского племени. Повторим же еще: не Днепр, не Ильмень были русской отчиной. Русская отчина — Слово-Глагол.

Пусть в одной части земли иначе звучало окончание слова, пусть в другой по-своему ударяли на слог, пусть один чокал, другой цокал. И родные братья бывают разноволосы. В русских словах — общая кровь. Одинок человек, от одиночества он бежит в дружбу, в любовь, создавая богатство слов ценнейших, неоплатимых — потому-то они и раздаются бесплатно да с радостью.

Нет чудней, бескорыстней, добрей привязанности к местам, познанным в детстве. Отроческая родина мила больше, чем красоты самых щедрых на роскошь знаменитых мест. Кусок пыльной в сушь и черной в ненастье дороги, лесная опушка, неладно скроенное и кое-как собранное отцовским топором крыльцо в три-четыре ступеньки под шатром, крытым дранью, завалинка, плетеный забор, тихая речка с заводью, плоские плавучие листья ароматных кувшинок. Такое было у всех. Сшитое из нехитрых кусков, оно недоступно для постиженья чужим, прохожим, и не нужно им, и само не нуждается в прославлении. Как с любовью: ты сам находишь прелесть в лице, в голосе, в повадках, и любуешься, и любишь, будто сам ты творец-созидатель. Ты им и есть.

Любовь не ревнива, а требует верности. Так и родное место: твое, пока звучит родная речь. Наводненье чужой речи, даже ее прикосновение гасит чувство: ты здесь родился, а ныне сам ты — прохожий. Тут уж поступай, как знаешь, как смеешь, как сумеешь, извне тебе никто не поможет. Но пока с тобой Слово-Глагол, ты не пропал, ты еще не безродный бродяга.

До верха Днепра, до верха днепровских притоков через верховые ключи, озера, болота к верховьям других рек, текущих на север, на запад и на восток,— вот родина Руси, сотворенная Словом-Глаголом.

В своей вольности русский не чуждался чужой речи, охотно, легко обучал себя иноречью, охотно, без стесненья брал себе понравившееся слово, и, глядишь, оно уже обрусело. Придя в новое место, не старался назвать его

по-своему, если оно уже было обозначено кем-то, и делал названье своим, щегольски переиначивая на свой лад, если оно выговаривалось с запинкой. Русская речь вольная — как хочу, так и расставлю слова, и слова обязаны быть легче пуха: мысль станет уродом, если слова тяжелы, если на речь надето заранее изготовленное ярмо непреложного закона.

Чтобы сделать народ странным и странствующим между другими народами, нужно попытаться лишить его права на слово — и народ, прицепившись к неизменно-старым словам, в них замрет.

Переводчики слов, подобно монетным менялам, извечно предатели. Переводчики смысла, переводчики мысли — друзья. Русский глагол разрастался, менялся, как все живущее, был и землей, и охраной границы, и народом.

Бесспорно, можно играть словами, выдавая их за мысли. О таких игроках сказано: они были...

Великий князь Руси Ярослав Владимирич, которого титуловали на римско-греческий лад кесарем-царем и великим каганом на степной лад, скончался вблизи Киева, в крепком городе Вышгороде, летом 1054 года. В тот год на западном краю хорошо известного мира, близ западного моря, которое называли и Океаном, и Морем Мрака, и Неизвестным Морем, нормандский герцог Гийом жадно приглядывался к острову Англии, или Британии. Там, на острове, слабый волей и духом король Эдвард, родственник Гийома, проводил дни и ночи в молитвах, а его подданные — в беспечных ссорах-усобицах.

В тот год на восточном краю того же хорошо известного мира высокоученые сановники управляли самым большим государством мира, плотным, как сыр, называвшимся Срединным государством или Поднебесной страной. Управляли будто бы с успехом, но удача сопутствовала скорее в писаных докладах высшим людям, чем на деле. За Великой стеной, ограждавшей Поднебесную с севера, жили малочисленные степные и лесные племена. Поднебесная называла их дикарями или, более значительно, беглыми рабами. Один удар дикари уже нанесли, овладев северной частью Поднебесной, собирались нанести и второй. С востока готовился удар третий, самый страшный из всех.

В тот год на юге от Руси, в Константинополе — Византии, до которой было рукой подать, заканчивал не слишком

славное время своего правления Вторым Римом, Восточной империей, последний муж — муж только по имени — престарелой базилиссы Феодоры Константин Девятый Мономах. Единая христианская Церковь уже кололась на Западную и Восточную. В арабах угасал наступательный дух. На смену им пришли турки, которые выдавливали Восточную империю из Малой Азии. На юге не воевал лишь тот, кто не мог. Такой, копя силы, прикрывался словами миролюбия до первого дня вторженья в пределы соседа. Внутренние войны между арабами, между турками и между теми и другими бывали еще злее, чем между ними и христианами.

На севере от Руси небо было чисто.

Князь Ярослав, сын Владимира и Святославов внук, был среди своих братьев по рождению четвертым, после Вышеслава, Изяслава и Святополка.

Вышеслав сидел в Новгороде, Изяслав — в Полоцке, Святополк — в Турове, Ярослав — в Ростове. Мстислав держал дальнюю Тмутаракань, Святослав — Смоленск, Судислав — Псков. Все сыновья были отцовы подручники. Кроме Изяслава. Он, будучи по матери Рогнеде из рода коренных кривских князей, был кривской землей и принят как родовой князь, свой, отчинный.

Новгород почитался наилучшим после Киева княжением. После смерти Вышеслава туда Владимиром мог быть послан следующий по старшинству сын — Святополк. Но Святополк был у отца в немилости за необузданный нрав. Поэтому в Новгород Владимир послал Ярослава, в Ростов, на свободное место,— Бориса, а Муром дал Глебу. Этих двух сыновей, самых младших, Владимир и отличал, и любил. Они родились от последней жены Владимира, дочери греческого базилевса. Ростов и Муром были у восточного края, там и среди русских очень замечались люди, придерживавшиеся старой веры, инородные же были христианством почти не затронуты. Требовались тут и мягкость, и терпенье, нужен пример, ибо понужденье привело бы к обратному: поскользнувшись на крови, край мог и совсем отскочить. Слабая рука будет сильнее сильной, как порешил князь Владимир. Сам он стал стар, слаб телом — устал. Без страха говорил, что пора ему и в домовину укладываться. Киевские лекари, свои с иноземными, покоили Владимирову дряхлость, как умели, но от смерти лекарства-то нет.

Ярослав усаживался в Новгороде, ласкался к новгородцам, новгородцы к нему ласкались, ценя быстрый Ярославов ум. В задушевных беседах давались взаимные обещанья. Ярослав сулился поставить Новгород выше других городов: освободить от платежа ежегодной дани в две тысячи серебряных гривен, как платили новгородцы, начиная со Святослава. По новгородскому богатству дань не тяжела. Освобожденье от нее льстило известной всему миру новгородской гордости. Для вольного человека гордость дороже набитой сумы.

Поговаривали, что собирается старый Владимир отдать по себе великокняженье Борису. Поговаривали, ссылаясь на слова, будто бы сказанные самим старым князем. За старших был обычай, однако же закона о престолонаследии не существовало. Владимир Святославич сам землю собрал, и слово его могло явиться законом. Ярославу мнилась печальная участь оказаться под рукой младшего брата, человека юного, неопытного, мягкого. Добрые его черты, за которые отец дал Борису Ростов, обернутся на киевском столе злыми. Коль мягок,— значит, будут советчики. Что скажет последний, то на душу и ляжет, а дальние всегда окажутся виноваты. Поразмыслив, Ярослав решил сам первым шагнуть и послал сказать отцу, что Новгород больше не будет платить Киеву дани, а будет от дани навсегда свободен. И в том дал новгородцам от себя грамоту.

Ярослав не собирался откалывать Новгород от Руси, такого не захотят сами новгородцы. Ожидая со дня на день отцовской смерти, Ярослав заранее освобождал себя от подчиненья Борису, буде тот сядет на киевский стол. Легче и проще будет ему договариваться с младшим.

Вышло же совсем по-иному. Дело лишний раз подтвердило, что не заглянешь и в завтрашний день, не то что на годы.

Владимир Святославич показал вид большого гнева на сыновье непокорство, велел мостить мосты, чинить дороги и собирать войско для смиренья непокорных. Однако же княжьей дружины в Киеве в те поры́ не было. Владимир послал дружину с войском под началом Бориса в Дикое поле для укрощенья печенежских набегов. Для воинской беседы с Ярославом и с Новгородом нужно было б вернуть Бориса, дружину, войско из киевлян и днепровского левобережья. Приказов младшему сыну Владимир не послал. Так ли, иначе ли, но оставил работать время.

Время распорядилось по-своему. Очень часто смерть

медлит к больиому. Но там, где ее ожидают, она все же является внезапно. Владимир Святославич не встал с постели, чтобы вздеть в перевязь меч на непокорного Ярослава, а принял жданио-нежданную гостью. Его кияженье завершилось смертью летом 1014 года.

Умер он в подгородном княжьем селе Берестове. Святополк Владимирич был в Киеве, на положении опального, не в подвале, но под наблюдеиьем, чтоб иикуда не бежал.

Владимировы приближенные тайио переиесли тело своего князя в Киев, заботясь о том, чтоб киевляне успели заранее узиать о смерти кияэя и сговориться, что делать им, пока весть ие дойдет до Святополка. Были известия, что войско с Борисом возвращается, хотелось оттянуть хоть иесколько дней.

Киевлянам не удалось иичего порешить. Распоряжений князь Владимир не оставил, при жизни преемником себе никого не объявлял. Обычай был за Святополка, и он времени не терял. Он тут же сел в отцовском дворе в Киеве, открыл двери в кладовые и щедро одаривал киевлян, обещаясь быть добрым князем и во всем блюсти отцовский обычай. Дают — бери. Киевляие не отказывались от золота с серебром, от дорогой одежды, мехов, изделий из драгоценных металлов с самоцветными камешками. Благодарили, но были хмуры: если войско захочет поставить Бориса киевским князем, Святополк потребует от киевлян помощи против Бориса. А там, в войске, и братья, и сыновья, и друзья киевлян.

Борис не нашел печенегов: легконогие кочевники, узнав о приближении русских, бежали за Донец и за Дон, к Волге. По совету дружины решили возвращаться домой. Остановились на левом берегу Днепра, около крепости Льто, или Альта, верстах в тридцати от киевской переправы. О смерти Владимира Святославича узнали еще в Переяславле, в Альте же ожидали свои — посланные из Киева, которым иужио было зиать, что решит и войско, и князь Борис, чтобы поиять, чего держаться оставшимся в Киеве.

Бояре из старшей отцовской дружины советовали молодому князю идти всем войском в Киев: «Завтра переправимся, днем посадим тебя на княжеский стол!» Оказалось, что старый киязь не с одним человеком беседовал, делясь желаньем своим, чтобы после него посадили Бориса. Успокаивали — дружииа у Святополка молодая и слабая, вчера набраиная, киевляне ему не помощь окажут — вид один. Святополк многих успел закупить, в Киеве

всяких людей хватит, но купленный воин плохой: чем на поле голову подставлять, он домой побежит платой тешиться.

Ярослав верно ценил слабость Бориса. Но Борис показал себя еще более слабым и робким. Не решаясь шагу ступить, медлил, искал совета у духовенства, молился. Прибыли люди от Святополка с красноречивыми убеждениями не вносить меч между братьями, не губить свою душу и русские души в междоусобной войне. Святополк устами посланных клялся в братской любви, обещал прирезать к Ростовскому княженью новые волости, тем доказывая любовь не словесную, а деятельную, истинно христианскую. Борис же, легко склоняясь к бездействию, объявил войску, чтобы каждый шел к своему месту, он же принимает волю старшего брата.

Дружина Владимира Святославича тут же разъехалась, не ожидая отпуска от Бориса. Пошли против печенегов — не нашли печенегов. Думали князя найти — и того не нашлось. Как бы не потерять себя самих. Мало у кого лежала душа к Святополку. Дружинники, и старшие и младшие, были люди вольные. Они держатся князя, но и князю без них ступить нельзя. Переход от князя к князю — дело полюбовное, хорошо послужил одному, будет хорош и другому. Старшие дружинники — бояре, имевшие оседлость в Киеве,— собирались имущество продать или дать на хранение, самим же отъехать. Никто явно не сказал, что предложит свой меч Святополку. Этот князь казался темен.

И не зря худое думали о Святополке. За дурные дела отец его лишил княженья. Был Святополк озлоблен. В злобе редкий человек умеет держать язык за зубами. Святополк грозился выместить злобу на братьях, на отцовых подручниках.

К брату Глебу в Муром Святополк послал письмо и гонцов с приглашеньем — не медля дня ехать в Киев. Отец умер, а он, Святополк, сел на отцовский стол и сделался братьям вместо отца. Но болен тяжко и не надеется остаться в живых. К Борису на Альту Святополк отправил не послов, а убийц. Легко расправившись с беззащитным князем, они зашили тело в кожу и привезли в Вышгород хоронить. Подобные дела не хранят в тайне, но находят оправданья в примерах.

Примеров кругом было много. Недавно король чехов Болеслав Рыжий, взойдя на престол, тут же приказал лишить одного брата мужественности, второй брат едва

унес ноги. Болеслав Польский, прозвищем Храбрый, изгнал братьев и ослепил нескольких родичей. Правящие дома франков, сначала потомки Меровея, за ними потомки Карла, наполнили преданье нескончаемым самоистребленьем. Люто резались греки за трон базилевсов, злое соперничество властвовало между хозарскими и печенежскими ханами.

Святополк повернул Русь на протоптанную другими дорогу. Весть об убийстве Бориса с удивившей всех скоростью дошла до Новгорода. Проделав длинный путь, она вновь пустилась к югу: Ярослав послал сказать брату Глебу, чтоб остерегся он, держался бы подальше от Киева.

Князь Глеб, получив приказ Святополка, поспешил к умирающему будто бы брату. Только на Днепре он случайно узнал о страшной судьбе Бориса, о Святополковом обмане. Тут же и повернуть бы ему, бежать хотя б в Новгород. Глеб растерялся, не зная, что делать, молился, подавленный бедой. Прав был Владимир Святославич: сидеть бы Глебу в Муроме не мутя воды да ласково уговаривать приверженцев старой веры, насколько новая лучше и правильней. К месту случайной пристани Глеба подошли против течения лодьи с убийцами, посланными Святополком. По их приказанию и за обещанную мзду повар князя Глеба, по рождению торк, мясницким ножом зарезал юного хозяина. Новгородские посланные, возможные спасители, опоздали всего на один день. В жизни, как в сказке, день, минута даже много весят: направо счастье, налево гибель, между ними и руку не просунешь. Вся разница — в сказке конец обычно счастливый, иначе не любо слушать.

Третий брат Святополка, Святослав, бежал из Смоленска в Венгрию, но убийцы настигли его на дороге. Теперь кругом Киева стало свободно для Святополка. Страшен был ему только Ярослав. От Мстислава Святополк тут же защитился Степью, завязав союз с печенегами, через которых пришлось бы идти тмутараканцам.

Незадолго до событий, которые поставили судьбу Руси на лезвие бритвы [1], по выражению старых книжников, несколько варягов из дружины князя Ярослава обидели скольких-то новгородцев. Обиженные побили варягов. Князь Ярослав ответил кровью на кровь.

[1] И в VI и в XI веках византийские писатели часто употребляли выражение «быть на лезвии бритвы», как образ опасного поворота событий. *Здесь и далее примечания автора.*

Получив известия из Киева, Ярослав собрал новгородцев на вече, и взаимные обиды были забыты перед лицом общей опасности: возьми Святополк верх — и Новгород потеряет полученное от Ярослава право свободы от киевской дани. Поэтому даже люди дельные и холодные дали себе увлечься чувством отвращенья к Святополку, так же как ранее поддержали Ярослава оказать непослушанье родному отцу. Охочих идти нашлось до сорока тысяч. Вместе с дружинниками князя, которых было до трех тысяч, составилось сильное войско, свидетельство того, что не зря Новгород называл себя Господином Великим.

Несколько тысяч лодей переплыли Ильмень, поднялись по Ловати и через волоки свалились в Днепр. Перед городом Любечем пристали к правому берегу. На левом ждал Святополк.

Рассказ краток, дело медленно. Великий князь Владимир умер 15 июля, в начале августа были убиты Борис и Глеб. К Любечу же добрался князь Ярослав осенью, и не ранней — уже лист опадал. Князь Святополк успел, развязав туго набитую отцовскую мошну, набрать достаточно русских охотников. Успел прельстить киевскими гривнами печенегов, и к Любечу подошла орда наездников и стрелков, перед которыми в те годы содрогалась и Восточная империя.

Против Любеча Днепр не широк. Многоводную Припять он принимает верстах в шестидесяти ниже, а Десну — над самым Киевом, еще верст на сорок ниже.

Противники, встав один против другого, начали жить на виду. Дни катились с мочливыми осенними дождями. Пошли заморозки-утренники, вечерние лужи на рассвете пучились ледком, под которым стыл белопузырчатый воздух. Днепр спадал, вода светлела, как ей положено к зиме.

Вытащив лодьи на берег, новгородцы ждали. Князь Ярослав не решался на переправу. Не решался и князь Святополк, а решился бы — не смог. И лодий у него не было, и переправляться своим обычаем, вплавь, печенежская конница не соглашалась на виду у врага.

Считали не дни, а недели. Воздух и вода охлаждались, утренники сменились морозцами до полудня. Днепр мелел — верховья прихватывало, мороз сушил лесные ручьи. Вода потемнела по-зимнему, то ли от холода, то ли мертвые листья, истлевая на дне, красили воду, не отнимая прозрачности.

В новгородском лагере сыто — новгородцы люди запасливые. В новгородском лагере неспокойно — такой народ. По привычке шапки перед князем Ярославом не ломая, а только подальше заламывая на затылки, шумят. От дома, вишь ты, далеко, сидим, хлеб едим — не даром ли? Пора быть бою, а нам домой пора. По хозяйкам соскучились, а хозяйки без нас гуляют!

Ждет князь Ярослав, а крикуны сами куда же решатся. Крикун, он себя криком облегчает. Ты бойся молчуна. Молчун калится без слов, жáра незаметно, а плюнь — зашипит.

С берега на берег идет пересылка. О чем? Не знают. Но мирного конца не жди — это знают.

Летом тяжело доспехи носить. Божье наказание. За грехи. Жмет, давит. Тело преет, идет красными пятнами, зудит — не почешешься. В холодное время подкольчужные рубахи и шубы согревают. Новгородцы толпятся на своем берегу, сидят на лодьях, как на торгу, и сражаются со святополковскими всей бранью, какая лезет из горла.

Новгородцы горячи и обидчивы, сгоряча острого слова не придумаешь, твердят все одно. Верх остается за левым берегом.

— Вы, новгородские серые плотники, из доски сделаны, доской укрываетесь, с доской, как с женой, спите. Идите к нам, мы вас заставим хоромы рубить с вашим князем-хоромцем!

Одни кричат — хоромец, плотник. Другие — хромец: князь Ярослав припадал на одну ногу.

Брань на вороту будто бы не виснет. Обиженные новгородцы наседают на Ярослава:

— Давай бой, иль без тебя на тот берег полезем!

С той стороны Ярослав получил весточку. Кусочек беленькой бересты. Нацарапано: «Меда с вином запасено много».

В середине долгой морозной ночи Ярославовы дружинники тихо будили спящих. Задолго до рассвета правый берег опустел. Многие новгородцы, высадившись на левый берег, от соблазна толкали опустевшие лодьи на днепровскую волю: победим, так лодьи найдутся, побьют нас — не нужна ты мне будешь.

Повязав головы белыми платками, чтоб отличить своего от чужого, новгородская пехота навалилась на врага со своим страшным оружием — топором на длинном топорище. Равный по силе удара франциске франков или

саксонской секире, новгородский топор превосходил меткостью. Кто знаком с плотницким ремеслом — новгородцев не зря дразнили плотниками,— поймет с одного слова, тому, кто не видел своими глазами игру плотницкого топора в русской руке, не объяснишь и сотней слов. Конечно, не такое уж счастье пятнать человеческой кровью честную сталь. Вздохнешь и скажешь: не нами началось, не нами и кончится...

Святополк заложил свой стан между двумя озерами. Печенеги стояли поодаль и не могли прийти на помощь своему наемщику. Князь Ярослав отделил часть для нападенья на печенегов, и те, пешие поневоле, разбуженные топорами, потерпели страшный урон в бегстве к своим коням, а добравшись до конской спины, думали лишь о бегстве. Русские полки Святополка бились лучше, и с ними покончили уже при свете. Бедствие побежденных завершилось на озерах: молодой лед не сдержал ни отступивших на него, ни беглецов. Но князь Святополк успел вырваться.

В Киеве князь Ярослав оделил новгородцев щедро, по силе отцовской казны, которую Святополк не успел дотрясти. Новгородцы-домохозяева получили каждый по десять гривен серебра на себя, племянников, сыновей, захребетников. Ратники из прочего людства, новгородцы — горожане или из волостей, получили по гривне на голову.

Новгородцы поспешили домой, пока реки не станут, гордясь и победой, и утверждая князя Ярослава новгородской рукой. С тех пор завязывается дружба между Ярославичами и Господином Великим Новгородом. Так и бывает: кому помог, того полюбил.

Киев принял князя Ярослава тепло. Страшный и кровавый год окончился будто бы хорошо. Но кровь не сразу смывается, остаются от нее, как от железа, ржавые стойкие пятна. Над Русью висел Святополк, готовясь те пятна пообновить свежей кровью.

Бежал этот князь к королю ляхов Болеславу Храброму, уже помянутому за гоненья на своих кровных родичей — возможных соперников. Болеслав был женат на одной из дочерей Владимира Святославича, доводясь зятем и Святополку, и Ярославу. Он принял Святополка, обнял, как родного, слезно сочувствовал, чтобы руки нагреть на русском неустройстве.

Болеслав заслал к печенегам послов, те мало дарили, но обещали много, и Степь поднялась против Руси. В который раз? В бессчетный. Не для красного словца, а

потому, что действительно никому не удалось сосчитать. Пройдя правобережьем, печенеги сумели появиться неожиданно под самым Киевом. Бой был тяжелый, затяжной, с утра и до ночи, подобный страшному сну, от которого не удается проснуться, в котором от усталости бойцы и жизнью не дорожат: хоть бы убили, только бы лечь. В сумерках русские сломили печенегов. Гнались — откуда силы берутся! Оглянулись — а пленных-то нет, только убитые кучами, негде ступить.

На сколько-то времени Русь погасила печенежью силу. Князь Ярослав заключил союз против Польши с Генрихом Вторым, императором Священной Римской империи германской нации. Император обязался идти на Польшу с запада, князь Ярослав пошел мериться силами к польскому Бресту. Оба не добились успеха. Генрих Второй перевернул шапку: предложив мир Болеславу, он толкнул своего опасного соседа на Русь. Игра старая, как война. Удача ли будет опасному союзнику, вчера опасному врагу, или побьют его, войска и силы у него убудут. Такой счет ведут и ведут, утешая себя и забывая примеры.

В 1017 году князь Ярослав встретил короля Болеслава со Святополком на реке Буге, тогдашней границе. После длительной стоянки на виду одни у других поляки внезапно для русских бросились через обмелевшую реку. Ярослав бежал с несколькими спутниками в Новгород. Поляки беспрепятственно пошли в Киев, хватая по пути разбежавшихся Ярославовых ратников из числа тех, кто потерял голову. В те годы, как и в позднейшие, война ходила полосой верст в десять — пятнадцать, и беглецам следовало просто-напросто брать в сторону.

Посадив в Киеве князем Святополка, король Болеслав захватил как собственную добычу достояние Ярослава, его мачеху, последнюю жену Владимира, и сестер. За одну из них Болеслав ранее сватался, получил отказ и женился на другой. Теперь он взял и эту, силой, без чести.

В Новгород Ярослав явился беглецом, ни на что не надеясь. Стыдно было ему кланяться новгородцам. Только дух перевести и бежать дальше. Чуя погоню убийц за спиной, Ярослав решил бежать в Швецию. Там не достанет Святополкова рука, там можно набрать дружину и с нею попытать возвращенье.

Новгород решил иначе. Вече постановило: биться за князя Ярослава, не хотим, чтоб в старших князьях сидел Святополк. Никаких Святополковых сторонников в Нов-

городе не нашлось, не на ком и сердце сорвать. Бросились к пристаням: князь Ярослав, собираясь в дальнее плаванье с небольшим числом новгородских друзей, грузился на два корабля, способных плавать по морю. Порубили корабли, отыгрались на беззащитном дереве: чтоб не смело нашего князя везти за границу. Мы, Господин Великий Новгород, так решили, тому и быть.

Буйствовать можно с умом, широк человек. Натешившись щепками, новгородцы обложили себя особой данью: на войну со Святополком и ляхами. С бояр — по восемнадцать гривен, со старших домохозяев — по десять, со всех прочих — по четыре куны. Выбрали, кому плыть для найма варягов, и отправили в дорогу.

Текла вода в Ильмень из множества речек, питающих озеро — речной разлив, текла подо льдом, текла под небом, освободившись от льда, собиралась в реку Мутную, будущий Волхов, зимой бурля около моста в незамерзающем месте. Оттуда, говорят, старый Перун, сброшенный в воду Добрыней, дядей Владимира Святославича, погрозил палкой изменникам старой веры: ужо, мол, я вас! И от Перунова пылкого гнева место сделалось теплым.

Текла вода мимо Киева, и многие повторяли ненадоевавшее присловье: скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается... Стало быть, время рассудит. Стало быть, скороспелое скоро и старится. Сказка-складка — по воле рассказчика...

Быль же складывала сама себя, и по-иному, чем рассчитывали Святополк с Болеславом. В Киеве король Болеслав расплатился с нанятыми германцами и венграми, отослал домой половину своих ляхов. Из оставшихся часть разместил в Киеве, других разослал по ближним городам, чтобы им было легче кормиться, не истощая жителей.

Гуляли по Киеву лихие поляки, очарованные киевлянками. Киевские женщины славились умением красиво одеться, красиво обуться. А уж брови подщипать и подсурмить, ресницы загнуть, глаза некоей тайной сделать неимоверно большими, лицо выбелить да подрумянить щечки и губы — так не умели и в Константинополе. Рим, Майнц, Прага, Александрия и прочие города — захолустье. За Киевом тянулись Чернигов, Переяславль, Смоленск. В малом Любече — и то на гуляньях растеряешься: то ли цветок, то ли женщина!

Нежились ляхи в Киеве, нежились за Киевом и — таяли в числе. Как снег. Бывает, в феврале занесет

выше окон, а в марте и нет снега, и уж пробиты ногами сухие тропочки. В тот же Любеч послали кормиться восемь десятков, прибежали трое еле живы.

Любеч-то хоть за глазами. Но в самом Киеве, на виду, на глазах Болеслава со Святополком, ляхи убывали, что цыплята у нерадивой наседки. Минет ночь, и утром там тело, здесь тело. Кто бил, за что? Нет концов.

Страшное своей беззвучностью истребление ляхов казалось особенным мором. Хитрые люди поговаривали, не то подделываясь к Святополку, не то коварно вредя ему, что князь-то сам этой тихо проливаемой ляшской кровью намекает своему дружку Болеславу: засиделся ты в гостях на Руси, скучают по тебе поляки.

Храбрый король, собрав остатки своих, ушел в Польшу. Угнал пленников, взятых после победы на Буге, увез казну Ярослава, двух его сестер. Союзника своего Святополка король оставил на попеченье Святополковой же дружины.

Князь Ярослав не поспел проводить Болеслава. Святополкова дружина и выставленные им ратники были разбиты, как глиняный горшок, не столько мечом, сколько грозным видом Ярославова войска. Святополк, заранее подготовившись, сумел опять и бежать с поля, и уйти от погони.

Он бросился к печенегам, в Дикое поле, так как ляхов он исчерпал. От хана к хану, от рода к роду Святополк объездил кочевья на Донце, на Дону, на Волге.

Святополк пробудил у печенегов замыслы более обширные, чем удачный грабеж во время набега. Князь Ярослав встретил печенежское войско у Альты, близ места, где был убит князь Борис.

Сражение при Альте в своей неумолимой ярости, в стойкости далеко превзошло тяжелую битву с печенегами под Киевом. Начав тоже ранним утром, стороны трижды прерывали бой, изнемогая от усталости, и трижды сходились опять. Печенеги много раз пополняли колчаны, пока не израсходовали все запасы своих легких, но жгучих стрел, и на поле стрелы трещали под ногами и копытами, как сухой тростник. Не образно, но въявь человеческая кровь текла, скопляясь во впадинах, ибо строй был плотен, раны наносились глубокие, и сильная жизнь сильных людей не угасала до последней капли крови рассеченного тела.

Печенеги пришли, как завоеватели, бились стойко, как

завоеватели, дабы посадить своего князя Святополка, и стать его дружиной, и поработить Русь себе на потребу. К вечеру русские пересилили, и оставшиеся в седле печенеги ударились в бегство. С той поры они ослабели душой. Русь перестала казаться обетованной для Степи страной грабежа, легкой наживы. Они потянули берегом моря по старому пути других кочевников: к Дунаю и в империю.

Святополк не ушел в Дикое поле к своим битым союзникам. Такое небезопасно при неудачах замыслов, во имя которых заключают союзы. Союз разрушился.

Один из наемных варягов по имени Эймунд говорил, что он срубил Святополка в поединке на поле сраженья. В указанных им местах не нашли тела. Эймунд не мог показать ни одной вещи, принадлежавшей Святополку. Ему не поверили. Варяги чрезмерно увлекаются собственным красноречием. Так увлекаются, что верят сами: кто же не слышал их саг-сказаний!

Вскоре стали говорить, что Святополк умер, забежав в пустыню где-то между ляхами и чехами. Действительно, он исчез, он умер, ибо был он слишком заметен, слишком, хоть и худо, но прославлен, чтоб где-либо остаться в безвестности. Затем книжники расцветили всенародное убеждение красивыми словами.

Напрасно! Достаточно и того, что к имени Святополка прилипло прозвище — Окаянный. В нашей речи это слово явилось недавно, с распространением христианства, происходя от ветхозаветной повести об убийстве Авеля братом Каином. Кратко, точно: окаинился, окаянный.

Так, в краткости народного известия полнота поэтического выражения сама по себе стала свидетельством его достоверности.

В пустыне кончил дни Святополк. На Руси не было пустынь. Стало быть, мать сыра земля отказалась от окаинившего себя князя. Казнила его одинокой гибелью в сухом месте, где ни деревца, ни кустика, ни травы, ни ручья, где не греет русское солнышко, а льет пламень злое светило.

Но все же это известие, зря превращенное в устрашающее сказание усердными книжниками, вполне человечно не отказывает Святополку ни в страхе, ни в отчаянии. Страх и отчаянье суть дороги раскаяния. Раскаяние тоже было новеньким словом, по-русски отчеканенным из Каина: широта русской мысли не могла огра-

ничить себя одним направлением — окаиниться. Требовалось второе, обратное,— раскаиниться, раскаяться. Значит, мог Святополк Окаянный понять зло, причиненное людям. Бежал он не гонимый Судьбой-Фатумом, предначертавшей ему несчастья еще до рожденья и в непознаваемых целях. За ним не гнались некие божественные мстители, его не преследовал новый Ангел с огненным мечом. По исконным собственным русским воззреньям на внутренний мир человека и на обязанности другим людям, Святополк бежал от собственной совести. Да разве от нее убежишь!

Свое сочувствие к князю Ярославу и его сподвижникам Русь выразила таким замечаньем: «После победы на Альте Ярослав, сев в Киеве с дружиной своей, отер пот».

Вновь встречаем выражение крепкое, краткое. Такими словами не привечали случайных удачников в малозначащих для Руси столкновеньях.

Старшинство по рождению давало преимущественное право и на обычнейшее наследование родительского имущества, и на княжение. Корень славяно-русского обычая, как и обычая многих других народов, уходит во времена настолько удаленные, что нечего искать давно истлевшее семечко, от которого пошел и корень, и само дерево. Смысл же сохранялся по своей человеческой естественности. Право старшего идет от необходимой для отца с матерью заботы о детях, от обязанности старшего в семье занять место отца, ушедшего из жизни.

Будучи принят в Киеве по естественному праву старшинства, по очевидной для киевлян способности Ярослава княжить, он не выполнил обязанности к младшим братьям. Мстиславу Тмутараканскому старший предложил Муром еще до своей победы над Святополком. Судиславу, сидевшему во Пскове, пришлось там и остаться. Судислав, человек слабый волей и умом, выражал свое недовольство в неразумных словах. Мстислав мог принять Муром, но Мурома было маловато для Тмутаракани.

Тмутараканское княжество лежало в устье, через которое Сурожское море выливает излишек своих пресноватых вод в соленое Русское море.

Греки, а за ними римляне называли Сурожское море Меотийским болотом. Не случайно — оно мелководно, вода его в иные годы бывала почти пресной и к осени за-

цветала. Впадающие в Сурожское море реки еще совсем недавно были богаче водой, на большей части своего протяжения были закрыты лесами, сток воды обладал постоянством, пища для рыбы сносилась в изобилии, а лучших нерестилищ, чем сурожские реки-притоки, не бывало нигде.

Болото болотом, но берега Сурожского моря, изобильного отличной рыбой, были подобьем земли, которую бог обещал иудеям, чтобы вывести их из Египта.

Пусть солнце выжжет степь, пусть засуха и мор покончат с домашним скотом, птицей, диким зверем — Сурожское море прокормит. Без всякой снасти с берега шестилетний ребенок на один крючок за утро наловит рыбы, которой хватит на большую семью.

Пролив назывался Боспором — Босфором Киммерийским. В узком месте его ширина была меньше трех верст, к Русскому морю он расширялся верст до пятнадцати — двадцати. Скалы и подводные камни слеплены из древних раковин и облеплены живыми вкусными мидиями. Мидии висят, удерживаясь волокнами, из которых некогда делали ткань, знаменитый виссон; они неимоверно плодливы: не соберешь, не выберешь. Сбор легок, старик со старухой наполняют мешок за мешком, только успевай увозить.

Дон и Кубань вступают в Сурожское море медленным током через разветвленные рукава, с низкими намывными островами, с мелями. Здесь тростниковые чащи, в которых неосторожному легко заблудиться и погибнуть, пешком ли, на лодке ли рискнув забраться поглубже, не зная дороги и не оставив примет для возвращенья. Круглый год камыши кишат водолюбивой дикой птицей, которая при всем своем множестве не в силах выесть бесчисленные личинки насекомых и повредить водяным растеньям.

Ядовитых или вредных рыб нет, но здешние жители в рыбе разборчивы. Настоящей добычей считают белугу, осетра, однобокую камбалу с колючими шипами, крупного белотелого лобана. Прочих называют: бель, разнорыбица. Названий наберется больше двух сотен, ценят десятка три. Для местных рыбаков, вопреки пословице, поиск лучшего не вредит хорошему. Впрок рыбу вялят, солят, коптят. Соль своя, под рукой.

Ниже узкого горла пролив сразу расширяется, течение, слабея, отходит то к правому берегу, то к левому, размешивая мутные пресноватые сурожские воды с горькими

прозрачными водами Русского моря. Здесь берега на большей части своей крутообрывисты и высоки на несколько сажен. Внизу залег узкий бережок. Чуть разыграется море, и волны бьют в самую кручу, рушат ее, унося избитые в мелочь обломки. Год от года стена отступает, но остается стеной. На подслоях из рыхлого камня-ракушечника лежит слой толщиною в два-три человеческих роста плодороднейшей почвы. Все растет, что ни посади. Деревья обильны плодами, не жалуются люди и на поля. Лето засушливое, сеять спешат, урожай готов в первой половине лета. Изредка бьет засуха — не собирают и семян. Но голода не бывает. Море кормит, дает товар для продажи, и в самый худой год у жителей есть на что купить привозного зерна.

Сеют овес, ячмень — без них нет силы у лошади: Тмутаракань молится на коня — такая здесь жизнь. В старые времена, говорят, были здесь храмы, посвященные богу в образе лошади. Ныне такого не положено. Иначе русские тмутараканцы выразили бы свою любовь и в тесаном камне. Благо здешний камень красив и мягок, тешется легко, как дерево.

Сеют просо, оно дает большой приплод даже в сушь. Еще сеют сурожь. Приставка «су» по-русски означает смесь. Суглинок — смесь глины и песка, в которой больше глины. Супесь — такая же смесь с преобладанием песка. Сурожь — рожь с пшеницей. Рожь крепче, неприхотливее, ржаная солома выше пшеничной. Поднявшись от смеси семян выше пшеницы, рожь защищает сестру от засушливых ветров, от чрезмерности зноя, и пшеница просит меньше влаги для своей соломы, лучше наливает зерно.

Кто придумал смесь хлебов и слово? Кто скажет? Однако «сурожь» — слово чисто русское. Есть два города, называющиеся Сурожем. Один — в Таврии, на берегу Русского моря, не так далеко от пролива, другой — на Руси. Почему Меотийское болото перекрестили на Сурожское море? Что от чего? Море назвали из-за того, что на его берегах начали сеять сурожь? Либо сурожь окрещена от моря? Круг замкнулся; не приходится искать, где начало обода, где конец: старые кузнецы гладко сварили полосу.

Сев на проливе, Тмутараканское русское княжество взяло клещами Сурожское горло. На восточном берегу — крепкий город Тмутаракань, на западном, таврическом, — Корчев.

Темной ночью с верховым ветром на гребном судне можно выскочить из Сурожского моря в Русское. Высокому кораблю лучше не искушать и море, и бога. В темноте волны и ветер бросят тебя на длинные мели и потащат к крутым берегам либо к соленому озеру. Сам погибнешь, потопишь товар. Из Русского моря в Сурожское тоже не прокрадешься темной ночкой, и низовой морской ветер не в помощь будет.

Плыть нужно днем. Тмутараканцы пускают всех, кто платит пошлину, считая таких друзьями. А недруга возьмут в узости с двух сторон и раздавят, как орех: ядрышко себе, скорлупку на дно. Тмутаракань — место удивительно удобное. Выдумать нужно было б ее, коль бы сам бог не изготовил.

Одно плохо — мало сладкой воды. Колодцы редки, приезжие бранят колодезную воду — горька. Верно, привычка нужна. Тмутараканцы и корчевцы умеют копить в подземных хранилищах дождевую воду, и у них она за все бездождное лето не портится, свежа и чиста, как роса. Здесь в большом ходу кузнечное и оружѐйное дело — свое железо копают под Корчевом. Много работают с бронзой, золотом, серебром, медью, льют и чеканят украшенья, простые и с эмалью, из цветного стекла плавят бусы, браслеты. Сбыт обеспечен, ибо место торговое, по Дону, Кубани, по всем степным рекам и речкам пути, а Тмутаракани не минешь.

Гончары обжигают посуду простую, цветную, с поливой, по заказу и в торговый запас, от корчаг ведер на сто до крохотной мисочки с крышкой для румян, для притираний и детских игрушек — свистулек, куколок, зверушек.

Места обжитые, насиженные людьми уж очень давно... Идя по своему делу в тихую погоду бережком под кручей, замечает тмутараканец: из срезанного недавним обвалом берега торчат черепки. Кое-как дотянувшись, он вытащил три обломка. Концы, которые торчали, обветрило, они стали светлы. Что было в земле, черно, как земля. Обмыл в море — и цвет сравнялся. Куски от большого горшка, работа, как нынешняя. Тот же вымес глины, тот же излом. Да и цвет тот же. Значит, глина была взята там же, где и ныне берут. Море в проливе постоянно выметывает черепки, это привычно. А в земле? Задрав голову, тмутараканец меряет взглядом. Сажени две земли наросло над тем местом, где когда-то разбили горшок. Когда ж это было? Как видно, еще

до потопа, в дальние века. Бог, смутившись дерзновеньем строителей вавилонской башни, смешал речь, тем разогнав людей в разные страны. А после потопа люди, опять размножившись, сюда обязательно явились. Бросив черепки в сумку, которая висела на пояске, тмутараканец пошел дальше, размышляя над находкой. Встречались ему и раньше следы старины под лопатой, но особенных мыслей не приходило: откуда, да что, да когда. Но эти черепки говорили будто голосом: сама земля на нас наросла, нас никто не прятал.

Море, пролив, бережок, круча над бережком, за кручей — тмутараканские земляные валы с каменными стенами по валам, с башнями, с площадками для боевых машин. К востоку степь с увалами, с холмами, с черневыми лесами в низких местах. Собственная тмутараканская земля идет на восток на сорок верст до болотистого кубанского устья. За ним вдали видны заросшие лесом горы. В предгорьях реки, речки, по речным долинам хватает на всех и лесов, и полян. Земля считается касожской, за касогами — аланы. На деле же кого-кого там нет. Все — как обрывки, остатки. Найдутся хозары, как и в Таврии. Среди хозаров есть признающие закон Моисея, хотя от иудействующих хозаров истые иудеи отмахиваются пуще, чем от людей, поклоняющихся самодельным божкам. Есть роды, объявляющие себя гуннами, готами, уграми, обрами, торками. И еще какие-то, с трудными названиями племени. По вере встречаются христиане разных толков, обращенные некогда проповедниками-греками, изгнанными из империи за ереси. Последователи Магомета распространяют свой закон медленно, но верно. Воинственные заветы пророка и блаженство рая, обещанное храбрым, приходятся по душе многим. Мешает разноязычие, родовая вражда и стеснительность правил ислама.

Тмутаракань устроена к югу от долины, выход которой к морю понижает берег и делает удобной высадку. Здесь тмутараканские пристани.

Матерой тмутараканец со своими черепками — находкой — брел и брел под кручей по желтопесчаному бережку, по черному, где тлела выбитая волной морская трава, пока ноги не вынесли его обогащенную думой головушку за мысочек, пока шум на пристанях не вернул его из неизвестного прошлого в сегодняшний день.

Опомнился — черепки-то мозги вышибли! Он ведь сюда и шел, проводить князь Мстислава-то Владимирича!

Ветер низовой, с моря, тянет слабо, к вечеру стихнет, наутро повеет опять. Быть хорошей погоде до нового месяца! Сурожское море по мелкости своей злобно. Волна бьет о дно, гребни ломаются круто, буря на Сурожском море вдвое опаснее, чем на Русском. Ныне доплывут спокойно. Мы, тмутараканские, знаем, когда гнать, когда под берегом стоять.

Проталкиваясь в густой толпе, старый тмутараканец кого по плечу хлопнет, с кем, глазами встретившись, поклонится, кому голосом пожелает здоровья, старуху спросит, как ноги-то носят? Носят еще? И ладно нам. Молодую приветит, цветешь, мол, цветиком полевым, нет, ухоженным, стало быть, хороша ты породой да повадкой. Мальчонку привечает шлепком. В трех- либо в четырехтысячной толпе все между собою знакомы, гуд идет, как на торге в Корчеве, где встречаются двенадцать на двенадцать языков.

И — смолкли: коней ведут! Попятились, оставив широкую улицу, ценят глазами. По толстым плахам пристанских настилов раскатывается копытный стук. И сюда гляди, и здесь не упусти, что ты скажешь, беда!

Тмутараканские кони ведут свою породу от отборных жеребцов, от известных маток. Кони крупны, но не тяжелы. Конская сила в крепости кости, в жилах. Избочившись, выкатывая кровавый глаз, идет вороной жеребец в руках княжого стремянного. За ним ведут коня самого стремянного. Княжой стремянный — большой человек, у него свои стремянные.

Подыгрывают кони. Не кони — дружинники коней горячат, красуясь перед товарищами, перед молодицами, перед бойкими девицами, перед красными вдовами. Здешние киевлянкам ни в чем не уступят.

На Русь уплывают, да... По перекидным мосткам свели коней в корабли. На весь залив заржал княжой вороной; как петухи, ответили другие; из крепости, прощаясь, нежным голосом высоко пропела молодая кобыла. Будто бы грустно становится, други, а?

Разгружают возы. Несут длинные укладки с оружием, несут мешки, тюки с едой. Споро, быстро, без спешки, ничего не забудут, не в первый раз, давай бог, не в последний.

Вот и князь! Желая удачи, каждый в толпе свое заорал, слов не понять и семи мудрецам. Мстислав Владимирич, прозвищем Красный — Красивый, в широкой рубахе, в широких штанах с напуском на мягкий касожский сапог, приветствуя своих высоко поднятыми руками,

шагал саженями — так убирают восемь верст в час. Богатырь! Летит — сама земля его вверх толкает. С пристани прыгнул на корму своего корабля, взяв с места сажени две, и все тут. Во всем подражая князю, дружина спешила, едва не наступая друг другу на пятки, а жены бежали бегом.

Жен было мало. Мстислав не любит длинных проводов и оставил княгиню дома лить слезы, проклиная злую разлуку. Живет князь нараспашку, ему таить нечего, и вся Тмутаракань знает, когда ему доведется поспорить с любимой, а когда у них мир: оба горячи. На войне у Мстислава лед в голове, дома иное — не враги же, свои.

Случалось же иной раз и такое, что возьмет княгиня своих девушек и нарочно перед баней пройдется по улицам, а баня у себя, на княжом дворе. Нет же, все знайте, обижена я вашим князем и в баню его не взяла, отлучила от себя, как пса от причастия. Наберет встречных девчонок-замарашек к себе в баню и вымоет. Смеется Тмутаракань, а ей любо. Да и людям, правду сказать, люба княжья простота: нами не брезгуют, и мы не побрезгуем.

Лошадей насчитали больше сотни, дружины — до семисот. Что Мстиславу! Пойдут степью от Донца, купят, наловят либо так возьмут печенежских коней. Киевский князь Ярослав сломал печенежью спину у Альты. Совсем ли — время покажет, но ныне печенеги присмирели, где им путаться под ногами у Мстислава.

Смотри-ка! Уже отплывают! Замелькали багры, толкаются в пристани. На мачтах паруса поползли вверх и надуваются, поймав ветер, и серая парусина под солнечной лаской становится белой: привычное чудо, а все ж красота!

— Расступись, расступись!

К пристани скакала княгиня. Не послушалась, не усидела дома. У края причала, откуда отошел княжой корабль, остановила коня, кричит. Что? Слов не слышно тебе, да к чему слушать-то! Что добрая жена скажет мужу на прощанье: люблю, возвращайся...

Князь замахал руками, а причалы и берег утихли. Донеслось с моря.

— У-уу... Уууу-у...

Первое слово — люблю. Княгине послано? Всем. Как и обещанье вернуться...

— Заметил? — спросил бывалый тмутараканец товарища.— Взял он наших, русских, немного, и все-то из

старших, бояр, для распоряженья, совета. А так все касоги, хозары, варяги, греки, торки, печенеги.

— Как сказал, так он и сделал,— отозвался товарищ.— На нас, стариков, оставил Тмутаракань да на русскую дружину. Разумник князь-то.

И пошли они в крепость-город, толкуя о деле, решать которое пустился князь Мстислав. Брат его Ярослав и воин знатный, и князь мудрый. Окаянного сбил, печенегов смирил, устроил тишину на Руси. В одном плох — несправедлив к брату. Не наделил его из выморочных волостей, дает Муром и говорит, что Тмутаракань богаче Киева. Что нам в золоте! И дальний Муром, право же, в насмешку предложен. Нам в Тмутаракани люди нужны, нам нужны южные волости, чтобы из них Тмутаракань пополнялась русскими людьми. Иначе зачахнет русский дух и здесь, и в Таврии.

Обсудили. Тмутараканец вспомнил черепки, бренчавшие в сумке. Обсудили и их, но не сошлись в счете лет давности. Находчик черепков жил в каменном доме, строенном отцом его тому назад лет шестьдесят. Стали мерить, насколько земля поднялась от пыли. Спорили, ссорились, путались, и пришлось отдохнуть. Засев в садовую тень, вспомнили свой последний поход на касогов, после которого касоги, присмирев, с Тмутараканью примирились.

Редедя, касожский князь, а по-гречески Редедос-кесарь, взамен общего боя предложил Мстиславу божий суд — поединок.

Сердце изныло глядеть, как князья шлемы иссекли, щиты расщепили, латы помяли, оружие поломали и сошлись бороться руками. Почему легче самому делать, чем смотреть на тяготы другого?

Редедя — Редедос был богатырь телом, крупнее Мстислава, и все ж Мстислав пересилил, хватил оземь через колено и довершил его жизнь ножом. Касоги сказали — помиловал: по-ихнему, для побежденного нет солнца.

По условию касоги отдали Мстиславу семью Редеди, казну, лошадей и скотину, и еще Мстислав наложил на них дань. Семью Редеди Мстислав там же отдал касогам за выкуп, и много они заплатили, чтоб уйти от бесчестья.

До того времени иные касоги, поссорившись со своими, убегали в Тмутаракань. После победы над Редедею многие храбрые витязи — рыцари касожского роду пришли проситься на службу во Мстиславову дружину. Народ

они верный, честь чтут до смерти. А все же лучше, чтобы к нам побольше шло своих людей, с Руси...

В память победы Мстислав на выкуп Редедьевой семьи построил храм деве Марии, княгиня у него крещеным именем тоже Мария.

Отдохнув, пошли старики к храму. Чист, как снег, белого тесаного камня, купол сведен банным строением, а не шатром. Откуда ни взгляни, нет красивее ни в Корчеве, ни в Суроже, ни в Киеве.

Попробовали измерить, насколько земля наросла у храмовых стен, поспорили, сколько на год приходится и от каких людей черепки: один кричит — до потопа, другой — после, зато сразу, как земля высохла.

Признав — темное дело судить о прошлых веках, пошли молча, думая каждый о своем. Находчик черепков вспомнил, что нужно заутро плыть к сыну в Корчев, для чего можно уже с вечера погрузить в лодью готовую гончарину: море будет стоять зеркалом. Другой думал, как будет мирить дочь с мужем ее. Молодые-то умны, но не притирчивы друг к дружке, семейная жизнь не проста. Как мирить? За Корчевом на Сурожском берегу, близ межи с греками, сидит брат, дочке дядя. Греческая межа спокойна всегда, как нынешнее море. Скажу, весть получил — болен брат, и поплыву к нему вместе с дочерью. Там ее до времени и оставлю. Есть между ними любовь, опомнятся, сбегутся. Нет любви, лучше смолоду разойтись, чем век маяться.

Потом думы друзей полились одним руслом, что прав князь Красивый, взяв с собой инокровных дружинников. Таким, если Ярослав со Мстиславом не урядятся, легче будет биться и кровь лить. Перекинулись словами о днях, когда сами они ходили в последний поход. Отяжелели тогда; от скачки, от копья с мечом кости попросили покоя. На тмутараканских стенах, если придется, они покажут себя молодым за пример. На месте. В седле скакать и своими ногами бегать не нужно.

Текли увесисто, твердо ступая, и мысли, и двое людей. Черепки прошлых дней колебались в душе, как ракушки, когда их выносит и тащит прибоем назад. Память — зеркало, коль нет в ней ничего, кроме твоего отраженья. На волю бы. Все ты привязан к земле, как бык в стойле.

— Как думаешь,— спросил один,— здесь до нас сколько людей свой век отжило? Сколько звезд в небе? Иль меньше?

— Больше,— ответил второй.— Делали, как мы, такие

же были, оттуда же глину копали, так же огонь в печи разводили, так же смеялись, любились.

— На месте живем, но будто бы и движемся куда-то все вместе.

Взглянули на море. Низовой ветерок нес прохладу и надувал паруса кораблям князя Мстислава. А княгиня-то плачет? Нет, и от себя слезы спрячет такая.

Дети, идя из школы, кланялись старшим. Учитесь, учитесь, в Тмутаракани неграмотному — полцены, грамотному — две. Вам жить.

— Да, друг-брат, страх, пока сидишь, как свинья, в своем закутке. А вышел на волю, мысли раскинул — нет страха, не боишься ни боли, ни смерти.

— Да что человек! Как ветка на дереве. Растешь, разветвляешься, плод даешь и... — Не находя слов, матерой тмутараканец раскинул руки.

Спешившая навстречу молодайка, поклонившись старшим, спросила нарочито скромным голоском:

— Чтой-то вы размахались, бояре? Аль с солнышком не поладили?

— Да мы так, рассуждаем по-стариковски.

— Старики! — лукаво протянула молодка.— Зелен виноград — не вкусен, млад человек — не искусен.— И вильнула своей дорожкой, запев песенку о князе-вдовце, который вздумал сынка женить поскорее, но красавица невеста не сына, отца на себе поженила и подарила ему двенадцать сыновей-богатырей на зависть всему белому свету.

Пошли своим путем и друзья, невольно расправив плечи по-молодому. Успеется еще в землю-то лечь, туда не опоздаешь, как и на тот свет.

Верно. От повестей о поздней любви не пусты русские были и ромейские преданья, а в Священном писании таких примеров не счесть. Бывалому больше нужно, чем молодому. И то сказать, лечь в домовину успеешь, земля в твой час возьмет тебя без укора, что ей! А на том свете божий ангел не спросит, сколько времени ты, душа, жила в русском теле и сколько любила, а спросит, много ль добра совершила и какого наделала зла... Так, что ли, друг? Так, видно.

Гляди: до Донца на запад, на север легла безмерная ровность. За нею черта, будто проведенная по пергаменту свинцовым стилосом. То всхолмления над не видимыми от реки балками. А дальше — степная ширь, и туманится она, и течет, и струится к земному окоему,

но не виден окоем, и мглистая степь свободно восходит к небу, будто бы ты начнешь там подниматься на небесные своды не по лестницам, на ступенях которых тяжко трудились святые, а по глади, манящей полетом.

Здесь, в донецкой излучине, такое всегда виделось князю Мстиславу, и всегда обманное это виденье напоминало о дороге на небесную твердь, которой, по вере дедов, восходили русские души, и всегда тешился он мыслью — не страшно ему, нет смерти. Он, христианин, уважая веру предков, не знал за собой бесчестья ни в старом, ни в новом законе.

За ивняком, который венчает донецкий бережок, ходят табуны коней, подаренных печенегами посланным князя Мстислава. Дар обойдется дороже, чем купля: отдариваются щедро, чтоб не потерять лица, но таков обычай в Степи. Князевы посланные отобрали пятнадцать сотен коней. От Донца дружина пойдет о двуконь, ветра быстрее. Пока же быть стоянке на три дня, чтоб дружинники разобрали коней и смирили крутой нрав новых своих скакунов.

В княжеском шатре приподняты края, чтоб ветерок, ускользнув от ярого солнца, нес полынный дух, горечь которого сладка тем, кто хоть день прожил в степи. Да будет вечна вольная степь!

Ковер на полу шатра выткан красной и черной шерстью. В узоре заботливая рука мусульманина-ковровщика скрыла под острыми углами рисунка души растений: бог изрек Магомету запрещенье верным изображать что-либо живое, но таить его в рисунке не запретил. На ковре расставлено тмутараканское угощение. Мстислав чествует хана Тугена. Тугеново колено пасет свои стада на западных от Донца угодьях. Хан подарил князю живое золото, князь отдарился простым.

Хан благостен, многословен. Цветисты степные речи. Кочевник умеет свои слова сплетать такими венками, что глуп будет ищущий в них некую общую правду. Надобно просто понять простое же: искусный плетельщик сам верит плетению, в котором сегодня одно, а завтра другое.

— Ты гость наш, гость, князь, иди, живи, бери все, что хочешь,— приглашал Туген.— Я твой друг, клянусь небом, я хочу любить тебя. Истину говорю — хочу. Любовь женщины зависит от силы подчинившего ее, любовь мужчины — от уважения к другу.

И хан говорит, говорит... Поломал печенежью спину

князь Ярослав. Теперь торки, старые соперники печенегов по заволжским кочевьям, собираются к волжским переправам — мало им старого места! Тесно в степи, тесно, степная вольность подобна весне — быстро минует она, и вновь ищи нового, вновь уходи. А! Мир велик!

Сломав печать на глиняной фляге, покрытой гладкой поливой, Мстислав налил серебряную братину, сам отпил и передал хану:

— За дружбу!

Хан сказал:

— Чтоб была между нами любовь, пока не поссоримся, ибо вечного нет! Чтоб любовь между нами не потерялась от случая. А нарушится — так из-за дела, и не стыдно нам будет обоим вспоминать слова этого дня!

Так будет, и что же сказать, и чем же поклясться, чтобы стало иначе между Степью и Русью? Чем? И зачем? Не изменится нрав кочевника, и русский не может иначе, как ответить ударом на удар. Так будем жить сегодня, не думая о завтрашнем дне. Сильный с сильным могут друг друга понять.

Выпили. Еще налил русский, и вновь пили оба. Довольно!

— Теперь мы сыты, и нам хорошо,— сказал Туген.— Послушай внимательно мой рассказ, русский друг.

И начал:

— Однажды кочевники спросили случайного гостя: «Ты видел горы?»

«Видел».

«Какие они?»

Рассказывая, он истратил все слова, что знал. И его спросили опять:

«Какие же горы?»

Его вновь терпеливо слушали, кивая головами: да, да. Когда у него ссохлось горло и язык стал твердым, они спросили:

«Что же это такое, эти горы, о которых ты говоришь?»

В степи и до края, и за краем неба не нашлось бы ничего выше верблюда. Посмотрев на юрту, гость сказал:

«Поставьте одну юрту на другую. И еще, и еще. Десять раз по десять юрт, и еще десять по десять, и еще десять раз десять по десять».

«Зачем это делать? — спросили кочевники.— Ветер унесет юрты, и у нас нет столько юрт. И здравомыслящий человек не ставит юрту на юрту, он разбивает их

рядом. Мы просили тебя рассказать о горах, ты говоришь о юртах».

Гость возразил:

«Я рассказывал, я не могу рассказывать лучше». Кочевники, стыдясь за него, опустили глаза.

Его положили спать на почетное место, самое дальнее от входа, и дали женщину, как полагается по обычаю. Утром его накормили, наполнили едой седельные сумы. Его провожали двое — старый и молодой. В середине дня они остановились у источника сладкой воды.

«Здесь мы тебя оставим,— сказал старший,— это граница нашего племени. Ступай дальше без страха. Ты один. Мы в степи ничего не чтим, нам ничто не свято, кроме гостеприимства. Посылай коня туда»,— старший указал дорогу.

Степь лежала ровная, как утреннее озеро, и нежная, как щека девушки, ибо это было в начале весны.

Старший, приказав младшему ждать, проводил гостя за границу на два полета стрелы и сказал:

«Теперь для меня ты больше не гость. Я могу спросить тебя — кто ты?»

«Беглец. Я слагал песни, рассказы, притчи. Я поэт. Я неосторожно оскорбил эмира. Там,— гость указал вдаль,— есть страна, откуда в наш город приезжали купцы. Я подружился с ними. А назад для меня нет пути».

«Может быть, может быть,— согласился кочевник.— Может быть, тебя не забыли друзья. Надейся. И прими мой совет: не рассказывай в степи о горах, а горцам о степях».

«Ты знаешь горы! — воскликнул поэт.— Так почему же...»

Подняв руку, старший кочевник остановил своего бывшего гостя:

«Ты много говоришь. Ты спешишь спрашивать. Думай. Молчи и будь осторожен. Обижаются не только эмиры».

— Благодарю,— сказал Мстислав.— Вспоминается, я слышал подобное. Но те рассказы перед твоим — мул перед конем.

— Да, да,— сказал Туген,— язык часто выталкивает слова для развлеченья. Я хотел моим рассказом склонить ухо твоего разума.

— Ты успел в этом.

— Коль так, я рад,— подхватил Туген.— Я не хочу быть неразумным, как беглец из рассказа. Я отдам тебе, князь, нечто значительное. Пойми меня, не оскорбись.

Прими же, я возвращаю тебе, князь, ибо это — твое,— значительно закончил Туген. Положив руку на обитый кожей ларец, который он принес с собой, хан поднял вверх глаза, читая немую молитву. Затем, привстав, он вручил князю даримое.

Мстислав отстегнул застежки, приподнял крышку и снял шелковую подушечку, сохранявшую содержимое. Внутри ларца, как в гнезде из пуха, сидел верх человеческого черепа. Черновато-серая кость была обделана серебром по краю. Печенежская застольная чаша! Не прикасаясь, князь поднял глаза и посмотрел на хана. Тот трижды кивнул, отвечая на немой вопрос, и закрыл глаза, чтоб оставить внука наедине со священными для него останками деда.

Смерть — удел каждого. Для того, кто стремится к высокому, чьи мысли летят и чьи желанья жгут, тело бывает на долгие дни подобно свинцовым якорям, которые удерживают галеру. Бояться дедовской кости! Не было страха.

Все глядят вверх, на великих счастливых людей: они, нагрузившись армиями, оружием, коронами, крепостями, морями и вершинами гор, и толпами подданных, и звездами с неба, выбили глубокие колеи, испестрили землю каленым железом своих маленьких ног, сделав ее неровной и жесткой. И мы, слепые, слепо кружим и кружим, выходя на их следы. Но есть другие, они тоже оставляют следы, большие следы, которых не видно, так как мы все помещаемся в них.

Внук княжил во следу, оставленном пяткой его деда. Святослав жил, веря, что ему дано обладать землями по праву потомка Дажьбога, по праву рожденного, а не сотворенного, как сотворены бык, дерево, рыба. Поэтому он отказывался стать христианином, поэтому он презирал роскошь в одежде и пище, эту радость рабов. Он постиг искусство управленья людьми и тайны войны, не достигнув двадцатилетия.

Как потревоженная раковина неощутимо ослабляет свой костяной створ, чтоб через невидимую щель почуять, ушел ли нарушитель ее покоя, так хан Туген ослабил веки: прикоснулся ли русский к старой кости? Нет.

Более двухсот лет тому назад хан Крум в ночном бою разбил ромеев и сделал чашу из черепа базилевса

Никифора Первого. Печенеги потешились над телом Святослава пятьдесят лет тому назад... Но сам Святослав не тешился останками побежденных. Мстиславов дед не мешал себе на войне смрадом ненависти, изжогой зависти. Посылал сказать — иду на вы, и приходил, и побеждал. Ему не исполнилось двадцати четырех лет, когда он отбил у хозар охоту ходить в вятическую землю. Бросился на Дон, сломал хозар в чистом поле, взял Саркел — Белую Вежу, прыгнул на юг, победил ясов и касогов, вырвав их из хозарского союза. Тогда-то и была Святославом заложена Тмутараканская крепость — чтоб Русь, держа Сурожское море, взяла в руки второй ход в Русское море.

В следующем году Святослав распоряжался на Каме, разорил столицу хозарских союзников — булгаров, смирил буртасов, сплыл по Волге, разметал хозарскую столицу Итиль, вышел в море и разгромил хозарский Семендерем. С того времени не стало слышно хозарского имени.

Мстислав видел в деде не воина, а великого военачальника. Читая о делах прославленных в книгах полководцев Рима, Греции, о делах вождей готов, франков, внук думал о Святославе как о великом умельце войны. Летописцы пишут красиво — прыгал, как барс. Барс — зверь кошачьей породы, его бег короток. Святослав прыгал на сотни верст сразу, и всегда его люди и кони были сыты, ибо пути он выведывал, и обозы его летели, будто на крыльях, и вызовы слал не от лихости, а по воинской мудрости. В чистом поле ему не было равных, и воюют не для войны, а для мира, мир берет тот, кто сразу сломит врага.

Великая мудрость жила в Святославе, молнии мыслей полнили дедовскую кость. Злой дар и добрый дар сразу поднес печенежский хан... Мстислав взглянул на Тугена — сидит, как спит, и дышит ровно, и веки не дрогнут...

Вновь забывшись, Мстислав дивился тому, как вселенная вся целиком помещается в малом черепе. Там и небо со звездами, и толпы мыслей, и свитки памяти неизмеримой длины живут вольно, не теснясь, не толкаясь. Там же меры зла и добра, там же совесть — советники души, без которых ничто невозможно.

Не обманул ли печенег? По их вере, можно чужого как хочешь обмануть. Нет, коль печенег клялся дружбой и ел вместе с тобой, он не солжет — небо накажет его

через совесть. У печенега хоть и своя, но есть мера добра, он человек. Нельзя быть лишь с теми, кто меры лишился.

Недавно чаша из русского черепа, пройдя много рук, досталась Тугену в наследство. И дух страшного воина, бродящий в степи без могилы, являлся хану во сне. На что печенегу хвалиться былыми победами — мы живем сегодня, и прошлого нет. Русь нависла над Степью, пусть русское вернется к русскому.

Опустив на кость шелковую подушку, Мстислав затворил ларец, и Туген раскрыл глаза. Русский князь не прикоснулся к родной кости, благородно не осквернив ни предка, ни себя.

Мстислав стянул с пальца перстень, в котором, схваченный чеканными лапками, сиял камень-самоцвет размером в лесной орех, и отдал Тугену — не плату, а знак дружбы.

Мы навязываем врагу долг нашей собственной крови, мстя за тех, кто пал в бою. Мстислав вспоминал слова философа, который назвал такую странную непоследовательность извечной, неизгладимой. Но сам он был свободен от желания мстить. Извечна война, но месть — плохой воин. Это кость, о которую ломают и зубы, и меч, это соблазн и призрак. Брат Ярослав горько обидел его по разделу. У Мстислава не было злобы на брата. По Мстиславу, брат, озлобленный борьбой со Святополком, забыл меру добра. А насколько забыл — дело покажет.

Как снимались с донцовского берега, князь Мстислав повестил, чтоб все брали дерево,— будет большой костер. Сложили его верстах в пятидесяти от реки. Забравшись на ершистую гору, Мстислав спрятал наверху нечто малое, закутанное в шелковый плащ. Князь ночевал у костра и перед рассветом сам запалил его.

Базилевс Никифор Второй прислал князю Святославу полторы тысячи фунтов золота в дар и просил помочь против задунайских болгар. Посол нашел русского князя в дни свободы после хозарской войны и не золотом его соблазнил, но мыслью о завоевании земель. Святослав пошел в Болгарию, и взял ее, и оставил себе, пожелав в городе Переяславце на Дунае сделать середину своих владений. Кто знает, думалось Мстиславу, что получилось бы, если б империя сумела, примирившись со Святославом,

сделать из него союзника? Но ромеи подкупили печенегов, те подошли к Киеву, и Святослав вернулся, чтоб разбить степняков.

Когда дед вернулся на Дунай, Никифора Второго не стало. Его предшественник был отравлен женой, гречанкой Феофано, которая, как утверждали, превосходила красотой Елену Троянскую. Став сама базилиссой, Феофано, по расчету, взяла в мужья-соправители полководца Никифора, бывшего на двадцать лет старше ее. Но вместо слуги нашла господина для себя и империи. Никифор укрощал знатных, отобрал лишние земли у духовенства. Их он смирил бы, но Феофано обещала родственнику Никифора Иоанну Цимисхию свою любовь и диадему базилевса за избавление и от этого супруга. Темной декабрьской ночью в снежную бурю Цимисхий в лодке подплыл к стене, ограждавшей Палатий с моря. Заговорщиков подняли наверх в корзинах, они прокрались в покои Феофано, ведомые евнухами, ворвались оттуда в спальню Никифора, у которого заранее выкрали оружие, и выместили на нем свой страх.

Наутро палатийская охрана и ближние сановники признали Цимисхия базилевсом, но, нечаянно для Феофано, столичное духовенство восстало под водительством патриарха. Цимисхию отказали в венчании на престол, пока он не очистится от подозрения в убийстве Никифора, пока не покарает убийц. Помощники Цимисхия отправились в вечное заточение, Феофано вместо нового мужа получила тесную келью в глухом армянском монастырьке, где монахини, не ведая и слова по-гречески, ужасались преступной затворнице. Цимисхий же дал клятву, что и в мыслях не лил крови Никифора, что Феофано обманом заманила его в страшную ночь, чтоб запутать в преступлении, и все свое немалое достояние, до последнего обола, отдал на благие дела. Таков был второй соперник Мстиславова деда.

Святослав не только побил печенегов под Киевом, но взял многих в войско. Вернувшись на Дунай, он заключил союз с мадьярами. Овладев всей придунайской Болгарией, Святослав перевалил через горы, взял в плен болгарского владыку Петра, но под Аркадиополем многоплеменное войско русского князя потерпело поражение. Вытесненный из Болгарии, Святослав был осажден в придунайском городе Доростоле, заключил с Цимисхием мир и ушел за Дунай с двадцатью тысячами войска. А потом с дружиной в несколько десятков мечей, поднимаясь

по Днепру, был он застигнут у порогов печенегами, подкупленными Цимисхием. Святославу исполнилось тридцать лет, таким он и остался в земном образе — ровесник своему внуку Мстиславу.

Буйствовало пламя, разрушая собственную свою опору, и твердое превращалось в летучее, видимое — в невидимое, и черными каплями скользило серебро, источаясь в огненные уголья. Иноплеменные дружинники, думая, что их князь приносит особую жертву, мысленно молились своим святыням. Немногочисленные русские шептали заклинания, так как в Тмутаракани больше, чем где бы то ни было на Руси, жило разных древних обычаев.

Никто не знал, чьи тени являлись Мстиславу, никто не знал, что сожигается. Пепел костра напомнил князю о Цимисхии. На четыре года этот базилевс пережил Святослава. Богатырь и удачливый полководец, Цимисхий, воюя в Азии, выражал недовольство евнухом Василием, которому доверил управление на время отсутствия. И собственный лекарь Цимисхия угостил своего господина тайным зельем. Оно, не имея вкуса и запаха, убивает верно, но медленно: не угадаешь, когда тебя отравили.

Мстислав знал, что греки боятся его, как бы не отнял он Таврию, и был осторожен с дарами таврийцев. Он не собирался ни завоевывать греков, ни мстить им. Не за что мстить-то, по совести. А дела его на Руси.

Кострище засыпали,— по обычаю, каждый старался нарастить новый курган. Хан Туген не делился понятной ему тайной совершенного Мстиславом обряда. По осени печенег послал своих окропить черную землю семенами степных трав, чтоб заросла она поскорее и успокоилась навечно голодная душа Святослава.

Достигнув русских пределов, Мстислав шел строго, за все щедро платил. Под Киевом городская старши́на дала пир прибывшим и браталась со Мстиславовой дружиной. А в город не пустили. Ярослав был на севере, но киевляне оставались крепки верностью старшему сыну Владимира, и Мстислав ушел на левый берег. Черниговцы приняли с честью тмутараканского князя. Младший Владимиров сын был им люб, а Киев черниговцу не указ. Немногим уступая Киеву в древности, немногим

Чернигов отстал и в обширности. Едва ли не день пришлось бы потратить пешеходу, чтоб, обойдя Чернигов, полюбоваться им со всех четырех сторон.

Мстислав не препятствовал выезду Ярославовых бояр, не тронул ничьего имени, обычаев ни в чем не нарушал и пришелся черниговцам по душе, как заказная рукавица на руку. Но со старшим братом никак не ладилось. Сколько ни пересылались послами, Ярослав твердил свое: тебе Муром, а из Чернигова уходи. Пока ты в Чернигове, любви между нами не быть. А раз нет любви, то быть войне, а там — как бог решит. Лето пошло на осень, осень на зиму. Ярослав, сидя в Новгороде, без спеха нанимал варягов, чтоб воевать с братом, а Мстислав удержал при себе дружинников-инородцев. Русские же земли жили своими заботами, не было нигде ни волнения, ни шума, ни какой-либо смуты. Русь оставляла князей спорить между собой своими же силами. На левобережье распоряжались Мстиславовы посадники, на правобережье — Ярославовы. Дела, большие и малые, шли своим порядком: киевляне по делам ездили в Чернигов, черниговцы — в Киев по своей полной воле и между собою не ссорились.

Минул зимний солнцеворот, холода покрепчали и сбавили. День нарос, вот уж и с гор потоки прошли, а там и отсеялись люди. Ярослав с наемной дружиной пошел речной дорогой на юг и в начале лета высадился у слияния Сож-реки с Днепром. Мстислав вышел из Чернигова на божий суд с братом: кто кого одолеет, того и правда будет. Так задолго до этого столкновения решались подобные споры на всем Западе, до берегов Океана, и долго еще предстояло подобное.

Сошлись под крепким городом Лиственом. В разноплеменной дружине Мстислава братались яс и касог с хозарами, с беглым ромеем, с печенегом, с аланом, с абсагом. Было с ним небольшое число своих северских молодцов, охочих до драки. Такое же примерно число новгородских бобылей пополнило варяжскую дружину Ярослава. Русская земля встала стороной, не вмешиваясь, не помогая и не препятствуя,— пусть бог их судит.

Не дожидаясь дневного света, Мстислав послал своих на спор — у правды глаза зоркие, она и в темноте видит. Северских охотников Мстислав поставил в середине. Почуяв, что они связали пеших варягов, главную силу Ярослава, Мстислав повел тмутараканскую дружину и сдавил варягов с боков. При свете молний разыгравшейся

грозы был совершен быстрый разгром Ярослава. Бежавших не преследовали.

Наутро Мстислав, объезжая поле, заметил:

— Вот варяг лежит, а вот — северянин, своя же дружина цела.

Летописцы записали слова; впоследствии книжники долго попрекали ими Мстислава, узрев пренебреженье к русской крови. Если б книжники сами воевали не за столами, а в поле, то поняли проще, как было: даже в малом бою, как под Лиственом, полководец сбережет для решения битвы сильнейшую часть войска. А этой частью у Мстислава и была избранная из лучших конная дружина. Но почему Мстислав не преследовал побежденных? О том книжники и не подумали.

Ярослав вернулся к устью Сожа, дождался своих беглецов из-под Листвена, погрузился на лодьи и отправился в Новгород. Спор решился, и Ярослав не сделал и малой попытки остаться на юге.

Мстислав со спокойной совестью мог устраиваться в Чернигове навсегда. Он, зная Степь, стал заботиться о восточных и южных рубежах Руси. Брату Ярославу он предложил вечный мир на тех же условиях: тебе — правый берег Днепра, мне — левый. Ярослав не мирился, выжидал, Русь же жила, как жила. Ни один из путей не был прерван, никому не чинили препятствий на дорогах, нигде не было стражи, которая приказывала: не ходите туда, там земля Ярослава либо Мстислава...

Следующим летом князь Ярослав приплыл прямо в Киев, ведя сильное ополченье из новгородцев. Киевляне радостно встретили любимого ими князя. Войны же не получилось. Новгородцы пошли с Ярославом для чести его, чтоб не стоять ему перед братом голым, брошенным. Киевлянам тоже не было за что класть головы. Много собралось бойцов, много оружия сверкало над Днепром, но ни одна стрела не полетела и ни одного панциря не звякнуло под мечом. Вняв уговорам своих, князь Ярослав переправился на левый берег Днепра и встретился со Мстиславом в Городце, что против Киева. Мир был заключен на том, с чего начал Мстислав. Младшему брату досталось левобережье, старшему — правый берег.

Вскоре братья вместе пошли на ляхов. Русские червенские города, захваченные ляхами при Святополке Окаянном, вернулись к Руси. Литовцы, досаждавшие Смоленской земле, были побиты и оттеснены. Князья вер-

нулись с большим числом захваченных пленных. Поделив живую добычу, они сажали их в своих уделах, заботясь о благе их во всем, чтоб стали они русскими. Как дальновидные правители, о новых своих они печаловались больше, чем о коренных.

Печенеги, опасаясь Мстислава, сидели в Степи смирно, удерживая свою вольницу от набегов и от нападений на водных и сухих путях в Тмутаракань и Таврию.

Будто бы все бог дал Мстиславу — удачу, разум, телесную силу с красотой, храбрость и щедрую душу. Замечали люди — молод еще князь, а становится хмур. Болеет? Нет, здоров и силен. Гадали — даровал Мстиславу бог высшую радость: жену прекрасную и добрую, но детьми не пожаловал — давал и брал во младенчестве. Только один сын, Евстахий, прошел через опасный возраст, но и тот умер в раннем отрочестве. Говорили люди: ужель род Мстислава окончится? И вспоминали притчи-сказания о неполноте земного счастья, которое никогда и никому еще не бывало дано без изъяна. Может быть, о том думали и князь с княгиней?

Старшие о младших так говорят: им расти, а нам стариться. Детям подобает, оплакав родителей, чтить могилы, но горя не длить. Что сталось бы с человеческим родом, когда смерть старших лишала бы младших желания жить! Благое забвение тупит скорбь сына и дочери. Иное бывает с родителями. Княгиня Мария, смиряя горе молитвой и надеждой найти на небе своих маленьких, удалялась все больше от мирского. Князь Мстислав, добровольный и строгий вдовец при живой жене, стал любителем книг и мудрых бесед, чередуя раздумья с охотой. Замечали люди, что он зачастую отпускал зверя, что предпочитает он тишину черниговских лесов страстной погоне и любимому прежде единоборству с медведем.

На охоте Мстислав заболел огненной лихорадкой и покорно скончался под небом, завещав коснеющим языком:

— Слушайте брата Ярослава, он Русь любит более меня.

Черниговский епископ начал погребальное слово:

— Почему так случилось с тобою, Мстислав? Будто бы некто, отправившись полный силы в путь дальний, сказал, не пройдя половины пути: нет, не хочу я больше идти...— Тут, прервав свою речь, владыка закончил:— Умер князь наш, давайте же плакать.

И сам плакал, и плакали люди, и вспомнили люди потом, как слезы лил и сам Ярослав — впервые.

Приняв выморочное наследство, князь Ярослав оставил в левобережных городах братниных посадников, а дружину Мстиславову взял к себе, ибо не было вражды и соперничества между боярами обоих князей.

Печенеги, со смиренной опаской взиравшие на Мстислава, решили, что настал их час, и в следующем, 1036 году пошли на Киев. Ярослав побил Степь в поле. Без задержки и без усталости Русь преследовала степняков долго, настойчиво. Тем и завершился последний прилив печенегов. Прежде уже надломленный в сражении при Альте, печенежский хребет был окончательно сломан. О печенегах забыли.

Русь подавалась на север, на восток, в малолюдные, пустые леса, разыскивая себе волю, которой, сколько ни дай, все мало. Сталкивались с иноязычными, дрались, мирились, менялись, овладевали. Иноязычных было немного, слабые, разрозненные между собой, из них многие не знали самого простого — железа и хлеба. Зато в реках водилась рыба, будто в садках, зато дикая птица казалась непуганой, дикий зверь удивлялся двуногому гостю, и повсюду ловились пушные зверьки.

На Волге, при устье реки Которосли, князь Ярослав поставил новый город и дал ему свое русское имя. В другом краю, на северо-запад от Пскова, превратил невидное поселенье в крепость, которой дал свое крещеное имя: Юрьев — от Юрия.

Редкий правитель хочет зла людям, но редкий умеет делать добро. Так говорили ближние наблюдатели, которые невольно принимают дело за слово, слово — за дело. Кто подальше, тот об одном просит бога — чтобы ему не мешали.

Говорили, что князь Ярослав строил храмы, будто бы мог он что-то построить без общей воли, и не одних киевлян, но и других русских.

Отесанные камни кажутся одинаковыми. Нет, с каждым ударом меняются усилие руки и сопротивление камня. Прекрасно только разнообразие. Киев строил храмы, как хотел, удивляясь и радуясь. Князь Ярослав не построил для себя крепкого замка, чтобы в нем засесть со своими. Строили храмы — для всех.

Надуваясь изнутри, Киев лился за стены. Земля дорожала, особенно в городе. Наследники, владельцы обширных усадеб с просторными дворами, с садами, с ого-

родами между плодовых деревьев, уступали новоприезжим кусок-другой земли за хорошие деньги. Не жаль. Через год, через два кляли поспешность: выждав, взяли бы вдвое.

С Сожа, с Припяти, с Десны, с верхнего Днепра плыли бревна и доски, готовые срубы домов. Сами расшивы были собраны кое-как, только доплыть, и тут же продавались для поделок, на дрова. Все покупалось.

Друзей князя Ярослава, новгородских плотников, киевляне встречали внизу, у пристаней, на ходу подряжая приезжих. Собрать дом просто. Никто не хотел простоты. Хотели, чтобы легло дерево к дереву, чтобы окна глядели, как очи, не щурясь, чтобы дверь — так уж дверь. На крышах коньки, петухи, звери, которых никто не видал, но живые. Хозяйка голову кое-как не повяжет, оконный наличник — повязка. Резные надворотные крыши, крылечные балясы, калитки.

Не от тесноты — для красоты ставили два яруса, в третьем — светелка. Печи лицевали обливным кирпичом. В домовом строении камень выталкивал дерево. Равнялись по храмам.

Кроме городской земли и мастерства, все дешевело. Отовсюду, веря бездонному киевскому чреву, везли всякий товар, от зерна и муки, говядины, дичины, солений, копчений, мочений, кож, мехов до пушнины, до щепного товара ценных древесных пород, до женских безделушек, украшений, забав, до детских игрушек.

Все покупали всё. Цены сбивались, но никто не страдал: рос оборот; получая меньше, каждый больше изготовлял, больше сбывал — отсюда прибытки.

Золото и серебро притекало, растекалось, вновь собиралось. Русская гривна сверкала вместе с монетой всех стран. Простодушному или чрезмерно умному могло показаться, что Киев лежит в середине земли, как гвоздь, зацепив за который петлю шнура, строитель очерчивает круг.

На севере конец киевского шнура ловили шведы, норвежцы. Шведский король Улав, или Олоф, отдал Ярославу свою дочь Ингигерду. Королевна принесла в приданое Корелию, и родственники ее верно служили Ярославу посадниками в северных городах. Другого короля, норвежского, тоже Улава — Олофа, Ярослав кормил в Киеве, когда норвежцу пришлось бежать от своих. Он с необдуманной поспешностью принуждал креститься людей, думая, что они его подданные, они же оказались своими

собственными. Сын его, будущий норвежский король Магнус, воспитывался добрым правилам на дворе князя Ярослава.

От ляхов князь Ярослав вернул сторицей потерянное ранее Русью. В Польше был беспорядок, на благо соседям. Успокоилась Польша. Новый король породнился с Ярославом, отдав свою сестру в жены Ярославову сыну Изяславу, а сам просил себе в жены сестру Ярослава Доброгневу — Марию и отдал за нее последних русских пленников, уведенных королем Болеславом по попущенью Окаянного Святополка. Гаральд, дядя норвежского королевича Магнуса, долго жаловался стихами на холодность русской красавицы Елизаветы, дочери Ярослава, пока не склонил ее сердце рассказами об удивительных своих похожденьях. Скрыв свое звание, Гаральд служил базилевсам, водил полки по Европе и Азии, воевал с арабами и турками на теплых морях. Звенели мечи и ломались копья в его рассказах. Через много лет, став норвежским королем, старый уже, Гаральд был убит в попытке захватить Англию.

Король венгров Андрей добился руки Анастасии, дочери Ярослава. Генрих Первый, французский,— Анны. Этот брак делал честь французу, королю только по имени, зажатому между вассалами более сильными, чем король.

За обиды, причиненные русским купцам, князь Ярослав послал морем сына наказать Восточную империю. Бури помогли грекам: русские разбили их на море, но на обратном пути много русских кораблей было выброшено на греческий берег. В залог мира базилевс Константин Девятый Мономах предложил Ярославу породниться. Сыну Всеволоду была дана дочь Мономаха, светловолосая, сероглазая, белокожая. Тогда греки еще не испытали турецкой пяты.

Так жила Русь при князе Ярославе с севером, западом, югом, со странами, хорошо известными. Восток был как открытая дверь в неизвестное.

Ярослав насыпал валы, защищаясь с востока. Продолжая недавний труд отца и давних князей, он заботился о крепких стенах городов. Знал, что сами крепости не спасут, как не спасают они греков. Но крепостями он шел на восток, селил пленных на восточных дорогах. Осаживал на границе берендеев, торков, печенегов и прочих, названья которых переводились по смыслу: потерявшие дорогу, сбившиеся с пути. Никто не прихо-

дил с востока с единством обычая и речи, нашествие рассыпалось пестро-племенными осколками.

И будто бы делал, и будто бы трудился князь Ярослав, пока не понял — не трудился, не делал, а жил, как умел, старался — и только.

Пониманье обозначило приход усталой старости. Тогда старый князь поспорил с летописцами, внушая им — не я делал. Не убедил. Книжники писали, как им легче было писать. Подражали ли они старым писаниям, не могли ли иначе, но сколачивали события, как тележник собирает колесо, и сажали собранное на чье-то имя, как сажают колесо на ось.

Что спорить, только устаешь от споров. Ярослав устал, сон не давал силы. Больше он не ездил верхом, забылась охота. Жалели его. Он знал, но не искал сожалений, давно он вырос из тех, кого можно и нужно жалеть.

Помнил разговор двух стариков, услышанный в юности.

«О смерти-то думаешь?» — один спросил.

«Нет,— ответил другой.— А ты думаешь?»

«Думаю...»

«И что же?»

«Страшно».

Много, ох много забылось, а такое запомнилось. Сам Ярослав часто смерти боялся. Сосчитай! Не сосчитать, памяти не хватает.

Закончив беседы с книжниками, которых он не убедил, Ярослав перестал бояться смерти.

Есть время сеять, есть время убирать жатву; есть время жить, есть время умирать. Так писал человек из-за великой любви к жизни, часто думавший о смерти, ибо был он от смерти далек, и боялся ее, и баюкал свой страх. Человек не семя, а жизнь не жатва, из дел человека получается иное, чем он замышлял, и пусть тебя осуждают, и пусть тебя украшают делами, совершившимися при тебе будто бы по твоей воле, что тебе!

Почти всю жизнь князь Ярослав хромал, не замечая хромоты. Ныне ему не хотелось ходить, мешала хромая нога — пусть мешает.

Надоело говорить, распоряжаться, все он делал через силу, и привык, и делал через силу, про себя усмехаясь: надолго ль тебе будет нужна привычка? Не боялся он умирать, и в этом была его радость, нет, какая же радость, проще и лучше — покой.

Ему говорил посол императора Германской империи:

— Твое величество совершило единственное в мире и неподражаемое дело. Все в Европе собирали законы былой Римской империи и клали их в основу своих законов. Ты собрал законы твоего народа, не внес и слова чужих законов, поэтому твои законы легче исполнять, чем наши.

Плохая жизнь, когда правда есть лучшая лесть. Германский посол заботился, чтобы Русь не усилила своими союзами чехов и ляхов, и льстил правдой русскому князю.

Стало быть, кто назвал поле — полем, реку — рекой, гору — горой, тот совершил великое дело? В русском законе — в Русской Правде собрана еще раз правда русских обычаев. И это неподражаемо? Германцы мастера на выдумки, Ярослав читал их законы: древнее слито с новым, недавнее со старым сплетено. Но — прочно все, проткнуто шильями, сшито, как дратвой.

Старый князь смотрел на германского епископа, посла императора. Хватит Ярославу и греческих епископов. Своих нужно ставить, только своих, спасибо послу. Завещал бы это старый князь, будь он еще далек от смерти. Но был близок и знал тщету завещаний.

«Все они почувствуют себя вольными, когда я умру совсем,— думал Ярослав,— такими же вольными, как дерево, которое считает, что само шелестит листьями, а не ветер».

Тогда-то он и полюбил поздней любовью своего брата Мстислава, который, будучи младшим, умер задолго до старшего, хоть и был богатырь. Было время, вскоре после смерти Мстислава, когда возник раздор с греками. Ярослав подумал: хорошо, что нет уже брата. Ярославов посадник, сидя в Тмутаракани, издали попугивал греков, но умеренно. Обмен и торговля не прерывались. Русь не страдала от разрыва с империей, таврийские греки от страха не смели наживаться против обычного. Мстислав же, думал тогда Ярослав, взял бы себе всю Таврию, а она не нужна. Жаль брата, пришел бы он в Киев, принял великое княжение. Ныне же — кому отдать?

Хотел бы — никому. Нельзя так. Может быть, Всеволоду? Не будут его слушаться. Заранее князь Ярослав рассадил сыновей по старшинству, переделывать не будет. Иначе начнут ссориться, будут толкаться своими дружинами. Надоедят людям, люди их прогонят, земли останутся разделенными, начнут собираться, пока не установят старый порядок: старший наследует старшему, по обычаю, свобода бывает только в обычае, а без свободы

нет и жизни, погибнет Русь, изотрут ее, ибо она без свободы истлеет изнутри.

Ярослав не приказал старшему своему Изяславу быть после отца единым князем Руси, хотя мог при себе приказать, мог, собрав всех сыновей, обязать по смерти его взять Изяслава как отца и связать их клятвами. Знал он соблазны и не хотел обречь сыновей на клятвопреступление.

Заранее, еще не познав ощущения смерти, князь Ярослав утвердил Изяслава в Киеве, Святослава — в Чернигове, Всеволода — в Переяславле, Вячеслава — в Смоленске, Игоря — во Владимире-на-Волыни. Сделал так, чтобы все они закрывали Русь с востока и юга от Степи. Новгород будет за Киевом, Тмутаракань и земли к востоку от Днепра — за Черниговом, Ростовская земля, Белоозеро и Приволжье — за Переяславлем. Уходя, изменять не хотел.

Митрополит упрекал старого князя:

— Нет силы в разделении. Установи закон о наследии Руси по примеру других государств. Быть кесарем-царем старшему сыну, когда государь умирает, не оставив распоряжения. Либо другому сыну, избранному отцом по закону. Либо постороннего рода человеку, коего государь укажет, усыновит, получа благословение Церкви. Не дели Русь. Не будет единогласия между твоими сыновьями, хотя и повелел им слушаться старшего и в очередь старшинства занимать киевский старший стол.

— Не будет,— согласился Ярослав.— Единогласие бывает лишь на кладбищах между могильными камнями: не спорят они. Сыновья же мои живы, но Русь я не делю. Как научить сыновей, чтобы Русь их держалась, не знаю. Не знаешь и ты.

Замолчал, вспоминая, сколько раз сидел в лодьях, которые гребцы из всей мочи гнали вверх по Днепру. Всегда спасался в добрый к нему Новгород. И дивился терпенью людей, что не бросают его, неудачливого. Будто любимая игрушка он. Не двумя тысячами гривен снятой подати купил же он их!..

Последние слова, видно, вслух произнес, так как митрополит переспросил:

— О чем ты? Не понял я...

— Да все о том, все о том,— ответил Ярослав.— Жесткие вы, духовные власти, на догме стоите. От жесткости

до жестокости — звук один, буква малая. Писец, не углядев, лишнюю букву напишет либо упустит. А мысль, а-смысл! Вам бы все законы писать, приказывать, требовать. Ваше ли дело? Ваше дело учить, объяснять, добром убеждать, не законом.

— Церковь велит учить, убеждать. Она же велит приказывать и наказывать.

— Какая Церковь? Христова?

— Да, Христова,— утвердил митрополит.

— Нет,— возразил Ярослав,— власть духовно-светская, в греческой империи слитная. Не Христова церковь столько гнала, истребляла. Из-за этого так долго русские от вашей Церкви отворачивались. Веру мы взяли через вас, а законов не взяли. Таинство благодати при посвящении в сан взяли мы, а обычаи греков не взяли.

Митрополит сокрушенно закивал головой в черной скуфье.

— Так и патриарх в Царьграде кивал, когда я, собравши епископов, просил избрать блюстителем русской митрополии достойного из них, они же избрали русского, Илариона. Русь есть часть православной Церкви. Законы на Руси русские, русскими будут. А ты проповедуй, учи доброму в духе. Препятствуют тебе? Нет.

— Восточная империя была и будет во веки единственным и величайшим примером, кладезем мудрости всем государям. Как в лучшем, чему надлежит подражать, так и в плохом — во избежание,— отозвался митрополит.— Ты, кесарь-царь, по себе установи единодержавие, на благо. Держа при себе советников, государь должен один управлять.

Вздохнул князь Ярослав, пришла его очередь покивать головой. Вспомнилась драгоценная Псалтырь, богато расцвеченная живописцами, подарок базилевса Константина Мономаха. Базилевс Василий, прозванный Болгаробойцем, на рисунке стоял в доспехах, с острым копьем, опираясь на меч. Над кровожадным правителем изобразили Христа, по бокам — херувимов, а внизу — подданных: фигурки крохотные, ползут на четвереньках, как щенки. Кругом головы базилевса сияние, как на иконах. С благим намереньем творили живописцы, молитвенно трудились, а что изобразили? Кощунство над Христом, над святыми, над верой! Не видят греки, собой ослеплены. Еще в Ветхом завете было сказано, что бог не дал Давиду построить храм, ибо Давид много крови пролил... Не захотелось напомнить. Молодые больше уверены

в себе, чем старики, ибо молодость, не имея опыта, решает от разума. «Но что разум без опыта?» — в мыслях сам с собой обсуждал Ярослав, и, сидя рядом со смертью, был еще жив, еще в памяти, и продолжал свою речь. То была исповедь, чего не понял жесткий митрополит, но князь не нуждался в сочувствии.

— Видал ли ты, отец, как золотильщик, построив легкие подмости, лазает по куполу, будто муха? — спросил Ярослав.— Что до золотильщика и храму, и куполу! Ничего он для них, они и без золота простоят. Не так ли и мы, князья? Лазаем поверху, видно нас, и кажется, что в нас все заключено. А купол дрогнет и золотильщика сбросит. Земля нас терпит по вековому обычаю, ибо привыкла иметь в князьях нужду. Не во мне суть, не в Ярославе. Но что́ я могу защитить и от кого, от чего. Меня ли Новгород не прощал, меня ли не защищал! Пришел Мстислав требовать доли в отцовском наследье. Собирался я против него — Новгород и не глядел на меня. Иди, пусть вам с братом будет божий суд. Я шел под Листвен с наемными варягами. Сколько-то было со мной русских, новгородских, из бобылей, охочих подраться. Но из домовитых ни один не бросил семью, чтобы мне помогать. У Мстислава была дружина из нерусских, да русские такие же, как у меня, кто на драку бежит, едва позовут. Им и досталось, пока Мстислав не сбил своей дружиной моих варягов. Прибежал в Новгород, новгородцы меня утешили: не робей, поможем. Зимой я пересылался со Мстиславом, а летом новгородцы спустились со мной в Киев большим войском. Зачем? Чтобы мне стыдно не было. Они тоже пересылались со Мстиславом, а мне сказали: будем вас добром мирить. Добрый он был князь, и брат добрый. В ссоре я был повинен, не он.

— Ты прощаешь брата как христианин,— одобрил митрополит и предложил:— Написал бы ты через писцов наставление сыновьям, как мне рассказывал о себе. Они бы вынесли себе поучение, как править.

— Знают они, что добро, что зло,— тихо начал Ярослав,— различают черное от белого, от красного...— и не докончил. Губы шевельнулись, желанья не стало. Не нужно. Митрополит упрям. Не понимает, что другие упрямы не менее. Каждый держится за привычное. Пока время не переменит людей, положение их, достатки и все, от чего у человека мысли, желанья...

Дешевый спор — о словах. Духовные больше других грешат словесными спорами из книг, такое их дело.

Плотник рубит топором, книжник языком пилит душу. Читал Ярослав духовные и светские книги. Чтение дает знания, но ума никому не прибавит, коль его мало. Вот ученый человек митрополит, а пустяка не поймет: за то Ярослав брата Мстислава при жизни его не любил, что был перед ним виноват. В сторону говорит духовный отец, на ветер...

Слова и дела, дела и слова. Уже не различал князь Ярослав разницы между ними, ибо мысли его чудесно воплощались в видения дела. Он уже встал на порог. Ноги как ледяные. Или кажется? Не хочется пошевелиться, чтоб посмотреть рукой, язык не хочет сказать. Взять легко, любить трудно — терпения много нужно для любви. Не стало у старого князя больше любви ни к чему, остыл он совсем, остались бесполезные знания себя и людей. Хорошо и легко, и пора, пора...

И глазами позвав митрополита, шепнул коснеющим языком:

— Ухожу. Читай отходную...

Книжник заранее знает, что кому делать, зачем делать. Потом обвинит — не так делали, будто бы можно сделать жизнь из заранее сказанных слов?

Духовные указывали и осуждали. Но не было образца, на который указывали, не было единой, благодетельной, самодержавной Империи. Не бывало и людей, кто поступал бы по-писаному, даже когда сам творил писания к общему примеру. Из действительно сущего — из Империи, из людей — с помощью слов творили истинных ангелов: голова, крылья, руки, грудь, а прочего нет, прочее отсекается, как ненужное.

На них указывали, во имя их осуждали. Русь же, молясь по-новому, жила старым обычаем. Думала, что живет, и жила свободно, платя цену, называемую усобицами, беспорядком. В свободе трудно держаться порядка.

Как только не определяли человека в отличие от других живых существ! И двуногое без перьев, и общественное животное, и разумнейшее во всем мире существо среди других... Кем бы ни назвать человека, есть у него одно поистине дивное чувство: уметь видеть то, чего нет, и не видеть того, что есть.

Расписывая стенной живописью киевский храм Софии Премудрости, живописец Алимпий, известный

мастер, разговаривал с Никифором, начинающим мастером, недавним своим учеником.

— Ты, Никифор, тайну ищешь в живописи,— говорил Алимпий.— Подумай: собака, лошадь, кошка как ни умны, но не видят ни нарисованного, ни изваянного. Глаз же у них куда зорче, острей людского. А человек видит. У человека глаз добавляет свое к нарисованному. Вот тебе и вся тайна. Мы ко всему прибавляем свое и говорим: знаем истину. Однако же каждый знает истину, но — свою.

— Не богохульство ли? — робко спросил Никифор.— Этак можно дойти до отрицания веры.

— Да я не о вере, о людях,— засмеялся Алимпий.— Лики Христа, богоматери, святых пишут на иконах поразному. Ты против этого не можешь спорить. Найди, вырази по-своему образ — вот и открыл тайну. Поверят тебе, в нарисованное тобой, люди — ты мастер.

— Я бога силюсь видеть в духе,— сказал Никифор.

— Зри в духе, но пиши в красках земных, коль живописец. А еще ты должен всегда знать, где добро, где зло, иначе не будет в руке силы,— посвящал в тайну Алимпий младшего товарища.

— Зачем это, не пойму? Все знают, где добро.

— Нет,— возразил Алимпий.— И вот тебе пример: для князя добро, когда казну набил, а для людей добро, когда у них деньги, и нет им печали, что княжья казна пуста.

— Князю лучше судить.

— А другой говорит — мне лучше. Я, мол, хлеб ращу, ремесло у меня, деньги мои.

— Отдают же...

— Нельзя иначе,— сказал Алимпий.— А не захотят, не отдадут. Так где тут добро, а где зло?

— Как же мне быть-то? — потерялся Никифор.

— Живи в чистоте,— приказал Алимпий.— Взирая же на иконы древнего письма, молись, прося бога о помощи. И проникай в образ. Христос, бог наш, описан плотию, а божественностью не описан. И я, человек во плоти, молясь на иконы, не краскам молюсь, но сквозь целостность образа возношу свой дух ввысь. Здесь тайна. Посему не утруждай ум словами, но душу свою зажигай. Истинно тебе говорю: мысли, работая, что телесность есть лишь предлог...

По отцу и сыну честь. Никто не дивился на Русь, которую Ярослав будто бы раздал своим сыновьям. Не

было раздачи. Все осталось на своем месте, ни одно вече не собралось, дабы обсудить разделенье открывшегося наследства,— не было наследства. Не шевельнулись беспокойные новгородцы. Еще более беспокойные, но менее дружные киевляне не увидели повода для шума и жалоб. На княжом дворе старший сын заменил отца. Обычай был за него, как привыкли от времени, когда род — большая семья — был и владельцем угодий, и собственным своим судьей.

Каждый мог по-прежнему заниматься своим делом так, как знал, умел и хотел. Митрополит — грек, с греческой мечтой о возможности на Руси единовластья, будто бы такое единовластье существовало в империи,— не обратился с речью о своей мечте ни к кому, разве что к какому-либо соотечественнику.

Добровольные вестовщики-глашатаи не судили о распоряжениях Ярослава, духовные отцы в храмовых проповедях не вмешивались в светские дела. Ярославова дружина поделилась своей волей между сыновьями, по старине дружинник сам себе голова.

Ярослав умер. События же не было: прах вернулся к праху.

Вскоре, в 1056 году, за отцом последовал Вячеслав Ярославич, который сидел в Смоленской земле. По общему совету между четырьмя князьями Ярославичами, младший из них, Игорь, перешел в Смоленск, а освобожденный им Владимир-на-Волыни был дан Ростиславу Владимиричу, сыну Владимира Ярославича.

Владимир Ярославич скончался при жизни отца. Он не занимал, как понятно, старшего киевского стола, и его дети, по этой причине, выпадали из обычной очереди наследования. К таким применяли названье — изгой.

В русскую старину изгоями называли родовичей, которые почему-либо отрезались от рода. По своему ли желанью они уходили из рода, устраиваясь жить своей волей, за свой страх, или изгонялись за проступки, они одинаково уподоблялись птице, лишившейся пера и пуха: гоить — значит ощипывать птицу.

Изгоями называли людей, честь которым не шла по отцу. Изгоем оказывался холоп, получивший вольную, до времени, пока не устроит себе нового быта. Неграмотный попов сын, не получивший священства, тоже изгой. Научись, дадут тебе сан, будешь как отец.

Изгойство пристало к князьям по мере естественного увеличенья их рода. Князьям-изгоям приходилось довольствоваться милостью старших, равноправие сменялось подручничеством. Многие довольствовались положеньем дружинника, начиная с младшей дружины, но не всем такое приходилось по душе.

Посадив во Владимире Волынском Ростислава, князья-дядья будто бы поставили изгоя в один ряд с собой, и поступили они так не случайно.

Иногда говорят, что вышел сын ни в мать, ни в отца, а в проезжего молодца. Не в укор матери: людская порода изменчива, в том-то и дело. Всей стáтью Ростислав Владимирич пошел во Мстислава Красивого, брата своего деда Ярослава, того, кто княжил в Тмутаракани, а потом взял себе днепровское левобережье и умер без потомства.

Во Владимир к Ростиславу потянулись известные бояре-дружинники. Князь поглядывал на ляхов, ожидая случая людей посмотреть и себя показать. Смерть Игоря Ярославича в Смоленске изменила виды Ростислава. Он счел себя вправе быть перемещенным в Смоленскую землю, коль, по всей правде, дядья поставили его в один с собою ряд. Но был он оставлен во Владимире и понял, что положенье его не имеет прочного будущего. Придет день, и дядья уведут его из Владимира, чтобы поставить там хотя бы старшего из сыновей Изяслава Киевского. «Кто ж я? — спросил себя Ростислав и ответил: — Подручник-изгой» — и оглянулся вместе со своими дружинниками на Тмутаракань.

Малый кусок русской земли, остров за Диким полем, который приторочили к Руси, как всадник торочит суму к передней луке седла, вошел после кончины Мстислава в Черниговское княженье. Святослав Ярославич Черниговский посадил своего сына Глеба держать в Тмутаракани золотое Сурожское горло.

Ростислав появился в Тмутаракани будто бы неожиданно. Благоразумный Глеб Святославич, до которого доходили слухи о пересылке между Ростиславом и коренными тмутараканцами, уступил без драки место своему двоюродному брату: у Глеба не было в Тмутаракани ни друзей, ни врагов, а у Ростислава нашлись благоприятели.

Глеб вернулся к отцу в Чернигов, и Святослав пустился сам выгонять племянника-самовольца. Дойди дело до боя — еще неизвестно, за кем осталось бы поле. Память

о Святополке Окаянном была еще горяча. Ростислав был и умен, и благоразумен, чтобы опозорить себя усобицей и порвать связь с Русью. Такое Тмутаракань поставила ему в заслугу, а дружина воздала верностью.

Князь Ростислав ушел с дружиной к востоку, за кубанские камышовые заросли — плавни. Святослав застал в Тмутаракани тишь и мир. Чудно! Размахнулся, а бить некого. Говорил Святослав с тмутараканскими боярами. Те свое: мы в княжеские дела не входим, если нас князь не обижает, так мы по старине привыкли, а князь нам нужен для защиты, ибо мы богаты, на жирный кусок всяк рот разевает. С тем Святослав и ушел домой, оставив Глеба на княжом дворе, будто бы ничего не случилось.

Ничего и дальше не случалось. Едва неделя минула — опять Ростислав в Тмутаракани. Говорили они с Глебом дружески, ели-пили вместе несколько дней, судили о княжеской жизни. Ростислав, будучи старше Глеба, побеждал младшего в спорах и проводил его с честью в Чернигов. Глеб ушел без злобы, тмутараканцы погордились сноровкой испечь пирог по своей воле, не ломая печь, а Ростислав — умением добраться до меду, не давя пчел по-медвежьи.

Говорят же — дважды одного и того же не бывает. И Святослав Черниговский, которого тмутараканское дело прямо касалось, и старшие князья молчаливо признали за Ростиславом Тмутараканское княженье. Выждать нужно, предоставив решение времени. Излишней поспешностью дело испортишь, пусть же оно само себя разрешит. Для Руси была нужна Тмутаракань сильная и спокойная, и с Тмутараканью и через Тмутаракань шел сильный торг, на Руси много народа кормилось Тмутараканью. Свою семью Ростислав оставил во Владимирена-Волыни. Обижать ее было не за что. Да и не следовало. Княженье осталось за Ростиславом.

По сурожским степям прошел слух: в Тмутаракани воскрес князь Мстислав Красивый, Мстислав-богатырь. Отозвалось на горах. Ростислав ходил по Кубани, по Тереку, до Каспийского моря. С малой кровью князь наложил старую дань на касогов. Ростислав ходил повсюду, знакомясь с землей, в горных долинах он останавливался не перед людьми, а перед кручами, недоступными для коня.

На песнь красавицы тянет горячую юность бурное, но краткое кипенье молодой крови. К Ростиславу, как

к Мстиславу, потянулись витязи разных племен, но одинаково способных к долгому накалу иной страсти. В Тмутаракани что-то готовилось, бродили новые силы, открывался простор для широких замыслов.

Воинственный будто бы князь и в книгах был начитан, и в жизни ласкался к людям, которых Восточная империя называла пребывающими у бога: к земледельцам, к ремесленникам, к рыбакам. Тмутаракань была еще островом, но у нее было все свое: хлеб, скотина, соль, рыба, железная руда. Не было меди, золота, серебра, но достояния Тмутаракани хватало, чтобы добыть их столько, сколько захочет. Или — схватить левой рукой, держа в правой железо. Князь Ростислав и дружина глядели на восток и на свой близкий север, в Дикое поле. А греки глядели на Ростислава с запада.

В сотне верст на запад от Корчева, в узком месте Таврии, лежал невидимый пояс тмутараканской границы: по кое-как приметным холмам, по сухим долинкам, прорытым когда-то речками, что ли. Здесь нет ни рек, ни ручьев, ни ключей. Найти колодезем сладкую воду — редкая удача. Чаще всего вода горьковата, но можно привыкнуть. Тут хозяева боятся обидеть прохожего. Было же: от горького проклятия обиженного посолонел колодезь и пришлось бросить именье. Жалел хозяин: хлеб родился хорошо.

Дальше — греческая Таврия. В ней, как в столице Восточной империи, населенье разноязычно, многокровно. Действует старая, греко-римско-византийская ухватка. Нет былой силы, осталось искусство. Старый певец и без голоса чарует уменьем передать смысл песни — престарелый борец валит соперника ловким приемом, обращая против него его же силу. Так имперские служащие не выпускали Таврию из своих хилых рук. Здесь империя обвивала подданных не беспощадным удавом, а лукавым плющом, который издали кажется милым, а юным поэтам является образом верности. Власть бывает обязана уметь допускать иное, соблюдая приличия. Как старый муж закрывает глаза на шашни молодки-жены. Побесившись, вернется к утру, печь истопит, все изготовит. Где же была? Подруга-де заболела. Кто кого обманул? Пусть смеются соседи!

Говорят, будто Власть имеет высокие задачи: правосудие, благосостояние подданных, сношения с другими

государствами, оборона и прочее. Главнее главного — собрать деньги подданных, истинный герой тот, кто выдумает новый доход в дополнение к прежним.

В городах греческой Таврии стояли гарнизоны из наемных солдат, и жителям не возбранялось иметь оружие. Войска было недостаточно для наступательных войн, но должно было хватить для обороны с помощью жителей. Несчастье сплачивает, и, вопреки мненьям толпы, в годы войн власти легче держаться. В мирные годы власти империи в Таврии населенье помогало иным способом — своей разобщенностью. Иудеи не ладили с хозарами, считая, что хозары искажают закон Моисея: еретик хуже язычника. Потомки готов свысока глядели на всех, кто не гот. Роды угров, торков, печенегов в степной части Таврии владели обособленными летними кочевьями и зимовьями на холодное время года.

По южным склонам гор, в горных долинах и в защищенном стенами юго-западном углу властвовал греческий язык, здесь прочно сидели греки и огреченные земледельцы — садоводы, виноградари — и ремесленники. Производимое ими, а не имперские солдаты, держало за империей степную Таврию. В портах Бухты Символов[1] и в глубоких бухтах севернее ее находились обширнейшие склады, пристани — собственность составлявших сообщества сотен купцов. Отсюда производилась торговля с Русью и со всем побережьем Русского моря.

Греческая Таврия походила на человека, стоящего на берегу моря. Толкните — и он сделает два-три шага, чтоб удержаться на ногах. Лишний шаг — и он упадет в воду. Он здоров, полон сил, но жизнь его зависит от силы толчка.

Узкая засушливая степь Таврии не привлекла к себе главные силы гуннских, угрских, печенежских, болгарских конных толп. Поэтому с ними даже дружили дружбой, основанной на подарках, на неразорительной дани, главное — торговлей, обменом обычного для кочевников на невиданное имя. Таврии был бы опасен оседлый сосед, не завоеватель, а присоединитель.

Мстислава Красивого греки любили, холили. Восхищались удалью, умом, дальновидностью. Дарили князю оружие, княгине — красивые вещи, ароматы, притирания. Узнав, что русский князь строит храм в память победы над касогами, правитель Таврии без намека от Мстислава

[1] Ныне — Балаклава.

прислал резчиков по камню — умельцев тесать и полировать мрамор — и сам мрамор, а также живописцев. Княгине — златошвеек по шелку. Приезжали умные собеседники для застольных бесед. Привозили книги.

Да, любили греки Мстислава. На руках висли с поцелуями, на губах его — чуткими ушами. Вдруг охладели, а Мстислав и не заметил. Ему было не до греков. Он в Тмутаракани растил свою славу, думая не о Таврии, а о Руси. Проверив, перепроверив, греки убедились: этот для Таврии не страшен, нечего на него тратиться.

Не рано ли отнята ласкающая рука? Слабые беспокойны и подозрительны. Правитель Таврии поздравил себя и начальника войск лишь после верной и не первой вести о том, что, взяв левобережье Днепра, князь Мстислав остается на Руси.

Мстиславовы посадники и посадники князя Ярослава, назначаемые для наряда людям и для порядка, не тревожили трепещущие души таврийских правителей. Побаиваясь самих тмутараканцев, греки наблюдали, чтобы в постоянных торговых приездах никого из соседей не обидели. Стало страшно, когда империя задела князя Ярослава. Обошлось.

После смерти Ярослава вместо служилого посадника в Тмутаракань приехал князь Глеб Святославич. Пощупав, что за человек, греки решили, что молодой князь для них безопасен. Этот — как все. Любит посмотреть на морскую пену да послушать волну — тоже диво нашел! — тешит на море свою душу острогой, на сухом пути охотится с коня. Глебу, по русскому обычаю, который на Руси заменяет закон, уготован прямой путь, по отцу. С Глебом были любезны: слова любви и подарки, как небогатому родственнику.

Очевидное не стареет и не надоедает: надоедают докучливые напоминатели, в чем сказывается греховность рода людского.

Правитель обязан предвидеть. Разве такое не очевидно! Тысячу лет в тысяче разных мест, не только в Таврии, изобретали способы предвиденья. К размышленьям о том, что может сделать такой-то мой сосед, если я не сделаю то-то или сделаю то-то, добавляли лазутчиков, ибо вызнать — тоже значит предвидеть. Дальнейшая специальность — лазутчик, и никакие другие.

Будущее старались вызнать наукой. Лучшие ученые занимались предсказаньями. Если следующим поколениям и казались смешными способы, применявшиеся пред-

шествующими, то ни одно поколенье не избежало пренебрежительной иронии последующего.

Нельзя обойти вниманьем ни соседей, ни подданных. Если войны не всегда были результатом ответа, который давало испытуемое будущее, то очень много тайных расправ и все казни за выдуманные вины были следствием предвиденья, осуществленного Властью.

Первое появление князя Ростислава в Тмутаракани было для таврийских греков интересным происшествием. Есть о чем поговорить дома, на торгу, со знакомыми. Есть случай показать знание Руси и русских. Насильственное, но бескровное удаленье князя Глеба увеличивало интерес к событию. Смена правителей — игра. Один так поставил войско, другой — так, первый пошел туда, второй — сюда. Переговоры. Подкупы.

Примеров было достаточно. А людей, рассуждающих о делах правителей, всегда больше, чем кажется, когда смотришь на толпу, дивясь общей тупости лиц: стадо баранов...

За успехом князя Ростислава последовала неудача его и — опять успех. Все время без крови. Такое придавало блюду вкус, тревожный своей странностью. Присутствуешь при споре на непонятном языке с непонятными жестами. Скифы... Скифами называли русских не только многие обыватели Восточной империи, но также историки, писатели.

Скифы сыграли добром в злую игру смены власти. Здесь что-то кроется.

Со времени ухода из Тмутаракани князя Мстислава Красивого прошло сорок лет[1]. Юноши, став стариками, нашли Ростислава похожим на Мстислава внешностью, воинской доблестью и доброй щедростью: щедрость правителя есть признак государственного ума или расчета.

За сорок лет сменилось несколько правителей Таврии. Каждый был обязан предвидеть по должности и в соответствии с правилами для правителей, созданными в Канцелярии Палатия.

Восточный ветер без устали тащил тучи во много слоев. Верхние устало тянулись, как караваны, выбившиеся из сил на многодневном пути. Нижние, грязно-седые, лохматые, спешили изо всей мочи, комкаясь, меняя

---

[1] 1024—1064 гг.

очертания каждый миг. Они сливались, разрывались, падали ниже и ниже, не сокращая буйного бега.

Буря. В море есть нечто вещее: оно обладает даром предчувствовать бури. Море начало волноваться с вечера, узнав о замыслах черной гостьи за половину суток до ее появления. Задолго до первых порывов ветра море стукнуло в берег, предупреждая: берегись! Бесспорно, ветер подимает волны. Но что поднимает волны, когда ветер еще так далек? Предчувствие моря. Оно знает и само производит волны, тем самым вызывая ветер?

Подобными рассужденьями Наместник Таврии Поликарпос встретил гостя, явившегося к нему по долгу службы, и закончил так:

— Кажется, я невольно вернулся к известному софизму: что было раньше — яйцо или курица? Что скажет мне об этом уважаемый стратегос?

Собеседик Наместиика Констаит Склир не был облачен званием стратегоса. Таврия была слишком мала, все ее гаризоны составляли немногим более полутора тысяч солдат. Не хватало даже на турму в пять тысяч. Склир носил звание комеса, или катепана, лишь потому, что таврийское войско составляло отдельиую армию. Поликарпос величал Склира стратегосом из вежливости. По тонкости столичного обхождеиья было принято повышать званье собеседника даже на несколько ступеней. Провинция не хочет отставать от столицы.

Склир усмехнулся:

— Мне угодно полагать, превосходительиейший, что оии существовали одновременно — и курица, и яйцо. Курица не могла появиться без яйца, яйцо не могло появиться без курицы, не так ли? Мы не соревиуемся в богословии, превосходительнейший, поэтому замкнем круг.

— Замкием, превосходительнейший,— согласился Поликарпос.

По привычке сияя благодушной улыбкой, он легко дарил Склиру и титулование, иа которое у комеса не было права.

— Замкнем, замкнем,— повторил Поликарпос.—Скажу тебе, я в известиом смысле хотел бы быть морем. Оно предвидит. А я, грешный? — Поликарпос сокрушеино ударил себя в грудь. И, по привычке изображая шута, похлопал себя по тугому животу.

Склир расхохотался. На его ие слишком вежливый смех Поликарпос ответил взрывом хохота.

С таким небом, с таким морем империя казалась бесконечно удаленной от Таврии. Вчера в Херсонесский порт вошли корабли, одолев менее чем за три дня расстояние от столицы до колонии. Старший кормчий пересек Русское море, пользуясь устойчивым южным ветром. Буря, казалось, решила подождать.

— Успех сопутствует храбрым,— приветствовал моряков Поликарпос и осторожно оговорился:— Как утверждают поэты, не более.

Тоже предвиденье. Чье? Кормчего? Корабли были в открытом море, когда буря созрела в Колхиде. Гнездо восточного ветра, как знали таврийцы, находится в ядовитых колхидских болотах.

С кораблями прибыл посланный из Палатия маленький человек с большим приказом, содержание которого Поликарпос ощутил еще не читая: базилевс Константин Десятый сокращал расходы. Вторично за недолгий срок своего величественного правления. Так он начал, так будет продолжать. Действия базилевса были понятны Поликарпосу, ведь они с базилевсом были старыми знакомыми, если такое слово применимо к отношениям между низшим и высшим. Впрочем, рассказывал же один кентарх — с гордостью! — как главнокомандующий, старый приятель, однажды дал ему такую оплеуху, что каска с головы кентарха отлетела на пятнадцать шагов.

Так ли, иначе ли, но Константин из знатной семьи Дук шагал по вершинам палатийских канцелярий от высоких званий к высшим, когда Поликарпос лез снизу, как червь. Он сам был свой предок. Нужно сказать правду: Поликарпосу помогали гибкий ум, способность учиться, быстрая сообразительность, ловкое шутовство, искренность. Натянутый, напыщенный Константин Дука покровительственно ласкал круглые щеки способного исполнителя. Угадывать мысли начальства — что это, предвиденье? Если Поликарпос и дерзал предложить что-либо свое, то лишь для потехи начальника.

И вот он Наместник, Правитель Таврии. Разве такое плохо? Известно ли, что для умных людей быть шутом пред высшими есть способ возвышаться не рискуя? Нет, неизвестно.

Бог наградил Поликарпоса умом, цветущим здоровьем. И пятью детьми, чем Поликарпос оправдал значение своего имени — Многоплодный. Впрочем, десятки миль исписанных им пергаментов тоже плоды.

Чем пополняет Константин Десятый секретную лето-

пись, изустный хронограф палатийских канцелярий? Есть мелочи быта базилевсов, которые не доходят до простых подданных, ибо разглашенье их опасно, а содержанье не будет понято: не поверят. По закоснелым мненьям подданных, великие — велики. Рассказывая им мелочи, приходится помнить правило: не говори кочевникам о горах, ты прослывешь лжецом на всю Степь.

Вот, например, Лев Исаврянин, Иконоборец. Сын селевкийского сапожника, он, начав служить в войске, поднимался к диадеме снизу, со дна людского моря. Друзья таких людей, как листья, осыпаются наземь с ростом дерева. По какому-то случаю Лев, будучи уже базилевсом, вспомнил о некоем Дамиане, друге юности. Дамиана нашли в тюрьме; давно став священником, он подвергся каре за неповиновение указам об отмене икон. Его извлекли из тюрьмы и доставили в Палатий.

— Но почему же ты, иконопочитатель, в мирском платье, а не в рясе? — смеясь, спросил базилевс Лев.

— Величайший, я боялся разгневать тебя видом рясы,— объяснил Дамиан.

— Так, значит, ты боишься меня больше бога,— заметил Лев и щедро наградил Дамиана, разрешив ему жить в столице и даже почитать иконы, но не соблазняя других.

Когда клеветники попытались оговорить Дамиана, Лев отверг их, говоря:

— Дамиан доказал свою преданность мне, вы же только клянетесь.

Или Василий Первый, Македонянин. Он в юности пахал землю вместе со своим отцом. Людей, встречавшихся ему на пути к трону, тоже можно уподобить листьям. Кто-то из таких, быв обвинен в заговоре, сумел напомнить о себе Василию, заверяя базилевса в своей невиновности. Василий повелел:

— Пусть он признается, и тогда освободите его.

Заключенному сообщили волю базилевса. Приняв слова судей за уловку, невинный упорствовал и умер под пытками. Базилевсу доложили, и он укоризненно сказал:

— Ай-ай! Какой же он был гордый!

Конечно, гордость принадлежит к числу смертных грехов, смирение же — не только добродетель, но и необходимость.

Поликарпос радовался возвышенью Константина Дуки. Новый базилевс не станет менять Наместника Таврии,

пока тот не провинится. Старые знакомые по Канцелярии сообщили Поликарпосу благоприятный отзыв о нем нового базилевса. Дружба с нужными палатийскими сановниками поддерживалась дарами, нет, подарками. Пока о Наместнике Таврии будут судить по его докладам, по поступлению налогов, Таврия будет за ним: уменье докладывать необходимо, к нему Поликарпос добавлял уменье справляться с наместническими обязанностями. Велик ли базилевс или ничтожен, пусть разбираются потомки. Современники обязаны слушаться, чтоб выжить,— иначе не будет потомков, вот как!

Указами, доставленными из Константинополя, Константин Десятый повелевал Таврии вдвое уменьшить расходы на поддержанье крепостных стен. Начав правленье, базилевс уже уменьшал эти расходы, и тоже вдвое. Приказывалось также сократить численность войска на триста солдат. Взамен следовало обязать военной службой по первому вызову шестьсот обывателей из числа обладающих годовым доходом, равным поступлению дохода с сорока югеров пахотной земли, с чего бы такие доходы ни получались.

В подтверждение того, что требованья не предъявляются вслепую, были приложены расчеты, извлеченные из налоговых реестров, посылаемых в Канцелярию Палатия канцелярией Наместника, о доходах с торговли, промыслов, ремесел, от виноградников, садов, пахоты, скота, от того и другого для обладателей смешанного имущества. Поликарпос замечал ошибки в расчетах, описки, неправильные итоги. Наместник Таврии живо представил себе Канцелярию, задохнувшуюся под бременем работы, обрушенной на нее этим «базилевсом от Канцелярии». Такой отучит их спать! Что Таврия — меньше ногтя мизинца на теле империи, и то запутались. Они перетряхивают все! Сановники погружаются в думы, извлекая новые откровения — где сколько взять, сколько срезать. Все делается срочно и бесповоротно. Переутомленные писцы и счетчики совершают невероятные ошибки, зато все кипит, империя мчится к великому будущему на бумажных парусах. Да будут благословенны боги папируса, пергамента и туши!

— Вонючий козел! Святейшая каракатица! Обезьяна, гадящая на папирус! — изощрялся Констант Склир.— Как же тут отвечать за безопасность Таврии? Вместо стен, боевых машин, солдат — базилевс приказывает дружить с соседями, ибо мир дешевле войны. Вызнавать

замыслы соседей и вносить смуту в их ряды? Попробовал бы сам!

А Поликарпос, разыгравшись, представил в лицах Константина Канцелярского на троне. Таврийский Наместник обладал талантом мима, и образ Константина ему давался, хотя тот был высок ростом и сухощав, а добровольный мим короток и толст.

Мимические способности Поликарпоса когда-то ценились начальниками. Минута забавы между делом весьма освежает, когда передразнивают соперника.

Что же касается империи и базилевсов, то подданные, особенно из удостоенных близости к Власти, привыкли отделять себя и от империи, и от Власти. За раболепие платили по-рабски — насмешкой, издевкой, рассказами, входящими в изустный хронограф, подобно событиям с друзьями юности базилевсов Льва или Василия. Самозащита подавленной личности, самопомощь, которую не следовало осуждать.

Вдвоем, без третьего свидетеля, позволяли себе многое. За исключением такого, что можно проверить, когда собеседник донесет.

Поликарпос издевался, но об ошибках в указах он никому не скажет, это тайна между ним и Канцелярией, неприятная для Канцелярии, опасная для Наместника. Что же касается повиновения, то оно было обеспечено. Таков признак подлинной Власти: ей повинуются даже с ненавистью к ней. У Поликарпоса ненависти не было.

Комес Склир задыхался от злости. Для него Поликарпос был удачником, человеком великолепной карьеры. Сановник пятого ранга Поликарпос зависел от Канцелярии, действие которой постоянно. Сам Склир был поставлен Константином Девятым. Смерть этого базилевса оставила Склира беззащитным: произвол благословляют, когда он дает, и ненавидят, когда он бьет.

Константин Девятый был больше чем другом Склиров. Женой сердца этого базилевса была Склирена, с ней он въехал в Палатий, к ней вернулся из храма Софии после венчания с базилиссой Зоей, то есть с империей.

Его покровительством молодой Констант Склир из задних рядов этой семьи и из кентархов — сотников шагнул в комесы Таврии. Было от чего возгордиться. Прибыв в Херсонес, комес небрежно похлопал по круглому животу Наместника Таврии, своего начальника. В империи была табель о рангах и почитаниях, но империи

не было б без Божественного Произвола: в поддержке свыше. По словам умных людей, как Поликарпос, табель о рангах предвидит, но в ее предвиденье нужно уметь вносить поправки.

Менее всего Поликарпос мог оскорбиться дерзостью двадцатипятилетнего комеса. Через год, через два Склир шагнет дальше, храня добрую память о веселом, жирном и скромном Правителе Таврии. Но вместо полета на парусах, вздутых ветром высокого покровительства, корабль судьбы Склира сел на мель. Базилевсом стал Исаак Комнин. Этот, сам полководец, умел ценить военных, за Склира похлопочут. Заболев, Исаак вручил диадему Константину Дуке, и звезда удачи Константа Склира повисла над морем. Еще одна волна разобьет корабль о мель, и слабый огонек утонет совсем.

Сановник, лишенный поддержки свыше, чувствует себя, как баран, если предположить, что баран знает свою судьбу быть постоянно стриженным и однажды зарезанным.

А буря над Таврией все крепчала. Волны били Херсонесский мыс, хотя ветер был с востока. Но ведь ветер не один, это стая. Даже тучи метались от вихрей. Как в свалке, когда удары падают со всех сторон.

Глубокие херсонесские бухты-заливы считаются лучшими в мире среди моряков. В любую бурю они безопасны, и рыбаки ловят рыбу. Недаром некогда мегарские греки построили стену в десятки миль длиной для защиты херсонесских бухт и большого куска земли вместе с отличнейшей Бухтой Символов. Последующие обладатели надстраивали стену с ее десятками башен. Она стала бы восьмым чудом света наряду с египетскими пирамидами, колоссом Родосским и другими, не будь Херсонес на краю этого света в годы составления списка чудес.

— Хотя бы подновить стену...

— Зачем? — спросил Поликарпос.

— А русские? — ответил Склир вопросом.

— Ты гадаешь на Ростислава?! — сказал Поликарпос и прикусил язык: глупо подсказывать. Что ж, пусть Склир выговорится, пусть тешится своим умом.

— Да, да,— подтвердил Склир.— Я убежден. Князь Ростислав хочет забрать себе всю Таврию. Мне рассказывали, он похож на Мстислава, которого здесь боялись. Мстислав ушел на Русь. Ростиславу туда нет дороги. Он не будет воевать со своими. У него, по рус-

ским законам, нет права на княжество. Русские из Таврии не пойдут за ним отвоевывать Киев. Но забрать нас — другое. Здешние русские будут с ним. Русский князь в Киеве будет только доволен.

— У нас мир с русскими,— заметил Поликарпос.

— Кто же соблюдает договоры, когда они перестают быть выгодными! Ты удивляешь меня, превосходительнейший!

— Ему невыгодно ссориться с империей. Империя пришлет флот и войско. Русские наживаются торговлей с нами, через нас. Вместо торговли Тмутаракань получит войну, долгую войну. Не могут же они победить империю! — не сдался Поликарпос.

— Не об этом я думаю,— с досадой сказал Склир.— Когда империя заставит князя Ростислава отступить, не будет ни тебя, ни меня. Впрочем, ты-то еще успеешь бежать, свалив все на меня. На что мне победа, если меня нет среди победителей, а? Что-то происходит. За последний месяц к русским убежали сразу три десятка моих солдат. Из лучших.

— Плохие не бегут, кому они нужны,— согласился Поликарпос.

Склир не сказал ничего нового, обо всем этом Наместник думал: естественные мысли, когда граница близка. Более умудренный жизнью, Поликарпос воздерживался от решительных выводов. Действия людей гораздо случайнее, чем принято думать, часто поступки не имеют видимых поводов, разумных оснований. У солдат, у проповедников, у авторов знаменитых комедий все слишком просто: один сначала сделал что-то, чем вызвал ответное действие, из которого последовали дальнейшие события, вылупляясь одно за другим, как цыплята из яиц. Конечно, кое-что можно рассчитать заранее: когда виноградник даст первый сбор, какую прибыль даст продажа, сколько поросят принесут свиньи... Не совсем точно... Без подобных расчетов нельзя что-либо делать. Но это не предвиденье. Нужно остерегаться торопить события, которые не поддаются расчету, безопаснее, когда время ответит. Решительность Склира неприятна. Комес был слишком занят собой, чтобы заметить незнакомого Поликарпоса: без наигранной улыбки, без вниманья к собеседнику лицо Правителя Таврии приобретало неожиданно значительное выраженье.

— Я хочу погостить у князя Ростислава,— сказал Склир.

— Хорошая мысль, я сам охотно поехал бы,— ответил Поликарпос, натянув маску незаметно для себя.— Ты поедешь сушей?

— Зачем? — удивился Склир.— Я поплыву. Как только стихнет буря.

— Летний дождь отмоет небо за три дня,— сказал Поликарпос. Он думал, что не сказал Склиру пригласить князя погостить в Херсонесе. Почему? И почему вообразилось, будто Склир может пуститься верхом через степь, под дождем?

Судьба, только Судьба. Болтовня о предвидении — шум и лесть для угощенья вышестоящих. За последнее время милая Таврия стала какой-то неуютной. Поликарпосу не хотелось вспоминать, почему случилось такое, и он сказал Склиру:

— Знаешь, превосходительнейший, епископ Евтихий, предшественник нынешнего нашего святителя, который скончался лет за пять до твоего приезда, любил говорить: бог должен был воплотиться в человеке, иначе людям пришлось бы совсем пропасть. Ибо и богу нельзя было б понять свое творенье, и люди не могли бы понять бога.

Не найдя, что ответить, комес Склир простился с Наместником. Поликарпос подумал: кто потянул меня за язык лезть в богословие! Этот Склир невыносим. Я не могу выдержать его и часа, чтоб не начать болтать глупости...

— Звезда комеса надувает наши паруса,— сказал кормчий. Он не льстил: иные даже вполне порядочные люди совершенно бескорыстно привязаны к пышным выражениям. Нечто вроде несчастной любви: позора нет, но для посторонних смешно.

Побушевав вволю, восточный ветер уступил место западному, и галера несла полный парус. Легкий корабль обгонял мелкие волны, поднятые ветром. Еще не утихшая крупная зыбь, катясь с юго-востока, поднимала галеру, опускала, и фонтаны брызг взлетали по сторонам острого бивня.

— Проходим Алустон [1],— сказал кормчий кратко. Он был немного обижен невниманьем комеса и решил, по евангельскому выраженью, не метать бисера перед свиньями.

---

[1] Теперь — Алушта.

Невидимая морская дорога была проложена на Сурожский мыс, и галера шла в пятнадцати — двадцати русских верстах от берега. Таврия стояла на севере сплошной стеной, с неглубокими седлами перевалов в степь, зеленая, но в переливах оттенков от весенней свежести цвета до черноватой бирюзы, с серыми, черными, сизыми лысинами скал. Зыбь падала на берега Таврии пенным прибоем, но расстояние скрывало подошву. Неподвижная Таврия стояла на неподвижном же пьедестале синей воды.

— Какое зрелище! Красивое, красивейшее! Радость глаз! — восторгался спутник комеса Склира, молодой кентарх. Человек хорошо грамотный, на виду, он был послан в Таврию недавно, прямо из Палатия, где служил в дворцовой охране. Почему? За что? Он сам не знал, и комес верил ему. Оговор. Либо неосторожное слово, невинное для произнесшего. Поликарпос сказал бы, вернее, подумал: власть подозрительна, ее решения случайны.

— Красивое, некрасивое,— возразил комес,— пустые слова. Их употребляют поэты в трех случаях: когда им нечего сказать, когда им хочется нечто сказать, но они прячутся под аллегорией, или когда, как ты сейчас, они прибегают к чужим словам. Все эти леса, источники, рощи, проливы, реки, дворцы, розы и прочее прекрасны воистину, если ты обладаешь ими или надеешься обладать. Если же обладанье невозможно, плюнь на них, огадь, как сможешь, ибо они отвратительны. Загляни к себе в душу, и ты согласишься со мной.

Кентарх сделал протестующий жест.

— Хорошо, хорошо,— кивнул комес,— не будем спорить, прошу тебя.

Склир был лет на семь-восемь старше своего подчиненного, но казался себе тонким знатоком жизни и, если не терял самообладания, говорил, нет, беседовал ровным, расслабленным голосом, несколько в нос. Он продолжал:

— По возвращеньи тебе пора будет взглянуть, да, взглянуть и проверить наши посты в горах. Ты убедишься — твои красоты на самом деле не больше чем крепостная стена. Тебе придется побывать и там, и там, и там,— комес вяло указывал вдаль.— Ты исцарапаешься в колючках, собьешь ноги на камнях, будешь падать, обдерешь кожу на коленях. По ночам тебя будут есть москиты, ты опухнешь от их укусов. Днем тебе досадят мухи, лишив тебя покоя. От жары ты обопьешься холодной

водой и расстроишь себе желудок. Поверь, после этого ты променяешь красоты божьей постройки на обыкновенную крепостную стену. Такую, по-твоему, уродливую, со скучным ровным ходом поверху, с прохладными башнями. Правда, там не пахнет розами. Ленивые солдаты не утруждают себя дальними прогулками. Зато нет москитов, и утром друзья действительно узнают тебя. Не притворяясь из состраданья, что узнают тебя только по голосу.

— Зато там у меня будут минуты радости, минуты наслажденья великолепными видами,— не соглашался кентарх.

— Друг мой, цени в сей жизни не минуты, а дни,— поучительно заметил комес,— только тогда пребудут с тобой благо и долголетие. Да, о долголетии. В твоих красотах тебе будет жарко вдвойне. Ходить там трудно, да придется еще таскать панцирь и каску.

— Почему?

— Потому что до сих пор ты живешь будто не в Таврии, а в садах Палатия,— язвительно ответил комес.— В горной Таврии легко получить стрелу между ребер.

— Я здесь уже несколько месяцев и не слыхал о подобном,— возразил кентарх.

— Во-первых, ты еще не бывал дальше Херсонеса и Бухты Символов. Во-вторых, ты много расспрашиваешь. Тебе рассказали об удивительных рыбах, которых, кажется, никто не видал. О чудовище, которое иногда нежится на песчаных отмелях, что на северо-западном берегу Таврии. У него тело, как у гигантской черепахи, лапы с когтями величиною с кинжал, шея толщиной в торс человека и длиной в пять локтей...

— И голова, как у змеи, размером с хороший бочонок. О чудовище я слышал от многих,— сказал кентарх.

— Верно, верно,— согласился комес.— Ты узнал и о звере, который приплыл в Бухту Символов лет двадцать тому назад. Он был длиной с нашу галеру, но гораздо толще, шире. И тому подобное. Все это события чрезвычайные. Они интересны твоим собеседникам, поэтому они и болтают о них. А об обычном люди не говорят, хронографы не пишут. Друг мой, кому это нужно, общеизвестное? Ты слышишь о чужой семейной жизни тогда, когда там нечто случилось. Обычное так же скучно, как проповедь или надписи на могилах добродетельных людей. В лесах нашей Таврии стрела — это будни.

— Кто же убивает в дни мира? — удивился кентарх.

— Дни мира! Что есть мир? — пародируя ритора, воскликнул комес.— Твои горные красоты удобны, чтобы прятаться от закона. Есть также совершенно мирные подданные, которым не нравятся солдаты. Солдаты пугают дичь, иной раз отнимут добычу у охотника. Когда он везет дичь с гор, ему не миновать одной из крепостей, которые ты скоро поедешь посмотреть. Около крепостей появляются наши подданные или полуподданные из степной Таврии. Они нас не любят без всяких причин. Для них дичь — это мы.

— Но это бунтовщики!

— Будь у меня хотя бы одна турма, я подбрил бы горы и закрыл проходы,— сказал комес, теряя небрежный тон.

Вспомнился последний приказ базилевса Константина Дуки о сокращении расходов на стены, на содержание солдат, и комес приказал подать еду и питье. Ему больше не хотелось шутить над кентархом.

Море было оживленным. Рыбацкие суда и челны, торговые корабли разного вида, размера. На пышном, богатом берегу южной Таврии дорогой служило море, и каждый второй мужчина называл себя моряком. Буря закрыла дорогу, и сегодня все спешили наверстать свое. У каждого были свои тропы. Рыбаки выходили на известные места, где, по многолетним приметам, сегодня могла быть рыба, завтра она уйдет на новое пастбище. Грузовые суда сообразжались с кратчайшим расстоянием, на море оно мерится не милями, а удобством ветра, течений. Местные суда ходили ближе к берегу, влево от пути херсонесской галеры. Правее галеры, в открытом море, прорезают пути из империи в Сурожское море и обратно. Сегодня там, с юга, не поднималось ни одного паруса. Из-за бури. Море только начинало успокаиваться, корабли с Босфора, из Синопа, из Трапезунда были еще далеко. Зато отстаивавшиеся в Сурожском проливе спешили уйти, принимая западный ветер косыми парусами и помогая себе веслами. Таких с галеры можно было сосчитать шесть. Два из них уже скатывались с выпуклости моря на юг, оставив взору мачты.

К вечеру галера поравнялась с Сурожским мысом, и с кормы стал виден огонь маяка, зажегшийся на конце мыса. Ветер упал. Гребцы охотно сели на весла, они спали весь день по так называемому праву ветра.

Медленно-медленно, как кажется ночью, Сурожский маяк уплывал за корму.

Проложив путь по звездам, кормчий поставил за себя помощника и лег спать рядом с кормилом руля.

Гребцы мерно работали, привычно дремля под ритмичный, тихий счет старшего:

— А-а! А-ха!

По левой руке появился огонек, не ярче отблеска света в кошачьем глазу. Сообразив время по звездам, помощник кормчего узнал, что галера прошла мимо узости Таврии. Имперские владения кончились. Маяк горел на Соленом мысу. Им завершается глубокая впадина, которой Русское море входит в Таврию. С севера подобной впадиной врезалось Сурожское море. Русские считают в узком месте двадцать три версты от моря до моря. Это их граница с империей.

Соленомысский маяк утонул в темноте, и помощник кормчего повернул галеру на пол-оборота к северу. Капли с весел падали в прошлое.

Вот впереди показался такой же кошачий глаз — маяк на мысу у входа в Сурожский пролив. Здесь поворачивают вправо, чтобы не врезаться в берег.

Входной маяк Сурожского пролива встал на левой руке, и помощник разбудил кормчего. Небо чуть-чуть бледнело.

Ночь за рулем утомляет вдвое больше, чем день. День на море воспет поэтами, благословлена ими и ночь — начало ее до часа, когда все, и поэты, отправляются спать.

Настоящая ночь, когда все спят, кроме тебя, постигнута в молчании, награждена молчаньем — оно есть настоящая слава.

Человек уменьшается, море делается грандиознее неба, и бездна живет своей жизнью, и темное в темном становится сильнее, и не знаешь, кто там плеснул — рыба или чудовище со змеиной головой. Дневные насмешники ночью молятся, если умеют. И гребцы гребут, гребут, и кормчий ведет галеру, не уклоняясь с дороги. Может быть, потому, что море не лес, что нельзя, бросив корабль, в страхе залезть на дерево? Или потому, что нужно жить, кормить себя и своих? Может быть... Море — как жизнь: никуда не уйдешь.

Проще: в море, что в жизни, делай, что можешь. А в длинные часы морской ночи человека навещают мысли, в которых днем себе самому признается только храбрый. Да и думает о подобном он больше других. У него ум поживее, воображенье щедрей — на то он

и храбрый. Другой, потупее, бывает смел не от храбрости — от глупости.

Оставив тяжесть гор на юго-западе, Таврия стекла на восток волнами хрящеватой, сухой холмистой земли и круто оборвалась водой и над водой.

С моря видна глубокая бухта или залив. Ширина у входа по русскому счету — верст пятнадцать.

Правый и левый берега глядят близнецами. Такие же отвесные кручи с узеньким, как ножка у вазы, бережком внизу. Тот же цвет, то же сложение: сверху мощным, многосаженным пластом земли, черновато-серой, с морщинами, как лысая шкура; снизу — прослойками одинаковых раковин. В своей глубине залив закрывается берегами наглухо. Мысы и повороты замыкают для глаз и пролив, и само Сурожское горло.

Геродот рассказывает о случае, который свел жителей восточного берега, азиатов, с жителями западного, европейцами. Лань, спасаясь от юных охотников, бросилась в воду с восточного берега. Преследователи тоже пустились вплавь и вышли на таврийском берегу. К северу от Тмутаракани и Корчева есть место, где подобное могло случиться. Восточный берег вытягивается тонкой, сужающейся стрелой, западный берег тянется встречь. Тому, кого сюда загонят, нет другого спасенья, как в воду. Здесь, в Сурожском горле, от суши до суши всего версты три.

Геродот побывал в Таврии и видел Босфор Киммерийский за пятнадцать столетий до дня, когда херсонесская галера с комесом Склиром входила из моря в пролив. Итак, не будь быстроногой испуганной лани и охотничьей пылкости, Азия и Европа, чтобы познать друг друга через Сурожский пролив, ждали бы еще сколько-то веков?

В Геродотовы годы рассказ о лани и охотниках был тем, что мы называем легендой. Как понимали ее и местные жители, и приезжий писатель, нам неизвестно.

Книжники упрямы и простодушны, им, листая книги вдали от мест и событий, легко справляться с любыми преданьями: написано — и толкуй буква в букву. По характеру начертания книжник определит время, по манере выраженья часто укажет и автора или обнаружит подделку. Что же касается смысла, то лани быстроноги, юность пылка и до нашего дня, на охоте — тем более. Иное приходит на ум путешественнику. Не только в узости, но и в самых широких местах Сурожского пролива

хорошо виден противоположный берег, строенья, деревья. Ночью различим даже слабый огонек. В тихую погоду мальчишка одолеет пролив на двух связанных бревнах.

В Таврийской степи водятся серо-желтые ужи-полозы. Иногда утром, после тихой ночи, на песчаном бережку находят след — отпечаток толстого тела, ушедшего в воду. Это выходной след полоза. Входного следа нет, сколько ни ищи: полоз ушел на тот берег. Наскучив давить мышей, сусликов, зайцев, полоз уплыл на охоту давить лягушек в кубанские плавни. Он плыл всю ночь, легко держа над водой плоскую голову, не видя берегов и соображая дорогу по звездам. Или — своим особым способом по опыту тысячелетий.

Сколько бы ни минуло тысячелетий, белое оставалось белым, а черное — черным, хотя слова и словесные образы прошлых дней изменялись, как суждено измениться нынешним, пока люди способны жить. Новая мысль наряжается в старые слова, старые мысли одеваются новыми.

Лань? Охота? Увлекшиеся юноши? Что разумел затейливый для нас, понятный для современников рассказчик? Почему историк записал будто бы нелепость, недостойную зрелого разума? Есть ответ только на последний вопрос: для тогдашних читателей нелепости не было, они понимали рассказ.

Остережемся и мы понимать буквально надписи на древних камнях. Наш ум любит загадки, любит игру изменчивых символов. Унижать умерших, возноситься над якобы глупыми предками так же неумно и так же опасно, как презирать современников. Как бы и наши дела не показались детски наивными скорохвату-потомку, который, как мы, не потрудится сообразить, что начальный, постоянно трезвый смысл неминуемо воплощается в изменчивые слова, в их живые, то есть меняющиеся, сочетанья. Слова кипят, пенятся, как морские волны.

Издали на море все волны одинаковы. Вблизи — нет ни одной такой же, как предыдущая, хотя их вызывает единая сила, не изменившаяся как будто за десятки столетий. Вдобавок — волны никуда не бегут, вода остается на месте, море обманывает, выдавая изгибы за бег.

Солнце висело красным шаром во мгле испарений Сурожского моря и от земли, увлажненной недавними ливнями. Туман закрывал дали пролива, и видимость

не превышала пяти верст. Над морем было ясно. Русский маяк на левом, таврическом, мысу виделся кучей камней на холме.

Галера медленно двигалась, кормчий взял ближе к правому берегу. Здесь глубины были достаточны и для тяжелых кораблей, кинкирем с пятью ярусами весел, которых уже давно не строили. Но кое-где со дна поднимались скалы. Отмели перемещались, завися от течений. Течения изменялись по временам года и после сильных дождей, когда увеличивался сток воды из Сурожского моря. После бурь на Русском море отмели перестраивались от глубокого волненья.

Поверхность все та же, внутри же много меняется, как в человеке. Чтоб не посадить корабль на мель, кормчий не смеет доверяться вчерашнему знанию.

— Смотри туда, смотри, прошу тебя, превосходительный,— позвал кормчий Склира, указывая на правый берег.

Склир прищурился, прикрывая ладонью глаза.

— Что это? Ползет какая-то громада! — Он едва не сказал — чудовище.

— Обвал,— объяснил кормчий.— Волны грызут берег снизу, но крутизна держится, висит, пока ее не размочит дождь.

В подтверждение его слов низкая волна, морщина на гладкой воде, пришла от правого берега и чуть-чуть качнула галеру.

Солнце по-утреннему быстро шло вверх. Туманная мгла редела, освобождая пролив. Его оживляли десятки челнов. Во многих местах от берега бежали, как дорожные вехи, тонкие шесты. На них удерживались ставные неводы. Стенка сети шла почти от сухого берега в глубину, завершаясь ловушкой-поворотом. Нехитрая для земного зверя, такая западня была не по плечу скудоумной рыбе.

Перебирая сеть из лодки, владельцы неводов брали ночную добычу. Ценную рыбу бросали в челн черпаком или острогой, ненужную пускали на волю. Пусть живет. Неугодная человеку, пригодится в море. В нем, в море, как и на земле, один охотится на другого. Человеку положено брать нужное ему, а зря портить не положено. Нарушив порядок, сам от того пострадаешь.

Над ловцами летали крылатые рыболовы, силясь схватить рыбешку чуть не из рук. На каждом неводном шесте, куда еще не подтянул свой челн хозяин, сидели

рыболовы покрупнее в ожидании людей, чтобы попользоваться своей частью.

Кормчий направил галеру к челну, который неподвижно стоял на якоре.

— Э-гей! — позвал Склир по-русски.— Князь ваш дома ли?

Из челна не ответили. Там кто-то взялся за весла, другой поднял якорь. Третий, крупный мужчина с окладистой бородой, встал и взялся рукой за борт галеры, когда челн сблизился.

— Здоровы будьте,— приветствовал он греков по-русски.

— И ты будь здоров,— отозвался кормчий, не полагаясь на познанья Склира в русском языке. И, стараясь исправить невежливость комеса, осведомился: — Как князь Ростислав живет, здоров ли?

— Благополучен,— ответил русский и продолжил по-гречески: — А Поликарпос-правитель? — Получив ответ, ловец продолжал состязание: — Что базилевс Константин? Спокойно ли правит? Не оставляет ли вас в забвении милостями?

Комес Склир разглядел тяжелый перстень с красным камнем на руке, которая держалась за борт, золотой крест на золотой же цепочке под распахнутой на груди серой рубахой грубой ткани. Ловец, как видно, был человек не простой. Они встретились глазами. Комес поднял руку, приветствуя, и ловец поклонился головой, как равный.

— Хватит ли воды пройти к пристаням под правым берегом? — спрашивал кормчий.

Тмутараканский залив был прикрыт от пролива с юга длинной песчаной косой. В иные года коса соединялась с берегом, в другие, превращаясь в остров, оставляла проход.

— Можно пройти,— ответил ловец.— Если пойдешь осторожно, оставишь под днищем четверти три.

— Будь милостив, проводи нас,— попросил кормчий. Ему не хотелось срамиться, бороздя днищем илистые пески. Обход острова потребовал бы более часа усиленной гребли, а гребцы трудились всю ночь.

— Сам не могу,— возразил ловец,— но провожатого дам. Ты его слушайся: хоть он молод, а дно знает, как рыба. Ефа, прыгай к ним, веди берегом.

Галера и челн разошлись. Греки разглядели на дне челна двух крупных осетров. На воде лежали поплавки

из красной осокоревой коры, поддерживая дорожку из острых крючьев для донной ловли.

Ефа, стоя на корме рядом с кормчим, объяснял обеими руками. Галера рванулась, целясь на еще невидимый проход.

Спасая жизнь, повисшую на шелковинке, матерой зверь вырвался из-под конских копыт и покатился, как бурый шар. Не различишь, где спина, где голова. Каждый волосок, каждая жилка жилистого тела, жаждая жизни, спасали ее согласно-дружными усилиями.

Волк был беззащитен на плоском солончаке, поросшем низкими пучками солянок. Солончак гладко, едва заметно клонился к мертвому зеркалу соленого озера, которое было восточным рубежом тмутараканской земли. Земли, но не княжества. Недавними усилиями князя Ростислава княжество перекинулось через соленые озера, разветвилось в кубанских и донских плавнях, шагнуло до гор на спинах боевых коней, вторглось на север, в закубанские степи. Гулял слух, что не князь Ростислав соскучился сидеть на Волыни, а тмутараканцы, скучая по добром князе, выманили Ростислава из Владимира. Как княжна из сказки, что разглядела из злата терема храброго витязя... Оставим песни гуслярам.

Русский корень не боялся прививок, русский не чуждался иноплеменных. Стоял крепко на двух опорах, будто бы чуждых: на силе и на вольности. Никому не завидовал, ибо не сознавал себя обиженным, принужденным, несчастным — и не был таким. В Тмутаракани отличали своих от чужих не по говору, не по облику, не по вере, но тем, что ты для Тмутаракани? Друг или недруг? И русский обычай распространялся легко: добровольно, как образец.

Зная — ушел, но еще не смея довериться непонятной удаче, волк скакал берегом соленого озера, недавней тмутараканской границы, поднимая стаи долгоносых птиц, искателей червяков в жирной грязи.

— Что же ты, князь, почему не стал травить волка? — спросил комес Склир.

— Хотел, да раздумал,— ответил Ростислав.— Пусть живет до своего срока. Что в нем! Летняя шкура не годится на полсть для зимней кошевни. Волчье мясо и наши собаки есть не станут. Зато мы с тобой потешились скачкой.

— Поистине, ты прав,— согласился комес,— такого я никогда не видал. Прими мою благодарность. Я привык думать, что большей прыткости бега, чем квадриги у нас на ипподроме, достичь нельзя. Но по-хозяйски ли мы поступили? Волк — враг твоих стад. Он не перестанет тебе вредить, пусть ты и даровал ему жизнь.

— Не будь волков, пастухи спали бы слишком сладко,— возразил князь Ростислав.— Стада, разбредясь по небрежности пастухов, сами себе причинят больше вреда. Волк тоже пастух, тоже заботится о стаде. Он берет слабого, глупого, больного и улучшает породу.

Пятый день гостит комес Склир в Тмутаракани. Пятый день беседует он с князем. И каждый раз, как сегодня, что-то значительное звучит под простыми словами. Может быть, в том виноват сам Склир? Стараясь понять князя Ростислава, он кружит около него, как голодный волк около стада.

Может быть, нечего и понимать? Не лучше ли прямо спросить, чего ждать греческой Таврии от русского князя? Нельзя спрашивать! Вопрошающий награждается ложью. Эта ядовитая мудрость оскопляла умы и более тонких разведчиков, чем комес Склир. Итак, князь Ростислав считает полезной угрозу извне. А кто волк? И кто пастухи? Склир настаивал:

— Волки жадны. Дорвавшись, они убивают больше, чем нужно, зря режут скот. Ты имел право убить его, чтобы убить и бросить тушу стервятникам, как поступает он сам.

— Имел,— ответил Ростислав,— но не воспользовался. Знаешь ли, быть в состоянии чем-либо овладеть и отказаться собственной волей — это значит мочь вдвойне. Отпустить зверя живым — пустое дело, забава. Не случалось ли тебе пощадить в бою противника? Лишить себя удара?

— Нет,— твердо возразил Склир.— Сражаются, чтобы убивать врагов.

— По-моему,— ответил Ростислав,— сражаются для победы. Победа — не поле, устланное трупами, а мир с бывшим противником. Вон там,— Ростислав указал на восток, вдаль, где дневное марево превращало в мираж другой берег соленого озера,— касоги понимают такое. Они говорят: лишняя кровь зовет лишнюю кровь.

— Касоги — молодой народ, они неизвестны в истории,— не согласился комес.— Их мудрость — мудрость детей.

— А есть ли на свете молодые народы, старые народы? — спросил князь Ростислав и ответил: — Все пошли от Адама.

Умолкли. Так получалось. Последнее слово оставалось за князем Ростиславом. Неприязнь многолика. Та, которую комес привез из Херсонеса, оборачивалась ненавистью. Мешала, слепила. И Склир вместо змеиной хитрости, с которой он — обдуманно! — собирался влезть в душу русского князя, щедро смазав путь лестью, спорил. Увлекался спором в заведомо бессмысленном стремлении победить словом — будто бы словом побеждают. И это он, всосавший с молоком матери познание ничтожества слова!

По-человечески оправдывая себя, Склир вспоминал: возражения собеседнику включены философами в способы познания чужих мыслей. Чего же он добился? Да, князь Ростислав будет опаснейшим врагом, если бросится на имперскую Таврию. Но нападет ли? Захочет ли нападать? Нет ответа.

Пора возвращаться с охоты. Провожатые увозили нескольких серн, двух из которых любезно подставили под удар гостю, степных птиц — дроф, стрепетов, битых стрелами Ростислава и других русских. Комес Склир, не будучи метким стрелком, отказался от лука.

Не от самого солнца — палило от всего прозрачного неба. Жару побеждали скачкой по мягким дорогам, с холма в низину, с низины на холм, среди скошенных полей, заставленных тяжелыми снопами. Здесь хлеба вызревают в начале лета. В долинке, на полпути, ждала подстава свежих лошадей. С утра третий раз меняли коней: лошадь слабей человека.

На скачке свежо, ветер обдувает горячее тело. Остановишься — и будто в печь попал. Палит с неба, палит от земли, земля жжет ноги через мягкие подошвы сапог.

Склиру для утоленья жажды поднесли напиток из сброженного кобыльего молока. В маленьких бурдюках, пышно укутанных шерстью, странно-сухое, кисловато-острое питье сохранило погребной холод. Пили все. С животов лошадей тек прозрачный пот тонкой струей.

На подставе Склиру подвели иноходца. На таких конях легче сидеть, спокойнее, и они считаются особенно пригодными для женщин. Комес был рад иноходцу. С рассвета в седле и сменить трех лошадей — такого он не испытывал. Он выбивался из сил, чего не хотел показать.

И все же вниманье к нему Склир прибавил, как оскорбленье, к счету завистливой ненависти.

Князь Ростислав был одет в тонкую шелковую рубашку, за плечами шелковый же плащ, голова в затканной золотом повязке — подарки греческой Таврии тмутараканскому владетелю. Комес Склир разрядился порусски: в рубахе из тончайшего льна, с воротом, рукавами, полой и грудью, залитыми затейливой вышивкой тмутараканского дела, с мелким жемчугом русского севера; такой же пояс; штаны белого льна тканью потолще, чем на рубашке; сапоги тонкой желтой кожи с мягкой, выворотной подошвой — удобнее нет для езды. Все это из вещей, которыми отдаривался князь Ростислав. Склир носил русское платье по этикету.

Поликарпос поручил комесу раздать знатным тмутараканцам подарки по списку, как делалось раньше. Цель — привлечь добрые чувства, обязать влиятельных людей. И — по старому тонкому правилу имперских сношений с варварами — внести рознь между получателями неодноценностью даримого. Почему-де такого-то греки считают лучшим, чем я? Чем это он перед ними выслуживается?

Склир, решив быть еще более тонким, список бросил, а Ростиславу сказал:

— В этих мешках зашито назначенное в подарки твоим людям. Вижу, подобным поступком — раздачей помимо тебя — мы можем показать, что не понимаем достоинства такого князя, как ты. Прошу тебя именем наместника базилевса и моим: прикажи слугам отнести это и поступи, как захочешь.

Экая ж сила — открытая душа! Ростислав сделал было движенье отказа, но вдруг согласился. Заготовленные Склиром дальнейшие настоянья остались втуне. В начатой игре он бил удачно первой же меченой костью. Дальше пошло по-иному. Склир не мог понять: то ли соперник играет не по правилам, то ли попросту он таков? Непониманье увеличивало злость, усложняло игру, слова будто бы сами собой приобретали двойной смысл.

Склир не зря заметил дорогой перстень и золотой крест на груди у ловца, встреченного у входа в Сурожский пролив. То был боярин Вышата, знатный новгородец. Отец Вышаты, Остромир, бывал тысяцким, выборным правителем в Новгороде. Остромира нынешний киевский князь Изяслав посадил своим наместником, покидая Новгород для Киева.

Не обозначало ли присутствие Вышаты в Тмутаракани особых намерений князя Изяслава? Несколько подданных империи, таврийских купцов, имевших оседлость в Тмутаракани и Корчеве, не умели ответить на этот вопрос.

Вышата провожал князя Ростислава на охоту, сам проявил себя пылким наездником. Вышату вышучивали: его-де приворожили морские русалки, из-за них он проводит на море две ночи из трех; ходить Вышате в зятьях соленого морского царя, как новгородец Садко хаживал в зятьях ильменского.

К острословью товарищей Вышата сам добавлял, зная — иначе совсем зашпыняют. Дескать, дело с морским царем намечается, и дочь у него хороша. Одно — чешуя на девическом хвосте жестковата. Ныне на морском дне строят баню: к свадьбе невестины чешуйки подраспарить. Чтобы тестю, морскому царю, не было после свадьбы позора. Приплывут чуда морские славить новобрачных, а молодой весь исцарапался в кровь...

Колясь острыми, как крючья для осетрового лова, шуточками, все хохотали вместе с Вышатой, равные с равными, и пришлые с Ростиславом, и коренные тмутараканцы, общие по повадкам, хоть и не все русской крови. Комес Склир не понимал, как этот хитрый кремень, богатырь-северянин, человек недюжинного ума, образованный, влюбился в теплое море, будто мальчишка несмысленный. Место Вышаты в списке подарков для знатных было из первых. С ним бы повести разговоры...

Вот и последняя холмистая гряда. С нее для глаза Тмутаракань всплывает в конце степи зеленым островом, главным в архипелаге садов, виноградников, которыми город расплескался по своей округе. Склир, отдыхая в плавнодробном покачивании иноходца, понял — пора ему покинуть место, где несколько дней он, как добровольный актер, играл роль посланника империи. А кто он? Что его ждет в Херсонесе? Женщина. Женщина для него не более десятой части той доли, которой он желает, не имея. Его встретит надоевший быт колонии. Стены, укрепления, на починку которых не дают денег. Увольняемые солдаты, которым некуда деться, которые обвинят его же в своей беде. Дальнейшее — быть смещенным из-за потери поддержки из Палатия, чтобы очистить место для такого же дурака, каким был он сам, принимая Таврию? Или утонуть под нашествием, которое, может быть, готовит загадочный русский князь? Утешившись перед

смертью лекарством всех неудачников: я, мол, говорил, я предсказывал, но меня не хотели услышать. Тошнит...

Загадка чужой души. Гостеприимный князь Ростислав за несколько дней раскрыл перед Склиром Тмутаракань так, как только может мечтать опытнейший разведчик. Небольшой кусок земли, верст двадцать с запада на восток, верст двенадцать — пятнадцать с юга на север, был почти островом. Крепость, созданная богом. На востоке с сушей ее связывали узкие полоски, обрамленные морем, солеными озерами, заливами. С моря почти все побережье было закрыто стенами обрывистых берегов. И повсюду в море мели. Высадка армии, о которой Склир говорил с Поликарпосом в Херсонесе,— если империя захочет, сможет отомстить за Таврию,— возможна только на востоке, у низких берегов соленых озер. Пресной воды нет. Что будет пить войско в береговых лагерях? Чем поить быков, которые потащат боевые машины, припасы, запасы к Тмутаракани по степи? Флот, который доставит армию, будет обязан возить воду из Сурожа, из Алустона, где немного пресной воды. Устроенных портов либо естественных бухт нет. Незначительное волненье погубит от жажды сначала рабочий скот, а потом и людей. Высадка и стоянка кораблей удобны только у тмутараканских причалов. Для этого нужно взять сначала саму Тмутаракань. С чего начинать? Когда еж свернулся клубком, лисица изранит себя, ничего не добившись.

Степные тмутараканские предполья будто бы созданы для сражений, есть где развернуть сто тысяч войска. Имперский флот сможет доставить только пехоту. Она рискует сделаться легкой добычей для русской конницы.

С первого взгляда Склиру показались ничтожными стены и башни Тмутаракани: он сравнил их с громадами херсонесских сооружений. Сейчас он видел иное: тмутараканская крепость пригодна, чтобы отбиться от внезапного наскока, и больше не требуется. Осады не выдержит сам осаждающий. Основатель Тмутаракани был великим воином и правильно сделал главным городом не Корчев, тот легче взять.

Они ехали шагом, чтобы дать лошадям остыть в конце дороги. Русские следовали своим правилам езды, сбереженью коня придавали большое значенье, зато и требовали много. Они проезжали между большими и малыми усадьбами, каждая из которых распустила вокруг себя ряды плодовых деревьев и стройные отряды подвязанных

к кольям виноградных лоз, солдат сочного, сладкого изобилия. За оградами из сырых кирпичей или тесаного камня, беленными известью для красоты и прочности, взлетали цепы молотильщиков. Своя доля тмутараканского хлеба перепадет империи.

Мохнатые псы местной зверовой породы глухо и скупо подавали голоса или, забравшись на крышу хлева, молча взирали на проезжавших глазами неласкового хозяина.

Встречные тмутараканцы приветствовали князя со свитой пожеланьем здоровья и шутками:

— Где ж дичина? Много ль убили, кроме лошадиных ног?

Через запущенный ров под крепостной стеной был переброшен постоянный мост: не боимся... Тесная, как во всех крепостях, улица усыпана морским песком. Площадь с белокаменной церковью-красавицей, поставленной князем Мстиславом Красивым. Поворот — и княжой двор. Склир заставил себя бодро спрыгнуть с седла, заставил шагать непослушные ноги. Не будь чужих, он приказал бы нести себя.

В отведенных ему покоях княжого дома Склир с трудом опустился в кресло с подлокотниками.

— Что думает превосходительный о нынешнем дне? — спросил кентарх. Он был на охоте, но не имел случая перекинуться словом со своим начальником.

— Превосходительный. Не. Думает. Ничего,— уронил Склир. Сейчас он не любил и себя. Такое бывает, когда объединятся два врага человека — усталость души с усталостью тела.

Кентарх отступил за порог, но отдохнуть комесу не дали. Явились слуги, с водой, тазами, утиральниками, чтобы смыть со знатного гостя охотничий пот и степную пыль.

Ушли слуги, явились бояре Вышата и Порей. Порей, из знатных дружинников, пришел в Тмутаракань вместе с князем Ростиславом. Свежие, будто бы не провели в седле большую часть дня, бояре с некоторой торжественностью известили комеса:

— Князь просит гостя трапезовать вместе с ним, для чего придет сюда сам, дабы почтить дорогого посланца империи.

Склиру пришлось кланяться, благодарить за честь, которую он скромно принимает именем империи, верного друга Тмутаракани и русских.

Минуты покоя. Склиру вспомнилось несколько зна-

комых лиц, замеченных в Тмутаракани: беглецы, солдаты, которым надоел хлеб империи. Они ели его слишком долго, считая, что получают меньше заслуженного. Каково им здесь? Спрашивать не следовало. Пространства земли не измерены, границы мира, отступая перед путешественниками, остаются недостижимыми. И все же мир тесен. По свойственной всем непоследовательности, Склир думал о беглецах со злостью.

Мысль как будто проходит сквозь стены и вызывает отклики, эхо, значение которого не умеют ценить. Один из недавних таврийских перебежчиков остановил князя Ростислава на дороге к Склиру.

— Князь, будь осторожен,— просил бывший грек.— Констант Склир — человек коварный, недобрый. Я знал его еще в Константинополе. Поверь мне.

— Чем же он мне опасен здесь? — спросил князь.— Оружие на меня он не поднимет, не вцепится в горло, как леопард.

Ростислав улыбнулся, вообразив Склира в образе громадной кошки: в красивых чертах лица комеса, пожалуй, и вправду проглядывал хищник.

— Не бросится, нет,— серьезно согласился новый княжой дружинник.— Не сердись, что равняю нас, но я на твоем месте не стал бы есть из его рук. Склиры дружат с тайными ядами. Василий Склир, евнух, сжил ядом базилевса Романа Третьего. Менее знатных людей иные Склиры той же силой услали на тот свет, расчищая себе место в этом. Вина тоже я не выпил бы из его рук, пока он сам не отведает из той же чаши, что предложит мне.

— Так я сделаю,— согласился князь, дружески положив руки на плечи доброхотного советчика.

Слуги внесли стол, постелили скатерть, расставили блюда. Свежевыпеченный хлеб нового урожая, сероватый, ароматный. Запеченный окорок серны. Сыр двух приготовлений — овечий и коровьего молока. Кислое молоко в запотевших глиняных горшках и пресное кобылье молоко. Глубокое глиняное блюдо с крышкой.

Остались вдвоем. Указывая на стол, князь пригласил гостя:

— Не взыщи, ныне угощенье простое, как подобает мужчинам, которые день провели по-мужски, в седле. Эта пища дает силу телу, оставляя свободу уму.

Предваряя широким жестом неизбежно-любезные возраженья гостя, Ростислав продолжал:

— Мой пращур, славный памяти Святослав Великий, в одежде и пище был прост. Ему на походе хватало куска мяса, обугленного в костре. По нему и войско держалось того же. Однако во всех самых быстрых походах пращур мой умел кормить войско. Спать ложились сыты, сытыми шли в бой. Голодный — не витязь, сам знаешь. Земля полна сказов о Святославе. Рассказчики тешат нас красивым словом. Книжник углубляется во внутренний смысл подвига. Мы с тобой, воины, понимаем: задумывая войну, полководец о первом думает — как кормить лошадей и людей. Не так ли?

— Так,— согласился Склир,— а также обязан знать, где их поставить для отдыха, оградив от нечаянного нападенья, где напоить людей и коней.

— Поэтому ешь, мой гость, и пей,— шутил Ростислав, поднимая тяжелую крышку глиняного блюда. Пошел пар. Вынув большой черный кусок, князь нарезал ломтями мясо, приготовленное на открытом огне. Кругом обугленное, внутри оно было сочно и розовато.

Сам Ростислав ел быстро, с удовольствием утоляя лютый голод. С утра охотились — как воевали, ограничиваясь чуть хмельным сброженным кобыльим молоком.

Комес ел, пил, ощущая, как смягчается острота усталости. И он опять мешал себе поиском особенного смысла, скрытого в словах князя Ростислава. Походы Святослава, сытое войско — сегодня о подобном думал сам Склир. Откуда совпаденья, странная общность между ним и русским князем? Склир решился на вызов:

— Узнав тебя, князь, я увидел в тебе качество великого полководца, правителя государства. В империи меньшие люди искали диадемы базилевса. Получали ее. Брали, скажу прямо. Твои родственники на Руси несправедливо поступили с тобой. Ты взял, ты отнял у них Тмутаракань одним своим появленьем. Тебя, как видится, оставили здесь в покое. За краткое время ты сделал Тмутаракань такой же сильной, как была она при брате твоего деда, князе Мстиславе. Удовольствуешься ли ты? Если ты захочешь, как Мстислав, взять свое право на Руси...

Речи, подготовленные в молчании, оказываются иными, когда их произносишь, изреченное слово разнится с мыслью: слова будят эхо в душе собеседника, это мешает. Склир замялся, ощущая препятствие. Искать скрытый смысл в обычных словах было легче. Князь Ростислав помог Склиру:

— Ты предлагаешь мне сочувствие? Какое? В чем?

— Да, да,— с облегчением подхватил Склир.— Мы всегда готовы содействовать доброму соседу восстановить справедливость.

— Ты мало ешь,— вспомнил Ростислав обязанности хозяина. Нарезав ломтями печеную дичину, он придвинул блюдо гостю.— Запивай кислым молоком, оно дает силу. Не забывай хлеб, у вас в Таврии так не пекут и нет такой муки, она из отборного зерна, немного недозревшего, нежного.

Ели молча. Трапеза превратилась в подобие перерыва для отдыха. Насытившись, князь пригласил Склира вымыть руки в чашках с водой, поставленных на низкой скамье. Склир искал слов, решившись продолжать, но Ростислав опять подал ему руку.

— Стало быть, империя хочет вмешаться в русские дела? — спросил он с деланным или искренним недоуменьем.— Мне казалось — у вас много забот и без Руси. Турки, арабы, италийцы, болгары, сербы — не сочтешь. Базилевс Дука, как мы слышим все время, больше мечтает о пополнении казны, чем о далеких войнах...

И о внесении смут между соседями, вспомнил Склир, не подумав, конечно, делиться подобным. Изреченное слово не вернешь, как не вернешь истекшего часа. Русский князь склонен принять его за посла? Что ж, самочинному послу придется выдумывать, и выдумывать смело.

— Нет,— решительно возразил Склир,— империя хочет прочного мира и дружбы с Русью. Я предлагаю тебе иное. В нашей Таврии много беспокойных людей. Твое имя у многих на устах. Пожелай, и мы не воспрепятствуем тебе набирать воинов в нашей Таврии. Мы не увидим, как они потянутся в Корчев через границу. Мы не будем обижать их семьи, не схватим покинутое ими имущество. Несколько тысяч таврийцев в дополненье к твоим воинам дадут тебе власть на Руси.

Такое было разумно, подсказывала Склиру быстрая мысль. В случае успеха имя Константа Склира с одобрением произнесут перед базилевсом, если Поликарпос не выскочит вперед: Склир уже боялся быть обокраденным Правителем Таврии...

— Благодарю,— ответил Ростислав.— За дружбу — дружба. Я отплачу тебе откровенностью. Вы, чужие, глядя на Русь издали, цените ее мерой своих обычаев. В русских князьях вы видите подобие соревнователей за диадему базилевса. У вас, когда один из таких побежда-

ет, ему достается власть, и патриарх венчает его, повторяя: нет власти иной, как от бога.

Склир кивал, одобряя, и ждал паузы, чтобы подтвердить, польстить: ты отлично понимаешь империю, побеждает лучший. Но Ростислав опередил его:

— Ты думаешь, я постигаю вашу жизнь? Ошибаешься. Я повторяю чужие слова. Русский, я вижу империю извне. Как я вижу море. Но что в нем, на дне? Какие силы движут морем? Этих сил не знают и чудовища, обитатели дна. Каждому из них знаком свой угол, не более. Говорят некоторые, что в вещах больше смысла, чем в словах. Но сколько же вещей я должен перебрать руками, чтобы постичь умом единую для всех правду? Разве ты не замечал, как люди каждодневно берутся за что-либо? Как призывают других, восстают, воюют? Но получается иное, чем каждый замышлял, принимаясь за дело.

— Это верно, ты, князь, прав,— отозвался Склир, захваченный силой убежденья.— И моя собственная судьба — мой свидетель.

— Ты читаешь книги? — неожиданно спросил Ростислав.

— Я не чужд книгам, для поучения,— ответил Склир.

— А я читаю,— сказал Ростислав,— не для того, чтоб набраться чужих мыслей, не заучиваю. Я упражняю мысль беседой с далекими людьми. Не соглашаюсь, возражаю, сержусь — и благодарю писавшего за мое несогласие, мои возражения, мой гнев. Ты скажешь, в речи живой есть сок, речь записанная похожа на сухое дерево? Пусть. Но нет возможности выслушать всех людей. А сколько речей мы обязаны выслушать? Какой мудрец обозначил границу, назвал предел, сосчитал живые речи и книги? Нет таких мудрецов.

— Но ведь ты не отрицаешь знание, как управлять людьми, государствами! — воскликнул Склир, теряя нить, которую плел, как ему казалось.

— Не отрицаю. Я с тобой откровенен, как обещал. Хочу, чтоб ты понял меня. Цени каждый народ, по-нашему — язык, по его обычаю, не по своему. Русские князья не базилевсы. Наша Земля принимает князя из обычая. Кто пойдет против, того Земля выбросит, пусть он и все города завоюет. Чтобы изменить обычай, нужно каждого человека переделать, мыслимо ли такое!? Со мной дядья поступили по обычаю. Мой отец, хоть и старший Ярославич, не сидел в Киеве. Потому я изгой. Я на

Волыни оставил княгиню с моими детьми. Дядья их не теснят, не по обычаю будет из-за меня теснить их. Почему меня в Тмутаракани оставили? Знают, я на Русь не пойду, меня Земля не примет. А еще терпят, зная, что я с этого конца Русь лучше обороню, чем мой брат двоюродный Глеб Святославич. Можно и по-иному рассудить. Тем, что тебе я сказал о князьях, они себя утешили. На деле же — я колюч, второй раз будут гнать, я добром не уйду. Они и не хотят об меня руки колоть. Овчинка выделки не стоит, а вреда от меня нет. Вот и весь мой сказ. Понятно ли я рассказал?

— Не все я понял,— ответил комес Склир.

— Ты остр умом, обдумай и согласишься,— сказал Ростислав.— Я еще с тобой поделюсь. Здешняя тмутараканская вольница какова? В каждом ангел с дьяволом так переплелись, что сам тмутараканец не поймет, где один, где другой. Такой за тебя жизнь отдаст и сам у тебя жизнь отнимет. Какая же наука ими править, с ними жить? Не мешай им, делай по чести, не скрывайся, не прячься. За правду, за свою правду они море горстями вычерпают.

— А твоя дружина, что пришлая здесь? — спросил Склир.

— Видно, все одинаковы. Ссор не было, сжились. Им нет нужды рассуждать, они поступают по своей воле.

— Да,— сказал Склир, на минуту забывший о себе,— у каждого своя правда...

— Вот и верно. Мы соседи с вашей Таврией. Свою правду я вам не навяжу. Вы мою правду уважайте. Не годится силой навязываться. Быка седлай не седлай — все равно не поскачешь.

Князь Ростислав рассмеялся собственной шутке. Склир вежливо вторил.

— Гляди-ка! Уж ночь! — воскликнул Ростислав.

Солнце западало за таврийские холмы, и свет в узких окнах посерел.

— Заговорились, гость дорогой,— сказал Ростислав, вставая.— За обещанье помощи благодарю. Хоть и не нужно, да любо мне знать рядом с собой доброхотного соседа. Передай мою благодарность Наместнику Поликарпосу. И не взыщи на угощение.

— Я всем доволен, князь,— возразил Склир.— Позволь мне завтра отбыть в Херсонес.

— Не буду тебя удерживать,— согласился Ростислав.— Завтра Тмутаракань даст тебе пир — и плыви с богом.

Ход из отведенных грекам покоев вел прямо во двор. Со двора князь Ростислав по деревянной лестнице, приложенной к глухой каменной стене, поднялся на крышу второго яруса, а оттуда по второй лестнице — на вышку.

Княжой двор, ставленный еще до Мстислава Красивого, переделывался, исправлялся, поправлялся, перестраивался, надстраивался бог весть сколько раз. Кто только не прикладывал руку к ходам-переходам, добавлял пристройки, набавлял светелку иль башенку, закладывал старые окна и двери, пробивал новые, портил либо украшал по собственному вкусу.

Вышку-надстройку придумал какой-то из Ярославовых посадников. Сам княжой двор стоял на высоком месте, и с вышки во все стороны, на сушу, на море, было видать, насколько хватало силы зрения. Зато и посадник на вышке красовался петухом на скирде, по слову язвительных тмутараканцев, и сохранился в памяти не именем, а кличкой — Петух.

В душные ночи тмутараканский люд выбирался спать во дворы, в сады, а князь Ростиславу полюбилось спать здесь, под звездой, на широкой площадке, обрамленной частыми балясинами. Свежо, и нет комаров — высоковато для слабых крыльев докучливых кровопийцев. Догадливый слуга, успев приготовить княжью постель, дожидался, зевая. Отпустив его, Ростислав быстро разделся. Летняя ночь коротка, день длинен, нарушенная привычка поспать среди дня отомстила внезапной усталостью. Но вдруг дремоту отогнало беспокойство. «Не слишком ли много наговорил я?» — спросил себя князь.

Сменив стрижей, летучие мыши трепетали в густом синем воздухе. Издали едва-едва слышался хор. Молодежь гуляла на воле, за крепостной стеной, чтоб не мешать сну старших. На тончайшую нить мотива, которую плели девичьи и мужские голоса, воображенье низало слова:

Упал... туман... на глу-убь мо-орскую...
сурожский бе-ерег дик и... крут...
я не о бе-ереге... тоску-ую...

Толкнуло, сбив дремоту совсем: «Ошибся я, грек-соблазнитель вынюхивает. Трепещут они за свою Таврию старческой слабостью. Я перед ним встал прямой, как свеча пред иконой. Правду говорил... Слабосильные умники, они правду выворачивают, как рубаху, ищут в изнанке. Скажи ему, как Святослав говаривал: иду на вас! И он успокоится.

А-а, пусть, что мне греки... Будут мутить через послов в Киеве, в Чернигове, нашептывать Изяславу, будить гнев Святослава. Чтоб им! Далась Таврия! К чему мне она?! Вслед греку пошлю кого-либо к Поликарпосу, посовещавшись с дружиной. Помогут».

Сказанное — сделано, не вернешь. Так ли, иначе ли, Ростислав умел не жалеть ни о давнем прошлом, ни о дне, едва прошедшем. На будущее — наука, нечего голову мучить. Князь-изгой ничего не боялся: справится, пока люди с ним. Спокойной жизни не ждал, злобой жизнь не укорачивал. Открываясь греку, Ростислав запечатлел в словах мысли, которых ранее складно и ясно не высказывал: не было нужды и случая. Ныне бросил бисер свиньям. Поднимут и, не поняв, оборотятся против него же? У него не убудет. Сегодня он сам будто бы лучше понял и себя, и что ему делать. Стало быть, прибыль от хитрого грека?

И уже улыбался и мыслям своим, и тихому-тихому движенью: ишь как крадется ножками в тоненьких туфлях, не думая, как заранее выдал ее вкрадчивый запах масел от разных цветов. Сама делает смесь, и аромат ее — будто с ним родилась.

Вот и она. Чуть коснулась, чуть шелестит:

— Мне там скучно и знойно от стен, ты, мой прохладный, устал, утомился, я только так, только так, ты же спи, мой красавец, усни...

Шептунья, мышка-цветочек чудесный! Сон, глубокий и легкий, без снов.

Медленная луна трудно и поздно рождалась из высокого темного лона востока. Тускло-багровая, такую на Ниле звали Солнцем Мертвых, пока Крест не вытеснил поверья былых людей, пока Полумесяц не вытеснил Крест. Впервые увидев сурожскую луну, пришлый русский говорил: кровавая, не к добру. Тмутараканец оспаривал: такая у нас всегда она.

Обычное не страшно, привычному не удивляются, не загадывают, откуда и какой ждать беды. Позднее тмутараканская луна, поднявшись к звездам, омоется воздухом, пожелтеет, побледнеет, а утром станет серебряной, как везде, и забудутся ночные мысли — темные, тревожные. Не будь тревоги — не было б и покоя; не будь несчастья — перестанут счастье ценить; разлука горька, да все искупается сладостью встречи. Просто-то как! Что за мудрость прадедовская! Однако же так оно есть, а почему? Не от нас пошло, не нами кончится. Пока

жив человек, с ним живет его надежда. Собственная.

Княжой стол поставили во дворе, а над двором, чтобы солнце глаза не слепило, не жгло голову, на корабельных мачтах натянули шелковую паволоку, собранную из разных кусков, как пришлось. Пришлось же радугой, наподобие той, которую бог послал всеизвестному Ною во извещенье о конце потопа. Или, проще сказать, какую не раз видят прочие смертные, когда солнечные стрелы догоняют уходящий дождь. Не в порицание бога — тмутараканская радуга вышла куда как поярче.

Заполнили столами со скамьями княжой двор — только пройти. Столы вышли на улицы, разбежались по улицам. Строила вся Тмутаракань, ибо у какого же князя найдется столько столов и столько скамей и где он такой запас держать будет?

Званых много, вся Тмутаракань с Корчевом, избраны все, и каждому — место. Свое, известное, без спора: каждый каждого знает. Души у всех равны, а счет местам идет по старшинству, начиная с дружинников, местных и пришлых бояр, они же именуются бо́льшими, старшими. Они тоже между собой считаются, и за счетом все прочие следят. Иначе не будет порядка, а будет обида. Будет обида — будут и битые головы.

Не только столов со скамьями, ни у какого князя и посуды не хватит на всех: блюд и блюдцев, ковшей и ковшиков, горшков и горшечков, ложек и ложечек, мис и мисочек, ножей-ножичков и всякого прочего, без чего стол не в стол, без чего и есть чего есть, да не из чего есть и нечем.

Княжая посуда — бочка с бочонком, кадь с кадкой, да ушаты широкие, да корчаги глубокие, да котлы, да вертела саженные, кули набитые. И еще особая посуда — шесты с крюками, на которых своего дня ждут свиные окорока и бока копченые, дичина мелкая и дичина крупная.

Такова княжая посуда. А другой посудой люди помогут, не впервой пировать.

Не считая княжой поварни, в двадцати местах с утра варили, томили, жарили, парили. Такой дух пошел из Тмутаракани, что в окрестных виноградниках лисы, прехитрые бестии, по слову философа, сытыми пустились охотиться, лакомясь мышиным мясцом под новой воздушной приправою — вкусно...

Князь Ростислав вылез на Петухову вышку, где спал ночью, и позвал на весь мир:

— За столы, други-братья, за столы, за столы-ыыы!

Силен князь телом, голосом его бог не обидел, но человек он и нуждается в помощи. Не беда. Вблизи услышали. Вдали увидели. И пустились помогать в сто голосов, в тысячу голосов.

Кто кричит: «Неси на столы!»

Кто: «Садись за столы!»

Кто: «Спеши ко столам!»

А кто, заранее радуясь, белугой ревет: «Под столы, под столы!»

— Погоди, не спеши, попадешь и под стол, коль сегодня тебе там постель уготована.

Князь с утра велел ключникам:

— Чтоб ничего у нас не осталось! Ни в подвалах, ни в порубах, ни в повалушах, ни в кладовых, ни в кладовушках, ни в ларях. Чтобы все пусто стало! После пира вымыть, подмести, прибрать, подмазать, подчистить, известью побелить. И нового копить станем.

И покатились, будто живые, бочки с бочонками. Стой! Эх, не догонишь! Ха-ха! Догнал-таки! Стой, непутевая, жди! Ушаты тащили за уши, как им положено. Кади с кадками, с корчагами, с мисами — эти важные, будто престарелые боярыни — ехали на носилках, широкие, толстые. Иные укутаны. Чтой-то там? Погоди!

Побежали вертела с жареными телятами, поросятами, свиньями, баранами. Их догоняли шесты с копчеными мясами. Где ж тут одним княжим слугам управиться! Управились. Помощники — вся Тмутаракань.

Чужому, пришлому, непривычному, страшно смотреть. Коту хорошо — шасть на ограду, с ограды — на крышу.

Скрывая отвращенье, с невольным, глупым для него, но непобедимым страхом взирал комес Склир, оглушенный дикими криками, на чудовищное метанье варварских толп.

В Константинополе на пирах базилевсов — молчание, чинность. Там более тысячи приглашенных стройно и важно ждали мановенья базилевса. Только жадные осы, привлеченные манящими запахами, и толстые зеленые мухи жужжат, нарушая благоговейную тишину.

Грабеж захваченного города — вот что мнилось Склиру. Он был убежден — добрую часть еды растопчут, ви́на и меды зря разольют. Неужели нельзя делать в порядке! Однако же свалка, драка, расхищенье — иных слов у грека не нашлось — оказались кратки.

Как шквал в летний день. Налетел, нашумел, рванул

парус, порвал худо закрепленную снасть, качнул судно раз, другой, хлестнул быстрым дождем. И опять светит солнце. На мгновенье вспенив волну, шквал убегает. И пены уж нет, и по-прежнему море спокойно.

Так и здесь... Прнхватив за руку гостя, князь Ростнслав шнрокнм шагом пустнлся по двору. За иим — другне. Склир не видел. Миг — и на улице, спешат между рядами столов. Опять Склнр поразился, но по-иному. Всюду порядок! Бочки с бочонками стоят на равиых между собой расстояниях, будто кто-то заранее разметил места... А может быть, и размечали? На сколько-то пирующих — бочонок, на сколько-то — бочка?

Столы были полны и прибраны, ушаты и кадки раздалн свое содержимое, не растерявши его. Склир поразился разнообразию угощенья. Что там мясá и рыбы! Столы расцвели солеными овощами, грнбамн. Грнбы — здесь редкое лакомство, их привезли издалека. Какие-то разноцветиые ягоды в мисках, моченые сливы, яблоки, что-то еще, чему грек не мог подыскать н названий. Икра, дорогое лакомство имперскнх любителей, нз тех, кто побогаче. Не просто — разных отборов. Начиная от светлой, зернышко к зернышку, нежной, которая тает во рту, и до смолянočерной, солеиой, пряной.

У Склира, как ни стремительио увлекал его киязь Ростислав, стало влажно на губах. Голод схватил его. Нынче ему предложили иа рассвете, в обычиый час утрениего стола, еду довольно легкую и часа за два до полудия — не больше. Заботилнсь оставить место для пира, проклятые скифы!

Для Склира Тмутаракань за столами — тревожиая смесь днкого охлоса, сброд всех народов, всех возрастов, мужчин, женщнн, детей. Волосы — от пенькн н льна до крыла вóрона. Одно роднит — загорелая кожа.

Киязь Ростислав раскрывает объятия — всем, да рук не хватает:

— Не обессудьте!.. Князишко я бедиый! Все, что имел!.. Эх! Хорошо! От души!.. Накопим еще!

На ходу обиял старика. Расцеловались:

— Еще поживем!

Обнял молодца в невидной одежде:

— Ты, друг! Вспомнил? На Тереке? Что ж, не надумал в дружину ко мне?

Тот мотнул головой:

— Спасибо, я сам по себе!

— Воля твоя, ты сам себе киязь!

Сорвал поцелуй у красавицы, прятавшей личико в шелковом платочке:

— Не стыдись, на людях не стыдно и с князем поцеловаться!

Разве ж всех обойдешь! Да и пора начинать, люди ждут. Возвращались другой улицей, не шли, не бежали, однако Ростислав так спешил, что Склир сбивался на бег. Мелькали те же лица как будто, та же роскошь на столах. Князь успевал, указывая на спутника, кричать:

— Не забудьте чару поднять за здоровье гостя! Он нам друг! Прибыл послом от друзей! Он славный воин!

Как с седла после скачки, Склир свалился на скамью под радужным пологом, за княжим столом для почетной тмутараканской старшины.

Слуга налил красного вина в чашу прозрачного стекла, которая ждала перед княжим местом. Взяв ее, Ростислав вышел к воротам, поднял и возгласил, будто в храме:

— Да живет русская Тмутаракань! На века! Аминь!

И Тмутаракань зашумела, завопила, и гул, и рокот, и заливистый свист — все лихо слилось в тесноте и рванулось вихрем в небо так, что оглушенные птицы, взвившись отовсюду, приняли в сторону от буйного города.

Допив чару, Ростислав вернулся, сел, отдыхая, и с доброй улыбкой сказал, не обращаясь ни к кому и обращаясь ко всем:

— Добрый день сегодня, доброго нам пира! До ночи еще далеко. Не будем спешить, други-братья! Продлим время. Оно и без нас торопливо не в меру. Тесно ль ему от наших желаний, или бог сделал время поспешным, чтобы нас усмирять, не знаю...

Взял копченую уточку чирка, разломил, съел со вкусом, обсосал косточки, вытер руки и сказал Склиру:

— Дух силен, плоть немощна. Быка бы съел, кажется. Малую птичку проглотил — и уж нет полноты желанья. В жизни нам, комес, превосходительный друг мой, слаще достигать, чем достигнуть. Волненье борьбы прекраснее, чем обладанье...

Князь, князь! Где твои мудрые ночные мысли? С кем говоришь? Грек запомнит не искренность твою, а признанье: этот русский ненасытен, не остановится, такие очень опасны.

— Цену вещей мы сотворяем нашими желаньями,— продолжал Ростислав и спросил Склира: — Какой напиток вкуснее всех?

— У людей разные вкусы,— уклонился Склир от прямого ответа.

— А не приходилось ли тебе,— допрашивал Ростислав,— остаться без воды, ничего не пить два дня, три?

— Нет.

— А мне доводилось. Такой ценой я узнал: нет ничего лучше чистой воды. Но лишь первые глотки драгоценны. Поэтому не буду тебя понуждать. Ешь, пей, пробуй, сколько хочешь, как хочешь.

Следуя совету хозяина, Склир начал с икры — скорей из предрассудка, чем следуя вкусу,— потом увлекся рыбой неизвестной ему породы и какого-то необычайного копчения.

Тем временем за княжим столом между делом шутники ополчились на Туголука, местного боярина: нашел себе красотку, а она каменная, вот он и прячет ее, колдует.

Дело было совсем недавнее. Проезжал Туголук около Острой Могилы — так называли за вид его холм-курган по степной привычке звать все возвышения могилами. Туголуковская собака погнала лисицу. Зверь понорился в холме. Собака стала рыть и вдруг исчезла. Туголук спешился. Потревоженная земля обвалилась, открыв ход. Туголук сделал факел из сухой травы, высек огня и просунулся внутрь. Пещера! Нет, наверху сохранилось подобие свода. Внизу, из-под земли и пыли, виднелись очертанья статуи. Под Тмутараканью, в Корчеве, под Корчевом часто находят клады, засыпанные развалины, подвалы. Забыв собаку, лисицу, дело, по которому ехал, Туголук бросился домой, захватил людей, телегу, лопаты, свечей. Осторожно достали белого мрамора нагую женщину в полный рост. Раньше находили маленькие статуэтки древних богинь, находили большие статуи. Но все большие были поломаны. Эта же — без царапинки, чистая, свежая, новорожденная. Как видно, в пещере кто-то шарил. Перебросав всю землю, искатели нашли мелочь — рукоять меча или кинжала хорошей работы, но плохого золота. Статую, положив в телегу, укрыли и увезли. Туголук собрал каменщиков, и ему в тот же день сложили каменную пристройку, навесили дверь. Туголук замкнул и никого не пускает. Будто бы не вся Тмутаракань знает о чудесной находке.

— И не пущу,— отмахивался Туголук,— нечего мою красавицу глазищами маслить.

— А у тебя не глаза? — не отставали товарищи.—

Ослеп, что ли? Жмуришься? Вместо глаз кадильницы подвешиваешь? Святым елеем оченьки мажешь?

— Мой глаз хозяйский,— возражал Туголук,— я ее соблюдаю, как дочь, в чистоте.

— С женой-то как ладишь теперь? — ядовито уколол обладателя драгоценного мрамора боярин Вышата.

За соседним столом, где расселись женщины, жены и дочери, кто-то взвизгнул от озорного удовольствия. Женщины хохотали, толкая под бока туголуковскую хозяйку, и сам Туголук сошел с края.

— Жену мою ты не тронь! — молвил он, привставая, и уже шарил по левому боку, но был пуст от меча шитый цветными нитками праздничный поясок. Грозно привстал и Вышата.

Что спор на пиру? Тот же пожар. Страшен, когда проглядишь первые искры. Друзья тушили лихой огонек, с добрым смехом совали в руки товарищам чары, нажимали на плечи, охлопывали, будто коней:

— Эй, пустое! Чего там, не чужие же...

Что ж, люди поумнее коней, а слово — не дело. Сломив себя, потянулся через стол с полной чашей злонравный, но умный Вышата:

— Ты ж не гневись, не хотел, мол, обиды тебе-то, мало ли что на язык навернется, а ты-то уж сразу, будто лемехом за корень, а корня-то нет, мягко. Ты в сердце гляди!

— Да разве я что? — остывал Туголук.— Слово, оно как? В одно ухо влетело, в другое ушло, шум один. А мы с тобой, друг-брат, тут-то и осушим чашу. За дружбу! За товарищество наше, соленое, тмутараканское! Ты же, Вышата, морелюбец, ты ж уже наш! Ну! За морского тмутараканского царя!

Кольнул-таки! Опять смеялись присмиревшие было женщины и все вместе кричали:

— На веки! На веки! Тмутаракань!

Кто же сильнее, ветер иль солнце, кнут иль овес? Подобрев, Туголук открыл тайну, забыв, что собирался внезапно всех удивить. Он начинает дом перестраивать. Для белой красавицы, по мысли его, уготован на втором ярусе обширный покой.

— Тогда и двери открою. Разве я скуп! Неужто буду такую красоту долго томить в темноте, на безлюдье! Довольно она настрадалась в пещере. Нн-о хороша! И чиста.

Никто не смеялся, не мальцы — мужчины. Не в конуре же жить Красоте! Вышата, ничуть не тая зависти, сказал:

— Не сама ли Елена Троянская к тебе в руки пришла?

Удачливый ты... Собаку-то хоть уступи! Может, и меня ждет подружка Елены.

Зависть Вышаты была приятна удачнику. Обнялись Вышата с Туголуком.

Эх ты, Краса Ненаглядная! И врагами до гроба ты можешь нас сделать, и друзьями навек свяжешь, дав тебе послужить. Как же ты велика, если в тебе вся наша жизнь может вместиться и жить без тебя нам нельзя! И вот ведь чудо-чудное: чем сильнее у человека душа, тем и власть твоя сильнее, Владычица. Над мелкими мала власть твоя, они довольствуются кусочками от ноготков твоих, которые ты безразлично теряешь. Ты же в людской океан мечешь крупноячеистые сети и добычу берешь по себе. Почему так установлено? Не нам, видно, судить тебя.

Но замечать нам позволено: худо там, Владычица, где нет твоей власти, где, не зная тебя, поклоняются змеям, уродам, чудовищам с разверстыми пастями. Там не жди добра. Там цены, меры, обычаи опасны и нам и уродопоклонникам.

Комес Склир наблюдал за ссорой со злорадством, мирная развязка заставила его призадуматься. В списке даримых стоял и Туголук — не в последних, недалеко от Вышаты. Вышата был чужой. Туголук — коренной тмутараканец, внук одного из старших дружинников еще князя Мстислава Красивого. Греки-купцы, оседло жившие в Тмутаракани, знали всю тмутараканскую подноготную.

Коренная Тмутаракань, от малых людей до боярства, безразлично взирала на уход Глеба Святославича. Будто не было Тмутаракани, когда Ростислав снялся перед приходом Святослава Черниговского. Никто не шевельнулся, когда Ростислав вторично вытеснил Глеба.

Как виделось Склиру, Туголук ли, рыбак ли, как молодой парень Ефа, проводивший галеру мимо прибрежных мелей, были той самой Землей, о которой вчера толковал князь Ростислав. По верху ее гуляет легкий ветер княжих споров-усобиц. Либо наоборот: из-за того-то и гуляет на Руси этот ветер, что Земля его терпит.

Так ли, иначе ли, круг замкнулся. Склиру вспомнился вопрос софиста о яйце и курице — пустяк...

Русское — для русских. В Тмутаракани пылкие сердца, холодные головы. В недавних русских святилищах, как говорят, соседствовали огонь и вода, красноречивые символы.

Опасная граница у Таврии, опасный князь сидит рядом. Клянется в дружбе,— значит, обманывает. Склиру

хотелось видеть в Ростиславе обманщика, опасного врага. Грамотей, философ, такой князь сумеет убедить себя, тмутараканцев. Что обязывает его к миру? Чем его удержать? Кто его остановит?

Будто бы нарочно мешая Склиру завершить рассуждения, князь Ростислав обратился к нему:

— Жаль, благородный Склир, что ты так скоро нас покидаешь. Мы понимаем, что ты не можешь надолго оставить командование. Все же ты мало пожил у нас, многим желающим не удалось с тобой побеседовать. Вот,— Ростислав указал на сухолицего немолодого тмутараканца,— боярин Яромир хочет с тобой поговорить.

— Если сумею, отвечу боярину,— сказал Склир и слегка поклонился Яромиру.

Тот повторил движение комеса, расправил обеими руками длинные усы, отчего шелковый плащ скользнул с плеч, удержавшись на шейном золотом колте, и начал:

— В твоей империи есть и наемные войска, за плату. Есть и обязанные службой за земельные участки вместо налога. Ты, как полководец, каких считаешь лучшими? Кем ты хотел бы начальствовать, буде тебе предложат выбор?

Чуть подумав, нет ли в вопросе скрытого смысла, Склир ответил без хитрости:

— Среди наемных есть нанятые неопытными людьми и негодные к бою. Исключая таких, я всегда предпочту наемных. Война — их ремесло, им некуда больше деваться. Призванные в войско земледельцы думают о семьях и как бы поскорее вернуться домой. Поэтому они легко разбегаются.

— Благодарю тебя,— сказал Яромир.— Позволь еще спросить. В твоей империи базилевсы свергают своих предшественников. Человек ничего не совершит один. Каждому нужны помощники. Чем у вас привлекают помощников те, кто хочет стать базилевсом?

«Будто ребенок, который хочет от первого встречного получить в двух словах объясненье причин, потрясающих государства!» — подумал Склир. Нет, это неспроста. Щедрый тмутараканский почет опьянил Склира. Здесь он полномочный посол империи, на него обращен зрачок Тмутаракани. Скифы превращают пир в училище и гостя в педагога. Он скажет им достаточно, чтобы они оглянулись на себя и запомнили Склира! Для начала увенчать себя лилиями скромности...

— Перед вами не мудрец,— говорил Склир,— я воин,

я никогда не мечтал и не возмечтаю покуситься на высшее против моих скромных достоинств.

Здесь Склир, по памяти, высыпал набор слов, которыми обязаны пользоваться верноподданные. Затем перешел к делу:

— В великих делах, как завоеванье диадемы, считают наиболее надежными купленных сторонников. Почему? Приобретенные убежденьем опасны, они могут переубедиться, они рассуждают, хорошо ли они поступают. И колеблются. Те, кто увлечен возможностью возвышенья, обогащенья, стремятся скорее получить вожделенное. После удачи они успокаиваются и служат базилевсу, возведенному ими на трон. Их благополучие связано с базилевсом. Те, кто действовал по убежденью, склонны осуждать базилевса, за которого они только что сражались. Он-де, взяв власть, не так поступает, как обещал. И, вместо того чтобы укрепляться, новый базилевс вынужден уничтожать вчерашних друзей, что и опасно, и нелегко исполнить.

Тмутаракань гуляет не одна, полно корчевцев. Корчев — пригород, права его жителей одинаковы с жителями Тмутаракани. У тмутараканских пристаней вода заставлена челнами, лодьями, лодками. Берег занят вытащенными на сухое челноками и лодочками. Отдыхает рыба — хозяева ее трудятся празднуя.

На херсонесской галере тихо. Ночью, когда взойдет луна — идет начало третьей четверти,— греки пойдут в обратный путь. Умный кормчий дал гребцам попировать вволю в самом начале. Все спят, отсыпаются. Запасая силы, спит и кормчий, оставив для порядка помощника нести стражу. Ночью кормчий поведет галеру, пользуясь береговым ветерком. К полнолунию море бывает спокойным, тихо оно и сейчас. Зато Тмутаракань шумит. Там людское море-океан.

Океан ли? Или одно привычное сравнение? Скромное сравнение. Однообразно сменяются удар волны и шорох отката. Однообразно воет ветер в завитках уха — раковины. Одно общее — привыкая или отвлекаясь, человек не слышит бури. Так за княжим столом люди, увлеченные беседой, не слышали буйного шума веселой Тмутаракани.

Говорят, кричат, зовут, поют, смеются, хохочут, бранятся. Чудесные раковины ушей то пропускают весь шум слитно, то начинают отбирать и находят нужное своему

обладателю способом, не известным ему самому. Послушное ухо. Не всегда.

Где грань между вольностью чувств и подчиненьем их разуму так, чтобы не отмирало чувство? Никто не знает. Знают иное: вольное чувство можно поработить и замучить, заставив его замолчать до поры, пока оно не отомрет. Навсегда. Ибо нет в человеке кладовой, где он может до времени сохранить ненужное ему для текущего дня.

Кто решится приказывать своему сыну, своей дочери: преврати свою душу в пустой склад?

Кто решится им же советовать: взращивай чувства, давая им вольность?

Вот и умолкли советчики, вот и замерли языки и наемных и добровольных молотильщиков словесной мякины. Нет ответа. Сам решай.

Ликует вольная Тмутаракань. Что там море! Отойди на десять шагов — и нет прикосновенья брызг. Подальше уйди — не услышишь и голоса. Люди — как лава, если бы лава, извергнутая огнедышащим жерлом, могла подниматься вверх.

Тмутаракань кипит лавой веселья и мысли. На веселой свободе она пузырится у каждого по-своему. Глядите, бывалый в разных местах белого света тмутараканец мертвой хваткой вцепился в случайного друга из Корчева. Хмелю ровно настолько, чтобы слова легче текли. Тмутараканец ликует, найдя свежие уши. Со своими он щедро делился и давно надоел.

— Германцы от других отличаются речью, непонятной для них самих. О простом — просто. Хлеб — он хлеб, лошадь — лошадь. Но как начнет германец объяснять, скажем, что правда, что ложь, да почему солнце по небу ходит, либо почему они, германцы же, тщатся у себя в Германии устраивать Священную Римскую империю, на что им Римская, и почему Священная, то беда им самим. Говорят по-своему, но друг дружку не понимают, и все торгуются, как какое слово понять.

Корчевский вскипает маслом на сковороде. Как все, он любитель порассудить, откуда пошло и то, и другое, и почему оно так, а не иначе. Только что он убеждал собеседника: есть рыбий язык, рыбы между собою общаются, как сухопутные твари. Иначе как им найти друг дружку, они же не теряются в самой мутной воде. Про Германию знает, отсюда, из-за стола, пальцем укажет, в какой сто-

роне живут германцы. Но чтобы они по родной речи блуждали даже в зрелом возрасте!

Корчевский давно вырос из молодой поспешности: чего не знаю, того и нет. Не оспаривая нового знакомца, он вслух рассуждает недоумевая:

— Как же так? Белое — бело, черное — черно, доброе — добро... Конечно, не так уж просто понять сущность добра. Для степного кочевника добро, когда он напал и ограбил; зло, когда его нагнали, побили, все отняли, и его, и награбленное. Но слово, слово! Как же без слова!

— И-эх, друг-брат,— подхватывает тмутараканец,— для тебя — черное, белое, а германцу — серое, пестрое.

Подперев бороду кулаком, корчевский уперся взором куда-то. Чувствует, что в сеть пришла рыба не рыба, зверь не зверь. Мысль его ощущает присутствие чего-то значительного, нужного, хотя прибыли ждать не приходится. И решает:

— Где твой дом? Приду я к тебе, послушаю.

Не до беседы. Затянул кто-то сказанье о красавце Мстиславе. Каждому хочется петь. Прыгнув на стол, песенник управляет руками. Гудят басы, вступают женские голоса. Смолкают по знаку, а песенник высоко звенит горькой жалобой:

Покинул ты нас, богатырь ненаглядный!

Ему отвечают призывом:

Эй, вернись, эй, аернись на крутой берег
Русского моря!

Но спорит печальный голос запевалы:

Не вернется, не аернется...

Покончив с одной, начинают новую на старый лад; не было бы старых песен, не рождались бы новые. Без новых — забылись бы старые.

На княжом дворе девушки повели хоровод. Головы в венках, сами в шелках, звенят ожерельями, пальчикам тесно от колец. Красуются красные девичьей вольностью, длинными косами, скромными взглядами, важною поступью. Поют коротенькие величания, а в них среди обрядных слов — колючий репей. У херсонесского воеводы ноженьки сохнут от скачек по тмутараканским холмам. Порей жернов надел вместо шапки — боярин любил похвастаться силой. Вышата — с русалками, Туголук — с белым камнем, Яромир — с летописями, князь Ростислав — с Жар-Птицею, в клеточке содержимой... Словом, всем сестрам — по серьгам.

А солнце-то? Прячется... Убрали навес-радугу, унесли, прибежали с ковром, стол вытащили на середину двора, застелили, с одного конца встали трое гусельщиков, с другого — трое свирельщиков.

Заговорила первая свирель, вторая, третья, вступили гусли. Знакомая мелодия средь общего шума заколебалась камышинкой на буйном ветру. Упорны тростник и струна, повторяют, твердят свое, и песня находит слова в чувствах, внутри человека.

Кто же придумал тебя, сладкое колдовство томительно-долгого вступления в песнь? Шум утих. В дверях княжого дома встала Песня. Окутанная легкой тканью, сбежала во двор, и вот уж она на столе, возвышаясь над всеми. С ней пришли слова.

Любимая не надоест тебе, если сумеешь любить. Пусть нет справедливости — есть справедливые люди. Не будет свободы, когда не станет свободных людей.

Я не о береге тоскую...

Пела Песнь о Руси, которую унес в дальние страны витязь в широкой душе. На чужом берегу он играл на русской свирели.

Сражался он, побеждал и был побежден, жил, прикованный цепью к стене. Все у него отняли, ничего не осталось, кроме хранимой в крепости твердой души.

Порвав цепь, он вырвался на волю, но корабль разбился. Он плыл, вокруг него играли дельфины, очи слепили от соленой воды, витязь плыл и лишался уж силы, когда ноги коснулись песчаного дна, над которым стоял берег сурожский, дик и крут...

С помощью малой дружины свирелей и гуслей Песнь — Жар-Птица полонила княжой двор, взяла улицы и сияла в сердце Тмутаракани. Чертит темнеющее небо искра падучей звезды. Забывшись, плачут мужчины, размазывают горькие, сладкие слезы по грубым щекам. Омываются души печалью.

Гаснут факелы. Догорают восковые свечи. Уж поздно. Уж луна тягостно рождается над мглистыми горами. Проглянула, остановилась, и опять ее затянуло во мрак. Трудно ей выйти из темного лона.

Готовы провожатые, которые выведут херсонесскую галеру в открытое море прямым путем. Будто бы повеял береговой ветерок. На княжом дворе, в закрытом месте, он

едва шевелит язычки пламеии на свечах, а в море поможет. Попутный.

Пора! По приказу комеса Склира молоденький кеитарх прииес из отведеиных грекам покоев большой кувшин с запечатаниым горлом и дорогую чашу розоватого стекла с золотым ободком.

— Желаю выпить с тобой последнюю чару! — обратился комес к Ростиславу и осушил чашу до половины. Держа ее обеими руками, Склир сказал киязю: — По слову древних язычников, любимцы богов умирают молодыми. Желаю тебе, киязь, желаю и себе, чтобы судьба вовремя рассекла нити наших жизней. Чтоб не дожить нам до жалкой дряхлости, да, до дряхлости...

Мысль Склира прервалась. Видно, последиие глотки вина пришлись лишними. Чаша, которую ои держал обеими руками, дрогнула, и комес едва поймал сосуд, схвативши за верх. Будь чаша полна, он и расплескал бы виио, и омочил пальцы. Покачав головой себе в укор, Склир справился и продолжал:

— Желаю: ие довелось бы иам так состариться, что сделаешься тягостью себе же. Что не станет силы пользоваться радостями жизии. Одиако такое далеко от тебя, князь, тебе предстоит долгая жизнь, великие дела. Полюбил я тебя...

Далее Склир благодарил князя и всех его сановников за дружбу, за сердечиость, приглашал и князя, и всех гостить в Херсонес.

Утомив других и сам утомленный долгой речью, Склир накоиец-то вручил чашу Ростиславу, стоя ждал, пока князь ее не осушит, просил и чашу прииять в дар, как залог любви.

Кентарх тем временем угощал всех, разливая вино из кувшииа, пока не упала последняя капля. Склир больше не пил, прося прощеиия: едва держится ои на ногах, совсем охмелел. И смеялся, как давился, и целовался с боярами.

Виио похвалили. Нашли один порок. Напрасно греки, любя горькое, добавляют смолу. Не будь того, вину и цены б не было.

Проводили до пристани, помогли гостю переступить через борт. Ноги отказывали Склиру, и его бил озноб. Двое русских ушли на нос галеры, третий встал рядом с кормчим. Галера пошла, увлекая челиок, на котором вернутся провожатые.

Тем и окончился пир. Комес не знал, что трое таврийских перебежчиков горько укорили князя Ротислава, зачем пил из рук Склира. Предлагали задержать греков на время, пока не скажется, было ли что подложено в вино. Не поздно. Галера пойдет по-над берегом, поскакать да крикнуть своим: сажай греков на мель. Тут же посадят.

Настояньям перебежчиков не придали веса. Склир сам выпил полчаши у всех на глазах.

Мутно светит луна, красная муть лежит на тихой воде тмутараканского залива. После жарких дней над Сурожским морем, над солеными озерами, над камышовыми топями донских и кубанских горл встает туманная мгла — издали что твои горы. И гудом гудят комариные рои. Здесь комаров во много раз больше, чем людей на всей земле, даже если собрать всех, живших на ней от сотворения мира.

Луна неповинна в зловещей мрачности своих тмутараканских восходов. Рукой подать — сделай два перехода на восток и любуйся, как встает она не из-за тяжелых твоему глазу туманных глыб, а из-за легких гор и дарит ясные ночи. Там восход луны поспорит с лучшим часом рассвета.

Черной, как дегтем вымазанная, уходила херсонесская галера, уменьшаясь во мгле. Нет, она таяла, размываясь в море и в ночи, слабел кормовой огонек.

В свою меру наплакавшись под любимую песню, боярин Яромир держал грубую речь в пустой след дорогого гостя:

— Сам себя ты огадил за нашим столом. Потыкать бы тебя носом, как нашкодившего щенка. Пустил я тебя миром, чтоб не класть хулы на Тмутаракань. Многознайка! На клятву свободен, на преступленье клятвы свободен. Десятиязычный!

— Оставь, друг-брат,— сказал князь Ростислав,— что тебе в нем! Они нас боятся, вот и кичился он перед нами от страха.

— Я его оставлю, попадись мне! С камнем на шее в глубоком месте. Гриб погребной! Не только у нас говорят: за одного грека дают девять иудеев. Кто ж спорит, пить-есть хочет каждый. Так знай же меру! Не одним хлебом живет человек. Есть греки и греки. У меня самого мать гречанка. Таких греков, как Склир, ты еще не видал. Ты думаешь, я ему за столом поддавался для смеху? Для тебя, для пришлых с тобою, князь, мы, коренные, старались. Вживайтесь, глядите. Еще скажу, я втрое убавил твои подарки грекам.

— Нехорошо ты сделал! — с досадой возразил Ростислав.— Правда, впору хоть их возвращать.

— Не вернешь! — вмешался Туголук.— Спроси-ка всю Тмутаракань! — И размахнулся пошире: — Всяк тебе скажет: я соблюл честь. Они дают не подарки, а дань. Ты же в ответ жалуй их из милости. Не годится щедро жаловать, зазнаются.

— Верно. Правильно говорит,— поддержали своего коренные тмутараканские бояре.

К ним, к своим, подходили другие местные, и теснились, заполоняя пристань так, что уж не пройти, и молчали, и в молчании было: пришлый ты, князь Ростислав Владимирич, приняли мы тебя с твоими, но корень твой неглубок, поживи, посиди, врастешь, а пока слушай наше слово, мы — Земля.

Дав урок, постояли и пошли по своим местам, кто доедать-допивать, а кто хмель просыпать. Вовремя греков отпустили. Затяни — и к языкам могло присоединиться железо. Пусть и не каждый, но в хмелю человек выдает затаенное в душе.

К испытанию вином на берегах Теплых Морей добавили второе: мужчину проверяй женщиной, женщину — мужчиной.

По-русски такое не звучит, человек широк, он сам себя испытывает делом. Любовь — как венец, она не пристала ничтожеству, не годится для злобных. Надень — упадет. Это паденье, не в пример другим, легко предсказать, потому и не стоит испытывать.

Галера шла ходко. Гребцы хорошо отдохнули, набрались сил из щедрых тмутараканских котлов. Будь их воля, гостили б они и гостили в Тмутаракани, пока не погонят в тычки.

Прошли мелкие места между песчаным островком — косой и высоким берегом, от которого падали тени, обманчивые, опасные для чужих. Луна, взобравшись на мглистую гряду, светила щедрее. Вскоре направо и впереди обозначился маячный огонь на таврийском мысу. Провожатые стали не нужны. Гребцы осушили весла, русские подтянули челн к корме.

Комес Склир, скинув плащ, в который он зябко кутался вопреки теплой ночи, подошел к провожатым.

— Благодарю за услугу,— сказал он,— возвращайтесь с богом.— И засмеялся: — Скоро у вас будут новости!

— Плыви и ты с миром,— ответил русский старшой.— А какие же новости ты нам сулишь?

— Большие! Неожиданные! — сказал Склир, махнул рукой и расхохотался.

Русские погнали свой челнок изо всех сил, гребли молча. Заговорили на пристани. Старшой сказал:

— Слыхали? Грек скверно смеялся и отпустил непонятно.

— Хмелен, да не пьян,— заметил второй гребец.— Я таких не люблю, говорит — не договаривает.

— Злобно он хохотал,— добавил третий.— Гребцы с галеры рассказывали о нем — дурной человек. Впрямь плох, коль свои на него чужим наговаривают.

— Не такие для нас и чужие, те гребцы-то,— поправил старшой.

После степного пожара огонь еще долго держится местами среди будто погасшего серо-черного пепла.

Тмутаракань утихла, да не совсем, кое-где еще доканчивают не спеша, в полную сласть. У кого дух посильнее да тело покрепче, с таким не легко справиться хмелю с обжорством. Такой свою меру знает лучше других, да мера-то у него и глубока, и широка. Подсев к первому огоньку, греческие проводники дружно вздохнули и пощупали пояски. До проводов они себя малость обидели, теперь наверстают, для того и спешили.

Луна, став ясной, подтягивалась ко ключу небосвода. Скоро она его одолеет и степенно пойдет книзу. Верховой ветерок, свежея, заигрывал с пламенем огарков свечей, угрожая сорвать с фитиля. Пусть! Светло от луны, а пьяный и при солнышке сует кусок мимо рта. Тихо. Спят псы, нажравшись досыта. Много ль им надо, если сравнить с человеком!..

Провожатые греков ели, пили, грудь нараспашку — сыпали словом в меру, без меры. Среди праздных слов падали полновесные, как на току. Полова же отлетала, как на ветру.

Поменьше болтай, больше поймешь. Греки уплыли? Уплыли. Проводники от себя будто бы ничего не сказали, не убавляли и не прибавили. И дело-то было на пиру да за чарой. Через два дня, через три слухи перекинулись в Корчев: быть худу.

Родилось беспокойство, будто куда-то тебя позовут, будто чешутся руки. Чесали, а зуд оставался: у каждого — свой, у всех — общий по общей причине.

Русская Тмутаракань — отрезанный кусок. Дальний выселок. Не было дороги на Русь, были тропы через чужую степь.

Империя лежала поближе к Таврии, чем Русь к Тмутаракани. На широкой морской дороге грекам могли воспрепятствовать только бури, русским на сухом пути могли помешать люди. Что опаснее? Слепая сила стихии или зрячий, расчетливый степняк?

Вопреки Степи, Тмутаракань растила поколенье за поколеньем. Из-за Степи тмутараканский быт привычно покоился на непокое. Потому-то Тмутаракань могла сразу, без слов, взяться за дело. Потому-то тмутараканцы учили детей: поменьше слушай, побольше узнаешь. И не жаловали поспешных вестовщиков.

Комес Склир, приказав потушить кормовой фонарь — слепит глаза,— глядел и глядел назад, будто бы ждал, будто бы чего-то можно было дождаться. Утомившись, забылся. Среди ночи очнулся, дрожа от холода: галера шла в открытом море под парусом, береговой ветер разгулялся на просторе.

Звездное небо раскачивалось над Константом Склиром, а он и вспоминал, и видел, и бредил не столь дальней историей Василия Склира, старшего отцова брата. Переплелась она с большими делами империи, и рассказать ее можно так.

В ночь на 11 апреля 1034 года базилевс Роман Третий лежал без сна в палатийской опочивальне. Шла последняя неделя великого поста, в дни которой сановники ежегодно награждались раздачей денег, и завтра базилевс собирался украсить церемонию своим присутствием.

Путь, которым Роман пришел на престол, был прям и прост. В конце 1028 года серьезно занемог шестидесятисемилетний Константин Восьмой. Близкий конец был очевиден, и главный етериарх — начальник палатийской стражи — умно и разумно пользуясь величайшим для трусливого базилевса значением своего поста, убедил бодрящегося больного назначить своим преемником скромного, образованного и, думалось, смирного характером патрикия Романа из фамилии Аргиров, бывшего лишь на десять лет моложе Константина, но зато связанного с династией узами родства. Романа тут же развели с женой и хотели женить на Феодоре, младшей дочери Константина. Но ее сопротивления не удалось побороть, и Роману досталась Зоя, вторая дочь Константина, женщина не молодая и хорошо пожившая в годы своего девичества.

Самая старшая, Евдокия, сильно обезображенная оспой, к тому времени успела принять пострижение в монахини. Брак Романа и Зои состоялся за два дня до смерти Константина. Роман объявил прощение недоимок по налогам, казна уплатила долги неисправных должников, находившихся в заключении. Выкупили пленников, уведенных печенегами за Дунай в предыдущее правление. Особенными милостями была осыпана Церковь; клиру святой Софии новый базилевс назначил богатейшие вспомоществования, дабы клирики, даже последний служка, были до конца дней своих избавлены от заботы не только о своем хлебе насущном, но и о хлебе всех своих присных и родных до дальнего колена. Вступив во вторую половину жизни — считая срок жизни праведных в сто лет,— Роман отдался мечте о строительстве храмов с такой силой, что само духовенство возражало, опасаясь истощения казны. Константин Восьмой изливал золотой дождь на пороки, Роман — на цели добродетельные, которые превращал в зло чрезмерностью. И патриарх, и настоятель Софии не хотели дополнительных украшений и так пышного храма, достаточно кое-что подновить обычной позолотой, когда одного фунта золота хватает на целый купол, украсить кое-что не настоящими камнями, но искусственными, из граненого стекла, подложенного амальгамой.

Ученые боговеды-теологи допускали и вещественные изображения бога, и храмовую роскошь как воздействие на чувства людей истинно верующих, но слабых и непросвещенных, которым для обращенья к невидимому нужно видимое, осязаемое. Патриарх, пытаясь вразумить увлекшегося Романа, захотел пояснить: бога не уловишь, как птицу сетями, обилием вещественных приношений. Но отступил, ибо в Романе, до того времени скромном христианине, открылся доподлинный язычник, подобный тем, которые насильно склоняли к себе милость идолов обилием пролитой на жертвенниках крови животных и пленников.

Базилевс Василий Второй угнетал богатых земельных собственников, видя в них опасность для единства империи. Его брат и преемник Константин Восьмой оставил в силе законы Василия. Роман Третий отменил ограничения, считая, что следует не гнать богатых, но мягко препятствовать им угнетать убогих, малоимущих, которые суть у бога. Возрадовались Дуки, Фоки, Мелессины, Далассины, Палеологи, Каматиры, Комнины и прочие, которые ненавидели Василия Второго не меньше, чем изуве-

ченные им болгары. Отныне для знатных людей оставалось одно препятствие на дороге к власти — иерархия служащих, которые выдвигались из чем-то отличившихся людей, невзирая на звание. Эти-то служащие — от высших сановников до низшего налогосборщика,— обучая один другого и передавая навыки, удерживали провинции в подчинении Палатию, создавали единство империи и непрерывность правления, кто б ни носил диадему. При Романе Третьем явственно обнаружился спор: кому не править империей, но распоряжаться в ней?

Сам же базилевс, нечаянно пошатнув имперские устои, тут же повернулся спиной и к своим богатым, и к бедным подданным. Ему пришлось заняться собственным домом.

«Дракон бедствовал, ибо управлялся глухой и слепой частью тела — хвостом». Подобной притчей писатель напоминал читателям об опасности ослабления единой для империи центральной власти. Но кто его слушал? Никто.

Клевета и доносы, как непрерывно падающие капли, погашают остатки любви и, в своем постоянстве, заставляют верить себе.

И ранее сестры Зоя и Феодора не ладили между собой. Сама Феодора своим отказом от брака с Романом восстановила против себя базилевса.

Для Зои Роман был мужем по имени, их брак совершился государственным расчетом. Ныне оба объединились в ненависти к Феодоре. Произошло несколько тайных следствий и тайных судов без участия обвиняемых. Если кого и спрашивали, то, как писал современник, «вызывали не на суд, а на осуждение, спрашивали о том, чего не было и чего он не знал».

В предыдущем правлении сын последнего самостоятельного базилевса Болгарии, по имени Пруссиан, командовал одной из малоазийских провинций империи. Свояк будущего базилевса Романа, Василий Склир, человек знатный, решительный и беспокойный, поссорился с Пруссианом и вызвал его на поединок, чем нарушил иерархию. Склир был за это заключен и затем оскоплен в наказание за попытку к побегу. Вскоре, при поддержке Романа, Василия Склира простили. Ныне он был восстановлен в придворной должности: часто применявшееся в империи оскопление отнюдь не рассматривалось как позор или бедствие. Неприятность, как каждое наказание, но временная и открывающая возможность дальнейшего возвышения, тем более для лиц высокопоставленных.

Вскоре после коронации Романа младшая сестра Зои, Феодора, была обвинена в заговоре о похищении престола с помощью Пруссиана. Его ослепили вместе с десятком обвиненных в пособничестве, а мать его, вдову болгарского базилевса Владислава, Марию, из владетельного грузинского рода, сослали в дальний малоазийский монастырь.

Затем показался опасным полководец Константин Дигенис, разбивший и отбросивший за Дунай в 1027 году вторгшихся в империю печенегов. Чтобы разорвать связи, перевели его командовать малоазийскими войсками. Здесь схватили, постригли в монахи и заключили в монастырь. Многих обвинили вместе с Дигенисом. В числе таких был и один из доверенных сановников Василия Второго, Иоанн. Этот Иоанн был вначале приставлен к Феодоре как смотритель ее двора, чтобы погубить сестру базилиссы Зои. Он раскрыл якобы заговор, был награжден, а теперь пришла очередь и ему быть списанным в расход, как выражались в то время. Уличенных по делу Дигениса подвергли публичной порке и разослали по дальним местам под строгий надзор, но на свободе — свободе умирать от голода, прося подаяния. Феодору отправили в монастырь и насильно постригли. Бывшего полководца, ныне смиренного инока Дигениса опять привлекли к суду: он будто бы собрался бежать в горы к шкипетарам и выступить претендентом на престол. Дабы избежать наказания плетьми, порки, оскопления и ослепления, Дигенис бросился из окна вниз головой на каменные плиты и умер мужчиной.

С осени 1033 года здоровье базилевса Романа начало внезапно ухудшаться. Пропал интерес к пище, и усилия лучших поваров оставались тщетными. Базилевс лысел со странной быстротой, и вскоре у него остались лишь редкие пучки на висках. Борода и усы так поредели, что просвечивала кожа, и волосы можно было бы сосчитать, если бы базилевсу вздумалось приказать это сделать. Лицо опухло, а тело исхудало. Мучила потеря сна. Лучшие врачи тщетно изощрялись в своем искусстве, испытывая отвары трав, настои цветов, драгоценные камни, мази. Ничто не помогало. Базилевс вопрошал: за что? И не видел своей вины, сколько бы ни искал в памяти. Он веровал в бога, никогда не усомнившись ни в одном из канонов, не нарушал постов, не распутничал, не чревоугодничал, ничего не скрывал на исповеди и думал и искал только пользы для христианской империи. Для этого он соединился таинством брака с развратной, нечистой жен-

щиной, и грех этот был давно прощен ему Церковью и прощался вновь, так как он, исповедуясь, не забывал вновь и вновь каяться. Откажись тогда Роман, и империя впала бы не в его руки, а в другие, то есть плохие. Не так ли?

Все тело ныло, во рту было гадко, хотелось пить, но лучшие соки лучших плодов были горьки. Нужно есть — он подчинялся врачам, но нежнейшее мясо, и овощи, и молоко — все имело тот же особенный горький привкус чего-то. Чего? Он не мог объяснить словами врачам и гневался на их непонятливость. Невежды, тупицы! В своем присутствии он приказывал евнухам бичевать неспособных и глядел, как вздрагивает голое тело, как корчится, когда евнух метко попадает концом бича в самое чуткое место. И все же не добивается крика, ибо кричать в присутствии базилевса нельзя. Потом базилевс дает наказанному поцеловать руку и предупреждает, и наказанный благодарит базилевса и уходит, едва переступая широко расставленными ногами.

В бессонные ночи базилевс перебирал в памяти сосланных «на свободу», постриженных, заточенных в монастыри. Достаточна ли мера? Взвешивал. Дополнял — такого-то нужно еще ослепить, такому-то урезать нос. Вспоминаются книги — он много читал прежде,— теперь нет времени, и голова, венчанная диадемой, поистине полна, а память свежа по-прежнему.

Философы!.. Люди хотят судить особенно о том, чего не знают, ибо известное не интересно. Всем любы рассуждения о Власти — всем безвластным, всем сторонним наблюдателям, иной пищей их ума не корми. Сужденья невинных отроков о женщинах — одни превозносят, другие чернят, но все одинаково скрывают дрожь. Пишут: вольность речи, телесная сила, неукротимый характер, красота — такие качества подданных якобы колют, беспокоят сердца базилевсов. Бессмыслица! Базилевсы нуждаются в сильных помощниках, а наблюдение за ними — государственная необходимость. Базилевс возьмет тяжкий грех на душу, коль позволит разгореться восстанию. Константин Дигенис! Его слишком любят войска, говорят, он тайно сносится с болгарами, посылает тайных послов за Дунай к печенегам...

Роман протянул руку и слегка — не хочется делать усилий — толкнул низкий столик у изголовья. Послушно вздрогнув, столик сбросил серебряный шарик, и желобок направил его на край бронзового колокола величиной с

голову ребенка. Подвешенный почти над полом, колокол издал длинный звук, нежный, как голос женщины. Вдали шевельнулась тяжелая порфировая завеса двери, почти черная в слабом свете лампад, и явилось нечто белое, неясное, как пятно снега на далекой горе, как клочок тумана, который — Роман очень помнит — однажды испугал его на ночной переправе через Босфор. Давно. Тогда он еще не был базилевсом, а был ничем. Теперь он не боится ни ночи, ни смутных образов снов, ни теней, ни движений. Он базилевс, обеспечивший себе безопасность. Пришел доверенный евнух. Свой, родственник, зять. Василий Склир, которого оскопили за буйство при Константине Восьмом. Тогда Роман выхлопотал ему свободу, прощенье, избавив от худшего, ибо поговаривали об ослеплении. Склир наклоняется к своему державному родственнику. «Зеркало!» — приказывает базилевс. От маленькой лампадки — не перед иконой — Склир зажигает свечку и переносит огонь к седьмисвечнику за изголовьем кровати, именуемой священным ложем, берет большое зеркало и становится так, что Роман видит себя. Базилевс любит смотреться — часто и подолгу глядится он в зеркало. Перемены были быстры, но базилевс не замечал их. Он смотрит, поднимает и опускает редкие брови, разглаживает тонкими пальцами волоски бороды и глядит, отыскивая не внешность, а сущность. Угадывая, по привычке, Склир подносит зеркало ближе, базилевс заглядывает себе в глаза и чуть улыбается собственному величию.

Ночь. Палатий спит, а те, кто в Палатии бодрствует, кто ходит, наблюдая за порядком, те немы, как статуи, и легконоги, как сны.

Тишина.

Базилевс мигает, Склир относит зеркало на подставку и ждет. Базилевс видит лицо, обычное лицо евнуха — все они похожи, как братья,— и чуть кивает. Склир подходит к изголовью. Базилевс кивает еще раз. Склир садится. Папирус, чернильница, перо готовы, предстоит записывать волю, как бывало не раз. Склир спит рядом, в соседнем покое, где посменно дежурят еще евнухи, вернейшие из верных. Склир сам проснулся незадолго до зова и поэтому так быстро вошел. Угадал.

Базилевс хочет назвать имя опасного человека и вдруг вспоминает со страхом: Константин Дигенис давно мертв! Забыл, забыл! И едва не выдал свою слабость!

Базилевс тихо приказывает:

— Запиши,— и называет несколько имен из числа

тех, которые уже несколько раз упоминались как подозрительные.— Поставь по два крестика,— замечает Роман. Это значит ослепление и ссылка в самые дальние места. Указ принесут на подпись завтра, Склир распорядится сам. Закончив, Склир поднимает голову. Сегодня всем сановникам радость. Нужно и этому сделать подарок. И базилевс говорит: — Пиши еще, Пруссиан и — черта.— Черта обозначает смерть. Склир тянется и целует руку благодетеля. Наверное, он доволен.

Забывшись перед рассветом — базилевс спал час с небольшим, что много для него,— он погляделся в зеркало при свете восходящего солнца. Да, сон освежает.

— Что делают там? — спросил он Склира. Там — это в покоях базилиссы, будто бы жены, брак с которой был освящен Церковью, принес Роману диадему, но не был завершен. Роман думает, что тайну знают лишь двое — он и Зоя: циничность тучной и рослой женщины, распутной, как отец ее, и брезгливость гаснущей мужественности начинающего базилевса вызвали унизительную сцену. И страшную для Романа, который, по палатийской привычке гнуть спину и душу, не сумел разогнуться. Тогда он вообразил, что эта отвратительная женщина действительно захотела в нем мужа, ей же нужно было унизить его и вырвать право пользоваться той же свободой, какая была у нее ранее, у этой развратницы, имевшей желание на многих мужей. И он дал ей свободу, поклявшись на величайших святынях — частицах креста и гвоздях,— которые Зоя приказала принести из алтаря храма Софии. Всеочищающая память обелила прошлое, и Роман простил себе, обезопасил себя. Он — базилевс, он правит, не она.

— Там без перемен, величайший,— ответил Склир,— те же, и то же, и — тот же.— Не называя имени, Склир разумел красавца Михаила, младшего брата евнуха Иоанна, находившегося в услужении у Романа, когда нынешний базилевс был только патрикием империи.

Три года тому назад базилевс взял к себе двадцатилетнего Михаила для личных услуг. Мальчик понравился ему и характером, и умом; он был хорошо грамотен, начитан. Его ждало хорошее будущее. И вдруг, тому минуло больше года, Михаил внезапно оказался в покоях базилиссы, и базилисса потребовала, чтоб он там и остался, напомнив Роману о клятве. Да, следовало бы нечто сделать с отвратительной грешницей. Если бы не болезнь. Но кажется, ему становится лучше. Только бы поправиться —

и придет очередь Палатия, его нужно очистить от скверны.

— Ох, скверна, скверна, ох, грехи! — повторил Роман вслух.— Долго ли бог терпеть будет? А, Василий?

Склир не ответил, так как ответа не требовалось.

— Хочу в баню, дабы явиться освеженным перед глазами людей на выходе моем,— приказал Роман.

Повели под руки, умело и почтительно поддерживая всей силой, так как Роман обвисал и ноги его волочились, как у мертвого. Распахнули дверь малого выхода. Здесь, в проходе, стояли отборные солдаты дворцовой стражи. Базилевс ожил — откуда взялись силы. Сам прошел переход, и только когда за входом в банный покой замкнулись двери, оставив базилевса наедине с евнухами, он опять повис на чужих руках.

В теплом, благоуханном воздухе бани после мытья, растираний, после того, как тело расправили, вытянули, освежили, базилевс ожил, сел на мраморной скамье, улыбнулся и даже не приказал, а просто сказал, будто на время забыл о величии:

— Ах, хорошо, хорошо! А теперь плавать хочу.

Он любил плавать. Банщики, сделав дело, ушли. С базилевсом оставались Склир и оба спальных евнуха. Одетые для приличия в короткие штаны, они, поддерживая с двух сторон базилевса, медленно сходили в воду по широким ступенькам лестницы, доходившей до самого дна. Склир глядел сзади на жалкую фигуру базилевса — живой скелет с раздутыми коленями, выдающимися позвонками хребта. Большая, опухшая, даже сзади лысая голова дрожала, но базилевс держал ее гордо, откидывая назад, будто глядел куда-то вдаль, над водой цистерны, прямоугольника длиной шагов в сорок и шириной в пятнадцать. У лестницы вода доходила до груди, дальше дно понижалось до глубины двух ростов, дабы базилевсы могли плавать и нырять, как в море.

Похожий цветом тела на заморенную голодом ощипанную курицу, базилевс был особенно страшен между евнухами, широкими в тазе, откормленно-жирными, тяжелыми. Они напомнили Склиру базилиссу Зою, такую же тяжелую, но еще более широкую и смуглокожую,— евнухи всех видят — в этой цистерне, где она резвилась, и не одна — от евнухов ничего не скрывают.

Погрузившись в воду, базилевс оттолкнул свои живые опоры и — чудо! — поплыл, едва-едва, но поплыл. Повернул, поискал ногами — говорят, нельзя разучиться пла-

вать,— нашел дно и пошел обратно. Слегка задыхающимся голосом он позвал Склира:

— Василий, иди сюда, хорошо! А я еще поныряю! — И, заткнув пальцами уши и нос, закрыл глаза и, подпрыгнув, погрузился.

Евнухи двинулись навстречу, чтобы помочь. Когда толстая лысая голова показалась над водой, евнухи разом положили свои широкие мягкие лапы на плечи базилевсу, нажали, и странное мертвенное лицо беззвучно исчезло.

Через несколько месяцев после побега красавца Михаила в базилиссины покои евнух Иоанн, брат беглеца и старый слуга Романа Аргира, представил Василию Склиру неопровержимые доказательства. Оказалось, что лишь по своей лености, трусости и небрежению Роман не вмешался вовремя в дни ссоры Склира с Пруссианом. Оказывается, что не поздно было бы Роману вмешаться и тогда, когда за попытку к побегу Склира приговорили к оскоплению. Оказывается, Роман сказал — беда не велика, станет только умней и спокойней. Оказывается, жена Склира, которая была сестрой жены Романа, одолевала своего могущественного родственника жалобами на распутство и обиды от надоевшего мужа.

Пища и питье базилевса готовились под надзором, пробовались десятками людей, в том числе всеми, кто готовил и прикасался. Последними руками и последним ртом были руки и рот Склира. Евнух Иоанн дал Склиру белый порошок, и яд целиком достался базилевсу. Медленный яд, ибо быстрого яда боялись. Иоанн говорил: этим же угостили Цимисхия. И некоторых других. Роман оказался крепок. Дали еще порошка. У этого базилевса душа жадно держалась за бренное тело. Болен, умирает и — живет. Нет дня, чтоб не прошел слух — кончается. Нет конца. Нужно сделать конец. Сделали.

Пора, теперь безопасно. Поеживаясь, Склир вошел в теплую воду. Приказал евнухам, окоченевшим, как камни:

— Довольно!

Жалкие останки, не поднимая над водой, потащили к лестнице и выволокли на ступеньки. Действительно, эта душа была приколочена к костям калеными гвоздями. Не открывая глаз, базилевс чуть дернулся, плечи приподнялись, точно грудь собиралась вздохнуть. Не вздохнула. Рот приоткрылся, и человек осквернил розовый с прожилками мрамор ступени струйкой черной жидкости. «Белый порошок превращается в черный»,— невольно подумал Склир.

— Смойте,— сказал он евнухам. Сам же глядел на мертвое лицо, одной рукой ища биение жилы в запястье, другую положив на сердце. Остановилось. И лицо уже менялось, расправляемое пальцами смерти.— Иди, сообщи базилиссе,— приказал Склир одному из евнухов.

Тот, мгновенно одевшись, надел на мясо лица маску торжественной горести и поспешил, вестник нового властвования.

Склир и второй евнух, вытащив тело, положили на спину, скрестили покойнику руки на груди, как полагается, и обвязали полотенцем, чтоб не разошлись. Глаза же оставались сами закрыты.

— Нам с тобой хорошо, а...— начал Склир, обратившись к евнуху, и не окончил, нельзя, и договорил про себя: «А империя, а диадема ходят по рукам, как портовые блудницы...»

Он отомстил лжецу, выместил зло на блудослове, который обманывал самого себя еще больше, чем других. Роман и тут хотел обмануть — сумел не глотнуть воды, сумел сжаться. Не вышло — лопнул внутри и задохся; хоть и отхаркал яд, но поздно.

А злоба жила, злоба не угасла. Кого бы еще, на ком бы сорвать, да не сразу, а так, как на этом, чтобы чах, иссыхал и к тебе же тянулся за помощью... Кого мне теперь ненавидеть?

Вверх, вниз раскачивались звезды над Константом Склиром, и будто бы светало, иль просто устал он... Дряхлый дядя Василий, живший в своем владении затворником, однажды пожелал поглядеть на мальчишку-племянника. Константу помнилась мягкая рука, бледное пухлое лицо, добрая улыбка; слов не сохранила детская память. Евнух вскоре умер, отказав все Константу. Но завещанное — до последней лозы виноградников — взяли заимодавцы. Впоследствии домоправитель матери неудачливого наследника рассказал взрослому Константу о найденных в доме Василия копиях сотен доносов, которыми развлекался евнух, а также о собственных его воспоминаниях о жизни. Все это тогда же сожгли. Но куда дядя дел свое золото, на что истратил? На утоление ненависти — так думал Констант. Но кого евнух ненавидел после Романа и кого губил? Знают бог и могилы...

Укутавшись, комес Склир уснул крепким сном. Пробудившись днем, приказал подать еду и опять спал, возна-

граждая себя за трудные дни. И гребцы завидовали знатному человеку, сановнику, и каждый отдал бы сразу полжизни иль больше, чтобы поменяться местом с подлинным Феликсом — Баловнем Судьбы. Завидовал Склиру-Феликсу и молодой кентарх, которого Склир не хотел замечать.

Кормчий, местный уроженец, человек немолодой, был встревожен. Странны слова, сказанные комесом русским. Так не шутят. Зачем тушить фонарь? Зачем сидеть на корме? Что он, боялся погони? Кормчий был свидетелем неприятного зрелища. Привезли подарки. Только что их собрались погрузить на галеру, как явился русский боярин и взял назад наибольшую часть. Нехорошо...

Галера проходила узким, извилистым устьем Бухты Символов. Вечерело, иначе ложились тени, берега показались другими.

А! Ждут! Склир не подумал, что галеру, замеченную в море, как всегда, опередили сигналы постов. Он сошел на пристань. С видом победителя, как возница, выигравший бег квадриг, Склир поднял руку.

— Приветствую, приветствую! — воскликнул он, обращаясь к кучке встречающих.— Я привез добрую весть! Тмутараканский владетель обречен смерти. Ему осталось семь дней жизни.

— Он болен? — спросил старый кентарх, командующий отрядом Бухты Символов, правого края обороны Херсонеса.

— Нет еще,— ответил Склир,— но он скоро заболеет, и его болезнь смертельна.

Не просто, нет, не просто совершить иное дело своей рукой, хотя такие же дела совершались уже многими тысячи раз. Предшественник прокладывает путь, как принято говорить. Как в чем! Испытай. Лезь в узкую щель, втискивай тело, дави страх, сдирая себе кожу с мяса и мясо с костей.

Нет, первому-то было легче. Всякие пути, указки и прочая словесная вязь суть звонкие образы, побрякушки речей. Нет, первый поступал так либо иначе в меру своего призванья, своих способностей и никакого пути не оставил.

Он либо они завещали примеры своих якобы тайных успехов. Сколько-то базилевсов. Сколько-то известных людей. Жен, избавившихся от мужей. Мужей, освободивших себя от досадных уз брака. Детей, угнетенных скупыми, непонятливыми родителями.

Удержи кусочек размером с чечевичное зерно под ногтем, урони его в чашу у всех на глазах. Сумей — зная, что делаешь! — задержать чашу в руках, отвлечь вниманье на срок, пока не растворится добавка к вину. Встряхни, размешай, чтоб начинка вина не осталась в осадке. Пользуйся вином, приправленным смолою — смола отобьет привкус.

Забыв пристрастье к пышным словам, потрясенный кормчий галеры, выгнав жену, рассказал о странных словах и делах окаянного Склира двум верным друзьям-морякам. Конечно, кто же не слыхал об отравителях Склирах, у них, говорят, передаются по наследству секреты составов и готовые снадобья, которых хватит на всю империю. Уж хоть бы молчал. Из-за его хвастовства Тмутаракань возьмет нас за горло. Поглядишь на него — горд, будто победил каирского калифа. Такому море по колено: спал как младенец.

Ошибались, судя по себе. Трудно влезть в чужую шкуру. Склир очнулся в дороге: «Что, я спал?» Сильная лошадь, запряженная по-русски в оглобли, легко уносила повозку по гладкой дороге к Херсонесу.

— Прямо в палатий Наместника! — крикнул Склир вознице, не помня, куда приказал везти себя, садясь в повозку.— Быстрей! Ну! Гони! — И ткнул кулаком в спину.

Конечно, к Поликарпосу. Не странно ли, не иметь никого, никого. Айше не в счет.

В Тмутаракани он не помнил об Айше. Поликарпос показал ее Склиру. Молодую сириянку в Херсонес привезла старуха, назвавшаяся теткой. Айше было тогда пятнадцать лет, как утверждала она сама, как говорила тетка, так было обозначено и в свидетельстве. Правитель Таврии, плененный красотой Айше, подобрал женщин. Немолодой сановник, старик для Склира, устроил себе обитель блаженства с помощью Айше.

Обладатели драгоценностей любят тешиться восхищеньем посторонних. Поликарпос показал сирийскую прельстительницу Константу Склиру:

— Мы оба, любезный друг, пусть добровольные, но все же изгнанники. Ах, Константинополь! Жемчужина мира! Столица вселенной! Скажу тебе, ты поймешь, подобную женщину и там поищешь. Такое нечасто, да.

Толстый Правитель шевелил толстыми пальчиками, будто играя на некоем музыкальном инструменте. Понимай как хочешь, но в Херсонесе, в деревне, умный человек может недурно устроиться. Особенно когда он первый в этой деревне.

Сомнительное первенство. Вернее сказать, известное изречение Юлия Цезаря не следует переводить буквально. Мы бы предложили: лучше быть первым на острове, чем вторым на материке. Ибо остров, особенно скудный, может быть самостоятельным, деревни же зависят от городов, и восторги деревенских первенцев подобны радостям жизни бабочки-эфемеры: один день.

День Поликарпоса длился почти два года. Затем Айше предпочла Правителю комеса. Поликарпосу, кроме первого места в деревне, пришлось также усесться в готовое каждому из нас жесткое кресло философа-стоика.

Власть гражданская еще раз уступила подчиненной ей власти военной? Нет, конечно. Но что мог сделать Наместник комесу? Темнить служебное положенье из-за такого пустяка, как наложница...

Империя давным-давно провалилась бы, не умей Палатий следить за частной жизнью сановников. Да, истинное лицо человека видно в его личной жизни. Государственная необходимость жестока, и кто поставит раздел между беспристрастной строгостью надсмотрщика и жадным любопытством сладострастника-подглядывателя?

Обличители тайных пороков терпеливы, как завистники, до часа, когда нужно и выгодно сделать скрытое явным. Где-то в Херсонесе, как и в других городах империи, сидел незаметный человечек. Через кого-то, в какие-то сроки он слал прямо в Палатий мусор спален и помои кухонь значительных лиц. Эта смесь, антипод золота, тоже не пахнет: вопреки мненью толпы, которая предвзято, безосновательно верит в дружбу подобных, сходятся противоположности. В Палатии знают, как Склир лишил Поликарпоса наложницы. Дело будто б пустое? Нет, при стычке там подумают: Наместник мстит комесу...

Констант Склир оказался весьма болтливым и дал Поликарпосу время опомниться, время принять происшедшее. Сопровождая многословие Склира кивками, Наместник изготовился к состязанью.

— Вполне ли ты убежден в успехе? — спросил он.

— Да, я делал все сам. Кто-то сказал: заботящийся о себе обязан служить себе сам,— блеснул комес.

— Не оспариваю,— согласился Поликарпос.— Но сна-

добье,— они оба не хотели настоящего названья,— хорошо ли? Ты ведь знаешь правду о Романе Третьем! Его долго кормили этим и, наконец, утопили.

Дерзость! Василий Склир, распорядившийся базилевсом Романом, приходился родственником комесу Константу. Но сейчас Склиру не время ссориться... И Поликарпос это знал.

— Средство верное,— возразил Склир,— проверено. Я сам проверял.

— На человеке? — деловито осведомился Поликарпос с умелой наивностью.

Склиру пришлось проглотить вторую дерзость. Он не ответил.

— Понимаю, понимаю,— поспешил Поликарпос с той же непосредственностью.— Что же! Будем молчать и ждать.

— Чего? — вскинулся Склир.— Я бросился с дороги прямо к тебе не для болтовни. Прикажи подать нужное для письма. Папирус для черновой и пергамент для переписки. Я составлю донесение базилевсу. Ты скрепишь и немедленно отправишь. Я обеспечил базилевсу мир в Таврии. Он имеет право узнать об этом.

— Величайший, августейший, божественный имеет все права,— согласился Поликарпос. Недавно и дружно они издевались над базилевсом. Столь же дружно забыли — большой знак! — Однако рассудим, как говорил философ,— продолжал Поликарпос.— Если князь Ростислав будет жить, ты окажешься в тесной одежде. И я с тобой. Если умрет — твоя туника окажется еще более узкой. И моя. Несправедливо для меня в обоих случаях. Но базилевс Константин Дука строг во всем, что касается формы.

— Как! Ты не одобряешь меня? — воскликнул Склир.— Ты не хочешь смерти врагам?

— Одобряю и хочу,— возразил Поликарпос.— Я вообще хотел бы смерти им всем. Мне было б так покойно, вымри они все за нашей границей. Никого не бояться. Возвращение в рай. Да, я накормил бы всех твоим снадобьем! Мы сняли бы расходы на стены, на войско. Трех сотен отборных солдат нам хватит следить за повиновеньем подданных. Предварительно мы отнимем у подданных оружие, к чему им оно будет тогда,— мечтал Поликарпос.— Но, увы, такое не в нашей власти...

— Ты забросал меня словами, я не понимаю,— прервал Поликарпоса Склир.

— Сейчас, сейчас,— заспешил Поликарпос,— поймешь! Ты, может быть, действительно совершил доброе дело. Но даже такие замечательные полководцы, как ты, превосходительнейший, не знакомы с некоторыми вещами. Хотя базилевс не поручал тебе ничего, ты в Тмутаракани был для русских послом империи. Послы империи не убивают, не кормят... снадобьями.

— Ты! — вскочил Склир.— Ты! — Он плевался от ярости.— Ты со мной как с мальчишкой! Что-о! Я не знаю? Чего не знаю? Дел наших послов? Не понимаю пользы империи? — Комес искал рукоятку меча.

— Тише, тише! — Поликарпос махал на Склира обеими руками, как птичница на задорного петуха.— Мало ли что бывало! По какому-то поводу в писании сказано, что левая рука не должна знать, что совершает правая. А ты хочешь, чтоб я скрепил твое донесение и послал галеру! Будто мы вместе с тобой кормили Ростислава. Не перебивай! — простер руки Поликарпос.— Такое будет значить для меня еще худшее: я сам не умею молчать и не сумел тебя убедить. Слушай! И кормят, и убивают. Но никогда не признаются, никогда. Империя должна быть чиста. Существует только то, о чем знают. Неизвестного не было.

— Конечно,— согласился Склир,— и мы пошлем пергамент самому базилевсу.

— Ты не знаешь канцелярий,— возразил Поликарпос.— На имя базилевса поступают десятки писем. Читать их базилевсу не хватит суток. Читают в канцеляриях. Докладывают только то, на что не могут или не смеют ответить сами. В таких особенных случаях заранее подбирают ответы на вопросы, которые может задать базилевс. Твое донесение особенное. В Канцелярии подберут справки о Таврии, о русских, о тебе, обо мне, будут ждать вести о смерти князя. Когда она поступит, базилевсу сразу доложат все. Не поступит? Будут еще выжидать, выжидать, найдут час и все же доложат. В обоих случаях и мне, и тебе будет плохо.

— Но за что? За что? — повторял Склир, как-то сразу упав духом.

— Разглашение государственной тайны,— сказал Поликарпос, переходя в наступление.— Я твержу, твержу, а ты будто не слышишь.

— Превосходительнейший! — воззвал Склир, и Поликарпос заметил себе: наконец-то вспомнились приличия.— Превосходительнейший, кто упрекнет нас в разгласке,

если мы положим печати и напишем: государственная тайна?!

— Опять «мы»! — упрекнул Поликарпос.

Склир проглотил, и Поликарпос продолжал поучать:

— В Палатии все секретно, нет ничего для оглашенья. И все знают: истинно тайно лишь сказанное на ухо. Таковы люди, любезнейший. Канцелярия тебя не пощадит. Первым на тебя обрушится сам базилевс. Я же говорил тебе: он великий знаток канцелярий и блюститель формы. Что ж? Убедился? Удержал ли я тебя от греха самоубийства?

— Я подумаю...

— Как хочешь, как хочешь, но...— Поликарпос внушительно воздел к небу перст указующий,— что бы ты ни надумал, забудь о моей подписи и печати. Галеру тоже не дам. И ничего я от тебя не слыхал. Ни-че-го!

— Я не умею убедить тебя, но чувствую, что ты лишаешь меня заслуги перед империей,— пробормотал Склир. У него мелькнула мысль самому плыть в столицу. Нет, Поликарпос не даст галеры даже в Алустон...

— Ты упрям, будто женщина,— упрекнул Поликарпос.— Будь же мужчиной! Ты еще помолишься за Поликарпоса. Когда-либо, найдя случай, ты наедине откроешься базилевсу. И он наградит тебя.

— Когда? — с горечью спросил Склир.— К тому времени все забудут Ростислава. Кто награждает за давно прошедшее...

— Разное бывает,— ответил Поликарпос.— Не всегда дают награду даже за исполнение приказаний. А так, за сделанное по своей воле? — Не получив ответа, Правитель закончил: — Думаю, ты умолчишь. Тебя могут заподозрить, будто ты из корысти приписал своим действиям естественную смерть.

— Что же я получаю? — горестно спросил комес.

— Как что! Ты забыл нашу беседу перед твоим отъездом? — удивился Поликарпос.— Ты утверждал, что если империя и. выгонит Ростислава из завоеванной им Таврии, то тебя и меня не найдут в числе победителей. Коль твое снадобье хорошо, ты можешь жить спокойно. И я тоже.

— И только...

— Как! Разве этого мало?! — воскликнул Поликарпос.

Склир встал, собираясь уходить. Поликарпос приподнялся со словами:

— Итак, тайна, тайна. Надеюсь, этот молодой человек, твой подчиненный, ничего не знает?

— Никто не знает. Я ограничился известием о том, что русский князь болен и умрет через семь дней,— ответил Склир, бессознательно смягчая.

— Великий бог! — Поликарпос подскочил с живостью толстого, но сильного телом человека.— Кого ты извещал?

— Встречавших на пристани.

— Но ты признался!

— Нет, я просто сказал то, что сказал.

Овладев собой, Поликарпос небрежно кивнул комесу. Конечно. Он, Правитель, покончил с этим человеком. Глупость — опаснейшая болезнь. Неизлечимая. Потратить столько времени, чтоб обуздать Склира, как дикую лошадь... Успеть в трудном деле — сбить со Склира задор. Ведь он в упоении мог бы просто приказать солдатам схватить Наместника, с ним шесть-семь сановников, объявить их изменниками и послать к базилевсу за наградой! Мало ли чего не совершали начальники войск, и многое сходило им с рук.

Было поздно. Придется отложить до утра быстрое следствие об откровеньях этого Склира.

Дурак, дурак! Вот таких, таких любят женщины, подражая Венере, покровительнице страстей, избравшей тупицу Париса! Ай, ай! Нет сомненья — этот пустил в дело яд, и русские могут выместить свой гнев на неповинной провинции. Что делать?

Правитель пошел в детскую спальню. Пять кроваток. Старшему — десять, младшей — три года. Тихо. Светит лампада. Обе няньки мирно сопели у двери. Здесь привыкли к вечерним посещеньям отца. Поликарпос обошел детей, крестя их, как обычно. Все дети — таврийцы, все они родились в херсонесском палатии.

Поликарпос женился поздно, перед назначением в Таврию. Пришла пора, нашлась хорошая невеста из семьи со связями в Палатии. Поликарпосу повезло: ему досталась рачительная хозяйка, заботливая мать, разумная женщина.

Не ее вина, что привычки мужской холостой жизни, да и в таком городе, как Столица империи, не совмещаются с семейной жизнью. Были у Поликарпоса некие услады до Айше, было нечто и после измены сирийской прелестницы. Такое скрывают из чувства приличия. Жена, конечно, знала, знает и разумно помогает мужу притвор-

ным незнаньем. Поликарпос уважал женщину, с которой его связал бог.

Жена крепко спала, когда Поликарпос вошел в супружескую спальню. Шепча молитвы перед ликом святого, чье имя даровали ему при крещении, Поликарпос в тысячный раз постигал мудрость церковных канонов. Воистину — богочеловек. Бог также и человек, иначе людям погибель, иначе ни им не понять бога, ни богу — их. «Пойми и прости во имя невинных детей!» — просил Поликарпос. Слезы жалости к себе, к детям, к людям, к отравленному русскому и, может быть, к самому отравителю катались по круглым щекам. Искренне, не для докладов. Хотелось быть добрым и чтобы другие стали добрыми. «Ах, если бы Склир похвастался либо его яд ослабел от храненья! Бог мой! Сделай!»

Бог послал Поликарпосу ночью крепкий сон и свежую голову утром. Он восстал от сна с ростками надежды. К полудню Правитель успел расспросить старого кентарха из Бухты Символов, нескольких встречавших Склира, кормчего галеры, ходившей в Тмутаракань, его помощника. И ростки увяли.

Склир не показывался. Забрав половину тмутараканских подарков, состоявших из икры, соленой и копченой рыбы, такой же дичины и небольшого количества выделанных мехов, комес засел у Айше. Поликарпос ревновал, ревновал по-настоящему, сам дивясь на себя. Он же, казалось, давно примирился с изменой сириянки. Почему же теперь?

В Херсонесе и в Бухте Символов стремительно распускались семена, посеянные комесом Склиром в минуты возвращенья. И вероятно, не им одним. Ведь даже гребцы были свидетелями расправы с подарками на тмутараканской пристани.

Как все правящие, которые привыкли пользоваться соглядатаями, умея приучать их не добавлять собственных домыслов к чужим словам, Поликарпос давно не удивлялся меткости народной молвы. Есть много безымянных талантов, способных разгадывать намеки. Комес Склир не поминал о яде. Соглядатаи передавали: слухи утверждают, что сам комес хвалился отравой.

Толпа презренна: спросите философов. Одни готовы ее уничтожить, другие хотят переделать; такую, как есть, не приемлет никто. Однако ж слова, брошенные на поживу толпе, подобны незаконченной статуэтке, которая попа-

ла к скульптору. Доделает и найдет покупателя. Поликарпос не гнушался толпы.

И все же слух — только слух, а удачливые пророки, вопреки болтовне об их славолюбстве, в чем повинны и сами они, первыми огорчаются исполненьем предсказаний — грозных предсказаний, хорошие редки.

На пятый день моряки с русских и греческих судов, прибывших из Тмутаракани, рассказывали о тяжелой болезни, внезапно постигшей князя Ростислава.

Епископ Таврийский по собственному почину и самолично отслужил в херсонесском соборном храме молебен о здравии князя Ростислава. Имперское духовенство давно отучилось препираться со светской властью. Епископ не просил разрешенья Правителя, за что тот был благодарен. Святитель знал не меньше Наместника, если не больше. Не нарушая тайны исповеди, духовники извещали владыку о страхах верующих. Умный человек, молебствуя о Ростиславе, пытался помазать елеем рану. Но и осуждал, ибо в нашем двойственном мире нельзя совершить что-то цельное, единое.

В тот же день два тмутараканских корабля, не закончив дел, отправились домой. Они спешили в Тмутаракань с грузом слухов, такого не понять разве младенцу.

К вечеру соглядатаи принесли слухи, на которых стояла печать Страха. Почерк его узнают по явным бессмыслицам.

Поликарпос не принадлежал к легкомысленным правителям, которые ждут от управляемых любви, преклоненья перед своим гением. Ему и в голову не приходило задержать тмутараканцев. Безумно дергать за перетертый канат, пусть, коль придется, последние нити рвутся без твоей помощи. Херсонес же говорил о его приказе задержать русские корабли, но приказ-де опоздал. Из-за молебна за здравие Ростислава Правитель и епископ будто бы обменялись резкостями. Передавалось и что-то еще, подобное по нелепости. Поликарпос не обижался.

Одно — следить за мыслями подданных, другое — влиять на мысли, третье — разобщить подданных так, чтобы они, научившись молчать, разучились и думать. Поликарпос обладал первым. Не имел средств для второго. Был слишком трезв и умен, чтобы даже мечтать о третьем.

Лишний бы день без войны. Игра слов, измена смыслу: мирный день не может быть лишним.

Прошел седьмой день.

Прошел восьмой день, пока еще мирный.

Утром девятого дня старый кентарх из Бухты Символов прислал верхового: князь Ростислав скончался.

Свершилось.

Что свершилось? Реки назад потекли? Пресное стало соленым, а соленое — пресным? Умер сосед, русский князь, которому некоторые люди без внешних поводов навязывали враждебные Таврии замыслы.

Поликарпос был философом в иные минуты, когда его, как многих пятидесятилетних, посещало ощущенье прозрения сути вещей. Его топили в слухах о страхе, обуявшем подданных. Он отбивался. Толчок дал кентарх из Бухты Символов. Уж коль этот старый и — Поликарпос знал его много лет — глупый человек счел смерть Ростислава чрезвычайнейшим событием,— значит, так оно и есть.

Власть необходима. Даже когда она призрак. Ибо призраки, так же как сети, пашни, корабли, создаются волей людей, следовательно, нужны им. Власть обязана проявлять себя, и Поликарпос собрал таврийский синклит — провинциальных сановников.

Епископ со своим викарием, епарх — градоначальник Херсонеса, управляющий пошлинами и налогами, начальник флота, главный нотарий, главный секретарий, начальник почт и дорог. Епарх Бухты Символов опередил вызов. Он рассказал: женщина, которую в Тмутаракани звали Жар-Птицей, закололась на теле Ростислава.

Комес Склир явился последним в сопровождении молодого кентарха, своего спутника в тмутараканской поездке. Комес казался утомленным. Он рассеянно сослался на болезнь, из-за которой не показывался несколько дней.

Все, кому по должности полагалось высказывать мнение, советовали умеренность: в Тмутаракани междувластье, русские беспокойны. Меры предосторожности нужны, но втайне, дабы русские не сочли такое за вызов.

В Херсонесе и в Бухте Символов русские живут отдельными улицами под управленьем собственных старейшин. Епархи посетят русских, выразив соболезнованья.

Епископ заявил о взносе за счет епископии вклада в соборный храм на поминание души князя Ростислава. Он предложил послать такой же вклад в тмутараканский храм, а также поднести этому храму четыре иконы, дарохранительницу, чаши, ризы из кладовой херсонесского

собора. Отец викарий с клириками может немедля отбыть в Тмутаракань. Синклит дружно благодарил преосвященного, решили к вечеру снарядить лучшую галеру с отменными гребцами.

Комес Склир сообщил усталым голосом: недостаточное числом войско будет исправно нести службу. Его ни о чем не спрашивали, от него сторонились с подчеркнутым отчужденьем.

Секретарий составил запись совещания синклита, пользуясь установленной формой. Как многие, эта запись не давала посторонним даже подобия ключа к событиям. Свидетельствовалось, что должностные лица исправно служили империи, блюдя законы.

Синклит расходился под печальный звон колоколов. Во всех храмах Херсонеса служили панихиды по благоверном князе, который отошел в мир, где нет ни печали, ни воздыханий, но жизнь вечная.

Склир рассеянно спускался с лестницы херсонесского палатия. Не то у него получилось, не так. Он не раскаивался, он был опустошен. Закрывшись у Айше, он превратил первые дни возвращенья в пьяную оргию. Не стало сил, и уже трое суток Склир был трезв. Не следовало браться не за свое дело.

Не желание выслужиться и не польза империи двигали Склиром, а завистливая ревность к Ростиславу. Констант Склир был еще далек от конечного вывода. Он еще брел по лабиринту, из которого не было иного выхода. Пока завиток, из которого он выбирался к дальнейшему, мог назваться так: не следовало ли, бросив империю, пристать к Ростиславу? Бессмыслица. Он возился с ней.

Служба в соборе окончилась. На площадь выливалась толпа, смешиваясь с теми, кто, не протиснувшись в храм, теснился на паперти: небывалое дело! Склир, занятый своим, взял правее.

— Убийца! Убийца! — кричали женщины.

Очнувшись, комес не сразу понял, что оскорбленье относится к нему. На него указывали. Толпа надвинулась. Буйный люд портового города, решительный, скорый на руку.

— Отравитель! Каин! Бей его! Из-за тебя всем погибать! Иуда! Колдун!

Вырвавшись, Склир прислонился к стене и выхватил меч. Молодой кентарх, товарищ, которому Айше нашла подружку, оказался рядом. Толпа отхлынула перед обнаженными клинками.

— Прочь! Разойдитесь! — закричал Склир. Его голос погас в гневном реве. «А! Два меча справятся с чернью!» Склир шагнул вперед. Первый камень ударил в рот.

Задыхаясь, палатийский слуга выкрикивал перед Правителем:

— Побили... камнями... обоих... сразу...— И, отдышавшись, рассказал, что духовные поспешили из собора, но все было кончено вмиг...

— Суд божий! — сорвалось у Поликарпоса.

Если эти слова и дошли до Канцелярии, то их не поставили в вину херсонесскому Правителю. Как не поставили в вину епископу отказ предать тело Склира освященной земле. Ибо этот человек умер без исповеди, без причастия, под тяготевшим над ним обвиненьем в отравлении.

Война с Тмутараканью не состоялась.

Как-то Айше сказала своему милому Поликарпосу:

— Разве справедливо, когда ничтожный человек лишает жизни большого человека? Почему боги позволяют?

— Пути бога неведомы для людей. Камень на дороге может изменить судьбу империи. Это очень старая поговорка. Ты понимаешь ее?

— Нет,— ответила Айше.

— Я тоже не понимаю,— сказал Правитель,— однако же это правда, а я уже стар.

— Нет,— сказала Айше,— ты добрый и, как все, считаешь женщин глупыми.

Глава вторая

РЕКИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ, ЧТОБ ТЕЧЬ ОПЯТЬ

КАК МНОГИЕ ДРУГИЕ ПРИШЕДШИЕ ИЗ Азии воинственные племена, истощились и печенеги, многократно отбитые и побежденные Русью при Ярославе Владимириче. Крупное сито войны, отбирая сильных и смелых из первых рядов, отсеивает в жизнь мелких, юрких.

В Диких полях приподнялись печенежские полуданники, полусоюзники, известные русским под кличками черных клобуков, турпеев, торков.

Полное истребленье их было для Руси делом непосильным, немыслимым, невозможным. И даже дурным. В те же годы, после тяжелых неудач армий Восточной империи в боях с вторгшимися через Дунай печенегами, имперские послы сумели осадить печенегов на землю, отведя им угодья между нижним течением Дуная и морем. Там же, за шесть или семь веков до печенегов, было осажено появившееся неизве-

стно откуда племя, не оставившее по себе ничего, кроме собственного имени — бессы.

Объясняя подданным неудачи в борьбе с печенегами, объясняя мир с ними, купленный ценой уступки куска имперской земли, Палатий указывал: богу не угодно, чтобы был уничтожен один из созданных им народов.

В ряду беспощаднейших истреблений своих и чужих, которыми империя себя постоянно позорила, заявление о милости к непобежденным звучало ложью: словами спасали лицо. Но было в нем также и раздумье, и трезвая мысль.

Через несколько лет после смерти Ярослава Дикое поле опять зашевелилось. Мелкие, почти не замеченные набеги сменились тягой к более крупным предприятиям. В Степи нашлись вожди, подросла молодежь, забывшая отцовские раны, размножились кони. В 1059 году несколько тысяч конных с днепровского левобережья были замечены за рекой Орелью. Получая подкрепления с правобережья, кочевники поднимались вверх. Русское населенье бежало в крепости. Степь обтекала их, не тратя времени на осаду. Князь Всеволод Ярославич вышел из Переяславля, встретился с врагом под крепостью Воинем, около устья реки Сулы, разбил и разогнал нападавших.

В следующем году, в 1060-м, дождавшись конца полевых работ, все трое Ярославичей — Изяслав Киевский, Святослав Черниговский, Всеволод Переяславльский — в союзе со Всеславом Брячиславичем Полоцким решились почистить Степь. Племя торков заступало место печенегов. Общим походом хотели сломить торков.

Русская конница со своими обозами, с пешим войском на телегах шла обоими берегами Днепра. По Днепру пешее войско плыло на лодьях с запасами для всех.

Война была хорошо задумана, велась упорно до глубокой зимы. Вырвались три орды. Бросив слабых, имущество, скот и семьи, они навсегда покинули соседство с Русью. На восток дороги были отсечены, и торки пустились на запад. Уцелевшие переправились через Дунай.

Много степняков, выброшенных из зимовий, погибло от зимних холодов, от болезней. Многие были убиты, но еще больше попало в плен. Пленников отвели на Русь. Здесь они были осажены на окраинных землях, по реке Роси на правом берегу Днепра, а на левом — в междуречье Трубежа и Супоя, к северу от Переяславля. Так степнякам было суждено обрусеть: стали они жить оседло,

завелись у них города, обучились возделывать землю, занялись и ремеслами и усилили Русь.

Кочевник искал свободной земли, чтобы пасти скотину, и оседлых соседей — для грабежа. Избавиться от кочевника удавалось, убив его или сделав оседлым. Бились в полную силу. В скобках замечу: значенье изношенных дешевыми книжниками слов «без пощады!» ныне стало доступным только тому, кто взял смелость понять собственный опыт войны. Зато в те поры, хоть и тогда слово «свобода» каждый постигал тоже по-своему, было необъятно много свободной, порожней земли. И было где встретиться мирно, не наступая другому на ногу...

Русь шла на свободные земли, чтобы на них осесть и жить, добывая свой хлеб из земли. Так бери же, иаселяй, обрабатывай! Что мешает?

Время мешало. Оно давало свои сроки, а славяно-русское племя плодилось в свои, не поспевая, как видно, за скорым бегом небесных светил, безразлично порождающих время.

Деревянный дом под соломенной крышей ставят за несколько дней. Достал мешок семян — и весь следующий год будешь сыт. Цыплят жди до осени. За конским приплодом будешь ходить три года, прежде чем лошадь пойдет под седло и в оглобли. Яблок от посаженной тобой яблони жди двадцать лет. Твой сад унаследуют дети, вместе с которыми растет медленное дерево. Быстры одни сорняки.

Да и место тоже было нелегкое, место тоже мешало. Широк путь между уральской горно-лесистой стеной и Каспийским морем.

Тут не иавесишь ворот, подобных Дербенту, которым то вместе, то порознь Восточная империя и персы запирали узкую тропу по западному берегу Каспийского моря.

От сотворенья мира Запад с Востоком состязались через узкую полоску проливов между Средиземным морем и Евксинским Понтом, названным впоследствии Русским морем, Черным морем.

Боролись Запад с Востоком и к северу от Евксинского Понта.

Но что там происходило? Как? Речь идет о событиях, удаленных на полторы, на две тысячи лет. В русских лесах и полях глух глагол прошлого. Он в землю ушел с головой, землею засыпался, и кладовые его еще не раскопаны.

Зато на юге борьба совершалась гласно и явно, хотя бы с осады Трои. Эллины завещали тяжбу единой Римской империи. В наследство от них она досталась и Восточной империи.

Однажды эта наследница тысячелетней борьбы выиграла. Базилевс Ираклий заставил рухнуть силу Ирана. Вскоре увидели, что миды — персы, вечные враги, были стенкой между Востоком и Западом.

Стенка упала. Восточной империи не помогли единовластие, единоверие. Не спасла наилучшая для тех времен и для многих последующих система управления государством. Ведь все было будто считано-пересчитано, писано-перезаписано, перевязано законами, указами, постановленьями. Будто бы нигде, как в Восточной империи, не было столько грамотных, обученных науке управления. Разве только одна Поднебесная империя на самом дальнем восточном краю мира могла бы состязаться с империей базилевсов.

Подданные базилевсов умели делать вещи, несравненные по красоте, а также по удобству и прочности. Строили отлично хорошо здания, пристани, дороги. И умели считать.

Не сосчитали лишь, сколько труда, искусства, науки вложено было в сотворенье единовластия, единоверия. Что считать? Сказано ведь: государство, разделившееся внутри себя, погибнет.

Но не сказано — как соединить и чем. В изысканиях способов исчахли лучшие умы, а худшие выжили. Вольность и волю душили по-научному, в зародыше: избили подданных стократно более, чем уложили в войнах. Неустанно работала трость Фразибула [1], уничтожая колосья, которые, естественно, по природе своей поднимались выше других, не ведая, что нарушеньем общего строя они сами себе выносят смертный приговор: для блага других, коротеньких, одинаковых.

Упреки прошлому так же тщетны, как сожаления о золотом веке, которого не было. Но воздержаться от них умели одни евнухи, излюбленные базилевсами.

От годов появленья половцев в ничейном Диком поле не столь было удалено время, когда на развалинах быв-

[1] Коринфский тиран Периандр (ум. 585 г. до н. э.) послал спросить у своего друга милетского тирана Фразибула о лучших способах правления. Фразибул на глазах у посла тростью долго сбивал в поле колосья, поднявшиеся выше других, и отпустил посла, ничего не сказав.

шей Восточной империи Турок напишет, если удостоит: разрушено грубым насилием оружия, и ничем более.

Скажут — Восточная империя погибла, разделившись внутри себя. Да, но разделило ее усиленное объединение.

Так разделило, что не помогла ей и сторонняя помощь, с запада. А ей помогали! Пусть плохо, пусть званые и незваные помощники сами не понимали, для чего идут — спасать ли либо устраивать собственные дела?

Впрочем, бескорыстной помощи не бывает. Бойся спасителя, вопиющего о своем бескорыстии! Неразумно упрекать западных помощников Восточной империи. Разве лишь в том, что они не сумели помочь ни себе, ни империи. Пусть лгали знамена — Европа щедро устилала сотнями тысяч тел поля малоазийских сражений. Прошлого не изменить и великим богам. Кости павших — не шахматные фигурки. При всем желании книжников их вновь не расставишь. Игра сыграна, ставок более нет.

Восток бил Русь крыльями, клювом, когтями. Русь отступала, отбивалась на опушках своих лесов и, бросившись в Степь, ломала азиатские крылья.

Никто с запада не приходил помогать Руси отбиваться. Повернется Русь лицом на восток, запад ее бьет в спину. Отмахнется Русь — с востока ударят. Неужели же русское счастье было в том, что не находилось помощников? Правда ли, что плата за помощь бывает горше беды, от которой спасали?

Подметая Степь, братья Ярославичи трудились по совету своих дружин, по согласию русских пойти в поход после уборки хлебов.

Хорошо бы занять Дикое поле русскими людьми. Построить города-крепости. Наполнятся пустые места поселенцами. Пустят они корни и сами себя защитят.

Где взять людей? Свои глубинные места лежали впусте на девять десятых. Против Степи насыпали земляные валы, ставили земляные крепости. Озирая сотни верст доживших до наших лет укреплений, удивляешься: откуда руки брались при тогдашнем безлюдье?! Такое могли совершать только доброй волей, только понимание дела удерживало заступ в руках. Насильно такого не сделаешь!

На старые наши могилы просится справедливая, простая надпись: они сделали все, что могли. Дай бог и другим такую же память!

Года не прошло, как с миром попросились на Русь, чтобы пристать к своим, торки, бежавшие на восток, к Дону и за Дон от русского войска. Через Волгу переправлялись новые пришельцы с востока. Такие же кочевники, близкие торкам по речи, одинаковые по привычкам. Но более страшные, чем русские. Кочевнику другой кочевник — такая же добыча, как оседлый.

Новые пришельцы звались кипчаками или кыпчаками, они же узы, куманы, без креста окрещенные на Руси половцами. Какие-то передовые племена их обильного людьми и по-кочевому медленного нашествия вскоре появились вблизи Переяславльского княжества. Всеволод Ярославич, по совету дружины, поспешил встретить незваных гостей. Кони у него были добрые, всадникам — цены нет, если брать по одному. Вместе же оказалось их мало. Так мало, что половцы опрокинули переяславльского князя. Спасибо, выручили кони, недаром кормленные овсом да ячменем. Пришлось Всеволоду сесть за крепкие стены. Половцы пограбили долины Ворсклы и Сулы. Вернулись они из удачной разведки, вызнав, куда ходить за добычей. Места им понравились. Они и у себя занимались тем же, в привольях между Аральским и Каспийским морями. Но там пески, пустыни, ходи от колодца к колодцу. Здесь — рай. Доподлинный, обещанный храбрым: сладкую воду пей, не считая глотков, и сладкой травы богатство. Так объясняли несколько половцев, схваченных русскими в плен по вине своей дерзкой погони.

Наибольшей же половецкой добычей после легкой победы была опасная для русских уверенность в своем преимуществе над местными оседлыми.

Часть половцев, сколько — сами не считали, потянулась на запад. По следам печенегов они переправились через Дунай. В империи новые гости показали себя, как свои предшественники. Другие остались близ Руси, деля между своими родами сочные угодья. Но не в угодьях лишь дело. Кочевник любит простор.

Кочевник говорит:

— Моим глазам больно, когда я вижу вдали чужие юрты.

Редкий оседлый поймет такое.

И еще есть у них поговорка:

«Когда напали на юрту твоего отца, соединись с напавшими и грабь вместе с ними».

Извращенье чувств? Нет, поэтическое преувеличение. А любовь к простору — проза, потребность. Тесно воль-

ному степняку видеть на земном окоеме юрты людей даже своего языка.

Разрастаясь, село высыпает выселки. Множась в числе, делится и кочевой род. С той разницей против оседлых, что вскоре у близких родственников, соседей по кочевью, свои же братья отобьют табун, раскроив несколько черепов. Греха в подобном кочевник не видит. Удальство, забава. Добро — угнать лошадей у соседа. Зло — когда твоих лошадей угонит сосед. Грабить чужих — добродетель. Кочевник вовсе не зол. Он таков от рожденья, переубедить его можно лишь силой.

До самого недавнего времени русские соседствовали с кочевниками, которые пополняли свои достатки набегами на Русь. Русские теснили соседа-грабителя, побеждали, осаживали на землю.

Забывчивы мы. В близкие годы — ста лет еще не истекло, при дедах, чьи внуки живут сегодня,— наши среднеазиатские соседи набегали к нам за добычей и за людьми.

Пока половцы усаживались в Диком поле, князь Всеслав Брячиславич, радея своему Полоцкому княжеству, задумал добавить к нему Псковскую землю. Псков не дался Всеславу. В следующем году Всеслав врасплох накрыл Новгород. И в город вошел, и на стол хотел сесть, и сила была его в короткие три дня. Новгородцы отказались принять Всеслава. Понимая, что против воли Господина Великого князю в городе и в землях его не усидеть, Всеслав ушел. Не с пустыми руками: с новгородской Софии снял колокол, прихватил дорогой церковной утвари, погрузил и другого добра. Вывел пленников, дабы пополнить жителями свою землю, и, как водится — а у Всеслава особенно,— пленников уговаривал, ласкал, отводил им хорошие угодья. Иначе сбегут: не собака — на цепь не посадишь; не скотина — пастухов не приставишь.

Полоцкая земля, она же земля кривичей, была в стороне: во время Святослава Игорича она осталась сама по себе, в своем укладе, признавая князей собственных, кривских — кривичских. Святослав, увлеченный дальними замыслами, не оставил бы в покое близких кривичей, найдись для них время. Но ему довелось рано уйти из Руси и из жизни, оставив малолетнего сына. Достигнув зрелости, князь Владимир Святославич подтянул к Руси Кривскую землю. Полоцкий князь был убит в битве, Вла-

димир взял за себя его дочь Рогнеду; родившегося от этого брака Изяслава кривичи-полочане приняли своим, природным князем по обычаю. Киевский князь Ярослав Владимирич признал за Брячиславом Изяславичем право наследовать Полоцк после отца его, Изяслава, и жил с Брячиславом, внуком Владимира Святославича, в мире. В Киеве Брячислав владел собственным подворьем, где и живал, навещая князя Ярослава. Между собой они сразились однажды, когда Брячислав напал на новгородские земли, взял много добычи, вывел много пленных. На обратном пути к Полоцку Ярослав пересек путь Брячиславу, отбил у него пленных, отнял добычу. Вскоре Брячислав сумел доказать Ярославу старинные права кривичей на города Витебск и Усвят. Города эти и собой дороги, и дорогой, которая от Витебска близка, а через Усвят проходит — древнейший привычный волок из реки Каспли в реку Ловать, горка, через которую переваливает водяной путь из варяг в греки.

Помирившись, Брячислав больше не досаждал Ярославу. По его смерти Ярослав признал Полоцкую землю за Всеславом Брячиславичем, и сын сел на отцовский стол, будучи двадцати лет от роду. При своей жизни указав сыновьям, кому где сидеть, Ярослав исключил Полоцкую землю из раздела. Следовал он обычаю считать ее отчиной потомков Изяслава Владимирича.

Кривичам не приходилось ведаться со Степью, у них были свои беспокойные соседи — литовцы. Литовцев они и отталкивали, и толкали. Единственный раз кривичи ходили в Степь, когда братья Ярославичи кончали с торками. Вернувшись домой, Всеславова дружина и кривские ратники единодушно решили, что в Степи им нечего делать. А вот Псков, Новгород были бы сладки.

Князь Всеслав вынес из совместного с Ярославичами похода сомнение в прочности дружбы между тремя братьями. Старший брат Изяслав уступал среднему Святославу в силе воле, в решительности, и Святослав не щадил старшего ни словом, ни делом: походом распоряжался он. Изяславу бы просто терпеть, а он еще жаловался. Третий брат, Всеволод, самый из всех троих живой умом, начитанный, знающий, оглядывался на старших, стараясь быть с обоими в дружбе, и только.

Всеслав не удивился, узнав, как печенежские сменщики — половцы побили Всеволода. Решив, что Ярославичи будут отныне связаны половцами, Всеслав попытался исполнить желанье Кривской земли захватом Пскова и Нов-

города. Дурного не видел: был он со своими кривичами не чужой, а свой, русский, вреда Пскову с Новгородом не будет, польза будет псковичам с новгородцами. Ведь и у них тот же опасный сосед — литовцы.

Всеслав знал половцев по рассказам достойных доверия очевидцев, оценивших половецкую силу выше печенежской. Правильно он понял и Ярославичей. Все, что можно увидеть и взвесить, он увидел и взвесил, не ошибаясь. Впоследствии подтвердилась наибольшая часть.

Но, как все люди, какого бы они ни родились ума, Всеслав не мог счесть и взвесить того, чего не было,— будущего времени. Завтрашний день берет в свою руку те же силы, какие были сегодня. Но расставляет их в иных сочетаньях. Да еще говорит одному: постой-ка, ты вчера вырос достаточно, сейчас пусть другой подрастет.

От лошадей рождаются лошади, от ржи — рожь. Можно счесть, сколько камня и бревен нужно на дом, сколько дней придется затратить на дорогу. Но не все понимают, что подобные расчеты непригодны для измерения будущего людей.

Кривский край лесной, а воды в нем хватит на доброе море. На гривах стоят сосновые боры, дерево могучее, ровное. Пониже, на суглинках, леса смешанные — ель с осиной, березой, ольхой. Это — обрамленье воды, или вода — обрамленье лесов. Озер, болот, рек, ручьев так много, что прямых путей нет даже для водяных птиц, которые любят тянуть над водой.

Уклон земли мал, поэтому реки текут медленно, виляя в камышовых дебрях. Осенью сгинет божья кара — комар с мошкой. Водяная птица, готовясь к отлету, молчит, как молчит местная. Если кто вскрикнет — то от испуга. В полном молчании слышен только шелест подсохших листьев камышей над прозрачными, по-осеннему черными водами. Голос кривской осени неописуем — его *нужно* услышать.

Возражают — все равно постарайся, недостающее можно пополнить воображеньем. Камыш, шелест листьев — слыхали.

А кто запирает дороги для влаги в теле тростинки? Как получается, что, стоя в воде, тростинка отказывает в питье собственным листьям, и они иссыхают, склонившись над водой, как трава от летнего зноя в тмутараканской степи? Где ж справедливость? Ответят — старость,

время, дескать, пришло умирать, дать дорогу другим, возродиться, вновь родиться... Что листья, не люди! Впрочем, часто и не отличишь людей от листьев.

Кривич не жилец без своей земли. Отлучаясь, берет щепотку с собой. Иначе хворь прикинется, за ней и смерть пожалует. Хлеб нужно печь круглым, как солнце. Обычай. Повелось от первого пахаря, когда святые Микола с Юрием еще не ходили по Кривской земле, как ныне ходят. На свадьбе священник водит брачащихся по солнцу. Против солнца нельзя сотворять таинство — нечисть порадуешь, и только.

Тайной силы, чистой и нечистой, в Кривской земле больше, чем людской, если людей счесть по душам, а нечисть по головам — души у них нет.

Они везде водятся, и нечего кривичам перед другими землями выхваляться, нашли чем! Верно, но в Кривской земле им удобнее, есть где прятаться. Они не любят света, исчезают, коль человек посмотрит прямо на них.

Надо знать. Тогда одни тебе помогут, а другие зла не причинят. Домашний огонь береги. Истопившись, горячие угли сгреби и присыпь золой, чтоб Господин огонь дожил до другого дня. Сосед придет занять огня — зря не давай, попроси, чтобы согласился он поделиться. Пуще всего не плюнь в огонь. Переходя в новый дом, бери огонь из старого, иначе счастье потеряешь. Весной не забудь сделать домашнему огню праздник: побели печь, украсъ зеленью и покорми огонь салом и мясом.

В доме живет хатник, домовой, избяной — зови, как вздумаешь, но не обижай. Строя новый дом, под угол положи петушью голову. На ворота либо под поветь положи хлебь-соль с молитвой: «Хозяин честной, хозяйка честная, хлеб-соль примите, коль в чем согрубил, не обессудьте, простите, мое именье и надворья сберегите».

В заговины, в день поминовения усопших, приглашайте к столу домовых господ. Явно придут — не пугайтесь, зла не сделают. Не забывайте приветить хлебника с гуменником — они ночами за вас подметают, прибирают. Домовой господин о беде предупредит и беду отведет.

Четырежды в год справляйте дни-деды. Девять разных блюд готовьте, а больше приготовите — лучше. От каждого блюда сам хозяин дома на стол отложит по три куска, по три ложки. Стол на ночь не убирайте — деды прилетают кормиться.

В лесу, в болотах живут лесовики, водяные, лихорадки. Они, боясь заклятья, бегут от человека. Остерегись,

головы не теряя, и они над тобой ничего не сделают. Еще есть бесы, живут в болотах, там и плодятся. Сатана-дьявол, божий враг и человекогубец, хотел от латинян к русским пройти. Разбежится, гремя копытами, сверкая молниями, и рассыплется пылью. Не выходит во весь рост идти. Лез хитростью, прикрывшись гадючим выползком, вороной оборачивался, в воробьиный зоб прятался, пробрался маленьким и таким остался. Пугает трусливых, глупых обманывает. Бесы с бесенятами ползают по дну из болот в озера, пробираются в реки. Но над самой водой у них силы нет, вода от древности была свята, святой осталась. Пей, произнеся старинный заговор, либо помяни имя Моисея-пророка.

Сильней всех бесов, лесовиков, водяных, домовых те люди, которые з н а ю т. Такие многое могут. Один из них вздумал жениться, но соседа, который з н а л, не пригласил. Тот обиделся и всех поезжан в волков превратил.

Жених махнул рукавом, и поезжане свой вид обрели, а у соседа на лбу рога выросли. Чаровник-ведун умеет любой вид принять. Найдя в лесу особенный пень, схватится за него зубами, перекинется через голову и побежит зверем, птицей полетит — как захочет.

Князь Всеслав з н а л. При нем ни одному ведуну не было хода. Завистники говорили, что и рожден князь от волхвования, и знаки носит на теле. Кривичи не верили. Всеслав родился честно от честных родителей, телесной силой, красотой, умом и храбростью его бог наградил. И кривичи своего князя держались.

За покушенье на Псков и на Новгород братья Ярославичи разорили кривский город Менск [1]. Всеслав был побежден в битве, но взять его самого Ярославичи не сумели и дальше в Полоцкую землю не пошли, не стали ее захватывать, так как не было согласия между Изяславом и Святославом. Потому-то и было князю Всеславу в несчастье — счастье.

До лета Всеслав пересылался послами с Ярославичами и приехал к ним в полевой лагерь, чтобы мир заключить. Но во время переговоров Всеслава с двумя уже взрослыми сыновьями схватили, нарушив обещание. Князь Изяслав заключил пленников в поруб — тюрьму, а Полоцкая земля пошла под киевскую руку.

---

[1] Ныне — Минск, прежде Менск или Менеск, писался через «ять», от слов «мена», «менять».

Минуло семь лет от первого половецкого набега, когда князь Всеволод потерпел поражение от новых степных соседей. Месяца через два после своего пленения князь Всеслав, глядя на небо через узенькое окошко тюрьмы — приходилось оно, окошко, чуть выше земли,— узнал важную весть: половцы большим войском вошли на Русь, переправились через Ворсклу, и, думать надо, сегодня уже близки они к Переяславлю.

Среди киевлян были у князя Всеслава и доброжелатели, осуждавшие ненужную для Киева распрю между ним и Ярославичами, и просто люди, которые не видели в полоцком князе врага. В таких беда, постигшая Всеслава, вызвала к нему сочувствие. Подойдут к окну, присядут на корточки, окликнут узника и беседуют.

Досадно! Что б половцам зашевелиться в прошлом году — дела Всеслава обернулись бы иначе. А сейчас сиди, жди, через окно разговаривай, а выхода нет, сторожат, не пустят.

Собрались киевские городские и сельские полки, с ними и с дружиной князь Изяслав переправился на левый берег Днепра, где на реке Альте, верстах в пятидесяти от Киева, соединился с братьями.

Вновь поле осталось за половцами. Степные наездники и стрелки бились смело, без порядка, но и у русских порядка было не больше. Половцы вцепились в русский обоз, увлеклись дележом, дав русским уйти, не преследуя их. Князья Изяслав и Всеволод вернулись в Киев. Князь Святослав, чуя, что вместе с братьями не быть удаче, крепко поссорился с Изяславом, возложив всю вину на него, и ушел в Чернигов оборонять свой город.

В Киеве возвращенье растрепанных полков подняло всех на ноги. Гнев веча обрушился на тысяцкого Коснячка, который был обязан собрать ратников и за них отвечал перед вечем. Коснячок не показался. Вместо того чтобы ответ держать — прячется!

А половцы ходят по левому берегу и завтра сюда переправятся. Имевшие оружие требовали опять идти в поход. Другие кричали, чтобы Коснячок и князь Изяслав дали им оружие, они от своих не отстанут.

Советчиков, предлагавших не спешить, выждать, подумать, обсудить,— такие всегда находятся — слушать не стали. Всем вечем снизу, где на торгу бывало вече, пошли в гору, на Коснячков двор. Коснячка там не нашли. Шуму прибавилось. По обычаю, по старинной привычке, нужно было порешить дело с тысяцким. Для выбора ново-

го следует скинуть старого. Кричали — Коснячок прячется у князя Изяслава. Нашлись видоки. Видели не видели — говорили: там Коснячок. Против князя Изяслава кричали — стали кричать еще сильнее. Пошли на княжой двор.

По дороге остановились у пустого Брячиславова двора, поминая добром его сына, заключенного князя Всеслава. Против него зла не было. Зло нарастало против князя Изяслава. С угрозами повалили к княжому двору. Тем временем лихие головы ринулись разбивать городской поруб — тюрьму.

Более дальновидные Изяславовы дружинники вспомнили о князе Всеславе раньше, чем имя его вслух помянули киевляне. Когда кое-кто из своих, опередив вече, прибежали предупредить князя Изяслава, их слова упали в готовые уши. Бояре советовали Изяславу послать людей, чтобы покрепче стеречь Всеслава. Другие настаивали — совсем нужно сжить со света опасного полочанина. Подозвать к окошку да и ударить копьем либо стрелой. Храбрецов, кто вошел бы в поруб и порешил безоружного князя Всеслава без хитрости, не нашлось. Как бы в смертной крайности он волком не обернулся! А окно-то узкое, в него и волком не просунуться.

Не желая брать на душу грех братоубийства, Изяслав отмахнулся от советчиков: «Я вам не Святополк Окаянный». Из высокого окна он переговаривался с нахлынувшими киевлянами. Просил успокоиться. Коснячок где — не знает, а он сам, князь, с дружиной думает и объявит, что порешат к общей пользе.

Шума много, голоса не слышно, дела не видно. Навалились вечники, которые успели с маху разбить городской поруб. Зовут — всем идти выпускать князя Всеслава на волю, а с этим князем Изяславом Киеву более не о чем разговаривать! И опустела улица перед княжим двором.

Будь у русских князей обычай жить внутри городов в собственных крепких замках, князь Изяслав, по своему нерешительному нраву, заперся бы с дружиной, отсиживаясь в ожидании, пока киевляне не остынут. Да и неожиданный его соперник — узник Всеслав с ним был бы в темнице, каких в западных замках было достаточно, а не в другом месте города, в тюрьме, где каждый мог к окну подойти.

У Изяслава был княжой двор. Без высоких башен, перевязанных в единое целое толстыми стенами, без рвов,

без боевых машин, без припасов на время каждодневно ожидаемого и еженощно возможного восстания подданных. Князья жили в городах на таких же усадьбах, как остальные жители. С той разницей, что за обычным забором было больше строений — хозяйство широкое, едоков много, и дружина, и гости.

Предложил бы Всеслав освобожденное им место в порубе Изяславу? Может быть, чаровник сумел бы сотворить нечто куда более умное, чем саженье в порубы, или еще более жестокую расправу с попавшей в его руки живой добычей. Князья Изяслав и Всеволод не стали гадать о превратностях судьбы. Поспешно похватав, что попалось под руку из более ценного, братья князья со своими дружинниками попрыгали в седла и пустились прочь, оставив все двери открытыми.

Еще раньше многие дружинники разошлись по своим дворам, ибо князь Изяслав ничего от них не требовал и приказывать не собирался. Беглецов провожали те из Изяславовой дружины, кто не владел дворами в Киеве, и Всеволодовы дружинники, которые, как люди чужие для Киева, другого пути не имели. Князь Изяслав удалялся, соблюдая достоинство, лошади шли шагом: не бегство — исход. Для киевлян Изяслав Ярославич стал прошлым днем. Перехватывать его не подумали, тем более не собирались гнаться.

Добыв князя Всеслава из поруба, киевское вече привело его на княжой двор и посадило на стол. Стал полоцкий князь также киевским князем. Княжое имущество досталось ему малость ощипанным.

Кошка за окошко — мышка на лавку: не успел князь Изяслав скрыться из виду, как пошли люди через открытые двери. Мало — разбили двери в подвалы, где хранится добро не от одних воров, но и от огня-разбойника.

Много золота, серебра, дорогих вещей, одежды пошло по расчетливо-буйным рукам. Не перечислишь всего — киевские князья на недостатки не жаловались.

Половцев, из-за которых все получилось, забыли среди бурных событий киевской смуты. Необычайное дело — впервые киевляне выгнали своего князя. Князь Всеслав, кажется, один помнил о половцах. Пытаясь подобрать поводья, он готовился к походу крепко, по-настоящему. Нежданно-негаданно он стал в ответе за чужие ему южные княжества. Понимал хорошо: броситься очертя голову и подставить Русь под новый разгром нельзя. Особенно ему — чужаку.

Половцы шарили по левобережью, вызнавая новые для них места. Кто успел, попрятался от степняков в крепостях. Давали убежища леса, которых в те годы было много на ныне давно облысевших местах. Находили приют в камышовых болотах, на помостах, опертых на сваи, вбитые в дно. В летнее время здесь убежища неприступные и невидимые. Камыши стоят выше роста человека, не заглянешь через них. Ночью можно разводить огонь — пламя не проглядывает. Пищу нельзя варить днем — выдаст дым.

Меняя направления, не спеша, половцы двигались на север. Переправившись через Сейм, они одолели Десну у крепости Хороборь и отсюда повернули на запад, целясь охватить Чернигов. Успев вызнать значенье Чернигова, половцы решили покончить с главным городом и главным в их понятии князем заднепровской Руси.

С пораженья под Альтой Святослав вернулся в крови — не в своей, в половецкой. Он был богатырь и, побежденный, успел все ж потешиться боем. Отходил он от Альты к Чернигову, широко раскинув оставшихся с ним, чтоб оповещать своих о беде, чтоб брать с собой мужчин, годных к бою. К приходу половцев Святослав успел собрать полки. Всех, кто был послабее, Святослав оставил для защиты Чернигова, а в поле вывел три тысячи ратных.

Однажды обвинив Изяслава за поражение на Альте, Святослав не возвращался к неудаче. Был он скуп на слова, не любил обнадеживать людей красными речами. Идя навстречу половцам, он, обращаясь к своему малочисленному войску, несколько раз повторил: «Нам некуда больше деваться от половцев, кроме как биться». Обоза Святослав не взял — враг был близко.

Половцы шли двенадцатью тысячами, как Святослав разведал. В двадцати пяти верстах к северо-востоку от Чернигова противники заметили один другого.

Здесь протекает приток Десны, не широкий, но глубокий Снов. Берега его болотисты, места низкие, и Снов течет медленно. Крепость Сновск, стоявшая близ места встречи, была невелика, но с высокими валами и стенами на валах. Ров был доверху полон. Здесь земля водообильна, колодцы роют мелкие, а не вычерпать за целый день.

Указывая на тесный Сновск, Святослав предупреждал: «На эти стены не надейтесь. Не пустят. Туда столько набилось бежавшего люда, что и в улицах места нет. Стоймя стоят, стоймя и спят».

Хотя до́ма и стены помогают, но дураков и в алтаре бьют. Черниговцам деваться было некуда, храбрые расхрабрились, а трусливые от страха о страхе забыли. Князь Святослав помог верным расчетом. Он отступил, показывая половцам свою слабость, а на самом деле поставил полк, защитив его заболоченными низинами, которые издали казались ровным лугом, и дал половцам переправиться через Снов без помехи с русской стороны.

Половцы развернулись, как привыкли, полагаясь на свою главную силу — легконогих конных стрелков. Болотины помешали им охватить русских. Ближнего боя с русскими не выдерживали хозары и печенеги. Половцы оказались такими же. Стесненные, они потеряли преимущество числа. Поневоле скучившись на мягком берегу Снова, половцы погибали от меча, тонули в реке.

В истории не так редки случаи победы слабейших числом. Гибель смятых войск в местах, неудобных для отступления, дело обычное.

В битве под Сновском легли многие ханы — родовые вожди, в плен попал главный половецкий хан. Был он взят, по точному выражению участников, руками, то есть невредимым, живым, но кто-то поспешил с ним, поэтому имя его, как и прочих, осталось неизвестным для русских. Князь Святослав послужил тому невинной виной, приказав: «Добычи не хватать, пленных не брать. Мало нас, кому пленных стеречь! Победим — все наше, побьют нас — все станем прахом». Был князь из тех, кто взывает к мужеству, не боясь говорить о возможном поражении, не страшась напомнить о смерти.

Русские стрелки помогали тонуть половцам в Снове. Князь Святослав умными распоряженьями помог дружине переправиться на тот берег. Половцев настойчиво преследовали. Немногие из них, вырвавшись из-под Сновска, вызвали бегство мелких половецких отрядов, искавших по Заднепровью легкой добычи. Русские выходили из крепостей, из убежищ и били бегущих.

Святославова победа освободила нечаянного киевского князя Всеслава от необходимости вести киевлян в поход на Степь. Стало известно, что перепуганные половцы отошли куда-то за Донец. Идти искать их неизвестно где, чтобы вязнуть в размокшей земле — осень уж на носу,— киевляне не желали. Собранные полки разошлись по решению веча. Князю Всеславу осталось гадать, к лучше-

му ли так получилось. Думалось — к худшему. Победоносная война с половцами могла ль упрочнить его на киевском столе? Рассуждая попросту — могла. Всеслав знал — не бывает простого. Просто у того, кто ленится мыслью. Он посылал верных людей разузнавать, что же думают в Киеве, в Чернигове, в Переяславле. Выслушивая, видел силу Святослава-победителя, а к себе видел равнодушие.

Так и сидел Всеслав, оглядываясь во все стороны, а киевляне держали его по необходимости в князе с дружиной. Требовался по жалобам княжой суд — Всеслав судил по закону. Собирал обычные княжие доходы с осторожностью, чтобы никого не обидеть, так же пользовался прибытками с княжих земельных угодий, со скота, с табунов, которые раньше принадлежали Изяславу, теперь стали Всеславовы по праву избрания в князья.

Изяслав зимовал в Польше, у короля Болеслава Второго. Король был женат на Святославовой дочери — племяннице Изяслава, которому и предложил родственную помощь: в обычной для поляков надежде поживиться на русских усобицах. Винить в этом поляков не следует, и недостойно будет ссылаться на особенное коварство соседа и кровного брата. Не сохранилось примера, чтобы одно государство отказалось погреть руки на чужом огоньке. Тут не властны убежденья правящих, эпохи, религии, цвета кожи. Руки тянутся сами и тащат за собой голову. В утешенье сочиняются сказки о бескорыстных намереньях, благодушные люди любят сказки, верят им. Да, в истории можно найти несколько случаев бескорыстной помощи: помощник, не расширяя своих владений, не получая возмещения, посылал военную силу. И каждый раз через какое-то время помощь больно отзывалась бескорыстному во имя идеи помощнику. Почему так — не знаем.

Князь Святослав сидел в Чернигове, ни в чем не стесняя себя. Сегодня бранил Изяслава, родного брата. Завтра те же побранки доставались Всеславу, тоже кровному родственнику. Дед, Владимир Святославич,— общий. Святослав не мог побывать в Киеве, Всеславу Чернигов был заказан.

Все остальные, кроме князей, ходили, плавали, ездили куда хотели и сколько хотели. По всей Руси, к ляхам, к германцам, в Италию, за море к грекам, от греков — к арабам, к туркам. Паломники плавали в Иерусалим, куда мусульмане пускали за плату. Съездить из Черни-

гова в Киев на правобережье — такое и делом-то не казалось, было бы дело. Люди, осведомлявшие князя Всеслава, не считали себя и никто не считал их какими-то лазутчиками, которые лезут через закрытые границы и в щели замкнутых дверей. Границ не было, двери и рты — нараспашку. Князь Всеслав выбирал людей, честному совету которых мог довериться. Так же поступал Святослав. Киевляне, ездившие к ляхам для торговли, видались с Изяславом, чего и не думали скрывать. Тайн не было. Тем более требовалось от Всеслава осторожности, чтоб не упасть на ровном месте: оно, ровное, тем и опасно.

К югу от Киева, за городскими укреплениями, с высокой горы хорошо видны и город, и Днепр. Здесь, на лысом темечке горы, деревянный храм, поставленный недавно — стены еще не почернели. Храм маленький, тройного члененья. Первая часть, выходящая торцовой стеной на восток, глядит на восход солнца единым глазом — высоко прорубленным окном. Здесь алтарь. Средняя часть раза в два с половиной выше алтарной, кровля шатровая, восьмискатная, сверху луковица с крестом. Задняя часть такая же низкая, как алтарная, но в два раза длиннее. Такое строение храма называют кораблем: нос, высокая мачта и корма.

Кораблик сооружен пещерными жителями — иноками. Они спасают свои души для вечной жизни отреченьем от земной, временной. Первым сюда явился инок Антоний. Вместе со вдовым священником Иларионом они, по примеру египетских отшельников, выкопали себе пещерку. Гора помогла им: подкопайся с кручи вбок — и живи, вода не заходит. Вскоре Иларион покинул друга-инока. Его избрали митрополитом Киевским. Место его не осталось свободным. Приходили, копали пещеры. Инок Антоний угадал хорошо: само строение горы, сама земля способствовала устройству иноческого жития. Жили строго, по совести отказавшись от всего мирского: ни именья, ни денег, но собственный труд, чтоб кое-как пропитаться. Князь Изяслав Ярославич внес свой дар — пожаловал общине иноков гору в вечное владенье безданно, беспошлинно. Иноки сами при содействии доброхотных плотников из подручного леса возвели для себя малый храм. Посторонних посетителей-молельщиков в те поры приходило в тот храм меньше, чем самих иноков.

Инок Антоний был родом из Черниговской земли, из

города Любеча. Увлеченный с юности чтеньем священных книг, он совсем молоденьким отправился в Константинополь, а оттуда забрался на Афон-гору, в знаменитый монастырь. В нем принял монашеский постриг, но не зажился навсегда, как иные.

— Слыхал я,— тихим голосом рассказывал Антоний князю Всеславу,— мне, князь, самому обо мне же рассказывали, будто афонская жизнь мне пришлась не по нраву пышностью. Не так это. Ищущий строгости может и там дни окончить в затворе, не услышав человеческого голоса. Внеси вклад в монастырь, отведут тебе место под келью, и все тут.

— Тебя на Русь потянуло,— шепнул, подсказывая ответ, князь Всеслав.

— Охо-хо,— вздохнул Антоний,— быстр ты умом. Я такого не говорил никому, никогда.

— Иль неправда? — опять шепнул Всеслав.

— Правда, правда,— шепотом же отозвался инок.

Они сидели рядышком на посеревшем, как храмик, бревне. Откатилось оно к обрыву, когда строили, так лишним и осталось. Князь Всеслав сошелся с пещерниками в годы своей дружбы с Ярославичами. С удивительного своего киевского вокняженья он сделался здесь частым гостем. Ближе всех он стал с Антонием, не брезговали Всеславом и другие. Привечал чародея строжайший игумен Феодосий и ученый Никон, который недавно отправился послужить богу в Тмутаракань.

— Правда твоя, правда,— погромче повторил Антоний и усмехнулся. От улыбки сероватое лицо инока в серой от седины бороде будто помолодело. И он, все веселее смеясь, потыкал князя в колено тонким, кривым пальцем.— И все-то ты шутишь, князь, все-то играешь с людьми.— Зашептал вдруг.— И я за тобой. Скажи, что тебе? Весело в души заглядывать, что ли?

— Что за заглядка?! — возразил Всеслав.— Диво ли русскому русского понять! Вот ведь оно, перед нами!

Всеслав показал на Киев, бывший с горы весь виден, а потом выкинул руки, будто поднося собеседнику на ладонях лесистый скат к Днепру в бронзово-желтой листве, и речные воды, разрезанные островами, и тот, другой, берег реки в поздней, закатной красе умирающей листвы, с черными средь нее вкрапленьями сосновых рощ, с прозрачным простором осенне-светлого воздуха, в котором, как по заказу, явились, трепеща в тяге на юг, треугольники пролетных гусей.

— Я-то любечский,— сказал Антоний,— у нас там-то места не такие. Горы нету, озера. У нас и ель растет. На болота выходит елка. Болеют, вершинки сохнут, а живут. Одна упадет, умрет, стало быть, другая поднимается, дочка там или сынок, не знаю, как назвать.

— Хочется тебе Любеч повидать? — спросил князь Всеслав.— Близко же. Дам тебе лодью, коней, провожатых. Святослав мне не друг, сам бы тебя проводил — для своей души. Меж Десной и Днепром земля похожа на кривскую мою землицу.

— Спаси тебя бог за доброту, князь, не надобно мне туда. Оно все со мной. Как бы пояснить... Притчи я не мастер сочинять, а притча лучше всего объясняет. Я, к примеру, по-гречески говорю, читаю, как по-русски, молиться же не умею по-гречески. На Афоне пел с иноками по-гречески. Немые молитвы по-своему возносил. Вот оно,— и Антоний коснулся уха,— родного требует. Глагола нашего. Глагол в сердце, в душе... Не гневись, понятней сказать не умею. Но ты ж погоди. Все ты меня отводишь. Нет тебя — помню. Прискачешь — на другое свернем, я и забыл.

— О чем же ты хочешь спросить, друг-брат?

— Про волка. Говорят, ты волком оборачивался. Это грешно. И больше такого не делай, душу погубишь навечно.

— Пусть говорят,— отозвался Всеслав, вставая с бревна. Был он ростом высок, широк, силен. Той же богатырской породы, что Святослав Ярославич, Ростислав Владимирич и подобные им. Про таких сказано: силушка живчиком по жилкам переливается. Их собрать бы тысячу, весь мир завоюют.— Глянь на меня,— продолжил Всеслав,— где ж мне в волчью шкуру рядиться? Разве в медвежью! Да и медведя такого поискать.

— Да и все-то опять-то ты шутишь,— всерьез погрозился Антоний.— Я на Афоне встречал ученых иноков. Перед их великой ученостью я — как лягушка перед быком. Они допускают, что кудесники, отведя людям глаза, даже в мышь превращаются.

— К чему спорить,— согласился Всеслав, усаживаясь рядом с Антонием.— Давай по-другому речь поведем, что нам с тобой мудрецы! Ты, мир повидав, испытав его чистой душой, истинно веришь в такое?

— Могу верить,— серьезно возразил инок.— Бог все может допустить, а меру божью человек не знает. Со мною бывает даже на молитве. Вдруг будто приподни-

мусь над землею. Или — виденье, человек, которого никогда не видал. Гляну — на глазах моих он меняет обличье. Является непонятный урод, зверь. Что ж ты скажешь! В пещерке ночью некто подходит, стоит рядом. Я сплю, но чувствую — кто-то есть. Открою глаза — зги не видно, тишина, будто в живых я один во всем мире. И он, кто рядом стоит... Помолюсь про себя и засну: бог-то видит все.

— Сильна твоя вера,— согласился Всеслав,— ты можешь горе приказать — пойдет. Не пытал себя?

— Нет,— отрекся Антоний,— и не буду. Подобное есть испытание бога и соблазн себе. Кто я, чтоб подобного требовать!

— Справедливо судишь,— согласился Всеслав.— О себе скажу. Бредни людские и сказки, будто ведомо мне тайное средство делаться волком. Но люди верят. И я им не препятствую верить. Кроме тебя, никто не посмел меня спросить. Другое у меня есть. Иной раз я без слов понимаю, что в душе человека. Часто мне удается, сильно чего-либо от человека пожелав, завладеть его волей без слова, без понужденья. Иные слушаются моего взгляда. Кровь из раны могу остановить, но не из всякой. Чужая боль мне бывает послушна: прикажу — и снимаю боль.

— Дар у тебя есть,— сказал Антоний.

— И у тебя есть,— сказал Всеслав,— но ты им не хочешь владеть.

— Не понял я тебя?

— На месте сидишь. Страдаешь во имя страдания. Плоть убиваешь своими руками. Своего спасения ищешь. Разве ты его не найдешь в миру?

— Христос сказал: кто во имя мое не оставит мать, отца, жену и все драгоценное для него на свете, тот недостоин меня,— возразил Антоний.

— То сказано в духе,— ответил Всеслав.— Разве же он указал отрекаться от мира! Он же требовал, чтобы люди бесстрашно бились за правду Христову. Чтобы ставили правду превыше всех привязанностей.

— Думал я, продолжаю думать и ныне, терзая свою душу,— сказал Антоний.— Я слаб. Избрал путь по своему малосилию. Ты меня не вини, прости. Лучшего сделать я не сумел. Спрятался, говоришь? Я не спорю с тобой...

— Отче, отче,— обнял Всеслав монаха за плечи,— бродим мы, ищем мы. И ты меня прости за упреки никчемные. Лежали они у меня на душе, а я тебя люблю.

Но не слаб ты. Здесь вы — богатыри. Правду же о каждом из нас узнаем мы, как видно, лишь на Страшном Суде. Давай о другом поговорим.

— Куда ж нам от себя деваться? — возразил Антоний.— От себя не убежишь. Мучаешься, княже?

— Да. Не выгонял я Изяслава, вече его изгнало. Вече меня князем поставило — я не просил. С запада Изяслав придет с поляками. Из-за Днепра пойдут Святослав со Всеволодом.

— Мы за тебя молимся, ты русской крови не лей,— попросил Антоний.

— Уходить мне из Киева не хочется,— сказал Всеслав.— Оставаться? В народе у меня нет врагов. И друзей нет. Мне тут — что нынче нам с тобой под осенним солнышком: светит, да не греет. Комары с мошкой не гнетут, зато нет уже ни гриба в лесу, ни ягоды. Силой держаться? Силы моей недостанет против троих Ярославичей.

— Нехорошо силой-то,— заметил Антоний.

— Нет, хорошо,— возразил Всеслав.— Ты, отреченец мира, один силен твоей силой. Я думаю не о насилии, не о понуждении. О согласии думаю.

— Князь, князь! Не отличить нам силу от насилия. Не дано человеку такого знанья. Поэтому и цепляются все за дело, смысл же его ищут потом. Взял — прав. Не взял — не прав, зато будешь прав, когда возьмешь. Суета это. Каждый себя убеждает — я прав. Без правоты никто жить не может.

— Все ищут, как умеют, а решает меч,— убежденно сказал князь Всеслав.— Погляди на наш мир! Греческая империя не первый век насмерть бьется с турками и арабами. Бьется с болгарами. С италийцами. Там — вот так! — Переплетя пальцы, Всеслав показал, как одна рука ломает другую.— И остановиться им нельзя — тут же свалят на землю и разорвут. На западе, у края, где Океан, франки-нормандцы с папским знаменем завоевали Британию — остров громадный — и жителей между собой делят, как скотину, считая по головам. Франки бросаются один на другого и упавшего душат сразу. В Испании четвертая сотня лет идет, как испанцы режутся с арабами — маврами. В Германии великие владетели дерутся между собой, дерутся с собственным императором Генрихом, четвертым этого имени. У наших братьев по крови, ляхов и чехов, резня постоянная. И Литва давит на них, давит на Полоцк мой. У свеев, у норманнов, у датчан нет

покоя. И воюют они зло, их порода пощады не дает и не просит.

Антоний кивал головой в низенькой, засаленной камилавке и руку поднял, когда князь Всеслав перевел дух, но тот продолжал:

— Нам теперь, после стольких бед от Степи, с половцами придется обживаться. Чем? Мечом да копьем. А сзади, за половцами, что? Знаешь? Не знаешь, не говори, я скажу. Там дней сотни на три пути — степь, пустыня, горы. И везде один идет на другого. Истощатся, передохнут, подкопят народу — и вновь, и вновь война, война, война. Половцы не зря пришли. Их сзади другие подтолкнули. Половцам на старом месте, за Нижним Итилем, Волгой по-нашему, стало несладко. Такой наш мир. Не ты, так тебя. Знаешь ли ты, что на западе, где земля обрезается берегом Океана, тоже не пусто? Я лета четыре тому назад слыхал от варяга повесть. Их люди через Океан переплыли и нашли никому не ведомую землю Винланд. Там люди с темной кожей. Мирную жизнь нашли? Нет. Тут же на варягов тамошние жители напали с луками, с копьями. Насадки у стрел, у копий кремневые, а убивают, как желёзные. Волком оборачиваться? Что наши русские — лесные волки! Тут, отче, драконом быть надо да с огненным зевом.

— Не согласен я, княже, не согласен,— возразил Антоний.— Ты все вместе собрал сразу. Будто весь мир пылает и каждый каждому режет горло. Сила же будто бы только в оружии. Нет. Вон там они,— и Антоний указал на заднепровские леса.— Сидят на пашнях. За скотом ходят. Смолу гонят. Из дерева утварь режут. Ремесла там разные. Кто кузнец, кто кожевник. Ткут. Княже, в них русская сила живет. От них тебе и хлеб, и ратный. Им князь нужен по беде. Не будь беды... И мы, богослужители, нужны им по смятению сердец. Душе ихней, совести ихней мы больше нужны, чем княжие дружины. Они — множество, они суть истинная сила, они суть у бога.

— Прав, отче, прав ты,— согласился Всеслав.— Они подобны лесу, мы, князья, не более чем ветер. В наших ссорах пролетим поверху, вершины качнутся, и — лес стоит, а князя ищи-свищи. Ты, мудрый, верно судишь. Так зачем же ты им мешаешь?

— Им-то? — удивился Антоний.— В чем же я помеха для них?

— В твоей святой жизни,— сказал Всеслав.— Их

жизнь, по сравненью с твоей, будто бы нечиста. Будто бы с женой быть нечисто. Церковь брак допускает, но безбрачие ставится выше. Церковь не возбраняет заниматься мирскими делами, однако ж отреченье от дел свято. И живешь ты в пещерке своей живым упреком тем, кого считаешь у бога живущими. Женщине сюда нельзя. Что ж она? Нечиста, что ли?

— Спешишь, брате, быстрым умом,— упрекнул князя Антоний.

— Где ж я спешу, укажи?

— Не укажу, а скажу. Ты, сердцеведец, знаешь лучше меня, как стремленьем пылких сердец устроилось монашество от первых христианских годов. Ты, ученый, больше меня знаешь, что святые бегством в пустыни примером своим победили скверну старого Рима. Спасение и грех рядом живут. Монах — человек. И ты в нем не ищи совершенства.

— Быть по сему,— согласился Всеслав,— но бог заповедал: плодитесь и размножайтесь. Где ж твои дети, где внуки, ты, отреченец от мира мирского?

Антоний приложил палец к губам, прося друга не вторгаться словами в тайное тайных. Но князь не унялся.

— Да! — настаивал он.— Христос под разрушенным храмом разумел не душу, а земное тело. Воскреснув, он людям явился телесным, и апостол Фома вложил пальцы в его телесные раны! Христос велел: будут двое плоть едина. Монахи презирают плоть, которую Христос освятил. Кто же грешит, и плоть отрывая от духа, и жену отторгая от мужа?

Колокол звал к вечерне. Несколько монахов в рясках из пестряди, босые, прошли в церковь, кланяясь Антонию и князю.

— Пойдем, княже, и мы,— угасшим голосом пригласил Антоний,— уврачуем смиреньем молитвы смятенье души и горечь ума.

Минула короткая, но оттого еще более скучная киевская зима, встретили киевляне масленым блином весеннее солнцестояние, и Весну встречали, и хороводы гуляли, и березки завивали, и игры водили, и девушки гадали, бросая в воду венки из первых желтых цветиков весенних, и все было новое, да по-старому, ничего не забыли. Не забыл своего и князь Изяслав, явившись в русских пределах с польской подмогою, которую вел король Болеслав, того же имени, что тот, которого приводил Святополк, прозвищем Окаянный.

Киевляне встрепенулись, собрали полки и пошли навстречу гостям, надеясь на своего нового князя Всеслава. Выступая, прощались, жены и детишки плакали, старики напутствовали — все, как всегда. Но Всеслав не положился на киевлян. Дошли до Белгорода, стали станом, выставили сторожей. Сторожа не спали, конные ездили, пешие перекликались. Но утром уже не было ни Всеслава, ни дружины его, которая за зиму составилась около князя. Никто не видал, как бежали они. Понятно, и сам Всеслав обернулся серым волком и дружину зачаровал, сделав всех невидимыми глазу. Известный кудесник.

Сила у киевлян была будто бы и не малая, но привычки ходить на войну без князей не было совсем — не новгородцы либо псковичи. Тем более показалось всем тошно, что побег кудесника-князя явственно предсказывал общую гибель.

Безголовое тело мигом втянулось обратно в Киев, ко дворам. Благо, недалеко ходить было: от Белгорода до Киева верст тридцати и тех не будет. Хоть и коротенькая была дорожка, но за день один исчезли, разбежавшись по домам, сельчане, чтобы докончить полевые работы. Горожане, собрав вече на Подоле, избрали нескольких лучших людей, дали наказ и погнали послами в Чернигов, к князьям Ярославичам — Святославу со Всеволодом. Выборные говорили в Чернигове грубо:

— Будто бы мы дурно сделали, что Изяслава изгнали. А хорошо ли сам Изяслав поступал, боясь половцев и веча не слушая? — И не ожидая ответа от Ярославичей, сами в крик отвечали: — Худо, худо! — Жаловались: — Ныне Изяслав ведет на нас Польскую землю, хочет нас избить через поляков. Так вы, Ярославичи, идите в Киев княжить. Это город отца вашего. А не пойдете — пожалеете. У нас людей много и коней много. Мы город запалим с четырех концов и выжжем весь. Сами ж уйдем навсегда. Нам везде место. И у греков в Таврии сядем. И Тмутаракань нас примет. И через море нам есть дорога, пойдем под руку базилевса.

В гневе киевляне, сорвав шапки с голов — в те поры люди перед князьями непокрытыми не стояли,— их оземь бросили и топтали ногами, будто змею.

Князь Святослав обещал:

— Не дадим брату Изяславу воли разорять отцовский город. Если подойдет он с поляками, мы с братом Всеволодом выйдем на него с войском и вместе с вами его на-

вечно прогоним. Ежели придет он с миром да с малой дружиной, пусть опять на стол садится.

На том и порешили, с тем Святослав нарядил пятерых своих бояр к Изяславу. Те с бывшим изгнанником говорили, как топором рубили, и князь поехал к Киеву с королем Болеславом, как с гостем. Польские полки пошли назад. При короле остался небольшой отряд своих.

Сын Изяслава, Мстислав, был пущен отцом вперед. В Киеве Мстислав схватил людей, которые разграбили Изяславову казну, почти все вернул, а отцовых обидчиков, свыше пятидесяти человек, велел убить. Схватил он также десятка два людей, которых считали друзьями Всеслава. После ожидания большой беды подобное не поразило киевлян горем. Тем более что наибольшая часть их осуждала грабеж имения бежавшего Изяслава: чужое-де нечего хватать, чужим не разбогатеешь. Добытое умом, да горбом, да в бою взятое — на пользу, прочее — на порчу.

С честью встретили киевляне Изяслава за городом, с почетом проводили его по городу на верхнюю часть, до княжого двора. Достался почет и княжому другу — королю Болеславу, второму этого имени. Изяслав разослал поляков по ближним волостям для кормленья и стал по-новому оглядываться в старом русском городе.

Помнилось ему вече на Подоле, с которого начались его, Изяславовы, беды. Князь велел торгу быть на горе, близко от княжого двора. Снизу перенесли наверх вечевые била, наверху устроили подмости, с которых говорить. А торговую площадь на Подоле, где со старинных дней собирались, князь Изяслав велел разделить на улицы, улицы разбить на участки и поставить там дома, да сараи, да что придется, чтоб не стало торговой площади, чтобы негде было сойтись людям, коль и вздумают.

Дни шли — князь не успокаивался. Мерещились ему друзья Всеслава, и языка своего Изяслав не удерживал, грозился. Сколько-то десятков киевлян почли за доброе переждать серенькие дни за Днепром, в Черниговской земле, под широким крылом князя Святослава-богатыря. Он побил малым войском большое войско половцев, по его слову Изяслав не посмел разорять Киев. Изяслав сердился, но гнева таить не умел.

— Что за святитель такой объявился, Антоний-пещерник! Кем ставлен? Кем объявлен? С оборотнем дружился. Спереди ряса, сзади шкура волчья! Не худо будет эти пещерки раскопать.

В Киеве колокол гудит, в Чернигове подголоски —

«звяк, звяк». В Константинополе патриарх служит соборно, в Салониках — Солуни аминят. В Париже король французский средь своих слово молвит — в Руане английский король герцог нормандский за меч берется. Откуда только люди все знают!

Стал, не стал бы князь Изяслав раскапывать пещерки и Антония с горы в Днепр толкать, неизвестно. Ибо князь Святослав утром в Чернигове свое слово сказал, вечером его дружинники к Днепру вышли, ночью переправились, тихими стопами по обрыву взошли, молитву творя, перед Антонием склонились, ласково взяли его мягкими руками и на руках же до лодьи донесли прежде, чем святой человек опомнился: видение ли ему, либо явь удивительная.

На следующий день в Чернигове бухнуло — в Киеве отозвалось: Антония-старца князь Святослав выкрал, чтоб брата своего князя Изяслава уберечь от греха. Сильно нахмурившиеся киевляне развеселились, но киевский князь еще больше обиделся.

Переслались послами. Изяславовы именем своего князя упрекнули черниговца:

— Зачем моих людей ночью крадешь?

Святославу бы отговориться, а он что в голову пришло:

— Антоний не твой, а общий, русский.

Опять обида. И вот что плохо: чужому большее прощаем, а на своего сердце по пустяку вскипает, рука сама поднимается.

— На советчиков да на помощников люди больше всего обижаются,— говорил старец Антоний своему покровителю.

— Откуда ж ты такое знаешь? — спрашивал князь Святослав.

— Что, разве солгал? — вопросом же отвечал старец.— Самолюбие большое в человеке, мешает оно. Обидно мне. Перешагнуть не могу через ров, сам места ищу, где посильно, ты ж меня к себе на спину не сажай.

— Вот ты какой! — усмехнулся Святослав.

— А ты такой,— соглашался Антоний.— Ты меня святостью моей обижаешь. Всеслав попрекал, пример-де дурной даю, жизнью своей поощряю безбрачие. Я с Всеславом спорю, борюсь. Ты же думаешь, я святой.

— Как же ты споришь, когда его нет с тобой?

— Как все, как ты. Разговариваю с ним про себя. Я не князь, времени много. Руки займу, а сам либо молюсь, либо беседую. Всех соберу. Хорошо. Утром сегодня говорил с одним греком.

— О чем?

— В бытность мою на Афоне слыхал речение древнейшего философа, по-нашему — любителя мудрости, любомудра, одним словом. Говорил тот, древний: правителю безопаснее будет уничтожить десять городов, чем пять самолюбивых людей оскорбить.

— Злая мудрость.

— Чем зла-то? Мудрость, как нож,— хлеба краюху отрезать, человека ли зарезать, нож не повинен.

Как было уже при Святополке Окаянном, так же случилось и при Изяславе с поляками, размещенными по волостям для удобства их содержания. Сельчане пригляделись к непрошеным гостям и взялись за оружие. Стычки были редки, чаще русские, накопив недовольство, сразу объяснялись стрелой и мечом. Болеславу пришлось поспешить восвояси.

Подобравши дружину и охотников, князь Изяслав послал своего сына Мстислава выместить на князе Всеславе обиду. Поступил он так без совета с братьями, собственной волей. Не желая подвергать разорению свою Кривскую землю, князь Всеслав нашел в лесу колдовской пень, схватился зубами, перевернулся через голову и убежал серым волком. С тем отличием от обычных волков, что следа не оставил.

И вдруг объявился. И где же! В начале зимы он вновь принял человеческий облик в Новгородской земле, в озерно-лесных просторах к северо-западу от Ильменя, где полно речек и речушек, из которых иные текут-текут и вдруг норятся под землю и вновь появляются, а другие — подобного нет нигде — меняют течение, и не поймешь, где у них устье, а где исток. Здесь обитают водь с ижорой, люди белоглазые, светловолосые, давние данники, союзники, друзья Новгорода, которые с ним давно не ссорились. И на этот раз им ссориться с Новгородом было будто бы не из чего, однако же князь Всеслав вдруг выскочил под самым городом с войском из вожан, да так, что уж и в город входил.

В те годы новгородцы держали князем Глеба, сына Святослава Черниговского. Хотя по старине Новгород стоял под рукой киевского князя, Святослав, пользуясь слабостью Изяслава, дал новгородцам Глеба. Князь Изяслав был недоволен — тут-то и крылся тонкий Всеславов расчет.

Новгородцы порушили этот расчет. Успев ополчиться, они посекли вожан и взяли в плен самого Всеслава. Достался им полоцкий князь не беглецом. Он собою прикрыл бегущих вожан, которых соблазнил на дело, не нашедшее божьей поддержки. Либо какой-то иной.

На том и закончилась быстротечная война, и новгородцы могли искать старые и недавние обиды на изгое Всеславе, князе без княжества, чародее без чар, кудеснике, кто сам себе накудесить не мог, ведуне, утром не ведавшем, куда вечером голову положит, волке бездомном. По другому времени да в другом племени, тут же такую добычу перелобанив да взявши шкуру, победители пошли б домой, похваляючись по-охотницки — и всякой похвальбе была б честь, ибо целый город в свидетелях, ибо в руках и свидетельство, пробуй хоть на зуб, не веря глазам, а на руках еще кровь не высохла, хоть гляди, хоть лижи, солона, не поддельная.

Из всех русских новгородец и славился, и бесчестился самым расчетливым, всякому товару знал две цены — купить и продать, без прибыли с места не вставал, с убытком не спал, пока ужом не изогнется, вьюном не выскользнет, но свое возьмет со дна морского, из камня каменного когтями выкогтит.

Из всех русских веч самое горячее вече творилось в Новгороде. Забыв про расчетливость, новгородцы друг за другом гонялись, с моста в Мутную — Волхов сталкивали и бились любым оружием, только что красного петуха не пускали по городу. Не потому, что боялись и свой дом спалить, а по обычаю: не было обычая, чтоб поджигать.

Зато так вопили, что привычные новгородские вороны с воробьями и галками не могли привыкнуть и перелетывали за окраины ждать, когда бескрылые, хоть и двуногие птичьи данники дадут крылатому люду делом заняться. Оно ведь как? Кто, разумно собирая по зернышку, кусками не хапает, тому от бога на день пуд полагается, да времени мало отпущено — всего-то от зари до зари. Новгородцы свою птицу понимали до тонкости и сынам в пример ставили: учись трудиться-то.

Нынче не беспокоили птицу небесную. Новгородские выборные старшины вместе с князем Глебом по-братски со Всеславом перемолвились и пустили на волю князя-изгоя, богатыря, как лебедь, гордого, отпустили для «ради бога», как у них такое дело называлось, для «ради бога» же князь Всеслав обещался ни водь, ни ижору, ни

других новгородских земель не мутить и Господину Великому Новгороду худа не делать.

И поехал он нетропленой тропой на усталом коне куда глаза глядят, и серые сумерки кутали сизым пологом скучные еловые перелесочки, и вьюжило ему вослед, заметая следы, а новгородцы-победители, аршинники, весовщики, счетчики-алтынники, остались в теплых домах, и самая из всех злейшая баба-изъедуха поостереглась мужа-смиренника чем-либо попрекнуть, ибо чуяла — нынче прирученный тихоня может впервые платок с нее снять, проверяя, крепки ли волосы, тогда и дальше держись, лиха беда — начало, и, вспомнив былые денечки ласковые, красные, сама ластилась: ты ж мой могученький, ты ж мой желанненький.

Так возвеличились мужи новгородские в зиму 1069 года. И никто на Руси не удивился. Лишь по прошествии многих веков книжники, изнывая над летописями будто бы дальнего времени, себе в душу заглядывая, себя спрашивали: могло ли такое быть? И, примеряя к себе события, как кафтан с чужого плеча, сомневались, ибо одного рукава хватало одеть все многокнижное поколение вместе с книгами.

Князь без княжества — не князь. Так, казалось бы, быть должно. Так и бывало по старому русскому обычаю, когда сведут с места князя, другого посадят, сведенный же становится в один ряд с другими родовичами. Так сохранялось в Европе на западе. Император ли, герцог ли и другие владетели, имена которых были названиями земель, лишившись земли, лишались и имени. На Руси где-то и как-то княжество слилось с личностью, длилось после потери земли и стиралось через поколения, когда дальнее достоинство дальнего предка заменялось отцовским достоинством и честь сыну шла по отцу. Изгой Всеслав, побежденный, без союзников за русскими пределами, без опоры на Руси, для людей оставался князем. И всё-то все люди знали: где и кто находится, что думает, куда и когда собирается. Дорог будто бы не было, пробитые тропы будто бы снегом заносило за зиму так, что до весны каждый сидел в дому безвылазно, подобно медведю в берлоге, только лапу не сосал. Ан нет, и лапу сосал, и в спячку западал, согласно известиям о русских из нерусских ученых трудов.

Зимой 1069/70 года Мстислав Изяславич, державший для отца Полоцк, умер в Полоцке от болезни — не пова-

дили ему двинская вода и кривский хлеб. За эту же зиму к изгнаннику Всеславу прибилась изрядная дружина богатырей, которым было повадно служить не кому-либо, а богатырю же, таковым признанному от всей Руси. Удачи не было изгою? Что ж, сегодня убыток, завтра прибыли жди. Время худо терять, вчерашнего дня не вернешь. Сердце потерять — всего лишиться.

Всеслав смелости не растратил, время хотел наверстать, убытков не боялся. В 1070 году князь Всеслав больше шумом-испугом, чем кровью, выбил из Полоцка Святополка Изяславича, заменившего брата. Пробовал Изяслав опять вытолкать Всеслава. Полоцкий князь качнулся, но не выпустил Кривской земли — его Земля от себя не пустила.

Кто видал, как осенью сидят сокола на ветках, издали различает их. Вот сухими лапами с остроиглыми когтями захватила сук крепкая, крупная птица. Голова гордо откинута, гордо выпячен зоб над широкою грудью. Глядит, чуть поводя крюконосой головой, и человека подпускает к дереву вплотную — где ему, бескрылому, до меня достичь. А вот другой, тоже на отдыхе. Но сколько уже готового полета в чуть подавшемся вперед теле, хотя каждый мускул еще свободен! Общего между ними — уменье выбрать насест по своему весу. Первый сокол — недавний гнездарь. Второй — единственный, кто выжил из прошлогодних птенцов. И будет жить. Он храбр, но никогда не подпустит двуногого близко. Первый молод и глуп.

Так и сидел князь Всеслав в своем милом Полоцке. Прочно, но весь на весу. И сыновья с ним такие же. Ожегши руки, киевский князь Изяслав счел за благо более их не совать в горячие кривские дебри. Началась пересылка через доверенных людей.

— Ты, брат-князь, что против меня таишь? — передает Изяслав.

— Ничего. Вот крест. Это ты, брат-князь, на меня точишь меч,— отвечает Всеслав.

Срок пройдет, затевают опять. Опять Изяслав шлет своих:

— Оставил я давно уж вражду. Вот крест. Мир лучше ссоры.

— Мир лучше,— подтверждает Всеслав.

Послы заживаются. Киевские — в Полоцке. Полоцкие — в Киеве.

Изяславовы послы ведут в Полоцке речи о дружбе, да

только есть иные, которые любят погреться на чужом пожарище.

Полоцкие послы в Киеве намек мечут: Изяславу-то поближе нужно глядеть, тайное и станет явным, как в священном писании записано.

Так, не делая дела, проводили время. И озирались, не веря друг другу. Поистине, неверие горче самого косного верования.

В Чернигове, в Переяславле сидели князья Святослав с Всеволодом, и что ни дальше время шло, тем длинней вырастали за Днепром недоверие с опасением. Для сих растений, именуемых сорными, нет времени года, они не боятся засухи, не вымокают, и нет на них саранчи. Однако же и за Днепром тоже ничего не делали.

В обоюдном неделании и заключалось самое нужное княжеское делание: день без войны — сытый день, мирный год — добрый год. Ветер усобицы не шумел по вершинам, корням было вольнее, осевшие торки — черные клобуки, и берендеи, и печенеги, и прочие — легче руселн.

Антоний-пещерник вернулся к своей пещерке, вязал на спицах клобуки и копытца-чулочки — одно наскучит, за другое берется — да все разговаривал: с братьей-монахами, с пришлыми прочими, кто ни приди. А нет никого — так соберет сколько вздумает, кого вздумает в мыслях и с ними судит обо всем, не утруждая голоса, только губами чуть-чуть шевелит. Издали кажется: старец творит немую молитву. Обмана нет: беседа без лжи — что молитва.

Старший сын князя Всеволода родился в 1053 году, еще при жизни князя Ярослава Владимирича. Именами новорожденного не обидели. Во-первых, нарекли его по деду Владимиром. По старому русскому смыслу имя это властительное. Второе имя взяли Василий, когда в купели крестили. Тоже хорошее имя, в переводе с греческого — властелин, обладатель земли, то есть тот же Владимир. Третье имя дали по деду с материнской стороны. Отец матери был базилевс Константин, Мономах прозвищем, и внуку быть Мономахом.

До семи лет сын воспитывался при матери. Исполнилось семь — перешел в мужские руки, надел мужское платье, сел первый раз на коня и не испугался, чем любил похвалиться, сам смеясь над такой похвальбой. Упал —

не заплакал. Еще упал — вида не показал, что ушибся, дядька же ему объяснил: «Плохо тот научится конем владеть, кто поначалу семь раз на день не падает».

Года не прошло, как ученик от учителя не отставал. Силы у малого мало, да ведь ездят верхом не силой, а ловкостью, в седле держатся равновесием, коня понуждают уменьем, а не грубостью. Красуясь перед матерью, Владимир во дворе проскакал по кругу, конь споткнулся и выбросил легкого всадника. Перевернувшись, мальчик ударился спиной — дух сперло. Справившись, встал. Мать, стоя на крыльце, не шевельнулась. Только спросила, когда Владимир поднялся: «Что же ты не садишься в седло, сын мой?» Подобно многим другим матерям в других местах, кто заботился помочь мальчику стать мужчиной.

Будто бы ничего не случилось. Да ведь и в самом деле ничего не было. Ребенка не унижай никчемной заботой, ахами, бабьими вскриками, будь женщиной, мать!

Латинскому письму Владимир учился от русского книжника, своему письму — от другого. Греческому — у матери. Нарушилось правило, по которому отроков обучали мужчины. Отец, князь Всеволод, не одобрил: «Свои своих плохо учат, не желая того, будешь, жена, потакать сыновьей лености». Но Анна поставила на своем. Сказано же — ночная кукушка денную перекукует.

И на Руси тот же устрашающий Хронос, который пожирает своих детей и не может насытиться. И здесь, как в империи, темпус фугит, по словам железной римской речи. Не нашлось перевода на русский, как не было его на греческий, но время в Переяславле, в Киеве, в Чернигове стремилось не медленней, пусть русская речь была нежна, чтоб передать торопливо-неотвратимый бег времени.

Да и жизнь была мягче греческой. Римскую жизнь, отливавшую слова из металла, гречанка Анна знала только по книгам. Книги, которые собирают соль и горечь, более других привлекают читателя. Таких — и римских, и греческих — дочь базилевса Константина Мономаха начиталась достаточно к тому дню, когда щедрый отец добавил дочь к выкупу за договор о мире с русскими. Книги не входили в длинную опись ценностей, которыми империя купила мир, назвав эти деньги достойным приданым дочери базилевса. Книг, и святых, и разных — разные были любимее святых, молодая гречанка привезла достаточно, чтоб прятаться в них, исполнив неизбежно-

обыденные повинности первой подданной — жены базилевса. Анне выпала наилучшая доля из тех, которые ждут дочерей базилевсов. Об отце, человеке совершенно чужом, она знала все дурное. И сама, взрослой уже, прибавила нечто хорошее, такое же далекое, отвлеченное от чувств, как крылья серафимов на иконах: символ, летать же нельзя иначе как волею бога. Слушайте! Это же дальше вечерней звезды — серафим, крылья, бог... Хотя и такое же очевидное, как звезда.

Но что узнала она хорошее об отце из книг? Сравнение с другими. Отец был лучше многих римских императоров и многих базилевсов. Как видно, для иных книги не только источник развлечений или возможность хвалиться чужими познаниями, выдавая их за свои, и щеголять краденой мудростью. Писатели? Переписыватели — так называл своих друзей по папирусам и сепии один из посетителей покоев матери Анны, жены Константина Мономаха.

Вряд ли мать Анны нуждалась в муже. Ее, девушку из сановной семьи, выдали за Константина Мономаха, равного ей, по условию семей, как обычно. Очень скоро начались похождения Константина Мономаха с базилиссой Зоей, а дети его появлялись как бы сами собой. Потом — годы того, что в империи называют немилостью. Анна знала, что этот совершенно чужой мужчина, которого она изредка видела, ее отец, не испытывая чувств дочери, о существовании которых она читала и слышала. Мать умерла за несколько недель до возвращения Константина в Палатий. Вдовец вступил в государственный брак с престарелой базилиссой Зоей, которой был нужен верный человек, чтоб надеть диадему и править ее и своим именем. Мать Анны не жаловалась на жизнь, ее смерть от болезни была удачей. Когда подданного удостаивают государственным браком, препятствия к нему могут убрать решительным образом.

Базилевс Константин поселился во дворце вместе со своей возлюбленной, красавицей из рода Склиров. Переместили во дворец и дочерей Константина — из приличия, ибо отцу до них по-прежнему не было дела. Невенчанная базилисса Склирена следила за порядком в покоях девушек. Их будущее? Брак с подданным по воле отца либо монастырь. Дочери безгласно присутствовали на дворцовых церемониях, имели место на хорах храма Софии в гинекее. Склирена, если не забывала, брала их иногда в закрытую галерею храма Стефана, откуда они

развлекались, невидимые, состязаниями и играми на ипподроме. Далеко и плохо видно. Лучшие места занимала чернь на открытых трибунах. Величие обязывает к жертвам. Впрочем, женщин вообще не пускали на открытые трибуны ипподрома. Особенно смелые одевались мужчинами и прятали лица. Они были так далеки, что казались существами иного мира. Но лишь на трибунах. В жизни такие женщины были рядом — служанки. Родители дают детям смертную плоть, бог посылает младенцу бессмертную душу — эту очевидную истину Анна узнала слишком рано. Истина осталась сама по себе. Жизнь была другой. Как книги. Псалтырь, четыре Евангелия, описания деяний апостольских, послания апостолов и Апокалипсис апостола Иоанна, великолепный словами, притягивающий ужасом величия видений. И другие книги, земные, в которых было много языческого, как в историях Прокопия из Кесарии, в хрониках Малалы, Арматола, хотя они были написаны христианами. Но увлекательнее всех был язычник Плутарх. Римляне распоряжались женщинами, создавая союзы между правящими. Это называлось политикой, греческим словом, имеющим много значений. Кто-то из старых греческих философов назвал человека «политическим животным». В его времена политикой назывались правила жизни в городе. Город — «полис» по-гречески.

Слова меняются, завися даже от мест, а не только от времени: в одно и то же время речь господина отличается от речи слуги. Русский посол, который от имени внука русского базилевса Андрея-Всеволода обручился с Анной, владел греческой речью с изяществом книжников. Переговоры велись долго, а для Анны события длились неделю от дня, когда ей объявили волю базилевса Константина. Патриарх напутствовал дочь базилевса, внушая неуклонно соблюдать православие, во всем слушая духовника, святого человека, которого дарит ей Церковь. Русские недавние христиане, во многом держатся языческих обрядов, во многом вера у них только внешняя. Отец торжественно благословил дочь в собрании сановников империи и сановников Церкви. Анну, чтоб почтить величие империи, вели под руки на корабль в порту палатийском Буколеон под пение двухсот певчих святой Софии, и храмовые хоругви тонули в серых волнах ладана. Узенький, извилистый пролив прошли на веслах. Скоро русский посол заглянул в помещение, которое устроили для Анны.

— Княгиня, выдь, если будет угодно тебе, пожаловать последним взглядом греческую землю.

Когда с кормы Анна глядела на зеленые горы — пролива между ними уже не различишь,— глядела впервые в жизни и в последний раз,— русский объяснил ей:

— Князя нашего, ныне отца твоего, звать Ярославом. Имя Георгий по-русски называют крестильным, и мало кто из русских знает, кем крестили князя. Мужа твоего звать Всеволодом, Андрей же — его крестильное имя.

Так быстро подтвердились слова патриарха! Но русский посол думал об ином. Угадывая тревоги — могло ль их не быть! — молоденькой гречанки, он говорил:

— Все наше прошлое — и твое — только рожденье сегодняшнего дня твоего. Не сожалей, что с тобой могло быть иначе. Бывшее подобно скале, и оно завершилось. Прими же сегодняшний день. Не рань себе рук о неисправимое. Неисправимое — это имя прошлого. Другого названия не должно давать прошлому, если ты хочешь быть свободна для нынешнего дня.

Духовник Анны вмешался:

— Каждый текущий день посвящай богу, думая о царстве небесном.

Русский возразил:

— Заботиться следует о нынешнем дне, и не об ином. И не слабеть в мечтах. Коль ты сегодня сделал свое дело, ты и завтрашний день себе подготовил,— и обратился к Анне: — Жизнь наша уподоблена тысяче уподоблений, хотя бы и дереву, ветви которого разрастаются с каждым днем. Нет дней дурных. Верь, княгиня, сердцу твоему.

Исчезли зеленые вершины, море, морщась под ветром, заменило твердую землю. А есть ли твердая земля, бывает ли у человека постоянная опора, которой нет даже у гор?

Языческого было много, церковный брачный обряд незаметно утонул в русских обрядах, а длились они семь дней. Теперь сыну семь лет, второму — четыре и дочери — два, и муж велит — не теряй времени. Он прав, дни нельзя собрать вновь, как бусы рассыпанного ожерелья, так как прошлого нет.

Отец из Палатия присылал четырежды в год письма с торжественным титулом базилевса вверху пергамента, с обращеньем: от его величия по милости божьей возлюбленнейшим дочери и сыну. Буквы были расцвечены золотом, киноварью и зеленью. Их не писали — сотворяли

умелейшие писцы, и базилевс-отец, посылая их руками свои благословения, подписывал торжественные слова. Слова без смысла, как их назвал Всеволод после рожденья первого сына, после дней, когда они оба почувствовали себя поистине в браке. Отец-базилевс скончался через два года после отъезда дочери на Русь и через год после рождения Владимира. А письма и сопутствующие им подарки продолжали приходить. Содержание менялось мало, ибо палатийские писцы знали свои обязанности, и Анна оставалась дочерью империи — для империи, а не для нее. Русский священник заменил первого, посланного патриархом, для общего блага: грек слишком старался уберечь от язычества свою духовную дочь, принимая русские обычаи за грех. В те поры митрополитом Руси был тоже грек, но тонкого склада, в нем жесткий блюститель княжей совести не нашел опоры. Сделавшись помехой, высокоученый монах вернулся во Влахернский монастырь, убедившись: женщина подобна сосуду из мягкой глины (по-русски — из скудели). Воистину так! Года не прошло, и дочь базилевса сделалась русской! Монах поспешил с обвиненьем. Однако ж и в этой неправде была, как бывает, и правда.

Но греческой науки Анна не забыла, и вскоре Всеволод в том убедился. Его первенец овладел греческим письмом будто играючи. Что за диво, греческой речью мальчик владел и раньше, не в ущерб русской, однако же. Сам Всеволод легко говорил по-гречески, по-латыни, по-германски, по-печенежски, по-варяжски, не считая чешской и польской речи, схожих с русской, как братья с сестрой.

Для княгини Анны греческий язык стал как русский, ее мысль как бы сама брала ту иль иную плоть. Цена слов? Они обозначают нечто, и отнюдь не всегда что-то значат. Греческий язык стал для Анны похожим на русский. Копилка познаний не так уж велика. Каждый, кто убедился в чем-то, считает несогласных ошибающимися. Все правы.

У молодого Владимира учителей хватало с избытком, а молодое сердце горячо гордостью. Кто-то сказал ему, безусому юноше: «Что наряжаешься? Коль в посконном платье в тебе не узнают князя, то и впрямь, какой же ты князь?»

С тех пор и пошло: хорошее стал надевать для чужих только в городе. Ехать куда-либо, на охоту ли, дома ли в своем дворе — домотканина, пестрядь, посконина да сер-

мяжное сукно, другого не хочет. Отец посмеялся, потом разрешил: «Но сумей же показывать князя, иначе деньденьской заставлю по лесам и полям шарить с охотой, весной землю пахать, осенью хлеб убирать!»

Сказано — забыто. Дни длинны, летом от первой зари, по-русски Денницы, по-гречески Авроры, когда люди просыпаются по первому лучу, чтобы звезды проводить на покой, до первой вечерней звезды, когда голова сама ищет подушку. Осенние да зимние дни продляются светом свечи да лампады, то книжные вечера. Зато годы были коротки, как бывает с ними, когда дни полны дела.

В 1068 году, когда киевляне изгнали князя Изяслава и посадили на киевский стол Всеслава Полоцкого, началась княжеская жизнь для Владимира Всеволодовича. Шел ему тогда шестнадцатый год от роду. Впрок ему стали воинское ученье да охоты, и верхом, и пешком, на любого зверя — туров, диких лошадей, оленей, волков. Молоденький княжой сын дотянул до полного роста, стал широк костью и незаурядно силен телом не только для своего возраста, но и для двадцатилетних.

Князь Изяслав ушел к полякам искать убежища да помощи, а князь Всеволод, побоявшись возвращаться в свой Переяславль — и на себя, и на Переяславльскую землю беду наведешь,— отправился в земли Святослава — в Курск, а Владимира послал сесть в Ростове, чтобы, по согласию со Святославом, удержать Ростовскую землю. Дальняя дорога в славный город Ростов Северный. Всеволод дал сыну больших дружинников-бояр, дал младших, и вышли они из Курска пятью десятками. Торные дороги вели на Кром. Старый Кром сидел, как все или почти все русские города, под речной защитой, на мысе, при впадении малой речки Недны в большую — Крому. До Оки по Кроме-реке рукой подать, верст двадцать.

Лето повернуло на осень, древесный лист потемнел, зарозовели рябиновые ягоды, птица подавала голос лишь по тревоге, и уже шныряли по кустам бойкие синицы, и белка готовила зимний запас, и на полянках стеснились, как крыша, грибы-перестарки, точенные червем, проеденные скользкой улиткой.

В туманной прохладе утра пчела, боясь отяжелить сыростью крылья, не лезет из борти и ждет, когда солнце подсушит водянистый воздух, чтоб потрудиться над скудным взятком, который неохотно дает вдруг оскупевший лес. И утром находишь больную от холода работницу, которая вчера, не рассчитав силы и забыв, что день со-

кратился, не смогла вернуться домой и ждет солнца, чтобы согреться. Но выдался пасмурный день, и с ним — смерть.

Зато комар ослабел, смирились оводы, нет хищной строки, и днем лошадь понапрасну не тратит силу, и ночь сулит отдых. Для дальних походов хорошо осеннее время. О коне заботятся больше, чем о всаднике. Человек сильнее и может вынести столько, сколько будет не под силу любому зверю. Кроме волка. Волк по стойкости, по терпенью и по уму стоит на краю всех зверей, исключен от них, вышел на кромку.

Скрылась гора, омываемая рекой Тускорью, на которой стоит город Курск. Молодой князь велел троим дружинникам, родом курянам, ехать вперед, удаляясь по месту на версту, на полторы. С собой Владимир оставил десяток дружинников, остальным указал ехать сзади, не выпуская его из глаз. Нападенья не ждали, но любое войско должно ходить с опаской. Свое первое воинское распоряжение Мономах сделал по правилу, пусть и правит.

Вступали в черневые леса, в области закрытой земли, где солнце ее ласкает не по своему выбору, а где лес позволит лучам проникнуть сквозь крышу листьев, где кустарники согласятся разойтись, где лесные травы раздвинутся. Много ль таких мест найдется? Нет таких мест. Разве после пожара, но редки пожары в лесах. Там солнце достигает земли, где человек постарался. Но и человек здесь редок. Потому-то и пел вполголоса кто-то лесную песнь, а остальные ему подпевали в четверть голоса:

Понавесился лес, позаставился,
будто дремлет в дреме дремучей,
будто заснул он, будто стоит он.
Ан нет, сну лесному не верь, он обманывает.
Глянь-ко! С горы он ползет. Переставляются
вековые дубы с березами. Как сеятели,
мечут они пригоршней по ветру семя бессчетное
да под землей ножку-корень протягивают.
Бродв нет — через реку прыгает,
брод есть — бродом идет, что ему!
Эко же войско великое! Век ему вечный отпущен,
идет, не торопится, в неоглядную даль,
в необъездные поприща.
Слава тебе, лес великий, слава!

Рассказывают-передают за истину истинную, что в стародавнейшие лета степь — Дикое поле — заходила далеко на север и на запад. Лесисты были истоки реки Волги сверху до нынешней Твери, и граница лесов от Твери

шла прямо на восток через Ростов Великий на Кострому, Унжу, Котельнич, а на юг степь лежала. На западе степь подходила к Смоленску, левый берег Десны был степным.

— Слышал ты, княже,— говорил Владимиру боярин Порей,— и в сказке, и в песне, что поссорились лист со хвоей, и хвоя, переборовши колючкой, выжила черневое дерево на юг. В этом есть правда. Ссора не ссора, однако же сам увидишь, как сосна с елью идут вслед за черневым лесом и глушат его. В старину под Черниговом не было ели с сосной. Пришла, и чернь потеснилась. Старики куряне по месту указывают, где лес на их памяти высунул пальцы в степь. Все лесные опушки движутся, но жить долго нужно на одном месте, чтоб заметить. Только плуг с сохой останавливают лес, и нет ему иной преграды.

Лошади идут по лесной дороге шагом, для беседы удобное время. Собрав поводья в левой руке, всадники дают коням волю, но не совсем. Легко-легко, но посылают, привычно прижимая голень к лошадиному боку. Носок также привычно приподнят и хоть и вложен в стремя, но пятка опущена и йкра напряжена сама собой. Лошадь, чувствуя всадника, идет широко — пешему не угнаться. Начав в семь лет, Владимир к шестнадцатому году уже старый конник, в седле ему удобно, и он, как и бывалый боярин Порей, сидит не думая: что ни случись, руки и ноги сделают нужное сами.

Порей — богатырь телесной силой и боярин в дружине по праву ума — возрастом далеко не стар, немногим за сорок ему. Был в Новгороде, в Смоленске, в Киеве. Вместе с князем Ростиславом Владимиричем ушел в Тмутаракань. После отравления князя хотел поднять тмутараканцев на войну против греков и поднял было, но корсунцы опередили, побив убийц камнями. И Порей ушел с сурожского берега. Поссорился. Он, Ростислава любя, и с ним начал ссориться за нежеланье взять под себя Таврию.

— Бог все дал Ростиславу,— говорил Порей,— не дал удачи ему, и дядья с ним не умно поступили. Боялись его, озирались на Тмутаракань. Зря. Он же хотел усилить Тмутаракань не для себя. С касогами начал дружить. Говорил — силой привязываем, лаской прикуем. Срок себе давал он лет шесть. Мечтал с юга на половцев так ударить, чтоб за Волгу их вышибить, чтоб Русь была сплошная по всему Дону, Донцу и Днепру. Старые греки гово-

рили: кого боги любят, тот умирает молодым. Нет, несправедливо бог попустил умереть Ростиславу.

Мать Анна наставляла сына: все в воле божьей, божьи пути для человека могут быть непонятны — смиряйся. Тому же учит святое писание, священники. Бог терпелив — и молчит. Боярин Порей осуждает бога попросту, не думая ни о грехе, ни о христианском смирении. Инок Антоний-пещерник говорил: «Бог среди нас».— «Где?» — спрашивал Владимир. «Да здесь, здесь,— рукой показывал инок и объяснял: — Он же невещный и сразу пребывает везде, он в твоем сердце-совести».— «А на небе?» В ответ инок рассказывал, как, будучи в Греции, он встречал людей, поднимавшихся на высочайшие горы, где воздух холоден и под лучами солнца снег не тает, но превращается в лед. И чем выше, тем холоднее, ничто не растет, никто не живет. Не то что звери, там нет даже мушки иль муравья. «Но почему же обиталище бога указывают на небесах, так и молитвы сложены?» — «Такое нужно понимать не вещественно, но в духе,— отвечал инок.— Душа человеческая не внемлет слову, если слово не вложено в сравненья. Бог на небе? Понимать надлежит в смысле его величия только. Привязать же бога к одному месту есть язычество».

«О-ох, отче,— шутя упрекал, шутя же и скрывал смех князь Всеволод,— в ересь клонишь и сына моего молодую душу колеблешь. Вольно тебе на Руси. Греки бы тебя в темницу всадили без света. По-латыни — ин паце, а погречески забыл».

«И я, грешник, забыл, право, забыл,— не без лукавства смеялся Антоний, хоть, несомненно, и знал.— Однако ж греки под землю меня не ввергали. Ведь я-то подобное на Афоне-горе втолковывал самому святейшему игумену. И преподобный меня не оспорил. Простому люду невещественное непостижимо, от сложности пояснений появляются в вере ереси, лжетолкованья. Потому-де и надобно простолюдью бога объяснять просто же. Потому-де, иконы рисуя, изображают на них не только Христа, который ходил по земле в облике человека, но и бога-отца. Полностью истину могут постичь высокоученые духовные и боговдохновенные святые».

«Стало быть, две веры? Одна ведома духовным, другая — для нас, темных мирян?» — не отставал князь Всеволод.

«Так почти что и я возражал святейшему игумену,— не отрекался Антоний,— он же горячился много и за-

клинал, дабы я против обрядов не шел, лжеучений не проповедовал. Я разве проповедую? Ты спросишь, скажу, как понимаю. Чего не знаю — не знаю. Добро от зла, князь, отличай. Бог есть любовь».

Лесная тропа то расширится, то сузится так, что два коня рядом едва проходят. Жилистые корни, крепкие, как костяные пальцы, сплетаются на виду, живые, хоть и обнаженные от земляной одежки. Кое-где можно заметить след колеса — кора сорвана, древесина гладка, будто отполирована, и на ней темный узел — сустав. На Кромы из Курска есть дорога пошире, поторней, но эта — короче. Где чуть влажнее — виден свежий отпечаток копыта, оставленный только что прошедшим передовым дозором. Но положен он не на гладкую землю, а сверху сотен и сотен звериных следов. Широкое копыто лося, острые оленьи, такие же острые, но помельче — косульи следы. И острые, раздвоенные кабаньи копытца. Зверь любит дороги. Даже кабан, которому чаща нипочем, бережет силу; пробивая свои тропы, охотно пользуется чужими: как и люди. Трудно узнать, да и не к чему допытываться, кто эту дороженьку первым пробивал, человек ли, зверь ли.

Крупного зверя сейчас не увидишь. Передний дозор шел — кого потревожил с места, кого предупредил. Да и сами всадники идут без опаски. И песня, и беседа. Не на охоту собрались, зверь же, не зная того, опасается. Зато лесная куница глядит без страха. Умный зверь. Рыжую шкурку прячет за стволом либо к развилку сучьев прильнет, как льняная прядь, только и показывает, что носик черный да глазки — черничные ягодки. Пока не шевельнется — век будешь прямо на нее глядеть, да не углядишь. Белка же смела по-ребячески — не твердой душой, а детским неведеньем, хоть и учат ее ласка, все ястреба — большая семья,— учит филин с совою, та же куница. И — не научат. Стало быть, не в учении сила, не в учителях, не в науке. Так в ком же? В ученике. И коли бы знать заранее, кого учить, а кого так пустить, то и ученых стало бы в сем свете поболее, а учителей потребовалось бы куда поменее. И были бы учителя те слабы числом, но велики мудростью.

Так-то, молодой князь, учись. Мать Анна говорит: больше книг читай. Отец Всеволод перечит ей: верь больше глазам, меньше ушам. Как же так? А так, что чтение есть тот же разговор. Без чтения нельзя, однако же книга

так же лгать умеет, как живой человек, и многие книги для обмана написаны, когда писатель с чужого слуха брал без проверки. А чем мерить? Знаньем да опытом.

Прыгают белки, не таясь от людей. Беличье мясо вкусно, получше оленины, а медвежатина и кабанина против беличьего, как падаль. Белкой брезгают от сытости, да и на мышь она похожа ободранная. Так рассказывал боярин Порей. Ему довелось всего пробовать.

— Пишут, что хозары брали со здешних дань по белке с дыма,— сказал князь Владимир,— пока мой пращур Святослав хозаров не разогнал. Дешево брали...

— Кто пишет? — отозвался Порей.

— Погодную запись я видал у отца.

— О белке и я слыхал. Да еще в других местах будто брали хозары по шелегу с плуга. Это притча. Сам видишь, какая в лесу белке цена — шелег, монетка медная, тертая.

Владимир слушал, не мешая. Боярин рассуждал:

— Белка. Горностай. Шелег. Все равно, что ржаной сноп либо горсть льна. Ничто. Иносказательно нужно понять.

Четыре способа даны, думал Владимир: книга, ухо для чужих речей, глаз, чтоб самому видеть, да разум, чтобы правду найти в каждом малом даже деле. Молчание — золото для ума, чтоб самому себе не мешать. Свое слово вылетит — его не поймаешь, и лучше ловить чужие слова, эти птички сами в сетку летят.

А сердце? А совесть? Глазу легко отличать от белого черное, зеленое от желтого... Бог знает. Бог-то бог, да сам не будь плох. Слабого не обижай, бессильного защити, больному помоги, голодного накорми. Такого целый мешок наберешь, а вдуматься, почему один слаб, другой же силен, один сыт, другой голоден, и делаются слова бесчисленны, как опавшие листья или как солома: лежит горой, а зерно снизу зарылось, не видно. Через мысли трудней пробиться, чем через лесные чащи.

Род приходит, и род проходит, а Земля пребывает вовеки. Но лицо ее меняется. На высоких горах находят скорлупу морских раковин, речные рудо-желтые пески проступают на высоких местах близ Днепра, леса идут в степи, и верно поется в песне о древесных полчищах, поистине уподобляет певец корни ногам, сучья — рукам, а морщинистую кору — богатырским доспехам. Мир хоть и пребывает вовеки, но изменчив он, нельзя войти дважды в одну и ту же воду так же, как не поймаешь уходящее

время. Владимир не бывал на горах, не его мысль о текучей воде. Откуда ж взялось? Молодой князь не помнил. Много слышано, немало прочитано и не улеглось в голове, да к чему же знать имя сочинившего книгу. Запомнилось сказанное не для того, чтоб щеголять ученостью, как делают книжники, а чтоб понять нечто в себе и в других. Наука бесконечна, как жизнь,— так кажется юноше.

Впереди посветлело, будто бы лесу конец. Тропа вынесла коней на поляну и разбежалась звериными тропочками, вблизи от опушки еще видными, но исчезли и они. Зверь, как и люди, привыкнув в тесноте ступать в чужой след, выйдя на волю, недолго держится стеснительной привычки.

Вместе с окрестным лесом широкая поляна изгибалась вниз, вниз, как изогнутый щит, и падала, поглощенная лесистым яром. Пониже опушки шагов на четыреста стояли сторожами несколько старых дубов в пожухлой от осени листве. Близ них ждали и спешившиеся дозорные, а с ними еще какие-то люди.

Сблизившись, князь Владимир поздоровался первым с чужими, и те ответили ему медленно, вразнобой, без стесненья приглядываясь, и старший, с непокрытой головой в стриженных под горшок, битых сединой волосах, спросил:

— Ты и будешь сын Всеволода-князя, Ярославова сына? — И, получив подтвержденье, пригласил: — Гостюй в нашем лесу. Меня зови Приселко, по-крещеному Алексей.

Объяснил он, что град его отсюда будет верстах не то в пяти, не то в шести.

— Пути-то не мерены, да дорога-то нехороша, сам ты видал, да и в сторону от твоего пути будет, и; коль к нам пойдешь ночевать, назавтра тебе, княже, тем же путем сюда выходить надо будет, и, стало быть, ты вроде да как бы и с места не сдвинешься, ведь по дорогам у нас не поскачешь, мы вот пешком по лесу конного обгоняем,— и для наглядности показал, как шагает пошире аршина длинной ногой, обутой по-вятицки в ладно плетенный лапоть.— А над лаптем не смейся, в нем цепко ступать, и ногу бережешь, и ноге легче будет, чем в твоем сапоге, однако есть у нас и сапоги, лапоть же носим для удобства в лесу. Ты ж не взыщи, хочешь, к нам провожу, отдохнете, коль устали, оно ведь за угощеньем-тем мы не встанем, мы на достатки-те не жалуемся. Так-то, оно ведь косточки-те твои мягкие, не привыкли на жестком-то.

Длинную свою речь вятич сплел, как лапоть плетут —

будто из одного лыка сплетен, концов не видать,— однако не запнулся ни разу, не спешил, слов не мял, где нужно — передыхал. Кончил, и остальные вместе с ним поклонились — приглашают, а ты как хочешь: примешь не примешь, была б честь предложена.

Услыхав про мягкие косточки, Владимир решил — здесь ночевать и, спрыгнув с коня, отстегнул подпруги, снял седло и отнес к ближнему дубу, примолвив:

— Вот изголовье.

Вечерело, и дозорные объяснили, что далее к Кромам, за речкой, которая течет в яру, до следующей поляны засветло не добраться.

Подходили остальные, спешивались, расседлывали лошадей и вели их вниз через кусты, где по яру лесная речка несла ясную воду прекраснейшей свежести, со вкусом земли, листьев орешника, лесных трав, ивы, папоротника: на память всего не перечислишь, но складывалось оно вместе, и из многого получалось единое. У каждой речки свой вкус, как нет на этом свете двух одинаковых людей.

Вятицкие хозяева — пятеро их было — казались одной семьей, на первый взгляд отличаясь лишь возрастом. Все крупной стати, рослые, все в кафтанах грубого некрашеного сукна, которое валяли из разномастной шерсти, и цвет получался дикий — шел он к лесу, одетому в разноцветную кору. Штаны из толстой пестряди — лен с пенькой,— шерстяные онучи, толсто навитые до колен и прихваченные крест-накрест бечевкой. На голове низкий суконный шлык.

Многолюдно стало на поляне, но скоро шум утих. Стреноженные кони выели овес в торбах и паслись отдыхая. Назначив, кому стоять в первую стражу, кому во вторую, кому в третью, молодой князь собирался сам лечь, довольный, что из назначенных им никто не возразил, что никто из старших бояр его не поправил.

Приселко, о котором Владимир, занятый делом, не думал, пригласил:

— Пойдем-ка, княже, к нам ночевать, будет тебе поудобнее.

— Куда же?

— А вот!

Приселко указал вверх, где в темнеющем небе черной горой сливались головы дубов. Подведя Владимира к стволу, который едва охватишь втроем, Приселко указал на узкую ременную лестницу, свесившуюся сверху:

— Полезай, а я подержу конец, чтоб тебе без привычки руки о кору не портить.

Путь показался долгим до квадратного выреза в толстых досках. Опершись руками на пол, Владимир подтянул ноги и встал сначала на колени, а потом во весь рост. Не успел он оглядеться, как Приселко был рядом. Нагнувшись, Приселко приподнял крышу-творило, ходившую на петлях, как в погребах, и закрыл вырез:

— Добро, теперь не угодишь вниз...

Вятицкие, люди лесные, умели не то что жить на деревьях, но прятаться на них, обороняться и нападать сверху. Владимиру не доводилось бывать в подобных гнездах. Пол он успел оценить на ощупь, крепок и ровен, плотно сбит, как в доме. Синяя мгла едва кутала лес, а здесь из-за ветвей было совсем сумрачно. Приселко высек огня, раздул трут и зажег масляную светильню. Покой был шагов семь в длину, пять в ширину, с широкими, но низкими окнами, с низкой же крышей — рукой достать. С одной стороны — дверь, с другой — проем дверной, но дверь не навешена. Дом как дом. В углу — горка выделанных овчин выдавала себя знакомым запахом холодного времени года. У стены — лари, плотно сколоченные, с хорошо пригнанными крышками.

— Там,— Приселко указал рукой на неприкрытый вырез двери,— вторая храмина наша, мои парни уж спят. Мы, княже, здесь переспим. Но сначала отведай вятицкого гостинца, не побрезгай.

Разогревшись, масло, в глиняной лодочке с длинным носиком для фитиля, освещало воздушный покойчик не хуже, чем восковая свеча. Открыв ларь, Приселко достал чистую ряднину, которую расстелил прямо на пол, поставил широкую чашку с медом, положил каравай хлеба, копченое бедро косули или оленя. Разобрав овчины, устроил два мягких ложа и позвал Владимира:

— Ложись, княже, разувайся, раздевайся, дай телу-то отдохнуть, поешь и — спать. Не взыщи, столов мы в гнездах наших не держим. Мы с тобой здесь по-птичьи. Иль, коль хочешь, возляжем по римскому да греческому обычаю. Выводится тот обычай. Однако, поверь очевидцу, мне доводилось видеть пиры, где гости ели на ложах.

Подавая пример, Приселко уселся, развязал бечевки на онучах, сбросил лапти, размотал онучи, снял кафтан, стянул штаны и, оставшись в исподней одежде, растянулся на овчинах: хорошо!

С удовольствием раздевшись, лег и Владимир, ощущая

приятную истому, как бывает после дня, непраздно проведенного в седле на дороге по новым местам. Но это было уже привычно. Ныне другое — первый день княжеский. Не охота — поход, дальний путь, люди, из которых старшие тут же оспорят, тут же поправят, когда скажешь или сделаешь не то по неопытности. Шаг один — и явятся няньки. Старшие дружинники, бояре, привыкли спорить со старшими князьями, юнца же не пощадят, научат. Первый день колобком прокатился. Что-то дальше?

Приселко споро нарезал несколько добрых ломтей копченого мяса, почал каравай — кусок князю, кусок себе — и усмехнулся:

— У вятицких зря хлеб не кромсают. Привычка. Хлеб нам дороже мяса. Ай! Воду-то я не подал! — И пошутил: — Вина нет, мы ведь по-дикому здесь, люди лесные, пьем лошадиный напиток, зато не пьянеем.

Гибко поднявшись, Приселко принес корчажку с водой, в которой, зацепившись длинным хвостом за край, плавал серебряный ковшик, напоминая утку формой своею и длинным носиком. Лег Приселко, и из-за пазухи нарядно выскользнул золотой диск на золотой шейной цепочке.

Бывают мгновенья, когда знакомое даже, увиденное с необычного места и в непривычном освещении, поражает наше сознанье своей новизной. Владимир не успел еще сказать себе, что хозяин его изменился весь в движеньях, в речи с минуты, когда зажегся светильник. Еще не успел удивиться упоминанью о греческих пирах. Золото на вятицкой груди его поразило и открыло глаза.

Велика ли заслуга удивить юношу! Сняв через голову длинную цепочку, Приселко предложил Владимиру поглядеть на особенную вещь. Как видно, золото отливалось в форму. Массивный овал с крепким ушком был толщиной в четверть пальца, шириной — в три пальца, а длиной — в шесть. С одной стороны был выпуклый крест, над ним детская головка с крылышками — ангел, по кругу русская надпись: «Боже, защити душу и тело раба твоего Алексея». С другой стороны — в пояс обнаженное женское тело, над красивым лицом вместо волос извиваются змеи и надпись: «Ум, совесть и сердце оберегая от зла, побеждает змея змеями же и молнию — молнией».

— Талисман мне по заказу сереброкузнецы сделали в Афинах,— сказал Приселко.— Слыхал, такой город есть в Греции? — Владимир кивнул.— Я много ходил по

свету,— продолжал Приселко.— Знавал отца полоцкого князя Всеслава и его самого. Знал меня и твой дед Ярослав. В Константинополе служил базилевсу в избранной дружине его. Плавал по морям. Умею биться любым оружием на суше, на кораблях. Крещеное имя мое Алексей, это правда. А русское имя было иное. Вятицкие меня нарекли Приселкой — я к ним приселился. Тебя я видел малым парнишкой — где тебе помнить меня. Ты мне напоминаешь твоего внучатого дядю, Ярославова брата — Мстислава. Славный он был воин и большой души человек и князь. Но что ж ты не ешь?

Ели быстро, но не спеша, и быстро насытились.

— Да, ты лицом похож на Мстислава,— продолжал Приселко.— А кем будешь, сам не знаешь. Если ж и знаешь, никто не предскажет тебе, кем быть сумеешь. Молчишь — хорошо. Видел я, как ты распоряжался — будто старый князь. Не обидься, знаю, что под твердым словом у тебя лежало и лежит сомненье в себе. Будешь бороться с собою. Трудное дело, но кто тебя выкует? Ты сам и враги твои, ибо сталь точат о жесткий камень, мягкий камень сталь портит, и ничего никому не построить, когда никто не мешает. Понял ли меня?

— Нет,— отозвался Владимир.

— И хорошо,— одобрил Приселко.— Хорошо, что не стыдишься сказать, и никогда не стыдись. Хорошо, что не понял. Молод ты. Берешь на память, хочешь не хочешь, но вспомнишь много дел, много слов сравнишь с делами, тогда и поймешь, взяв своей силой. Коли б людей со слуха учили мудрости, давно все были б умные, давно каждый заранее знал бы, что делать. Ты старые книги читал, тысячу лет тому назад писанные?

— Читал, только еще мало.

— Больше прочтешь, больше согласишься со мной. Да и так дойдешь, вволю потоптавши жесткую землю. Вспомнишь вятицкие дубы. Не из похвальбы говорю. Знаешь, куда прошедшие дни, прошедшая жизнь девается? — спросил Приселко и сам ответил: — Здесь все, с тобой оно, ты на себе носишь иль в себе, все равно. Ноша великая на нас наложена от сотворенья мира, каждый день добавляет груза. Человек велик, и старится он только от этой тяготы, а не как конь на работе. Ноша теснит, как удав-змея. Время неверно сравнивают с рекой. Речная вода уходит, а время хоть и течет, но с тобой остается. Уставая, человек все менее любит жизнь. Не будь того, мы бы вечно жили, как бог. Утомил я тебя?

— Нет,— возразил Владимир.— Скажи, ведь ты христианин?

— Да.

— Речи твои странные. Среди вятицких, говорят, много людей, не принявших крещения.

— Есть и такие,— согласился Приселко.— Но я навидался куда худших. С молитвой на устах они поступают хуже язычников, а сами хвалятся, что суть старинные христиане с древнего времени. Чтут, исполняют все обряды, посещают храмы, исповедуются, приобщаются, завидев священника или монаха, бегут под благословенье к нему, в речах ссылаются на священные писанья. Скажу тебе, худшие язычники, которых я видал, суть два базилевса империи и один патриарх! Не назову их, все трое уже держат ответ перед богом. На словах благочестивы, на деле черного от белого не отличают, в государственном деле гонятся за выгодой, перед силой гибки, для слабого подобны львам, ворвавшимся в стадо овец. Без малого десять лет я прожил в Восточной империи. Не будет ей добра. Души многих людей истощены, подобно огороду, никогда не удобренному: жестки, бесплодны. Слыхал я там не раз пословицу: ум на задворках, совесть в ссылке, а сердце проткнуто ножом.

— Возражают же против зла, раз такие речи ведут! — пылко воскликнул князь Владимир.

— Верно, княже! Из молодых ты, да ранний. Да, не все люди плохи, добрая слава лежит, худая бежит. Сколько хороших-то? Помнишь, в писании сказано: без семи праведников город не стоит. Но что жутко честным среди бесчестных, о том не сказано: сам понимай.

Замолчали. Заметили оба — ночь укутала землю, и казалось — светильня ярче горит. Прямо под полом лошадь звучно жевала овес, и было слышно, как встряхивает она подвязанную к морде торбу, чтоб достать со дна остальные зерна. Все спали, исключая десяток сторожей, спали сладко, как малые дети, и никто не храпел. Храпеть отучали с юности. Считалось недостойным мужчины и воина нарушать покой ночи. Приселко, приложив палец к губам, показал Владимиру на что-то. Тот повернулся и увидел в оконном прорезе два больших ярко-желтых глаза, которые, не моргая, глядели из черной, как в колодце, глубины ночи, и нельзя было сказать, близки они или далеки.

— Филин,— шепнул Приселко чуть слышно, но глаза исчезли как по приказу.— Закрыл очи-то,— уже гром-

че сказал Приселко.— Хитрый. Знает, что глаза его выдают. Он сюда любит наведываться, сегодня мы ему помешали.

— А ты как в здешние леса залетел? — спросил Владимир.

— Случайно. Поднимался по Донцу Северскому. На переволоке на Сейм встретил троих здешних. Они туда вышли людей посмотреть, себя показать и заодно меха предлагали проезжим купцам. В Курске купцы-де обманывают. Но и там константинопольские купцы захотели их провести порчеными номизмами. Я помешал. Отсюда дружба пошла. Я хотел идти в Ростов Великий, как ты. По дороге к ним погостить заехал и — остался.

— Не скучно в лесу после широкого света?

— Нет. Я счастлив. Не один — с женой. Жена у меня добрая женщина, мне отвечает, и я ее понимаю. У вятицких я, как бы сказать, за воеводу. Они бытуют по-старинному. Слышал, все наши пращуры жили градами на полянах, управляясь выборными князьями? И эти так сидят за лесом, будто за крепкой стеной. У моих засевают в трех полях десятин полтораста хлеба. Хватает. Скотина хорошая, дичь — лови не хочу. Дикие, думаешь? Нет, из грамотных не я один. Их никто никогда не воевал. Чужой не проберется. Ни хозаров, ни печенегов они у себя не видали.

В вятицкий град приезжает по весне и по осени из Курска священник с дьячком, служит литургию — обедню и всенощную в часовенке, поставленной в полуверсте от селенья на былом погосте. Погостом называют место, где в старые годы стояли русские боги — Дажьбог, Стрибог, Хорс, Велес, Перун. Туда собирались для общих молений. Погост не рушили, изваянья богов не жгли, их изъело время древоточцами, плесенью, мхами, ибо давно уж никто не поддерживал былые святыни. Иные вятичи еще чтут то место, не дают поляне зарастать деревьями, и скот там не ходит: поддерживают жердяную изгородь. Там каждый год вырастает бесчисленное множество белых грибов, и дети ходят их брать, день за днем, и таскают берестовые кузовки, пока дома не насушат, не насолят запасу на зиму и весну.

Окрестят родившихся младенцев, повенчают молодых, соберут подаяние себе за труды, на курский соборный храм, для епископа и уедут,— повествовал Приселко.— От курского тысяцкого однажды в год приезжают за княжчиной, дают и ему, по обычаю, по привычке: Курск-

то нужен. А ты, княже, усомнился, христианин ли я! — упрекнул Владимира Приселко.

— Я слыхал от духовных, будто в лесах есть еще много язычников,— оправдался Владимир.

— Не слушай их, они принимают за язычество древние обычаи наши. Вот что недавно случилось у нас. Забрели к нам двое монахов, посвященных в иноческий сан в Киеве Феодосием-пещерником. Весной они шли, вскоре после отъезда нашего священника. Их мои подобрали в лесу. Они, сбившись с тропы, не чаяли остаться в живых. От голода оба опухли и стояли на смертном пороге. Вы́ходили их. Они же, придя в силу, стали нас обличать. Белок едим? Нельзя, похожа на мышь. Для нас беличье мясо вкуснее говяжьего, а белка зверек чистый, ест ягоду, семена, грибы. Посты не соблюдаем. Сходимся с со́седями на играх-праздниках, березку завиваем, град опахивают женщины, летом через огонь прыгаем — всего не перечислишь — грех, язычество. Очаг чтим, огню дарим — грех. Поминальные трапезы по мертвым нельзя строить, это, мол, тризна языческая, и нельзя к могилам с дарами ходить в отцовские дни. Грибы на погосте поганые, ибо растут на прахе идольском. Погост распахать, чтоб и следа от прошлого не было. Ходили они из дома в дом, и до того дошло, что их не пускали. У нас-то! Где и запоров нет нигде.

Передохнув, Приселко продолжал:

— Спорили с ними. Говорил тебе, не один я грамотный. Христос сказал в Евангелии: не в уста, а из уст. Кем же пост установлен? Людьми. Почему белка нечистая? И нигде не сказано в писании, чтобы не веселиться. Объясняли мы им, что с незапамятного времени не было среди нас убийц, воров, блуда. Говорили: ищите греха в вашем Киеве, там и найдете. Вы, мол, на внешнее смо́трите, вы в душу глядите. Один было поколебался, другой его укрепил, и вышли мы хуже грабителей. Они ж проклинать начали, и, князь, пойми, люди озлобились. Или пусть монахи добром уйдут, либо оставить их без пищи и воды — ничего есть не давать и к колодцам не пускать. И еще худшее обещали. Инокам — ничто. Убейте нас, говорят, а мы божье дело делаем, ваши души спасаем, себя не пощадим.

Внизу и в стороне, у края поляны, испуганно метнулись лошади, топоча спутанными ногами. Послышался окрик, и все стихло.

— Зверь лесом прошел, и его кони почуяли,— объяс-

нил Приселко и продолжал свою повесть: — От смуты князь со стариками решили иноков вывести от нас. Набили мы им мешки хлебом — иной пищи они не принимали,— и вывел я их сюда, к дубам. Вели в мешках, на головы надетых, чтоб они к нам не вернулись. Здесь я им дорогу в Курск указал. Отказались. Пойдут-де в леса проповедовать. Я их проводил по дороге на Кром. Иного нет здесь пути. А там — как хотят. И вот о чем была моя с ними последняя беседа. Я их просил:

«Помягче, святые отцы, будьте. Ведь у вас и совсем дурно может получиться».

Старший инок, Кукша по имени, меня сыном дьявола назвал. Я ему:

«На Руси о дьяволе не слыхали, это латиняне без дьявола ступить не умеют. Не было на Руси злого язычества, брак соблюдали, женскую честь чтили».— И еще предостерег их: «Не озлобляйте людей!»

«А мы и так пришли за венцом мученическим!»

Спрашиваю:

«А что тем будет, кого вы в убийство введете?»

«Вечная мука!»

«Так вы их вечными муками себе приобретете царствие небесное?»

Младший, Никон, будто бы дрогнул. Проводил я их за яр, через речку, и пошли они той же дорогой, где тебе завтра ехать. Спорили они на ходу, легко понять о чем. Я стою. Разом они оглянулись, одинаковые, как опенки, один руку поднял, проклинал, то ли прощался... Так-то, князь. Ты помнишь сказку о буре с солнцем?

— Какую? — отозвался Владимир.

— Ехал в степи всадник. Буря с солнцем поспорили: кто сильнее и сможет с него шапку снять? Буря рвала, трепала, с коня сбила. Но — не одолела. Натянул всадник шапку на самые уши, клещами рви — не сорвешь. А солнце как пригрело, так всадник сначала шапку сбил на затылок, а там и вовсе снял да еще песню затянул про доброе солнышко. Поверишь ли, я эту сказочку на десять ладов слыхал на разных языках да в разных землях. Все знают, что сила в уме да в добре, в насилии же слабость да смерть-разоренье. Однако же клонят к насилию. Оно легче насильничать: ломать — не строить. Кончу же тем, чем начал: если б мудрости со слов учились, давно все мудрые были. Не взыщи за мое многословие.

— Нет,— твердо, по-мужски сказал юный князь.— Не взыскивать, а благодарить тебя мне подобает.

Прозрачно-осеннее звездное небо роняло невидимые холодные хлопья на замерший лес. Владимир закутался в овчины и, пригревшись, мгновенно заснул. Приселко потушил светильник, погасив и глаза филина, который со странным для непонятливых людей удовольствием глазел на огонь, слушая людской голос. Род человеческий не обижал род филинов, и хоть окрестил их смешным прозвищем пугачей, но кто ж обижается на слово! Груздем назови, да в кузов не клади.

Внутри человечьего гнезда стало темнее, чем снаружи. Когда глаза филина отдохнули от слепящего света, крупная птица, величиной чуть меньше степного орла, пошла шагать с ветки на ветку, выбираясь на простор — у филина в чаще дубовых ветвей были свои тропы, как у человека на земле. Вот и место, где можно распустить крылья. Подпрыгнув, филин беззвучно оперся на воздух мягким пером, косо взмыл над поляной, без усилий помчался над вершинами леса на запад. За время, которое человек тратит, чтобы на быстром коне проскакать версту, филин одолел добрых шесть и уже парил в воздухе над полем вятицкого града, приютившего Алексея-Приселка. Хлеба убрали, мыши искали уроненные зерна, а филин искал мышей. Чем больше мышей подберет филин, тем меньше их, покончив с полем, отправится на грабеж хлебных кладей.

Утром вброд перешли через верховье реки Усожи, которая текла по яру, и вскоре выбрались на большую дорогу из Курска в Кром. Владимир вперед послал не дозорных, а вестников, чтобы предупреждать и встречных, и кого обгоняли: не бойтесь! Сын князя Всеволода Переяславльского мирно идет с конными.

Большая дорога положена широкой лентой от Курска на Кром, и бывала она в это время года многолюдна. Весной купцы, одолев переволоку из Донца в Сейм, под Курском поднимались Тускорью, а в верховье Тускори переваливали в Оку. Навстречу им тянули купцы, направляющиеся на юг. Осеннее мелководье закрывало Тускорь. Зато находилось достаточно телег, лошадей и людей на сухом пути, и берег Сейма под Курском являл собою подобие большого торга. Сюда, окончив с уборкой урожая, съезжались хозяева, ближние и дальние, иные

верст за сто с лишком, из старых вятицких градов, запрятанных в лесах, из новых поселений, из самого Курска. И каждый справедливо по-хозяйски рассуждал, что и себя, и лошадей все равно кормить нужно и в безделье, и за делом. Разве что лошадям побольше овса придется задавать, так ведь хозяин и в стойле коня не морит на одном сене. Заодно можно себя показать и людей посмотреть, под лежачий камень вода не течет, а земля слухом полнится не сама, а встречей с людьми.

Единовременно сотни возов собирались на пологом берегу под Курской горой. Кто шалаш себе ставил, кто спал под телегой, накинув на поднятые оглобли полотнище валяного дома сукна, которое никакой дождь не пробьет. Курские жители тут же торговлишку заводили, потчуя желающих и вареным, и печеным, и жареным, угощая и медом ставленым, и черной брагой простой, и черной брагой хмельной, и брагой белой мучной десяти разборов на все вкусы, пей-ешь не хочу. Подводчики приезжали непраздные, со своим товаром, и у них покупали все — в лесу все есть: от медвежьей шкуры и собольего меха, от пшеницы, ржи, гороха и железных поделок до деревянных ложек и липовых долбленых кадушек, хочешь — с цеженым — чисто янтарь! — медом, не хочешь — пустую бери. А не так — иди себе с богом, добрый человек. И идет добрый человек, приценяется, никто двух цен не скажет, никто не позовет покупателя. И верно, чего звать-то? Нужно, сам придет. И ходят добрые люди вежливо. Задремал хозяин — потрясут за плечо: что есть да почем? Очнувшись, ответит или покажет на кого-то: его, мол, спрашивай. Это значит — впервые приехал и посылает к старшему опытом. В новом деле дурак лезет своим умом, умный чужого ума не стыдится занять. На торгу ведь как? Купец — что стрелец, оплошного ждет, простота хуже воровства.

Таких мест в годы, когда ссорились Ярославичи, было не одно и не два в княжествах Чернигово-Северском и Переяславльском. Сочтем, сколько же было путей по рекам и сколько было волоков.

С Днепра шли в Десну, с Десны волоклись в Оку, а из Оки да по Оке иди куда хочешь: реки-притоки приведут в глубины всех восточнорусских земель, и на всех них покупай и продавай. Ока же сама приведет в Волгу. Вниз — плыви в Каспийское море хоть к персам. Вверх — сворачивай в Каму и там иди под самый Камень — Уральские горы.

С окских и волжских верховьев и притоков можно вернуться на юг, в Сурожское море, и из него в Русское — Черное: пройдя в Оку, подняться по Упе и Шату в Иван-озеро и переволоком — в Дон, по Дону выходишь в Сурожское море.

С Оки же идут на Дон через реки Зушу и Быструю Сосну. Тоже путь торный.

Есть с Оки и в Оку с Дона дорога через реки Проню, Ранову, Хупту на Рясский волок и с волока — в реку Становую Рясу и Воронеж-реку.

А через волок из Донца в Сейм уже сказано.

На каждом волоке проделана дорога. Товар выгрузят и повезут на телегах, ибо грузчики и перевозчики везде найдутся. Для них приработок, для купца удобства. Малые лодьи поднимают и везут на дорогах. Большие могут прокатить на катках. Дело налажено. Утром выволокут, к вечеру на десять — двенадцать верст откатят. Издали глядеть — тяжелая работа. Со сноровкой — посильная.

Можно лодки и лодьи совсем не таскать. Щедро старые русские боги засеяли лесом верховья рек и речные долины. Тут же близ волоков живут плотники-корабельщики, у них найдешь любую лодью, покупай и — плыви. Твою лодью у тебя возьмут в обмен, или купят, или примут на храненье. Поедешь назад — уплати за храненье и бери свое добро.

Все слажено, все подогнано как на заказ: ладилось с незапамятных времен, по-русски — от пращуров. Дальние купцы — греки, армяне, арабы, турки, инды, суны, персы, италийцы, евреи — радовались мягкости наших водяных дорог. У них все на спинах — верблюд, осел, мул, лошадь. В иных местах вьючат товары на овец, на коз. Идет караван в сотню вьючных животных, а сложил — и все вошло в одну русскую лодью. Ни падежей, ни иссохших колодцев, ни жгучего ветра, несущего вместе с горячим песком смерть невинным животным и жалкую гибель людям. Плохо другое — нижние теченья рек доступны кочевникам. Язык пользы понятен и им, и они пропускают купцов за плату. Постоянный грабеж разорвет дороги, и кочевник лишится дохода уже навсегда. Однако же порою грабят, бывают годы, когда нет прохода ни по Днепру, ни по Дону, ни по Волге. Русь отрывается от юга, от востока, по рекам ходят только свои купцы, торговля, замыкаясь, слабеет. Плохо: иноземцы весной не поднимались — не пойдут назад осенью, и свои вниз не плывут. Построенные лодьи сохнут на берегах, заработка нет, во-

локи пустеют, около ненужных катков поднимается трава, муравка затягивает дороги, и вороны, сидя на кольях у заколоченных летних изб, каркают: не то удивляются, не то рады людским неудачам.

Порей говорил:

— Не зря киевляне разъярились на Изяслав Ярославича. После смиренья печенегов шли годы свободных дорог, человек же к доброму привыкает быстро, чуя разумом и совестью, что на хорошее есть у него права от рожденья. Потому-то неблагодарное дело лезть в людские благодетели: забота о людях не доблесть, но обязанность князей, они за заботу свой кусок получают. У киевлян многие торгуют на юге, многие же за товаром туда плавают. У одних — родственники, у других — должники, которые на заемные деньги обороты делают. Кто ж прав? Князь Изяслав иль киевляне? — закончил свои рассуждения боярин Порей, и князь Владимир рассудил в пользу киевлян, и боярин Порей похвалил юного князя за справедливость.

— Столько ли здесь должно нам было б встретить,— заметил Порей и умолк, продолжая про себя невеселые размышленья.

Однако дорога на Кром после первозданного молчанья вчерашней тропы казалась оживленной. Пролегала она полянами, с которых человеческая рука понудила лес отступить. Через овражки были брошены бревенчатые мосты, попался и большой мост через обедневшую водой речку — на высоких сваях. Здесь половодье не рвало путь. За поворотом догнали обоз телег в тридцать. Крепкие кони тянули тяжелогруженые возы, покрытые просаленными кожами,— везут соль. Возчики кратко ответили на приветствие.

Следующий обоз был покороче. Около него, разминая ноги, шли четверо иноземцев, ведя в поводу местных лошадей. Эти первыми вскинули руки, здороваясь не по-русски. Владимир решил — италийцы. Иностранных людей ему довелось видеть много в Киеве, Переяславле, Чернигове, и он научился их различать. Придержав коня, князь спросил по-латыни: «Откуда вы, из каких городов? — Увидев по лицам, что не понят, Владимир сказал: — Прощайте». Это короткое слово понимали и те италийцы, кто не знал по-латыни. В Италии от времени изменилась речь. В храмах служили по-латыни, которую понимали лишь ученые люди. Книги писали по-латыни, на латинском языке говорили послы. А купцы, простые люди, умели считать,

а написать и прочесть могли бы лишь долговую расписку. Италия — страна десятков разных наречий, и один итальянец не понимает другого, хотя места их рождения отдалены одно от другого на половину дня ходьбы. Владимиру вспомнилось, как он был удивлен, впервые это узнав. На Руси тмутараканец, полочанин, муромец, киевлянин, новгородец говорят одной речью, Русь же куда обширней Италии. Да, ни о себе по другим, ни о чужих землях по своей судить нельзя: не пяль свою шапку на соседскую голову.

Встречные останавливали расспросами: что с половцами, где они, какие они? Хвалили черниговцев за доблесть.

Совсем не то, что вечерняя беседа с Приселкой. Тот, сидя в лесу, смотрит на белый свет, будто с горы, и правду тянется искать в совести, уходя вглубь, как за жемчугом. Этим людям белый свет по-иному нужен.

Через каждые верст шесть либо семь — жилье при дороге, и обязательно близ яра иль ярика, где есть живая вода. Во двор наезжен отросток с дороги к воротам. Заборы высокие, прочные — лесу-то много, бери не хочу. Однако не в лесе дело: это заезжий двор. Усадьба обширная, у колодца на козлах наставлены долбленые корыта поить лошадей. Хозяин продаст овса, гостей накормит: промысел, подспорье к хозяйству. Подалее — другой двор, третий. К первому дворнику приселяются, коль он позволит. Ибо первый, и без посторонних, делясь с сыновьями, принимая зятьев, дает основанье селенью. Корень, ствол, ветки — живое родословное древо захватывает землю. За усадьбами плешинами расползаются поля, лес безгласно сжимается перед злым топором. И разрастается, когда с людьми случается беда: будущее предсказывают ежечасно, но никто еще его не прочел.

Перед воротами — гостеприимный хозяин двора выпустил ограду почти что на дорогу — парень, сняв обеими руками кунью шапку на беличьем подбое, поклонился проезжим.

— Доброго пути князь Владимиру Всеволодичу! — бойко сказал он.— Браги не пригубите ли? Есть простая, есть медвяная двух поставов: хмельная и сладкая. Всех угостили.

Владимир и боярин Порей свернули к воротам.

— Спасибо на добром слове,— поблагодарил молодой князь, а Порей, приглядываясь к парню, спросил:

— Тебе сколько годов?

— Девятнадцатый скоро пойдет.

— Силушка-то, вижу, есть,— продолжал Порей.— Оставь-ка дома бочата с брагой да мягкие подушки. Выводи из конюшни лошадь, седлай и нас догоняй. Князь тебя возьмет дружинником. Чего не умеешь — я научу. Вот тебе, чтоб с отцом расплатиться за лошадь,— и Порей достал из сумки золотую монетку константинопольской чеканки.— Не милостыню даю, расплатишься!

Парень надел шапку и покачал головой:

— Нет, боярин! Мы живем сами по себе. Из отцовской воли не выйду, он же меня не пустит, нечего проситься, да и сам не хочу. Вон там,— парень махнул рукой,— новую избу ставим. Для меня. Брагу-то уже наварили. Я ж князю предлагал не для торговли — для почету. И невесту уже мне привезли! Оставайтесь на свадьбе гулять.

Вновь, сняв шапку, парень поклонился уже пониже, достав рукой землю.

Догоняя своих, Порей рассказывал:

— Жаль, глаз у меня верный, был бы из него воин. Так же как думал взять я его, князь Владимир Ярославич, старший из твоих дядьев и отец Ростислава поднял меня на седло с порога отчего дома. Время-то, время! Более двадцати лет тому минуло, а был я в твоих, князь, годах. С той поры не бывал в родных краях. Я из заумромских. Сколько-то раз посылал гостинцы своим, от них отписки получал. Три года тому назад купец обратно гостинец привез. Куда-то моих поманило на лучшие места, под самый Камень, соседи сказали. Да и что я? Отрезанный ломоть. Жизнь моя широкая, ихняя — узкая. Иногда же думаю иначе: мои годы пестро прошли, их же годы — как озеро. Волны большой не бывает, но солнце в него глядит и луна ему светит, как моему морю. Пошлет бог этому парню настоящую жену да сердца им откроет, и будет он счастливей меня. Про любовь песни поют, сказки сказывают, были рассказывают, в книгах пишут. Все правда. Но дается она из тысяч много что одному. Мой бывший князь Ростислав Владимирич был такою любовью любим. Но сам ли любил ответно — не знаю.

Нарушив свое решенье не спрашивать, Владимир задал вопрос:

— О княгине его ты вспомнил?

— Нет. Ту, о которой я говорю, мы рядом с ним погребли в Тмутаракани. Не звала она к мести, как я, на княжой гроб не бросалась. Молча ушла ему вслед. Верю, нашла его. Так-то, княже, любовь не в словах, а на деле.

Мне хорошо. Не вернусь с поля — поплачут, облегчат сердце слезами. И — ладно.

Владимир вспомнил Приселка, былого дружинника, счастливого жизнью с женой в лесном вятицком граде.

И дорога уходила назад под копытами коней, и, чередуя шаг с рысью и скачкой, дружинники молодого князя стремились на север, на север, и встречные спрашивали все об одном — свободен ли путь по Донцу от половцев, и хмуро глядели придорожные дворы, лишившиеся приработков, и никто не спросил, кто сидит в Киеве, и где бежавший князь Изяслав, и для чего дружинники князя Всеволода спешат на север, когда беда живет на юге.

К вечеру по мосту прошли реку Крому, тут же открылся и город Кром, поставленный на мысу при слиянии речки Недны с Кромой. Вблизи — ни деревца, лишь на самых речных берегах осталась ольха с березами да ивы с тальником. Место давно обжитое, лес давно вывели для пашни, для огородов, и Кром стоял, как былые русские грады при первых князьях, среди своих полей, по которым не подойдешь, не подкрадешься, не оправдывая своей обнаженностью данного ему некогда имени.

Кромский тиун Лутовин встретил гостей открытыми воротами княжого двора. Предупрежденный посыльным, Лутовин успел распорядиться. Полусотня жадных ртов пала как с неба, а всем хватило и вареного, и жареного. Хоть и загудели незавидные покойчики дома людьми, как улей растревоженными пчелами, да ведь красна изба пирогами, а не углами. Догадался Лутовин попросить помощи у соседей, и доброхотные конюхи занялись проводкой горячих лошадей, освободив всадников от наибольшей заботы: коль горячего коня сразу выпоить и задать овса, пропадет, клячей больной станет, а не конем.

Не счесть, сколько сотен, не тысяч ли поколений живет лошадь в руках человека, разума ж своего не прибавила. Отдавшись человеку, во всем на него положилась, так и живет.

Князя Владимира, Порея и еще нескольких бояр Лутовин увлек в особый покойчик, где ждал их стол под белой скатертью с заежками, и хозяин просил отведать хлеба-соли, ссылаясь на недостатки: в лесу живем, сосне молимся, не в Киеве, не в Чернигове, не в Переяславле славном. Однако ж одних грибов разного приготовления было выставлено десятка два мис, сколько-то блюд с ры-

бой — заливной и жареной, с телятиной, с копченой запеченной свининой, с кашами — пшеничной, из толченой ржи, из гречи; в стеклянных посудинках краснела брусника моченая, с ней соперничала луговая клубника, которую собирают в сенокос, а хранить умеют до весны.

Только сели, как с подносом явилась красивая девушка и с поклоном предложила молодому князю отведать чару. Обычай. Хозяйка пригубила, князь, поцеловав ее, отпил, сколько хотелось, и пустил братину по кругу. По виду, емкости было втрое поменьше, чем в конском ведре, но форма ему подражала. Ведерко было собрано из полированной тонкой клепки, сбито серебряными обручами и ушки выставлены — не хватало лишь дужки. Забрав назад осушенную братину, красавица, которая, ничуть не стесняясь, следила за гостями, истово поклонилась, зазвенев бусами, длинными серьгами, вышла и тут же вернулась, принеся уже на другом подносе глубокие мисы с горячим варевом — по одной на двоих гостей,— и ушла совсем.

По одежде, по открытым волосам на Руси девушку отличают от женщины за версту. Боярин Порей, полагая, не вдовеет ли Лутовин, похвалил хозяйскую дочь и спросил о жене.

— Здорова,— отвечал Лутовин,— она с другими распоряжается, а дочку, вишь, к нам послала. Что там старухи? Дочка-то ровесница тебе, князь, будет. И жених есть хороший,— добавил Лутовин, чтобы его правильно поняли.

Ели усердно. Лутовин спрашивал о здоровье князя Всеволода, о княгине, о князе Ростиславе, младшем брате князя Владимира, о сестрах, о князе Святославе Ярославиче, о его семейных. О киевских же делах и не заикнулся, будто ему дела нет.

Князь Всеволод велел сыну в Кроме оставить лошадей и, взяв лодьи, идти далее Окой. Спросил Лутовина, и он князь Всеволодов оспорил приказ: времени-де лишнего потеряете, хоть и немного, да дня упущенного никто не подбирал в суму, потому-то и время, как старые люди говорят, дороже золота: золото лежит, а день от тебя бежит, день не конь — аркана на шею не накинешь.

— Летом дождь шел заказной — на всходы, на стебель, на трубку да на колос,— объяснял Лутовин.— Косовицу начали — не мочил. Снопы вывезли — задождило под осенний гриб. Ныне десятый день сухой, в Оке вода

опустилась. И еще опустится, от мелей и перекатов ночами стоять придется. Дождю не бывать еще с неделю. Тропа на Мценск сухая, торная. Во Мценске у боярина Шенши, который город держит, лодей много. С северу-то гости шли, а с югу, из-за половцев, такого прихода не было. От Мценска на лодьях пойдете Зушей в Оку. Зушь-то Оку полноводит и в сушь-то,— привел Лутовин вятицкую поговорку.

В обличье Лутовина князь Владимир находил приглядевшуюся уже вятицкую стать. И спутники Алексея-Приселка, и парень, отказавшийся идти в дружину, и другие, примеченные в Курске и по пути в Кром, могли сойти за родственников того же Лутовина. Высокие ростом, широкие костью, но сухие, вятичи казались вопреки сухости тела тяжелыми, будто кости в них из железа. Большелобые, крупноносые, темно-русые, с глубоко посаженными серыми глазами, с лицами, высеченными из светлого дуба, вятицкие люди привлекали очевидной своей надежностью, но чувствовалось — зря не задевай, такой однажды отломит — за год не срастется.

Спросив глазами боярина Порея, Владимир решил идти в Мценск верхами. Сказал — никто не перечил. Вспомнилось не то прочитанное, не то кем-то сказанное: управлять — не столько приказывать, но больше угадывать волю управляемых, тогда держава прочна согласием. Хоть и в малом, но все ж угадал и был доволен не мелочью, а тем, что сначала ступил, а потом вспомнил правило. Кто начинает с поиска правил, тот всегда поступит неправильно: растечется мыслью, поддастся сомнениям. Нужно, чтоб получалось само́ собою. Это Владимир знал по собственному опыту. Всадник не должен думать, что обязан он сделать руками, ногами и туловищем, заставляя лошадь идти по приказу, а не по ее желанию. Пока будешь думать, конь тебя унесет, задумавшийся ездок — недоучен. Стрелу ли пуская, меча ли копье, рубясь ли мечами, не найдешь времени для размышленья, что и как делать пальцами. Воинское молодой князь выучил, если и не хватало чего, то лишь полной силы — она же прибывает сама. Так бы и с мыслью!

Лутовин рассказывал о себе: коренные вятичи, самосевом взошли мы на лесных полянах да опушках, далеко от леса не отходили, сунемся в степь — вольно, хорошо, степные надавят — отойдем, лесом отгородясь. Имя Лутовин либо Лутова — от липы это прозвище, вернее, от лыка, вятицкие лыком шиты, на лыке ходят, под лыком

спят: так соседи дразнят, но вятицкие не обидчивы, на лыке ходят для удобства, а сапоги у каждого есть. Оленья жила не прочнее лыка, разве что жилкой шить удобнее. Лутовин знал свой род до четырнадцатого колена: безродный — что ветка отломленная, сохнет без сока, без рода нет чести. Вятицкие свои рода помнят, русские имена носят рядом с крестильными. Предок был именем Лют или Лютослав, время переделало на Лутовина, ведь слово живое, язык его трет, точит, на нем же, на слове, новая кожа нарастает, и не поймешь, что раньше иным словом люди сказать хотели.

Задумавшись, Лутовин прервал речь, и глаза его, устремленные вдаль, обрели глубину, будто увидел он нечто и вбирал в себя. Владимир же понял — такой человек праздного вопроса не задаст. Да и задаст ли вопрос вообще? Проезжие через Кром сами ему рассказывают, что где делается. Знает он про Всеслава и про бегство старшего Ярославича. Не кличет князь Всеволод людей на помощь из Крома, из Мценска,— значит, не собираются младшие Ярославичи силой гнать Всеслава из Киева либо на половцев ныне идти. Но сам Владимир не удержался:

— Не было никакой засылки от Всеслава?

Глубоко, как из колодца, Лутовин глянул в глаза молодому князю.

— Нет,— ответил, как отрубил. Сам-де понимай силу краткого слова. Не сказал я тебе — не знаю, либо — будто бы не было, либо — не видел я. Нет — значит знаю, что не было никого, значит. Всеслав не собирается теснить Ярославичей за Днепром, и напрасно князь Всеволод тревожится за Ростовскую землю. Напрасно? Так почему же Лутовин советовал ехать скорее? «Коль не говорит сам, не спрошу»,— решил Владимир.

— Счета-записи не проверишь ли, князь? — спросил Лутовин, и глаза его обмелели.

— Нет, отец не приказывал,— отказался Владимир.

Спутники его, разоривши стол, вставали, чтоб, дохнув на дворе свежего воздуха на сон грядущий, завалиться до утра где придется.

Лутовин предложил князю приготовленную ему постель в доме. Владимир отказался — привык-де укрываться небом. Хозяин помянул — перед зорькой быть заморозку, и, не настаивая, дал князю шубу.

Хорошо очнуться под едва бледнеющим небом и, вды-

хая острый воздух, чистейший, чем вода в горном ключе, ведомом лишь птице да храброму человеку, увидеть в отсвете звезд припушенную инеем и от него девственно-чистую, для тебя лишь сотворенную землю. Очнувшись, открыв очи, хорошо почувствовать, как пробуждающиеся чувства подарят тебе запах лошади и запах кожи седла, служившего тебе изголовьем, хорошо, когда твой проснувшийся слух — верный, неторопливый слуга — вводит тебя в мир звуков, и они приходят один за другим, чтобы в краткий миг, когда ты еще на пороге между сном и явью, ты понял: звуки — это толпа. Но может быть, лучше всего чувство силы и бодрости тела, но не ощущение тела. Ты начнешь чувствовать тело, когда к тебе приблизится старость. Не бойся, ты не заметишь этого дня. Такого дня нет. Так как все — переход и оттенки, нет лестниц, границ-рубежей, нет порогов. Именуемое самым главным ты теряешь, не замечая, не зная, и в этом, говорят, есть лучшее свидетельство мудрости мирозданья.

За кромской поляной версты на две лес был разрежен порубкой дров и подходящих для дела лесин, но след человеческих рук был обозначен резкой границей. За ней вновь встала нетронутая чаща. Торная тропа шла левым берегом Оки. То лес выталкивал тропу на берег, то прихоть извилистой реки вдавливала в лес круглый локоть излучины. Глазу открывалась ленивая, светлая полоса, коротко обрезанная следующим витком, и была видна вторая тропа, протоптанная людьми и лошадьми, которые бечевой поднимали лодьи против теченья. Пустынно и скучно было на холодной реке.

Встречались тропки, которые, отходя от дороги, напоминали о вятицких старых градах, подобных принявшему бывшего дружинника-путешественника Алексея-Приселку.

— Княжьи подданные сидят там, отгородившись лесом лучше, чем морем. Море для всех, в лесу: хочу — пущу, не хочу — не пролезешь,— шутил боярин Порей. Он рассказывал о французах — нормандцах, герцог которых Гийом недавно завоевал Британию — Англию. Предок герцога приплыл из Норвегии, отнял добрый кусок земли у короля франков и, взяв себе часть, всю остальную роздал дружинникам, по достоинству каждого, вместе с завоеванными людьми. Нормандцы построили себе замки, укрепили города. Получившие от герцога много земли уделили часть другим. Все владетели обязаны воинской службой, младший — старшему, все вместе — герцогу.

— Там все законники,— усмехался Порей,— все кладут на пергамент, кто кому чем обязан, кто сколько платит дани. Приходилось мне встречаться с купцами из Нормандии,— говорил Порей,— наших порядков они никак не могут понять.

Видимые одним птицам лесные вятицкие давали священникам за требы, епископу — на построение храмов и бедных; давали и князю: по необходимости выходить из лесов в города для торговли соглашались с пошлиной. Порей и князь опять вспоминали о древней дани, наложенной Святославом Игоричем: векша или горностай с дыма [1]. Ничтожность дани говорила о добровольности подчинения. И сегодня опасно лезть в лес без спроса по вятицким следам. Тропы заваливают, с деревьев стреляют — безумный сунется. Здесь по-нормандски землю не соберешь, будь трех пядей во лбу. Нужно умом и добром.

Кромский княжой посадник Лутовин умел ладить с людьми. Он говорил князю Владимиру: живу с лесными вятицкими дружно, княжой казне есть прибыток. Солнце и буря...

Доро́га дорога́ новизной, к которой редкое сердце не чутко. Дорога́ красотой, ибо внове редкое место не одарит тебя за первый взгляд. Еще дороже радость познанья. Под лежачий камень и вода не течет — не про мошну пословица сложена. Редко русские пословицы поучают прибытчиков да любителей поживиться. Деды умели глубоко брать. А выгода? Э, дело пустое! Сегодня убыток, завтра прибыль. Время растратить жалко, его не вернешь. А храбрости лишиться — все потерять. Не потому ль деды заглядывали поглубже да повыше? Сосна, распустив корни поверху, главный посылает вниз, как продолженье себя под землей. И бурелом, ломая здоровые деревья, не может их согнуть. А камыши послушно ложатся под ветром, чтоб потом, встав прежнею шумной толпой, закрыть остродлинной листвой тела неосторожных собратьев своих, которых они же и сломали, полегая от ветра.

Каждому свое, не будем судьями, вынося приговоры в сравненьях. Сравненье, обманывая очевидностью, поспешно и жестоко, а человек прочнее гор. Недаром кто-то взывал: «Не пошли нам, о боже, все, что люди способны вынести». Недаром в столь удаленной древности, с которой имена давно осыпались трухой, а мысль сохранилась,

---

[1] Еще в 1900 году шкурка горностая стоила 8 копеек, шкурка белки — 6—7 копеек.

изображал себя человек знаком звезды, окруженной беспредельностью им же сотворенного пространства, и давал своему всемогущему богу свои собственные черты лица и вид своего тела. Большие люди сами ограничивали свою гордость смиреньем, чтоб ненароком не разрушить сотворенное ими.

В седле трудом тела, чувств, мысли молодой князь Владимир творил свою дорогу, одолевая отцовский удел, обладая им, приобретая движением. Ничего не получил бы он, если б некая сила несла его в мягком гнезде и он без усилий наблюдал движенье земли под собой, скучая однообразием дикого сборища деревьев — все, как одно,— однообразием тусклой осенней реки, и только бы думал — когда же конец путешествию.

Лутовин предупреждал — тропа на Мценск не столь торная, как из Курска до Крома. Ан и сюда доходит рука кромного хозяина. Через ручьи — мостики, через речки — мосты, не ветхие, со следами заботы: изношенные бревна заменены свежими. Через Цон, верстах в тридцати с лишним от Крома, мост длиной сажен в сорок был строен здесь заново. Сохранив прежние сваи, рядом с ними вбили вторые, усилили переводины, уложили настил.

Миновав Цон, всадники опустились в широкую долину, по которой струился Орлик, тихо вливаясь в Оку. Здесь напоили лошадей, задали в торбы немного овса и, не слишком медля, пустились дальше, чтобы лошади не остудились.

Орлик — не простая речка. Идет Орлик из самого сердца вятицкого леса. Верстах в двадцати выше устья Орлик принимает речку, нареченную Орлицею. Еще далее, верстах в тридцати, на речном разделе есть урочище Девять Дубов. За ним на двадцать верст залегли болота, из которых течет река Снежеть. За болотами стоит древний вятицкий град Карачев, а вниз по течению Снежети, при ее впадении в Десну, есть город Дебрянск, тоже старинный вятицкий град, взявший свое имя от лесных дебрей [1]. Вверх по Орлику через Девять Дубов доходят до Карачева, от Карачева Снежетью до Десны верст пятьдесят. С Десны же ступай куда хочешь: вверх — на переволоки к Новгороду, вниз — в Днепр, к Киеву, а там весь свет открыт.

Этим путем, через Девять Дубов, в старину вятицкие никого не пускали. Там были их святые места. По вятиц-

[1] Ныне — Брянск.

ким преданиям, там после потопа завелся вятицкий корень. Есть другая вятицкая древность — Дедославль, либо Дедилов, на реке Шиворони, при Белом озере, между реками Уперть и Шат. Это будет от Мценска много дальше ста верст.

— На Десну, проходя в Киев, при прадеде твоем князе Владимире Святославиче шел из-под Мурома знаменитый богатырь Илья, о котором песни поют. Он с малой дружинкой не стал на кружной путь, а пошел прямо Орликом вверх на Девять Дубов. Там вятицкие его встретили, сев на дубы. Илья же их сбил, воеводу Соловья взял в плен и в Киев отвел. С той поры вятицкие начали признавать русских князей.

Так, показывая руками по странам света, как, куда да откуда, рассказывал Владимиру об Илье встреченный им на краткой остановке у Орлика человек — кромич, посланный с двумя товарищами от Лутовина. Проживал он в деревне, разбросавшейся десятками четырьмя дворов по открытому месту близ орлицкого устья. Жители здесь воспитывали большие стада на отличнейших заливных лугах. Жирная земля рождала всякую овощь, и в воздухе пахло спелой капустой, которую снимали в самую пору. Запах особенный, хочешь — нюхай, не хочешь — отвернись, однако без кислой капусты зимой не жизнь. Местные бортничали, поделив меж собой урожаи, рыба ловилась хорошо, и вятичи, занятые делом, не бросились глазеть на всадников. Но кто едет — знали заранее, и три девушки вынесли проезжим сладкий осенний гостинец — решета сочных кочерыжек. Одна из девушек, напомнившая Владимиру лутовинскую дочку, кроме кочерыжки поднесла князю кузовок отменной моченой брусники: помни Орлик, такой ягоды нигде нет. Пригласила:

— Ночуйте, ночь не за лесом уже!

— Нельзя, спешим, красавица, далее.

— А невеста-то есть у тебя? Нет? Отец, князь, тебя не жалеет, как видно. Видно, ждать тебе повелел до большой бороды? — смеется, смелая, что ей? У Владимира на усах и бороде начинал курчавиться темный нежный пушок.

Нет времени, нет. Владимир спросил кромича:

— С той стороны, от Девяти Дубов, проходят люди?

Кромич ответил:

— Тех нет! — И подмигнул: — Для того и живу здесь с товарищами, чтобы следить. Не прозеваем. И у Дубов есть глаза-то живые.

В Кроме Лутовин ничего не сказал Владимиру. Выяснилось — расставлены дозоры на чародея Всеслава. Боятся его. Прыгнет барсом и глаза отведет. Слава — великое дело...

Отвлекая от новой мысли, провожатый, данный в Кроме Лутовином, ехал рядом с Владимиром, дополняя рассказ об Илье-богатыре. Был рассказчик родом из вятицких, кому же не хочется счесться свойством-племенем с таким человеком. Прадед рассказчика видел живого Илью.

— Был тот ростом немногим более, чем боярин,— вятич указал на Порея, самого крупного и могучего статью спутника князя, тоже богатырской породы.— Илья выдался еще шире Порея, глубже грудью. Руки у него были особенной длины, и пальцы такие, что мог он, к примеру, обычного человека одной рукой за шею охватить, и пальцы сходились на затылке. Характером смирный, голос низкий и, когда говорил, бородой ворочал, будто трудно ему силу удерживать, которая из груди рвется. Лук его был сделан из турьих рогов, луковище вдвое толще обычного — при таких руках с простым луком делать нечего,— тетивы жильные тройного плетенья, стрелу слал — глазу не видно, и стрелок был Илья прирожденный, и тетива гудела, как его голос. Копье тяжелое, по его силе, а меч обычный, легкий. Илья бился булавой или шестопером, меч носил для чести.

Хоть сухой, но тяжелый он был и заботился о своих конях, чтобы не перетрудить до времени. В походе больше пешим шел, поручая вести свою лошадь.

Шаг у него был широкий, ноги длинные, ступня же чуть не вдвое длиннее обычной, хотя бы моей. Почему знаю? Прадеду довелось с Ильей вместе купаться, он сапоги свои с Ильевыми сличил.

По лесу Илья ходил — ветки сухой не сломит, зря не наступит, его не слышно было, как медведя. Уж ловок был! Ему вятицкое наше имя было Оляб, Олябыш — колобок, так его в малых парнишках прозвали за верткость, за прутость.

Девять Дубов, где Олябыш-Илья бился с Соловьем, до окончанья мира простоят. Вятицкие, идя в Карачев, на них спят, там поделаны крытые полати, от человека, от зверя, от непогоды спокойно.

— А в грозу? Молния не ударит? — спросил кто-то.

— А! — ответил вятицкий провожатый.— Сколько раз молния дубы била! Им ничего. Сами полати мы всегда

ставим отступая от ствола [1]. Кто за собой вину знает, тот в грозу не полезет.

Охотно бежали сильные лошади под сильными всадниками и ровно, будто земля сама уходила на юг, будто сама несла их на север, но каждый удар копыта был умен, не случаен. И глаз не заметит, и нет такого мелкого счета для времени — секунда не короче сажени,— чтобы увидеть, чтоб заметить и чтоб сосчитать то кратчайшее время, за которое лошадь умеет понять и решить, едва прикоснувшись зацепом копыта к дороге, можно ли этому листику почвы доверить двойной груз, своего тела и всадника, иль там опасно? И успеть распорядиться нервами и мускулами послушного тела, чтоб опереться на другую ногу, чуткое копыто которой уже подсказало надежность найденной им опоры. Такую умную работу лошадь совершает на каждом движении. Всадник пользуется ею, у него свои заботы, через его душу течет другая жизнь. Он обязан и хочет успеть отобрать ему нужное. Подобие сети, о которой он ничего не знает, пропуская одно, останавливает другое. Действительно ли взято нужное? Нужно ли взятое? Что было упущено вчера, сегодня, что из захваченного служит напрасным бременем, сколько железа в бурой руде и сколько шлака? И что за сеть внутри меня? На вопросы нет ответа.

Молодой князь Владимир кормил жадные глаза широкой долиной устья Орлика, пока кромич, сторож долины, не вывел проезжих к броду. Широкая отмель. Через галечную насыпь Ока мирно переливала холодную воду, и на дне был виден каждый камешек. Сновала мелочь. Стая крупных осетров, испуганная вторженьем, взбуровила воду, спеша пройти опасное место.

Переправились, едва замочив стремена. На том берегу кромич простился:

— С богом идите, тропа торная.

Усталые лошади спотыкались о корни. Тени деревьев слились в сумрак, лес становился для глаза чаще, чернее. На поляне несколько дворов, крупные вятицкие псы встретили проезжих толстым лаем. Спали на соломе. Из каждого куста зверем глядела хмурая ночь. Собрались тучи,

---

[1] Автор часто находил дубы с вершинами, пораженными молнией. Верхний мертвый сук обычно торчит среди перерастающих его живых ветвей, а само дерево вполне здорово. Упоминаемые Девять Дубов в урочище того же имени еще стояли в начале нашего века.

походили и разошлись в другие места. Не быть еще дождям, правильно предсказал в Кроме Лутовин. Кому ж не знать повадки здешнего неба, как не вятицким лесовикам.

— Скоро дошли вы,— приветствовал своих мценский посадник Шенша.

Мценск, или Амценск, устроился на многоверстной поляне, как Кром, как все города, какие знал Владимир, на мысу с крутыми берегами, который вместе построили речки Мценка и Зуша. Доскакали до города в сумерки, и единственное, что успел там увидеть Владимир из местных чудес,— громадину твердого камня на тесной площади, над которой был устроен навес от дождя и от солнца.

— По старине нашей,— рассказал Шенша,— этот камень считают священным. Доныне, но втайне камню делают приношенья — кусочек дорогой ткани, колечко, монету. И просят помочь. Весной какой-то прохожий остался в городе, дав обет высечь из камня образ Николая, чудотворца Миров Ликийских. Живет, режет камень. Имя ему — Репня. Откуда он? Отвечает — из мира пришел. Кормят и заботятся о нем, как о мирском пастухе. Шел он в Киев к другу своему Антонию-пещернику. Во Мценске его наш камень остановил.

Утром Владимир Мономах пошел поглядеть на работника и необычайное дело его. Взгромоздясь на подмости, умелец постукивал молоточком по долоту. Он шел сверху. Лицо святителя уже смотрело из камня. Знакомый, русский лик!

Умелец-резчик спросил князя, известно ли ему, что Николай-епископ происходил от русской семьи? Он малым ребенком был похищен степняками, продан греческому купцу в Таврии, отвезен в Константинополь. Там ему удалось учиться, впоследствии принял он сан.

— Я, помнится, иначе слышал о нем,— попытался вспомнить Владимир.

— Знаю, знаю,— помог резчик.— Некоторые производят род его от славян, которые однажды, еще при языческих императорах, переселились в Азию. Я спорить не буду, никогда не любил даже словесной борьбы. Истину говорю тебе: этот камень, будучи искони русским, может принять образ только русского святителя. Другого в нем нет. Точи его, руби, теши — в песок рассыплется, но не поддастся.

— Камень веками служил идолопоклонству,— возразил Владимир.

— Эх, князь! — упрекнул резчик.— Не добро тебе бу-

дет, когда ты отречешься от пращуров. Да не отвергнет никто отца, не устыдится рода. Мы Дажьбожьи внуки. Есть время сеять, есть время собирать жатву. Понимаешь ли? Тому веку — свое, тому — другое. Авраам и древние пророки и князья приносили древнему богу кровавые жертвы и рассекали людей на алтарях. Соломон, князь израильский, сколько жен имел? Так не суди же пращура твоего Святослава и деда Владимира — многоженцев языческих. Ты себя унизишь запоздалым судом. Не обижай Русь, не черни предков, наследник. Не греши, а то прах наших отцов, погребенных в курганах, станет горек и отравит истоки рек.

Три крепкие, заново просмоленные лодьи выбрал Шенша для молодого князя с дружиной. Погрузили седла с конскими оголовьями, взяли запас еды и пустились по Зуше к недальней Оке. Сухая осень поубавила воды, в прозрачной Зуше виднелись обманчиво близкие каменные гряды, но прав был кромский тиун Лутовин: воды хватало.

На каждой лодье — по четыре пары весел, на каждом весле — по гребцу. Сидели на веслах в черед, молодой князь греб вместе с другими. Сколько крылось в том недавнего мальчишества, которое заставляет нас спешить равняться со взрослыми, сколько мужественного желания не быть праздным? Никто не искал ответа, никому не было дела до того, что в те же годы в других землях было бы и отмечено, и истолковано. В своих дальних и трудных походах князь Святослав, о котором Владимиру напомнил мценский каменный резчик, сам сиживал за веслом и на Волге, и на Кубани и кормил разгоряченным телом комаров в ветвистом устье мутного Дона. В посконной одежде сам бил веслом Святослав дунайскую воду, возвращаясь на левый берег после свидания с базилевсом Цимисхием. И они глядели один другому в глаза, пока еще различались лица, и Цимисхий знал судьбу Святослава, проданного им печенегам. А своей судьбы базилевс не ведал, она же ждала его в походной палатке, в руках приближенного лекаря, готовившего своему покровителю яд за деньги, щедро данные и еще щедрее обещанные домашними врагами Цимисхия.

На Руси пока еще не играли с ядами, но только с железом. И молодой князь греб и греб, попросту чтобы развеять скуку.

На каждой лодье был очаг на носу; песок в ящике защищал доски от огня. Дважды в день ели горячее варево

на всех трех лодьях в одно время, ставя лодьи рядом где-либо у берега, и, чуть размявши ноги, спешили на весла.

Из ночи в ночь становилось холоднее. Плыли и ночами, но уменьшали ход, оставляя на веслах по четверо гребцов, и кого-либо клали на нос, чтоб глядел в оба: извилиста Ока, перед ней змея пряма, и можно ударить в берег в потемках. Смыкался лес, лось глядел не страшась, на серой осенней зорьке спугивали робких оленей, волчий вой провожал, заменяя весенние соловьиные трели, необозримые стаи уток поднимались на крыло чуть ли не из-под носа передней лодьи и, отлетев в сторону, тут же садились опять, давая людям дорогу. В холодной воде охотились на рыбу выдры и норки в непромокаемом мехе. Дикие свиньи обжирались желудями в дубравах. Не раз и не два проходили по небу, закрывая его на добрую четверть, гусиные табуны, и воздух был полон их голосами. Поемные луга казались тесными от пасущихся журавлей, лебедей, серых гусей и мелкого гуся — казарки. Все пролетные уходили на юг, на юг, а лодьи бежали на север.

— А на Белоозере-то уж снег,— замечал Порей.

— Ильмень-озеро тоже стынет,— откликался другой.

С серого неба падала мелкая морось. Кутались в плащи из валяного сукна, которого дождь не берет, чернели голицы на руках, и от гребцов шел пар.

Встречались селенья, выдавая себя острыми шапками стогов на лугах, встречались отдельные дворики, ладно уставленные, крепко огражденные надежными тынами — не от людей, от зверей. Сидя на обмелевшем бережку под кручей, матерой медведь пудов на пятнадцать весом, вытянув островатую морду, злобно пялил красные глазки на проезжих и привставал, готовясь к драке. Пора такая — спать приходит время, а оловеть не удается. То ли логова подходящего не найдет, то ли лег уже, да вода невзначай подошла в берлогу либо встревожил кто. Такого зовут порусски изъедухой — за злобу. И человек, которому спать не дадут, может зря обидеть первого, кто попадется под руку. А с медведя какой спрос! Не попадайся такому, бросается хуже бешеного пса, и без всякого разума. Белка цокнула — обида, в ярости лезет на дерево. Птица взлетела — за ней кидается, будто она во всем виновата.

Ока вела уже на восток. Третьей ночью река незаметно дала колено.

Дальше и дальше, без остановок. Сизые тучи тянут навстречу, пригнетая к земле стаи пролетной птицы. На чет-

вертые сутки в воздухе вместо мороси явились белые точечки — первый снег, крупка.

Под этой-то крупкой, реденькой, не застилающей даль, Владимир заметил в речной пойме косулю. Бежала она прямо к реке, и не понять было сразу, чего же она так торопится. Но как скатилась она с бугра, следом обнаружилась злая погоня. Тройка серых вылупилась за ней на полном маху крепких лап.

Встав в рост, Владимир заметил, как по бережку с двух сторон бежали другие волки, и так точно была рассчитана облава, что косуле суждено было попасть в волчьи зубы в конце короткого уже пути к реке. К берегу! Лодья повернула, и загонщики замялись — лодья шла прямо навстречу косуле. Серые не решились спорить с людьми. В одно время нос лодьи уперся в берег, и к нему выбежала косуля — безрогая важенка. Выбежала и встала в трех шагах, видно решив, что люди не так страшны, как волки. Двое спрыгнули с носа — косуля чуть подалась назад, телом лишь, а копытца вросли в песок. Подошли — не шелохнулась. Взяли в руки, охватив ноги, поднесли к лодье и крепко спутали, чтоб сама не побилась.

— Твое счастье, князь,— сказал Порей,— береги.

Он берег, чувствуя, как вначале быстро-быстро, а потом ровнее и ровнее под коричневой шубкой билось испуганное сердце. А волки исчезли. Не идут ли берегом, стережа упущенную добычу? Выпустили спасенную на другом лугу, обжитом людьми: вдали конные пастухи водили изрядное стадо. Волки не сунутся, а если решатся, косуля забежит в стадо, а там ее в обиду не дадут.

Случилось это малое событие перед поворотом на север. Его прошли ночью под затянутым небом и не заметили, как звезды на небе ушли в сторону.

Трудились на веслах, в помощь себе распевая отрывистую гребцовскую песню:

Э-гей, ты матушка-д Ока,
уж долга-то ты, долга,
нет тебе конца-начала,
укачала-д, уваляла,
д-силушки у нас не стало,
эй, бей, э-ей, бей,
руки-д, спину не жалей,
эй, э-ей, эй, эй!

На пятые сутки по левой руке над лесом явилась золоченая маковка-луковица с крестом на темечке. И поднима-

лась она колокольней, показывая один ярус, второй. А третий закрылся крышами города.

Город Коломень ставлен на границе княжества. На запад от него в скольких-то верстах будет ничем не отмеченная грань Смоленской земли. Свернув к левому берегу, вошли в устье Москвы-реки, к коломенским пристаням. Вышли, бережно подтянули лодьи на отлогий бережок, распрямились, поглядели друг на дружку. Короток путь на веслах, всего верст пятьсот, но успел и он подсушить молодцов, личики поосунулись, рученьки повытянулись.

Город Коломень — Околица, как значение Мценска, или Мченска,— Пчельник, от мцелы — мчелы — пчелы, а Кром — от укромной реки Кромы. Слова, пристав к месту, твердеют и отстают от движения речи.

С тяжелыми товарами люди продолжают плыть по Оке и, миновав Муром, входят в Клязьму, по которой поднимаются до Залесска [1]. Летом можно идти в Залесск верхом, зимой грузы возят на санях. От Залесска Ростов близко. Сухая дорога раз в пять короче водной.

— Не такие леса, как вятицкой, придется тебе повидать, князь золотой. Пойдешь Мерьской землей. Есть широкая тропа. А без проводника и она тебе будет не в помощь,— заботливо рассуждал боярин Бакота, правивший тиунство в Коломене.— Все дам, и лошадей, и проводников мерьян, проведут, как в руках принесут.

Владимиру Коломень напомнил было южные, переяславльские города, крепкие, поставленные с заботой, чтоб и путь был, и вода под рукой, и поменьше труда ушло на укрепление. Удобней всего речные устья, мысы при впадении малой реки в большую, тут тебе и дороги, и водопой. Около рек рыть колодцы — верное дело: сколько ни высок берег, до воды дойдешь. Так ли, иначе ли, но тут же мал-город Коломень увиделся Владимиру и совсем иным, чем южные, родные ему города.

Ранним утром следующего дня, который пришелся на воскресенье, звонкий колокол позвал к обедне. За ночь земля от мороза охрящевела, лужицы вздуло мутными пузырями, иней выбелил тесовые крыши. В обширном для малого города храме тесно не было. Стояли семьями. Куда заметнее, чем на юге, проявлялось разнообразие людское, собранное на речном мысу за невысокими валами города.

[1] Впоследствии — Переяславль-Залесский.

Суровый вятич в черной бороде до самых глаз, в длинном кафтане бурого сукна, с тяжелой гривной червонного золота на шее, которой он украсился для праздника. Южанин, с низовьев ли Десны иль из Переяславльского княжества, в белом плаще с вышивкой, с длинными усами, но с голым подбородком или с подстриженной бородой. Рядом с ним скуластое, узкоглазое лицо в редкой бороде, через которую просвечивает желтоватая кожа,— этот из мерьян или из муромы. Он в черном, в руке колпак черного сукна. Встретившись глазами с сухим, остроносым мужчиной в кругло подстриженной смоляной бороде, князь Владимир подумал было — знакомый, но потом сообразил: да он не то из торков, не то из печенегов...

После обедни иерей отслужил молебен о здравии благоверных князей Всеволода, Святослава, Изяслава и всех близких и, помянув первым младшего из Ярославичей как своего князя, о всех странствующих, путешествующих, болящих и пленных. Закончил, помянув боярина Бакоту и молящихся в храме. Затем вышел из алтаря, и все, как стояли, потянулись неспешной чередой прикладываться к кресту. А после, за трапезой у боярина Бакоты, иерей без жалоб, но жестким голосом рассказал проезжим, ни к кому особенно не обращаясь, что здесь едва ли не половина жителей, особенно в округе, суть двоеверны: не отвергая Церковь, исполняют древлеязыческие обряды в рощах, а также у рек, а также и у курганов. Уклоняются от похорон, предпочитая сожигать тела, а пепел собирают в сосуды из обожженной глины и прячут в старых курганах.

— А впрочем,— заключил пастырь духовный,— Христос терпел и нам велел. Я и отец Иван — он ныне в разъезде — пашем ниву и сеем посильно. —И, ободрившись, добавил: — Училище содержим. Бакота с иными нам помогает. Каждую зиму учим, уча — проповедуем. Сорок три мальчика и отрока в наступающем году обучаются и девочек одиннадцать. Чтение и письмо. Правила счета. Святое писание. И греческий язык по желанию. Есть родители, которые сверх того просят наставлять и латинской речи. Ибо для заморской торговли такая речь полезна.

— Как, отец, ученики, хорошо успевают ли в науках? — спросил князь Владимир по-гречески.

— Не все одинаково, сиятельный,— по-гречески же ответил священник.— Просвещаем сердца по мере желания их, по мере способностей.

— Трудно вам вдвоем справляться со многими учениками,— перешел на латынь князь Владимир.

— Имеем помощников, господин,— возразил священник на латинском языке.— За двадцать лет служения в Коломене многие обучены, доброхотно содействуют просвещению. Помимо них наши с отцом Иваном силы давно бы иссякли.

Коломенскую трапезу Владимир вспомнил в седле со стыдом, на который способна только молодость: и ученостью своей выставился, и священника испытал, и, в довершенье, кичился познаньями перед теми, кто, кроме русской, никакой речью не владел.

Подобные обиды, которые человек сам себе причиняет, гордыми людьми помнятся долго: такие себя учат, если хватает ума. Еще одно увез из Коломеня князь-ученик: историю города. Был он основан выходцами из Новгорода, людьми опытными и дошлыми до всяких доходов. Стык Оки с Москвой-рекой выгоден для торговли, через Москву есть путь переволоком в Истру либо Рузу, из Рузы Ламским волоком — в Ламу и Шошу. К новгородцам подсели вятицкие, подселялись мерьяне. Но кроме них шли переселенцы с Днепра, Ворскалы, Сейма, Дона, Донца. Этих влекли не богатые земли, не щедрые леса, эти шли не за бобром и соболем. Беглецы, они уходили, наскучив постоянной угрозой из Степи. Степь близка к Коломеню, в нем оседали немногие пришельцы с юга. Тянули они вверх по Москве-реке, уходили дальше по Оке, за Муром, садились в Ростове Великом, на залесских полянах. Были и такие, кто уходил Костромой-рекой на Сухону, Шексной до Белоозера: все равно, дескать, коль снялись с места, так поищем поглубже.

С первых разумных, хоть и детских лет Владимир Мономах слышал о Степи. Дядька, подведя мальчика к коню, читал над ним старинное заклинание, призывал Дажьбога, Стрибога, навьих на помощь против Степи. И приказал матери не говорить — ты ныне воин. В сказках и сказах Степь присутствовала изначальным злом, как первородный грех Ветхого завета. Битвы, стычки, походы, победы и поражения. Пленники, угнанные в Степь, и чьи-то слова: в печенежьих жилах немало-то русской крови течет.

В Коломене Владимиру явилось нечто до сих от него скрытое и поистине страшное. Степь не только убивала, угоняла в плен, грабила. Степь давила, Степь выгоняла русских на север. Как зверь, загнанный борзыми собаками, бросается в логово, тем спасая себе жизнь, так русский уступал место другим, заслоняясь лесами. Не все же бежали! Уходили слабые, робкие? Были и такие, но отступа-

ли и сильные, храбрые. Они не могли примириться со случайностью существования. Хотели строить надолго, хотели обладать возделанным полем, домом, думали о будущем детей. Сколько беспечных, сколько ленивых прикрывались смелыми словами, а на самом деле у них не хватало храбрости оторваться от насиженных мест!

Впоследствии Владимир Мономах рассказывал, что в Коломене-то и обещался он перед своей совестью бороться со Степью. Так ему вспомнилось, так он верил, хотя подобное вряд ли является внезапным озарением. Что с того! Мы невольно переставляем внутренние события, произвольно связывая их с внешними вехами. Бывшее остается, и рука, производящая поиск, ошибается бескорыстно.

Дорога от Коломеня на север, к Залесску и Ростову Великому, легла западной межой края, обитаемого мещерой, или мещорой, оседлыми, мирными людьми. Там не покочуешь. Мещеряк живет по гривкам, сея хлеб и кормясь из лесу. Числом их мало, всё леса и болота. От одного мещерского поселка в другой на лошади проедешь весь день, пробираясь между болот. Пешком — три версты, по кладям, переброшенным через мшистые хляби.

Ехали будто бы стороной, однако ж такого дикого леса Владимир не видывал. Еловая роща. Ели стоят — вверх посмотришь — шапка с головы сама падает. Хвоя на аршин лежит и под ногой пружинит, как тетива. Под каждой елью круговое углубленье, сидит ель, как в лунке, потому что сама под себя хвою не роняет, не доходит хвоя через сучья. Пусто внизу, солнце не дотянется, ничего не растет, кое-где гриб увидишь или кустик костяники. Тихо. Ветер поверху шуршит, а вниз тоже не может пробраться, и шуршанье его по вершинам вниз падает не в голос, а шепотом. Не видно и живого, кроме белок. Урожай, видно, был на шишки, и белке праздник на всю осень и зиму. И еще — рябчики срываются: «фррр, пррр», и — тишина. Эта птица в полете немая.

Кончатся ели, тропа ведет краем болота и взводит на гривку, в сосны-красавицы. Здесь веселее, воздух вольный, и сосны гудят, и крупные черные птицы сидят высоко — едва достанешь стрелой. Не попадешь — стрелу жалко, ищи — не найдешь. Попадешь — тоже мало счастья. Растопырив крылья, добыча застрянет в сучьях. Доставай-ка! Лесные тетерева-глухари. Курочка пестровата и помельче, а петухи бывают на полпуда. Им и летать нелегко. Сорвет-

ся с ветки и, будто больной, падает вниз, ветки трещат, пока не наберет воздуху под крылья. Здесь их ловят волосяными силками на приваду, а еще насыпают красные ягоды в берестяные кузовочки, внутри смазанные клеем. Сунет голову птица, прилипнет кузовок, тут руками берут.

— Живут в этой дебри и русские отдельными заимками, мещеряков не обижают, и те их любят,— рассказывал проводник.

— Не скучно ли? — спросил боярин Порей.— Я бы лета одного не прожил, не то что зимою. Волком взвоешь с тоски.

— Волки воют,— согласился проводник,— волков везде много. Заимщики на зверя не жалуются. Не силой сажают их в лес, сами садятся. Своими руками что сделает человек — и любо ему, дороже купленных хором. К нам, в Коломень, приезжают продать и купить. Веселится на народе: лучше князя любого живу, ни надо мной, ни подо мной никого нет, вся забота — моя. Другого послушай: нужно изнутри жить, из своей души все добывать, там, мол, все есть, умей лишь окошки открывать.

— Богачи болотные,— усмехнулся Порей.

— Да не из бедных, сразу видать,— подхватил проводник, чувствуя, что верх остается за ним.

Так ли, иначе ли, но в заколоменских лесах в глухую пору года, в стылом воздухе, под серым небом, от которого, кроме белых мух, ждать нечего,— оно и снежило лениво, да настойчиво,— поход был тосклив. Пусть и легок, не то что гнать по Оке, соревнуясь друг с другом в силе, в выносливости.

Всадник, вполне овладевший искусством, в седле совершенно свободен. Дремлется на шагу — спи, не упадешь, тело проснется само, когда передний всадник пустит лошадь рысью или вскачь и твоя лошадь потянется за ним. Успеешь проснуться, если лошадь споткнется. Не дремлется — думай, что хочешь, лети мыслью за сто верст, за тысячу. А коль нет мысли, коль мозжит душа пустой скукой? Тут позавидуешь глухарю-заимщику, помянутому быстрым в слове коломенцем.

Книжная наука блестит, как золоченые маковки на киевских храмах. Любо-дорого выйти по родительскому кивку со словом к иноземцам, которых князь-отец угощает за своим столом, и в речах к месту вставить здесь изречение из святого писания, там обмолвиться — «так говорил Аристотель», оспорить написанное базилевсом Цимисхи-

ем о войнах Святослава, указав, что в записях своих базилевс о том-то и том-то пишет со слов, но дела сам не исследовал, а арабы склонны к чудесному и, начиная делом, сами себя изобличают подробностями, которым место в сказках.

Люди — книги, читать их — княжья наука. Кто-то из греков так сказал или из римлян? Нет, это свой. Кто же? Владимир искал в памяти имя киевского писателя, не нашел, но уже спорил с ним. Почему же только княжья наука, разве не каждому нужно, разве не каждому хочется знать, кто твой товарищ, твой слуга, твой старшой и твой князь, наконец?

«Дни короткие, ночи длинны»,— жаловались проводники, будто бы от них зависел порядок, установленный творцом. Сберегая светлое время — от зари до зари,— не делали привалов, давая отдых лошадям и себе спешиваньем и проводкой в поводу. Ночевали в затишном месте, не обременяя себя долгим устройством. Нарубил еловых лап — вот и постель. После полудня второго дня вброд перешли реку Клязьму. И, поднявшись на высокий берег, обрели перемену. Лес, потеряв плотность строя, рассыпался рощами, появились дубы, шелестевшие железными от заморозков листьями, ежились от холода дикие яблоньки, голые, узнаешь по коре и по веткам. Сосны стали кряжистей, пошли не болота — озерки в ольховой кайме с березовой пробелью, и тропа привела в селенье, где и стали ночлегом.

Залесское Бунино — по первоселу прозвищем Буня. Дальше будет Красное Бунино — по Бунину сыну и соснам. И третье Бунино — Черное, по лиственному лесу. От первого Буни осталась память в названии, ныне здесь свыше полусотни дворов, хозяева которых собирались и от кривичей, и из вятицких, и с днепровского юга, подобно Буне. Таково было преданье, подтвержденное словом «Залесское». Ушел Буня, ища покоя, пробрался через лес, огляделся и тут же сел на тропе, сказав: «Вот поле мое, а здесь быть моему дому».

Лесополье или лесная степь — не поймешь — даже в серое предзимье чаровало глаза. Все-то по-своему, ни одна опушка на другую не похожа, все гривки свои собственные, каждая роща своя; вот дремучий лес выпал тучей, заслонив небо, тропа повиляет опушками, прыгнет в чащу, и, гляди-ка, кончилась одна лесная пуща, другая начинается. И везде по тропе поселения. Но чем дальше от первого, от Залесского Бунина, тем дворов меньше, и среди них

чаще видны новые дома, недавно поставленные службы, ограды, еще не вычерненные солнцем и дождями. Князь Владимир понимал и не спрашивал.

Не часты церковушки-часовенки и не высоки колоколенки с малыми звонницами, в которых чаще увидишь старинное било, дубовый щит, чем колокол, да и тот пуда на два, не больше.

Земля богата рудою, которую копают в болотах, плавят в домницах и сами себе делают из кричного железа все, потребное в хозяйстве,— от печного ухвата, гвоздей, конских удил, амбарных замков до рогатинной насадки, меча и шлема. Народ бывалый и гордый. Женщина без бус и ожерелья из дому не выйдет. Ведра несет на коромысле, скотину гонит со двора, сама в домашней посконине, а на шее ожерелье из кованого золота с разноцветной эмалью, в ушах серьги тонкой работы — здесь златокузнецы в почете, и дела им хватает, а куют из золотых монет, арабских, греческих, все годны.

Видишь селенья, и помнятся они, но более другого помнишь пустые поляны, помнишь леса, рощи без следа рубки. Обнажившн от листьев рощи, осень открыла глубины их, дико-нетронутые стены переживших все сроки деревьев, проломы, которые сделали поваленные старостью древние кряжи. Ручьи, запруженные бобрами, затопили округу, из воды торчат острые пни от срезанных умным зверем деревьев. Но тропа поднимает всадников на высокую гриву, и видишь кое-где крышу, кое-где поднимается дымок, то ли из очага, то ли из ямы, где пережигают дрова на уголь для плавки железной руды. Пахнет человеком, но слабо.

На шестой день увидели Берендеево озеро. Оно неглубоко, берега заросли камышом, и по самой воде острова из камыша. Тропа вела берегом к речке Трубежу, которая спускает лишние воды берендейских ключей в другое озеро, на запад от Берендеева,— в Клещино-озеро, или Клещеево. У истока Трубежа высокий холм, по бокам поросший сосной, с плоской вершиной, без леса, но не лысой. От Трубежа были видны строенья за расплывшимся, отлогим валом.

— Кто там живет? — спросил князь Владимир. От торной тропы в сторону холма здесь и там отходило несколько узеньких тропочек, едва заметных в битой заморозками мертвой, серой траве; тропки терялись средь сосен, и было видно, что редко по ним ступала нога. За валом над изломанной, изрытой грядой почернелых крыш и стен, поте-

рявших крыши, одно зданье главенствовало необычно острым шатром. Запустелое, печальное место.

— Почти никого там нет,— рассказывали проводники,— давно уж заброшено все, а держится и будет держаться, если молнией не зажжет, еще хоть сто лет. Все ставлено из дубового бруса, его и червь не берет. Живет, ютится сколько-то чуди, по-здешнему — берендеев [1].

Владимир хотел поглядеть поближе, его удержали — нехорошо, не любят берендейские старики чужих, и глаз у них дурной. Не трогай их, и они тебя не тронут.

В стародавние годы здесь был город берендейского князя. Большой дом островерхий — его двор. Около, в особом строении,— берендейские боги. Берендеи поклонялись Солнцу, главному богу, чтили Луну, жену Солнца. Князь был богат, в город приезжали восточные купцы, продавали свои товары за меха. Погибли берендеи от мора в давние годы, еще до князя Святослава, когда на Руси начинались первые князья. Жили берендеи не отдельными дворами, не по-русски, а любили селиться большими общими домами сразу на много семей и все добытое и собранное делили по необходимости дня, откладывая излишек в общий запас, из которого и торговали через своего князя. От тесноты мор их погубил сразу чуть не всех, после чего подняться они не могли. Рассказывали, что в городе у них зарыто много золота, серебра, разных вещей. Но никто явно искать не ходил. Худо брать чужое, выморочное, заклятье на него наложено, лучше своего наживать, чужим богат не будешь, своего лишишься.

Миновали селенье при Клещином озере, богатое, многолюдное, с простым названием — Залесское. Еще день, еще — и явился Ростов Великий, издали видный: он вышел на самый берег озера Неро и встал гордо: гляди, мол, я весь здесь. И стоял, прочный, давнишний. А направо от него, отделенное и озером, и немалым куском земли, что-то блестело золотом.

Тропа повела левее и вверх. Ростов скрылся и вышел опять с возвышения, где приток Неро речка Сары делала колено, будто нарочно приготовив его для крепостцы Деболы, которою Ростов прикрывался с юга. Так-то! И древний, и Великий, и сильный, но без крепкой двери не жил и о дверях думал и укреплял их всегда.

---

[1] Предаиия о живших здесь берендеях держались еще в начале нашего века. Кроме иазвания, эти береидеи, вероятно, не имели ничего общего с южными кочевиикамн.

Вот и конец пути. По деревянным мостовым новгородского образца проехали на княжой двор, пустой и холодный,— сторожа не ждали гостей. Зато оглянуться не успели, как из бани дым повалил: банька-то лучший друг с дороги.

И, расседлав лошадей да расставив их по стойлам обширных конюшен, не спеша пошли все разбираться в холодном предбаннике, а оттуда, прикрывшись по обычаю, шагали, кланяясь низенькой притолоке, в саму баню. Ставлена баня при Ярославе новгородцами. В ней было всего побольше: не один котел, а четыре, не одна каменка — шесть, не две бочки воды — восемь, а полко́в, чтоб париться, и лавок для отдыха — все по тому же расчету.

Тела белые, шеи и лица от загара темные, будто приставлены. Раскаленные камни вздыхают от поддачи и тут же сохнут. Хорошо! Подсмотрев, что русские в банях делают, какой-то заезжий в те годы ужаснулся и без шутки, описав страшными словами горячий банный дух и березовые веники, заключил: никто их не мучает, сами себя мучают. Суждение это потрудились записать русские летописцы с улыбкой: умный не скажет, дурак не поймет.

На следующий день с княжого двора к Успенскому соборному храму двинулся торжественный ход. Впереди в белых стихарях шли ученики епископской школы, они же соборные певчие, шло ростовское духовенство в ризах, в золототканом облачении шествовал епископ Леонтий. Перед ним на чистых полотенцах несли дар Ростову Великому от князя Всеволода Ярославича — образ божьей матери, которую писал известный всей Руси иконописец Алимпий-киевлянин.

Образ писан на пальмовой доске, собранной из нескольких кусков поперечными врезанными связями того же дерева так искусно, что ни сырость, ни жар, ни холод не могли ее покоробить. Икона была одета в серебряную вызолоченную ризу, на которой тисненьем изнутри повторялась закрытая часть; лица, руки божьей матери и младенца Иисуса были открыты прорезями ризы.

Образ несли князь Владимир и староста Успенского собора ростовский боярин Вахрамей Шляк. Сзади, смешавшись с горожанами, шли княжие дружинники.

Плоский ящик из тонких досок, пропитанных олифой, набитый козьим пухом, засмоленный и зашитый в кожу, сохранил образ от поврежденья на длинной дороге.

Утро выдалось тихое, с легким морозцем; осеннее солнце в такие дни будто бы набирает силу. Подтаивал иней на крышах с юго-восточной стороны, деревянная мостовая почернела и делалась скользкой. Голубой благовест соборных колоколов — звонили торжественно и радостно, по-пасхальному — сливался с благовестом трех других ростовских церквей и, разносясь по Неро, был слышен далеко по округе. От княжого двора до собора было не более полутысячи шагов, но шли долго. Епископ Леонтий велел пронести икону по городским концам — улицам. Сворачивали, поворачивали. Привлеченные пением и неожиданным в простой день звоном, ростовцы встречали дареную икону у ворот, крестясь, кланялись и присоединялись к шествию. Но не все. Иные, хоть и сняв шапки, не крестились и оставались на местах даже в русских улицах. Бывало, что муж оставался, а жена, забежав в дом, чтобы заменить затрапезную шубейку на праздничный шушун, переобуться и повязаться узорчатым платком, одна догоняла шествие.

Прошли мерьским и чудинским концами. Здесь к шествию мало кто пристал. Так же как в русских улицах, обитатели выбегали к воротам, так же ребятишки висли изнутри на оградах, выставляя на улицы головы. И шапки снимали, и кивали черноволосыми либо беловолосыми нерусскими головами с нерусскими лицами, но не больше, чем из уваженья к чужому обычаю. Здесь-то и поскользнулся ростовский преподобный Леонтий так, что упал бы, не подхвати его сзади сильной рукой боярин Порей.

И все же в соборном храме не хватило места для всех. Снаружи остались сотни четыре, слушая оттуда благодарственный молебен, которым епископ встретил дорогой дар.

Угощая князя с дружиной и знатных горожан скромной трапезой — день был постный — на епископском подворье, преподобный Леонтий с шутливой досадой вспомнил о своей неловкости:

— Завтра в Пужболе, в Шурсколе, в Кумирне будут говорить — главный поп поскользнулся не к добру для себя. И пойдет бессмыслица расширяться, как круги от камня, брошенного в воду. Дойдет до Мурома, влезет зверем в леса, и бог весть что наскажут.

— Пустое, владыка, темные люди, однако ж просвещаются,— заметил ростовский боярин Шляк.

— Я говорю к тому,— возразил Леонтий,— чтоб молодой князь знал. Здесь язычников едва ль не большая

половина. Ты, князь, не видел, когда подъезжал, за озером против города нечто блестело?

— Видел,— отозвался Владимир.

— Это и есть Кумирня. Видишь, в виду Ростова Великого стоит идол! Будто слон непомерный вскинулся на задние ноги. Сложен из дерева. Голова громадная, в ней человек помещается. Вызолочена — она-то и блестит. Снизу есть дверца, внутри идола лестница. По ней главный ихний вещун, именем Кича, поднимается в голову и оттуда кричит, через идольский рот.

В Ростовской земле русских было меньше, чем иных народов. Даже из русских есть люди старой веры, что ж говорить об иных,— рассказывал Леонтий. Свою паству он ласкал по-святительски, пугал по слабости человеческой. И не нужно бы, а сорвется.— Терпение есть высшая добродетель, князь милый. Прадед-то Владимир мудр был, мудр. Князь Борису дал он Ростов, князь Глебу — Муром. Почему? Добрые были они сердцем. Крестить — не мечом рубить. Но епископов он послал из греков, не было наших-то. Греки же не выдержали. Оба преподобных — и Феодор, и Иларион — удалились, не постыдившись сказать, что бегут от ярости язычников, избегая неверия и досаждения от людей. Такими словами записано в Ростовской летописи, и осуждения епископам-беглецам не высказано, ибо они те же люди и так же смерти боятся, особенно в чужой земле, где они подобны немым.

Ростов Великий был заложен новгородцами в древнейшие годы старых князей, когда и Киев еще едва начинался, как рассказывал князю Владимиру Шляк, ростовский боярин. Лет не меньше четырехсот тому назад новгородские первоселы от Белоозера пошли Шексной в Волгу, Волгой — в Которосль, Которослью вышли на Неро-озеро и восхитились месту. Раньше этой легкой дорожкой ходили малые ватажки торговать с мерью да и самим поохотиться. Переселиться же вздумали по ссоре. Праотцы наши не поладили из-за девушки, именем Сбислава. Сама шла замуж, отец с матерью не отдавали, выкрали ее. С того времени пошла вражда, и двадцать три, двадцать четыре ли семьи вышли из Белоозера на Неро. Сели они вначале в сарском колене, где нынче крепостца Деболы. Стали расти. От тесноты вышли сюда, землю купив у мерьян за две золотые гривны.

Шляк был поместный ростовский боярин, не княжеский, но родовой. Владел изрядной землей, стадами, в своем большом хозяйстве управлялся силами закупов, най-

митов и холопов. В холопах у Шляка были купленные им пленники из торков, из печенегов, были и русские, взятые за неоплаченный долг. Таких, как Шляк, в Ростове насчитывалось более ста человек, именовавших себя старым боярством. Ниже их стояли меньшие богатством землевладельцы. Занимались и ремеслом, однако же каждая семья владела пашнями и держала скотину. На ростовском торгу бывали четыре раза в год большие съезды. Приезжали иногородние купцы даже из Новгорода, из более близкого Мурома, из молодого Ярославля, из Гороховца и Стародуба-на-Клязьме, с нижней Оки из Коломеня, Борисо-Глебова, Ожска, Козаря, Рязани, Копонова. Приплывали и приезжали булгары из волжского Булгара. Булгары продавали восточные товары, шелка, ароматы и женские притиранья, сушеные плоды, сахар, перец, яркие ткани тонкой выработки, шкурки мелкозавитой овчинки, серой и черной, называвшейся каракуль. Вместе с булгарами такие же товары привозили арабы. Иноземцы покупали воск, мед, неоправленные клинки оружия русской ковки, кожи крупного скота и пушные меха: соболя, бобра, лесной куницы, норки, выхухоли, горностая, белки, и грубые — медвежьи, волчьи, рысьи. Приезжие не могли купить за свои товары все, что хотели, и всегда оставляли много золотых монет разной чеканки, разного веса. Таково уж золото, ходит и ходит по всему белому свету, пока не изотрется в руках и в сумках так, что перестает быть монетой, и берут его только на вес.

Ростов Великий принимал княжеского посадника, но управлялся тысяцким по выбору веча. На вече голос давал каждый свободный человек, как и в Новгороде. Будто бы в древности Новгород и пробовал сохранить за собой Ростов, как пригород, присылая от себя посадника. Коль такое и было, то память о том твердо не сохранилась. Ушло от Новгорода и Белоозеро. Теперешние ростовцы считали своим Белоозерье почти до Онежского озера, коренного владенья Великого Новгорода. Тянула к Ростову и вся Клязьма, и волжские верховья с Тверью, Ржевом, Зубцовом и Волоком Ламским. За то Ростов и звался Великим, подобно Новгороду, родине, но удаленной во времени так, что о родстве помнят, в делах же родством не считаются.

Спокойно в Ростове Великом. Нет и не ждет никто засылок от Всеслава. Нужны ли ростовцам смуты и перемены, нужно ли им примерять себя к князьям, князей — к

себе? Не к чему. Пользы в этом для ростовцев не было. Однажды в год на общем вече ростовцы подтверждали раскладку дани, платимой на князя. Раскладку составлял ростовский тысяцкий по богатству домохозяев.

Через несколько дней молодой князь пустился в новую дорогу, в Суздаль. Путь короткий, всего-то сто верст с небольшим. По высокому мосту на крепких устоях через Которосль проехали в большое село Угожи. Там князя встретили с теплой дружбой, заставили сойти с коня и повели в красивую церковь, посвященную святым Кирику и Улите. Старый, но заботливо подновляемый храм размерами был не менее ростовского соборного.

Отслужили молебен, угожане не выпустили князя — понравился им он молодостью, обхождением. Может быть, и тем, что одет был просто, не выделяясь в десятке своих спутников. Год хорошо урожайный, и жители Угожей рады были случаю лишний раз попировать. Гостей завели в лучший дом, кому под крышей места не хватило, для тех столы на улице поставили, благо день был с сухим, легким морозцем. Здесь, пробуя разных грибов тридцати способов соленья — к грибам в Переяславле не привыкли,— Владимир узнал причину угожанской любви ко княжескому дому. В год, когда его прадед и тезка приехал в Ростов звать русских креститься, угожане первыми прибежали, ибо среди них было достаточно людей новой веры, не как в Ростове. Нашлись старые старики, помнившие Владимировых сыновей Бориса и Глеба. А тех, кто видал Владимирова деда Ярослава, оказалось не один десяток. Первый раз Ярослав приходил в Ростовскую землю тридцать пять лет тому назад усмирять язычников. Были дожди с весны, все лето лило, хлеб и вся огородная овощь вымокли, получились недостатки и голод. Язычники проповедовали, что тому виной новая вера, что надо все храмы пожечь и понудить христиан поклоняться старым богам. Князь Ярослав с дружиной нескольких волхвов побил и язычников испугал. Он по Которосли вниз спускался до Волги, где город своего имени поставил, нареча его Ярославлем. А до того там был безымянный поселок из пятка дворов. Жители держали перевоз через Волгу на луговую сторону. Тогда же на Ярослава бросилась нечаянно потревоженная им медведица. Князь перебирался через овраг, ведя коня в поводу, и зверь на него навалился сдуру — при медвежатах медведицы злобны, особенно старые. Ловок был князь Ярослав, ножом одолел матерую, было в ней более две-

надцати пудов. Город Ярославль стоит между Волгой и Которослью, а с третьей стороны у него этот овраг, с той поры прозванный новоселами Медведицей.

Наутро отпустили от себя угожане гостей. Трех верст не прошли по Суздальской дороге, как за перелесочком, будто нарочно, как стенка, оставленным на южной меже угожанских полей, открылись поля мерьской Кумирни. Небо синело поздним рассветом короткого дня, тоненький слой снежной крупки пробивала щетина жнивья, по вялым озимям ходил скот. Мерьские дома заслонялись высокими кладями снопов, свидетелями щедрого урожая; все, как в Угожах, не будь в середине селенья высокого холма, не будь на холме мерьского Кумира.

В Переяславле, в Чернигове, в Киеве князь Владимир привык видеть мраморные статуи старых эллинских богов. Их издавна привозили из Тмутаракани, из Таврии, из греческой империи. Их любили за красоту, так же как камни-геммы с выпуклыми изображениями человеческих голов, людей, зверей. В мерьском идоле было нечто от эллинских статуй по соразмерности частей тела, и Кумир не был уродлив. Однако же дерево не мрамор, и строитель не отделил рук от тела; спустив их вниз до локтей, он сложил кисти на животе Кумира. От пят до темени Кумира было сажен пять. Пояс его был охвачен золоченым железом с кольцами, с которых свисали канаты, плетенные из ремней, чтобы укрепить Кумира в ветреные дни. Безбородое лицо напоминало личины, которые еще теперь надевали в греческих театрах. Ниже пояса Кумир был укутан меховым плащом. Позолота на голове была свежа, как наложенная вчера.

Скуластые, узкоглазые мерьяне встречали князя с его малым поездом, приветствуя по-русски — «здоров будь», и кланялись по-русски же, и пришлось Владимиру кивать в обе стороны, держа в руке бобровую шапку с оторочкой из рысьего меха, подарок боярина Шляка. Миновали холм с Кумиром, недалека была околица, как путь преградили с сотню мерьян, мужчин и женщин, стоявших не толпой, но двумя плотными рядами. Навстречу широким шагом вышел нестарый мерьянин в белой льняной одежде поверх шубы и обеими руками поднял над головой очень высокую шапку горностаевого меха.

— Это Кича, ихний главный колдун, а за ним вся старшина,— негромко объяснил проводник.

Владимир спустился с коня и сделал несколько шагов навстречу Киче. Тот, надев шапку, протянул руку, будто

пытаясь остановить князя, и спросил чистой русской речью:

— Скажи, что есть зло?

— Ложь, беззаконие, насилие, убийство, воровство,— быстро ответил Владимир.

— Так, так,— кивнул Кича.— А что есть добро?

— Правда, закон, любовь,— так же просто сказал Владимир.

Кича, повернувшись к своим, прокричал что-то по-мерьски и, сняв шапку, низко поклонился со словами:

— Будь же князем долгие годы, когда получишь отцовскую отчину. Будешь по правде, по закону жить, мерьяне твои люди. Будет ложь, беззаконие, убийство — не твои будут мерьяне.

Расступившись, мерьяне открыли низкую скамью, покрытую чистым рядном, и глубокую мису с ковшиком в ней. Кича, захватив полный ковш, дал князю.

— Пей, да будет всегда мир между нами!

Выпив густой браги, Владимир вернул серебряный, тонкой работы, ковш, и Кича, зачерпнув, выпил сам и передал ковш соседу, и пили все, один за другим, и мерьяне, и провожатые Владимира, а в мису добавляли и добавляли брагу, таская ее из ближнего дома.

Молодой князь всю зиму кружил по Ростовской земле, беря с собой по нескольку человек из дружины, и ростовцы про него говорили: «Волк голодный столько пересеков не набродит, сколько наш молоденький наскакал». Владимир побывал и в Ярославле на Волге, в Рубленом городе, как называли первое поселенье за валом, венчанным рубленной из бревен стеной с шатровыми башнями. Не любя тесноты, русские уже перелились за стену, и являлся новый город, молодой, за земляным валом, по которому и кличка ему была — Земляной град. Показывали ему и место в овраге, где, не желая того, дед Ярослав осиротил медвежат. Ныне через овраг бросили мост, соединивший Рубленый город с Земляным.

В первую свою поездку из Суздаля Владимир отправился к югу на Клязьму, по зимним тропам, прямым и удобным. Такими же тропами его провели в Муром на Оке. В этом пути молодой князь встречался с язычниками — муромой, племенем, куда более в себе замкнутым, чем ростовская мерь. Гостеприимство оказывали неохот-

но, беседовали еще неохотнее, ссылаясь на незнание русской речи, хоть и знали все нужные слова.

Трижды Владимира захватывали снежные бури, трижды выручал лес, где, нарубив еловых и пихтовых лап, путники спасали себя и лошадей, уставляя заслоны между деревьями, накладывая те же лапы на жерди, как крыши, и сидеть могли бы до лета, будь что на зуб положить и себе, и коням. Оголодав, тащились пешком и за собой тащили за повод изможденных лошадей, но ни одного человека не потеряли. Однажды матерой сохатый вбил Владимира в снег и раздавил бы грудь рогами, не будь высок сугроб и не помоги князю боярин Порей, успевший достать острым клинком широкое лосиное сердце. В феврале, когда волки свадьбы гуляют и становятся смелы почти что как люди, злобный зверина крупной лесной породы махнул на круп княжой лошади и схватил ездока за плечо. Владимира спасла толстая одежда да собственная ловкость — и в седле удержался, и рукавичку сбросил, и нож успел вытащить, и рукоять не скользнула в кулаке, не изменили и сила с меткостью вместе.

То все — пустое. И в ночлегах на снегу, и в седле, и волоча за собой отощавшую лошадь, и под лосем, и под волком Владимир по праву пожинал посеянное за девять лет богатырской науки, которую проходил с семилетнего возраста, учась охотно, не прося и не давая себе поблажки. В своих походах по Ростовской земле Владимир заметил, что и устает-то он будто бы менее других, и лошадь под ним бывает к вечеру свежее. Конь под умелым всадником облегчен на четверть груза, как считают бывалые конники.

Иное было значительным, иное заботило: люди. После союза с мерью, заключенного мерьскою брагой, Кича, проводив во главе сбежавшейся толпы гостей до околицы, там сделал знак своим, чтоб отступили, а княжьей свите махнул — поезжайте, мол, и обождите, сам сел на жерди, князя сесть пригласил и сказал:

— Ты, князь будущий, храбр и доверчив. Не задумавшись, испил ты первым из чужого ковша чужой браги. То — добро. Что ты будешь за князь, коль ты станешь трястись перед глотком и раньше тебя будут пить и жевать ковшники со стольниками. Тебя отец с матерью хорошо учили. Ты мне ответил не своими словами, а ихними.

— А откуда ж ты знаешь? — перебил князь Кичу.

— Быстро ты ответил, не по мысли, а по заученному говорил, — усмехнулся Кича, забирая превосходство опыта

над младостью.— Но, слушай меня, заученным не проживешь. Ты мне полюбился. Другой же, по твоей простоте, угостит тебя смертью в ковше. И — не убережешься. Одно нам, князьям, спасенье: сумей жить по словам, которые сказал. Различай злое от доброго. Доброе сильнее, да труднее. Нам, князьям, большая забота: все по совести делать нельзя, а сколько можно делать без совести, того нигде не показано. Ступай, будь удачлив. Пока на тебе ничьей крови нет — пей, ешь, не думай. Я на твое имя заговор сделаю для добрых дел.

В городе Муроме посадник черниговского князя Святослава жаловался старшему племяннику своего князя на дикую мурому, племя упорное, закоснелое в язычестве: плохо дани дают, хоть и легкие дани наложены, не хотят платить, чтобы на храмы да на попов деньги-де не шли. Жаловался и приходской причт. Обиды были, как видно, взаимные. Город на вид беднее Ростова Великого, а люди — богаче. На муромских лесных полянах хорошо родился хлеб, в пойме Оки отгуливались стада, леса были щедры пчелиными бортями, пушниной. Рук не хватало, чтоб поднять землю, взять богатство от леса и рек. В Муром приходили купцы из тех же стран, свои, не столь дальние, и недалекие булгары, и далекие арабы с греками. Сотни лет меняли, давно пробили дорожки, давно покупали, привыкли делить между собой торги: кто шел в Муром, кто в Ростовскую землю, кто на Белоозеро. По Костроме-реке поднимались до Сухоны-реки, спускались в дальние новгородские земли, искали прибылей на широкой Двине, которая уходит в соленое Белое море. Русские купцы шли навстречу иноземцам, вызнавая цены на свои товары и гонясь за большей прибылью, чем получали, сидя на месте: под лежачий камень и вода не течет.

Ближе к весне путь был в Галич Мерьский, который стоит на реке Вёксе, текущей из обширного Галицкого озера в реку Кострому. Подобно селеньям на берегах Клещина-озера, подобно Ростову Великому и Мурому, город Галич был устроен на широкой поляне среди лесных пущей. Из Галича Владимир съездил в Чухлому, стоявшую тоже на поляне и тоже вблизи озера. Чухлома — выселок Галича и столь же древня, как самый Галич.

Едва успел Владимир вернуться в Ростов Великий, как пошли с гор потоки, на полянах снег осел, в лесу изрыхлился, на соснах забормотали лесные тетерева-глухари. Вся птица возрадовалась, синички-сестрички порхать стали парами, а бескрылым не стало ни проходу, ни про-

езду, а всего более заключила весна человека. И воздух особенный, и вдаль тянет куда-то, а ходу нет совсем — жди, пока не вернутся в свои берега радостные и грозные вешние воды. На озере лед всплыл, оставив между берегами и своей порыхлевшей и сорной поверхностью широкие забереги. Пролетная птица валила на север, на север все шла и шла стаями-тучами, падала на лужи, на забереги, и тесно в них становилось, как во дворовых загонах, набитых овцами, ошалевшими от весны.

Перед самым распутьем прибыл последний гонец с отцовым письмом, с материнскою грамотою. Оба наставляли сына, каждый по-своему. Писали — отец по-русски, мать — по-гречески. Слова разные, смысл один.

Ростовская весна странно запаздывала против переяславской, и — простое познается непросто — кто-то объяснил молодому князю еще одну разницу между севером и югом.

Необычно удлинились дни, короткие ночи озарялись сиянием северной части неба: там, за окоемом, в Белоозере, говорят, ночью можно вставить нить в игольное ушко. Тут с юга прибыла весть: князь Всеслав бежал из Киева, князь Изяслав сел на свой стол, а Владимиру велено спешить во Смоленск — охранять город от козней лукавого оборотня.

Собрались без спешки, зато быстро. Епископ Леонтий, отслужив молебен о путешествующих, благословил молодого князя и его дружину. Прощаясь, Владимир хотел остеречь ростовского святителя от рьяности в деле обращенья язычников, слова приготовил, про себя речь повторил о том, что язычники перенимают у русских, учатся, отбирая полезное для себя из вещей, слушают они и поучения, когда поучающий не торопится. Пора бы начать, но Владимир спросил себя: а кто ты, чтоб наставлять епископа, он же тебе едва ль не в деды станет. И промолчал.

Владимир вспомнил о робости своего языка через несколько лет. Ростовский клирик, который плыл помолиться афонским святыням, рассказывал в Киеве:

— Преосвященный Леонтий спустился восточной Нерлью в Клязьму, Клязьмой плыл до Луха-реки, Лухом поднялся верст более ста до места, где истоки. Там среди непролазного для чужих леса поставлено на изрядном поле муромское капище. Около живет много муромы. Преосвященный им три дня проповедовал истину неустанно. На четвертый день еще затемно пришли ко мне двое муромов

толковать: ты-де скажи попу, шел бы он, откуда пришел, добром, не то плохо ему будет. У него на лице знак смерти положен, пусть в другом месте умрет. И собака его ныне ночью выла к худому, мы слышали. Что за знаки, мы, клирики, не видали, а собака выла, это верно. У преподобного собачка была небольшая, он из милости щеночка брошенного подобрал. Так было,— вздохнул клирик.— Ободняло совсем, а преподобный все спит, и собачка у него в ногах утихла. Мешала она ему ночью, он и заспался. Мы отошли — шестеро провожатых нас было,— судим между собой, как быть. Проснулся преподобный, нас упрекнул, что не разбудили его, и встали мы на молитву. Отец Леонтий отслужил литургию пред дерновым алтарем, нас причастил святых даров и сам причастился. День-то пришелся воскресный. Тут мы, к нему приступив, настаивали, чтобы проповедь закончить и назад нам идти. Преподобный сурово попенял, мне особо, да так, что стали мы у него прощенья просить. Дескать, не о себе просим, а о нем. Он отвечал: «Я в жизни сей подвизался добрым подвигом, ныне стар, течение жизни совершил и веру сохранил. Чего да кого мне бояться!»

Оглянулись мы: много муромы сзади собралось, и женщины среди них, и дети. Преподобный Леонтий нам приказал: «Здесь оставайтесь, я один пойду». И пошел, а песик за ним потянулся. Преподобный цыкнул, вернулся песик к нам, но опять пошел к хозяину. Преподобный остановился перед муромой, а они — как стена, не пускают. Что-то он говорил, а потом крест поднял, они расступились, пропустили, сомкнулись за ним. Мы хотели повиновение нарушить, за ним бежать, не тут-то дело. Наскочила на нас мурома с дубинами, с веревками. Приказали тут и стоять, иначе свяжут. А не дадимся вязать — дубинами перелобанят. Среди них те, кто со мной ночью говорил. Грозятся: поздно, теперь нет вам хода. Оружие у нас было кое-какое, в пути против зверя оборониться, но все в лодье оставлено по приказу преподобного. Да и то сказать, весь в броню оденься, вшестером против сотен не попрешь.

Ждем. Там поле к капищу поднимается, и мы видим, как преподобный идет по тропочке, а за ним мурома идет, спереди же, от капища, навстречу другие идут. Остановились примерно от нас в версте. Не слышим ничего, но видим — преподобный крест поднял. Крест у него был в два аршина с половиной, деревянный, расписанный. Жив, думаем. И вдруг как из капища услышали мы гудение дере-

вянного била. Сгрудилась мурома, крест упал. И мы со слезами на землю повалились.— Тут клирик без стеснения заплакал. Оправившись, продолжал: — Сколько-то времени прошло, не знаю, как мурома приказала — вставайте, ступайте туда. Встали мы. Вижу толпа муромов расходится, уходят в свое капище. Побежали мы. Ох-хо... Всего-то переломали, затоптали, тут же палки на него наброcаны, а пес визжит, кровь у него с лица лижет и на нас бросается... Собаку-то они не тронули.

Отнесли мы его к реке, обмыли. Пошел я к муроме и говорю: «Бог вам судья, дайте хоть колоду да меду дайте, чтобы тело домой отвезти, и возьмите, что хотите». Ответили — так дадут, даром, чтобы мы поскорее уходили. И дали. Солнце не успело стать на полудень, как мы тело в меде утопили и от берега оттолкнулись. А песик пищу из рук брал, но тут же выбрасывал и на четвертый день подох. На бережку зарыли мы его.

Владимир рассказал о невыполненном своем желании. Клирик рукой махнул:

— Эх, князь, князь, ему и твой отец приказал бы, и митрополит запретил бы, все одно, что твое слово... Меж человеком и совестью только бог может встать, остальным — не поместиться. Будешь жить, испытаешь.

Тогда, получив благословенье епископа, Владимир пустился на юг, ко Клещину-озеру. Два дня ушло на дорогу, зимняя цена которой от силы верст пятьдесят, но в пору раннего лета к ним и все сто прибавишь. Зато западная Нерль понесла в Волгу сама. В Усть-Нерли, называвшемся с недавнего времени Кснятином — по храму святого Константина, нерлинские плоскодонки поменяли на глубокие волжские лодьи и на двух лодьях пошли по Волге против теченья, держась затишных берегов, под которые не била струя.

Как прошлым годом на Оке, так и в нынешнем гребли все на каждой лодье, имея на отдыхе сменных на каждое весло. То ли недавний пух на бороде и усах начал курчавиться волосом, придавая молодому князю мужской облик, то ли нечто более для себя значительное привыкли в нем видеть дружинники, но на этом пути получалось, что распоряжений ждали не от боярина Порея или от других старших возрастом, а от князя. Старшие дружинники-бояре привыкали спрашивать Владимира: что сделаем?

Волга была оживлена движеньем, подобно киевским улицам. И вверх шли лодьи тяжелогруженые, которые тащили бечевой лошади или люди, шагая по береговым тропкам, которые так и назывались — бечевники. Когда берег делался неудобен, лодью подтаскивали ближе, люди забирались на нее и веслами да шестами перепихивались к другому берегу. Как положено на улице, селенья большие, малые и совсем крохотные — в два-три двора, не выходили из глаз. Не одни рыбные тони, не одни заливные луга — к Волге тянул самый шум ее, сама ее многолюдность, легкая купля-продажа, совершавшаяся на плаву. И бечевой заработок, доступный, легкий: пара лошадей тащит вверх тяжелогруженую лодью, и всего-то нужен для такого дела один паренек лет двенадцати. К тому добавить работу по поддержанию бечевника, которую делали общими силами все, кто занимался промыслом, каждый в своем месте.

От Усть-Нерли до Зубца, где устье Вазузы,— триста верст, а шли их трое суток. Вверх по Вазузе до города Былева и до Гривы-волока — сорок верст трудных: вода сильно шла, захватив поймы, и сильно сносила: на стремнинах едва пробивались.

На Гривской переволоке людно, а тихо, все при деле или ждут дела. Чуткое на слово ухо здесь слышит «у» вместо «в». Договариваясь о плате за переволоку, артельный старшой скажет «усе соделаем» вместо «все сделаем». Но таковы уж русский язык и русское ухо: дня три-четыре будешь замечать смолянскую речь, будто порченая она, на пятый же сам будешь сажать вместо «в» «у».

На берегах вместо причалов поделаны для людей взводы, они же спуски. Два бревна концами втоплены, по-смолянски — «утоплены у воду», на сухом месте к их концам прирублены другие, далее — третьи. Размах между бревнами и в два аршина, и в сажень, и более, чтобы с воды между бревнами-ходами могла войти любая лодья. Изнутри ходовые бревна отглажены стругами, смазаны салом. Наставив лодью, ее за корму охватывают канатами и тянут либо людьми, либо лошадьми. Лодья идет легко до конца ходов, у которых ждут длинные дроги с такими же на них ходами. Дроги тоже разные — по лодьям. Привязав лодью, запрягают лошадей столько пар, сколько нужно, и везут по дороге спускать в Днепр по таким же ходам. Дело старинное, волоковые мастера опытные, работают споро: деньги-то получают не за время, а по ряду, им выгодно скорее от одного дела отделаться, к другому приде-

латься. На волоке не одна артель, не две, не три. Замешкаешься — отобьют заказчика. У каждой артели свои взводы-спуски, а волоковая дорога общая. Они же торгуют новыми лодьями. Старинные лодейщики умеют дерево выбрать, бревно выдержать, обводы распарить и выгнуть, собрать лодью, засмолить, и будет она служить тебе до твоей старости. Строят они и другие лодьи, грубо сколоченные из толстых досок и бревен, пригодные плыть только вниз, на одно плаванье. Такие совсем дешевы, и служат они тем купцам, которые спускаются в степные места, где, распродав товар, продадут и лодью для поделок, на топливо.

Князю с дружинниками покупать-продавать было нечего, менять свои лодьи они не собирались. Артельщики, не мешкая, выволокли обе лодьи по салом смазанным ходам, наставили на дроги и повезли к Днепру. Дорога верст десять, не больше. Ее прошли пешком, разминая ноги, не спеша поспевая за дрогами. На сухом этом пути встретились знакомые переяславцы, черниговцы, киевляне, отправлявшиеся на Волгу, на Оку, новгородцы, плесковцы-псковичи, правившие путь на юг. Узнали новости не слишком новые: князь Изяслав сидит в Киеве, князь Святослав — в Чернигове, князь Всеволод вернулся из Курской земли в Переяславль. И другие новости, посвежее: князь Изяслав послал сына своего Мстислава в Полоцк. И полоцкий князь Всеслав, дабы не чинить своей земле разоренья, не дожидаясь, ушел из Полоцка, и где он — не ведают. А Мстислав Изяславич сидит в Полоцке и держит Полоцк для Изяслава.

— И сидели бы все, да сидели бы, князь милый, правду говорю, уж сидели б все дома бы, а уж мы-то, купцы-то, уж сновали бы, говорю тебе, князь милый ты наш, уж мыста, купцы-те, сновали-то! Вот, считай, загибай пальцы-те! Купец хлеб, кожу, сало, мед и всякое там у христьянина купил, ему прибыло? Раз! Княжому тиуну вывозное заплатил, князю прибыло? Два! Христьянину за провоз до Волги, к примеру, уплатил, ему прибыло? Три! Лодью купил, лодейщику прибыло? Четыре! Гребцам платил, им прибыло? Пять! Артельщикам за переволоку платил, им прибыло? Шесть! Бечевникам за тягу платил, им прибыло? Семь! В Смоленск, к примеру, приплыл, за воз товару на торг платил, им прибыло? Восемь! Княжому тиуну привозное платил, князю прибыло? Девять! На свои товары другие купил, опять кому прибыло? Десять! Далее оставим счет, не разуваться же! Эх, князь, князь молодой! Это ж

невозможно сосчитать, сколько да кому от купца прибывает!

Так рассказывал Владимиру бойкий купец из Коломеня, знакомый по прошлой осени. И он князя узнал, и князь его узнал, чем купца порадовал: один раз виделись, в церкви, слова не сказали друг другу. Вот она, молодость-то, памятлив глаз-то, раз один лишь заметил, и поди ж ты!

— А князь молодой в себе поизменился! Омужел сильно. Оно ведь так, мужское дело-то, сначала в рост идешь, потом вширь, плечи — они-то раздаются, грудь глубже становится, вот он, голос-то, и гудеть начинает. Рубаху-то да кафтан небось к весне новые шить пришлось? Ну, омужел, ей-ей, омужел,— радовался бойкий коломенец.— Новая отцу с матерью забота приходит — сыну пора закон совершить. Невесту ищут небось?

— Хватит тебе, хватит, заговорил князя совсем,— перебил купца его товарищ.— Ты не гневайся на него, князь. Мы с ним на паях торгуем десятый год. Я уж привык, а поначалу приходилось ему рот шапкой затыкать.

Кого-то не повидаешь на путях-дороженьках! Коломенец правильно подметил. У Владимира был дар, пока еще им самим не замеченный, навечно запоминать людей, однажды виденных, и имена, услышанные хотя бы раз.

Враг, неприятель, недруг, противник — имен ему много, зови как хочешь — опасен более всего, когда неизвестно, где он. Подкупивши съестного, пообедав на переволоке горячим, заев пирогом со сморчками, раннелетним грибом, Владимирова дружина уселась в спущенные в Днепр струги и пустилась вниз.

Всего от воды до воды истрачено было времени часа три. Немногим скорее бы одолели такое же расстояние, идя на веслах против теченья. Водяной путь хорош, когда на переволоках порядок. Волок — всего пути голова. В Смоленской земле сошлись главные волоки: с Волги через Вазузу в Днепр, которым Владимир прошел из Ростова Великого; с Днепра на Угру либо с Угры в Днепр у Дорогобужа; с Угры в Десну либо с Десны в Угру у Ельни; с Днепра через Касплю в Ловать у Усвята; из Двины Западной через Торопу у Торопца в Ловать же; в ту же Двину через Касплю. С помощью этих волоков, старых, известных, с мастерами умелыми можно проплыть-проехать во все русские земли и города и во все иноземные владенья: к булгарам, арабам, туркам, грекам, латинянам в Италию, ко всем германцам, к датчанам, шведам, норманнам, французам,— словом, здесь путь во весь белый свет. Потому-то и погнал

князь Всеволод сына своего Владимира в Смоленск на усиленье князь Изяславова тамошнего посадника: чтоб Всеслав Полоцкий не учинил чего над волоками. Тут сраму не оберешься, на всю землю разнесут худой слух: князья города держат, а на волоках проходу нет.

По большой, еще весенней воде Владимировой дружине удалось одолеть триста пятьдесят верст до Смоленска чуть больше чем за двое суток. Могли бы и быстрее дойти — вода помогала, сама унося лодьи за сутки верст на пятьдесят. Мешали камни в русле. Пока плыли до Дорогобужа, пробили дно одной лодьи. Хорошо, что село было близко, а там мастера справились быстро.

Вошли в речку Смядынь — смоленскую пристань. Вот и Смоленск на горе.

В субботу князь Владимир вышел из Ростова Великого. Через второе воскресенье, в понедельник, ступил на смядынскую пристань. Сколько выходит? Восемь суток дороги, прибыли на девятые.

Лето шло без покоя: ждали появленья Всеслава. Мстислав Изяславич сидел в чужом для него Полоцке, будто в частом кустарнике: и впереди шорох, и за спиной шорох, и по бокам шуршит. Не поймешь, то ли зверь крадется, то ли мышь невинная возится. И чем более ждешь, чем более слух настораживаешь, тем шума больше, не поймешь, идет ли, ползет ли, летит ли, либо это у тебя самого кровь бьется в ушах и собственное затаенное дыхание свистит.

Так же и в Смоленске было. Слухом земля полнилась, и там Всеслава видели, и там о нем слышали. Получалось — в один и тот же день являлся Всеслав и под Менском, и в Дрютеске. Эти-то города хоть не так друг от друга удалены. Но как он мог в тот же день выгнать Всеволодова тиуна из Мстиславля! И тогда же забрать Торопец!

В Полоцке Мстислав Изяславич умер от болезни. Новые слухи пошли: кровью захлебнулся, от страха скончался. Его не любили за жестокость, с которой он в Киеве гнал людей, заподозренных в разграблении княжой казны после бегства князя Изяслава, да и в Польше он себя показал не добром. Люди осторожные к своей душе и благочестивые, поминая латинское присловье: о мертвых говори либо хорошо, либо ничего, избегали говорить о Мстиславе. Тем и они его осуждали.

По причине постоянной опасности князь Владимир не мог, как в Ростове Великом, утолить свою жажду к движенью. Ему довелось познать Смоленскую землю короткими путями. По Днепру плавал до Орши, сухими путями ходил на Касплинское озеро, а в другую сторону, на юг, в Погоновичи, Василев и Мстиславль.

Днепр —дорога ровная, верная. Редкая неделя кончалась, чтобы не было писем от князя Всеволода, от матери-княгини, от младшего брата, Ростислава, от сестер. Вверх из Переяславля, из Киева, из Чернигова письма шли и восемь дней, и девять дней. Вниз Владимировы письма поспевали на двое суток скорее.

Перед становленьем рек гонец привез сразу два письма, от князя Всеволода и князя Святослава Черниговского, старшего отцовского брата. Святослав писал племяннику, чтоб тот готов был подать помощь Святославову сыну, Владимирову брату двоюродному, Глебу. Глеб Святославич сидел в Новгороде. Отец велел Владимиру во всем слушать дядю Святослава, как если бы сам он, Всево́лод, сыну что приказал. Речь же шла о Всеславе, будто бы полоцкий изгой собирается идти на Новгород. Пришлось Владимиру задуматься: почему дядя Изяслав Киевский молчит, почему отец с дядей Святославом не пишут, что́ Святополк Изяславич, посланный в Полоцк на место умершего Мстислава, должен против Всеслава делать? Почему ему-то, Владимиру, не приказали на помощь Глебу идти вместе со Святополком? Будто бы нет ни Полоцка, ни Святополка! Советоваться было с кем. Смоленский епископ славился умом. В дружине у Владимира кроме боярина Порея были и другие надежные бояре, старые опытом. Русские князья советовались с дружинами. Законом такое писано не было, но обычай прочнее закона: закон выдумать можно, обычай от жизни идет. Порешив вместе с князем, дружина охотой за князем идет, доброй волей брони надев. Добрая воля сильнее клятв-обещаний и крепче крестного целования.

Однако ж молодой князь решился про себя думать: дурак думкой богатеет, умный и подавно. Владимир собирал, раскладывал, складывал, примерял. Получалось — не ладно между младшими Ярославичами и Ярославичем-старшим. Старший из рук младших принял Киев. В Киеве не любят Изяслава, тихо отъезжают к Святославу в Чернигов, к Всеволоду в Переяславль. Да и с криком бегут. Свободному человеку дорога не заказана, иди, куда хочешь, живи, где сможешь прокормиться. Да не каждому хочется

покидать насиженный уголок и могилы отцов. Такие смотрят на досадившего князя как на помеху и ждут не обычного веча, где судят рядовые дела, а изрядного, когда Земля колыхнется.

Вспоминалась угроза: извергну тебя за то, что ты не холоден и не горяч, а только тепел. Нет у Изяслава большой вины перед Киевской землей, чтобы, покаявшись, искать мира, любви. Нет и заслуг, чтоб за него Земля держалась. И в Ростове Великом, и среди смольян говорят про Изяслава: отец у него князь был, а этот ни в тех и ни в сех.

Уже крепко ковал мороз. На Днепре лед был еще ненадежен, а на Смядыни держал лошадь. Снегу мало, со льда сдуло порошу, и можно было любоваться через лед, через прозрачную, как слеза девичья, воду дном, поросшим водяными растениями. Видно все, как рукой достать. Топор уронили — вот он, лежит, зарывшись железом, приподняв топорище. Старая лодья, выставив поломанные ребра, на которых когда-то держались обводья, загрузла набухшим долбленым днищем в мягкий ил, сразу и не поймешь, что лежит. Рыбы проходят у тебя под ногами стайка за стайкой. Вдруг в сторону взяли. Им навстречу идет острорылый осетр по самому дну, как ползет, и под его перьями взмывают мутные облачка ила — как пыль на земле. Ребята долбят лунки для подледного лова. Но как же быть со Всеславом, с Новгородом? С братом Глебом Святославичем? Первое настоящее дело...

Довольно выдержав, Владимир собрал будто невзначай старших бояр. Достаточно было сказано неспешных речей — только слушай. Хватает лукавства в писаных книгах, не без хитрости живые книги. Городские бояре пустили корни, у них семьи, дома, имущество, земля, люди, они держатся места. У бояр, посланных с Владимиром, корни остались в Переяславле под надзором друзей, под охраною князя Всеволода. Им скучно в Смоленске, переписываются со своими, да что в письмах! Более года не видались. Каждый по-своему, каждый по-разному они встрепенулись. На Всеслава? Пойдем! Рассчитывали дороги, какую выбрать, сколько времени ехать и как. Спорили, но — важно — без шума. Своих немало — пять десятков мечей. Но против Всеслава да к Новгороду, в места плохо знакомые? Нужно брать с собою не менее сотен полутора смольян. Проводников надежных, не хвастунов.

По Каспле с Ловатью до Новгорода свыше шести сотен верст. Зимними дорогами будет покороче, но нет еще зим-

ней дороги. Ехать в санях с обозом. Нужно сто двадцать — сто тридцать саней, чтобы все с собой увезти и ехать быстро, боевых лошадей вести за санями, с перепряжкой. За четыре дня успеем доехать до Новгорода, когда установится санный путь. А пока собираться и набирать смольян. Время есть: без пути не сдвинуться и Всеславу. Но где он?

Установился путь, нашелся и Всеслав. О движении его к Новгороду с вожанскими полками прислали грамоты из Холма на Ловати, из Торопца на Торопе. Гораздо ранее князь Святополк Изяславич писал из Полоцка: есть слух, будто бы Всеслав ходит с войском у Ильменя.

К Новгороду Владимиру с дружиной, со смолянскими помощниками не удалось поспеть. Глеб Святославич с новгородцами справился сам. Об этом узнали на третий день после выезда из Смоленска, уже миновав Холм, от беглецов — не то из полка Всеслава, не то от испуганных битвой людей. А к вечеру встретили и самого Всеслава. Как волк охотника, так опытный воин, заранее подзрев новых противников, успел с дороги сойти и стать перед лесом, оградившись завалом из спешно срубленных елей.

Всеслав выслал своего старшего сына, Бориса, на дорогу к Владимиру с наказом остаться заложником, а Владимира Всеволодича просить на переговоры. Совсем светло, день выдался солнечный — все видели, что ни на миг не задумался князь Владимир, выслушав Бориса Всеславича. Ясным голосом ответил: «Добро, так и быть!» — и пустился к завалу, последней крепости изгоя Всеслава, напрямик. Снегу в те дни еще мало нападало — на четверть. Для саней по дорогам самая хорошая езда, а полем поезжай где хочешь: не нужно было Владимиру пользоваться следом истомленной крестьянской лошадки Бориса.

Всеслав встретил Владимира пешим. Стоял он перед завалом, а за ним кто-то безоружный. Сам же завал, ощетиненный поднятыми к небу еловыми лапами, был будто мертв. Никого не видать. Но слышно, что тюкают топоры по мерзлому дереву. С мягким шумом упало еще одно дерево. Укрепляются кругом, что ли?

— Садись, Владнмир Всеволодич,— пригласил Всеслав, и подручный принял коня.

Сели на сваленную сосну, на которую был заранее наброшен плащ, чтоб свежая смола не липла. Сидели.

— Что ж молчишь-то? — спросил Всеслав.

— Жду,— отвечал Владимир.

— Ждешь...— согласился Всеслав.— Из ранних ты. То для меня хорошо. Буду я думать вслух. Для тебя. Нас здесь нет и шестидесяти. Лошади есть. Все голодные, ослабелые. Среди них ратных коней будет ли половина? — спросил князь Всеслав и ответил: — Нет! У тебя,— продолжал он, не глядя на Владимира,— дружинников сотни две, не считая конюхов при санях. И все вы, лошади и люди, сытые, а смолянских конюхов ты тоже не зря выбирал и не силой выгонял. Так? — опять спросил Всеслав и опять сам ответил: — Так!

— Ты можешь меня взять,— говорил Всеслав,— но я не дамся тебе. Кормил меня Изяслав затвором, бог меня от затвора и смерти спас. Вторично не буду его искушать, затворным сиденьем я сыт. Новгородцы с Глебом Святославичем меня отпустили. Ты меня убьешь, но и твоей дружины мало останется. Выбирай, брат-князь, ты. Я свою долю уже выбрал.

— Ты обещался новгородцам? — спросил Владимир.

— Обещанье под страхом отпускается, ты же в святых книгах ученый,— возразил князь Всеслав и, повернувшись всем телом, заглянул Владимиру в глаза.— Но ты, я знаю, не только в одних святых книгах начитан. Слышал же ты, как нормандский дюк Гийом, заманив Гарольда-саксонца, вынудил его клятву дать? Слышал? И не бог между ними решил, а Гийомова хитрость да саксонская горячая поспешность. На могиле Гарольда написали: «Несчастный» — и только. И на моей могиле если что напишут, то те же слова. Обещанье! Ты князь, и, запомни, на себе ты узнаешь цену обещаньям. Когда и как, не знаю, но будет день — и ты мои слова вспомнишь. Скажи, долговязый книгочей Святополк что тебе писал обо мне из моего Полоцка?

— Оповещал: ты ходишь под Новгородом и Новгороду грозишь,— ответил Владимир.

— Когда он писал, меня еще под Новгородом не было,— заметил Всеслав.— Но предвидел он верно, ибо предвидеть было легко. Почему же он сам на меня не пошел? Первое, боится он из Полоцка выйти, страшась моих людей, полоцких. Второе — он Изяславич, в Новгороде — Святославич. Если не знаешь ты, так узнай: все далее расходятся Изяслав со Святославом. Всеволод же в середине. Я Святополка выгоню из Полоцка. Кривская земля наша, мы сами кривичи от древних князей. Кривская земля нас держится. Напрасно вы, Ярославичи, нас гоните.

Наше кривское дело — стоять против Литвы. Вы, Ярославичи, нас поворачиваете, наше изгойство — ваш грех. Перед Землей грех. Так-то, князь. Теперь садись на коня, ступай к своим и нам побольше хлеба пришли. Ты небось хорошо запасся, не везти же обратно.— И Всеслав засмеялся.— Смолянские пироги от века славились мягкостью, пряники — сладостью!

Встали. Простились, обнявшись по-княжески, для чего Всеслав, будучи на полголовы выше Владимира, с неподражаемой гибкостью как бы уменьшился. И напоследок сказал:

— Еще тебе загадка, брат-князь. Почему новгородцы меня могли убить, но не убили? Ответ пришлю, сверь его со своим.

Никто из старших бояр ничего не спросил, когда Владимир, вернувшись с переговоров, не мешкая, наряжал обозные сани ехать к Всеславовой засеке. Смолянские конюхи весело, не запинаясь отвечали Владимиру на вопрос: «А у тебя в санях что?», помогая отбору запаса, даримого князю-изгою с его неудачливой дружиной.

Боярин Порей, бывший при молодом князе не то дядькой, не то главным советником, изготовившись к бою, сидел гора горой на богатырском коне. Первым сообразив, что крови нынче не быть, он, с натугой перенеся правую ногу через переднюю луку, соскользнул наземь и чихнул по-медвежьи так, что конь отпрянул на полную длину повода. Видно, сила не в хитроумии шутки: можно веселиться, не уставая, одним и тем же, когда оно приходится к месту. Всеизвестный Пореев чох отозвался и смехом, и усмешкой, и быстрой шуткой, столь же известной, как само богатырское чиханье, и столь же неизносимой.

Дружинники слезали с лошадей, вынимали из конских зубов железа, отвязывали уздечки от оголовий, зацепляли длинные чумбурные ремни к задкам саней, расседлывали и бросали седла в сани. Прежде всадника — лошадь.

Помогая друг другу, стягивали доспехи, надетые поверх полушубков, сменяли шлемы на шапки и влезали в овчинные шубы, чтоб мороз не пробрал на быстрой санной езде.

Около леса, за Всеславовой засекой, поднялся дым один, другой. Будут отогреваться, будут сытые, заночуют — что до них! На сколько-то времени князь Всеслав

остался в прошлом. В настоящем же дне жил первый княжеский приказ. Владимиру довелось поступить в важнейшем деле собственной волей, без совета с дружиной, без долгих раздумий. Послушались его, будто старого князя. А не бывало ль, что спорили и оспаривали старейших?

Обозные, передав Всеславу запасы еды, догнали Владимира на ночлеге. Из двух десятков саней Всеслав оставил себе половину под своих раненых и ослабевших. Старшой обозный передал Владимиру деньги — плату за сани с лошадьми — и грамотку, красиво выписанную свинцовым стилосом на бересте, подручном русском пергаменте. Поблагодарив молодого Всеволодича за разумность — не за доброту, не за щедрость, заметил себе Владимир,— Всеслав давал ответ на свою загадку:

«Новгородская земля меня отпустила живым, ибо не пришло время, чтобы наши люди князей убивали. Придет и такое время, будут убивать, но нас с тобой тогда здесь давно уж не будет. Тебя ждет долгая жизнь, брат-князь. Как меня. Молись, чтоб тебе не довелось жить, как мне. Знать, что нужно делать. Знать, как делать. Но не владеть силой для должного. И вместо силы прибегать к насилию. И сотворить из желанного едва ли десятую долю. Но делится ли желанное на доли?..»

В избяном тепле, на соломе, устланной полушубками и шубами, лежат дружинники, лежит Владимир. В красном углу перед иконой богоматери богатого яркостью киевского письма предстоит крохотное копьецо огонька неугасимой лампады. Богоматерь любима на Руси, киевские, черниговские, новгородские живописцы более всего заказов получают на лик матери с младенцем.

Спать бы пора... Отзвуки дня ходят в людских душах, просятся в слово, и тихая речь течет перекличкой:

— Тука за плечо дергал князя Изяслава. Все твердил — послать в затвор да прикончить Всеслава.

— Смяли нас половцы на Альте. Изяслав не знал, что и делать.

— Потерялся он, и Земля ушла от него.

— Тука — воин знаменитый, а человек он злой.

— Кровь нерусская. Чудин, его брат, ничуть не добрее.

— Однако ж они оба верные люди, слову не изменят.

— На злое они умеют толкать. Не умеют иначе.

Владимиру вспоминается написанное рукой Всеслава.

Сила. Насилие. Что это, как различить, кто укажет предел силы, границы дозволенного? Святое писание отвечает. Христос приказал Петру вложить меч в ножны. Христос побоями выгнал торговцев из храма. Бог с тобой говорит через совесть. Твой выбор свободен.

Перекличка не гаснет:

— Всеслав нынче не захотел волком бежать, а мог ведь.

— Мог-то мог... Однако ж такой князь своих не покинет. За ним можно стоять.

— Он сам дался, когда его Ярославичи схватили. Дружину собой выручил и Землю свою спас от разоренья.

Поляна широкая, из-под снега торчат былья — была летом живая трава, ныне мертвая стала, отжив до морозов и полностью совершив назначение жизни — семя дать, чтоб род, сохранившись, встал новой весной, ярким цветом не уступая умершим. Но старшие нового племени былью стали, быльем поросли отцовские курганы. Живые Владимир со Всеславом сидят на дереве, срубленном во время зимнего сна,— умерло дерево, не проснувшись. В полуверсте на дороге, пробитой через поляну, изготовившись к бою, ждали Владимировы дружинники, о чем решат молодой Всеволодов сын с изгоем Всеславом. И Владимиру кажется чудны́м, как же это он поехал на переговоры, не посовещавшись со старшей дружиной, как это бояре его отпустили... И понимает, и боится понять, какое же страшное дело готовилось, если двести дружинников спрятались за спину молодого княжого сына. Среди них были матерые бояре старшей дружины, крикуны, спорщики, свои и смольяне. А он и не думал. Кто же решал — совесть?.. На долгую жизнь, пишет Всеслав.

Прислушивается вновь. Слышит:

— Он родителей улестил. Она его не хотела.

— Помню, помню ее, красавица писаная, что цветок.

Как же они перешли со Всеслава на чью-то жизнь, совсем на иное?

— Он уверялся, что силой сумеет ее примучить к себе. От времени слюбится, дескать.

— Видал я их, сколько-то лет минуло. Она отцвела раньше срока. Он, видится, тоже своего не нашел.

— Через силу идти — какая любовь...

Так вот что, вот каким мостиком перешли ночные беседчики с княжих дел на любовь меж мужчиной и женщиной! Сила. Насилие. Веки сами сближают межи ресниц, отходит в бесконечное удаление лампадный светик. Перед внутренним зрением сон показал чье-то лицо и тут же пус-

тился обманывать, подставляя другое, третье, четвертое, и не давал узнать ни одного. А из того далека, куда уходил огонечек, допевали отходную насилию:

— И дети не жили у них, а кои выжили — скучные, слабые...

— И хозяйство упало совсем...

— У людей урожай, у него прусик съел и солому...

— Рядом дождь бог пошлет, его поле град побил...

— И холопы у него бегут...

— А кто остался, вместо работы ворует...

Перекатилось Солнце на лето, а Зима пошла на морозы, пользуясь времечком, когда дни прибавляются не более чем на воробьиный шаг. Шаг! Не скачок — воробей прыгает борзо.

Изгой Всеслав барсом прыгнул к Полоцку, так широко прыгнул, что Святополк Изяславич без боя вышел из кривского стольного города и бежал в Туров. Туровское княжество, как и Владимиро-Волынское, держал Святополков брат Ярополк. В поспешном отъезде Святополк успел захватить не одни свои любимые книги, но и часть Всеславовых, который тоже слыл книголюбцем. Князь Всеслав говорил: «До лучших моих книг Святополк не добрался», зная, что такое больнее сердцу книжника, чем потеря города.

Туров был поставлен на берегу Припяти при древнейших князьях, в месте низком, подверженном весенним затоплениям. Первоселам пришлось делать валы и для защиты, и от наводнений и поднимать жилое место насыпной землей. Город был дорог своею дорогой — рекой Припятью, по которой вниз идти — в Днепр, а вверх — во все волынские города, на Буг-реку, к полякам. Сеют рожь, гречу, овес, не зная неурожаев, — воды хватает, зато полей нет, есть польца́ меж болот, называемые здесь островами. С острова на остров устроены переходы из бревен — леса хватает на все и про все. Молотят на островах же и зерно вывозят зимой по льду, ибо летних дорог для телег или лошадей здесь совсем нет. Зато и чужому сюда пройти трудно.

Получив от отца Изяслава подмогу людьми, Святополк решил вернуться в Полоцк. Пришлось спешить, упреждая конец зимы: с первым оседаньем снегов в марте дорога на Полоцк через Голотическ на реке Вабиче, удобная зимой, станет непроходимой, как и вся земля до Припяти. Свято-

полк ко дню выхода расхворался, и дружины повел Ярополк Изяславич, второй сын после Святополка.

Под Голотическом Всеслав остановил Ярополка. Дружины схватились, увязая в глубоком снегу. С обеих сторон пало десятка два воинов, и Всеслав показал хребет Ярополку, бежав со всеми своими и с обозом, оставив победителям около сотни саней, груженных малоценным припасом... Лошадей беглецы успели выпрячь.

Тут же пала оттепель, и дружина сказала Ярополку:

— Ты, князь, сам пропадешь и нас всех потопишь в разливах на потеху Всеславу. Пойдем домой.

И ушли, и благо сделали себе и другим, так как весна пала ранняя.

Князь Всеслав потешался:

— На деревья надо глядеть! Как синички запрыгают парами, так и кончай воевать на нашей земле. Встал Ярополк на поле, поле за собой оставил. И знамя расправил. И домой пошел несолоно хлебавши.

Ярополк успел вернуться в Туров, не пропав в злобных зажорах — так называют снега, напоенные талой водой. В этих словах не простое красноречие. Неосторожные тонули. Погибали и более осторожные от голода, холода, мокрети, отрезанные на гривке — островке без пищи. Не имея из чего костер сложить, чем укрыться, как высушиться, они коченели заживо, как трупы. Что ж тут особенного! У каждой земли свой нрав, и перечить ему не подобает.

Неумелому сухой жаркий песок такая же смерть, как ледяной холод мартовских разливов на Припяти. Не спросяся броду, не суйся в воду.

Летом в подгородном селе Берестове, близ Киева, на княжом дворе. Домовые клети грубо срублены из дубовых кряжей: углы не опилены, отрубы неровные, один дальше торчит, другого едва хватило зарубить лапу. Бревна ошкурены, но стругом не выправлены, торчат наплывы, суки сбиты, но не зачищены. Крыши все разные, есть круглые, острые, но каждое острие собой глядит, многогранные. Даже кровельная драть спущена неровно.

Неровно прорублены окна, и все они разновелики. Наличники тяжелые, резьба чудна́я. Звери не звери, птицы не птицы. Будто бы резчик, начав одно, о другом вспом-

нил, третьим увлекся. А тут пора — и кончил четвертым.

Наружные лестницы на вторые ярусы, на крыши тоже разные — и ступени, и перила, и переломы у каждой посвоему.

Ставили клети, связав их крытыми переходами от земли и до крыши. Одна клеть шире, другая уже. Нет чтоб дом построить, собрали кучу домов. Но все вместе они — одно. Как живой человек. Уши на глаза не похожи, руки не ноги, голова не туловище. Но отнять ничего нельзя: искалечишь, будет урод либо совсем убьешь. Все же в человеке, как в любой живой твари, есть и однообразие. Проведя мысленный раздел сверху донизу, мы делим все живое на две соразмерные части — правую и левую. Берестовский княжой двор, или палатий по-гречески, не поддавался разделу. Как ни ходи, как ни примеряйся, никак не получается, чтоб с одной стороны оставить подобье другой. И свои, и иноземцы старались постичь тайну, посредством которой несообразное собралось в единство, где ни убрать, ни прибавить бревна.

Все строения и ограду, подобную старинному тыну из разнодлинных заостренных бревен, князю Ярославу Владимиричу в последний десяток его жизни поставили двое умельцев — Косьма и Дамьян. Из черниговских оба. Прослышав, что князь Ярослав собрался сменить свои обветшавшие берестовские клети, ставленные при Владимире Святославиче, черниговцы с ним подрядились.

— Надоело нам, князь великий, строить все из сосны да из ели, нас эти сосны да ели изъели. Оно дерево смолевое, сочное, доброе, родное, однако ж и от своего родного двора проехаться следует. Сам ты знаешь, что после хиосского вина, греческой диковины, или после дорогого лесбосского нет лучше черной браги, заведенной на кислой закваске. Так мы порешили побаловаться с дубом.

— А ну? А как? Покажите! — приказал Ярослав.

Показали черченье. Это вот спереди, это вот сбоку, а это со спины, а здесь второй бок, здесь третий, четвертый да пятый с шестым. Да еще здесь, глядь-ка!

— Сколько ж у вас боков? — подивился Ярослав.

— Много,— отвечают.

— Не пойму я, не вижу, как выйдет...

— Мы и сами еще до конца-то не видим,— признались умельцы.— Как что ему нужно, еще дуб себя покажет. По нему и сделаем.

Сговорились. Для себя Косьма с Дамьяном назначили

малую плату: с дубом мы еще не работали. Полюбится — доплатишь по любви.

Ярослав был в долгих путях, увидел двор уже законченным и сказал:

— Красиво вышло.— Посмотрел, походил и поправился: — Нет, слово не то, что-то другое просится, чтоб назвать.

Митрополит из греков, которого Ярослав взял на смотрины, иное сказал:

— Величественно. Однако же гладкости и стройности нет. Не христианское. Дико-языческое строение.

Ярослав перевел умельцам слова митрополита и засмеялся:

— Он человек святой, да глаз у него чужой. А ведь подсказал мне — русское у вас получилось.— И наградил умельцев за удачу.

Будучи любителем голубиной охоты, Изяслав Ярославич, живя летним временем в Берестове, сам любливал погонять стаю. Умельцы и для голубей сумели посадить теремок с удобным для гона выходом на крышу, с хитрыми перильцами, чтоб увлекшийся забравшей немыслимую высь стаей охотник себе косточки не поломал. Сколь голубей ни люби, крылья у тебя не вырастут.

Отсюда хорошо виден Днепр, текучий хребет русского тела. Да и гостей принимать хорошо. Хотя бы и на голубятне, места много. Голуби не любят чужих. Вернее сказать, хозяин ревнив, и если терпит наемного голубятника, то лишь по невозможности самому и кормить, и убирать, и гнезда строить птице.

— Княжеское бремя! — жаловался Изяслав Ярославич гостю своему, Бермяте, ближнему боярину князя Всеслава Полоцкого, и восклицал с горьчайшей обидой: — Не так живи, как хочется, а как господь велит. Да если б господь! А то — один того хочет, другой туда тянет, третий свое советует. Перенести бы мне эти терема на остров, я б рыбку ловил, голуби б летали. Знать бы такое слово, сразу сказал бы...

— Но ведь своим поступаться ты не захочешь,— заметил Бермята.

— Нельзя. Княжество не рубаха, которую писание велит отдать ближнему. Новгород взяли у меня. Я, не желая братоубийства, терплю. Глеб на словах держит город для меня. Поистине же слушается Святослава и доходы дает мне частью, частью — отцу. Лишили меня отеческого достояния!

— Ты же сам согласился на такое и не требовал, чтоб Святославов сын ушел из Новгорода,— возразил Бермята.

— Согласился! Ты, книжник! Как у Гомера сказано, помнишь? Добровольно поневоле? Сижу я между родной кровью, будто между двумя огнями. Там, за Днепром, Святослав, там, за Припятью, Всеслав твой. Земля же ко мне холодна. Им бы жить, добро копить да плодиться. От этого холода стал я чуток к огню. Потому и жжет меня.

— Князь Всеслав тебе не враг,— внушал Бермята.

Полоцкий посол был видом истинный кривич. Невысок, но кряжист, борода рыжеватая, глаза ясные, серые с искоркой, голос искренний, и владел он голосом, как певец. Да и вправду, петь умел хорошо и церковные песни, и свои русские.

— Вникни, князь,— просил Бермята.— Не мне говорить, не тебе слушать, будто бы Всеслав тебя любит. Любовь дело сердечное, а слово затаскали, не поймешь, что оно значит. Муж клянется любовью к жене, жена — к мужу, юноша — девушке, девушка — юноше, в ту минуту им смерть милее разлуки, а дунуло время своим ветерком и унесло любовь, как пушинку. Мой князь жил, живет и жить будет своею Землей, и чужая ему не нужна. Такое он всем доказал. Не старался он, чтоб его сажали на твое место. Ты это знаешь, не отрекайся! — еще настойчивей, еще вкрадчивей запел Бермята, и хоть Изяслав и махнул рукой, но не прервал.— И ты знаешь: сидя в Киеве на твоем столе, Всеслав не пытался утвердиться. Знаешь! Полоцкую дружину к себе не вызывал, киевлян не приманивал, не прикармливал...

— Киевляне! — подскочил Изяслав.— А кто их прикормит! Норов змеиный! Извиваются, а куда поползут и где укусят — никому не понять. Нынче покой, завтра на вече взревут, и будет тебе горше, чем во рву львином.

— Не рви сердце,— утешал Бермята.— Каковы люди, таковы они есть. Богом созданы, не переделаешь.

— А Антоний-святоша? — вспомнил Изяслав.— Монахов-то гладил твой Всеслав!

— Антоний — дело особое,— возразил Бермята.— Он ни за кого не стоит. У него правда общая.

— Вот и общая! Связались святой с колдуном! Довольно на сегодня. Устал я от вас всех. Буду делать, что пожелаю. А ты иди либо сиди. Я с голубями душой отдохну.

И пошел Изяслав, ладный, росту высокого, свежий лицом, русоволосый, борода клином — не скажешь, сколько лет ему: и тридцать дать можно, и пятьдесят. На ходу сбро-

сил кафтан на пол в горнице и блеснул в двери белой косовороткой.

Оставшись один, Бермята подошел к низкому окошку, по бокам которого на уровне верха в стену были вделаны для красоты два турьих рога. Подняв руки, Бермята взялся за рога, подтянулся, перекинул ноги через подоконную доску и удобно уселся, вывеся сапоги наружу. Там, под окном, шел чудно́й, как всё здесь, не то мостик, не то переход,— ступив на него, можно было пройти на конец терема, пристроенного к этому, и в конце его усесться в подобие кресла между крылами некоего чуда-юда морского, точенного из дерева и травленного красной краской.

Бермята раздумал: и здесь хорошо. Сидел, забрав в кулак бороду, выгнув по-кошачьи спину, и, глядя на синюю дорожку Днепра, размышлял: «Довольно иль не довольно еще? Уехать или остаться еще? А? Как быть, чтоб вышло получше? Эх, пройтись бы по крыше с князь Всеславом туда да обратно, сто шагов и сто слов, и было б довольно. Нет таких средств у тебя, посол. Были б, глупых бы посылали, ты б дома сидел. Решай сам...

Изяслав Ярославичу нет счастья в жизни. Добрый человек, ему бы все повременить, воздержаться, пока дело само себя не сделает. Он, с душой помолившись, полагается на бога больше, чем на себя, на людей. Таким только с богом и удобно: бог-то слушает, не устает. Одинаково легко Изяслав поддается убежденьям последнего советчика, кто на него сильнее надавит. Более других им распоряжается старший его сын, Мстислав. Этот знает отца лучше, чем себя: не диво, впрочем,— себя знать трудней, чем других... Мстислав не жалеет силы на убежденья. Убедив, согласие вырвав, действует сразу, опасаясь, как бы отец не передумал».

Сидит Бермята, решает. Решит. А князь Изяслав поднял стаю. Трепеща, крылатые ввинчиваются в небо. Выше и выше уходят в голубые глубины княжие голуби. Князь свистит, как Соловей-разбойник. И до чего же родной этот свист дубовым теремам, поставленным на утеху русскому взору! Будто сами они свистят. Э-ге-гей! Стой! Держись!

Чу! В конюшне затопали испуганные кони — из новых, не привыкли еще. Не знают они — нет здесь разбойников, киевский князь свистит для забавы.

Голуби сильно и споро уходят вверх, вверх. Эх, быть бы птицей! Птицы небесные... Бермята одним глазом взглянул вверх. Вернутся... Нет небесных птиц. На земле — все земное. А жаль...

Ездил к Изяславу Бермята для умных бесед. И другие наезжали от Всеслава. Будто бы прятались они, будто бы таились.

Киев, говорят, что лес, люди в нем — листья. Любят люди красивое слово — оно понятней, доходчивей, его слышишь, как в руки факел берешь темной ночью: светится слово. И освещает.

Но думать, что в Киеве человек подлинно незаметен, может только новоприезжий, кто век вековой прожил в Коломене на Оке либо в Залесском селе на Клещином-озере.

Шла и шла пересылка между Всеславом и Изяславом. Киевляне вольно судили о том о сем, не щадя своего князя. Для жителей других стран такое щедрословие могло бы сделаться небезопасным. На Руси свое: что город, то норов, не любо — не слушай, а врать не мешай. Поминали Изяславу его возвращение за польской спиной. Не вмешайся князь Святослав Черниговский, сколько голов было бы бито! Хоть и умер уже Мстислав, сын Изяслава, не оставляли его в могильном покое: убивал, глаза колол, мстя за отца. Семейные убитых здесь, здесь же и слепцы.

Холодная к Изяславу Земля грелась недобрым жаром. Шатание явилось в Изяславовой дружине. Тука отъехал со своим добром к князю Всеволоду в Переяславль. Брат его Чудин, который посадничал от Изяслава в Вышгороде, тоже собирался отъехать.

— Какие столпы пошатнулись! — судили злорадные киевляне.— Выбор Тукою князь Всеволода понятен: Тука жестк, что кремень. Всеволод помягче всех Ярославичей. Куда же Чудин подастся? За братом потянет? Или пойдет к Святославу? Это уж будет кость на кость! Святослав ведь во! — и в поясненье слушавшему под нос совали кулак.

Развязка пришла в 1073 году. Святослав вызвал к себе в Чернигов брата Всеволода, но встретил его на полудороге от Переяславля, в Ольжичах.

— Звал я тебя советоваться, ты запоздал, я без тебя решил. Иду, прогоню Изяслава из Киева, прежде чем он вместе со Всеславом меня не высадит из Чернигова. Несдобровать тогда и тебе.

— Худо на старшего идти, нет такого обычая, Земля тебя не примет,— возразил Всеволод.— И худо первому руку поднимать.

— А добро ли старшему на младших умышлять? — спросил Святослав.— А что до зачинщиков, то хоть ты и знаешь на пяти языках, но и я тоже начитан. Давно известно: напал не тот, кто первым оружие поднял, а кто пер-

вым умыслил напасть и первым готовиться начал. Это, брат, базилевс Юстиниан сказал, и тому минуло пять веков, что ли? Я на брата Изяслава ничего не умышлял, это он на меня копья острит в полоцких кузницах. Ты как хочешь. Иди со мной, иди домой. Я назад не поверну.

Переправившись под Киевом, князь Святослав — Всеволод с ним — пошел не в город. Со своей дружиной черниговский князь двинулся в чудесное Берестово. Спешил он медленно. Не для чего ему было встречаться со старшим братом ни с мечом, ни с горьким словом. Через Днепр переправлялись как сонные, берегом шли нога за ногу, за час две версты. Давали время киевлянам. Дрова были готовы, котел налит доверху. Но какой огонь ни разведи, срок нужен, чтобы варево закипело.

Изяслав успел свое ценное вывезти в Киев. Навстречу его обозу текли шумные толпы киевлян. Пропуская княжьи телеги молча, люди вновь заполняли дорогу. В Киеве князь Изяслав собирался долго и тщательно. С большим обозом и малым числом дружинников Изяслав выехал из города через день после Святославова прихода в Берестово и направился на запад, в Польшу.

Киевское вече, собравшись в Берестове, единодушно посадило на княженье черниговского князя Святослава.

В день отъезда Изяслава Святослав пошел на освобожденный старшим братом княжой двор в Киеве. Всеволод сразу отправился в Чернигов, княжение в котором ему передал Святослав, как полагалось по порядку передвижения братьев с младших мест на старшие. Переяславльское княжество осталось за Всеволодом. Два Ярославича будто бы собрали Русь, не считая Полоцкой земли.

В Полоцке Бермята сказал князь Всеславу:

— Добились мы того, больше чего добиться нельзя. Ибо дела происходят от людей, а не люди от дел. Нам передышка пойдет. Помутились между собой Ярославичи. Изяслав поехал за помощью.

Болеслав польский, прозвищем Смелый, Ярославичам родственник. Мать Болеслава, жена короля Казимира Мария, была дочерью Ярослава Владимирича, сам Изяслав был женат на Гертруде, сестре короля Казимира. Четырех лет не прошло, как Смелый помог Изяславу вернуться в Киев.

Болеслав получил за это несколько земли с городами на Червенской Руси — она же Червонная — Красная — Красивая Русь. То есть доходы пошли Болеславу, а не Изяславу.

За Ярославом Червонным, Перемышлем, Саноком, Бардуевом — все эти города стоят в верховьях Днестра — начинается Польская земля. Польская речь сходна с русской, можно понять без труда, но все больше копилось различного между поляками и русскими. В Польше много крупных земельных владельцев, державших землю по наследству, собственников. Они раздавали землю от себя, требуя ежегодных платежей и военной службы от зависимых людей. Они, сильные владельцы, имели собственные дружины, могли поднимать собственное ополчение. От короля они мало зависели, король что дальше, то больше зависел от них. Отличались поляки и верой. Христиане, но по римскому толку. Епископы ставились римским первосвященником — папой, польское духовенство имело в Риме сильную опору. Богу молились по-латыни, в храмах служили службу божью по-латыни. Не ведающие латинской речи твердили по-латыни вслед за латинским попом. Грамоте учились по-латыни же. Грамотность и так не каждому дается, даже на родной речи. Троекратно труднее познавать сразу и знаки письма, и сложение слова, и самую речь. Не научишься один от другого, как на Руси учились целыми улицами, где деловую простую грамотку знакомцу в другой город мог написать либо один сосед из двух, либо оба.

В Польше грамотность пошла поверху, среди людей с достатком. Такие охотно щеголяли латинским словцом и пословицей. Известно, что сытый голодного не разумеет, а конный пешему не товарищ. С принятием христианства по римскому обряду в Польше достаточные еще быстрее и заметней обособлялись от малодостаточных. И без того от времени до времени конные все более удаляются от пеших. Тут добавилось прыти. Неграмотный слаб, написали по-латыни, перевели тебе правильно, неправильно, все равно подпиши. Связи общности по крови, по племени заменяются обязанностями должника перед заимодавцем, использщика — перед владельцем; на смену обоюдного согласия приходит понуждение слабого сильным, сильного — сильнейшим.

Киевляне могли, собравшись на вече, выставить из Земли неугодного им Изяслава. В Польше в ту пору уже не было веча, которое могло бы распорядиться королем: король зависел от сильных владельцев.

Первый раз князь Изяслав-изгнанник поклонился полякам в удобное для них время. К тому же в ту зиму поляки успели понять, что воевать на Руси им будет не с кем,

и не ошиблись. Сколько-то там русские побили из размещенной Болеславом дружины? Не в счет. Сегодня поляки опять воевали с богемцами. Настоящего мира на польско-богемской границе не было лет сто. То поляк чеху, то чех поляку лили за воротник кипящего сала, да так, что трескалась кожа и мясо лезло с костей.

Даже имея спокойный тыл, поляки не решились бы идти войной на Святослава Черниговского, ныне Киевского, чтобы встретиться в поле со всей Русью. Смелость без ума хуже отцовского проклятья. Болеслав встретил свояка крепкими объятиями и утешительными обещаниями. Обиженного князя чествовали знатные польские люди. Изяслав, видя сочувственные лица, открытые объятья, шапки, подметавшие полы, почтительные изгибы спин, щедро дарил. Настежь открыв лари с богатой казной, он уверялся: «С золотом добуду и войско».

Но дед его, Владимир Святославич, был мудрее, когда без счета дарил храбрых, приговаривая: «С доброй дружиной добуду и золото».

Едва ли не на три четверти знатные поляки облегчили Изяславовы клади, а дело его не подвигалось. Изяслав обижался, упрекал. Гуляли будто бы им сказанные обидные слова: «Ну уж и лошади польские: овес съели, а везти не хотят». Такое ему могли б и простить, не будь пересылки из Киева: князь Святослав сердится, хочет поднять Русь и ударить на Польшу. «Пока польские лапы увязли в богемской шерсти, нам самое время пощекотать польское брюхо русской колючей щетиной!»

Сказал ли такое Святослав Ярославич, или за него добрые люди острили слова-копья, но выходило похоже на правду. Поляки смутились — знатные, с весельем набрав русского злата, с горькой печалью опохмелялись призраками русских полков.

С превеликим достоинством произносились речи на отличной латыни. С оскорбленным достоинством князь Изяслав ответствовал на той же латыни. Но смысл польских речей не менялся: вот тебе бог, а вот порог.

И поторопили. С улыбками, в которых, как сабля в ножнах, сидела угроза чуть ли не смертью, доставили на границу.

Пока человек жив, он надеется. Еще до польских проводов-выпроваживания князь Изяслав послал одного из сыновей своих, Ярополка, в Саксонию. Наследственный и независимый владетель Саксонии, маркграф по-germански, полноправный и равноправный электор — избиратель

на выборах императоров Священной Римской империи германской нации, родственник Ярославичей по брачным союзам, через Ярополка советовал Изяславу ехать в Майнц, к императору Генриху, четвертому этого имени на престоле Священной Римской империи. Сам маркграф, как сильный владыка и электор, от коего империя зависит, просил императора о помощи русскому рексу-королю, несправедливо лишенному трона.

С горьких польских хлебов Изяслав поехал попробовать германских. С натугой добрались русские до Майнца, славного города при впадении реки Майн в знаменитый Рейн. Император Генрих принял изгнанного русского короля с почетом, обещал помочь. Взял богатые подарки. Особенно радовались германцы драгоценным украшениям работы русских златокузнецов с простыми и перегородчатыми эмалями и с чернью. Такого нигде не умели так красиво делать, как на Руси.

По поручению императора его доверенные вельможи вели с Изяславом длинные беседы, на которые германцы куда как горазды. Говорили, как все ученые люди, по-латыни, которой Изяслав, его сыновья и немногие спутники беглеца владели свободно. Пришлось несколько привыкать к Германцам. На Руси в ходу была латынь былых римских писателей и ученых. Учились говорить не быстро и точно. Поляки, учась латыни с Псалтыри и священного писания, в разговорной речи по своему характеру спешили. Германцы говорили медленно, как русские, но строили из латинских слов очень длинные цепи: от точки до точки по десять раз дух переводили. Расспрашивали о Руси, записывали для науки, были весьма благожелательны, содержали русских гостей щедро. Пищу поставляли плохую, грубую. Однако хозяева сами так ели, однообразно, скудно, и на плохой стол обижаться не приходилось: земля бедная, говядина не нагульная, свинина жилистая, домашняя птица тощая. Перец стоял в необычайной цене, на пирах стольники его подносили в особой посуде избранным гостям и сейчас же убирали, чтоб не пропал.

Улицы узкие, дома прочные, каменные, но сыро в них и воздух тяжелый. Бань нет, моются кое-как: простолюдье летом иной раз лезет в реку, зимой же обходятся.

Император Генрих не однажды и подолгу самолично рассуждал с Изяславом. Человек пылкий, красноречивый, властный, он увлекся мыслью о распространении империи.

— Ни в чем не стеснена свобода маркграфов, герцогов,

королей, равноправных сочленов общества, коим является империя. На великих сеймах они свободно, по собственной воле избирают достойнейшего из своей среды в императоры, возлагая на него и честь, и тягчайшее бремя быть защитником общей пользы. Могучая Русь, вступив в империю, найдет в ней и помощь, и защиту, и содействие в преуспевании. Облегчится торговля, увеличив общее богатство, власть русского короля упрочится. Русский король будет защищен силой империи от козней своих вассалов. В имперском союзе Русь будет самым большим государством. Русский король может быть избран императором, как другие электоры.

Увлекшись очевидностью благодетельного для всех вовлечения Руси в империю, император Генрих повторял одни и те же доводы, подобно продавцу камня-бриллианта, который, поворачивая перед свечой драгоценность, чарует покупателя игрой света на равновеликих гранях. В глубине тлеет будто бы пламень, и грани мечут лучи — кусок солнца в руке человека...

Князь Изяслав согласился стать королем, стать имперским электором, поставить и Русь в чудное здание Священной империи. Обрадованный император и грустный изгнанник обнялись, обменялись братским поцелуем. Договор, как и возведение в королевский сан, был отложен до дней возвращения Изяслава в Киев.

Во всем происшедшем не было ни обмана, ни обманщиков. Император Генрих видел благо людей в расширении империи. Князь Изяслав считал себя вправе ввести Русь в Германский союз: прочная дружба, взаимная помощь, облегченье торговых обменов, равенство.

Утром люди склонны меньше увлекаться мечтами, чем вечером. Дневной свет даже в серое ненастье отрезвляет умы, кипевшие в желтом свете свечи. Вечером говорят — сделаю завтра, и верят себе и грядущему дню.

Завтра, завтра, завтра... Но сегодня — ничего. Поляки успешно воевали с королем Братиславом Богемским, вассалом Священной империи: сегодня император был не в силах помочь даже Богемии.

Потому что Сегодня Генрих Четвертый боролся и со своими электорами, и с папой римским. Властвовало бесконечное злое Сегодня, требуя жертв, жертв, жертв. И прекрасное Завтра еще раз, еще раз и еще обагряло кровью нерожденного алтарь беспощадного Сегодня.

Изяслав тосковал. Он старел в изгнании, считал свои ошибки, учась труднейшей из наук — самопознанью. Уп-

рекать императора Генриха? За что? В писании сказано: кто отнимет хлеб у своих детей и бросит его псам! Русские не были псами для державного германца, но какое войско он мог дать Изяславу, коль едва защищал себя самого?

Император не обижал Изяслава. В тоске Изяслав решил поискать счастья в Риме. Святополк поехал в священный город к папе Григорию Седьмому. Не возвратит ли Изяславу Киев и любимое Берестово наместник святого апостола Петра?

Папа принял сына русского короля с еще большей пышностью, чем император принял отца. Перст божий! Громадная Русь, самая большая и самая богатая страна в Европе, хочет и будет излюбленной дочерью Римской Церкви. Забывается обман герцога Гийома, нового короля старой Англии. Забываются германские обиды и дерзости злобного императора Генриха. Папа помолодел. Бывший Гильдебранд, папа Григорий Седьмой торжественно принял Святополка Изяславича. Князья Церкви — кардиналы и князья мира — верные папе южноиталийские и сицилийские норманны осыпали русского наследнего принца изъявлениями дружбы. Дарили кольца со своих рук, оружие, лошадей, одежду. Устраивали пиры — здесь умели лучше есть, чем в Германии, но до Руси италийцам было еще далеко.

Русский принц почти не имел чем отдариваться — поляки обобрали изгнанников. Узнав о недостойном поведении своих духовных подданных, папа Григорий велел написать грозные письма. Напоминая польским христианам о святости гостеприимства, папа требовал, чтобы королю Изяславу было возвращено все, что у него выманили способами, достойными язычников. Раскаяние искупает вину. Нераскаянных накажет Церковь в жизни временной, а бог — в вечной. Короля Болеслава папа просил помочь Изяславу вернуться на киевский трон.

Наследный принц — в Риме праву первородства давали важное значение — привез отцовские полномочия, изложенные на пергаменте, с подписью отца, с печатью. Обсуждали, как провести унию Церквей — Русской и Римской. Король Изяслав желал этого. Наследный принц Святополк договаривался об условиях: будем вершить без спеха, богослужение отправлять на русском языке, ибо народ к такому привык. Ставить епископов папа будет по представлению русского короля.

У папы не нашлось войска, чтобы послать его на Русь.

Генрих Четвертый и Григорий Седьмой были едва в силе состязаться один с другим. Ни одного копья [1] не увел Святополк Изяславич из прекрасной Италии, страны старых развалин, к которым люди что ни год добавляли новые, страны, густо удобренной павшими в войнах: там произрастал лучший в Европе виноград, а корни его, как известно, обладают особым пристрастьем.

Начальник охраны, данной Святополку Изяславичу от папы, сдружился с русским. Странный человек, наполовину монах, наполовину воин, со странным именем — Элезий, он часами молился в седле, перебирая длинные четки, бусины которых были выточены из косточек маслин, принесенных палестинскими паломниками. Но там, где место было ровным, удобным для охоты, Элезий сажал на рукавичку сокола и травил любую птицу. Его увлекала травля для травли. В каком-то селенье жители пожаловались на разбойников и указали ущелье, служившее притоном.

— Развлечемся! — предложил Святополку Элезий.

Не потеряв ни одного из своих, они убили двоих разбойников и схватили пятерых. Элезий приказал повесить их, «как желудей», на дубе, росшем у дороги близ селенья. Солдаты умело и с охотой выполнили приказ, а сбежавшиеся жители били в ладоши, будто на зрелищах. Двоих повесили низко, и мальчишки, цепляясь за ноги, качались на страшных качелях.

— Ты всегда знал, что будешь есть завтра? — спросил Элезий Святополка.

— Как-то я заблудился на охоте...— начал Святополк, но Элезий перебил его:

— Я разумею иное. Ты никогда не горевал над изношенной рубахой! Никогда не ходил по снегу босым! Никогда не слыхал, как твоя дочь, сын, сестра, мать просят еды, тебе ж нечего дать им! А эти люди испытали, испытывают подобное. И мне такое знакомо. Не осуждай их за жестокость. Счастливый редко бывает злым. Несчастный никогда не бывает добрым.

— Мой отец, я, мои братья, мы все несчастны,— возразил Святополк.

— А! — отмахнулся Элезий.— Разве это несчастье! Когда ты не будешь знать, что есть, чем прикрыть наготу, когда чужой будет топтать твою совесть, твою честь, только тогда ты познаешь цену несчастья, мой принц.

[1] Копье — отряд конных латников числом 7—12 бойцов.

В Альпийских предгорьях Элезий как-то указал Святополку на груды камней в полуверсте от дороги:

— Там родился я, там могилы отцов,— и перекрестился.

— Мир праху,— сказал Святополк, творя крестное знамение, и спросил: — Как место звали?

— Никак,— ответил Элезий.

— А кто же разрушил?

— Все. Нет народа, который не носил бы в Италию меч.

И замолчал, занявшись до вечера четками и немою молитвой. Наутро посочувствовал Святополку:

— Нет у папы солдат. Из-за Генриха-нечестивца. Не будь того, и я пошел бы на Русь.

— А ты ступай в отцову дружину. Будешь волен и богат,— предложил Святополк.

— Нет! Нет! Нет! — трижды отрекся Элезий, будто искушали его, и объяснил: — Только с нашими пойду. Единство Церкви творить!

Император Генрих не досадовал на короля Изяслава за его договор с папой. Император боролся с этим папой, но не с Римской Церковью. Император сделал что мог. Он нарядил в Киев послов, дабы они призвали младшего брата познать свой грех перед старшим. Право первородства священно для всех времен и народов.

В Киеве прошел слух, что имперские послы, которым князь Святослав показывал свое казнохранилище, осудили князя. Дескать, это золото мертвое, а с хорошей дружиной можно и больше собрать. Такого германцы и не думали: у них, чтоб иметь войско, нужно золото, золото и еще раз золото.

Святослав стал скупенек, и киевские острословы, изощряясь в выдумках, приплели к делу германцев. Императорские послы заметили красивую княжну, Евпраксию, дочь князя Всеволода, и начали на свой страх намеки бросать, что, мол, император наш вдов, однако же молод, собой красив и сердце у него верное. Так если бы...

Послам дали понять, что при случае некое дело будет возможным. С тем они и отбыли: с неудачей ходатайства за Изяслава и с завязкой другого дела.

Трудно постичь чужое: незнание речи — стена. Одолевши речь, вязнешь во рву: чужие обычаи. Против них возражаешь и вольно, и невольно, ибо свои пристрастья трудно менять на ходу. Путешественники грузят караваны небылицами. Умный оказывается хуже глупых: что не

по нему, того нет, того быть не должно. Остальное натянуто на привезенный из дому аршин.

Императорские послы нашли Русь богатой, людей дерзкими. Простолюдье уступает дорогу по своему удобству. Если сами едут с грузом, то заставляют встречных сворачивать, невзирая на звание. Оружие носят вольно, кто какое захочет, не сообразуясь, кто знатен, кто черен. В этом проявляют невежество общих правил. Вопреки такому разбойников мало, ибо о грабежах послы не слыхали или от них скрыли.

Еда хорошая, съестное дешевле и в два раза, и в три. Перец продают дешевле в четыре раза и более, как и гвоздику, мускатный орех, корицу. За пряностями русские сами ездят через персидскую землю до берега Южного моря, что лежит за арабами.

Русский король живет открыто, у него нет замков ни в городах, ни между городами. Во время смуты королю негде укрыться, негде выждать, пока восставшие не разделятся между собой, а доброхотные вассалы подадут помощь. Присягу на верность подданные не принимают.

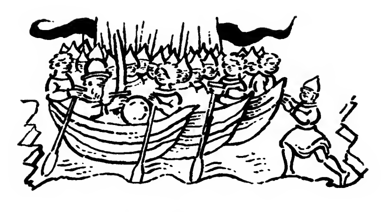
Король Святослав трон Изяславу никогда не уступит. Но с недавнего времени он ослабел здоровьем. После него, по русскому обычаю, на трон сядет Всеволод, следующий по рожденю сын короля Ярослава. Ныне Всеволод держит герцогство Черниговское размером много больше хотя бы Саксонии. Дочь Всеволода, Евпраксия, красива и образованна, за ней отец даст богатое приданое. Через брак с Евпраксией у императора Генриха и его рода возникнет союз с Русью, выгоды которого трудно предвидеть.

Глава посольства викарный епископ Майнцский советовал императору:

— Даже тень Права в сильной руке при благоприятствии бога может сделаться тяжелее горы, звонче колокола и убедительней меча.

Глава третья

ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД ОКЕАНА



СТАРАЯ АНГЛИЯ САКСОВ И АНГЛОВ легла в могилу в битве под городом Гастингсом осенью 1066 года. Нормандский герцог Гийом — Вильгельм Завоеватель — стал королем Англии по праву силы. Новый король и его армия говорили на французском языке, и язык обозначил границу между завоеванными и завоевателями. Все англосаксы — без различия сословий — были лишены имущества, сосчитаны, переписаны и поделены между завоевателями. Не поровну, но по достоинству завоевателя. За ничтожными исключеньями, каждый англосакс стал податной единицей. И каждый владелец получил право взимать со своего англичанина столько, сколько хотел. Это право называлось «тайяж». Слово не переводится на русский язык. Корень его образует множество слов, обозначающих понятия: строгать, пускать сок, обтачивать, надрезать, гранить, тесать ка-

мень... Понятно — тайяж человека возможен, когда он, человек, низведен до положения вещи.

Завоеватели посеяли зубы дракона — во всех городах и при многих селеньях возникли туры. Французское слово «тур», позднее переработанное в английское «тауэр», тоже не переводится на русский язык. Слово «за́мок», так же как старорусские кремль, детинец, обозначало внутреннюю крепость укрепленного города, место, где мог замкнуться гарнизон и жители города для последней обороны. А туры-тауэры были личными крепостями владельцев, местом, где владельцы укрывались от собственных подданных.

Задолго до завоевания Англии Западная Европа усеялась турами, ибо вся она была в те или иные годы завоевана пришлыми. Но на материке сознание национальной розни уга́сло быстро, ибо завоеванные были культурнее завоевателей. В Англии социальная рознь усугубилась национальной. Не говоривший по-французски был низшим вдвойне. В течение трех столетий английские короли и дворянство говорили по-французски. Вскоре Франция перестала понимать язык английских тауеров, ибо живой французский язык развивался, а язык тауэров стал мертвым, он не был языком народа. Французы смеялись над жаргоном тауэров, но он нес свою службу — отличать высших от низших.

Но необратимость событий стала понятной позже. А в годы, последовавшие за покорением, англосаксы еще надеялись освободиться. Англосаксы отказывались верить в смерть Гарольда в битве под Гастингсом. Нет, израненный, он покинул поле последним и вылечился в тайном убежище. При первой улыбке Судьбы он появится.

Монахи Уолтхемской обители высекли на могильной плите Гарольда четыре латинских слова. Первые три переводятся легко: «Здесь лежит Гарольд». Но четвертое — «Инфеликс» — переводится на русский как «несчастливец» лишь приближенно. Для Рима Фатум — Судьба была силой, превосходившей богов. Славянину это понятие было чуждо. Инфеликс не несчастливец, но человек, против которого встал Фатум — Ужас богов.

Конан, наследственный владетель Бретани, которого французы титуловали графом, а бретонцы на своем языке — брейцаде — назвали тьерном или теирном — вождем, был отравлен предателем, которого подкупил сосед — нормандский герцог Гийом-Вильгельм. Иан Гоаннек, ученый

актуариус и советник тьерна, бежал во Фландрию. Многоязычный — так звали бретонцы Гоаннека за обширность знаний — погрузил на корабль тюки с милыми ему пергаментами, среди которых запрятал золотые монеты, милые всем.

Вскоре руками нормандских французов и других бойцов Завоевателя Судьба воздала саксам и англам за бедствия, некогда причиненные их предками первым насельникам Острова — кельтам-бретонцам. Среди других беглецов из Англии во Фландрию приплыла жена Гарольда Инфеликса с дочерью. Ненависть к Гийому Отравителю побудила Гоаннека протянуть руку помощи кровным Гарольда. Он содержал беглянок, не позволяя ломбардцам и евреям попользоваться драгоценностями из казны английской короны.

Длинные пальцы нормандской руки делали Фландрию небезопасной, но Дания вспомнила о семье Гарольда. Туда вместе с благородными саксонками поплыл и Гоаннек. Его увлекла привязанность: забота открывает сердце покровителя.

В Дании Гоаннек стал учителем Гарольдовой дочери Эдгиты, или Гиты, что по-русски значит Ясная. Латынь, единый язык Церкви и науки Запада, легко дается тому, кто учит ее с голоса и с книг, даже когда эта книга — молитвенник. У Гоаннека было много книг кроме молитвенников. И он умел рассказывать:

— Ты хочешь сказку? Послушай. Это было давно. Однако не так давно, чтобы События еще не имели смысла, а Случай не умел досаждать Порядку. Итак... Будто бы нечаянно споткнувшись о Камень на берегу Озера, Случай выплеснул в него бочку краски и убежал.

«О Несчастье! — воззвало Озеро.— Где мой цвет! Я себя не узнаю!»

И Несчастье злорадствовало:

«Ха-ха-ха-ха!»

И Горное Эхо вторило: «хахахахаха!» — пока не надоело всем.

Скромница Вода утешила Озеро:

«Не горюй, с помощью Времени я скрою краску, и ты покажешься прежним».

«А мы все видели, да! — закричали Воспоминания, рожденные Событием.— Мы свидетели, да!»

«Вы? — зашипело беспощадное Время.— Кому вы будете нужны, когда мы с Водой сделаем свое дело? Кто откроет вам дверь? Кто?»

«Увы, увы,— прошептали Воспоминания,— к чему ж тогда нам жить...» — и начали гаснуть.

«Видишь? — сказало Время Озеру.— Эти глупцы исчезнут бесследно. Существует же лишь то, о чем помнят».

В пергаментах учителя нашлись сказанья, песни саксов. И ке́льтов-бретонцев. Предки Гиты обижали, гнали предков ее учителя. Несчастья возвышают людей над злой памятью о взаимных обидах.

— Опасно отравляться злобой,— говорил Гоаннек.— Прошлое непоправимо, и ненависть так же ядовита для души, как сок цикуты для тела. Учивший прощать был мудр.

Учитель и взрослевшая ученица читали Платона, восторгались величием Сократа, который казался им равным святым мученикам во имя Христово.

Время, уведя из жизни мать Гиты, превратило девочку в девушку. Изгнанники жили в замке Эльсиноре, прочном, неприступном. Гита оставалась самой заманчивой наследницей в Европе. И лучшим оружием для укрощения саксов, достанься она в руки нынешнему королю Англии. Она могла дать ему или его сыну наследника — законного короля для совести побежденных.

Датчане чувствовали себя виновными перед старой Англией, которой они не помогли против нормандцев-французов; виновными перед семьей Гарольда, который прозвался бы Феликсом, имей он под Гастингсом кроме саксонских только тысяч пять датских щитов.

Позволить Нормандцу выкрасть Гиту! После такого будет стыдно именоваться датчанином. Дания искала мужа для сироты среди европейских владетелей. Одни были заняты, другие недостойны, третьи слишком слабы, чтобы вместе с женой получить право на английскую корону. Ибо Право без Силы есть опасное, праздное искушение.

Умы датчан обратились к востоку. Правящие роды Скандинавии привыкли родниться с русскими князьями. Однажды придворный живописец приехал в Эльсинор, чтобы нарисовать Гиту для датского короля. Но Гоаннек узнал, что датский посол повезет портрет на Русь. Вместе с описью приданого. Хитрые датчане порешили и хорошо устроить Гиту, и убрать это яблоко раздора между английским королем Гийомом-Вильгельмом и Данией, которая нуждалась в свободе морей.

Кроме истории Сократа-философа, кроме мудрых мыслей учитель и ученица нашли у Платона увлекательную повесть об Атлантиде. Гоаннек знал нечто о тайнах Западного океана не только от Платона. Он обладал старыми записями на брейцаде о годах, когда император франков Карл огнем и секирой заменял в Бретани старую веру кельтов на новую.

— Великие люди нетерпеливы и жестоки,— рассказывал Гоаннек,— утром они убеждают словами, днем прибегают к побоям, вечером как бы нечаянно, как бы невольно наносят глубокие раны. После ночи, полной великих видений, они просыпаются в ярости и убивают непокорных с великой охотой.

Тогда, во времена Карла, почти три века тому назад, беглецы, не желавшие изменить старому, спасались в Океан на кораблях, на плотах. Может быть, они достигли Атлантиды? Никто еще не испытывал глубин Моря Мрака так, чтобы вернуться и рассказать. Впрочем, старые кельты и не собирались возвращаться.

Однако же в Море Мрака есть что-то... Гоаннек располагал свидетельствами разных лет, из разных мест. У берегов Испании, Гиенни, Бретани, Англии, Ирландии изредка находили принесенные ветром и теченьями стволы деревьев с листьями, плодами, каких нет в Европе. Приплывали бревна с обрубленными сучьями, связанные канатами из неизвестного волокна. На таких остатках плотов дважды прибрежные жители находили трупы людей неведомых по цвету кожи и чертам лица племен.

Гоаннеку было любо не только наполнять память ученицы, но развивать и ум. Старый ученый и юная девушка устраивали диспуты по правилам старой логики, поочередно утверждая и опровергая что-либо. Земля есть шар, как доказывал эллин Эратосфенос тринадцать веков тому назад. Прав он или правы другие, оспаривающие последователей эллина? Для учителя и ученицы, знавших море по опыту, возражавшие были невеждами, а выводы Эратосфеноса — бесспорными. Существование Атлантиды казалось менее очевидным, доводы «за» и «против» были равносильны. Такое Гоаннек называл неустойчивым равновесием. Он говорил:

— В подобных случаях мудрее признать, что нечто существует. Ибо существование чего-либо вероятнее несуществования: ведь жизнь сильнее смерти.

Конечно, сильнее! Для Гиты такое не требовало доказательств — вопреки гибели близких, вопреки вечному

заточенью выживших родственников в тюрьмах Норманд-ца, вопреки безысходному рабству ее единоплеменников. И вопреки тяжким стенам Эльсинора, убежища, но и тюрьмы, как всякое надежное убежище.

Гоаннеку превосходство силы жизни над смертью казалось менее очевидным. Для него это утверждение было скорее обязанностью философа, было делом формальной логики, а не внутренней потребностью. Пусть Море Мрака населено одними рыбами, меньше несчастий, измен, насилия. В таком различии ощущений более всего сказывается разница между старшими и младшими, но старики вынуждены бодриться из любви к молодым. И обязаны. Так как иное следует постигать в зрелости лишь потому, что только с годами человек привыкает жить, умеряя отчаяние.

Однажды Гоаннек дал Гите портрет молодого человека. Русь благосклонно приняла предложенный Данией союз, и опекун Гиты, датский король, выразил свою волю: дочь Гарольда будет женой молодого князя Владимира Мономаха, сына князя Всеволода, сына князя Ярослава. Дочь Ярослава, сестра Всеволода, была матерью Филиппа, короля французов. Мать жениха Гиты была дочерью императора ромеев Константина, а его бабушка — сестрой короля шведов. И далее... Кто может сказать, что Дания обидела дочь Гарольда Саксонского, который был внуком простого земледельца? Никто!

На днях состоится торжество обручения Гиты с русским послом, представляющим князя Владимира, и король-опекун вручит Гиту послу для поездки на Русь.

Русь так же удалена от Дании, как возможная Атлантида, но русские хорошо известны. Далеко только неизвестное.

— Ты поедешь со мной? — спросила Гита учителя.

— Нет, я слишком стар,— возразил Гоаннек.

Но отказался он потому, что у многих старых людей есть в сердце излишне молодое место. Оно, это место, соблазняет слабовольных на унизительные поступки, а у сильных рождает иронию, непонятную молодым.

— Став ненужным тебе,— объяснил Гоаннек,— я отправлюсь в долгое плавание, поищу Атлантиду.— Это не было иронией.

Такое дело датчане вершили накрепко, оберегая себя не от бога — он видит,— но от людей: бросив слово там,

бросив здесь, люди походя губят чужую честь. Липкая грязь клеветы, выливаясь на пергамент, живет вечно. Сотри, когда не знаешь, где, кто и когда очернил в тишине твое имя. Бойся слова, против него не поможет и папа, наместник Петра.

Можно убить и ограбить родителей, пустив детей голыми на снег. Это война.

Нельзя обобрать сироту, которой дали гостеприимство. Это кража.

В казнохранилище датской короны Хранитель, положив пальцы на распятие, поклялся именем бога:

— Все, мной принятое от моего предшественника, мною сохранено. Вот старая опись, вот новая. Они одинаково верны хранимому.

Король датчан сказал:

— Подтверждаю и утверждаю. Вот имущество Гиты, дочери Гарольда-короля, сына Годвина. А это Дания, любя Гиту, дает ей свадебный подарок! — И вручил перечень даримого послу самодержавного герцога Всеволода, которого русские называют князем черниговским.

Два дня и две ночи датчане и русские считали, взвешивали, сверяли со списками золотые и серебряные монеты, посуду серебряную простую, золоченую, бронзовую, медную, стеклянную. Одежду, оружие, ценное качеством твердого железа, ценное украшеньями, доспехи, щиты.

Хранитель казны, шатаясь от усталости, сжимал беззубые челюсти, и щетина бороды и усов торчала, как иглы ежа. Жалко, так много уходит. Все лежало спокойно, красиво. Отныне бессмысленно нарушен порядок.

Дорогие ткани греческого, италийского дела, из шелка, виссона. И самые простые, какие ткут в Англии из льна, из шерсти. И жалкая утварь — оловянные чашки, миски, ковшики, деревянные блюда и тарелки, выщербленные ножи. В поспешности бегства не разбирают, бросают в кучу попавшее под руку — и прялку, и домотканый кафтан пастуха из сукна немытой шерсти на пеньковой основе, оплетенной грубым утком. Датчане сохранили и такое, ибо честь и совесть короля общи с пастушескими по своей беззащитности: кто хочет, тот и наступит.

Приданое Гиты Саксонской забили в ящики, обшили просаленной кожей, замкнули печатями Дании и Руси. Остерегаясь глаз, ушей, языков, грузили тайно, ночью. Путь долгий, на морях один закон: горе слабейшему. А жадность, напрягая ум, делает из этого божьего дара оружие дьявола.

Хватило б одного корабля, погрузили на три. И так трижды уже искушали судьбу: на пути из Англии во Фландрию, это раз; во Фландрии держали сокровища в простом доме, это два; плыли в Данию на купеческом корабле, везя богатства, возбуждавшие жадность королей, это три...

Долго, торжественно, мрачно, как заклиная, епископ служил святую мессу, последнюю для Гиты Саксонской литургию по римскому обряду. Слова священной латыни были тяжки и остры, как клинья.

Возгласив: «Свершено!» — епископ обратился к девушке с поученьем. Помянув о страданиях Британии под игом беззаконного Гийома Нормандца, клятвопреступного обманщика папы, епископ вызвал слезы не одних женщин, но и многих суровых баронов: умное слово растворяет сердца куда сильней самого вида мучений, ибо страданье некрасиво и голос смерти хрипл.

Пастырь датских душ вручил Гите ковчежец с освященными облатками для причастия в минуту смертельной опасности. Воля бога неизвестна. Лучше заранее взволновать душу виденьями ужаса, чем лишить ее залога небес.

Молодая королева Дании плакала. Потому что многие плакали. Потому что епископ умел затронуть чувства. Но и потому, что она была невнимательна к Гите. Даже в последние дни. Почему она забыла, что могла и должна была хоть иногда видеться с сиротой, помочь, подготовить к жизни, к браку, равно неизбежному и трудному? Королева раскаивалась. Завтра духовник отпустит ей грех небреженья к ближнему, но если бы еще один день, один!

Среди десятков высших, достоинство которых обязывало лично проститься с Гитой, королева нашла время для нескольких слов: «Ты будешь счастлива, не бойся русских».

Взяв кончиками пальцев руку Гиты, русский посол, отныне главнейший, повел к пристани невесту своего князя. Стража шла впереди. Рядом епископ, продолжавший умные наставленья, и король с королевой. За ними — бароны, жены баронов, дочери баронов, сыновья баронов. И другие.

В последние минуты на пристани из рядов других протолкался ученый бретонец Иан Гоаннек. В первый раз и в последний раз наставник, опустившись на одно колено, как рыцарь из Прованса, поцеловал руку ученицы. Ответив поцелуем в лоб, Гита попросила:

— Пиши мне! — И обещала: — Я отвечу.

— Напишу из Атлантиды,— обещал Гоаннек.

Вскоре после отъезда Гиты на Русь узенькие улицы крепкого города Бордо, морской столицы Гиенни — Аквитании, приняли Иана Гоаннека. В общине бордоских купцов Гоаннек нашел бывавших в Бретани в годы правления тьерна Конана. Их поручительство и уплата налога дали приезжему права гражданства.

Гоаннек посещал верфи, ходил в море с рыбаками, с купцами, познавая свойства кораблей и искусство кормчих. В последнем он быстро преуспел, так как и раньше умел вычислять пути солнца, луны и звезд лучше, чем мореплаватели.

Нося одежду моряка и усвоив жаргон моря, Гоаннек терпеливо, зернышко к зернышку, нанял полтора десятка моряков, разноплеменных, но соединенных и общностью возраста — он брал зрелых, но не дряхлых,— и опытом моря, и отсутствием якорей на твердой земле, то есть бессемейных, бездомных. Через полтора года на прочном, широкобоком и устойчивом корабле они спустились по Гаронне к морю. Гоаннек взял продовольствия на год и несколько книг из любимейших. Все остальные он завещал городу Бордо, оставив их в надежных руках своего душеприказчика — епископа, известного жадностью к писаному слову.

Поставив нос корабля на запад, Гоаннек пересек прибрежную морскую дорогу и скрылся в пустых и вольных просторах.

«Ушел неизвестно куда, неизвестно зачем»,— говорили о нем. Без корней на твердой земле, он никому не был нужен. Таких забывают — пылинки, упавшие в воду. Они исчезают совсем, так как забытое подобно не бывшему. Разницу между тем и другим улавливает философ, а что есть философия? Слова, слова, слова...

Но что мог найти Иан Гоаннек, удайся ему одолеть Море Мрака? То, о чем будет рассказано дальше.

Уэмак перебирал тяжелые кольца, которые надевают на запястье. Кольца были откованы из металла желтого цвета и хранились в ларце, вытесанном из черного камня. Всё — не случайно. Металл был связан с Солнцем, Солнце же служило одним из видимых выражений Бога. Цвет камня был так же темен и густ, как кровь, выпитая вокруг жертвенников раскаленным и опасным светилом дня.

Каждое кольцо свидетельствовало об одном из предков. Или — о колене рода. Ведь это одно и то же. Уэмак был последним. Потомства у него не было, все его дети умирали во младенчестве. Самого Уэмака не заботило, что после него не останется ни одного бесспорного потомка людей — теперь их называют белыми богами,— которые были принесены восточными ветрами на западный берег жаркого Океана Соленой Воды.

Подчиняясь естественной власти вещей и воспоминаний, последний в роде примерял кольцо. Двенадцать поколений тому назад оно принадлежало первому предку, прибывшему сюда. Среди своих, нынешних людей Уэмак выделялся ростом и силой. А это кольцо спадало с его руки. Тот, дальний предок, был исполином, с могучим телом на толстых костях. Однако же это его дух и его плоть создали Уэмака. Ибо все имеет начало, и нет никого, кто мог бы появиться первым, без начала. Начало — Бог извечно безначальный. Этого нельзя ни понять, ни доказать. Для ленивого разума человека есть одно свидетельство вечности Безначального — Круг.

На Восточной земле белых людей, на берегах Океана, где вода холоднее, чем здесь, там, откуда отплыл предок и бывшие с ним, великий Круг обозначался камнями. Его изображение повторяли много раз и в разных местах. Это помогало думать и способствовало познанию скрытого. Там же, на просторных и плоских берегах, предки предков Уэмака поставили тысячи камней, малых и громадных, высоких и низких, самых разных, как тысячи тысяч людей и животных, собранных волей Бога. Каменные толпы были столь велики, что между ними можно было заблудиться. А тот, кто долго стоял и глядел, видел нечто великое.

Было так? Или только казалось? К чему сомневаться? Уэмак знал много и о многом. Знал все о своем народе — о людях, среди которых жил. Он, последний в роде, был первым здесь.

Он знал и другую науку. Первый предок, кому принадлежало самое большое и самое тяжелое кольцо для запястья, дал закон Памяти. Каждого мужчину-потомка с ранней юности учили знанию того, что было за Океаном, почему предок Уэмака и его спутники покинули Восточную землю и что делается на Океане, который справедливо называют Морем Мрака.

Закон Памяти кончался с Уэмаком: у него не было наследников. С ним кончались дух и плоть, прибывшие с вос-

тока. Сыновья его не выжили и более не рождались, хотя Уэмак не был стар. Дочерей не было вообще. К тому же не женщина, а мужчина несет в себе зерно рода. Тому доказательство — сам Уэмак, ни одной чертой лица или тела не похожий на темнокожих людей. И еще доказательство — изваяние одного из предков, высеченное темным скульптором. Оно будто снято с самого Уэмака, хотя их разделяет шесть поколений, и в каждом из поколений матерью была темнокожая женщина с острым носом и слегка косыми глазами.

Толстые без окон стены и тяжелая крыша охраняли от жары. Дневной свет проходил через нишу двери, глубина которой удерживала снаружи горячий воздух. Черная тень упала на ослепляюще-белую полосу света. Слегка согнувшись, женщина проникла в комнату. Она поставила большое блюдо на низенький стол, а сама, поджав ноги, устроилась на камышовой циновке рядом с Уэмаком. Уэмак легко коснулся головы женщины. Рука его, скользнув по жестким волосам, опустилась на плечо. Отвечая на ласку, женщина прижалась плечом к бедру мужчины.

Полдень. Лепешки из маиса, растертого жерновами, нужно есть горячими. Приятен кислый сок плодов. Нежно мясо индейки, самой глупой из всех птиц и единственной, принявшей неволю. Хорошо, когда есть с кем разделить пищу. Здесь был и третий — предок Уэмака с лицом своего потомка. Женщина положила по кусочку мяса и лепешки перед серым камнем изваяния. Могут ли статуи есть? Кто знает, где в этом мире назначена граница между явью и мечтой, душой и телом, прошлым и настоящим, сегодняшним днем и будущим? Одно переходит в другое так же незаметно, как сумерки вчера охватили город Чалан, как они упадут сегодня и как это же чудо завтра совершится для тех, кто доживет до вечера следующего дня.

Оэлло — так Уэмак назвал свою женщину — могла бы назвать счастливыми камни: их никто не ест. Но может быть, и камню больно, когда его бьют, чтобы добыть из него образы, чтоб сложить стену. Может быть, и камень пьет, когда на него падает дождь или когда на высеченный из камня жертвенник льется кровь? Но еще хуже, если камень не хочет пить, а его заставляют. К чему все это? Без мысли жить нельзя. Уэмак научил Оэлло думать. Ибо счастье и горе всегда идут рядом. О сестры! Душа Ночи и душа Дня, души Света и Темноты... Пусть будет так. Уэмак был богом Оэлло.

Бог дает жизнь... Оэлло помнит себя в тени больших

9 В. Д. Иванов.

деревьев. На поляне маленькие домики — тогда они казались очень, очень большими — с крышами из толстых, жестких листьев. Трава тоже была жесткая. Оэлло видела, как тяжелая черно-серая змея медленно ползла среди тощей травы. Оттуда, где должен быть хвост змеи, слышался странный треск. Звук прекратился, и змея стала медленно-медленно поднимать тяжелую голову. Что-то крикнула мать. Плоский камень с острыми краями ударил змеиную голову. Мать умела метать камни.

Змею изжарили на раскаленных камнях очага. У нее было вкусное белое мясо. Из сухих косточек змеиного хвоста сделали амулет против яда. Оэлло носила его, пока не порвался ремешок. Ее больно били в наказание за потерю.

Поляна в лесу была всем миром для Оэлло. В той стороне, где всходило Солнце, лес вскоре кончался. Большие деревья сменялись густой зарослью мелких. Они стояли на кривых голых корнях, цепляясь ими, как пальцами, за твердое дно, покрытое жидкой грязью. А еще дальше начиналась Соленая Вода — Океан. Он то заливал снизу корнерукие деревья, то отступал. Тогда брали все, что попадалось: восьминогих крабов, червей, рыб, ползающих по корням, раковины. Все шло в пищу, все. На поляне среди домиков сажали маис. Траву выпалывали руками, острой палкой из тяжелого дерева делали ямки и в каждую зарывали по два зерна.

Оэлла знала, что, кроме трех десятков семей, живших на поляне, в мире нет других людей. Когда ей минуло, наверное, десять лет, начались дни откровений. Вознося моленья к богам, мужчина, которого называли старшим, мучил девочку, надрезая ей кожу груди острым ножом из прозрачного камня. Все собрались кругом и молились, произнося слова, смысл которых был темен для Оэлло. Она не кричала. Кровь в ранках запеклась. Шрамы изобразили толстую ящерицу, укус которой смертелен. С этого дня Оэлло назвали женщиной. Но ничто не изменилось, и прошло еще много лет, прежде чем она узнала, что значит быть женщиной. А в те дни, когда ранки еще болели, Оэлло внушили, что женщина есть вещь мужчины. Так устроено Богом, и так будет всегда. Но некогда было иначе: женщины управляли мужчинами, дети не знали имен своих отцов. Так длилось, пока боги не решили изменить мир.

И еще Оэлло узнала: только дети считают, что мир людей ограничен лесной поляной вблизи Соленой Воды. Во многих местах живут другие люди. О них говорили со

страхом. В лесу, в той стороне, где Солнце стоит всего выше, течет река. Туда нельзя ходить, там могут заметить чужие. Поэтому же нельзя выходить из чащи корнеруких деревьев к Соленой Воде.

Люди поляны не всегда жили здесь.. Где-то далеко, за лесом, за болотами, есть великий город-дом с бесконечно многими комнатами, а в каждой комнате может жить семья. Город-дом был выше самых высоких деревьев? Да, выше. В нем люди кишели, как крабы и черви в корнях, когда отступает Соленая Вода. Потом не стало пищи, люди умирали и разбегались. И что же теперь там? Город-дом был построен из камня. Он остался, наверное, пустой и страшный. В нем живет Голод и скитаются тени былых богов. Голод был и здесь. Он являлся, невидимый, очень часто, когда было нечего есть.

Шрамы на груди Оэлло уже зажили, когда со стороны реки на поляну пришли чужие. Это было на рассвете. Кто-то нарушил запрет и захотел взглянуть на реку. Оэлло и нескольких детей отвели к реке. Здесь всем связали ноги и руки и положили на дно большого челнока. Оэлло увидала за бортами Океан. Солнце дважды опускалось в Соленую Воду и дважды вставало над ней. Пленных не кормили, а победители ели мясо сородичей Оэлло.

В новом месте — то был остров — Оэлло была рабыней, как привезенные с ней, как и доставленные откуда-то еще. Работа была такая же, как на поляне. Сажали зерна маиса, убирали урожай. И все время, без перерыва, искали пищу, любую пищу, собирали все, что можно проглотить. Больше всего давала Соленая Вода. Когда она отступала в глубины своих жилищ, рабыни спешили на отмели хватать крабов, раковины, рыбу, ловить любое живое существо. Приходилось оглядываться на Воду, чтобы она, возвращаясь, не задушила горькой пеной: рабыня тоже боится умереть.

Труд рабыни был не тяжелее, чем у Оэлло на свободе. Потом она поняла, что с утра и до сумерек, когда повелители зажигали костры, она ничего не знала, кроме бесконечной, тупой усталости, будто бы старость уже вцепилась в нее и держалась за нее так же прочно, как раковина держится за свою скорлупу.

Мужчин-пленников повелители держали не долго. Они сразу съедали двуногую добычу, наслаждаясь пищей, лучше которой нет ничего. Если же пленников хватало больше, чем на один день, тем лучше — пиршество длилось, пока не съедали последнего.

Так же как у племени Оэлло, на острове пользовались оружием и орудиями из камня и кости, так же ловко и прочно прикрепляли наконечники из обсидиана к концам деревянных копий, так же усаживали каменными остриями головки тяжелых дубин. Отборные кости шли на гарпуны и остроги, которые служили одинаково на охоте, в бою, на рыбной ловле. Лесных птиц сбивали стрелами из деревянных луков. Для рыбы плели и сети из волокон растений, вьющихся по деревьям.

На большом острове было мало птиц и много охотников, добыча была трудной и скудной. Лучше ловилась рыба, если бы в сети не попадались большие, страшные рыбы. Зубастые гиганты чаще всего рвали сети раньше, чем удачливым рыбакам удавалось попасть гарпунами в глаза чудовища или оглушить его дубинами. Шкура приносящей несчастье рыбы была слишком крепка для костяных наконечников. Если челнок переворачивался, большая часть рыбаков погибала. Жители побережья почти не умели плавать: из страха перед большими рыбами они не любили Воды.

На острове, так же как и на поляне, где началась жизнь Оэлло, люди были истощены привычным недоеданьем. Только мясо утоляло голод. Если слишком долго не было мяса, съедали рабынь. Но это была крайность. Рабыням уготована иная судьба.

Прижимаясь к Уэмаку, Оэлло отдыхала на прохладном полу, у ног своего владыки. Воспоминанья ее не томили. Не было большой разницы между голодным детством и долей голодного подростка-рабыни. Все казалось естественным. Повелители-островитяне, истребившие племя Оэлло, были немногим суровее, чем родное племя, чем отец и мать. Когда разум Оэлло созрел, Уэмак объяснил:

— Над всем властвует голод. Бог, давая людям жизнь, дарит им и волю, и свободу. Тот, кто не умеет защитить себя, кто не может утолить голод, слабеет. Его удел быть вещью и пищей сильнейшего.

Для Оэлло Уэмак был Избавителем. Ее ждала участь других рабынь, определенная законом и обычаями острова. Ее могли съесть в долгие дни голода по мясу. Или она плодила бы детей, не знающих имени отцов. Ее дети должны были бы идти в пищу владыкам. Девочки — по мере случая, который определял судьбы матерей. Мальчики — как сладкая, изысканная пища. Рожденных от рабынь

увечили, отнимая будущую мужественность. Потом их откармливали на радость вождей. Маленькие искалеченные существа были самым желанным блюдом.

— Боги не создали людей злыми. Сами люди виновны в своей судьбе,— говорил Уэмак Избавитель. Он, потомок прибывших из страны Бога Лучей, знал все. Ведь он ничем не похож на других. Он — особенный, единственный.

Оэлло не сознавала, что женщина, отдавшись мужчине всей душой и получив взамен полноту чувств, всегда считает избранника или избравшего ее другим, бо́льшим и лучшим, чем все остальные. Женщины ее племени не делились сокровенным. А если и делились, Оэлло была слишком мала, чтобы стать участницей таинственных бесед. Женщины племени Уэмака казались послушными вещами мужчин — вопреки преданью о недавнем времени, когда главенствовала женщина. Ныне в скудности жизни, о которой никто не подозревал, для женщин не было слов, выражавших нечто большее, чем потребности текущего дня. В сущности, и мужчины жили каждый в кругу собственного одиночества. Все знали много имен богов, в толпе которых лишь для немногих скрывался Единый. Знали много названий вещей. И дней. И чисел. И обрядов. И преданий. Но никому не было дела до творимого и творящегося внутри человека. Человек оставался такой же тайной, как и превращение почвы в растение, цветка — в плод...

Уэмак был Вождем Мужчин — тлакатекухтли — по избранию, но на избрание он имел право по происхождению от белых богов. Когда челноки с земли причалили к острову, повелители Оэлло на коленях ждали воли прибывших. В тот день Уэмак, случайно заметив пленницу-рабыню, указал на нее. Этого было достаточно, чтобы исполнилась судьба Оэлло.

Через закрытые веки Оэлло уловила тень. Женщина открыла глаза и опустила голову. Пришел верховный жрец, знаток тайн звезд и времени. Его звание было — Человек Темного Дома. Его боялись. Но он не был так велик, как Вождь Мужчин, и женщина, продолжение плоти Уэмака, могла оставаться.

Годы считались по летним солнцестояниям и по зимним, когда более всего сокращается время пребывания Солнца на видимом небе. В часы ночи видимое выражение Единого движется за Океаном по небу земли предков Уэмака.

Тому минуло триста пять лет, когда белые оставили восточный берег Океана, тот, откуда приходит Солнце.

— Однако же не тогда было начало,— говорил Уэмак.

Его слушал не только Человек Темного Дома. Собрались властвующие. Шихуакоатль — Змея-Самка, бывший главным судьей и помощником Главы Мужчин, ахкакаутины — военачальники родов, образующих племя, кальпулеки — родовые вожди. Они сидели и лежали в полутьме и прохладе. Они знали наизусть, что скажет Узмак. Если он забудет или ошибется, его поправят сразу несколько голосов. Чудесное остается чудесным, пока оно неизменно. Иначе истинное превращается в сказку для развлечения.

— Начало свершилось втайне. Во многих и многих сотнях дней пути на восток от того берега Океана. Это было на земле, где черные были покорены сынами Солнца. После долгих лет покоя сыны покоренных внесли смуту между сынами покорителей. Все разделились. Была война. Одни, изменив Солнцу, подняли багровое знамя восходящей Луны. Другие, верные, собрались под светлым знаменем Лучей. Люди сражались твердым и гибким оружием, какого здесь нет. Змеи сражались ядом и удушьем. Одни звери — таких здесь нет — бились длинными клыками длиной в тело человека. Другие — рогами. Другие — когтями, длинными, как кинжалы, а тела их и сила во много раз превосходили тело и силу оцелота. Потом все сошлись на необозримой долине под горами. Верные Солнцу победили. Но нет конца бремени жизни и войны...

Так было вначале, так было, так было,— повторял Узмак слова, заученные от отца, который заучил их от деда, слова, принесенные с восточного берега Океана.— После победы предки моих предков, исполняя волю Солнца, пошли вслед ему на запад, на запад, на запад. Всем мы сообщали волю Солнца. В горах мы строили алтари Солнца из четырех каменных плит, покрытых пятой. А перед ними — круг из камней, глубоко погруженных в землю. Когда весной первый луч Солнца падал с вершины горы на алтарь, мы приносили жертву богу, предлагая ему живое сердце человека. Утвердив истину, мы уходили дальше на запад, на запад, на запад, пока нас не остановил Океан.

— Да, да,— сказал кто-то, зная, что сейчас последует знакомый перерыв в течении знакомого рассказа.

— Там,— Человек Темного Дома указал на север,— Бог сошел с неба в пламени и в тысяче громов. В месте, где он коснулся земли, среди вечнозеленых лесов остался его след такой глубины, что в нем поместятся все люди лесов и все люди степей. Это там, где зимой даже в низинах выпадает снег, как на вершинах гор. Я знаю. Так было!

— Это так, это так,— подтвердили несколько голосов.

И что-то изменилось — случалось, что души этих людей противились власти священной повести: Человек Темного Дома напоминал о чуде, совершенном на земле красных людей и для красных людей. Пусть место проявления величия Единого и далеко, но оно доступно. Сделав усилие, Уэмак продолжал:

— По дороге к Океану мы просвещали людей, давая им Солнце. Мы владели берегом Океана. Другие люди пробовали теснить нас, но мы отбрасывали всех. И всегда, всегда, всегда, всегда берега Океана и острова у берегов принадлежали нам. И только мы умели сообщать другим людям истину познания Солнца. Менялись времена, остывал воздух, долгие годы бывало так холодно, что зимами льды покрывали Океан. Потом шли многие и многие годы, когда Океан теплел. Одно сменяло другое, а мы оставались детьми Солнца. Почти триста поколений мы жили у берегов Океана.

Почувствовав, что души слушателей открылись, Уэмак говорил:

— Затем на нас напали люди, чьим богом был Крест. Мы долго сражались с ними. И когда настала жизнь двести шестьдесят девятого поколения, мой предок и другие решили уплыть по Океану вслед за Солнцем. Это,— Уэмак поднял тяжелое кольцо,— мой предок носил на запястье еще на том берегу Океана.

Мы плыли за Солнцем. Ветры и теченья несли нас, но мы всегда стремились видеть заход Солнца перед собой, а утром мы поворачивались назад, чтобы встретить его. Мы плыли. Мы пили дождевую воду, а когда не было дождей, мы сосали сок рыб. По ночам из бездны Океана поднимались чудовища, бо́льшие, чем наши челны, и в их глазах, громадных, как жернова, отражался свет звезд. Веревки от парусов и ручки весел врезались в руки, разбухшие от воды, а соль разъедала раны до кости. Размокало дерево челнов, и волны крошили борта. Из кусков сломанных мачт мы связывали новые. Сгнили паруса, мы делали новые из кожи морских рыб. Бывали долгие дни, когда тучи закрывали небо, и мы знали, что Солнце не погасло лишь потому, что свет сменялся мраком. Но где было Солнце за тучами, мы не знали, и не знали, куда уносили нас бури.

Челн моего предка остался один. Куда делись девять других, никто не узнал никогда. Мы считали дни и отмечали их на выделанной коже. Кожа сгнила, и мы делали

знаки на бортах. Сгнили борта. Но мы знали, что минуло более двух сотен дней, когда кончился Океан. Только двадцать человек из всех, покинувших тот берег, вышли на этот. Из них двое были чужими: наши пленники и наши гонители, знатные люди из жестокого племени, которое гнало нас под знак Креста. Мы построили жертвенник. И даровали сердца пленников Солнцу. Так поступили мои предки перед вашими предками. И так утвердился союз между ними. Все чтили Солнце. Но ваши предки узнали от моих, какая жертва нужна Солнцу и как совершается обряд...

Солнце готовилось уйти за горы, которые закрывали запад. Весь день ветер уносил туда дым, поднимавшийся из купола самой высокой вершины хребта. Сейчас, в вечернем покое, тяжелая струя, свободно поднимаясь вверх, безвозбранно расширялась в высоте. Уэмак называл эту особенную форму грибом — одним из двух слов, сохранившихся из всех слов, принесенных с того берега. Вторым словом было имя, передававшееся в его роду от отца к сыну. Оно было трудно для произношения и так же не похоже на другие слова этого берега, как лицо и тело Уэмака — на лица и тела красных людей. Иан — таков был звук имени, чуждый самому Уэмаку.

Многое, ускользающее от разума, а потому и ненужное, было изображено знаками-картинками, трудными для понимания, так как изображалось не существующее на этом берегу Океана.

Изгнанники не нашли в земле чего-то, нужного для изготовления оружия. Вскоре камень заменил твердое вещество мечей, топоров, кинжалов. Рисунки-знаки темны, истерты. Иан-Уэмак знает, что действительное для него давно непонятно для других. А понятно ли и для него? Не ветер ли принес его предков с вершин восточных гор? Там, в стране предков, не было гор. Но красные, живущие среди гор, могут понять величие, лишь возвышая известное им. Таковы все люди.

Солнце ушло, оставив землю на волю ночи и сна. Оно было бы единственным выражением Бога, не покидай оно землю. Но оно уходит, позволяя рождаться темным богам-оборотням, искаженным отражениям истины, то есть злым.

Сегодня, как вчера, как всегда, на черном небе расположились созвездия. Чудовищный дымный гриб, заслонив

край неба, скрыл часть звезд. Стали видны багровые отблески пламени, которое опять проснулось под землей. Гора дышала огнем. Нужна война, ибо уже давно алтари получали ничтожно мало жертв.

Так было, так будет. И такова мудрость людей, безразлично от того, что служит им истиной.

Только так, именно так... Иан-Уэмак родился уже посвященным в тайну неизбежного, неизменного.

Его предки хотели нечто изменить, и преданье, доверенное ныне почти непонятным знакам-рисункам, донесло тщетность усилий. Пытались совершить — и не совершили. Пытались ли? Наверное, ведь пока человек не попробует сам, он не верит в тщету усилий. Преданья утешили Уэмака. Правда открывалась в перечислении того, что существовало на том берегу Океана и чего не было здесь. Особое вещество, из которого изготовляли оружие и орудия, давало силу людям. Там были животные, покорные воле людей, как пальцы руки. На своих спинах они переносили людей. Запряженные в плуги, послушные звери рыхлили поля, где росла обильная пища, которой здесь нет. Другие прирученные звери и птицы давали столько мяса, сколько хотел человек. Леса и степи были полны диких животных, и вместо войны люди охотились со спин послушных животных и возвращались с мясом. Не нужно было брать пленников и убивать их.

Там глубокие реки кишели робкой рыбой. Там все не так, как здесь. Здесь нет стад животных, здесь леса и реки полны врагов человека, острые зубы и яд ждут под каждым кустом и на каждой пяди заросших речных берегов. Глупая пестрая птица на высоких ногах, разучившаяся летать, и маленькая безголосая собака — только два ручных животных есть здесь. Чтобы облегчить себя, человек должен взвалить ношу на спину другого человека.

Далеко на севере, где-то вблизи места проявления Бога, о чем поминал Человек Темного Дома, бродят громадные вольные стада рогатых зверей. Люди охотятся за ними. Но ручных зверей нет нигде. Предки Уэмака чего-то искали, что-то пробовали изменить. Об этом рассказывают древние, понятные лишь Уэмаку рисунки; другие их смысл ныне толкуют по-иному. К чему думать, о чем в действительности хотели рассказать создатели записей? Нужно ждать завершения жизни. Усилие бесполезно, все совершается неотвратимой силой Бога.

Женщина, тень мужчины, тенью появилась рядом с Уэмаком. Город-дом, ступенчатый улей, казался бы уже

мертвым, коль кое-где не мерцали бы смутными, но все же живыми пятнами угли в общих очагах. Над плоскими крышами в трех местах поднимались тупые вершины многоступенчатых пирамид — жилищ Бога и богов.

Колоссальные, подавляющие, они казались такими же неразрушимыми, как жертвенники из каменных плит, возводимые предками Узмака на пути с востока на запад. И такими же вечными, как собрания камней на том берегу Океана. На макушках пирамид светились неугасимые огни.

Ночью, когда темнота скрадывает подробности и расстояния, возведенное людьми выглядело таким же величественным, как горы, созданные творцом всех вещей. Мрак возвышал дело людей, не унижая дела Бога.

«Бог ревнив,— думал Узмак,— его день слишком ярок, слишком очевидно величие Солнца... Ночью власть Бога ослабевает».

Оэлло обняла Уэмака, смело и сильно. Да, ночью храбрость женщины превосходит храбрость мужчины — ей помогают звезды. Глаза Оэлло блестели, отражая лучи звездного света. Ее волосы пахли странно и ново. Женщины умеют, собрав цветы, добыть их ароматы с помощью каменного пресса.

Летучие мыши чертили небо. Трепеща крыльями, в воздухе беззвучно остановилась сова. Что-то привлекло владычицу тьмы. Уэмак различал громадные глаза ночной птицы. Она висела в двух локтях над изголовьем низкой кровати из кожи, натянутой на раму черного дерева.

Оэлло приподнялась. Опираясь на локти, женщина заслонила своей головой вестницу несчастья.

На западе небо осветило красным — там гора дохнула огнем. Так здесь часто бывает. Как обычно, послышался глухой гул. Чуть дрогнула земля, изгибаясь под насилием огня, чуть дрогнул полный людьми глиняный улей, колыхнуло пол. Все непрочно, все случайно... И все зто было привычным, будничным, таким знакомым.

— Шочи, шочи,— шепнул мужчина женщине.

«Шочи» — цветок на языке земли, которой принадлежали оба.

Шли кучками. Прятались в тени. На открытых местах крались согнувшись. Но многим уже надоело: ведь трудно три дня подряд делать одно и то же. Первые два дня похода войско-толпа находилось на своих землях. Однако же порядок соблюдался лучше. Мечтали об успехе. Остерега-

лись встречи с лазутчиками: говорили, что где-то и кем-то были замечены чужие.

На третий день сказалась усталость. Появились больные, так как сырая мука из маиса плохо переваривается. Угнетала тяжесть оружия. У каждого был лук, согнутый из упругого дерева. Жильная тетива делала опасной стрелу по меньшей мере на сто шагов. Длинные мечи были изготовлены из жесткого дерева, с лезвиями из осколков камня. Из такого же дерева были палицы с острыми кусками обсидиана, вделанными в головки, напоминавшие сжатый кулак. Топоры из тяжелого каменного клина, насаженного на прямое топорище, тащили на перевязи за спиной. Короткие ножи делались из прямого куска обсидиана, привязанного ремнями к деревянной рукоятке. Надежным оружием были копья длиной в два человеческих роста.

Уже в первый день слабейшие открыто освобождали себя от непосильного груза, складывая ненужное в приметных местах. В середине третьего дня войско было остановлено в лесу, за которым скрывался враг, обреченный в добычу. Вожди знали дорогу, вели лазутчики: в них превращались торговцы, знатоки расстояний и тропинок, причудливой сетью покрывавших всю землю от неприступных гор и до берега Океана.

Отдых был необходим. Все переутомились. Обремененные оружием, люди были не в силах нести на себе много пищи. И хотя каждый получил столько же, сколько все, у многих запасы кончились еще вчера. Так было обычно. Привыкли к тому, что не приходится требовать много-го. Кажущаяся беспечность была результатом слабости. Однако же неудача грозила тем, что иные не найдут сил, чтобы вернуться.

Медленно продираясь в колючем подлеске, люди шумели по необходимости, чтобы спугнуть ядовитых гадин, владеющих лесом. Для безопасности расчищали полянки от травы и устраивались на долгий отдых. Нападенье будет произведено в конце ночи, как везде и всегда.

В общем беспорядке был свой порядок. Город-дом образовывался единством трех родов, из которых каждый, однако, имел свою храмовую пирамиду и своего вождя, звавшегося Старшим Братом — ахкакаутином. Уэмаку, Главе Мужчин, подчинялись все три ахкакаутина.

Вожди совершили свое. Бог войн Хуитцилопокхутли — Владыка Ночи — задобрен обещаньем жертв. Войско приведено в нужное место и вовремя.

Привычка жить вместе в громадах домов, слитых из комнат без дверей, служивших отдельным жилищем для мужа, жены и детей, привычка совершать все на глазах у всех, привычка считать своим лишь несколько вещей из домашнего обихода и одежды — все объединяло мужчин, нынешних воинов. Они сбивались кучками, как жили, считаясь ближним и дальним родством крови, шли вместе — три-четыре десятка,— вместе устроились на отдых. Но те, у кого осталась пища, не думали делиться с тем, кто сам себя обездолил. Дележ был бы вопиющей несправедливостью: каждый получил свое на время похода.

Уэмак и Старшие Братья расположились в тылу войска. Захват вождя не просто означает победу. Потеряв вождя, войско разбегается: Бог и боги покинули его. Охрана разместилась тут же как придется. Приблизительно две сотни. Как и всегда, строй не существовал, и никто не думал счесть людей и указать им какое-то место.

Тезоатл наблюдал, как рабы услуживали Уэмаку: вожди были единственными, кто не был обязан сам нести оружие и припасы. Тезоатл был почти сыт. Он сумел сохранить две маисовые лепешки для последней трапезы. Это не мешало ему с жадностью следить, как насыщались старшие. У него были свои счеты с Уэмаком. Глава Мужчин четыре года тому назад наказал Тезоатла. За леность и непослушание. Как будто бы только один Тезоатл «забыл» копье и меч на обратном пути от Теско, от того самого города, на который нападут завтра. Тогда, четыре года тому назад, поход был неудачен. Был избран более далекий путь, кто-то предупредил тескуанцев. Потеряв преимущество внезапности, войско два дня простояло у Теско и пошло вспять, умирая от голода.

Тезоатл считал себя ничуть не худшим Уэмака, в его жилах тоже текла кровь белых богов. Так говорили. Но все предание, вся власть, весь почет издавна принадлежали только роду Уэмака. Остальным же досталась участь быть потомственной стражей вождей. Тезоатл вспомнил слова Человека Темного Дома: все может измениться. Этот вождь, не то что Уэмак, был милостив к Тезоатлу. Что изменится? Ничто... Тезоатл отвернулся, чтобы не раздражать себя зрелищем недоступного, и вскоре крепко заснул.

Солнце шло над вершинами леса, наполненного спящими. Медлительные, как сытая змея, неизбежные, как смерть, ползли последние часы шестого дня осеннего

месяца. День назывался микстли, а месяц — тепелиуитл. Все дни были сосчитаны и названы. Все месяцы и годы — тоже. Все было известно о прошлом. Не было тайн и в будущем.

Мир был стар, стар, так же стар, как камни, как Океан, как пламя в животах огнедышащих гор.

В начале начал бесконечно далекий и бесконечно безразличный ко всему наивысший из всех богов — Солнце есть низшее его выражение — по имени Тлоке-Науаке создал все. Наступило первое время, называемое Солнцем Вод. Это было господство Воды, оно длилось четыре тысячи и восемь лет, закончилось великим потопом, и люди превратились в рыб. За ним наступило второе время — Солнце Земли. Оно истекло через четыре тысячи и десять лет. Земля тогда скорчилась от землетрясений. Гигантских людей поглотили трещины и пропасти. Наступило третье время — Солнце Ветра. Оно завершилось ураганами невиданной силы. Немногие люди из оставшихся в живых были превращены в обезьян.

Ныне длится четвертое время — Солнце Огня. Оно закончится через тысячу лет от сегодня. Через тысячу лет Великий Огонь сожжет всех людей. Так будет, это не подлежит сомненью. Трижды погибали люди, переобременив собой землю, погибнут в четвертый.

Через тысячу лет! От живущих сегодня великий пожар удален на десятки поколений. К чему бояться событий, которые совершатся тогда, когда даже кости мои исчезнут без следа! Тезоатл хотел жить так, как жили до него, как будут жить после него. Человек Темного Дома сказал: «Я позабочусь о тебе, если ты будешь послушным».

Смерть держит каждого в невидимых, неощутимых объятиях. Легкое сжатие — и тебя нет. Тезоатл, как все, свыкся с видом смерти, с кровью, со священным насилием над жертвой с той минуты, когда его глаза открылись для жизни. Быть, как все. Не бояться смерти — ее не боится никто.

Исчислив по звездам начало второй половины ночи, вожди разбудили воинов своей охраны. Охрана разбрелась по лесу, будя остальных.

Надевали длинные рубахи, толсто простеганные хлопком и пропитанные солью. Эта жесткая и прочная одежда хорошо защищала тело не только от уколов стрел, но и от ударов мечей и копий. Головы прикрывались причудливыми и устрашающими шлемами в виде голов ягуаров, красных волков, медведей, орлов или фантастических

животных. Деревянные каркасы шлемов были обтянуты звериной шкурой или змеиной кожей. Лица людей смотрели из разинутых пастей, будто готовые скрыться в глотке чудовища. Маленькие круглые щиты, украшенные перьями, довершали защиту.

Накапливаясь в кромешной тьме леса, с трудом пробираясь через заросли, воины выбрались на опушку. Едва серело. Утренняя звезда мерцала и струилась зелеными лучами. Вися в глубине седлистого ущелья, владыка последнего часа ночи одноглазо взирал на спящий мир. Две острые вершинки по бокам звезды казались крыльями вампира.

Войско-толпа наползало на обреченный город Теско. Шли по полям, покрытым плодородным илом, который в период дождей приносился благодетельными потоками. Маис был убран. Коленчатые стебли, освобожденные от обильных плодов, дрябло хрустели под ногами.

Оросительные канавы, как обычно, запущенные после уборки урожая, смердели гнилью. Заросшие водолюбивыми травами, канавы местами были засыпаны, чтобы сделать переходы для переноса урожая. Между земляными мостиками образовались узкие болотца, кишащие личинками и гадами.

Светало с быстротой, которая удивила бы жителя севера. Все заторопились. На земляных перемычках теснились. Крайних сталкивали в мутную воду. Змеи чертили темную поверхность, высоко поднимая плоские головы и сразу пряча их. Заросли водяных трав раздвигались под напором толстых тел перепуганных обладателей яда.

Подъем от полей на террасу, где стоял Теско, преодолели бегом. Скорее к стенам города, которые были также и задними стенами жилищ. Грозная издали, вблизи преграда не была неодолимой. Во многих местах стены, сложенные из сырого кирпича, выкрошились, образуя подобие лестниц. Узкие тропы-дороги, служившие людям, не имевшим повозок или вьючных животных, заканчивались у стен не слишком надежными дверями.

Теско легко защитился четыре года тому назад, но сейчас город проспал свою жизнь и свободу. В десятках мест нападающие залезли на крыши, было выломано много дверей, и чаланское войско наводняло Теско, когда его жители очнулись. Они выскакивали без оружия, почти неодетые или совсем голые. Нападавшие в своих разнообразнейших боевых одеждах резко отличались от жителей Теско.

Наслаждаясь властью вооруженного над безоружным, Тезоатл размахнулся мечом. Острые камни разорвали спину старухи, которая с воплем выскочила из ниши. Опьяненный удачей, Тезоатл перепрыгнул через бьющееся тело. Откуда она выскочила? Пригнувшись, Тезоатл ворвался в темную комнату. Темнота испугала воина и охладила порыв. Прижавшись спиной к стене, Тезоатл закрылся круглым щитом. Защищаясь, он вслепую махал мечом перед собой, пока его глаза не привыкли к полутьме. В дальнем углу из-под травяных циновок торчали ноги.

— Выходи, или убью! — приказал Тезоатл. Он устал и вряд ли мог найти силы для настоящего удара. Из-под циновок робко вылезли побежденные. Четверо!

Тезоатл связал руки и ноги побежденных крепкими веревками из агавы. Мужчина, женщина, двое подростков отдались, как тела, уже лишенные жизни. Пленники. Победа! Теперь нужно поискать другую добычу.

Такой же легкой победой закончилась война для первых ворвавшихся в Теско. Задние спешили выше, карабкаясь по ступеням крыш. Каждый обыскивал темные комнатки, каждый искал, искал, и движение замедлилось. Верхние кварталы Теско, устроенные на горных террасах, еще не были захвачены. Жившие там и успевшие бежать снизу начали оказывать сопротивление. Склады оружия — дома стрел, находившиеся близ площади с храмом Теско, снабдили жителей. Крики нападающих и крики жертв сливались в безобразный, невообразимый шум.

Уэмак и родовые вожди — ахкакаутины — через торговцев разведали силу Теско и могли взвесить способность тескуанцев к сопротивлению. Войско Чалана пользовалось великими преимуществами внезапного нападения. Дальнейшее не зависело от вождей. Целью войны был захват пленников и грабеж побежденных. Однако еще никто не умел сначала подавить сопротивление, а потом пользоваться победой.

Нижняя часть города Теско была захвачена. Все, кто успел бежать, кишели, кричали, метались наверху, на последних ступенях, образованных крышами домов, на площади, в середине которой поднималась пирамида, похожая на пирамиды Чалана.

На плоской вершине пирамиды, увенчанной храмом, жрецы пытались вызвать чудо. Для этого следовало умилостивить богов. На каменном алтаре поспешно растягивалась жертва, привычные руки разрывали каменным ножом грудь. Облитый кровью жрец спешил в святилище,

чтобы сжечь перед образом Бога драгоценный кусок мяса. И следующая жертва ждала своей участи.

Угождай богам, чтобы тебе было хорошо. Корми богов. Они едят сердца людей, а тела оставляют верным. Несчастье и смерть ждут повсюду — как змеи, свернувшиеся в траве, невидимые и настороженные, подобно западне, подобно натянутой тетиве лука. На случайное, безвредное прикосновенье они отвечают убийственным укусом. Священная скульптура повсюду изображала змею — выражение божественной силы, беспощадной, неумолимой. Так было всегда, и каждый привык, и каждый не замечал, не понимал всеобъемлющей власти страха.

Но к голоду тела нельзя привыкнуть. Нельзя научиться не слышать беспокойного зова желудка. Правду легко обманывают хитросплетеньем слов, тело не слушает убеждений.

Благословенный маис был так же бессилен, как бессильна среди богов его скромная богиня, похожая на смертную женщину.

Мяса, мяса и мяса — это требование могло бы оказаться сильнее страха перед Богом, но сам Бог способствовал его удовлетворению.

В сломленном Теско перед богами города поспешно сжигали сердца растерзанных жертв. Тянуло горелым мясом, и этот запах пьянил сильнее, чем перебродивший сок агавы. Тянуло также и вареным мясом. Тела жертв Бог даровал верным. И тескуанцы спешили насытиться, прежде чем сами они сделаются жертвами и пищей.

Тезоатл с проснувшейся яростью затянул узы своих пленников и метнулся вверх, на приступ и к трапезе. Бежали другие. Теснясь, спеша, нападающие цеплялись за выступы в стенках. Забивали узкие лестницы. Мешали один другому, но в общем порыве рвались наверх: пора кончать.

Еще усилие. И еще. Само Солнце спешило. С начала приступа истекли мгновенья, но Солнце вознеслось высоко-высоко, и палящий жар изливался на бойню.

Выше, выше. Кто-то из дорвавшихся первым падал под ударами защитников. Удары были неверны, оружие падало из рук. Попытка сопротивления не могла остановить порыва нападающих.

Отогнав защитников, победители овладели котлами. Дележ произошел мгновенно. Мясо поглощали с жадностью голодающих. Обгладывали кости, дробили их, рылись в черепах, выскребая мозг.

Несмотря на высеченные в плитах стоки, верх храмовой пирамиды был залит свежей кровью. Святилище богов Теско открывалось узкой нишей двери. Внутри было темно. Из темноты вырывались пронзительные взвизги, молитвы, крики. Священнослужители гневно упрекали богов. Разве мало было жертв! Разве вся жизнь народа не обременена обрядами, как спина раба!

Темны пути людей. Непроницаемы изгибы человеческой воли, и непонятны причины возникновения ненависти и любви. Как же судить о намерениях Бога? Кто поймет, что делается в таинственном бытии высших сил!

Солнце сушило храмовую площадку, и свежая кровь смердела вместе со старой кровью. Затащив наверх лестницы, десятка два победителей забрались на плоскую крышу. Трудно было начало. Затем вслед за первой сброшенной плитой кровли разрушение пошло легко. Кровля рушилась, обнажая прокопченные дочерна балки. Умолкли призывы побежденных жрецов. Внутренность храма осветилась.

Открылось тайное, но зримое, так как оно было создано рукой человека. Чудовищные изображения, безразлично покоряясь насилию, выставляли напоказ черты, полные значения.

Мать богов Коатликуэ стояла на толстых ногах с когтями вместо пальцев. Прижав локти к бокам, она раскрывала перед сморщенной грудью громадные лапы. А на зобастой шее была не голова, а курносый череп: мать богов была также Богиней Земли, то есть и Смертью.

Койолшауки, сестра Бога войн, была изображена стоя, но мертвой. С закрытыми глазами на толстом, отекшем лице, с обвисшей нижней губою. А сам Бог войн обладал двумя лицами — в устрашающей смеси черт человека и ягуара,— окруженными лучами: каждый луч был стрелой.

Рядом с ними толпились другие, сидя, стоя, согнувшись. На стенах были высечены рисунки из жизни богов и людей, покровителями которых они были. Жертвоприношения, победы, жатва маиса, и еще жертвоприношения, и еще победы. Ярко раскрашенные изображения были понятны своим, кто умел находить глубокий смысл в устоявшихся символах. Но чужой взгляд увидел бы только изощрение ужаса перед бытием и страх творца перед своим твореньем.

Это были не более чем видимые атрибуты невидимого. Но в них — и желание служить высшему, чем сам человек, и его жалкая судьба. Ступени, по которым поднималась

мольба человека о милости, о добре. Милость к одному значила немилость к другому, и добро для первого было гибелью, злом для второго.

Священные изображения в Теско были очень похожи на изображения в Чалане. Почти двойники. Через них — посредников — желания тескуанцев возносились к тем же богам, к которым обращались чаланцы. Святилище побежденных подлежало уничтожению. Это было не святотатство, но расчетливое действие победителя.

Рушились стены. Преодолевая мертвое сопротивление камня, в проломы выталкивали статуи. Еще усилие, еще. Кренясь, боги падали, дробя ступени и разбиваясь сами. Торжествующие крики победителей, сливаясь с воплями побежденных, поднимались и падали, как океанский прибой.

Потом пришла очередь другой святыни. В глубоком бассейне с отвесными стенами жили ядовитые змеи. Откармливаемые внутренностями жертв, живые посредницы между человеком и вечностью благоденствовали в сытом покое. Почти бессмертные, здесь они, год за годом сбрасывая старую шкуру, вырастали до невиданных размеров. Иногда между ними возникали ссоры. Происходили битвы, толстые тела пестрились кровью. Жрецы проникновенно толковали смысл пророческих сражений. В них бывали отступления и победы, но почти никогда смéрть не вмешивалась в змеиные войны: наглядно доказывая свое преимущество над людьми, эти бойцы не умирали от яда подобных себе.

Никто не решился бы спуститься вниз. Чаланцы избивали священных змей камнями. Затем развели рядом костры и сбросили вниз рдеющие массы угля.

Так была завершена победа над плотью и духом тескуанцев. Победители не стремились к уничтоженью побежденных. Чалану не были нужны ни город побежденных, ни его обработанные поля, ни его земли, еще не занятые посевом. Чалан смирил Теско, иной цели не было и не бывало. Оба старших вождя были взяты в плен. Их судьба — лечь избранными жертвами на жертвенниках Чалана. Остальные вожди были освобождены. Неразумно уничтожать всех имущих власть. Это вызовет смуту, и некому будет принять предписанье о дани, которую ныне и навеки обязаны платить тескуанцы.

Отличившиеся воины, первыми захватившие пленников, были награждены знаками из перьев. Для благодарственной жертвы были отобраны дважды двадцать по два-

дцать — восемьсот пленников. Остальные были оставлены в Теско, чтобы возделывать землю и заниматься ремеслами, извлекая из земли и из труда дань для Чалана.

Война окончилась. Войско отдыхало, сытое мясом, насилием и сознанием своего превосходства: боги будут сыты и милостивы.

Квинатцин полировал кусок обсидиана, чудесного твердого камня, глыбы которого находят около огнедышащих гор. Движения руки были терпеливы, медленны и точны, как движения птицы, зверя. Или еще более точны, но их не с чем было сравнить в мире людей, не знавших колеса и гончарного круга.

Кусок обсидиана уже был обколот и отшлифован песком, с одной стороны — плоский, с другой — выпуклый. После полировки камень сделается почти прозрачным. Лучи света, уйдя внутрь, отразятся от мутной плоской стороны, и камень засверкает. Он перестанет быть камнем и превратится в глаз. И ляжет в орбиту змеиной головы, уже совсем готовой, чтобы украсить угол храма.

Голова лежала тут же, громадная, с оскаленной пастью, с вздутыми ноздрями, с рядами чудовищных зубов.

У настоящих змей, у обычных, головы куда проще, у них только два зуба в верхней челюсти. Змеи не оскаливаются, как ягуары в ярости и люди в злобе. Но ведь эта голова была пусть несовершенным, но все же выражением божественного, большего и превосходящего все, что живет во временной плоти. Каменная голова — знак!

Очень важно снабдить скульптуру глазами. При бедности гладких форм живой змеи маленькие глаза дают жизнь, дают значение. Змея с выколотыми глазами — ничто, это червь. Квинатцин знает, он делал опыты, он вглядывался, он думал и постигал.

Он и сейчас думал, думал и думал, отдыхая за работой, которую мог бы делать любой начинающий. Он тер и тер выпуклость куском кожи, в одну и ту же сторону, справа налево, справа налево: так, как Солнце движется по небу.

Квинатцин держал камень — уже почти глаз — на левой ладони, цепко охватив его изуродованными пальцами. Не было ни одного из пяти пальцев, который не страдал бы, и не один раз. Такова участь скульпторов. Пока правая рука не научится владеть молотком, достается пальцам. Базальтовый молоток срывается. Или раскалывается каменное долото-рубило. Опыт приходит только с годами: внутри нечто предупреждает работника, и он успевает в последний миг ослабить удар, отдернуть руку.

Скульптору несравненно тяжело. Но Квинатцин не поменялся бы местом даже с Вождем Мужчин, белокожим Уэмаком, происходящим, как говорят жрецы и люди, от богов. Молча, без похвальбы Квинатцин считал себя выше всех. Через него Бог находил свое многообразное обличье, через него мысли Бога и желания Бога делались видимыми. Бог оплодотворял Квинатцина, и Квинатцин рождал.

В Чалане было больше чем трижды по двадцать скульпторов. Помощников и учеников, пригодных для грубой работы, было во много раз больше, чем скульпторов. Но как работали скульпторы? Либо по старым образцам, либо копируя новое, созданное Квинатцином. Да, творил только он один. Глава скульпторов, Квинатцин был устрашающе жесток. Он изобретал мучительные наказанья. И сам приводил в исполненье приговоры. Он ненавидел помощников за их необходимость. Он хотел все сделать сам и вымещал неисполнимость желанья на неудачливых и нерадивых.

Квинатцин полировал глаз змеи грубой, жесткой шкурой. Это была кожа громадной рыбы, привезенная с берега Океана. Квинатцин не видал и не хотел видеть Великой Воды, что ему до рыбы, созданной для полировки камня. Второй день он трудился над глазом. Он сказал, что не хочет поручать дело грубым рукам глупцов. Они испортят глаз. Погибнет труд многих людей и многих дней. Квинатцин не торопился. Ни он, ни его соплеменники не умели спешить. И без того жизнь шла слишком быстро.

Руки Квинатцина работали сами собой, а он мечтал о новом, грезящемся ему воплощении Бога войны. Поход на Теско закончился великой победой. Город Чако, сосед Теско, напуган и изъявил покорность. Власть Чалана возрастает. В Чако посланы сборщики дани. Они распорядятся людьми, укрощенными страхом, и скоро вернутся с носильщиками, которые принесут первую дань и лягут жертвами перед богами Чалана.

Страх — могущественный владыка, величие — в том, чтобы внушать ужас. Ужасающий других делается сытым, богатым. Самое лучшее для Квинатцина выражение могущества высшего воплощалось в Уитцлипочтли — Боге войны.

Отложив полировальную кожу, Квинатцин ласкал глаз быстрыми прикосновениями мягкой шкурки оленя, присыпанной мелом. Дело пришло к совершенью. Квинатцин осматривал глаз, держа его против света. Глаз был гладок

и ясен, как око ребенка. В середине ощущался маленький бугорок, который нарушал правильность формы. Нужно попробовать.

Квинатцин встал, потянулся. Никакое усилие не могло бы расправить сутулую спину, выпятить впалую грудь. Неловко переступая кривыми ногами, Квинатцин выбрался из тени к змеиной голове.

Скульптора изуродовала работа, но он не думал о своем уродстве, не знал его, как не знали его и другие. Это тело с тяжелой головой, с мощными руками, неловко подвешенными к покатым плечам, сутулая, почти горбатая спина, искривленные ноги — все было в какой-то соизмеримости с твореньями искусства чаланцев. Все — чудовищное, все — преувеличенное. И во все вложен особенный, подавляющий и ужасающий намек.

Квинатцин присел, вложил глаз на место и отступил от змеиной головы, прикрывая ладонью глаза. Да, пустая орбита ожила!

Он вглядывался, восхищенный. Кажется, еще раз произошло то, на что он только что понадеялся: может быть, та самая небольшая неправильность формы, только что замеченная, и придала такую жизнь глазу. Чудесная особенность творчества — будто бы ошибка на самом деле и дает божественное ощущение законченности. Скульптор обязан ждать чуда, его руками управляет Бог.

Квинатцин отступил на несколько шагов и опустился на колени. Вторая орбита, еще пустая, скрылась, и голова змеи показалась завершенной. Теперь увиденное Квинатцином обнаружило свое великолепие. Это — искусство! Оно несравненно выше жизни, прекраснее самых прекрасных форм, живущих на земле. Творец есть посредник между Богом и людьми.

Не было рядом людей, чтобы Квинатцин мог подавить их величием своего гения. Склонившись, он коснулся лбом земли. Он первым боготворил Великую Змею. Она создалась сама через тех, кто вырубал камень, кто тащил его сюда, кто отесывал его. Оно завершилось, творенье, через Квинатцина. Без него не было б ничего! О Красота!

Квинатцин беззвучно молился. Перед внутренним взором скульптора неясные прежде образы принимали четкость. Он видел Уитцлипочтли в новом воплощении, которое предстоит через руки Квинатцина.

Побеждающая Красота! Ему вспомнились слова иноземцев, которые сколько-то лет назад пришли откуда-то с юга. Родившиеся в далекой стране, грубое, неблагозвуч-

ное названье которой Квинатцин тогда же забыл, они шли на север. Бог повелел им найти какое-то место, где растут цветы, обладающие особенной силой. Им позволили идти, так как они были искателями, так как их было лишь трое и они казались безобидными. Они понимали в искусстве ваяния и восхищались Квинатцином. Уходя, один из них сказал Квинатцину: «Нужно остерегаться людей, из рук которых выходят уроды. Ибо уроды выражают не красоту, а злобу души творца».

Квинатцин согласился с иноземцем: бывают истины столь очевидные, что их принимают без размышленья. Через много дней явились сомненья: не оскорбил ли чужеземец богов Чалана? Было поздно гнаться за преступниками.

Сейчас Квинатцин хотел, чтобы чужеземец был рядом. Он не слеп, он постиг бы, как прекрасна Змея.

Но где же все, почему нет ни одного скульптора, куда все ушли? Густой рев священного храмового барабана заставил Квинатцина очнуться. Сегодня день праздника победы над Теско! Желудок напомнил о себе. Квинатцин забыл поесть. Он резко поднялся. И замер, пошатываясь в борьбе с головокруженьем.

Для Квинатцина все были равны в толпе, все одинаковы. Всегда невнимательный, всегда видящий нечто большее, чем лицо человека, он никого не узнавал, а его знали все. Грубо расталкивая людей сильными руками, Квинатцин пробился вперед.

Храмовый барабан гасил все звуки, безраздельно владея вселенной. Вверх по пирамиде к площадке на вершине и там к невидимому снизу алтарю тянулась живая цепь. Звено — трое: два чаланца и между ними обреченный тескуанец. Высокие ступени достигали половины бедра, но все легко преодолевали подъем. Не выпуская связанных рук пленника, чаланцы разом вспрыгивали на ступень, поворачивались и вздергивали жертву. Движенья подчинялись своему ритму, цепь не рвалась, каждая ступень была занята. Иногда по какому-то знаку сверху цепь ненадолго останавливалась. Затем вновь и вновь люди, как в танце, возносились со ступени на ступень.

Ни один из пленников не сопротивлялся. Многие облегчали усилия помощников храма, прыгая сами.

Везде жизнь была одинакова, везде ее не ценили. Соплеменники Квинатцина, попадая в плен, с такой же готовностью шли к алтарям победителей.

Быть принесенным в жертву? Эта участь не страшила. Души жертв вступали в особенную обитель неба. Их за-

гробное бытие несравненно превосходило долю тех, кто умирал от болезни, от укуса змеи, от когтей зверя или от редко достижимой старости. Бог был един для всех и любил тех, чьи сердца кормили его изображения.

Познание смысла жизни начиналось в бесконечном удалении веков и поколений и длилось не изменяясь. Оно подтверждалось и укреплялось неизменностью скудного труда, голодом и голодной тоской по мясу. Его утверждал ужас перед зыбкостью бытия, выраженный не словами, а более сильно — образами божеств и настойчивой жестокостью культа.

Так понимал и так воспринимал жизнь и Квинатцин. Все, все было ясно, все было известно. Не было ни одной загадки, ни одного сомнения. Квинатцин знал, что нужно выразить, зачем и для чего. Как выразить, какими совершенствами формы? Какие новые черты обязан найти воплотитель? Мечтой о совершенстве формы и опьянялся Квинатцин. В совершенстве формы и есть правда, а правда — это красота. Квинатцин создавал красоту, вдохновляясь творчеством, преклоняясь перед делом своего познания и тайной рук.

Заглушаемое священным барабаном таинство совершалось как бы бесшумно. Темная кровь жертв, переполнив пробитые для нее стоки, растекалась, копилась на верхних ступенях и, преобразованная лучами Солнца, посветлев, стекала ниже.

Медленно, медленно Квинатцин перебрался на западную сторону. Сюда сбрасывали тела жертв, здесь их подбирали, укладывали. Служение богам началось недавно, но ряды тел были уже длинными. Квинатцин вспоминал, сколько пленников привели из Чалана. Дважды двадцать по двадцать. Будут сыты и боги, и чтущие их люди.

Квинатцин издали смотрел на трупы. Тело живого человека слишком гладко, слишком убого, закругленно. Оно — скучно. Ничто не подчеркнуто, взгляд наполненных мягким веществом орбит невыразителен, бессмыслен.

Рядом была еще пирамида, малая — из черепов жертв. Сколько их? Без счета. Двадцать раз по двадцать, повторенное очень много раз по двадцать. Не только снаружи, вся пирамида сложена из черепов. После трапезы вываренные, пустые, вылизанные черепа возвращались сюда. И здесь они, освобожденные от плоти, оживали. В глубинах орбит возникали тени взоров, полные значения. Квинатцин изготовлял маски в виде черепов и разукрашивал

настоящие черепа. Красотой его работы восхищались самые грубые умы.

Квинатцин глядел, отдаваясь тайне созерцания. Он ощущал в себе глубину, особенную, прозрачную, в ней копились образы. Он был в мире красоты, владел ею, и она владела им.

С усилием вырвав себя, Квинатцин вплотную подошел к телам жертв. Казалось, он был уже полон. Нет, нашлись новые глубины, новая жадность восприятия. Перед ним были тела, освобожденные от сердец, грубо и мощно разорванные от низа живота до ребер. Выпученные внутренности, разинутые рты, глаза, готовые вырваться из орбит, скорченные члены. Это не было безличным скопищем живых. Торжествовала красота смерти, победившая пустыню жизни.

Квинатцин искал, запоминал. Прикасаясь к телам, хватая их, он сам ощущал чьи-то прикосновенья, его знобило, и волосы шевелились на голове. Освещенное солнцем выглядело уже другим, когда падала тень. Тайна прекрасного была в чередовании света и тени, в их сочетанье, таком же глубоком, как тайна, соединяющая двух, дабы породить третьего.

Наступало насыщенье, глаза и мысль полны. Довольно и — пора! Квинатцина звала глина, обреченная послушно принять первый отблеск мечты. Он ломился через толпу, грубо отбрасывая окровавленными руками неловких, не успевавших уступить дорогу. Он не видел этих ничтожных, случайно живых. Он не слышал, как они выли, раздирая себе уши и лица, пронзая длинными шипами языки, чтобы своей мукой и своей кровью еще более скрепить союз с богами, ибо лишь боги могут дать человеку хоть крупицу безопасности в этом бушующем бедствиями мире.

Квинатцин не нуждался в самоистязаниях, чтобы добиться полета души. Он творец, вознесенный над всеми созидатель красоты. Повинуясь желанию, сильнейшему, чем голод, страх перед смертью или продолжение рода, Квинатцин спешил к своим резцам и лопаточкам, к своему великому делу.

Истощенный великолепием праздника, пресыщенный зрелищем, в котором все были участниками, насладившись жертвенным мясом, Чалан успокоился еще до сумерек.

Разбредясь по клетушкам, комнатам и комнаткам громадных общих домов, чаланцы засыпали в прохладе ка-

менных клеток. С наступленьем темноты они наполовину очнутся, чтобы выбраться во дворики, на плоские крыши, где легче дышится, где лучше спится.

Город был беззащитен. Беззащитным он будет и утром следующего дня, как в утро каждого дня. Чалан беспомощен против внезапного нападения, так же как был и остался ограбленный, порабощенный Теско. Как все другие города и жилища, как все поселенья племен, где безгранично властвуют страшные боги.

Все боялись, и никто не боялся. Все свыклись со страхом, так свыклись, что никто не умел заставить себя и принудить других хотя бы на ночь выставлять стражу. Каждый уходил в блаженство сна, как в глубочайшую и безопасную обитель.

Во сне прекращалось одиночество, на которое был осужден каждый и всегда. Слов для выражения внутренней жизни личности не существовало. Ощущенья, мысли — движенья души были скованы невозможностью общенья с другими и, естественно, превращались в тяжкую обузу, которая мешала жить, которая заставляла не любить жизнь. В полусне, в образах, то явственных, то смутных, Уэмак всегда переживал одно и то же: свое отчуждение и свою тоску.

Его считали чудом. Его светлые волосы слегка вились. Кожа его была светлой в местах, где одежда закрывала от солнца. Ростом он был выше других мужчин племени, а лицо его было таким, будто бы древнее изваяние из серого камня было снято с него.

Им гордились. Совсем молодым он был избран Вождем Мужчин, и лишь смерть могла лишить его высшего звания.

Его предки возвышали свое прошлое над настоящим, как все, кто пришел на чужбину. Им поклонялись, как высшим, их будто бы слушались. Но их сила осталась на бесконечно удаленном востоке.

Узмак сознавал себя чужим среди своего племени — он ощущал в себе душу предка. И не одного — такова была его тайна. Он чувствовал себя множеством, в нем жило, как он считал, много душ. Поэтому, когда он рассказывал другим переданное ему по наследству, он вновь и вновь переживал бывшее с ним самим.

Для племени Узмака это прошлое мнилось настоящим — тем, что сейчас происходит в обители богов. Красные люди знали собственное прошлое и собственный мир, не отделенный от них непреодолимым Океаном.

Во многих десятках дней пути к северу от Чалана, в лесах и на краю лесов, в стране больших озер, жили люди охотой и рыболовством. Они строили себе деревянные дома со многими комнатами, с общими очагами. Комнаты занимали женщины с детьми, а мужчина жил с женщиной, если она этого хотела. Все принадлежало всем, но дети были с женщинами, так как женщины рождали их, а не мужчины. Дети не знали своих отцов, считаясь родством по братьям и сестрам матерей. Род нападал на род, и пленников мучили до смерти во славу Бога войны.

Южнее лесов и ближе к Чалану, в степях и в междуречьях больших рек, жили охотники на тонконогих широколобых быков. Одни из них знали своих отцов, как чаланцы, другие — лишь матерей, как люди лесов. Но и здесь одни, нападая на других, служили Богу войны. Только сила управляет миром, и только силу чтут боги, которые пребывают всегда на стороне сильнейшего.

Очнувшись, Уэмак продолжал грезить наяву. По кругу, по кругу, как животное в клетке. Выхода нет.

Все повторяется, все. Так же творится под землей не нужная никому пламенная тайна. Так же о ней свидетельствуют багровые отсветы на дыме, который ползет над горами. Вот и подземный толчок, едва ощутимый. Уэмак не почувствовал бы ничего, если бы спал, как Оэлло.

Позднее время, глубокая ночь. Чуть ущербная луна встала вровень с ложем. Голова Оэлло лежала на руке Уэмака. Он, ожидая прихода сна, смотрел и смотрел на луну. Вот на ее диске явилась толстая черта. Что это? Знак? Уэмак вглядывался, запоминая форму и место. Что предвещает луна? Уэмак обсудит знамение с мудрым Человеком Темного Дома. Невольно Уэмак затаил дыханье.

Нечто переместилось, и Уэмак понял, что на луне нет ничего. Это было здесь, рядом, близко. Голова змеи поднималась на фоне луны над Оэлло.

Змея казалась черной, но Уэмак узнал ее. Пестрый гондо, злобный, ужасающий не одним ядом, но и яростью беспричинного нападенья. Среди храмовых змей, перебитых в Теско, были и гондо. Этот явился мстить.

Уэмак неподвижно следил за змеей, а змея следила за ним. Ничто не шевелилось — ни змея, ни луна. И Уэмаку опять мнился знак на луне, и опять он видел змею.

Он закрыл глаза и тут же открыл их. Голова змеи поднялась: гондо воспользовался кратким мигом освобожденья от гнета человеческого взгляда.

Так они боролись, вечно боролись под светом остано-

вившейся луны. Для Уэмака не стало времени. А для гондо, воплощенья извечно задабриваемого и неумолимого эла, никогда не было времени.

Добро — это победа, много чужих сердец, сожженных перед твоими богами, много мяса жертв в котлах, много дани с побежденных. Зло — это твое пораженье, твое сердце на жертвеннике в чужом храме, твое мясо, съеденное врагом. Сила же божественна, и ей все равно, кто победит.

Гондо медлил. Остановленный взглядом Уэмака, он то приподнимался, замирая в напряжении, то опять ослаблял тело, готовое, казалось, для удара.

Вдруг время ожило. Луна поднялась, голова гондо посерела, а глаза заблестели. Оэлло вздохнула во сне, и встревоженный гондо начал вырастать, раздуваясь.

Уэмак ждал неизбежного. Сейчас Оэлло повернется на бок, и ее рука коснется Уэмака.

Уэмак напряг мускулы. И, вместо того чтобы отскочить в миг, когда Оэлло вынудит гондо убить ее, Уэмак размахнулся, ловя гондо за шею.

Он не мог бежать, бросив женщину. Не потому, что он любил ее. Он позволял ей любить себя, не больше. Он подчинялся зову предков, потомки которых всегда защищали даже безнадежное дело из чувства чести свободных людей.

Изогнувшись над клещами пальцев, дробивших его позвонки, гондо укусил в запястье Уэмака, пронзив зубами вену. А потом в предсмертной ярости впился в шею Оэлло, судорожно изливая остатки яда.

Когда все свершилось, двое людей, неслышно скользя босыми ступнями, приблизились, чтобы убедиться.

Убедившись, они ушли: Человек Темного Дома и Тезоатл.

Уэмак был не стар, он мог прожить еще долго. Он мешал. Он был слишком мягок. Он препятствовал войнам. И — он был чужим. Богам и потомкам богов не место на земле.

Будут избирать нового Вождя Мужчин. Им станет Человек Темного Дома. Тогда Тезоатл получит награду за ловкость, с которой он поймал гондо и сумел выпустить его в нужном месте и в нужное время.

Море Мрака ощипало палубу, скосило мачты, но корпус корабля оставался на плаву, так как балластный песок вытек из дыр днища, изъеденного хищными червями, каких нет в северных водах. Теченья тащили глубоко

осевшие останки судна вдоль немо-безлюдных берегов Атлантиды, и чудовищно размножавшиеся черви спешили насытиться, но не насыщались, и гнусная грязь, неутомимо извергаемая их отвратительными телами, плыла темным облаком в чистой воде, и стаи рыб сновали, как в приваде, и одни пожирали других.

И день, и час стали безразличны Гоаннеку, освобожденному от голода, от жажды, и тело не обременяло его, и дверь в иное открылась. Исполняя обещанье, он рассказывал Гите — не нужно бояться, нет страха, нет. Суета — земля, суета — океаны, Атлантида. Наши знанья величия ложны. Истинна вечная жизнь без времени, небесная жизнь — любовь без печали, без вожделений, тайна без тайны.

Он хотел уйти туда, и шел, и шел, и на последнем шагу его задержал звук непонятных слов. Он оглянулся, увидел темнокожего атланта-колосса с маской ужаса на остроносом лице, сказал: «Не надо бояться» — и ушел.

Наблюдавшие за сбором дани, платимой Чалану покоренными племенами берега Соленой Воды, прислали нарисованное на ткани донесение об особенной находке. Были изображены несколько непонятных, ненужных вещей и три мертвых тела людей неизвестного племени. Лицо одного из них напомнило новому Вождю Мужчин, бывшему Человеку Темного Дома, черты его предшественника Узмака. Богам и Чалану нужны живые. Кусок рисованной ткани был выброшен с безразличием.

Новый Вождь Мужчин не рассказывал преданье. Этим занялись другие, кто помнил слова Уэмака. Преданье рассыпалось, возникли противоречия, рассказы сокращались, ибо трудно говорить и скучно слушать о непонятном. Вскоре осталось немногое, но главное — ожидание белых богов, которые придут с востока.

Глава четвертая

ЗОЛОЧЕНЫЙ ШЛЕМ

ГРЕБНЫЕ ЛОДКИ ТЯНУЛИ ОТ ПРИЧАлов шесть кораблей, которые шли с Гитой на Русь. В порту было тесно, что на торгу. Больше недели прошло, как датчане наложили запрет на выход, но прибывать новым кораблям они не могли запретить.

Будет война. С кем — вот вопрос. Моряки бились об заклад. Нормандцы пытались бежать ночью. Их вернули. Они злобно грозились: «Наш герцог выместит на ваших, дай срок!»

Тайное открылось: эльсинорскую затворницу с Гарольдовой казной отдали на Русь. Эх, знать бы!.. За эту девку герцог-король отвалил бы золота, сколько она весит сама! Мечтатели!..

Кто-то возразит, что неуместно называть мечтой желанье ограбить. Кто-то поправит: есть грабеж и грабеж, об одном грешно и думать, о другом позволительно грезить. Впрочем, больше чем за тысячу лет до проводов Гиты былые римляне сказали, как отрезали: каждому свое.

Волегласно возвеличив насилие, похоть, жадность, старые римляне утвердились на том, что Добро — это польза Риму, а убыток — Зло, и Рим открыто жил со своей истиной, в законе: не таясь ничьих глаз, днем убивал, днем растлял.

Роясь в заросших землей руинах римских пожарищ, наследники, отводя глаза от язв позорных болезней, проевших черные кости, отбирали, мыли, терли, исправляли, белили. И останки Людоеда — Чудовища преобразились в богатство: вынь Рим — и рухнет все европейское здание. А те, кто жил пятикратно дольше Рима и, говорят, добродетельно, оставили горку пепла: дунь — и рассыплется, и нищие наследники побираются, воруют — занимают чужого ума. Да разве пойдет впрок чужое!..

Так ли, иначе ли, но и всесильность Судьбы-Фатума, греческая аксиома, пошла в широкий мир, получив утверждение Рима. Римский диктатор Сулла, победитель в гражданских войнах, владыка империи, которую при нем еще называли Республикой, возвел в закон свои прихоти. Ему было позволено все. Но он затыкал рты льстецам. Сулла гений! Молчать! Сулла провидец! Молчать! Отец народа! Молчать!

Отказавшись от истасканных словесных венков, Сулла потребовал другого: прибавлять к его имени второе, всеобъясняющее — Феликс. Не уставая, внушали: успехом Сулла обязан не воле, не уму, не настойчивости. Проще и значительнее: Сулла — любимец Судьбы. Не упуская и малого случая, Сулла стал неповторимым Феликсом. И пожал богатейшие плоды.

Он лично и открыто был виновником десятков тысяч убийств, которыми он последовательно, беспощадно выравнивал бывшую Республику, как пахарь корчует пни и вывозит с поля камни. Этого человека имели право и обязанность ненавидеть сотни тысяч людей, непосредственно раненных им: родственники казненных, их лишенные имущества потомки, друзья пострадавших. Длинная цепь обвивала все римские владенья. Все знали всё. Вырастали дети. Рождались внуки.

Объевшись властью до пресыщенья, Сулла встал из-за стола, не скрывая тошноты. Довольно! Он ушел в частную жизнь, оставив себе привычную роскошь — личную собственность. Жил вольно, с открытой дверью, без охраны. Беспечно проводил время, чередуя сельские развлеченья на собственных виллах с морскими купаньями, с жизнью в городе. Не боялся спать в буйном, жестоком, мститель-

ном Риме не в крепости, а в обычном доме богатого человека. Ни явно, ни тайно на Суллу не поднялась ни одна рука. Ни одного процесса в сенате, в судах. Могущество Судьбы усыпило, обессилило Месть.

С помощью латинского языка Гита нашла собеседника в Андрее, русском после. Сын, услыхав от учителя что-то, не поминавшееся в доме, становится несправедлив к отцу, до того дня всеведущему. Так и Гита согрешила против Иана Гоаннека. Ученый бретонец не обязан был знать все, но и зная, не мог передать семнадцатилетней ученице достаточно много. Но Гита сочла, что наставник напрасно пренебрег Русью. Большая страна на востоке. И только? Впрочем, ученики несправедливы, пока не научатся учить себя сами.

Для начала — несколько русских слов, самых простых. На дороге через Русь Гиту будут встречать. Немного русской грамоты, если можно. С азбуки Гоаннек научил Гиту главному — уметь учиться. Такое, как обычно, она поняла очень поздно: трудней всего научиться справедливости, многим для этого не хватает всей жизни.

Успехи Гиты удивляли нового наставника. Ее ум не уставал, встречаясь с новым.

Немногим старше князя Владимира Мономаха, Андрей был избран для датского сватовства за молодость. Князь Всеволод Ярославич, будущий тесть Гиты, порешил-де не пугать невесту сивобородым посольством. Слова Андрея были шутливы, но глядел он серьезно, как молодые умеют. Сам женат, бог дал сына ему. А князь Владимир запоздал, все-то он в делах да в походах.

Вначале шли на веслах, на второй день взялся западный ветер, корабли шли ходко, полными парусами ловя подарок благоприятной Судьбы. С Судьбы началось для Гиты познанье русских.

В речи — душа народа, души различны, как в разных реках разна вода, и нет прямого перевода с одной речи на другую, как только слово поднимется над вещью. Феликс по-русски — счастливый, удачливый. Правильней будет — любимец Судьбы. Два русских слова, но смысл нерусский. Русь не знала всемогущего Фатума, непреоборимой Судьбы других народов. Поэтому перевести не смогла, берет либо несколько слов, ибо по-настоящему и двух не хватает, либо усыновляет, по необходимости обойдясь без перевода. Как же быть, коль Русь без помощников, без чужой милости свои дела совершила сама, не ссылаясь на Фатум и его двойников!

Так ли, иначе ли, но жизнь тирана Суллы, завершившаяся одиннадцать веков тому назад, хорошо послужила Гите с Андреем. Рассуждая о ней, англичанка и русский сошлись как равные. Заслуга Плутарха. Его не раз попрекали: не понимая бега времени, писатель вольно уравнивал героев, разделенных столетьями, в теченье которых жизнь будто бы совсем изменилась. Как видно, преувеличивали значенье бега веков. Переменялись одежды, зданья, дороги, науки, даже язык, но не сущность человеческого рода.

Гите хватало древней, окостеневшей латыни, чтобы узнавать русские слова для вещей внешнего мира и для других.

— Середина лета — золотые дни севера,— говорила она.

— Да,— соглашался Андрей,— но в том смысле, что золото мы с тобой понимаем как ценное. Но по цвету эти дни скорее серебряные. Оттенки беловатые, а не желтые.

— Солнце западает на севере.

— А ночи и нет, и сумрак прозрачен.

— У нас в Эльсиноре об окончании вечерней стражи оповещали ударами в бронзовый круг.

— Но почему не в колокол? — спрашивал Андрей.

— Колокола принадлежат Церкви. Как же ты не знаешь!

— У нас другая Церковь,— возражал Андрей.

— Да, да, Гоаннек говорил мне, я позабыла. Красиво пела эльсинорская бронза. Потом ворота закрывали, и ночью их могли отворить только по приказу короля.

— И бывали такие приказы? — спрашивал Андрей.

— Нет. Не помню. После звона нужно было сразу гасить свет везде. От пожара.

— И спать? Даже зимой, когда день так короток?

— И зимой. Но у нас были лампады. А у вас они есть?

— Конечно.

— В Эльсиноре моему Гоаннеку разрешали жечь свечи,— вспомнила Гита и вздохнула: — Где он, учитель?

Дав срок минуте печали, Андрей напомнил:

— Для чего же горели свечи?

— Мы читали, разговаривали, писали. А как на Руси? Можно зажигать ночью огонь без разрешенья королей?

— У нас можно, не спрашивая князя, всем.

— А пожары? — пугалась Гита.

— Разве в Дании не бывает пожаров?

— Бывают, увы! — Гита вздохнула притворно, и оба смеялись и возвращались к загадкам летнего солнца.

— Но где оно сейчас? — спрашивала Гита.

— На севере. Очень близко. Ты ж видишь, как светло, но тени почти нет.

— Говорят, что потерявшие душу теряют и тень,— сказала Гита.— Так сделал бог, чтоб люди узнавали — этот человек очень опасен. У колдунов и ведьм нет тени.

— Ты встречала таких, без тени?

— Нет. У нас в Эльсиноре живет старая Бригитта, ее считают колдуньей. Я подсмотрела — у нее была тень.

— На Руси у каждого есть тень, у всех.

— Даже у сов и летучих мышей? — удивлялась Гита.

— И у них. У нас свои совы и летучие мыши, русские.

— Русские? И говорят они по-русски?

И смех, и опять и опять повторяют, как по-русски сказать одно, как другое. Учиться легко.

Под прозрачным небом, светлым, без звезд и без солнца, морской окоем, днем голубовато-зеленый, делался дымно-синим. Хорошо кормить глаза и тешиться словом, одевая им мир.

— Взгляни туда,— показывал Андрей,— там юг. Эта низкая тень — край ночи. В это время отсюда ночь уходит на юг. Потому что земля — шар.

— Ты тоже знаешь это! — радовалась Гита.

— Знаю, ведь это не тайна.

— А как по-русски «тайна»? И море сейчас на что похоже?

— На оловянный начищенный щит. Или на блюдо.

— Повторим еще раз: т а й н а, щ и т, б л ю д о... Эти слова легкие,— говорила Гита.— Трудное слово — о л о в я н н ы й. Очень трудное — н а ч и щ е н н ы й. Я запомнила. Гоаннек говорил, что младенцы всех племен самое первое слово произносят по-латыни — амо, я люблю. Как по-русски л ю б и т ь? Л ю б о в ь? — И Гита прилежно спрягала и склоняла заветные слова.

Осбер, начальник датских кораблей, беглец-англичанин на датской службе, хмуро спросил Андрея:

— Ты знаешь, посол, песнь о Тристане и прекрасной Изольде?

— Знаю. И понимаю, что ты хочешь сказать,— ответил Андрей.— Твои слова, твои опасенья напрасны.

В английском Нортумберленде слилась кровь саксов, англов, скандинавов. В Осбере пересилила Скандинавия.

Широк, глубок от груди к спине, длиннорук, светловолос, голубоглаз — истинный викинг.

Осбер положил руку на костяную рукоять тяжелого ножа, подвешенного к поясу.

— Не грози. Это непристойно тебе. И успокойся,— тихо приказал посол.

— Я не грожу,— возразил Осбер,— привычка. Я служил ее отцу,— объяснил он, и в его голосе была угроза.

— Продолжай служить дочери,— предложил русский.— Ты будешь беречь ее до конца дороги и на брачном пиру споешь нам английскую песнь. И останешься, если захочешь. Такому, как ты, найдется достойное место в дружине князя Мономаха.

— Я думал. Обдумал,— ответил Осбер, остывая.— Киев далеко. Датчане хитры. Внуки Гарольда станут русскими, что им будет до Англии! Я вернусь в Данию.

— Зачем?

— Я не один. Мы ждали. Гита могла стать женой другого владетеля. Ближе к Англии. Датчанин говорил с Русью втайне. Я не виню его. В этом мире каждый за себя. Теперь мы, изгнанники, попробуем сами.

— Что?

— Хотя бы умереть, отомстив. По старому обычаю досыта напиться кровью Нормандца. Знаешь, лежа на враге, запустить ему зубы в горло, и пусть тебя рубят на части.

— Но к чему тебе это? Перед тобой двадцать — тридцать лет полной силы. Хотя... Ты думаешь, вам удастся изгнать Гийома?

— Нет. Тебе не понять. Сколько ни глотай латыни. Когда победитель сядет в твоем доме, возьмет твою жену, когда ты станешь рабом в месте, где родился хозяином, тогда мы с тобой сравняемся в мудрости, русский. Довольно об этом.

— Хорошо,— согласился Андрей.— Но почему ты так беспокоен сейчас? Чего ты ищешь на море, на небе? Время благоприятствует. Мы сильны. Никто не посмеет напасть.

— Ты опять не понимаешь. Коль тебе повезет, узнаешь. Чем больше тебе улыбаются, тем опасней. Я не верю ни морю, ни небу, ни людям, ни богу.

— Да, ты несчастен.

— Ха! Ты, счастливый! Я не поменяюсь с тобой. Твое счастье болталось бы в моей душе, как сухая горошина в бочке.

Но и девятый день тек под днищами кораблей так же благостно, как предыдущие восемь.

Встречные корабли, едва поднявшись над окоемом моря, бросались в сторону, спеша спрятаться от датского флота, ибо часто сильнейший обирал сильного: море общее, и мира на нем нет.

Однажды две низкие быстроходные галеры рьяно выскочили из-за лесистого острова и столь же стремительно бросились обратно. Засада. Пираты ждут одиноких кораблей, или отставших, или слишком далеко опередивших своих, так как редко кто плавает в одиночку. Морские разбойники не разглядели задних кораблей датчан.

К полудню ветер упал совсем, и гладкое дневное море можно было сравнить с оловянным щитом, каким оно казалось белой северной ночью. Впереди нечто туманное, как облака с четкими очертаньями, ограничило море. Такова издали суша.

— Видишь ли там черточки, пятна? — спрашивал Андрей Гиту, указывая на море.— Это спины отмелей, островки, которые нарастают со дна. Здесь мелко. Гляди, как мутна вода. От весел ил поднимается со дна. Входим в устье Нéво. Вот и Русь началась — наша, твоя.

Медленно, незаметно земля охватывала море. Постепенно море превращалось в реку. Темный хвойный лес справа, такие же стены слева, длинные отмели, поросшие камышами. Вода сужалась. Становилось ненужным искусство морских проводников, так как река Нéво, которой шли, глубже края Варяжского моря.

Налево от мели лежала земля Корелия, которую шведы уступили князю Ярославу в приданое за королевной Ингигердой.

Там лес, камни, зверь, вода: повсюду озера. У корелов есть свое преданье о сотворении земли. В него верят и те, кто крещен.

В начале начал вся земля была из воды. Вода шумела под ветром день и ночь, волны вздымались так высоко, что брызги попадали на небо. Богу надоело творенье. «Остановитесь!» — приказал он. Волны окаменели как были. Мелкие брызги и пена, рассыпавшись, упали и сделались почвой, покрыв камни, где им удалось; дожди налили озера между гребнями окаменевших валов. Так пошла быть корельская страна.

Берега Нéво были пустынны. Леса будто не тронуты топором, поляны не чищены под пашню от кустарника — такими их видел взгляд человека. Дым, свидетель огня,

верного человеческого спутника, терялся в сосновых и еловых вершинах. Нужно вглядеться, чтобы в кустах случайно заметить крупного зверя, и нужно вниманье, чтобы, утишив охотничий порыв, узнать стадо домашних животных там, где будто бы пасутся олени. Эти просторы в первозданной простоте ждали, как разными образами у разных народов и о других просторах говорили поэты, явленья человека. Велик человек в своей уверенности, что для него созданы земля, и небо, и солнце, и звезды. Мое! Наше! Какой бог, покровитель каких племен первым сказал: населяйте землю и обладайте ею? Праздный поиск, мелочное, недостойное соревнование в утверждении первенства. Земля легла подобно безмерно широкой одежде, безразличная, бесстрастная, великолепная не в себе, а для кого-то. Кому отдать? Кто овладеет! Ей всё равно, ей все равны, она подчиняется силе. Но, немая, безразличная, оживляемая только живым воображеньем человека, земля чутка к насилию; испытав его, она мстит бесплодием; обернувшись пустыней, осуждает на изгнание, не считаясь ни с лицами, ни с оправданьями, ни с благими пожеланьями, ибо судит по делу. Приговор ее слеп, вместе с виновными гонит невинных за попустительство, не смягчаясь их слабостью. Суд земли беспощаден, а обжаловать некому да и негде.

Земля мстит за насилие? Ответ земли насилию похож на ответ живого существа на насилие же? Конечно! Может быть, от многих таких же явных подобий родилось уподобление, очеловечение земли, воды, лесов. Без уподоблений не могут жить познание и знание. Мысль и речь очеловечивают все. И, как подлинный творец, не замечают творимого.

Из устья речушки вышла длинная лодка. Несколько гребцов сильно гнали посудину к передовому кораблю. Метко описав полукруг, лодка пошла рядом, поспевая за кораблем против теченья.

Бородатый кормовой поздоровался:

— С удачей путь вам! Бог вам поможет! — и, не ожидая ответа, предложил: — Рыбу покупать будете?

Бородач носил рубаху отбельного льна, подпоясанную красным кушаком, голова открыта, волосы длинные, почти до плеч, перевязаны по лбу тонким лычком, чтоб не падали. Пятеро на веслах были одеты так же, только одна голова была повязана платком.

— Какая рыба? — спросили с корабля.

— Вся тут! — ответил кормовой сильным, легким голосом.— Сиг есть свежий и копченый, лох есть, земля-

ничный по-нашему, налим, угорь мерный в аршин, мирон. Матерую щуку пуда на два с половиной взяли на жерлицы. Эй, говорите быстро, бояре! Нам недосуг.

Рыбакам сбросили веревку, лодка подтянулась. Рыба, прикрытая свежей травой, заполняла лодку, гребцы сидели по колено в ней.

— Вся нынешняя, утреннего да ночного улова,— приговаривал кормовой, покрикивая на своих: — Ладней, ладней прибирайтесь!

Копченых сигов передали в ивовой корзине с крышкой, свежую перебрасывали через борт с особой ухваткой, не высоко, чтоб не каталась, не билась о палубу, и не низко, чтоб не упустить в воду. Щука еще не совсем уснула и шевельнулась, когда за нее взялись.

— Стой! — приказал бородатый и зацепил саженную рыбину веревочной петлей ниже жабер.— Тяни! — Щука изогнулась в дугу, но поздно.— Это еще не щука,— сказал кормовой,— на Онеге-озере ловится щука больше четырех пудов. С такой рыбак помается, коль нет припаса.

— Какого припаса? — спросил Андрей.

— Остроги покрепче на длинном древке, да глаз верный, да помощь. В одиночку дружок мой маялся не двое ль суток. И вышло пустое — крюк, видишь, мягкий.

Рассчитались. Вопреки спешке, рыбаки не спешили отдать чалку.

— Ты меня не узнаешь? — спросил бородатый Андрея.

— Нет.

— У меня же рыбу брали, когда в Данию шел. Скоро вернулся. Ужель неудача?

— Везу,— был краткий ответ, от которого бородатый рыбак подскочил.

— Эй, боярин! — воскликнул он.— Попроси-ка княгиню подойти, пусть посмотрят сыны да сноха.

Андрей подвел Гиту. Девушка сумела внятно сказать:

— Здравствуйте, люди!

— Здравствуй, здравствуй на многие лета, согласия тебе с мужем да детей добрых,— отвечал старший, отвечали и его сыновья, нарушившие для такого случая молчанье; молодая женщина, которая до сих пор скромно отворачивалась, перестала стесняться.

Гита, сняв с пальца золотое колечко с зеленым камнем, потянулась к ней, что-то говоря. Андрей перевел ее слова:

— Ты первая русская женщина, которую я вижу. Дай

руку и носи кольцо на память о жене князя Владимира Всеволодича.

Польщенный тесть похвалялся:

— Я ведь богат, у меня пять сынов да три дочери было, ныне стало четыре. Женил я старшего по весне, погодки все у меня, каждую весну буду женить, и скоро внуков у меня хватит на деревню целую. И сам я богатырь, и сыновья не хуже, и сноха была б с нами в ряд. Теперь поднимай, Дарья, выше! Пойдет тебе кличка — Княгиня! Отдарись, не забудь!

Не сводя глаз с Гиты, женщина освободила завязку и протянула Гите низку светлого скатного жемчуга:

— Носи и ты на счастье!

— Носи, не брезгуй,— добавил тесть,— жемчуг наш, русский, речной, здешний.

— Что это за люди? — расспрашивала Гита Андрея.— Чьи они?

— Свои. Земля не мереная, лес не считан. Садятся, где захотят, там и живут. Эти — вольница вольная. Но не беглые какие. Их знают в Ладоге, знают в Новгороде. Без городов не прожить. Придя в город, такие платят дань, сколько положено, иначе город может их выгнать с земли. Им же в городе дадут и суд, и защиту. На такой-то ниточке и держатся. Прочнее железной цепи. Земли же бери сколько хочешь, делай что можешь: паши, лови зверя, рыбу. Земли у нас больше, чем людей. Начать-то только не каждому легко, не каждому удается. С голыми руками не сядешь ни в лесу, ни на поляне. Под пашню нужно лес вырубить, выжечь огнище. Охотником, рыболовом тоже не будешь на пустом месте. Взаймы берешь — выплати долг с лихвой. Пашешь землю, которую до тебя выжгли, хозяйским плугом, на хозяйской лошади — отдай второй сноп. Получил семена — твой будет только четвертый сноп. Иначе нельзя, но ленивому да слабому придется несладко. Так у нас повелось...

Нéво, озеро-море, берегов не видать, холодное, прозрачное, приняв гостей спокойно, решило позабавиться, пригласив северный ветер. Вскоре в левую скулу принялась бить частая и высокая волна, засыпая палубы мелким дождем брызг. То кулаком, то ладонью, то будто плечом, как в пьяной драке, без размера и счета, не то что морская волна. И без ветра на Нево опасаются течения, которое ходит с севера к южному берегу и вдоль него на

восток, обманывая кормчих. Опасны туманы, немые слепцы, от них бог миловал и датчан, и русских. Паруса сбили — ветер был боковой,— и довелось почти всем сесть на весла. Из-за невской волны веслом, для которого хватало одного гребца, пришлось бить двоим, а по левому борту поставили и третьего помощника. Ладожский южный берег зол мелями. Шли, держась глуби, пока не увидели настежь открытого устья Мутной реки. Повернув за поводырем — русским кораблем, датчане, не теряя строя, один за одним, уходили в затишные воды, переваливая, как через порог, кипучую желтую пеной гряду устья — здесь Мутная боролась с волной, нагоняемой с Нево. Два водяных — Невской и Мутной — в этом месте ломают друг дружку третьему на забаву — северному ветру. Северный зол от творения, смех у него дурной, потехи жестокие.

Водяных хозяев не коснулось крещенье. Остались как были: человеку — свое, водяному — свое.

Христова вера здесь не помеха многим старым поверьям. Мясо медвежье не ешь: медведи повелись от людей, на которых старые боги некогда за тяжкие вины надели звериную шкуру. Лебедя не смей тронуть. Лебеди не зря на женщин похожи, их бог возлюбил превыше всех тварей. Лебединый плач к небу доходчивей людских молитв, и злой охотник не увернется от кары.

Ушли в реку, и ветер не то упал, не то, остановленный лесистыми холмами, рассыпался, будто развязанный сноп, и струи его, наполнив паруса, помогали гребцам гнать корабли против теченья. Вскоре минули Ладогу, крепкий город на левом берегу.

Душа Гиты, увлеченная путешествием, была обманута озером Нево — оно казалось морем, таким же, как Варяжское, и уверенья русского посла в близости земли, названной им коренной Русью, невольно мнились пустым утешением. Будто бы посол старался отвлечь ее от страха перед бурей; но она не боялась. Ей все вспоминался Гоаннек, слуги, майордом замка Улвин, старый воин, которого все боялись, хотя никто не мог обвинить его в жестокости, превосходящей обычную строгость. Улвин являлся ко времени обеда. Никогда не садясь в присутствии королевны, как он называл Гиту, Улвин принимал из рук стольника блюда, сам резал мясо, заставлял стольника есть, ел сам и потом предлагал Гите. Гоаннек говорил, что Улвин, в молодости нанявшись в войско императора Востока, привез из Константинополя золото, безнадежную любовь к императрице и страх перед отравителями.

Он строг, верен долгу, странен и безопасен — для друзей, объявлял Гоаннек. Он просто несчастен. Впрочем, его подозрительность не причиняет вреда.

В Эльсиноре жила старая Бригитта — колдунья. Она стоила сотни полностью вооруженных солдат, так как вся Дания верила во власть Бригитты. Среди других тайн она знала заклинанья, которые лишают силы руки мужчины. Лучше смерть, чем такое. Еще девочкой Гита спросила старуху, правду ли о ней говорят. «Конечно,— был ответ,— но над тобой у меня нет власти, ты не мужчина. А если ты заболеешь, я помогу тебе добрыми, божьими травами». Пришла черная болезнь. Бригитта лечила пораженных ею. Немногие умерли, у многих на лицах остались глубокие оспины, это обычно, такие встречаются на каждом шагу. У Гиты болезнь оставила две крохотные ямочки — на щеке и у правого уха. Лица других переболевших женщин тоже остались чистыми. Бригитта говорила: «У меня женские травы, мужчина годится и рябым, пусть благодарит бога, что жив». Кто-то в лицо назвал ее колдуньей. Она спросила дерзкого: «Ты хочешь?..» Сам Улвин просил Бригитту простить дурака, у которого сразу онемели пальцы.

Невидимое пугало Гиту. Эльсинор, крепость-тюрьма, был ей домом, и путь мнился бесконечным, и не умелось думать о будущем.

Закрылось устье Мутной, за речкой Ладушкой встали черно-серые бревенчатые стены с башнями на земляном валу. Из-за них вылезали купола, крыши и высокая колокольня. Что это, княжеский замок? Нет, монастырь, посвященный святому Георгию — Юрию, чьим именем был крещен князь Ярослав, которого Гита звала бы дедом, доживи он до брака своего внука Владимира. Ее отец Гарольд был немногим старше русского князя, ждавшего ее в конце пути. Гита забыла лицо отца, она мало видела его и была совсем маленькой.

Мысль бежала вперед, в пустоту, которую еще нечем было населить. Сзади осталась жизнь, начало которой никто не умеет заметить, которую нельзя повторить, которую никто еще не сумел оценить и понять. Ибо это никому не нужно, кроме тех, кто живет продажей занимательных рассказов. Но и такой продает не действительное, а воображенное им о себе: то, чего не было. От сегодняшнего не уйдешь, зато прошлое беззащитно, покорно, как труп в руках обмывающего. Прошлого, как утверждают, нет. Но в какую же емкость помещают любую правду, любую

ложь, утверждая, что так было? Содержимое не может обойтись без содержащего.

Будущее явилось для Гиты нежданно среди высоких берегов реки Мутной безликим, бесплотным и поэтому страшным. Гита спряталась в своем убежище — шатре или домике, прочно вделанном в палубу, обтянутом снаружи кожей, изнутри обитом красной тканью. Здесь едва можно было стоять. Зато постель была одинаково удобна для сна и для слез.

Висби, молоденькая служанка Гиты, крепилась, ее хватило ненадолго: все страшное сделалось еще страшней от горя госпожи. Третья женщина, сорокалетняя вдова по имени Маб, почти старуха в понятиях времени для женщин ее положенья, молча сидела на низком ложе, служившем постелью ей и служанке. Маб и служанка Висби были родственницами матери Гиты, очень дальними и с левой руки. В старых саксонских семьях все вместе садились за общую трапезу. Несколько десятков человек: хозяева — у конца, называющегося верхним; чем дальше от них, тем скромнее места, и в самом конце те, кого на Руси звали закупами, холопами, а в Англии — рабами. Иногда у красивой работницы появлялся ребенок, не было зазорным для хозяина признать его своим. Таких называли детьми с левой руки. Правами рожденных в освященном браке они не пользовались, но происхожденье их не считалось позорным.

Оплакивая неизвестное, Гита не заметила речных порогов, через которые с осторожным искусством русские провели корабли. Забившись в светелку, она знать ничего не хотела, пока не пришлось выйти, чтобы увидеть громаду города, рассыпанного на обоих берегах реки, венчанного крестами церквей, только угадывающихся из-за домов, высокий мост через реку, полный людей, чтобы услышать голоса, звон колоколов. С пристани на корабли были перекинуты широкие сходни, покрытые коврами. Духовенство в золотом облачении, воины в блестящих доспехах. Высокий человек — князь Глеб Святославич, в роскошной одежде, обратился к Гите с приветствием на латыни. Под торжественное пенье на чужом языке Гиту повели в город, прямо в церковь, храм святой Софии, где она впервые слушала богослуженье на чужом языке, по чужому обряду, и все это теперь должно быть ее навсегда, и все, что осталось, должно стать чужим.

Русский епископ в русском соборе обратился к Гите с кратким словом, и она не сразу поняла, что он говорит

по-латыни: ей, наверное, хотелось чуда, чтоб не быть такой одинокой и понять сразу русскую речь, а епископ, назвав девушку чистой голубицей, напомнил о своем древнем римском собрате, который некогда изрек про ее соплеменников: «Не англы, а ангелы», обещал ей любовь божью и людскую, и на паперти к Гите обратились с приветствиями один, другой, третий,— она уже ие помнила сколько. Важные люди с золотыми цепями на бархатиых шитых кафтанах, похожие на вифлеемских королей, хотя они были только альдермеиы — старейшины колоний иностранных купцов, и русские теснились на улицах, мощенных деревом, чистых, как пол, и никогда она не слышала столько смеха, не видела столько улыбающихся лиц, ио никто не толкнул ее в тесноте, и оиа растерялась так, что не знала, смеяться или плакать, и ей было стыдно — неужели все из-за нее? — и шла, и шла, не чувствуя усталости, будто идет не сама, но несомая волиями их веселья, их радости, этих неисчислимых людских скопищ, не чувствуя руки князя Глеба, который бережно вел ее, и откуда-то сыпались цветы, почему так много детей, почему так радостно звонят колокола, и всего собралось слишком много, и не было сил, чтоб выдержать, и оиа ие заметила, когда стало тихо, и почему-то плакала на груди чужой женщины, как на материнской груди, плакала ие как на корабле, а просто слишком переполиилось сердце, и слышала, как ее иазывали беленьким цветочком чудным, росиночкой, ресничкой милой, а уж запылилась-то, и пахло полевой мятой, чабрецом, и пол был устлаи белым полотном, как волнами, и Маб с Висби разували и раздевали Гиту, опять ее вели, но тут же открыли дверь, было влажно, душистый пар радостно охватывал тело, плеща, лилась вода, нежно и сладко шелестели вялые листья на тонких ветках, и был сон, проснулась она скоро, еще влажные волосы заплели в две косы и повели через двор с деревяиным полом в высокую палату, где Гиту встретили громкими криками, там за длииными столами князь Глеб Святославич и Господин Великий Новгород чествовали датчан и своих русских, которые привезли из-за моря добычу краше самоцветов — жеиу князю Владимиру, Ярославову внуку, с родом которого новгородские люди исстари были в дружбе и будут иавеки, пусть молодая княгиня про то знает!

Осбер один раз глянул иа Гиту и, горько покивав головой, закрыл глаза. Таким он и остался — в прошлом, которого нет, которое остается с тобой, которое увядает,

рассыпаясь невидимой пылью, и без которого нет ничего.

Жена князя Глеба, двоюродного брата Гитиного суженого, покоила сестру свою три дня, проведенные не в праздности: русскую речь твердили, здесь Гита проходила науку женских слов, узнав, что́ — беленький цветочек, а что — аленький, почему по-русски можно любовно назвать и росиночкой, сравнив с каплей, повисшей утром на луговой травинке, почему для ласковости годится и ресничка, и ягодка, будто бы совсем непригодные, даже смешные, нелепые в жестком строе ученой латыни. Побольше бы времени! Княгиня учила сестру и русским словам и женскому делу... Саксонская королевна, взращенная в изгнании, в чужих домах, осталась по-детски невеждой в хозяйстве. Кому ж заниматься княжеским домом? Наемные обманут, холопы изленятся, без своего глаза люди изворуются. На ком грех? У князя большое хозяйство, под землей — погреба, над землей — кладовые, всюду запасы; у князя дружина, друзья, приезжие; всех напои, накорми, обмой, обшей, спать уложи. Не самому же князю счет вести, ключников-кладарей учесть, поварам-поварихам приказать, за ткачихами приглядеть, для того есть княгиня — мужу помощница, домашний ум да забота. Да ведь и наказать придется, не мужу каждый раз жаловаться, не любы мужьям жалобы, он ласки ждет для души, жена ему сердце на челядь распаливает, но сама ж виновата, недоглядела, распустила людей, большие что малые, родного сына набалуешь, он с тобой хуже печенега-половца поступит, и не жалуйся, поздно. Жена ученая, дом неметеный, радости мало.

По дому, по кухням, погребам, кладовым, амбарам, подклетям день-деньской водила княгиня дорогую сестрицу свою, при ней хозяйство свое правила, возила за город на отведенные князю рыбные ловли, на княжое пастбище, где город указал пасти табуны и стадо,— не приглядишь, от сотни коров молока не напьешься — и к свинопасам. С ласковыми женскими словами Гита училась многим другим — только бы память да память... Одна ли память? Смелость нужна и желанье. И месяц бы Гита охотно прожила у доброй княгини на пользу себе. Но кончился срок.

На четвертый день Господин Великий Новгород шумно, с вольной и буйной ласковостью проводил невесту старшего Всеволодича. Понравилась она новгородцам: беленькая, глаза серые, росту не велика, но статная, не гордая. Так перечисляли достоинства Гиты. Чудно и смешно — за что тут любить, и что за достоинства? Мало ль таких деву-

шек, найдутся получше. Другое было причиной внезапной новгородской любви.

В подробностях было известно Новгороду падение Англии. Завоеватели поделили людей, как скот, и уселись, собираясь навечно остаться. Норманны захватили было Новгород тому назад побольше двухсот лет. Событие это сохранилось в новгородской памяти больше как славное, чем несчастное. Норманны не успели усесться, не успели закрепостить новгородцев, как были избиты, из них мало кто ушел.

Год за годом через Новгород проходили кучки английских изгнанников, направлявшихся к грекам, чтобы продать базилевсу свое единственное достояние — воинское уменье. Новгород знал судьбу Англии не только по рассказам своих купцов, ездивших в западные страны,— он слушал очевидцев, участников. Посол князя Всеволода Ярославича уплыл в Данию с целью, из которой не делали тайны. Новгородцы ждали сироту храброго короля Гарольда Несчастливца.

Из Новгорода Гиту отправили на двух лодьях, ибо нападений быть не могло, и лодьи были речные, мелкодонные. На одной устроили для Гиты и служанок удобный шатер, побольше, чем был на корабле,— бурь не будет, а через Ильмень-озеро пошли в добрую погоду: будь волна, переждали бы. Бури на Ильмене хуже морских: озеро мелкое, волна крутая и злая.

Князь Глеб Святославич проводил гостью до верховья Ловати — на первый волок — и отбыл, оставив королевну на попеченье Андрея-посла — дивиться волокам, как легко ходят русские из реки в реку, дивиться берегам, оживленным русским многолюдьем, городам, монастырям и прочему, за что скандинавы давным-давно прозвали Русь Гардарикой — Страной богатых городов.

Останавливались раз в два дня, в три дня, чтобы отдохнуть, поразмяться на берегу. Гита осваивалась с русской речью, радуясь, что уже иной раз понимает сказанное при ней: ей очень хотелось заговорить с мужем живым языком, его языком, пусть, по словам Андрея, князь владел латынью, как русским.

И Днепр все ширел и ширел, учащались острова, княжие лодьи с сильными гребцами перегоняли десятки других лодей, еще больше встречали. «Всех обогнать-то нельзя»,— объяснял Андрей. И с каждым днем ночь становилась темнее и темнее — шли к югу. «Это там, в Обневье, летом белые ночи, а у нас, в Переяславле, летом ночь тем-

но-синяя, почти черная, звезды яркие, сказал бы — золотые, но верного слова для звезд не найду... Сама, полюбив предстепную Русь, и небо над нею полюбишь, нет нигде краше наших ночей. А может быть, есть. Всяк кулик свое болото хвалит».

Север еще озарял полнеба, еще четверть, уже кончалась ночная власть летнего солнца. Днепр принял справа полноводную Березину, слева принял не меньший Сож. После города Любеча Андрей указал на восток — там Чернигов! Участились острова. Минули устье Припяти. С мыса, разделявшего Десну с Днепром, стал виден Киев.

Чуть задержавшись — час был ранний, солнце недавно поднялось,— поплыли дальше. И по берегу, и на пристанях было черным-черно, красным-красно от людей: от Любеча Андрей послал нанятую быстроходную лодью к князю Святославу Ярославичу с письмом и предупредить, когда будет и в какой час.

Подошли к княжой пристани, оттуда дали сходни. Высокий старик с длинными усами, казавшийся Гите великаном, в шитом золотом плаще, белой рубахе, красных сафьяновых сапогах, шел ей навстречу по пристани. Двое молодцев его поддерживали под руки.

Он обнял Гиту, коля жестким подбородком, поцеловал трижды и, положив руки на плечи девушке, отстранил ее, молча всматриваясь. Она же, здороваясь, назвала его по-русски и отцом, и дядей.

— Добро тебе пожаловать на Русь,— медленно глубоким голосом ответил Святослав.— Умница,— похвалил он,— уж и по-нашему ты разуметь начинаешь. Сын мне с женой о тебе писали, уж неделю, как письмо получил я. Понравилась ты моим новгородцам. Доброго ты роду, мы наслышаны о Годвине, деде твоем, о прадедах твоих. Твой отец — верю, в царствии небесном он — был взыскан несчастьем. Зато бог послал ему славную смерть. А мне, старику, все недужится, Старость,— пожаловался с досадой, оперся устало на кого-то, кто оказался под рукой, и продолжал: — О чем было-то? Да... Рад тебя повидать. Владимир, суженый твой, добрый уже воин и чист, как белый конь без порока. Иди, не буду тебя держать здесь, бог даст, увидимся.

Святослав надел на палец Гиты тяжелый перстень с сияющим камнем, молвил: «К свадьбе подарок пришлю» — и отступил, давая место митрополиту, который торжественно благословил Гиту.

Старенький, босоногий монах, просунувшись из-за митрополичьей спины, тихонько наговорил:

— Дай тебе бог счастья, касаточка, во всем добром,— и сунул Гите сверточек с чем-то мягким, приговорив: — Тебе. Пригодится, не бойсь...

Князь Святослав махнул рукой. Лодьи отчалили, произведя на берегу вящий шум, сумятицу. Десятки больших и малых людей, стаи лодочек, челноков пустились вдогонку Гите. Киевляне, в голос кляня своего старого князя за поспешность — с ума спятил, право же,— сами так спешили поглядеть на невесту Владимир Всеволодича, аглицкую королевну, что иные для общей потехи перевернулись у самого берега.

— Что ж тебе инок подарил? — спросил Андрей.

В сверточке оказались две пары копытец — чулок белого козьего пуха: одна — женская, другая — маленькая, детская.

— Ты береги их, княгиня,— сказал Андрей,— это ж был Антоний, святой человек. Он сам чулки, колпаки вяжет, сам продает их для своего прокормленья, а если дарит, только бедным. Тебе ж вот подарил первой из тех, кто сам купить может...— И рассказал об Антонии.

Отстали провожатые. Киев закрылся горами и лесом, острова заслонили киевские пристани. К вечеру — конец пути. Вместе с неисчислимым множеством воды плыли людские малые страхи с тревогами. Не то, так другое: как управляться с хозяйством придется, хватит ли ума, как у новгородской княгини? И еще — чулочки детские.

Благословенье русского праведника. Выдумал же кто-то безмятежный покой! Да от него убежишь на край света! Счастья каждому хочется, а какое оно? Словами его тысячи лет объясняют, трудятся. Стало быть, не объяснили еще.

От киевских пристаней до переяславльских считают немногим более ста двадцати верст. Страшно Гите. Друг-посол Андрей отвлекал, к счастью, своими рассказами; и девушка запоминала. До Переяславля от перевоза под Киевом по сухому пути будет верст восемьдесят — рукой подать. Кто едет на своем коне, может, утром выбравшись из Киева, в Переяславль попасть летом до ночи.

Есть и княжая гонцовская служба с подставами, где меняют лошадей. Гонец поспевает из Киева в Переяславль меньше чем за четыре часа. Дорога идет через Альтское

поле, где Святополк Окаянный убил брата своего Бориса. Споткнувшись, Андрей заговорил о другом.

Гита узнала: на Днепре маленькие островки, лысые затылки намытых рекой отмелей, зовутся выспами за то, что они только еще выспевают, но выспеют ли, неизвестно. Поднимается вода от ливней, или зальет полой водой, схлынет — а выспа и нет. Не удался. Если высп продержится год, другой, третий, увеличится, станет чуть выше, по нему примутся лопухи да мать-мачеха, проклюнется ивнячок. Это помощники. Ветер уж не сносит песок, а наносит между стеблями, высп укрепляется, и зовут его отоком: река его отекает. Оток, длиннея и ширясь, покрывается лесом, меняя названье на остров, и получается особое имя: Длинный, Крутой — как придется от случая. Но почему остров зовется островом, не знал или не умел придумать сам мудрый учитель. Смеялись. Так Андрей напоследок и учил, и развлекал королевну-княгиню. «Там что?» — «Лошади».— «А еще как?» — «Табун».— «А там?» — «Коровы».— «А как вместе назвать всех?» — «Забыла. Просто стадо!» — «Какой берег видишь?» — «Крутой».— «А этот?» — «Пологий». И — улыбка: помню, мол. Трудно выговаривалось названье реки, в устье которой входили: Трубеж. И более — не до ученья. Переяславльская пристань называется кораблище.

Приставали на Альте-реке. Переяславль, древний и славный, стоял на мысу при впадении Альты в Трубеж, и Степь переяславльские крыши видать видывала, но трогала только глазом, достать же рукой, чтоб потешиться кочевою пляскою пламени в горьком дыму русского дерева, не удалось ей ни разу.

Не торопились. Как встретили летним вечером, теплым и ясным, без суматохи, без криков, без любопытства толпы, так и вели в Переяславле заморскую гостью. Не вели, не наставляли, не учили — вводили.

Отец-епископ беседовал с Гитой о православии. Преподобный нашел, по словам его, воистину добрую почву, не засоренную терниями: Гита ничего не знала о спорах между Восточной и Западной церквами, и посвятитель мог обойтись без опровержений одного и утверждений другого. Исповедание веры, именуемое символом, она выучила на русском языке с той же охотой, с какой стремилась овладеть русской речью. Последовали несколько молитв на том же языке, и переяславльский епископ с чистым перед богом сердцем совершил над Гитой обряд крещенья в старейшем из каменных переяславльских храмов — со-

боре Воздвиженья креста в присутствии будущей семьи, присоединяемой к православию, и небольшого числа бояр и боярских жен.

Переяславль — не Киев, не Новгород. Жители его так же, как и везде на Руси, собирались на вече, где избирали тысяцкого, где решали общие дела, но были переяславльцы не столь шумны и куда уж не так беспокойны. И меньше их было, и дружнее были они, и больше нуждались в князьях с их дружинами. Требовали от князей большего и позволяли больше с себя взять — не даней, а крови своей, по зову вливаясь в дружину. Переяславль обвевал ветер Степи, не чувствуя которого нельзя было понять его жителей.

На княжом дворе верховенствовала мать Владимира, княгиня Анна. Она для Гиты приехала в Переяславль из Чернигова: женить сына, соблюдая, чтобы все было по правилам.

Строили, достраивали, наращивали, крепили город. Из каменоломен тащили камень водой, разгружали на берегу, везли подводами и растили каменную стену, звено за звеном заменяя деревянную. Кирпич спускали по Альте. Пригодная глина лежала в земле верстах в семи выше Переяславля, там же ее месили, делали сырец и обжигали.

Старый город, жилое место с незапамятных лет, занял мыс при впадении Альты в Трубеж. Высокое место привыкли называть Горой. Заселенное за его стеной место звали Предгорьем. Оно было закрыто валом и рвом, которые легли перемычкой между Трубежом и Альтой. Предгорье было в несколько раз обширнее, чем Гора, его-то и укрепляли камнем. В проездах через стены устраивали верха по-новому. Подведя широкие кружала из выгнутых полукругом досок, по ним сверху укладывали камни, подтесанные с боков на тупые клинья. Сведя кладку, выбивали опоры из-под кружал, кружала опускались, полукруг повисал, как выточенный из одного камня. Это называлось возвести банное строение или построить свод. Средний клин в высоте свода зовется ключом — он запирает свод. До этого времени верха над воротами, над окнами, крыши в переяславльских церквах перекрывали деревянными брусьями. Банное строение было, как чувствовал глаз, прочнее деревянной перемычки.

— Верьте глазу, княгини милые, верьте,— объяснял старший из умельцев каменного дела.— В глазу есть осо-

бое чувство, глаз — он алмаз, видит, постигает, первый советчик уму он. Строение банное — самое сильное. Почему? Дави на него — камни с места не сходят, уйти им некуда, клин не пускает. Свод разрушится, если его так сожмут, что камни рассыплются пылью. Если сложить свод сырцовым кирпичом, он много не выдержит — в сырой глине слабая связь, будет крошиться. В жженом кирпиче глина спеклась, а про дикий камень и говорить нечего. Я как-то задумал испытать. Перекинули мы свод в каменоломне между стенками, как вырубка шла, подровняв лишь плиту под пяты. Потом стали сверху, на банюто, камни класть. На три сажени подняли, на четыре, на пять: мы между собою поспорили, сколько выдержит. И еще клали да клали. Два дня старались, сколько раз доходило почти что до драки. Так и не удалось разрушить творенье собственных рук. Кончим с воротами, будем строить кружала для храма. Балки там одряхлели. Перекроем банным строением, и будет навечно. Но там будем делать крутой свод. В своде ведь так — сила идет на распор, пологое строенье может вывалить стены наружу.

После бегства князя Изяслав Ярославича киевский князь Святослав Ярославич дал Черниговское княжение Всеволоду, а переяславльский стол достался Владимиру Мономаху. Княгиня Анна хоть самовластно распоряжалась в Переяславле на княжом дворе, но была она гостьей. Надолго ли? Как придется. Женить сына не диво — чтобы жил он с женой хорошо, таковы думы каждой матери, и княжество здесь ни при чем. Невестка ученая. И умна ты, и красавица, так сказала Гите Анна-княгиня. Хорошее хорошо и выговаривается. Дика Гита, к людям не привыкла, в себя веры нет у нее, такое княгиня про себя сохранила: в таком помогают не словом.

— Умно, дочь, что ты ниточку русского жемчуга не снимаешь с шеи. Ценю. Продолжай.— Как продолжать, не сказала.

Вторую для Гиты русскую женщину — жену князь Глеба Святославича мать-княгиня похвалила:

— Евдокия добрая мать, жена верная, хозяйка рачительная.— И только. Вскоре почему-то напомнила: — Рыбачка-то! Вместе с мужем на веслах.

Старая княгиня учила Гиту хозяйству:

— Без твоего глаза тебе первой худо будет, придется тебе и встать до света, покинув теплую постель, счесть именье, учесть людей, кто что хранит, кто что делает. Ты научишься, ученая.

А на княжом дворе не сидели весь день. Старая княгиня любила ходить по городу, разговаривать, многих знала в лицо и по имени, кого не знала, подзовет, расспросит — кто, откуда? Требовала от Гиты:

— Не гордись, эти люди — наши, а мы — ихние. Умаляя себя — возвысишься, возвышая же — унизишься. Не замыкайся, не стыдно, если не знаешь чего,— объяснят. Стыдно, если, не зная, притворишься. За спиной посмеются. Спрашивай. Не считай человека плохим, пока он себя плохим не покажет. Зря не верь — такого люди не любят. Ты княгиня. Верное слово скажешь, люди скажут — умна. Умное молвишь — мудра. Зато глупого не простят, а на плохое все падки.

— Как же с людьми говорить? — пугалась Гита.

— Как я,— объясняла княгиня.— Чего не пойму, переспрошу. Не знаю? Так и говорю — не знаю. Книжники выдумали, будто все уж так-то и любят всезнаек. Книги умнее тех, кто их пишет. Книжник, из себя выписав лучшее, себе в обиход оставляет обноски.— И, утешая Гиту, рассказывала: — Когда меня привезли из Константинополя, я совсем ничего не понимала. Нужда учит, кое-как справилась. Страшно было, когда плыли. Потом еще страшнее бывало...— И не договаривала.

«И тебе было страшно!» — хотелось Гите воскликнуть. Но не смела, зато собственный ее страх утихал. Смелела. Заговаривала и, видя улыбку, вызванную неверно произнесенным русским словом, просила: «Научите!» — и повторяла, добиваясь одобренья.

В Переяславле много строили. Об устроении стольного града Переяславльского княжества старался Всеволод Ярославич, теперь его заботы перенял Владимир Мономах, найдя в епископе Ефреме и настойчивого, увлеченного помощника, и руководителя. Деятельный дух старой княгини каждый день увлекал ее на работы: «Радостно глядеть, как камень, ложась на камень, воздвигается зданием».

На стене встречали епископа Ефрема в затрапезной рясе, в камилавочке, забрызганных известью. Он щедро тратил на укрепленье и украшенье Переяславля церковные доходы. «Долю льва отдаю! — И, тонко улыбаясь, добавлял с деланной наивностью: — Вернется сторицей». Рассказывал как-то, не стесняясь чужих ушей:

— Владыка мой, митрополит Киевский, гневается — уберу тебя, Ефрем-расточитель, вор церковный, расхищаешь ты и долю митрополичьей казны.

Епископ рассказывал об угрозах митрополита, встретив княгиню и Гиту у храма Воздвиженья креста. Здесь плотники строили замысловатые кружала, которые предстояло по частям поднять внутри храма, чтобы каменщики по ним возвели баню, своды каменной крыши, и епископ сверял вместе со старшими плотницкой дружины размеры и изгибы кружал с чертежами.

— Не дадут тебя в обиду, преподобный,— возразила княгиня.

— О-ох,— вздохнул Ефрем,— надеюсь на бога!

И пустился объяснять с подлинной страстью: по смыслу храм есть корабль, прочный в житейском море. Внешне же он собирает в себе уменье и красоту всех ремесел и искусств человеческих, ибо воздвигается не чудом, а гибкостью рук, не из духовных вещей, но из плотских и грубых. Поэтому и древние язычники, посвящая свои храмы ложным богам, могли достигать совершенства в искусствах, которым восторгается христианин.

На третий по приезде день до восхода солнца в легкой кибитке, запряженной парой лошадей, княгиня Анна увезла Гиту и свою дочь Евпраксию. Через Трубеж переехали по наплавному мосту на барках, который разводили у правого берега, когда пропускали по реке лодьи. По гладкой, укатанной по черной земле дороге легко уносились по речной низине, полузатопленной влажным туманом, пока не оказались в широких полях и солнце не брызнуло прямо в глаза, внезапно выкатившись над окоемом. Княгиня торопила возницу, тот успокаивал — не опоздаем,— но горячил лошадей, которые сбивались с рыси на скачку.

— Держитесь крепче, крепче! — приказала княгиня девушкам.

Гита держалась за сиденье и за борт кибитки только из послушанья — никогда еще она не испытывала наслажденья быстрой ездой. К сожаленью, такое не длится. Возница натянул поводья, лошади свернули с дороги, и кибитка поплыла в высокой траве к холму со срезанной вершиной. Вблизи холм оказался земляной крепостцой высотой в два человеческих роста, с узким въездом, в который едва протиснулась кибитка. Внутри трава была свежевыкошена, а в стенке сделаны — тоже недавно — подобия ступенек. Благодаря им можно было подняться на верх вала. Как далеко уехали! Следовало знать, что там город, чтобы понять значенье слившейся на окоеме в одно

неровной, многоцветной, но и бесцветно-туманной возвышенности, почти горы, с проблесками над нею. Но здесь было не сравнимо ни с чем. Громада будто бы ровного пространства без края. Хотелось иметь крылья. Не для того, чтоб лететь, а так просто, от радости.

«Что ж это со мной?» — едва подумала Гита, как княгиня велела ей поглядеть левее. Там, еще далеко, мелькали в траве будто бы лошади, сзади их, разбросавшись просторною цепью, спешили — не всадники ли? — всадники.

Старая княгиня, любя поглядеть на ловлю тарпанов, привезла невестку в загодя подготовленное место. Подготовили и тарпанов. Между Трубежом и Супоем их мало теперь: оттеснили. От Супойского озера, которое называют Большим или Верхним, в отличие от Нижнего или Малого, к реке Трубежу насыпан вал. При Ярославле он был закончен. Всеволод его обновлял. Владимир Мономах не забывает послать поправить насыпь — оплывает. От озера Верхнего до Трубежа верст тридцать. От вала до Днепра напрямик, как птица летает, будет верст шестьдесят. Этот кусок Переяславльской земли — не замок, не крепость. Слишком велик он. Однако же половцы побили Изяслава и Всеволода Ярославичей при Альте-городке. Они прошли верховьями реки севернее вала, не решившись лезть через него в Переяславль. Тарпаны не половцы, им легче и через реку переплыть, и времени им не жаль, чтоб поискать на валу места, где бы не скользило копыто. Но к чему? Вольный зверь. Прежде из Переяславля можно было увидеть табуны тарпанов на водопое у Трубежа. Да и запашка увеличилась. Скота своего больше пасут.

Все это объясняла Гите Владимирова сестра, Евпраксия. Переяславльская княжна, с раннего детства наслушавшись, знала о воинских делах не меньше мужчин. И еще нашла бы немало чего рассказать, не останови ее мать-княгиня:

— Садитесь обе, и ты помолчи, императрица премудрая, распугаешь тарпа́нов.

Сели на ковер, который возница притащил из возка, и трава закрыла головы женщин. Евпраксия не оставила матери последнего слова. Медленно повернув красивую голову, с толстыми косами, уложенными короной, сказала:

— Не учуют — ветерок тянет на нас. Не услышат — тарпан не волк, он, как олень, гонят его, он старается слышать, что сзади.

На это старая княгиня погрозила пальцем, сказавши без гнева:

— Ох, дождешься ты!

Евпраксия только плечом повела и медленно отвернулась. Без обиды. Но и без шутки.

Они были похожи, как бывают порой мать с дочерью. Император Генрих, послов которого ждали для окоичательных переговоров, мог бы, взглянув на княгиню Анну, узиать без гадаиья, какой будет кяяжна Евпраксия лет через двадцать — тридцать. Конечно, если жизнь эта не наложит такого бремени, которое исказит, изломает даиые богом черты от рождеиия. Дочь базилевса Константина Мономаха вышла в отца, который в забытые годы пленял сердца женщин чистой зллинской породой, увековеченной десятками известиых и сотнями забытых скульпторов. Хороший, но не чрезмерный рост, широкие плечи — покатые, глубокая грудь, соразмерные руки и ноги, изрядиая сила, но скрытая нежяой кожей и плавными очертаньями, точеная шея с гордым поставом головы, округлёиный подбородок с чуть заметной ложбинкой, прямой нос — продолженье высокого лба, светло-русые волосы, вьющиеся плавной воляой.

Свои купцы из Тмутаракаии привозили на Русь находимые на берегах Сурожского моря и пролива статуи и статузточки старой и новой работы — их было много. Тмутаракаиь сопериичала с таврийскими и греческими купцами. На Руси эллин не удивлял никого ни чертами, ни статью. Гита чувствовала себя маленькой между этими двумя крупными, сильными женщинами.

Ветерок был, но очень слабый. Раздвииув перед собой траву рукой и тонкой тростью, киягиия Аниа потянула Гиту: гляди. Евпраксия же смотрела на мать и на будущую золовку. Ловля тарпанов ее не занимала. Как мать заботится об англичанке! Пестует, учит. Конечно, Владимир — любимец, первенец. Евпраксия не ревновала. Она любила и мать, и отца, и братьев в спокойную меру спокойного сердца. Так же любила книги. Так же будет любить будущего мужа. Когда отец сказал ей о прозрачных намеках германских послов, Евпраксия захотела узнать, не глуп ли Генрих, ие слишком ли миого пьет вина — германцы ославлеиы как пьяницы! И сколько лет императору? Всеволод хохотал: «Видит бог, вся в тетку пошла, в жену французского короля. Такой же кремешок! Умница, дочь, в обиду не дашься, хвалю!» Дочь дождалась коица отцовского веселья, чтобы уверить и отца, и мать: «Если Генрих будет не таков, каков нужен, я его покияу без слез. И чтоб в договоре о браке предусмотреть мои права».

Княгиня Анна радовалась силе души и сердечному покою дочери: жизнь таит неизвестное до последнего часа, таким, как дочь, легче живется, и дурного дочь не сделает. Но не могла заставить себя любить дочь, как других. И не хотела бы таких жен сыновьям. Особенно Владимиру, любимцу своему. И трепет Гиты, и ее страх, ее жестокое сиротство, большее, чем обычное, привлекало княгиню: эта будет по-настоящему своя, всей душой и во всем. Воск...

Люди ждали Гиту с любопытством, с сочувствием, русский видел в девушке беглянку из сожженного города, говорил — доброе дело совершает Всеволод Ярославич, голубя сироту горемычную: эхо падения Англии не умолкало, нормандцев сравнивали с турками, с печенегами, с половцами, духовные в проповедях обличали римского папу.

Владимир ждал невесту, как послушный сын,— жену выбирают родители, по возрасту ему уже давно пора совершить закон, а заглядываться на кого-либо по-настоящему, чтоб сердце терять, ему не приходилось. Всеволод Ярославич на дело глядел так же, как сын, только сверху, и — взвесил приданое молча. Но никто не знал твердого решенья княгини Анны: взвесить невесту. Не отдаст сына, если не перетянет Гита груз материнских сомнений.

Рог прозвучал серебряным зовом. Тарпаны бежали прямо на курган, а всадники изогнулись дугой. Крайние поспевали, опережая беглецов, вот уже вырвались вперед и, оглядываясь, сближались: перед курганом сомкнутся. Крупный вороной жеребец вел табун тяжелым скоком. Могучий зверь с длинной гривой, с громадой хвоста брал то правее, то левее. Наверное, он не раз встречался с людьми, знал их уловки, но поделать не мог ничего. Бросить своих? Может быть, но только когда замкнется кольцо загонщиков. Женщины встали — теперь они не помешают.

Загонщики остановили табун в двух сотнях шагов от кургана. Лошади сбились, пряча головы, темные от пота. Вожак, взбросив пéред, будто пытаясь встать на дыбы, с визгом прыгнул к ближайшему всаднику. Тот увернулся. Пробив брешь, жеребец помчался в степь, увлекая за собой нескольких лошадей. Остальным преградили путь. Всадники метали арканы. Кто-то, промахнувшись, спешил смотать волосяную веревку широкими петлями на предплечье левой руки. Удачливые затягивали петлю поворо-

том своего коня и останавливали тарпана, дрожащего, взъерошенного, с клочьями пены, рожденной ужасом.

Гита, прижав к груди руки, видела только одного всадника. На белом коне, сам в белом, с шитой золотом и серебром грудью рубахи, Владимир метнул аркан первым. Петля захватила шею стройной лошади. Князь не рванул аркан, как другие, а, удерживая его правой рукой, скакал вместе с добычей, будто бы она его увлекала. Но очень недолго: мгновенья, которые показались длинными только Гите. Всадник и его белый конь вместе, как одно целое, сделали что-то, и плененная лошадь почему-то побежала по кругу, а всадник в середине только поворачивался, укорачивая аркан, и пленница все больше выбрасывала круп наружу круга и бежала уже боком, ближе и ближе, пока не остановилась сама, тянула назад, пробуя вырваться, и только еще больше затягивала петлю. Владимир осаживал своего коня, вынуждая пленницу слушаться. Так оба подошли к кургану. Белый конь без порока, по словам старшего Святослава Киевского. Голос Владимира был ровен, сам он свеж, будто бы не гнал тарпанов и не справился сам с добычей.

— Тебе дарю кобылку, Гита моя, будет тебя, когда захочешь, носить, добрая будет лошадь. Берешь?

— Беру,— ответила Гита. Откуда и смелость взялась с богатырем в степи разговаривать?..

Так забавлялись ловлей, по мненью княжны Евпраксии. На самом же деле мать сына своего хотела невесте показать — и успела в своем замысле. Премудрая Евпраксия не догадалась. Молода еще против матери, и матерью еще не была. Без материнства женский ум не полон, как без отцовства черство бывает мужское сердце.

У Гиты появилось первое собственное дело в бытность ее на Руси: в конюшню ходить к своей лошади. Два дня первых степная полонянка стояла в деннике, натянув удавку так, чтобы только не лишиться жизни, с ужасом храпела, глядя на чудовище, усевшееся в кормушку,— на седло. На третий, вдруг осмелев, оттолкнула помеху и пустилась жевать пахучую траву, пересыпанную зернами овса и ячменя: нельзя сразу давать степной лошади чистое зерно — и есть его она не умеет, и вредно с непривычки.

На ласковый хозяйкин голос она косилась, гневно выкатывая влажное око, и храпела, прижимая уши, но раз от разу становилась тише, спокойнее.

В кормушке к седлу добавили уздечку с железом. Привыкнув к виду седла, кобыла нашла дополненье к нему

вовсе не страшным. И вскоре позволила Гите прикоснуться к нежнейшим ноздрям, но чуть-чуть и всем видом показывая: берегись, я могу укусить, коль так вздумаю.

Лиха беда начало. Заслышав шаги Гиты и помня о сладком куске на мягкой ладони, кобыла здоровалась, нежно всхрапывая: эти два слова для нас не вяжутся, а лошадь умеет связать. Уже стала она пускать хозяйку к себе в денник, давалась обнимать за шею и позволяла Гите вести разговор за двоих.

— Ты будешь ходить под седлом? Для меня? Мы с тобой скоро обе учиться начнем. Когда? После свадьбы. Скорее бы. А тебе скучно и хочется бегать?

Наставив уши, кобыла и впрямь будто бы спрашивала: а слезы к чему тут?..

— Самого дорогого, самого близкого человека мы умеем горько теснить. И чем же? Любовью своей! Как соблюсти меру и кем указана мера? — спрашивала княгиня Анна сына, а он молчал, зная — ответа еще не нужно.

Семь последних лет, начиная с поездки в Ростов Великий, выписались в его памяти яркой тушью, расцветились заставками, что дорогая книга, исполненная лучшим писцом. Эти годы ковались кольцо за кольцом, в них его каждодневно теснила необходимость. Детство отошло, совсем позабылось. Недавно без явных причин, без особого случая ожили детские дни, когда был он в материнских руках. Говорят, что такое служит признаком возмужалости.

— Лелея любимого человека, берегут его как зеницу ока. Нет большей драгоценности — жизнь за него отдают. И ревнуют ко всему да ко всем, мнится что-то — и допрашивают, и томят его,— продолжала мать.— Любовное угнетенье жестче железных оков. Любимый, любимая превращены в жертвы. Свободу нужно уметь соблюдать и в любви. Любовь бежит от несвободы.

Владимир вспоминал: мать умела его не теснить любовью и в детстве. Свобода — как воздух, о котором вспоминают, когда не хватает его. Подумал он и о судах стариков. Разбирая, по обычаю, семейные ссоры, старики чаще всего винят мужа и приказывают ему: не утесняй жену, дай ей разумную волю — и будет мир в твоем доме.

А княгиня Анна вдруг рассмеялась, как молоденькая:

— Учу тебя, сын, будто ты маленький. В словах путаюсь, как зверь в тенетах. В утешенье самой себе расскажу

тебе притчу. Семь мудрецов, которые всегда сияли, как звезды, на беседах среди ученых людей, не сумели ночью найти дороги домой. Хотя, как говорят, светила луна. И каждый, утешив себя любимой сказкой, заснул прямо в дорожной пыли...

Владимир расхохотался. Привычка делала шутки матери особенно смешными и легким смех сына.

— А все же,— сквозь смех возразил сын,— не каждый сумеет заснуть где придется. Они остались мудрецами.

— Хотела бы я, чтоб и ты был мудр. Свободу нужно беречь в любви. Видишь, я опять о своем. Гита — добрая девушка. Ты же...— княгиня замялась, ища слов, и подняла руку, остановив сына, который готовился что-то сказать.— Подожди, послушай! Никогда я не буду между вами становиться. Брак — святое дело, в нем двое, остальные же, даже мать и отец, лишние. Сказано же: жена, оставив своих мать и отца, должна прилепиться к мужу. И муж так же. Будь с женой нетороплив, ласков. Никаких советчиков между тобой и женой не допускай. И более об этом не подобает нам с тобой говорить. Гите не скажу, что я с тобой говорила. Сам никогда не говори о жене ни с кем, ибо для женщины нет бо́льшего оскорбленья, чем мужнина нескромность.— Умело сделав паузу, княгиня закончила: — Не помню когда, но уже на Руси кто-то при мне сказал: можно научить всему, а как жить — сам учись, тогда и будешь счастлив.

— Но можно ли быть счастливым? — с шутливо-деланной серьезностью спросил Владимир.

— Иногда. Не каждый день и не весь день,— ответила мать.

— Это что же? Загадка? — засмеялся сын.

— Настоящая. И нет готовой отгадки,— с веселым лукавством сказала княгиня.

Судили-рассуждали, что отчего пошло: князья от городов или города от князей? Строя стройность событий — нестройное не построишь,— летописец-геометр обязан был перед своей совестью, перед своим разумом найти изначального родовича, главу семьи, от коего, как люди от Адама, пошли все — и князь, и пахарь, поколенье от поколенья, делясь между собой: кому пахать, кому воевать. Прав был летописец — нету наук без поэзии, и поэт, и ученый провидят в туманах прошедшего времени явленье родоначальника.

Ложился уже вечер, весенний, конечно,— весну сказитель подарил от любви,— когда за речным яром явился человек немолодой, усталый, обносивший одежонку, но сильный и бодрый. Уходил он откуда-то, от какой-то беды, потеснившей его из дедовских мест. Заприметив чистый ключик, струившийся в яр из камней, укрепивших божьей волей обрыв, не брезгуя зверями, которые натоптали следов, пришлый напился сладкой воды, встал, влез обратно на взгорье, огляделся, ибо человечьего следа не видно. Тихо, уютно ему показалось. Замерло сердце, будто сказал кто-то: здесь! Бросив копье, пришелец пал на мать сырую землю, поцеловал и поклялся: «Беру тебя, ты моя, а я твой. Буду здесь жить, рядом с медведем, волчицей, кабаном, зато на просторе». Приложил к губам старый рог, окованный желтой медью, хрипло и гулко позвал, наслаждаясь сознаньем, что первым он нарушает покой лесной чащи. И когда подошли несколько мужчин и несколько женщин с детьми, с десятком лошадей, навьюченных общим именьем, пришелец приказал сыновьям, невестке, дочерям и зятьям: «Здесь быть нашему месту», чем совершил княжье дело, решив один за всех.

Переяславльцы чтут свой город за древний. Так по преданью, но есть и иные свидетельства: яму ли под погреб копают, колодец ли роют, в земле что-либо да найдется. Под заступом хрустнет желтая кость, заскрипит уголь, звякнет горшочный черепок, мягко продавится черный обломок трухлявой доски. Не диво, если в огородных грядах блеснет золотая серьга, вместе с морковкой выдернется бусина. Находят клады монет времен римских языческих императоров, со смерти которых минуло и восемь, и десять сотен лет. Попадаются древние греческие. Может быть, апостол Андрей занес такую монетку. Находили и неизвестные деньги. Ни свои знатоки, ни киевские, ни греки не могут сказать, кто и где чеканил такие. В монетах ценят чистоту металла, а не место, где били их. Деньги слепые, что бы на них ни отбивали... В городах же, как в живых людях, светит нынешний день, не вчерашний.

Однако же и теперь греки, арабы, турки оставляют свое золото на Руси, а свои купцы привозят чужеземную монету: в тех землях нет столько товаров, чтобы выкупать русские. Пушных мехов на Руси много, в других местах таких нет, потому-то и все просят. Необходимости в мехах нет, так как южные земли жаркие, теплой шубы не нужно. Меха красивы, их берут за красоту. Известно, что за кра-

сивым больше гонятся, чем за нужным, больше платят. Красоту понимает и зверь.

Новгородцы считают и Киев, и Переяславль своими выселками: наречья новгородское и поднепровское одинаковы, а смоленское или хотя бы курское, волынское разнятся, и пришлых оттуда узнают по говору.

Новгородцы горласты, надменны, все умеют, все знают, и разборчивы. И своенравны. Встанут, ноги азом, руки кренделем, шапки на затылок, орут свое, и спорить с ними нечего — не переспоришь. Киевляне походят на новгородцев, шумны, беспокойны. Однако же в Новгороде ни один князь не мог бы позволить себе такие дела, как Мстислав Изяславич, каравший за отца. Киевляне растерялись, и кровь отозвалась Изяславу с опозданьем. Новгород встал бы сразу, и не видать бы князю его улиц как своих ушей.

Переяславль спокойнее. На вечах ссоры редки, драки случаются раз в сто лет. Тому причины — людей в городе во много раз меньше, домохозяев около двух тысяч, а если считать на живые души — наберется не более двадцати тысяч. Но главнее того — Степь. К ее дыханью прислушиваются, из-за нее крепче и связь князей с землей, и княжая власть: одно от другого даже отличить трудно, свились — и не разберешь, где одни нити, где другие, как в веревке не различишь, где моя пенька, где соседская.

Жирна переяславльская земля, леса много, но пашни хватает, засушливые годы редки, хлеб издавна продают, наибольшая часть переяславльцев владеет земельными угодьями. Владеют и князья, и дружинники. Оборонять нужно от Степи. Переяславльцы нуждаются в князьях, которые умеют водить войско.

А все ж при всех будто бы различиях есть глубокая общность. Ни в Новгороде с Псковом, ни в Киеве с Переяславлем нет внутри городов княжих крепостей. В Новгороде есть кремль, в Переяславле внутреннюю крепость называют Горой: место первого города, защищенное отдельной стеной. Но это не княжие замки, хоть там и построены княжие дворы. В кремль ли, на Гору ли доступ свободен всем. Туда отойдут все жители, если не удастся отстоять наружные стены. Кремли не княжие, а общие. Так на всей Руси. Стало быть, предок-то был общий, князь великий именем Обычай! Свидетелей нет, вымерли. Но приметы остались.

Утренняя звезда, испуганная денницей, зеленым огнем дрожала над окоемом. Город, как обычно, оторвавшись от

самого из всей ночи сладчайшего предрассветного сна, давно уже бодрствовал. Хозяйки подоили, встав до света, выгнали на улицу скотину, отстряпались и накормили своих; кому дело за городом, тот уже уехал, верхом ли, в телеге или возком; из-за города везли съестной припас — говядину, птицу, рыбу, дичь, молочные скопы, мед, дрова, разгруженные с верховых людей, камень, кирпич, песок, жженую известь, бревна, доски, кожу, железо, поделки, посуду — всего не перечислить, что нужно городу; для себя припасти, и в запас, и для сегодняшних дел. В переяславльском Предгорье торг заполнялся, лари были открыты, на лавках раскладывались товары, и люд начинал копиться, еще по-утреннему спокойный, но по-дневному цветущий разнообразьем одежды, вольностью речи, движения: мужчины ль, женщины ли — все равно привычные быть сами собой, без подделки под чье-либо иное обличье; соблюдалось приличие в точном значенье — и одеться, и вести себя по лицу, одно идет женщине, другое — девушке, иное в зрелости, чем в молодости, и свое — старикам.

Торг на Горе — в старом городе, переяславльском кремле — нынче пуст от торговли. Как в Новгороде, торг мощён деревом, его полнили водой, подмели. Будут ставить столы. Нынче женится князь Владимир Всеволодич, прозвищем Мономах.

На верхний торг выходит храм Воздвиженья креста, по нему и площадь зовется Воздвиженской. По улице, что ведет от площади к стене, отделяющей Гору от Предгорья, в ряду других недавно на замену деревянного поставили каменный дом в два яруса. Верхний ярус перекрыт сводами на столбах и высок, в две косые сажени. Частые окна узки, заделаны решетками и закрываются железными ставнями. В одном углу стоит кирпичная печь, пол перед ней обит железом. Хозяин боится огня, чтоб уголек не выпал из топки, чтоб не залетели искры в окна, если поблизости случится пожар. Склад дорогой — книги. На полу и на полках разложены венички горькой полыни, которой боится тля, червь. Чистый запах степи, смешавшись с душным запахом пергаментов, дает странный аромат, его любят книжники.

Серо-желтые громады книг собрались на ступенчатых полках, перевязанные шнурами, завитые в свитки, собранные по листам между тонкими досочками, окованными с уголков, с застежками, без застежек. Прячутся в глиняных и медных сосудах, в ящиках, в ящичках. Пергаменты. Папирусы. Толстая, шероховатая бумага из тростника.

Береста, снятая с беспорочных берез, разделенная на тонкие слои, правильно обрезанная, нетленная, вечная по сравненью с пергаментом, с папирусом, с тростниковой бумагой. У нее один недостаток — сама свивается, книгу не соберешь. А соберешь — хорошо, пока держишь под гнетом. Отпустил — листы совьются и рвутся по волокну. Для книжника в этом нестерпимый порок бересты: хоть писать хорошо, да трудно хранить и читать.

Вчера закончился последний день холостой жизни князя Владимира Мономаха. К вечеру он парился в бане вместе с друзьями, потом пришел для беседы в любимое им хранилище книг, где и заночевал вместе с Андреем, сыном отцовокого боярина, Владимировым другом от младых ногтей, который славно справил посольство в Данию. Последнюю неделю Владимир не жил у себя на дворе. Поручив невесту заботам матери, он с ней увидится только в храме.

Дом с книгами — собственность Андрея, внизу у него — жилье, хозяйство, душа — на верху, как ей и быть полагается. Книги считаются общими с князем и другом, счетов между собой они не ведут. Что в том, что наибольшая часть получена Владимиром от отца или куплена на его деньги. Андрей содержит двух книжников для ухода за книгами, для выписок, для переписки. Переяславльские любители пользуются книгами для чтенья, иное было бы грехом: уподобиться человеку, который, имея свет, прячет его в темном месте. Три школы в Переяславле черпают отсюда же.

Здесь разум старый, недавний и нынешний. И пламя, и холод. Гневный окрик рядом с вкрадчивым советом, нежные убежденья и мертвенная сила приказа.

— Недаром Тиберий, второй римский император, велел писателей искать и казнить, рассуждают-де они о делах, тогда как обязаны они слушаться, как все прочие,— говорил Андрей.— Красноречивые молчальники! Чудо! По его призыву слетаются тучи и птицы. Как глаз. Вмещает безгранично большое, находит место и для солнца, и для муравья. Будто они равны. Спящее в книге слово пробуждается от взгляда. Нет для книги прошлого, она всегда в настоящем. Это главное чудо!

— Хорошо,— сказал Владимир.— Ты — Боян мой! А что ты мне подаришь сегодня?

Андрей подошел к столу, тронул гусельные струны, проверяя их строй. Одно созвучие, другое. И опустил обе руки, утишив звон.

— Нет! Время всему. Подожду, уж недолго. Пусть мысль легка и чиста, как туманы над озером. Плоть слов трудна для меня...

Гул колокола пришел в хранилище книг, простой, чистый, великолепный, обычный и всегда необычайный. Если бы такую плоть имела мысль!

— Вот и все,— сказал Андрей,— пора тебе отправляться. Пойдем.

— Подожди,— возразил князь Владимир.— Я хотел тебя спросить. Нет. Это я скажу тебе: странно мне. Этот колокол, который впервые звонит для меня, звучит мне по-новому. Знаю, тот же он, ударил тот же звонарь. Откуда ж явился новый звук? Слушай, сейчас ударит еще.

Опять пришел чистый звук, такой же, но почему-то сейчас слабо, но явственно отозвались гусли.

С неожиданным раздраженьем Владимир бросил Андрею:

— И мать, и отец, и дядя Святослав, и ты, и все вы не знаете меня. Владимир добрый, умный, чистый, храбрый... Если б ты знал!

— Что знал? Что с тобой? — вскричал Андрей.— Что ты дурного сделал?

— Сделал? Ничего! — был ответ.— Но мысли мои я знаю один. Ты похвалялся, что твои мысли легки и чисты, ты жаловался на слова. А если б я рассказал, что порою мне чудится, мне не пришлось бы далеко искать слов. И удивил бы я всех!

— Князь, брат! Успокойся! — призвал Андрей.— Ты меня было испугал, право же. Вот ты о чем! Мысли! За свои мысли мы не отвечаем. Они же как колокол — звук его пришел и прошел, в нем ты не властен. Ты думаешь, мне не приходит в голову такое, что удивляешься на себя и, скажу прямо, делаешься гадок себе же. Ты скрытен, а дело-то простое. Моих песен нет, пока я не вложу их в слова. И пока в моей душе, не найдя выхода, бьются желанья, и хочется, и не можется, я еще не певец. Также, пока я не совершу дурного, я в нем неповинен и чист, сколько бы грязного мне ни мнилось.

— Пусть будет так,— согласился Владимир.— Мне хочется тебе верить.

— Верь,— убеждал Андрей.— Вспомни, разве ты предал кого-либо, нарушил слово, испугался, бежал, бил в спину, казнил, мучил, бросил без помощи? Разве перечислишь!.. Признайся!

— Нет. Не помню, чтоб был грех.

— Так освободи себя в такой день. Желаю тебе счастья. Невеста твоя воистину непорочна. Обменяй же любовь на любовь.

Внизу друзья, бояре, младшие дружиннники и веселы и серьезны, добрые шутки, но вольных слов нет: князь Владимир не любит такого. Во дворе боярин Порей подвел своему князю коня. Был Порей на первом пути князя — тому минуло семь лет — подобьем дядьки, сегодня будет свадебным тысяцким ездить с обнаженным мечом всю ночь вокруг брачного покоя. Князь сел в седло, прыгнул в свое и Порей — ему ехать первым для охраны. Еще пять тысяцких подвели пять коней женихам, еще пять князей — их княжество на один день — сели в седла. Сразу шесть свадеб справляют сегодня переяславльцы.

Такова воля княгини Анны. Четверть века жизни на Руси, сделав ее русской, не изгладили византийской тонкости, или хитрости, или расчетливости — зови как хочешь. С приезда Гиты каждый день старая княгиня добивалась, чтоб будущую жену сына хоть в лицо узнали переяславльцы, тем натягивая основы будущей приязни. С тем же намереньем старая княгиня предложила нескольким переяславльским жителям, собиравшимся женить своих, справить свадьбы вместе и быть гостями на княжом дворе. Им и честь, и выгода, кто же откажется?

Улицы полны народа, говор, и смех, и шутки встретили женихов за воротами Андреева дома. Звонили на всех храмах, отвечая Воздвиженскому, полнозвучные голоса главных колоколов сопровождались веселым перезвоном подголосков. До паперти не будет и шести сотен шагов, но едут верхом — обычай. Ста шагов не проехали, толпы стеснились, путь преградил завал. Откупайся, иначе не пустим. Пять раз останавливали, пять раз тысяцкие сыпали серебряные деньги в подставленные шапки.

Вот и в храме. С княжого двора привозят невест. Епископ Ефрем сам служит, при нем обещаются друг другу брачащиеся, он их водит вокруг налоя с золотыми венцами, надетыми на головы, отсюда и названье обряда, свершается союз, чтобы плоть была едина, пока не разделит смерть.

При выходе супругов осыпают зерном, маковым семенем, чьи-то руки украдкой касаются одежды молодых жен — это какая-либо девица заручается доброй приметой для себя,— осыпают хмелем, бросают под ноги пучки трав,

сорванных с наговором на счастье, перевязанных с заговором на счастье же либо волоском, либо шерстинкой, либо тряпицей, ибо каждая трава своего просит, спрыскивают водой, подкладывают чистое полотно, произносят заклятья против зла ночного, вечернего, рассветного, полуденного, призывают Сварога, Дажьбога, просят навьих пожаловать к честному браку, надевают венки цветов, собранных с заклинаньями лесовика — в лесу, водяных — на берегу...

Что ж, в гривы и в хвосты коней были не зря заплетены ленточки, и косицы конские крутили по-особому — старые-престарые русские обряды, сохраненные от славянской древности, все остались, все живут и жить будут долго еще. Только б чего не забыть, не нарушить бы русскую общность! Тут же толкуют: кто первый на коврик перед налоем ступил, он иль она? Здесь примета — первый будет господствовать в семье. И не споткнулись ли, когда водили округ налоя? И как отвечали? И не упустил ли чего венчавший?

Люди довольны: певчие пели согласно, ни одна свеча не упала ни перед иконами, ни в паникадилах, ладан в кадильницах дымился сладко и в меру. Заметили также, что под новым банным строеньем, законченным за два дня до венчанья, красивей звучат и пенье, и молитвенные возгласы. Для глаза еще нет красоты, а вот высохнет известь на сводах, каменщики затрут камни, живописцы распишут, и будет Воздвиженский храм на удивление киевским!

Солнце нынче катится по небу — не поспеешь. Давно ль начался день, а солнышко уже за Днепром. Молодожены едва отдохнули, зовут садиться за стол. Сели шесть князей и княгинь за стол в большой палате-гриднице на княжом дворе, едва хлеб преломили, едва выпили меду и съели первый кусок — вставай, иди к гостям. По двору, на котором когда-то перед молодой княгиней Анной сын-мальчик лежал, сброшенный лошадью, а мать виду не подала, что сердце остановилось, этот сын ходит с молодой женой между столами, кланяются оба, благодарят гостей, просят не обессудить хозяев, не брезговать угощеньем: чем мы богаты, тем вам и рады.

Статный, могучий мужчина вырос, его лук редко кто может согнуть, умом зрел, воин, забыл, как лежал у крыльца, забыл, а мать помнит. Гита почти на целую голову ниже мужа, нежна́, не англичанка — ангел, однако такие англичанки дарят богатырей своим мужьям. Да будет так! Добрая девушка, умная жена, да будет так! Что могла, все мать сделала для жены сына. Ей самой не помогали, при-

везли как немую, немой она начала русскую жизнь, первенец явился на свет, она же все была как чужая на Руси, жила, думая — здесь, как в Палатии, не умея понять, отстранялась от людей, считая своим долгом хоть как-то, хоть в чем-то ввести палатийские церемонии. А у сына — природное. Для храма разрядился, иначе осудят; вернувшись, тут же переоделся. На охоту поедет в посконной одежке — любимая у него. Вся роскошь его — холст, белый, как яблони цвет. Только затянул поясок и красуется гибкой тонкостью в поясе. Гиту же, хитрец, изукрасил самоцветами в золоте, знает — иначе его женщины осудят. Ночная кукушка денную перекукует, ей ли не знать. Гита, девочка милая, не расстается с невской ниточкой жемчуга. Талисман заветный.

Ходили, кланялись, пока не обошли всю площадь, шесть пар, шесть молодых князей со своими княгинями, шесть княгинь со своими князьями. С какого-то давна принято на Руси величать новобрачных княжеством, какого бы ни были они звания. Когда началось, с чего пошло? С того же предка, с того же явленья родоначальника, с отца-матери, их поминают потомки, вступая в брак, чтоб совершить Закон.

Андрей-Боян пел славу Русской земле: реки твои глубокие, озера — как моря, ручьи ласковые, ключи чистые, а где бы ни заложил в твоем лоне хозяин колодезь, тут и открываешь ты ему молоко сладкой воды, и леса твои — города великие, дубравы в них — ясные горницы, нет счета медоносным роям, семьям звериным да птичьим, и хлеб ты родишь, и никто еще на Руси с голоду не умирал, и все слышат русскую славу, радуются германцы с франками, что далеко живут, тешатся греки дружбой, а венгры крепят железными воротами Каменные горы, чтоб через них Русь не проехала...

Звонко рокочут гулкие гусли. Не один Андрей бьет в струны — одиннадцать Бояновых подмастерий вторят Бояну-мастеру. Кончаются слова, и гусли, которые шли тихим строем, чтоб не мешать песне — говору нараспев, берут всё место, расходятся полной силой и творят свою песню, выговаривают свои слова с колдовским могуществом, рождая в людских душах виденья прекрасного, усаживая за невидимые столы высокого пиршества.

Тихнет струнный звон, гусли ведут свое с глушинкой, чтобы поверху дать место человеческому голосу. Андрей-Боян спрашивает: почему же с востока идут тучи за тучами и застилают русское солнышко? Почему же из восточ-

ных горнил сажа да пепел летят на Русь черными птицами? Почему твердая Степь, будто болото, шевелится ядовитыми гадами? Что за горы там пламенные, что за ямы огнедышащие, с которых на Русь катятся, от которых на Русь бегут разбойные полчища? Кто их толкает? Чья сила?

Не место на свадебных радостях поминать о таком. Нужно ласкать молодых княгинь с их князьями виденьями светлыми. Что ж, потешили их и утешили виденьями русской земли. Местом они не будут обижены. А теперь пусть подумают. Свадебный пир не гулянье разгульное. Старым стариться, жить молодым. Птицы небесные не сеют, не жнут, не собирают в житницы, однако малая пичужка и та свое гнездо защищает и за птенца жизнь отдаст, которую она проводит, неустанно трудясь, в полете, а собранное передает своим из клюва в клюв, ибо негде хранить заработанное.

Старому и правда нужно утешенье в слабости, молодым же самим утешать себя приходится не сладким словом, а делами.

Есть, наверное, за тридевять земель, за горами, за долами да за синими морями зе́мки-острова, где круглый год лето, где круглый год деревья сразу одними ветками цветут, на других завязь дают, а на третьих предлагают спелые плоды, где нет борьбы, нет насилия, где род человеческий, живя малой единой семьей, целый век улыбается и поет веселые песни. Каждому в мире свое. Степь давит на Русь, Русь идет на Степь, ставит крепости, насыпает валы на десятки верст, а под их охраной пашет, кормит себя от земли, а не грабежом, как Степь.

Молодым брак не завершенье, не развязка, брак не дверь в цветущий и прибранный сад, брак — начало жизни. Что князю, что землепашцу — одно. Мужу с женой, жене с мужем сживаться, друг о друге думать, о детях заботиться — что князю, что землепашцу, все равно. Степь между ними не разбирается, для аркана кочевника все шеи одинаковы.

Поет Андрей-Боян про страшное, а слова его принимают, будто бы дарит он. Слушают, суровые, сильные, смелые. Иноземцы удивляются, у них по-другому. В каждой земле свой обычай. Но иной бывалый купец, он же и воин — время такое,— задумавшись, вдруг понимает, почему на Руси главные города, главные княженья, от которых зависят другие города и другие княженья, не спрятаны внутри Руси, а поставлены на краю. Они — укрепленья

на юге и востоке земли для защиты от Степи, за то им и честь, и первенство.

А это что? Упреки! Обильная Русь, всесильная Русь сама себя силы лишает. Города не дружны, под себя тянут, любят себя, будто они соперники, будто мало места, будто все поля распаханы, речные берега заняты, рыбы и дикие звери сосчитаны. Боян хулит князя Изяслава за гордость, за бегство, хулит Святослава с Всеволодом — изгнали они брата, заменив братское слово угрозами. Будет ли от такого на Руси добро? Не будет. О малом спорят князья, будто о великом. Дружины состязаются, какая сильнее. Сила не в споре, сила — в согласии.

Улыбается старый князь Всеволод, покинувший Чернигов, чтобы сына женить. Прав Боян, да люди-то не камни: не обтешешь на клин, чтоб свод сложить. Тесел нет таких, нет и каменщиков. Жизнь-то, ее, друг-брат, прожить — не поле перейти. Овраги, топи невидимые, метишь, как лучше сделать, получается худо. Удача без труда приходит, трудишься — руки пусты. Так-то, друг-брат. Я тебе такое могу объяснить на латыни, на греческом, на германском, по-арабски; все знают, что надобно делать, а как делать — еще не придумано.

Велел Всеволод налить братину греческим вином, взял полуведерную чашу за ручки, вышел во двор. Старый князь — так говорится по возрасту, по бороде да усам, крепко битым белым инеем, по высокому лбу, который бог придал во все темя. Память же свежа, а спина хоть иссутулилась, но в седле не мешает. Двое суток, меняя коней, шел Всеволод в Переяславль из Чернигова, прибыл третьего дня поутру свежим, после обеда в полдень лег, как все, по обычаю, и спал не долее других.

Выйдя с братиной во двор, князь Всеволод возгласил здравицу: «За Русь Великую!», отпил и передал первому, кто с краю сидел. Пошла братина по двору, со двора пошла на площадь, за братиной шли княжие виночерпии с мехами вина — пополнять. Дойдут до последнего — и пиру конец, ибо солнце уж прикидывалось к земному окоему, где ему садиться ныне положено, чтоб дать Руси ночной покой.

В гридне кончался пир. Скоро дадут знак молодым и поведут их, по русскому чину, в опочивальню, где готова постель из снопов немолоченного хлеба, с перинами, застланная льняными простынями, с подушками гагачьего или гусиного пуха, с одеялами горностаевыми или куньими, со свежей водой, с огнем, все по-старинному, без перемен с древнейшего времени первых славян, по указу князя

Обычая, от которого пошла русская земля и стала быть. Разве что в правом от входа углу вместо светильника горит лампада перед божницей.

Зажглась вечерняя звезда, над нею белый месяц уходил вслед солнцу. Андрей-Боян под нежный звон одиннадцати гуслей спел новую песнь:

Душу а душу аложиа, анук и аиучка Стрибожьи
Жили долго любовью люби, жили до иочи, когда,
для себя незаметио, а сои аступили особеииый —
ои вечиым зоается, ибо через него люди а аечиую
жизиь уходят...

И где-то в выси оин оба очиулись, обиявшись, и
долго иеслись среди облак иебесиых, и заезды, и
воздушиые заери им дааали дорогу, и они поднимались,
сияя, к сияющим стеиам, к воротам, и были ворота
иежиейшим
сплетеннем лилий, но прочны, как камень, и гулки, как
броиза. На голос ворот явился апостол-привратник,
святой Симон-Петр, спокойный, кaк камень, и руку пред
ними воздвиг, вход воспрещая, и так им сказал: «Нет, не
время, иет, еще раио, до срока иного иное вам уготовлено
богом».

И ветер небесный понес их а место другое, здесь ворота
казались подобными райским, но странно отличными,
будто бы сущность сама была опрокинута, и белое
сделали черным, и чериое сделалось белым, и свет
стал помехой, чтоб аидеть. Безликие, скучные стражи сказали:

«Уйдите, не пустим,
уйдите, уйдите!» — и сдвинулись тесно, собой заслоняя
печальное место, и стражи поникли, как травы а дин зноя,
бездождья, и асе повторяли: «Нет твйн для раи, иет твйн
для ада, мы тех принимаем, кому надлежит воздаянье за злобу,
за чувства ничтожные, берем мы лишь тех, кто изаергнут
за то, что был только тепел, за вашу любовь у нас нет наказаний».

И вновь поднялся ветер и принес их к порогу, к узкому входу,
где начиналось Чистилище душ, сотвореииое из холодиых
молитв и хитроумных иадежд папского Рима.
Тут служки астретили души с улыбкой: «Слыхали и зиаем —
аас а рай не пустили, все зиаем, и места в аду вам не дали,
чего же от иас вы хотите? Очистить вас от любви мы не можем,
нам аы не нужны, мы вам не нужны, но Петр-привратиик вам
ничего не сказал? Ничего? Разае вы не слыхали?»
«Мы скажем...» — но ветер унес и слова, и трижды отверженных,
Они же, глянув один ив другого, увидели: горе, заботы,
морщииы, седины — асе, асе исчезло, смытое будто пыль
с листьев первым дождем, и стали они, какими были давио,
в тот день, когда иа земле обменялися кольцами.

«Вернемся на землю»,— оба разом сказали. «Я женщиной буду,
и буду любить я, и буду тобою любима»,— она ему обещала.

«И н снова буду твоим, желанная сердца, ты краше мне лилнй
на райских воротах».
Не ветром, а собственной волей своею они погружались
в сиинй, в теплый покров, в котором вьются дороги с тверди
небесной к твердн земной. И с вннманьем глядели,
выбиран из многих путей путь однн — русскнй. И впервые
их коснулась земнан тревога: как бы не ошнбитьсн? Ибо
русское сердце откажется битьсн, если случится очнуться
на чужой стороне.

Изяслав Ярославнч в своем горьком изгнании продолжал стучаться в германские двери, помощи же ни от кого не получал. Много было шума, много было угроз в беспокойном и тесном мире, и никто не мог бы с уверенностью сказать, где пустой словесный звон, а где дело. Прошел слух, что чехи собираются подкрепить притязанья Изяслава, а заодно посчитаться с поляками. Польский король Болеслав решил подкрепить свой ненадежный престол союзом со Святославом Ярославичем Киевским н просил помочь против чешского короля Вратислава, союзника Германской империи. В помощь ляхам на чехов Святослав приказал идти своему сыну Олегу и Владимиру Мономаху. Оставив молодую жену на попеченье своим матери н отцу, Владимир пошел на войну.

Князья — двоюродные братья прошли со своими дружинами Польшу и вторглнсь в Чехню, не встречая сопротивления. Чешский король Вратислав поспешил купить мир у Болеслава за тысячу гривен серебра. Польский король послал к молодым князьям известить о прекращенье войны.

Ляшские послы едва догнали русских князей на реке Мораве, у впадения в нее Быстрицы. Русское войско стояло в городке, из которого бежало все населенье, спрятавшееся в крепость Ольмюц. Сидя в самом большом доме около костела, молодые князья договаривались с посланными ольмюцкого воеводы о выкупе крепости. Воевода давал двести гривен, князья требовалн четыреста. «Иначе обложим крепость, построим машины, а вы будете с голода умирать». Заставив поляков ждать, пока чехи, приняв условия, не отправнлись к себе за деньгами, Олег и Владимир занялнсь и с нимн. Лада не получилось. Прочтя Болеславово посланье, русские говорили учтиво, днвясь быстроте перемен.

— Вы так можете, а нам не годится,— сказал князь Олег.— Отец меня и брата моего сюда послал потрясти чехов, как яблоню. Такое от него просил Болеслав и настанвал. Теперь Болеслав с Вратиславом будто бы помирились,

нас на свои переговоры не звали, совета не просили. Сам Вратислав с нами не говорит, вас избрал. Мы не нанятые, вернуться не можем. Если же поступим как наемники, на Русь падет бесчестье, и князь Святослав нас не помилует. Не обессудьте, гости дорогие, на том и покончим мы с вами. Грамоту верните королю и нас более не уговаривайте, иначе быть ссоре, не заставляйте нас гостям за спину руки выламывать.

Угостили гостей и сами угостились. Проводили из чести. Зима в Чехии мягкая, добрая. Снежок снежил понемногу. Поляки ехали не спеша — не гонят ведь,— стригли глазами направо, налево, считали людей, считали коней и нашли, что едва ли двенадцать сотен найдется у русских. Но видно, люди отборные, сила большая. Считали вьючных коней, обоз, захваченный скот и вздыхали — от зависти. Попали русские к чехам, как медведь на пасеку: пока все колоды не опрокинет, в лес не уйдет.

Так и было. С вожделеньем комаров, летящих на запах горячего тела, к обозу присосались скупщики, дельцы из городского разноплеменного люда, германцы, евреи, вездесущие ломбардцы, свои же моравцы и богемцы, привычные брать на любой войне честную прибыль: покупали все, что предложат. Риск большой, зато на достояние, вложенное в дело, за несколько месяцев нарастает десятикратная выгода. Из этих же прибыльщиков всегда находились надежнейшие проводники. Не подведут, не предадут.

За Ольмюцем расплатился город Брно, что значит «глина». По пути к Глине еще трем городкам удалось попотчевать незваных гостей. Так и ходили, с легкой душой, веселясь воистину чужому несчастью. Крови лилось много — коровьей, бычачьей, овечьей. Людской почти не было. Моравцы и богемцы прятались если не в укрепленные города, то в горы и в леса. Места для бегства здесь много. «Может быть,— думал Владимир,— поэтому местный люд робок. Война — здешний пахарь привычный».

Однажды кто-то пытался напасть ночью. Ударили на занятое русскими селенье сразу с двух сторон по дорогам, и на обеих дорогах их встретили сильные заставы, готовые к бою. Вероятно, нападавшие уверили себя в беспечности противника. Ошеломленные неожиданностью отпора, они дали себя опрокинуть и оставили несколько десятков убитых. Владимир Мономах еще раз пожал плоды своей осторожности. Для него стало привычкой не только требовать, но и самому проверять и днем и ночью заставы, дозоры,

охранение, на ходу ли, на отдыхе — безразлично. Он умел просыпаться ночью, ехал сам в одну сторону, надежных дружинников рассылал в другие. Сам не спал, другим не давал.

Через несколько дней после неудачного ночного нападенья король Вратислав предложил русским мир на тех же условиях, что и польскому королю Болеславу. Молодые князья взяли себе тысячу гривен серебром и отправились на Русь.

Дружины называли чешский поход золотым: обогатились деньгами, вещами, отборными лошадьми. Но король Болеслав обиделся на русских. Так говорили. В действительности же, отчаявшись в чьей-либо помощи, князь Изяслав Ярославич заслал к Болеславу своего сына Святополка с новыми, а на самом деле старыми, посулами: опять Червонная Русь послужила приманкой. Опять сопредельные с Польшей города могли сменить одного князя на другого. Для жителей этих городов перемена не означала чего-либо существенного. Князь Обычай оставался во всем, чем живет человек. Бывали эти города под рукой польских королей, переходили под руку русских князей, не проигрывая ни в чем. Разве что после каждого перехода, желая укрепиться, и лях, и русский, подтверждая сохраненье «старины», старались приласкаться к новому владенью. Польши не было — такой, чтобы, придя со своим, ломать и переделывать по-своему. Был король, чьим владеньем делались русские города. Король, слабый властью, ибо польские знатные люди уже заводили свой строй шляхетской вольности. Чтобы каждый пан был себе пан, чтобы каждый шляхтич был воеводой на своем огороде, чтобы без воли шляхты выбранный ею король не мог шага сделать.

Ничто задуманное не осуществлялось по воле задумавшего. Нет в природе ни одной прямой линии, треугольника, шара. Мир сложен кривыми линиями, выгнут и прогнут и весь движется.

Снаружи строй польской вольности казался будто нарочно задуманным беспорядком. На упреки поляки отвечали: Польша жива нестроеньем. В этом нестроенье, среди других, есть и такая извилистая, но непрерывная линия: король нужен, короля выбирали всегда и всегда же ревниво следили, чтобы король не усилился. Держать войско королю разрешали, но в количестве ограниченном, иначе он своей латной конницей наступит на ногу шляхетской вольности. Осуждать или смеяться не приходится: бывшее было, вольная воля каждому дороже всего, и только пу-

стынники свою волю отвоевывали, не попирая соседа. Но философ и их упрекнет: что за пример — отречение от жизни и спасение личное, свое, для себя...

Знатные поляки, смущенные грозными письмами папы Григория Седьмого, но также и из гордости, вернули Изяславу Ярославичу разорительные для него подарки и, прищурившись, не мешали изгнанникам сговариваться с Болеславом. Пусть король получит себе в особое владенье города, не раз менявшие если не владельца в точном смысле слова, то княжих посадников на королевских кастелянов. Королю много силы не прибавится.

Потрепанные чехи не угрожали польскому тылу. Вести с Руси, плохие для одних, были хороши для других, как обычно бывает с вестями: кто-то плачет, кто-то песенки поет. Изяслав Ярославич, правда, не радовался тяжелой болезни своего брата Святослава. Людям незлым такие радости чужды, и к тому же они опасаются, как бы на себя не накликать беду. Так, Изяслав Ярославич искренне плакал, узнав о кончине брата. Все-то дурно получилось. Жили в ссоре, не помирились перед смертью. Правда, еще в детстве младший забивал старшего и в скачке, и на охоте, не миловал быстрым словом. Что ж с него взять, богатырь был.

Отслужив по брату панихиды до сорокового дня, Изяслав Ярославич ободрился духом. Мертвым свое, живым свое. Любимое Берестово сделалось ближе. Ничего не скажешь — Святослав не пустил бы Изяслава на Русь, отбил бы и поляков. Не раз между братьями были пересылки, не раз Изяслав богом просил брата опомниться, не рушить порядка, установленного отцом. На длинные письма с укорами, убежденьями, с наставленьями от святого писания, от подобающих делу светских книг Святослав отвечал кратко и почти одинаково: на стол не пущу, приезжай жить при мне на моей воле, тебя ни в чем не обижу; если же с войском пойдешь, поймаю и буду держать, как голубя, но летать не позволю, довольно налетался ты по чужим дворам, пора тебе отдохнуть бы. Подписывался, как отец Ярослав: великий князь и царь.

Святослав преставился в январе 1076 года, на киевский стол киевляне посадили Всеволода, свято место пусто не бывает. С этим братом у Изяслава ссор не случалось, в изгнании своем бывший киевский князь Всеволода не винил, зная по совести, что и сам на его месте также подчинился бы Святославу. Святослав — сила, сила солому ломит. Свои ошибки Изяслав Ярославич считал не раз, не

два, в чем ему с охотой помогали сыновья, как и он, утомленные жить под чужими крышами.

В сороковой день по кончине брата Изяслав Ярославич устроил по нем большие поминки — русскую тризну — и написал брату Всеволоду. Новый князь киевский ответил дружелюбно, в охотку приняв состязанье в выборе подобающих книжникам примеров. Обмен письмами продолжался. Между строк Изяслав Ярославич читал незряшные братские сомненья: как-то и киевляне, и Русь примут возвращенье старшего брата и отказ младшего от киевского стола, буде такое совершится? Что скажут духовные, им известны обещанья, данные папе Григорию Седьмому?

На второе Изяславу было легко ответить: в крайности люди обещаются, чем другие пользуются. Так с ним поступил папа, обещанье вынудил, а помощи не подал, почему Изяслав чист, да и договора с папой писано не было. Над своими государями римского обряда Церкви папа не властен, а на Русь ему и вовсе нет хода.

Стараясь обратить к себе брата, Изяслав сулил ни в чем никому не вымещать изгнанье, утверждал за Всеволодом Черниговское княженье. Шли письма к известным киевлянам, к боярам-дружинникам, в монастыри, к митрополиту, к епископам. С письмами спешили и дни, и недели, сошел снег не только в Киеве, но и в Новгороде, на реках сплыл лед низовой, за ним верховой, на плодовых деревьях цвет, потеряв лепестки, пошел в завязь, хлеб на полях — в колос, в лесах доцвела липа, люди повсюду справляли купальные игры в единственную в году ночь, когда для счастливца таинственным огоньком обозначит себя цветок папоротника,— тут-то и вошел в Червонную Русь Изяслав Ярославич с польским полком. Здесь же, на Волынской земле, его встретил Всеволод с русским полком. Боя не было по ненужности дела. Поляков отпустили. Ведомый Всеволодом, Изяслав без препятствий сел в Киеве и пустился молебствовать по монастырям, по церквам: простой, с открытой для просящего мошной, словом ни о чем не помянет, будто бы ничего не было. Будто до сего времени был сон, ныне же светлая явь. Иноземцы, проживавшие в Киеве по своим обычаям, для чего занимали свои части — улицы города, не удивлялись. И в германской улице, и в еврейской, и в греческой, как в варяжской, в армянской, привыкли к бескровным сменам князей. Если перед первым возвращеньем Изяслава его сын Мстислав и пролил сколько-то крови, то вытекло ее ничтожно мало,

особенно на посторонний глаз: едва пятьдесят русских убили — капелька.

Словом, завершилось как лучше не надо. Изяслав припал к чудесному Берестову-селу всей душой. Издали он себе мнился подобием селезня, лишенного серой утицы в разгар весенней любви, снилась Русь и Русь, и красота берестовских теремов манила обещаньем блаженства. На княжом берестовском дворе нашлись старые слуги, бог спас терема от пожара, от молнии. На голубятне жили дети оставленных им голубей, да и с собой Изяслав привез две корзины — десятка три пар германских да ляшских летунов. Все будет по-старому.

Ан нет, не потекут реки вспять, не прирастут выпавшие зубы, не влезть змее в старую кожу, как ни прикидывай, все одно — нельзя жить сначала. Кому как, а русскому чужбина — отрава. Песня, петая боярином Андреем, по прозвищу Боян, на свадьбе Изяславова племянника Владимира, с тех дней стала достояньем гусляров, Изяславу же услышалась как новинка. Не понравилась. Для молодых-то годится, быть может. Но не ему с его старой княгиней, которая без тревоги дожидалась возвращения мужа, сидя в покое и в холе за монастырской стеной. Дослушав, князь помиловал певца. Верно, ой верно, ему ли не знать. Если оттуда отпустят, вернуться бы только на Русь...

Сидел Изяслав в Берестове смирно, слишком смирно. Занялся голубями и — бросил, разве уж так, от нечего делать, через день, через два, понемногу. Мед по-старинному крепок и сладок, да горло стало не то.

Приехал старый знакомец, полоцкий боярин Бермята. Мед прежний, а пить не хочу. Оценивши в изгнанье кривские хитрости, Изяслав не озлобился на полоцких, не отказал Бермяте от двора, подарил ему щедрый подарок — открытую душу.

— Там, за нашей землей,— рассказывал Изяслав,— каждый владетель каждому враг. Все у них шевелится, кто грызется от бедности, кто — от богатства, малоимущий владетель гнется послушно, как лук, но норовит, чтобы стрела отскочила в стрелка. Ты, змей лукавый и мудрый, скажи-ка, что человеку потребно? Молчишь? Я тебе объясню. Нужен покой человеку, чтоб ему не мешали, пахарю пахать, купцу торговать, ну и прочим каждому свое, чтобы в семье мир...

С помощью подсказок Бермяты старый князь высказал новые мысли, которые ему были как старые, и все толко-

вал о покое, о счастье людском, перечислял приметы, и получалось легко. Как-то бы съехаться вместе, обсудить, порешить — и начинай по-хорошему. Легко как...

Темноволосый Бермята по привычке сминал в кулаке темную бороду — щеголяя, он недавнюю проседь скрывал краской из зеленой ореховой шкурки,— поддакивал, подсказывал: для себя. Нужно было кривским взвесить князя Изяслава — что в нем прибыли, что убыли и сколько он тянет теперь? Прост был, прост и остался — такое просилось решенье. Былую игру не повторишь, кости не те, не к чему играть с Изяславом. Святослава нет, ни Изяслава на Всеволода, ни Всеволода на Изяслава не натравить к полоцкой выгоде. Мелки оба. Ездить в Киев — зря время тратить, что лить воду в худое ведро.

При мелкости Изяслава, прикрытой добрыми словами, было в нем что-то приятное, даже милое для Бермяты. Речи о добре редкую душу оставляют безгласной, пока сло́ва не затаскают, как воро́ны брошенную за ненужностью тряпку.

— Договориться, князь, нужно между людьми? — спросил Бермята.— А как договариваться?

— Ужели не понял? — возразил Изяслав.— Будто нельзя встретиться, указать — здесь моя часть, здесь твоя — и не входить в чужое?

— Можно и встретиться,— согласился Бермята,— можно составить и условие. А кто следить будет?

— Старший.

— Стало быть, без старшего нельзя? Как в монастыре, под игуменом?

— В монастыре тишина и порядок,— признал князь Изяслав.

— Добр ты, князь. Хорошего хочешь. Но Русь не монастырь. Иноки в монастыре отказываются от своей воли, вручая ее настоятелю во спасение души. Монаху — монашеское, мы люди мирские, все мы не станем монахами, ибо тогда род людской прекратится, что противно воле божьей. Людское дело — плодиться, размножаться, возделывать землю и ею обладать. Для того человеку нужна вольная воля, без воли он инок иль евнух. В лесу деревья невинны и то теснят одно другое. К свету тянутся, для них свет — что человеку воля. Для чего вы, Ярославичи, тесните Полоцкую землю? Мы хотим жить по своей воле, были мы лесовиками болотными, ими хотим оставаться. Съехаться мы согласны, договориться согласны, чтоб каждому жить по своей воле. Вам — так, нам — так.

— Пусть Всеслав приезжает, встретим добром, проводим с миром,— предложил Изяслав.

— Нет, князь, не приедет он. Шумно здесь, людно, советчиков много, будут твою совесть мучить, толкать тебя будто бы на добро, нам — на зло верное. Взяли вы, Ярославичи, однажды Всеслава на слове своем, второй раз не возьмете. Вы же и у себя с племянниками не ладите. Не рука нам к вам ехать.

— Всегда вы такие, кривские, были: к вам с душой, вы с рогатиной,— укорил Изяслав.

— Нет, князь,— настаивал Бермята,— приезжай ты со Всеволодом, с сыновьями, с племянниками на полоцкую границу для встречи. Дадим заложников сколько захочешь, по твоему выбору. И сравним, что за воля нужна нам, что — вам.

Не съехались. Вместо съезда Всеволод Изяславич, взяв помощником из Смоленска старшего сына, осенью ходил в Кривскую землю под Полоцк, причинив ущерб полочанам за новое покушение Всеслава на Новгород.

Той же зимой страх перед Всеславом заставил старших Ярославичей приказать Владимиру Мономаху опять потрясти Кривскую землю. Была она жестка, не хотела никак колоться, подобно кривому, сучковатому долготью, которое не расколешь колуном, из которого и клинья-то выскакивают. Мономах вгонял клин до самого кривского Одрьска. И был тот клин составной: своя дружина вместе с шестью сотнями наемных половцев. И как же тут было не вспомнить Всеславово страшное пророчество, чтоб не довелось молодому Владимиру познать горечь неисполненья желаемого. И десятой части желаемого не добился Мономах.

Здоров, красив, умен, начитан. Богатырь — его лук не каждый из славных силой дружинников мог натянуть до конца.

Жену взял красавицу, добрую, умную, любящую. За такую все отдай — мало! А она мужу и богатство принесла, да такое, за которое многие губили и честь, и племя свое, женясь на глупых, на старых уродах.

А имя какое! Эдгита! Гита по-русски — Ясная. Кто же надумал, провидец, так ее окрестить?

Помнишь, князь, ты уходил в чешский поход, оставив жену непраздной? Кто, вернувшись будто нечаянно, встал на пороге жениной светлицы? Она же, поднявшись навстречу с твоим сыном в руках, ждала, и ты на коленях к ней шел, к твоей Гите. И вправду стала она краше — ни

с чем не сравнить! — против дня, когда вы обменялись кольцами, и любовь между вами.

Второго сына дала твоя Ясная, и все так же прекрасна она. Силен будет твой род.

Святополк Окаянный водил печенегов по окраине Руси. Ты повел Степь в самую глубь Земли. Не своей волей, но ты Степи дал первый путь. Не по твоей воле сотнями лет после тебя Степь пребывала опасным, отвратительным союзником русской усобицы-смуты. А руку ты приложил.

Худое первенство выпало Владимиру Мономаху. И честь тебе, что этим зельем ты не отравился насмерть, как Окаянный. Не отравился лишь потому, что сделанного не понимал.

Добро было Изяслав Ярославичу миром вернуться на Русь. Глядя на запад, русские говорили: «Положись киевский князь на папу да Генриха-императора, чахнуть было б ему до гробовой доски на чужбине. Там дела завязались железным узлом, не расплетешь, не разрубишь...»

Обещав стать вассалом Церкви, нормандский герцог Вильгельм-Гийом с благословения и с помощью Рима завоевал Англию. Он обманул папу. Владельцы юга Италии и Сицилии, норманны-завоеватели, были верными вассалами папы: им трудно было б без поддержки святого престола. Папа был светским государем Римской области и других земель в Италии. Апулийский герцог Гискар пошел завоевывать Восточную империю. Разбив имперскую армию под Драчем, Гискар вошел в Македонию, целясь на Солунь, второй город империи. Оттуда он понесет папское знамя в Константинополь. Греческой империи суждено стать феодальным владеньем папы.

А жесткую шею Священной Римской империи германской нации папа Григорий Седьмой гнул сам, разя духовным оружием. Спор возник будто бы из-за авторитета: кому ставить в Германии епископов и приоров — папе или императору? Епископии и монастыри обладали землями, городами, их вассалы составляли войско. Некоторые епископы были князьями-электорами, участниками выборов императора. Папа Григорий установил закон Церкви: ставить епископов и приоров имеет право лишь Рим. Слепому видно — все церковники становились вассалами папы, доходы пойдут Риму и в империи возникнет особое государство. Генрих не подчинился. Папа обвинил императора в смертном грехе симонии — продаже духовных званий.

Генрих собрал германских епископов и объявил Григория Седьмого низложенным. Григорий ответил отлученьем императора от Церкви.

Вассальная присяга сюзерену была религиозным актом. Большая часть германских электоров сочли себя свободными от верности императору. Предстояли выборы нового. Генриху Четвертому оставалось одно — мир с папой. Григорий Седьмой не отверг грешника, но потребовал покаяний. Сегодня, с непокрытой головой, босой и в дерюжном мешке, Генрих Четвертый был впущен во двор италийского замка Каносса. И ждал.

В замке тишина неповторимого события. Папа, как обычно, отслушал мессу. Он занят, у него большая переписка, он работает с секретарями, диктует, подписывает. Приписывает сам несколько слов: быстро, нетерпеливым почерком, острыми буквами, которые спешат так же, как спешит владыка Церкви. Пока еще Западной. Скоро Гискар сделает его владыкой и Восточной, и станет церковь едина. Еще не поздно: разрыв не глубок, несколько слов в исповедании веры, опресноки, несколько обрядов — мелочь, люди ничтожны в своих заблужденьях...

— Взгляни! — приказывает папа.

Камерарий в мягких сапогах бесшумно, как кот, прыгает к окну, ложится на глубокий подоконник, ползет и высовывает голову. Его никто не видит. Он делает гримасу презренья, дразня императора, высовывает язык и торопится назад, извиваясь, как уж.

— Стоит...— шепчет он папе. Папа не любит громких голосов.

Холодно. Падает снег, мягкий, нежный. Белоснежные цветы неба залетают внутрь через глубокую бойницу и — в камине пылают поленья в рост человека — исчезают, не успев упасть.

Пасмурно. На столе папы свечи желтого воска горят весь день. Дела. Кастилия и Арагон — там упущенья в обрядах. Исправить! Испанские короли послушны, их теснят мавры, папа им нужен. И деньги. Папа дает на борьбу с неверными. Проверить, еще раз проверить, как отправляется месса. Нет никого упрямее священников. Кому знать, как не ему?

А савойский граф? Почему он медлит с ленной присягой?

— Негодяй! Дурак! — и с уст папы срывается одно грубое слово, другое, третье...

Григорий Седьмой по имени был Гильдебранд. Старо-

германское имя, оно значит — «пожар войны». Так звали воспитателя Дитриха Бернского, он упоминается в германских сказаньях о Нибелунгах — «детях тумана». Став папой, Гильдебранд взял имя Григория в память папы Григория Шестого, своего наставника, друга. Григорий Шестой был безвинно низложен по настоянию императора Генриха Третьего, отца этого... И с уст первосвященника опять рвутся грубые слова.

Секретари сжимаются от страха. Они не умеют читать мысли. Папа держит письмо. Какое? Кто-то сделал ошибку. Кто?

Но папа, не поднимая головы, приказывает:

— Посмотри!

И опять камерарий высовывает голову из глубокой бойницы. На этот раз он не строит гримасы. Внизу, в снегу, стоит император. Император! Император! На мгновенье в лакее пробуждается человек: это кончится плохо...

— Стоит...— шепчет он папе.— Стоит!

Медленно к слуге поворачивается лицо папы. Поднимается рука, и камерарий тянется, чтобы получить заслуженную пощечину: владыка владык строг, но милостив к покорным, хотя рука у него, как у Гагена Тронье из песни о Нибелунгах.

Рука опускается, не нанеся удара. А! Генриха жалеют! Лакей сжалился над императором Священной Римской империи! Это отлично, отлично! Папе весело.

Во дворе замка пусто, безлюдно. Слуги протоптали в снегу дорожки. Пробегая — сегодня они бегают,— они стараются не глядеть на императора. Водоносы тянут бадью из колодца. Колодец глубок, цепь медленно наворачивается на ворот, ось скрипит, и виток, соскальзывая, мягко и жестко — железо и дерево — ударяет по толстому бревну оси. Несколько столбов разной высоты торчат из снега. Пустые коновязи, бревна изгрызаны лошадьми.

Папа вдруг улыбается — вспомнилась лакейская жалость. Папа ошибся: лакей не жалеет — боится. Великий папа, как и невеликие смертные, видит то, что хочется видеть, и наслаждается призраками.

Император стоит. Кругом — нетронутый снег. Император стоит, ноги засыпаны снегом, как подножья столбов.

Суд признает испытанье огнем: по воле бога невинный проходит невредимо сквозь пламя. Английский король Вильгельм-Гийом приказал испытать заподозренных в заговоре саксов. Каждый взял голой рукой раскаленное

железо и не обжегся. «Они еще и обманщики,— сказал король,— это очень опасные люди»,— и приказал всех повесить, и бог не вмешался.

Папа испытывает искренность раскаяния императора холодом.

Закрывшись за императором, ворота Каноссы не открываются весь день. Внизу, под холмом, в маленьком селенье, скопляются приезжие. Вестники, посланные, посыльные, послы, свои, иностранцы — все ждут. Заняты все дома, занимают конюшни, хлева, чердаки. Папа не принимает. В замке император Священной Римской империи ждет, пока папе не будет угодно вспомнить о грешнике, который стоит босой на снегу. Все остальные могут подождать.

Столбы торчат. Один из столбов — вон там — это Генрих. Бывший император. Ничто, никто не шевелится во дворе, все однообразно и тихо. Но зрелище притягивает, удивительное. Кто видел императоров, просящих милостыню, милость? Никто? А я видел Генриха!

Из бойниц, из-за зубцов стен не смотрят — подсматривают. Старый наемник подмигивает товарищу — их никто не услышит, но слова мельчат в таком деле. Может быть, нужно... И товарищ советуется с товарищем, делая короткий, выразительный жест. Вот так! А? Бог не хочет смерти грешника, как бормочут священники. А папа, может быть, хочет? Ты помнишь пленного графа... как его? Сеньи, Висконти?.. Забыл, да что в имени! Говорили, лошадь споткнулась под ним. Под каждым копытом неловкой лошади нашлось по кошельку золота для провожатых пленника... Залезть бы в голову папе! Хочет — не хочет, хочет — не хочет... Слушай, а Генрих не отомстит? Не знаю. Будь он итальянец или испанец... У этих тевтонов и норманнов холодная кровь. Гляди, снег ему нипочем. Северяне расчетливы. Такой голым побежит за короной на край света и будет жрать падаль. Тьфу!

А ты побежал бы? За короной? Конечно! Но торчать в снегу босиком... Видал я нищих, видал ощипанных пленников. Я боюсь холода, я не выдержал бы, как те, как он. Эх, схватить бы на старость кусок пожирнее и нырнуть рыбкой! Куда? Где ты найдешь место, чтоб на тебя не позарились! Ныне мир тесен, либо тебя, либо ты, и тихих уголков не осталось.

Папа работает. В Богемии служат по-славянски. Запретить. Только латинский, вечный, неизменный, священный. Миряне не понимают? Что нужно — поймут. Едина Цер-

ковь — един ее язык. Невежды более благоговеют перед непонятным. Нечего мирянам читать священное писание. От лжетолкований — ереси. Переводчики лгут по невежеству. И еще более лгут, когда стараются примерить сказанное пророками и апостолами к ничтожеству своего понимания. В Богемию послать легата. Не умеющих служить по-латыни обучать в монастырях. Упорствующих иереев расстричь. Злостных упрямцев отлучить от Церкви. И папа Григорий терпеливо объясняет, что написать в послании и как.

Диакон, ведающий перепиской по делам догмы, человек высокоученый, старый, но память его свежа. Он помнит все с начала, с посланий апостольских — от них пошло воплощение Церкви,— с решений первых вселенских соборов. Если память изменяет, диакон знает, где и когда было сказано, и говорит помощникам, где искать нужный текст. Иногда он возражает самому папе Григорию, они спорят, обсуждая, вдумываясь, ибо, увы, часто возможны и два, и три толкования.

Трудное дело: отцы церкви не утвердили вполне, что только латинский язык пригоден для богослужения. Это скорее обычай. Обычай может ли сделаться догмой? Может и должен, коль такое послужит на пользу Церкви. Папа и ученый диакон подбирают доказательства — для себя, ибо совесть законодателя должна быть спокойна, так как ее спокойствие свидетельствует о победе добра, об отступлении духа сомнений, духа зла — дьявола. Ибо *он*, всюду присутствующий враг бога, внушает переписчику ошибки, внушает переводчику ложное слово и толкователям — ереси.

И папа Григорий ощущает тень колосса. *Он* — тень. *Он* — в тени, куда не проходит свет истины. *Он* подобен черным пятнам, которые везде, где нет хода солнечным лучам. *Он* идет за богом, как ночь идет за днем. В пещерах, в лесах, в оврагах, в горных долинах, даже на плоском поле в полдень *он* укрывается за каждой травинкой. *Он* прячется. *Он* появляется из невидимого и овладевает пространством, как только ослабевает свет Истины. *Он* усиливается вечером и хочет господствовать ночью, когда слаб свет звезд и человек утомлен и отчаивается, и монахи выходят из келий и собираются на ночные моленья, чтоб еще раз победить *его*, и побеждают. Но, побежденный, дьявол опять и опять возвращается, пока ангел не позовет на Страшный Суд, пока не остановится Время.

— Взгляни! — приказывает папа Григорий Седьмой.

Короткий день угасает. Скрипит колодезный ворот. Столбы во дворе Каноссы похожи на людей. Человек обычного роста — воображение других людей делает его большим,— оставляя темные ямы в пухлом снегу, идет к воротам. Там, будто сама, открывается узкая калитка. И двор опустел.

— Ушел,— шепчет папе камерарий.

Императора Генриха нет, и двор кажется пустым, что нелепо: один человек, даже если он император, не может наполнить пространство, где хватит места для пятисот всадников. Нелепо. Так чувственный мир обманывает человека мечтами и сновидениями наяву.

Ночь. Снег прекратился, вызвездило, морозит по-настоящему. Подъемный мост подтянут, между воротами и миром — пропасть рва.

На башнях сменили стражу, между башнями по верху стен ходят дозоры. Глубокая вода во рву подернулась тоненькой пленкой. Каносса неприступна и с сухим рвом. Но в ней папа, а внизу Генрих, отлученный от церкви, то есть отданный дьяволу. И зто, вопреки опыту, вопреки воинскому мастерству, заставляет тревожиться начальника папской охраны. Дьявол силен, он может наделить предавшихся ему способностью летать, это известно. Налет врагов папы, бесшумных, как вампиры! Начальник охраны выспался днем — заложник был в руках. Ночью он бодрствует с крестом против козней дьявола, с мечом — против злобы людей.

Маленький священник в меховых сапожках, в подбитой мехом рясе сидит у изголовья папской кровати. Брат Бартоломей, духовник папы Григория Седьмого, как сам Григорий Седьмой, тогда еще Гильдебранд, был духовником папы Григория Шестого. Не так, конечно! Гильдебранд был владыкой разума того папы, Бартоломей же тихо врачует совесть этого. Они давние друзья, старый монах любит стареющего папу, нужно кому-то и любить, не всем же его бояться. Бартоломей не судья в делах церкви, духовной империи, которую папа хочет сделать и светской империей, и не судит об этом, хоть папа лишь о том и говорит. Нужно и ему, хоть он папа, поговорить обо всем попросту, не примеряя каждое слово, как ювелир примеряет колечко к колечку цепочки. Все равно, как решит бог, так и будет.

Брату Бартоломею исполнилось семьдесят пять лет, когда они с папой ехали в Каноссу, а вспомнил он только сегодня, ибо суета все на свете, кроме совести человече-

ской. Разве много — семьдесят пять? Прадед еще в поле мог работать, когда Бартоломей в Рим ушел. А прадеду, думать надо, было тогда под сто лет. Говаривал он — славянская кость что железо. Побили потом всех их во время войны. Какой — забылось уже, много воюют-то.

Молодым человеком придя в Рим с богемскими паломниками, Бартоломей восхитился благолепием храмов и богослужения. Послушником он трудился богу в монастыре черной работой, принял пострижение, учился, был посвящен в сан священника, за красивый почерк был взят в папскую канцелярию еще при Бенедикте Девятом. По-славянски имя это можно понять как Сладкогласный, Доброво-вещательный, но тот, Девятый, был истинно козлом в огороде. А ведь давно то было, полста лет прошло. Идет время, идет.

При папе Льве Девятом кардинал Гильдебранд за тот же почерк приблизил к себе Бартоломея, но вскоре решил: «Тебе, отче, не быть писцом, а быть духовником моим. Хочешь? Согласен?» И дал на размышление день — всегда Гильдебранд был пылкий, но тогда-то старался рдяные угли от чужих глаз крыть серым пеплом смирения. Бартоломей согласился: души людские проще и чище, чем измышления разума, облекаемые черной плотью писаных букв. Так и живут они с папой вместе всё, вместе.

Тяжело ему, папе, много его обманывали и в большом, и в малом. Бартоломею недавно сказал: «Я в тебе не ошибся, ни разу меня ты не предал». При его-то уме такое подумать! А все от обид. Берет на себя много, торопится, будто при жизни можно все завершить. С другими стал меньше советоваться, сам все да сам. И все-то, везде-то стал у него дьявол. До богомильства доходит. Пришлось епитимью наложить — сто раз утром и вечером повторять: все от бога.

В юности у себя в Богемии Бартоломей лешего видел, слышал, как домовой в подполе возится, проказит в хлеву. Перекрестишься — и нет ничего, тоже ведь в божьей воле они, как и дьявол, мал он против креста.

Вздрогнув, папа Григорий говорит во сне, быстро, несвязно. Бартоломей слышит: «...козни... дьявол... измена». Духовник кладет на лоб папы подсохшую старчески, но крепкую руку. «Чур тебя, чур, спи, спи с богом,— приказывает он, и папа успокаивается.— Спи, спи,— повторяет Бартоломей и читает молитву господню по-своему, много раз повторяя: — Да сбудется воля твоя, да сбудется, да сбудется...» Вслушивается: папа дышит спокойно. И ухо-

дит в маленькую комнатку рядом — они с папой везде спят близко,— и сам засыпает, зная — до утра все будет тихо.

Утро. Второй день. Император стоит, ждет. Короткий день пасмурен, бесконечен. Вечер, и калитка выпускает Генриха на волю, живого, но не прощенного. И ночь тревоги, и смута в сердцах, и нет иного шума, кроме зимнего ветра и скрипа ставни на ветру.

Внизу, в селенье, шум, пьяный крик охраны и слуг прибывших к папе послов, посланников, вестников. Тесно и холодно — люди греются вином. Наставлены палатки, горят костры, так как приезжие не умещаются в двух десятках домиков, домишек, лачуг. И уже делают большие дела трое ловких торговцев съестным и хмельным, которые, пронюхав наживу, сумели прибыть первыми — за ними тянутся другие.

Третий день. Живой столб во дворе замка так же неподвижен и так же упорен, как вкопанные бревна других столбов.

Папа работает, дел ему хватит на три жизни. Он уже не посылает взглянуть на императора Генриха Четвертого, превращенного в столб волей наместника божьего, апостола Петра, принявшего в Риме венец мученичества за веру по приказу самого Христа.

Нет человека, кто не знал бы, как было. Смущенный преследованиями язычников, Петр тайно покинул Рим, боясь не за себя, но за молодую, слабую Церковь, которую его смерть оставит обезглавленной. За городскими стенами Петр встретил Христа и, растерявшись, спросил: «Куда ты идешь, господин?» — «В Рим, который брошен тобою»,— ответил Христос и исчез, а Петр вернулся и был казнен, потому что зерно, упав в землю, должно умереть, дабы дать много плодов.

Кто здесь, в Каноссе, зерно? Папа, который может изнемочь под тяжестью ноши? Император Генрих, которого холод может замучить до смерти? Где истина? И где ложь? Стаи голодных ворон мрачны, как бесовские полчища. На небе нет знамений.

«Ты знаешь, когда трясется земля?» — спрашивает наемный солдат. «Когда дьявол хохочет в преисподней»,— отвечает товарищ. Кто ж не знает того! Но ни вчера, ни сегодня они уже не собирались, услужив папе Григорию тонким стилетом, заработать себе на безбедную старость. Они прислушиваются, им показалось, что замок чуть дрогнул. Если дьявол захохочет погромче, как однажды слу-

чилось в Мессине, Каносса превратится в кучу камней и всех раздавит, как мух, набившихся в горшок из-под меда. Уйти бы на чистое место! Но выход закрыт и будет закрыт для всех, кроме императора Генриха, если папа до вечера ничего не решит. Дьявольские шутки... И говорят, уже не осталось вина. Дьявол ждет, притаившись. Папа ничего не решил, и Генрих уходит, и Каносса замыкается, неприступная, вечная. А вдруг она развалится сама? Стены крепки? Да ведь стоят-то они на земле. То-то...

Император Священной Римской империи германской нации в третий раз слышит, как сзади него натужно натягиваются тяжи железных цепей. Усилие нарастает, с треском отрывается примерзший конец перекидного моста. Неровно работают вороты, издавая рваный, скрежещущий ропот. Удар — мост вошел в пазы и чуть осел вниз. Теперь ворота прикрылись вторыми воротами и низ моста смотрит наружу. Нет, он нагло выпячивает бронированное железными дисками, усеянное шипами грязное брюхо, ржавое, мерзкое, в подтеках ржавчины, конской мочи. Смотрит! Он слеп, как люди, как толпа, как империя, как бог этого папы.

Генрих идет медленно, откинув голову с длинными, до плеч, волосами. Он застыл, окоченел, плохо чувствует тело, но оно слушается, ноги гнутся, гнутся и пальцы. Он не спотыкается.

Сколько-то лет тому назад он купил для жены браслеты и ожерелье необычайного вида, но красивые. Русский купец говорил, что эти вещи доставлены из стран, находящихся к востоку на удалении более чем трех сотен дней пути, считая непрерывное движение по ровной дороге, как принято для неизмеренных расстояний. Там люди желтокожие, язычники, они беспредельно чтут особенных людей — Святых, как там их называют. Они ходят зимой босые, едва одеты, и зимой одолевают пустыни, а морозы в тех странах таковы, что плевок превращается в лед, прежде чем упасть на землю. Христианские святые были способны на такое же. Как видно, желтые люди не так уж далеки от истинного бога. Три дня Генрих молится небу, три дня немо взывает: «Я могу, я хочу, помоги, я могу».

Он спускается по дороге, по собственной, ибо три дня здесь он ходит один, и нет дороги — есть его следы в талом снегу. Святой? Как христианские, как желтокожие?

Внизу его встречают свои — всадники, пешие. Закрытые носилки, внутри мягко, тепло. Генрих отказывается, как вчера, как в первый день. Он так решил. Он кается.

И никто никогда не посмеет сказать: император прятался в носилках, как женщина, когда папа выпускал его за ворота, и дрожал, как собака. Нет!

Император идет. Всадники сдерживают застоявшихся лошадей, лошади горячатся, храпят, становятся на дыбы, из ноздрей бьет пар. Перед селеньем все, кто съехался, все, кто ждет приема у папы, выстроились по сторонам дороги. Император идет один впереди свиты, и все молчат и тянут шеи, стараясь рассмотреть лицо императора, одетого в мешок, но сумерки сгустились, лица не видно. Селенье — одна улица. Люди жмутся к домам. Такое не увидишь и в тысячу лет. Хвастаться будут потом. Сейчас, как вчера, как третьего дня, молчат, многие крестятся. Почему? Не знают.

Жена императора сама врачует жалкие ноги. Кожа в трещинах, сочится темная кровь, осторожнее, осторожнее.

Как многих знатных девушек, Евпраксию, дочь князя Всеволода, учили уходу за больными, ранеными. У нее две мази. Эта жжет, но так нужно. Еще чуть-чуть, еще. Она стирает мазь и накладывает другую, густую, подогретую. Сейчас ему лучше. И еще потерпи, еще. Теперь хорошо. Евпраксия разговаривает с мужем беззвучно, мысленно, бинтуя его ноги до колен. За ночь кожа станет сильнее, трещины закроются. Очень хорошо, что сейчас такие длинные ночи.

Она умывает Генриха, кормит и поит, помогая, как мать. Он бывал груб, зол, он изменял ей. Дурно изменял, из прихоти, по небрежности, по нечистоплотности. Они были уже чужими, когда случилось несчастье. Она пришла к нему, простила, он, пав духом, схватился за нее, как утопающий. Она лечит тело. А душа? Сейчас она лечит его душу молчаньем. Вот уже три дня, как между ними не было сказано ни слова. Евпраксии кажется, что это молчанье дает ему больше, чем дали б слова. Но папе она не верит, а он — верит.

Четвертый день. Ритуал так же точен, как месса, по-гречески — литургия, по-русски — обедня, богослужение, которое может совершаться в одном месте и на одном алтаре лишь раз в сутки. И во исполнение обряда, творимого папой и императором, утром, когда сумрак редеет и черное перестает быть только черным, а снег только белым, Генрих подходит к замку, и, качнувшись, разрывая лед в пазах, перед императором клонится чудовище подъемного

моста, опускается и, задержавшись на последней четверти хода, падает, чтоб раздавить ночной лед и лечь ровно.

Но сегодня открыта не узкая калитка, а ворота, в которые может проехать телега или три всадника рядом. Император, маленький человек, проходит через темную дыру в каменной толще и ступает опухшими ногами не на снег, а на мягкий ковер. Человека, одетого в мешок, ведут под руки по коврам два папских сановника в расшитых одеждах, впереди шествуют духовные в златотканых ризах, а сзади его провожают рыцари, вассалы святейшего престола.

Ковры на лестницах. Дорога из ковров ведет в замковый храм. Герцогиня Матильда, сеньор Каноссы, вернейшая почитательннца папы, богата, и ковры, привезенные купцами из таких уднвительных стран Азии, что названня их не выговорить христнанину, тоже богаты.

Папа ждет Генриха в исповедальне. Наместник апостола Петра выслушивает исповедь грешного императора н сам говорит — ведь каждый грешен,— и Генрих открывает душу, как перед богом, искренне, смело, и так же искренне папа отпускает грехи, благословляет именем бога. Папа сам служит мессу н причащает императора, а дьявол, изгнанный из Каноссы, отступает в леса. И колокольный благовест, как на пасху, разливается над Каноссой, втекает в селенье. Они примирились, император прощен! Все рады — мнр. Те, кому предстояло в Италии и в Германии умереть от железа, теперь умрут, может быть, в свой час, то есть не от меча.

Удалив всех, императрица Евпраксия плачет. От радости, наверное, от радости. Страшное время сблизило их. Но сейчас что-то разорвалось. Не обвиняя его, она спрашивает: «А любила ли я его?» И впервые она вспоминает братьев, отца, дядей, дедов: «А они вынесли ли бы такое, как Генрих? Не холод, не мешок, но другое, что он вытерпел ради короны...»

Счастлив был бы человек, умеющий не думать о будущем, умеющий не бояться заранее, избегающий населять сумеречную глубину еще не существующего завтра возможными бедами. Может быть, оно, еще не рожденное, алчно, может быть, эта пустота податлива? И, наполняя ее призраками бед, человек помогает этим бедам воплотиться?

После мессы папа и император, в духе отец и сын, беседуют наедине. Недолго — исповедь была длинной, они поняли друг друга, и то немногое, что оставалось, не тре-

бовало многих слов: долгие речи для тех, кто не хочет согласия. Император подписывает условия. Люди смертны, договор заключается не между Генрихом и Григорием, а между Церковью и империей. Из Каноссы Генрих унес покаянное рубище. Дар папы.

Воспрянув в Каноссе, Генрих стал прежним. Он не был дорог Евпраксии, она не была ему нужна. По ней — корона империи не стоила унижений, для него покаяние было победой. Они расстались спокойно. Евпраксия вернулась на Русь. Потом в раздражении Генрих сочинил какую-то обидную басню о своей бывшей жене...

После Каноссы мир длился в Германии короткие дни. Генрих не успел вернуться из Италии, как имперские князья-электоры выбрали нового императора. Но другие князья-электоры сохранили верность Генриху. Империи довелось воевать два года. Антиимператор Рудольф Швабский был смертельно ранен в схватке под Цейтцом, и его сторонники смирились. Германия изменилась к Генриху Четвертому. Даже епископы и приоры, князья Церкви, сочли за благо платить пошлины императору, а не папе. Деньги, оставшись в Германии, опустятся к земледельцу, к ремесленнику, чтобы опять подняться вверх, к сюзерену через руки сеньоров, насыщая на пути всех. Иноземный сюзерен папа раздает чужим германские деньги.

Папа вновь отлучил от Церкви Генриха Четвертого. Но германские епископы не сдались. Съехавшись на собор, они объявили Григория Седьмого низложенным и выбрали нового папу, Климента Третьего. Так слова клятв и договоров Каноссы, искренние в свои дни, облетели, подобно осенним листьям. Но те дают живительный перегной, слова же, к счастью, истлевают невидимо, иначе их хрупкие ворохи, вытеснив воду морей и океанов, создали бы новый всемирный потоп.

Два года норманны, вассалы папы, пытались завоевать Восточную империю. На третий год они потерпели решительную неудачу: дело папы Григория Седьмого рушилось здесь так же, как и в Германии. Греки заключили союз с Генрихом Четвертым, дали ему денег. Император вступил в Италию, дошел до норманской Апулии и повернул на Рим. Папа Григорий заперся в замке святого Ангела, а папа Климент Третий короновал Генриха в древней базилике, где находится гробница апостола Петра.

Гискар, собрав сорок тысяч войска, пошел к Риму спасать своего сюзерена Григория. Генрих Четвертый отошел к северу. Гискар штурмом взял Рим. Вечный Город был

разграблен и сожжен, как при вандалах, при Аларихе, как в годы Юстиниана Первого.

Говорят, что папа Григорий с негодованием взирал с высот неприступных твердынь замка Ангела на буйный, ненавидящий его Рим, который праздновал торжество императора Генриха и антипапы Климента.

Говорят, что, глядя с тех же высот на Рим, уничтожаемый и сам себя уничтожавший в безнадежном сопротивлении Гискару, папа Григорий плакал. Конечно, смотрел, конечно, все видел, и горевал, и, взвешивая события на зыбких весах совести, нагружал золотую чашу добра своими благими желаньями, чтобы она перевесила черную чашу действительности. Добился ли внутренней победы Григорий — Гильдебранд — Пожар войны?

Папские владенья были опустошены, обезлюдели. Оставшиеся в живых подданные ненавидели владыку. Злоба тлела в свежих развалинах Великого Города.

Старый исполин Гискар отвез папу в Солерно. Папа вязал и разрешал, писал, подписывал, рассылал послания, приказы, воззвания, посылал разведчиков, лазутчиков, посланников, послов. Не давая пощады себе, он чинил, надвязывал, латал сеть — так нищий рыбак корпит над обрывками невода, в котором резвилась дельфинья стая.

Каносса была вершиной. После Каноссы начался распад. Или в Каноссе совершилась ошибка? Нет. Генрих был так светел в искреннем подвиге покаяния, был добр, честен. Папа не ошибся, не ошибался. Это дьявол соблазнил Германию, Генриха, германских епископов, монахов, владетелей, весь народ. Дьявол! Враг бога! Враг рода человеческого. Отец лжи.

Брат Бартоломей ужасался мыслям своего духовного сына:

— Дьявол мал, дьявол ничтожен, он вор. Не нужно! Именем милосердного бога запрещаю тебе!!!

Запрещал, отпускал грех возведенья в могущество дьявольского ничтожества, а папа Григорий опять и опять возвращался на путь заблуждений.

— О боге думай, о боге! — бессильно требовал брат Бартоломей.

Папа спорил. Он спорил на исповеди, совершая новый грех — неповиновенье духовнику, и дьявол, подслушивая, корчился в немом смехе: власть, власть земная, это покрепче райского яблока!

Брат Бартоломей угас незаметно, будто уснул, во время не то спора, не то исповеди папы Григория, а папа про-

должал говорить, обличая великие козни дьявола, пока наконец не заметил, что все кончилось, что напрасно он нарушает покой усопшего духовника, друга, брата, последней опоры.

Через пять дней папа Григорий Седьмой, подписывая новое послание, упал головой на стол, и приподнялся, борясь и ловя перо, и откинулся, захрипев, и было дано ему отпущенье, как умирающему, и слова отпущенья замолкли с последним толчком изменившего сердца.

Есть предание. Некто, закрыв лицо капюшоном, стоял у гроба великого папы. Его хотели удалить, но руки не поднялись, и языки онемели. Пламя свечей стало синим, как в подземельях, дым ладана сгустился, и певчие умолкли. Потом вдруг все стало обычным, но как исчез пришелец, никто не заметил. Остались два следа, вплавленных в камень и похожих на отпечатки копыт. Плиту заменили.

Восточные христиане долго, мучительно, гневно спорили о догматах веры. Лжетолкование — ересь, ведущая в ад — империю дьявола. Дьявол некогда восстал против бога, был низвержен и заточен в аду навечно — до известного только богу дня Страшного Суда.

На Западе многие верили: в тысячном году по рождестве Христа завершится судьба мира. Время остановится, небо разверзнется, и бог призовет людей на Страшный Суд. Ужас сплетался с надеждой: труд и борьба станут не нужны, падет бремя метаний души и голода тела, никто не будет терпеть до последнего вздоха и умирать в одиночку. Умрем все сразу, и все вместе восстанем перед богом, и каждому будет оказана справедливость по делам его.

Пришел тысячный год. И прошел. И не изменилось ничто. Знамения обманули, провозвестники солгали. Путь человека идет в бесконечность, непостижимую, ужасающую.

Бог отдалился. Слово папской Церкви все явственней, все возмутительней разрывается с делом. Пропасть ширится, и дьявол, сломив печати на вратах преисподней, является людям в свете дня.

Нет божьего храма, который обошелся бы без изображений дьявола; неверие в него — такой же смертный грех, как отрицание бога, и враг легко облекается плотью, усиливается, смелеет. Нарядившись монахом, он ходит по

дорогам. Он сидит на церковных крышах, не стесняясь соседства с крестом. Иной раз, забавляясь, он мечет камни в храмы, да так, что разбивает колокола.

Сеньоры гнут подданных, как корзинщик лозу. Сопротивление невозможно, молитва бессильна. Слабый бормочет:

— Хорошо, я согнусь и буду глядеть вниз. Там, как меня научили священники, сидит дьявол. И пока священник читает слова, которых я не понимаю, я попробую договориться с дьяволом. *Он* требует душу? У меня пепел вместо души, не жалко отдать. Зато *он* научит меня пользоваться тайными силами растений и камней, я буду лечить себя, и моих, и скотину...

Слабый повышает голос:

— Священник учит меня терпеть, вздыхать и молчать. А *он*, дьявол, любит смех. *Он* сам развлекается и развлекает людей. *Он* может дать мне богатство. И подарит амулет, чтоб каждая женщина, какую захочу, стала моей! Хочу жену сеньора, его мать, дочерей! Я на земле жить хочу! Здесь! Сейчас!

Слабый кричит:

— Ведь на меня никто и смотреть не хочет! Сеньор силой опозорил мою жену. Смеются же надо мной — рогач! Меня бьют и надо мной же издеваются — битый! Когда меня повесят, все будут кататься со смеху: какую рожу скорчил этот урод! Над кем потешаются наши сказки? Надо мной! Все против меня. Хорошо же, дождетесь! Мой дед пахал. Из борозды вылез карлик и спросил: «Хочешь, я укажу тебе клад?» Старый пес с испуга перекрестился, будь он проклят, и карлик исчез. Я бы не упустил случая. Эй! Кто купит христианскую душу? Где ты, друг-дьявол?

Ветер выкатывает луну из-за облаков, и прячет, и вновь обнажает: играют... Добрая ночь — света достаточно, чтобы не сбиться, тени хватит, чтоб спрятаться. Днем опасно ходить по дорогам, даже работать в поле небезопасно.

— Наш сеньор-норманн зовет нас волками. Походя обижает, увечит. Может убить так просто, для забавы. По-моему, нелепо портить свое имущество, не правда ли?

— Поменьше рассуждай, побольше оглядывайся. Они и друг другу-то не дают пощады — папа, норманны, германцы, рыцари. Ночь — вот наш день.

— Да, ночью спокойно, они спят. Вот мы и пришли. Здесь был город Кумы. Какие деревья, какая трава! Земля здесь жирна.

— Вот и каменный человек. Утонул в земле. Его ноги, наверное, обвиты корнями.

— Да, ему не подняться. Глаза-то открыты. Он смотрит? Доброй ночи тебе, каменный, доброй ночи!

— Не счесть, сколько ему когда-то таскали даров. Цветы, вино, мясо, хлеб. Выпускали перед ним голубей.

— Смешное было время. Я сам бы все съел, ух!

Перед изваянием Аполлона, ушедшего в землю до пояса, старухи зажигают маленькие свечи и заклинают луну, называя ее Дианомой. Каменное лицо красиво, от такого не откажется ни мужчина, ни женщина. Сегодня ночь на первый день мая, день Венус.

— Венус — мужчина или женщина?

— Не знаю. Кажется, когда имя так оканчивается, оно мужское.

— На каком же это языке?

— Не знаю... Кажется, на том, на котором служат мессу.

Бегут арлекины в черных масках и делают вид, что ловят людей. Визг, смех, радостные возгласы. У кого есть вино, те успели немного выпить. В меру, в меру, чтоб не лишить себя праздника. В эту ночь замки спят крепко, люди свободны.

Взгляните на луну — близка полночь. Несколько человек собираются вдали от остальных. Здесь особенное место, от источника теплой воды пахнет серой — добрый запах для тех, кто понимает. Каменные желоба разбиты, бассейн треснул, вода собирается на дне, там глубоко и кто-то плещется. Не страшно — человека там не может быть.

Пробираются узкой тропинкой через чащу. Впереди кто-то шумно срывается с места. Прыжок, еще прыжок, трещат ветки. Для оленя слишком тяжело. Одичавший бык или лошадь. Домашние животные, убежав от ярма, быстро научаются обходиться без хозяев. Людям труднее устраиваться.

Останавливаются на широкой поляне перед темным входом. Что это? Пещера? Скорее грот. Вот лежат камни, которые вырвались из тисков обветшавшего свода. Темнота во мраке, запустенье в пустыне. Здесь, в глубине, сидела Сивилла. Там колодец Истины.

— Нет, там бездонная щель, откуда поднимался *он*.

— Не спорьте. Было и то, и другое. Земля зарастила отверстие. Но для дьявола нет преград. Сам папа Григорий так говорил.

— Ха! Это тебе, мужлан, он сказал?

— Ты дурак! Двоюродный брат жены друга одного человека служил у папы лакеем. Он слышал своими ушами.

Им страшно, они не прочь поболтать, чтоб оттянуть время. Кто-то вмешивается:

— Довольно! Сочтемся! Два десятка и восемь. Четыре раза по семь — хорошее число!

Крепко хватаются за руки и смыкают цепь. Бегут по кругу, справа налево, против солнца. Земля здесь утоптана, как пол.

Некоторые в масках, некоторые вычернили себе лица. Никого не узнать, тайна соблюдается строго.

В пещере, в гроте, мелькнул огонек. Бегут еще быстрее, еще! Руки спаялись, как клещи, ноги несут с такой силой, что живая цепь выворачивается наружу, но не рвется, нет!

Кажется, земля уже внизу. Волосы встают дыбом, сыплются искры. Быстрее, быстрее, летим!

В пещере блещет синяя молния. Удар грома! Цепь разрывается. Явным чудом все остаются на ногах. Каждый вертится сам на месте. Раздается протяжный свист. Стойте все: *он* явился!

Каждый ясно видит *его*. *Он* высок и худ. *Он* приземист, кривоног. У *него* козлиная голова. У *него* человеческая голова. *Он* бородат. Безбород. Лоб гладкий. Шишковатый. С рогами. Без рогов.

Он не урод. *Он* другой, во всем противоположный своему Сопернику. Пусть *он* является каждому разным, *он* друг-дьявол.

Зажигают свечи черного воска. Их держат огнем вниз — все здесь нужно делать наоборот. Залившись воском, фитили едва тлеют. Луна останавливается и прыгает назад — чтобы хватило ночи. Дьявол беседует сразу со всеми, но с каждым наедине. Все согласны в том, что голос у *него* приятный, мужской, но и женский одновременно. *Он* дает советы, обещает помощь, объясняет, открывает тайны...

Повернувшись спиной, *он* нагибается. Ниже спины у *него* человеческое лицо. С *ним* прощаются, целуя это лицо.

Темнота меркнет, редея. Луна побледнела. Пора. Расходясь, поют нарочито нестройно:

Мы такие же люди, как норманский сеньор.
Такие же мужчины и женщины, как господа
в замках.

У нас такие же желудки и кровь.
И нам так же больно, как им.

Дьявол не нуждался в славословиях.

Все устали, но не слишком, и оживлены. Перебрасываются:

— Говорят, в Палестине *он* звался Легион и был такой маленький, что мог поместиться в свинье.

— Видали, как *он* вырос!

— *Он* умен и весел, с *ним* легко.

— *Он* будет и дальше расти.

— Ты знаешь? Сейчас с нами были два благородных рыцаря!

— Им-то *он* к чему. *Он* наш!

— Э-э, ты одурел от голода! Набив брюхо досыта, ты, что ж, будешь навечно доволен? У каждого свой голод.

— Метко! Что рыцари! Сам император сосал грязь, три дня он валялся у папы в ногах.

— А правда ли, что он сдох, проклятый папа Григорий, который навел германцев на Италию и сжег Рим?

— Кажется, что так. Будет другой, нам-то что! Был и я глуп. Теперь и у меня есть надежда — дьявол.

— И у меня! Прощай!

— Прощай! Бежим по домам!

Под жерновами войны всех против всех, в хаосе лжи, когда не поймешь, где — верх, где — низ, что — правда, что — ложь, совершилось необычайнейшее открытие: нашлись способы общения с Дьяволом — полезным союзником.

Открыватели понимали: сделка страшная, ставка последняя. И они уверились, что ничего другого, хоть на маковое зерно лучшего, для них нет.

Кто они? Никто. Еще раз — никто и ничто. Какой они нации, какого народа? Никакой. Никакого. Но ведь они умеют говорить, их речь не потеряна. Да, в них теплится потускневшее слово, чтоб кое-как изъяснить потребности тела, выразить каждодневную волю плоти. Ибо их преданья разорваны, могилы отцов распаханы либо просто затоптаны, имена предков забыты либо оплеваны, воспоминанья осмеяны, огажены, стерты. Связей нет, счет родства прекращен. Одиночество. Каждый сам за себя: нива дьявола.

Когда жгут, убивают, пожирают животных, не остается ничего. Род человеческий — особенный род. Когда жгут, убивают, пожирают людей, превратив их в орудия, в животных, в удобрение почвы, нечто всегда остается. Осадок.

Сплав. Стылая лава бедствий. Дьявол приходит ее растопить. Или совсем заморозить, что равносильно кипенью. Только посредственность поистине смертна, ибо в ней не нуждаются ни дьявол, ни бог.

В Переяславле, в верхней светлице — хранилище книг, боярин Андрей принимал гостя — своего князя-друга Владимира Мономаха.

— Вот весть из Италии,— рассказывал Андрей.— Там открылась новая ересь, достойная удивления. Появились люди, которые отвернулись от Христа и тайно поклоняются демону.

— Такое заблуждение нельзя назвать ни ересью, ни схизмой,— возразил Мономах.— Еретики признают Христа, заповеди, Евангелия, апостольские послания. Но они оспаривают каноны и установления вселенских соборов. Не болгарское ли богомильство проникло в Италию?

— Нет,— возразил Андрей,— богомилы в отчаянии сочли видимый чувствами мир твореньем демона, согласившись между собой принимать за божье творенье только духовный мир. Но самому демону они отнюдь не поклоняются. Те италийцы, о которых речь идет, именно-то и поклоняются демону, от Христа же они совсем отреклись.

— Достоверно ли такое? — усомнился Мономах.— Подобное мне видится лишенным смысла вполне. Бес ничтожен, смешон. Может быть, там людей, сохранивших старую эллинскую веру, вновь начали ругать дьяволопоклонниками? Такое папское темное злобствование возможно! Есть же и у нас на Руси люди, которые по заблуждению никак не отстанут от старой веры. Наши духовные их тоже пугают дьяволом. Но разве они поклоняются дьяволу! Разве мой прадед Святослав, разве предки наши были дьяволослужители!

Разогревшись, Мономах ударил по столу и встал, озираясь, как богатырь на бранном поле. Будто бы сейчас явится кто-то, осмелившийся очернить былую Русь! Выждав, боярин Андрей продолжал:

— Недавно вернулся Яромир Редька. Он по своим делам добрался до Неаполя. Тамошний епископ анафемствовал дьяволопоклонников по торжественному чину. Яромир привез список епископского слова.

Прочтя рукопись, Мономах с сомненьем сказал:

— Смутно все — имен здесь нет. Кого же отлучали от церкви, анафемствовали? Ветер? И стрелы свои неапольский епископ мечет в воздух, и заблужденье, коль оно есть, жалости достойно.

— Я давал читать список епископу нашему Ефрему,— возразил Андрей.— Преосвященный находит, что оный дым не без огня веет: неапольский епископ осведомлен был от духовников, принимавших исповеди. Не имея надежной уверенности, тот епископ не стал бы ни уличать обряды дьяволопоклонников, ни анафемствовать. Имена не названы во избежание смертного греха нарушения исповедной тайны. И еще преосвященный Ефрем говорил мне, что неапольский епископ не стал бы делать на свой страх, без указа от папской курии.

— Сами латиняне чрезмерно много твердят о дьяволе,— с укором сказал Мономах.— И комариный укус так расчесать можно, что прикинется злая болячка...

Князь опять вспыхнул:

— Что до меня, то я, как все князья, как отцы наши, не допущу насилия над заблуждающимся, не допущу гонений на иноверных. Христос мне свидетель, он же милости просит, а не жертвы! Волхва-изувера, явно приносящего людям вред, буду, как и было, наказывать, как разбойника за преступное дело, но не за веру его!

Сразу справившись с гневом, как он умел, Мономах сказал тихо, будто бы не было волненья:

— С Редькой сам еще побеседую и сам поблагодарю. А из книг привез ли он что?

Друзья занялись делом, которое оба любили.

Глава пятая

КРЕПЧЕ СТАНЬ В СТРЕМЯ

ПО ШЕРСТКЕ И КЛИЧКА — СРЕДЬ ДРУгих рек днепровского левобережья более всех вертка, непоседлива река Сула́, более всех наделала она извилин, поворотов. Не будь правый берег крут, Сула давно уже доюлила бы до Супоя. Много ль тут! Прямым путем, по птичьей дорожке, ста верст не наберешь, а время у Сулы не считано.

Может быть, правый берег Сулы оттого и крут, что в него она бьется? Или, по-иному, Сула, как некоторые, ищет спора с сильным? Так ли, иначе ли, свой левый берег, низменный, Сула в разливы захватывает на многие версты, без спора заливая мутной водой его ровные глади, и стоит мирно. А в правый бьет... Где ж мир-то?

Коль взять шире, то у всех рек, текущих по Переяславльской земле, есть общее: правый берег крут, левый — отлогий. Трубеж, Супой,

Сула, Псел, Ворскла, Орель смотрят на восток ступенями. С Руси гладко, со Степи круто. Поэтому русские города-крепости, за малым исключеньем, которое можно не замечать, стоят на правых, крутых берегах.

Верстах в десяти вверх по Суле от сулинского притока Удая устроилась крепость Кснятин. Считается — и так записано в летописях,— что место избрано было Владимиром Святославичем, постройку крепости заканчивал Ярослав Владимирич. Второе бесспорно, ибо любую крепость стараются закончить, в том никогда не успевая: всегда хочется что-то добавить.

В середине крепостного места, на легком всхолмлении, на пупу, воздвигнут храм имени Константина, как русские книжные люди произносят имя святого. В просторечии имя переделали в Кснятин и вернули его книжникам как название крепости.

Храм невелик, зато звонница поднята в четыре яруса, каждый ярус сажени две с лишком. Сверху и звон далеко расплывается, и видно далёко...

Верст на сто. Зависит от воздуха. Человек с острым зреньем весной в ясное утро видит на юго-западе блеск днепровского разлива. Лубенская крепость кажется близкой — до нее всего двадцать верст. Лукомль хуже различается — до него пятьдесят.

Когда в тихий осенний день в небе над Кснятином тянет-идет к югу лебединая семья, до усталости смотришь, как медленно машут птицы тяжелыми крыльями и никак не могут уйти из твоих глаз. Ты еще долго различаешь в четверке стариков от молодых по цвету пера. Они ростом сравнялись с родителями, но нет той белизны. То ли не вытерся ребяческий пух, то ли себя не умеют соблюдать. Так у людей: зелен виноград — не вкусен, млад человек — не искусен.

— Так-то, друг-брат, сторожу Кснятин, наместничаю пятнадцатый год,— говорил старый дружинник боярин Стрига своему гостю.— Я здесь всем и князь, и слуга. Со своей колокольни гляжу — сам убедился, с нее многое видно. А? Не жалуюсь, нет. Князь наш Владимир Мономах меня держит. Я ему нужен. Он жаден до людей. Я держусь за него и буду держаться. Он любит княжеский труд и храбр.— Стрига усмехнулся: — Не скучай, нам, старикам, вольно твердить все одно да одно. Слова дешевы. А вон там,— боярин Стрига указал на восток,— Голтва на Псле. Место крепкое, но у Степи оно сéло на губах. Еще дальше, верстах в пятидесяти от Голтвы,— Лтава. Лтав-

ские прилипли на стенных зубах. Там, за Лтавой, через сто двадцать верст прилепился крепкий Донец! Можно сказать, сам лезет Степи в горло. Однако там люди живут, землю пашут, скотину держат, богу молятся и деток плодят. Чем же держатся? Храбростью. Скажем — до случая? Верно. Но вечная жизнь этому не суждена! — Стрига ударил себя в грудь кулаком.— Как попы называют — гроб повапленный?

Спускались крутыми лестницами с площадки одного яруса на другой. Ни одна ступенька не скрипнула. Все здесь тяжелое, прочное. Не звонница — башня. Собрана из толстого дубового бруса, стены изнутри раскреплены крестовинами, поперечными связями, окна узкие, с толстыми ставнями. Есть где отбиваться. Могут поджечь. Потрудятся зажигатели. Не в соломенную крышу горящие стрелы метать. А греческого огня степняки с собою не таскают.

С каждым ярусом в окнах-бойницах сужался широкий свет. Вышли из звонницы — и совсем стало узко. Вал закрыл весь мир тесным окоемом острозубого палисада.

Кснятинский храм невелик, низок, но тяжел, как звонница. И, как в звонницу, в него не сразу войдешь, если будешь ломиться насильно.

Есть же земля, где забор ставят лишь для того, чтобы не лезла скотина в огород, где дома — чтоб укрыться от непогоды, звонница — чтобы звонить, храм — чтобы молиться... Или нет такой земли?

Снаружи Кснятин красив, но странной красою: крутой вал, на валу палисад с острыми палями, и в небе торчит, как перст, башня-звонница. Крыш не видно. Подумаешь: и где только люди не живут?.. Таков замысел, так место позволило. Внутри не слишком тесно, но и не просторно. От северных ворот к восточным проложена улица, проложены дороги. В середине, вокруг храма и звонницы, площаденка. От нее отходят переулки, утыкаясь в вал. Короткие, здесь не разбежишься. Все плотно заставлено жилищами да складами, кто как сумел, так и поставил, прилаживая к жилью конюшни, загоны для скотины. Соломенных и камышовых крыш нет, пусть они теплы, дешевы и удобны. За крышами боярин Стрига смотрит, и, хоть народ вольница, никто боярина не переволил.

Стрига водил гостя, тридцатилетнего дружинника переяславльского князя Мономаха, поглядеть на крепостное хозяйство.

Князь Владимир Всеволодич не знает, не любит покоя — до всего ему дело, все-то он хочет видеть да ведать. Сам не успеет — пошлет.

Стрига водил Симона по кладовым, перечисляя по описям, сколько заложено было с прошлой осени четвертей пшеницы, полбы, сколько гороха, овса, ячменя. Оставалось немного, скоро снимать новый урожай, однако остатков хватит, чтобы продержаться и сегодня недели три, если вдруг половцы придут. Не должны бы прийти, зимой с ними писали мир, за который князь Владимир Мономах им не щедро, но и не скупо отвалил денег, одежды. Дал и скота. Который раз перемежались войны такими мирами? Посчитали — и сбились. Не то девять раз, не то восемь. Посидят половцы у себя и вновь лезут, и вновь. В этом году боярин Стрига не ждал половцев. У него свои приметы: от купцов, проезжающих через Кснятин на Русь, удается вызнать, задавая вопросы совсем будто о другом.

Были запасы соленой и вяленой рыбы, солонина в бочках. Отдельно хранили соль, без которой нельзя съесть и куска.

Лошади и скотина выпасались на воле. В конюшнях боярин Стрига держал под рукой десятка полтора сильных коней, кормленных овсом, приученных к ячменю.

В конце оружейного сарая, за снопиками стрел, разложенных на многоярусных полатях, хозяин подвел гостя к диковинкам. На подставках лежали старые кости богатырских размеров. Симон поразился:

— Что это? Велианские кости?

— А ты приглядись. Наш отец Петр мне б не позволил держать без погребенья человеческие останки. Гляди! Эта похожа на турью или бычью, только больше их раза в три. Это обломки черепа, кусков не хватает, но все же можно собрать. Котел!

— А эти? — спросил Симон.— Рога?

— Нет. Видишь, отлом, сплошная кость, как моржовая. А здесь я рубил.

В глубоком прорубе под верхним черным, в трещинках, слоем была видна сплошная, чистая, чуть желтоватая кость.

— Разве ты не видел в Киеве, еще у князя Изяслава был слоновый бивень-клык? И в книгах ты мог встретить рисунки слона. Большеухий зверь с длинным, как хобот, носом. По сторонам из пасти торчат клыки.

— Вспоминаю,— согласился Симон.— На что тебе мертвые кости?

— Клыки идут на поделки, прочны, режутся тонко. В Кснятине есть резчик-искусник, я и сам люблю зимой в долгую ночь руки потешить. Не забыть, у меня дома есть меч с рукояткой своей работы. Обвил змеями для красоты, и рука не скользнет. Было так. Вскоре после приезда сюда, в Кснятин, я начал вал наращивать. Неподалеку отсюда брали дикий камень, глину, известняк — известь жечь. Костей в одном месте было много. Покаюсь, поначалу и отшатнулся, как ты. Клыки меня на ум навели.

— Доводилось слыхать, вспоминаю теперь, что находят у нас где-то великанские кости,— сказал Симон.— Да слоны-то разве на Руси водились? Они в жарких странах живут.

— В книгах я ничего не находил,— ответил Стрига.— Мы с отцом Петром порешили, что ходили они до потопа. Тогда здесь было, надо думать, теплее. От потопа земля охладела. Да что кости! Смотри-ка сюда!

Боярин подал Симону кувшинчик черной глины, разукрашенный тонким орнаментом из линий, выцарапанных до обжига. Кусок блюда с такими же украшеньями по краю. Несколько пластин шириной в ладонь и длиной в четверть. Железо отрухлявело от ржавчины, возьми — и рассыплется. На концах пластин пробиты дыры.

— Узнай-ка! — предложил Стрига.

— От панциря? — воскликнул Симон.— Вместе с костями нашел?

— В другом месте. Там же и это нашлось, по-моему, нож и меч.

Ржавчина мало что оставила от железа, но все же объедки были когда-то оружием, видно.

— Это, знаешь, где лежало? — задал Стрига вопрос без ответа.— В старом валу. Пришлось, чтоб обновить проем для ворот, снять сверху землю. С боков земля осыпалась, пришлось очистить до материка. Там же нашелся ручной жернов и вот,— Стрига показал несколько наконечников стрел из бронзы. Хотел он и еще что-то достать, но увидел, что гость будто бы утомился. Насильно мил не будешь, каждому свое. И Стрига закончил возню с любыми ему находками: — Вот к чему я веду, друг-брат. Говорят, что Кснятин был поставлен Владимиром Святославичем. Еще короче — Ярославом. Спору нет, оба князя заботились, чтоб крепость стояла. Но заложили ее, может быть, и тысячу, и две тысячи лет тому назад. Ибо

место здесь для крепости сотворено. И разрушали ее, и сжигали, и она возрождалась: здесь место ей. Не на левом берегу! На правом! С правого берега наши пращуры издревле оборонялись против Степи. Так-то. Таков наш удел, русский. Изменим — сами погибнем и других за собой в землю уведем.

На конюшне Стрига подседлал себе вороного жеребца с лысиной на лбу — пятном белых волос, которое зовут звездой, когда хотят сказать покрасивее. Гостю старый конюх вывел буланого жеребца могучих статей, тонконогого, но коротковатого телом.

— Не трудись,— сказал он Симону, когда тот взялся за путлище, чтобы подогнать стремя по себе,— я тебя глазом измерил и путлища отпустил, сколько надо.— И добавил про коня: — В ходу он резв и прыгать горазд, такая порода.

Не любя давать боярских лошадей в чужие руки, конюх предложил Симону не лучшую и спешил словами отвести глаза Мономахову подручнику.

Перед воротами боярин остановил Симона, указывая на внутреннюю осыпь вала. Плотно убитая земля осыпалась пылью, обнажая где черепок, где кусок желтой кости, уголь, почерневшую щепу.

— Говорил тебе — здесь у нас вся земля живая, только что голоса у ней нет.

Воротный проем был обложен кладкой из крупного дикого камня, ряды которого выравнивали прослойкой кирпича. Высота — две сажени с лишком, чтобы прошел воз сена. Поверху плоская арка из тщательно и на клин тесанных камней.

Воротные полотнища были отвалены наружу. Были они из трех слоев досок, собранных для прочности на откос и сшитых коваными гвоздями со шляпками в ладонь, загнутыми изнутри.

В тени сидели двое ратных. В таких же длинных косоворотных рубахах, какая была на Стриге, в пестрядинных штанах, босиком. Чего утруждать себя в летний денек! Сапоги в стороне, там же оружие: длинные копья, луки, колчаны. Увлекшись беседой, они оглянулись на конных, поравнявшихся с ними, привстали, вольно поклонились.

— Не проспи! Степные въедут с маху,— сказал боярин.

— Где им, слеповатым! — отмахнулся сторож.

За воротами легкий мост с уклоном наружу перекрывал глубокий ров с водой. Дальше дорога шла по насыпи, опускаясь к мосту через реку. С моста, брошенного через кротчайшую летом Сулу, Кснятин казался горой. Надо думать, крепость давила душу степняка одним своим видом. Без крыльев не взлетишь, а где их взять?

Слева от крепости, если глядеть от нее, круча правого берега обрезалась широким оврагом, дно которого Сула захватила себе на заводь. Залитое водой, подернутое редестом и осокой, заболоченное место насосалось, как греческая губка. От него питался водой кснятинский ров.

— Поистине, не место идет к голове, а голова — к месту. Гляди-ка, крепость на крепость насажена, вот тебе Кснятин. Привыкли люди к тяжелой громаде. Сила влечет к себе, в силе тоже есть красота. А все ж нет прелести, ласки в земляной, каменной — из чего ни сложи — крепости. Так мы, Симон, дивимся силачу, гордимся сильным другом. Но не сравнишь со слабой женщиной. Кто милее, тот сильнее окажется. Будь я богат — достроил бы Кснятин таким, чтобы в нем красота силу собой закрыла.

— Зачем? — спросил Симон.— Кснятин — Кснятин и есть. Если б стоял он на большой реке, на торговом перепутье, если б к нему тяготела большая земля... Кому на него любоваться?!

— А так,— рассмеялся Стрига.— Для себя! Для загадки. Откуда я знаю, что получилось бы у меня? Злые боятся красоты. Во искушенье их вводит она. Недаром же иногда греческие базилевсы любят полагаться на евнухов. Исполнители хорошие, умные сановники. Лет двадцать тому назад в Переяславле был у меня спор с епископом Фокой. Грек делал вид, что меня не понимает, и сводил на писание. Умен, тонок, в игольное ушко пролезет. Так я его на поле и не вытащил. Рассердил лишь. Кричит: отлучу еретика! Князь Всеволод, Мономахов отец, помирил. Сказал, что непотребно как бы то ни было уродовать людей. Не о том был спор, но преподобный утих.

С моста было видно, как толстый уж медленно полз, перетекая от реки к заводи извивами грузного тела.

— Это здешний князь, мой приятель,— сказал Стрига.

Бросив поводья на лошадиную шею, он перенес правую ногу через холку и соскользнул с седла. Тихо ступая

мягкими подошвами щегольских сапог тонкой кожи, боярин споро спрыгнул с моста и пошел берегом, насвистывая простую песенку, как чиж или синица: «тю-тю-тю и тююю...» Уж выполз на тропку и замер. Навстречу боярину медленно поднялась тяжкая, как гиря, голова, под ней как из земли вырастала длинная шея. Цветом он был не глянцево-черный, как молодые, а серо-черный, будто подернутый белой плесенью. Боярин присел на корточки, и стало заметно, как велик уж. Голова его пришлась вровень с лицом человека, а тело, оставшееся на земле, толщиной с руку, казалось бесконечным, так как хвост прятался в траве. Издали мнилось, что человек и змея разговаривают. Боярин протянул руку. Перед головой ужа затрепетало раздвоенное жало, будто бы ласкал. Боярин встал. Уж поднял голову еще выше и, видя, что человек повернулся, заскользил своей дорогой, к болотистым заводям под обрывом, над которым висела кснятинская стена.

— Это старый друг,— объяснял боярин,— с первого года его знаю, а он — меня. Не мерил я, но по виду почти что не вырос он. Как был сажени две, таким и живет. Осенью прячется. Весной появляется. Добрый, в руки дается. Но видал я однажды, как он бил гадюку. Сначала ударил телом, как палицей, и пастью схватил за голову. У него зубов нет, но челюсти крепкие.

Хороша посульская земля сверху, снизу она другая, но не хуже. С моста Посулье манит нежной прелестью. Река течет тихо, теченья не видно, будто стоят ясные воды, и стаи рыбы стоят в тени против столбов, на которые опирается мост, и не видно, чтобы тратили они силу, дабы удержаться на месте. И вверх по речной долине, и внизу все блестит яркой зеленью рощ с обильным подлесьем и полян, среди которых извивается Сула. Жирная земля возделана, везде полосы хлебов — от ржи до горохов, бахчи со сладкими и горькими овощами, все родится десятерицею на удобренной илом земле. К востоку земля поднимается медленно. И незаметное сверху здесь очень заметно: близким кажется окоем, где, как обманчиво мнится глазу, сходятся твердь небесная с твердью земной. И ведь знаешь, что нет такого места, а для глаза вот он, окоем, за малое время доскачешь. Почему же глаз говорит одно, а дело с опытом — иное? Если б такое понять, многое стало б понятно.

— Может быть, и лучше, что иное нам непостижимо? — спросил Симон боярина.

— Конечно, лучше, но где же записан отказ и где черту провели, за которую путь заказан и глазу, и разуму? — отозвался боярин.— Осенью, как все раскиснет и зальется водами, либо весной, когда нет из Кснятина дороги никому никуда, мы здесь много книг читаем, о многом беседуем, время есть и подумать. Ты приезжал бы к нам на зимовку. Не люблю я жить ни в Чернигове, ни в Переяславле, ни тем более в Киеве. Шумно. Людно. И людей разных много, с кем хочешь встречайся. Подумать некогда. Наша жизнь прозрачнее. Тут слышишь, как трава растет, видишь, как лист, поспешно развернувшись и быстро росту набрав, остановится и только темнеет до первой своей желтизны. Учишься от малого к большому. И всему, что видишь глазом, постигая умом, радуешься. Сильна жизнь многоликостью. Уж этот. Что в нем? Не расскажет, а навидался немало. Там вон,— боярин указал рукой,— в заболоченной нашей заводи есть бездонное место. Тому лет тринадцать — у меня записано — конный половчин угодил в заводь. В тот день они пробовали ударить на Кснятин, когда я только валы поднимал. Половчины таковы — всюду верхом ему дорога. Но этот сильно ошибся. Пошел, пошел да как ухнет, будто с конем вместе его проглотили. Через сколько-то дней велел я перетащить челнок из Сулы. Сначала шли, толкая посудину через траву. Потом пихались шестами. На том месте, где половчин пропал, три шеста связали — нет дна. Взял я пудовую крицу́ сырого железа. Навязали на веревку в десять сажен. Нету дна. Навязали еще и достали дно на пятнадцати саженях. Но где же половчин? Пора б ему всплыть, а лошади-то тем более... Нет ничего. Поднял я крицу и, опустив вольно веревки, бросил в воду. На пятнадцати саженях она приостановилась и, будто крышу пробив, пошла, и пошла. На все двадцать сажен. Больше я не стал привязывать веревок. К тому месту я потом приглядывался и стал замечать: когда утром или вечером туман, что-то видится там живое, но исчезает вместе с туманом.

— Что же такое? — спросил Симон.

— Русалки да сам князь водяной, хозяин сульской воды. Кто же еще? Ему я крышу и пробил, однако же он на меня не в обиде. В том месте у них дорога. Оттуда бьют чистые ключи, и, как я приметил, там никогда вода не замерзает, и бывает иную зиму, что дикие утки там бьются, не уходят. Коли бы мой уж-приятель мог рассказать мне, что видел...

— Духовные заклинают русалье,— заметил Симон.

Боярин отмахнулся:

— За что? Не было случая на моей памяти, чтобы водяные принесли зло. И без русальской силы только дикий половчин сдуру полезет в бучило либо в омут. Все живое вокруг нас. В воздухе, как знали наши пращуры, есть воздушные звери особые, из воздуха тела у них, легкие, подобно туману. Их отраженья видны порою в течении облаков, изменчивые, как облака. Они способны принимать людские личины, личины земных животных, как вздумают. Не доводилось ли тебе видеть там и женщин, и воинов, и всадников? Кто же того не замечал: свинья, она же весь век свой глядит под ноги, червь да крот слепорожденный. Да еще книжник-упрямец, смолоду упершийся в буквы... Наш отец Петр по прибытии поучал: бесовское да от беса. Будто латинянин. Сводил я его однажды на это самое место и своими глазами заставил его поглядеть, как в тумане над омутом нежились русалки. «Заклинай их,— прошу я,— молитвой всевышнему. Но не кричи, здесь мы в гостях, бог же слышит и немые слова. Читай, отче!» Читал он, читал до темноты, но никого не испугал. Не любит он подобного и теперь. Однако ж понимает ныне, как все, что нет бесовского ни в водах, ни в лесу, ни в степи, ни в облаках. Все от бога. Страшен злой человек, нет ничего страшней человека.

Мост уходил далеко на низменность левого берега, чтобы можно было ездить и в высокую воду. Верхнее строение снимали весной и весной же, по окончании ледохода, наводили. Привычные лошади осторожным копытом будили дряблый отзыв настила. Нельзя без моста, через Сулу много мостов — лучшие угодья, кормилище русское, лежат по речной долине, по низкому левому берегу ее. Обороняются на горах правобережья, живут и питаются левым. Так же и по Пслу, и по Ворскле.

Сойдя с моста, всадники пошли влево, вверх по течению. Там в полуверсте тянули на берег невод. Один конец заводили с челна, другой вели берегом. Челн пристал. Какова удача ловцам? Чалили с натугой. Боярин, спрыгнув с седла, как молодой, бросил на песок пояс с мечом, скинул через голову длинную рубаху. Сев, стянул сапоги, нетерпеливо рванул портянки и в одних штанах, стянутых тонким очкуром — ремешком, схватился тянуть крыло, где стояли двое — всех ловцов было пятеро. И разом перетянул!

Боярин Стрига был из старшей дружины, начинал служить еще дяде Мономаха, Святославу Ярославичу. Он при-

держивался старины — волосы стриг чуть короче и не носил подстриженной бороды, какими щеголяли молодые дружинники, а брил щеки с подбородком, усы же никогда не трогал, и опускались они почти на грудь, как два изогнутых рога. В одежде казался он княжичу Симону тяжеловатым. И правда, не было у него стройной тонкости в поясе, зато грудь — как печь, на ребрах мышцы-подушки отталкивают в сторону тяжкие руки. И — метины. Пухлые рубцы на местах, где устояла кольчуга, бугор сросшейся ключицы, на правой груди темная звезда не то от копья, не то концом меча было бито. За ухом из-под волос длинный разруб идет сверху через лопатку, и сейчас княжичу видно, что будто бы тянет он голову вбок.

Напрягшееся пузо невода уже на мели. Сула расщедрилась. Что-то ворочается, как живое бревно. И, будто проснувшись, рвануло назад раз и два. У Стриги на конце выстояли, а другой конец подался, и ловцы, перехватывая толстую веревку, не то дали потачку, не то сам канат заскользил. Эх! Уйдет! Нет, замерло, но надолго ль? Бросив неводное крыло, Стрига в два скачка достал до челна, схватил колотушку, деревянный молот для сомов,— и уж в воде по пояс. Прицелился, выжидая, и ударил раз, другой, скрылся в брызгах — сильно подпрыгнула рыбина, но утихла.

— Тащи, тащи!

Симон, подхватив с седла конец каната, закрутил за луку, помогая слабому концу. На другом тянул Стрига. И уже на мели раздувшаяся тоня. В пеньковом мешке полно. Еще, еще! Теперь не уйдешь! На сухом взяли! В корзины метали стерлядей и серебристый частик — простую рыбу. И, зацепив мертвой петлей за голову ниже жабер, выволокли дорогую добычу — тупорылую белугу, закованную в чеканный костяной панцирь. На семь пудов потянет, не меньше. Удача.

— Стало быть, мы в дружбе с Сулою,— шутил Стрига.— Спой-ка нашу ловецкую,— приказал-попросил он удачливого парня, и тот затянул высоким, чистым голосом:

Ох да плачется, ох да жалуется
устье днепровское широкое,
жалуется морю глубокому:
«И что же это деется,
и что же случается!
Полную волю забрал Днепр
и над тобой, надо мной насмехается.
Заманивает Днепр нашу всю живность —

и осетра, и белугу со стерлядью,
и всю прочую рыбу белую,
и всю красную.
И хозяйствует, и со всеми он делится,
во все речки рыбу раздаривает,
нам с тобой ничего не дает,
все берет безвозвратно он,
мне за рыбу платит песком
да серой глиною...»

Сорвавшись из-за окоема, всадник спешил с востока к Суле, будто осеннее перекати-поле, гонимое бичами вихря. Боярин Стрига, смыв чешую, стоял босой, в длинной рубахе. Выжатые штаны сушились на траве. Ловцы успели погрузить добычу на телегу, прикрыв мокрым неводом от солнца.

— Ишь, заячьим скоком идет,— сказал кто-то, и все зашевелились.

Молодой ловец почему-то бегом пустился к стреноженной лошади, торопясь, снял путы и, ловко вспрыгнув на спину, погнал к телеге, где другие ждали запрягать. Боярин оделся, присев, мигом намотал портянки, натянул сапоги, подпоясался, перекинул перевязь от меча и поднялся в седло. Всадник приближался. Вороно-пегая лошадь как-то особенно далеко выбрасывала вперед задние ноги, и ездок мотался на спине, будто сейчас вылетит. Ехал он без седла, только с недоуздком без удил, но конь слушался. Саженях в двухстах всадник врезался в старицу. Конь взбил воду грудью, залив всадника по макушку, поневоле сдал ход и, выскочив на берег, пошел было короче, мотая головой, но всадник лихо послал его и лихо остановил рядом с боярином. Парень, лет пятнадцати, гололицый еще, длинноволосый, силился что-то сказать, но не мог — задохнулся.

Ловцы успели запрячь лошадь в телегу и ждали, ждал и боярин. Утишив грудь, парень прерывисто выкрикнул слова:

— Половцы... Дядя Зван послал...

— Где? — спросил боярин.

Отдышавшись, парень стал объяснять, показывая на край леса, сползавшего к Суле на севере:

— Там, в Кабаньем овраге...

Близ леса, за бугром пасется один из кснятинских табунов. Утром лошади заволновались, и табунщики заметили среди своих чужую подседланную лошадь. Седло не русское, чумбур порван. Стало быть, ушла. Откуда же? Стали искать, нашли в траве свежую стежку, сочли — шли

конные не более двадцати. А если более — ненамного. Стежка вела в голову Кабаньего оврага. Табунщики пустились отжимать своих лошадей к Суле, а молодого послали с вестями.

Звонко-тревожный голос кснятинского колокола вскрикивал частыми всполохами, ожидая, умолкал, и тихо-тихо делалось в спящей долине Сулы. Ветер едва-едва шелестел листвой, травы едва шевелились, еще низкая зелень полос хлебов, густая, крепкая, мечтая о чуде сотворенья колосьев, не замечала ни ветра, ни набата.

Немного времени прошло, а с верха Сулы показалась лодья, за ней вторая, третья. Людей в них полно, мелькают шесты, которыми пихаются пловцы. На берегу замелькала скотина, лошади, овцы. Верховые гнали худобу. Видны стали люди и ниже Кснятина, и на пологих языках, которыми с востока степь спускалась к Суле. Покинув мазанки, шалаши, легкие избы, в которых жили летом, кснятинские спешили к убежищу. Из крепости же вышел конный отряд, за ним — несколько конных и сколько-то пеших. Немного погодя — третий. Становилось будто бы много, но легко счел бы их, кто хотел, на пальцах — ровно двадцать коней. И еще один конь.

Чутко кснятинское ухо. Не так уж громок колокольный набат, не так уж част, а через мост уже пошли в крепость люди. И телеги откуда-то взялись с добром, которое берут с собой хозяева на летнюю жизнь в поле, на пасеки. Немудрое добро, богатство невеликое, но все нужное, половец не возьмет, так сожжет.

Лодьи пристают у моста — у дороги — на правом берегу, на своем. Левый берег тоже свой, половцы не стараются прийти на него, чтобы сесть постоянным житьем, и нет спора о межевой грани. В договорах, и в словесных, и в писаных, которые много раз заключались между русскими и половцами, говорилось не о земле. Уславливались, чтобы половцам быть у себя и русским — у себя. И чтобы одним к другим не ходить воевать, а ходить без обид, для торговли. Нет вражды из-за земли, видимой глазом, отмеренной веревкой, известной по приметам. Половец все мнит своим, что ему посильно взять, потому-то и понимает половец только силу. А любит половец широкую степь и говорит, что когда видит вечером дальний огонь чужого кочевья, то ему уже тесно

и нет больше радости. А почему так, никто не знает, кроме бога.

Как тут быть, как тут жить? Как деды! Их теснили хозары, после хозар — печенеги. Князь Святослав пошел с сильной дружиной по Донцу, потом по Дону, всюду бил хозар, разрушил их крепость Саркел на Дону. Потом Святослав по Оке сплыл на Волгу, разорил город Булгар, столицу подвластных хозарам камских булгаров, побил буртасов. Спустился по Волге, разрушил хозарскую столицу Итиль. В Тмутаракани победил яссов и касогов и утвердил свою власть при море. После походов Святослава хозарское имя угасло. На смену им пришли печенеги. С печенегами расправился сын Святослава, Владимир, но в степи, будто манят они всех восточных людей, пришли половцы — куманы.

Святослав не избил всех хозар, но, разрушив хозарскую державу, разметал их. Часть их явилась в смешении с печенегами. Печенеги не избиты Владимиром, но разогнаны и выгнаны. Сколько хозар и печенегов смешано с половцами, сами они не знают, ибо все они между собою схожи обличьем, обычаем, речью. Одинаково давят на Русь, грабят, уводят пленных на продажу как рабов и для работы на себя. Руси нужно либо уходить на север, в леса, за болота, либо отбиваться. А есть ли выбор? Уходить — нагонят. Зимой пройдут через болота, через реки. И леса не такая уж помеха. Кснятин сильная крепость, не въедешь, не влезешь с разбега. Но если, не защищаясь, сидеть внутри, за четверть дня пробьют ворота, засыплют ров, разроют стену, и не такую, как кснятинская.

Боярин Стрига не слишком спешил со своими конниками. Встретился первый табун, боярин поговорил с табунщиками. Останавливался у погонщиков стад. Вскоре встретили табунщиков, пославших с вестью парня на вороно-пегом коне. Говорили и с ними. И все одно — с той стороны, с половецкой, с востока и от полудня не бегут ни косули, ни тарпаны, ни туры. На той стороне, половецкой, где, однако же, зацепились и Голтва, и Лтава, и Донец, не видно тревожных дымов, ночью не было огней. Не бегут оттуда и люди. Сколько-то русских, сколько-то давно от своих отбившихся хозар, печенегов и тех же половцев, помешавшихся с русскими, ставших русскими по обычаю, живет по Пслу, поВорскле, по Донцу, по Сейму, по Осколу, по жирным землей, дичью, рыбой долинам малых речек. Люди эти не считаны. Сказать про

них — много, нельзя. Их — не мало, не одна тысяча душ. Из них никто не прибежал.

Не только Стрига, которому положено ценить степные приметы, как купцу — товар, вслепую, но и каждый встречный, спеша прятаться в Кснятине, понимал — половцы не идут войной. Кснятинский колокол повещает о половецком наезде. Но ведь когда ты один, вдвоем, впятером, то для тебя и десяток половцев — войско.

Не все уходят в крепость по тревоге. В удобных местах заготовлены землянки. В роще, в овраге построены похоронки так, что, не зная, и не заметишь. Прячутся семьями, заводят лошадь. По истечении времени бревна сгниют, завалится земляной настил. Но яма остается надолго, и случайный прохожий не догадается, для чего, кто в глуши, без подхода, без подъезда старался что-то устроить.

В таком существовании, под страхом разоренья, плена, похищенья близких на жалкую участь, что хуже смерти, будто бы нет места для радости. Не жизнь — житие обреченных. И коль поддавался бы русский унынию, глядя в будущее, не сулившее хорошего, давно превратились бы русские в стадо загнанных животных, и само имя их, исчезнув из жизни, служило бы для подтвержденья ничтожества земного существования. Не уступай, делай во всю силу, будь что будет. И каждый из кучки всадников боярина Стриги бодр и едва ли не рад — каждый живет во всю силу.

Подручный табунщика и совсем счастлив. Получил железную шапку; хоть и неловко голове с непривычки, но честь дорога. И щит мешает ему, и жарко в кожаном доспехе с нашитыми бляхами, и меч прыгает, бьет, и дума навязчива — выскочит из ножен, потеряется, стыд. Но не отдаст никому. Для длинноногого коня нашлось седло, а от узды парень отказался, он прирожденный наездник и, как Стрига, как другие, владеет старинным искусством управлять конем ногами, чтобы обе руки были свободны.

— Не суйся вперед,— приказал парню боярин.— Сунешься — прогоню назад. Делать будешь, что велю.

Огибали чернолесье — на тот дубок, который будто бы одиноко маячил близ края неба на травяном море. На местах, не тронутых плугом, а коль и паханных, то в незапомнившиеся годы, трава успела вымахать по лошадиную грудь сочная, свежая, молодая, еще не одубевшая от тяготы плодоношенья, не опаленная солнцем. Будто бы ровно, однако ж взбегая мягким увалом, покатость левосульского берега подняла всадников на волну степного моря,

и отсюда стал виден и дуб — не дубок, каким он казался,— и глаз ощутил наметившуюся голову оврага в подобии травяного корыта. Лес оборвался. Подлесок еще тянулся в степь, кусты доцветавшего боярышника источали сладкий запах, и стрепеты взмывали из травы.

В полуверсте над зелеными метелками ковыля стоит тупоносая голова чуткой дрофы. Сторожит свое племя, мирно дремлющее после утренней кормежки. День уже, солнышко припекает, самое время для отдыха крылатым и ногатым. В теплом воздухе пусто было б, коль не ястреба. Трепеща коричневыми крыльями, висят и висят они, глядя вниз — оплошного ждут, и, не дождавшись, косым полетом — в сторону, и опять виснут на невидимых опорах неутомимые голодные охотники.

Птицы небесные не сеют, не жнут, не копят в житницы. Даст бог день, даст и пищу... Расхрабрившись, далеко забрался стрепетиный цыпленок, и заблудился, и зовет мать. На писк спешит и хищная ласка, и чуткий ястреб летит. Кто первым поспеет, тот сыт.

Вблизи выхода из Кабаньего оврага ждали, ждали. Молчали — не о чем говорить, и какой же ты воин, если не умеешь молчать? Боярин поднял руку и вниз опустил, как бросил,— приказ слезть с седел. Слезли, чтобы лошадям дать отдохнуть, и слушали, как конь переступит, как топнет копытом, как хвостом хлестнет, отгоняя муху. Сухо здесь, мух с собой увел табун, пасшийся неподалеку, а все ж беспокоят.

Слушают, как трава растет, как мышь пробежит по корням, как стрекочут кузнецы. Небо чистое, ветер с востока, сухой, летний,— не сильно тянет, ленится. Надуется, дохнёт и, отдыхая, чуть веет. Белуга была хороша. В жаркое время рыба не ждет, ее уж разделали, в соль положили на сутки, а завтра пора и коптить.

Будто топот? Так и есть. Четверо своих прибыло, догнали. Теперь все ловцы в сборе, и боярское копье все тут — его дружинка, семь мечей, сам он восьмой, вместе называют копьем, как ведется по воинскому счету.

Отдыхает ветер, и от леса, которым зарос овраг, течет аромат доцветающих лип. То-то там черная пчела гудом гудит, спеша взять последний обильный взяток. Опадет липовый цвет, остаются летние цветы, они жестче, не так богаты медом. Пчела строга, не добра. К себе не пустит чужого, зато в поле мир. Ни человека, ни зверя не ужалит, и между собой свары нет из-за охоты. Сама посильно берет, другой не мешает, и никто не слыхал, чтоб пчелы

между собой воевали из-за цветов. Отец Петр в поученьях все пчел приводит в пример да еще муравьев. Учит любить врагов... У боярина Стриги нет к половцам ни злобы, ни ненависти. Было, изжилось. Изжившись — забылось. Со злобой в сердце легко убивать, но трудно жить. Стрига не любит великого князя Святополка Изяславича, сильно не любит. Сколько в нелюбви ненависти и злобы, кто взвесит? Попади Святополк Стриге в руки, что он сделает с ним? Убьет? Нет. Мучить будет, издеваться, поминать пленнику? Нет. Так что зто? Любовь ко врагу? Нет. Сколько нитей в человеческом сердце, кто их распутает... Потому-то и любят все говорить — бог знает, бог ведает. Будто легче становится.

Вот и стал слышен первый рог. И тут же, как ждали его, матерой кабан с ходу едва на людей не набежал — на глазах бурой тушей проломился и дальше пошел. И опять рог слышно, и опять. Но далеко, у Сулы. Кабаний овраг выходит к реке широким трехверстным устьем. Он почти доверху зарос лесом, хороший дом для зверья. Половцы поняли, что русские ходят охотой, охватив нижнюю часть оврага. Спали половцы в прохладе, теперь проснулись. А вот что они думают? Овражные берега круты, зверь вылезет, пеший выберется, конному хода нет. Конная тропа здесь одна, половцы по ней спустились в конце ночи, зная дорогу, чтоб в следующую ночь попытать удачи — пошарить по левому берегу, захватить людей, сколько придется, а потом взять табун лошадей — и обратно. С половцами мир еще один, сколько десятков их было, мало кто считал. Мир им не мешает. Людей, кто останется жив, отдадут за выкуп, а лошади им самим нужны. Травы в степи хватает, за лошадью половец не ходит, только пасет, труд малый и — не свой. Заставляют рабов, нанимают своих победнее, платят теми же лошадьми.

Не знает боярин, как решат половцы, но что всполошились они, что слушают, что отошли в верх оврага — знает. В чаще верхом не поездишь. Половцы не станут ловить охотников. Только бы охотники сами не горячились.

Не быстро время шло, а сейчас и совсем замедлилось. Опять звучат рога, ближе. Половцы не могут сами прожить, к своему им нужно добавлять взятое у других. Таковы же были хозары, таковы же печенеги — все они одинаковы. К малому своему им нужно добавить побольше чужого, они не воюют, а грабят. Такими половцев видит

каждый из русских. Вражда вековечная со Степью. Редко кто, подобно боярину, никого не оправдывая, понимает иное, потому что судит без злобы: повсюду воюют для добычи, и нет иной войны.

Так, значит, спрашивает себя боярин, песню мою о враге, который живет на востоке, где солнце встает ото сна, можно спеть и на другой лад: живет мой враг на заходе, где солнце ложится для сна?

Словами — можно, но смыслом — нельзя, заблудишься, правую руку от левой не отличишь. Не Русь шла на хозар, на печенегов, на половцев. Они шли на Русь. Прав обороняющий свое поле. А ведь древний спор... И вспоминается боярину читанное в старинном греческом списке о войнах, составленном Прокопием, легистом и ритором: тот виновен, кто замышляет войну, кто готовится напасть. И коль его упредят, коль обреченный на жертву сам нападет первым, вина все же на том, кто первый замыслил. Беспокойна человеческая совесть, в ком она не погасла, тот ищет себе оправданья, а другим — объяснений, пусть и не судьи они. Еще вспоминаются слова, записанные древнейшим, чем Прокопий, составителем. Будто бы спартанский законодатель Ликург завещал спартанцам не воевать все время с одними и теми же городами, дабы не обучать их войне. Спартанцы воевали будто для игры. Было ли такое время, или придумал его составитель рассказа? Скрыл в хитроумии выдумки некую истину, поученье?

Вот и в третий раз стали слышны рога, близко, не более версты. Половцы еще ближе и готовятся уходить. Биться в овраге им нельзя, стрелять не станешь в чаще, да и не к чему. Они понимают — коль найдут, то близок станет конец ихний. Им остается — выходить в степь и укрываться до ночи в траве.

Стрига поднял руку и потряс ладонью над собой. Затем, вставив левую ногу в стремя, хлопнул рукой по седлу и, прихватив лошадиную гривку, поднялся, расправляя поводья. Вовремя! Как связанные веревкой, половцы змеей ползли на выходе из оврага. И каждый сжался, уткнувшись носом в гриву, чтоб не видать было издали. В низких шлемах, черненных смолой, чтоб не блестели на солнце, в коричнево-рыжих кафтанах, над горбом выгнутой спины торчит лук — тетива уже натянута — и пониже пук пестрых перьев, это концы стрел, затянутых горловиной колчана. И хоть бы один оглянулся! Табунщики сочли верно — будет конных десятка два, всех боярин счесть не

успел — передние уходили за малый курганчик, насыпанный в голове оврага, втянулись за бугор последние, и будто бы не было ничего, никого.

Разномастные степные скакуны позволили половцам бурно оторваться от погони. Боярин Стрига вел своих ровно. Преследуемые знали место так же хорошо, как преследователи. Курганы помогали определить, как выйти к одному из бродов Псла либо местам реки, где легка переправа. У Псла русские могли встретиться с неожиданностями, если эта кучка половцев шла в передовых сторожах-разведчиках. Но боярин, доверяя чутью, считал, что все половцы здесь — это было не нападенье, а наезд.

Русские кони темнели от пота, а половецкие заметно сбавили ход. Разрыв сокращался. Хороших кровей, пылкая, резвая, половецкая лошадь уступала в выносливости. Русские кони подкармливались овсом и ячменем, половецкие знали только траву. Так же как и дикие кони, половецкие были ненадежны в длинной скачке, в тяжелой работе. Половцы перешли в шаг, давая коням отдохнуть. Когда Стрига был почти на полет стрелы, половцы припустили и вновь бурно оторвались. Кто не знал, тот подумал бы — вот и окончена погоня. Подобно птице, которая поначалу отлетает недалеко, но, убедившись в упорстве преследователя, берет высоту, чтоб исчезнуть из глаз, половцы скроются в зеленой дали. Нет, проскакав версты две, степняки опять пошли шагом. Не уйдут. Судя по знанью мест, это не половецкий молодняк, вздумавший показать свою удаль. А коль так, то поняли уже, что русские гонятся не на случайных, выхваченных из табунов лошадях, но на воинских, и встреча готовилась не злой волей судьбы, а злым человеческим разумом. Не спутаешь следа, русские гонят навзрячь.

Половцы все более растягивались: как люди, так и лошади разносильны, и надобно особенное что-то, чтобы узнать полную меру силы. Ибо лошади, как люди, имеют разное мужество, разный пыл, и храбры они, и щедры они тоже по-разному. Иной конь, как человек, весь отдается порыву, до последнего толчка напряженного сердца, и умирает на последнем скачке. Другой себя бережет, но сберегает ли?.. И для чего бережет? Чтобы живодер, оглушив обухом, вскрыл ножом жилы, чтобы шкура послужила кому-то? Эх поле, эх жизнь! Кто скажет смертному такое слово, чтобы оно каждому

в душу прошло, как входит в тело половецкая стрела?

Далеко оттянул от своих задний половец. Уже видно, как ходят у него локти, как он горячит лошадь пятками. Плеть, видать, потерял. Шагов триста до него, стало уже двести, уменьшается просвет. Издали покажется, что он не отсталый из беглецов, а старший в погоне. Раз оглянулся половец, два оглянулся, соображая, и видно было, как взялся он освободить лук из налучья, но передумал. Сделал что-то, и хоть не разберешь, но думается, что стал колоть лошадь ножом, доставая из конской души последние силы. Миг еще, но прожить бы!

Все так же трепещут крыльями ястреба над высокой травой, в трудной, привычной и надоевшей работе,— не часто им достается добыча, день-деньской надо им биться за свой кусок. Без радости запустив наконец-то когти в горячий комочек мышиного тельца, машет ястреб мягкими крыльями, устало выбирая, где бы усесться, чтобы не отняли грубой силой иль хитростью нечаянного нападенья. Курганов много, разные они, и птица выбирает простой, островерхий — чью-то могилу.

И отсталый половец, уклонившись от следа своих, тоже скачет к кургану, надеясь, что русские не станут гоняться за одиночкой. Почти сразу половецкая лошадь упала — не задохнулась она, а попала передней ногой в сурчину — дыру, куда норится байбак-сурок, и всадник полетел через голову. Тут же кто-то с гиком опередил боярина Стригу, и тот по заячьему скоку коня узнал парнятабунщика. Пегий показал, что есть у парня глаз выбирать лошадей под верх. Навстречу ему половец поднялся над травой с напруженным луком. Полетела стрела или нет, но пегий сбил половца грудью, а парень, тут же развернув назад, свесился с седла. Пегий вздыбился, задрав голову, а парень с гиком быстро-быстро махал клинком, будто траву рубил, как малое дитя. Махнув в последний раз, парень избочился в седле и ловил ножны концом меча. И все не мог поймать...

Отказавшись от надежды уйти, половцы, которым русские уже наседали на хвост, повернули круто к солнцу. Там плосковерхий курган торчал невысокой стенкой. Достигнув его, половцы будто провалились сквозь землю.

На степных пустошах между Днепром и Сулой, между Сулой и Ворсклой и за Ворсклой к Донцу, Дону и Волге редки места, откуда не видать было бы курганов. Есть старые громады, расплывшиеся под неустанной заботою туч и ветров. О таких сказывают, что древнейший

богатырь там лежит либо некий властитель велел войску насыпать шапками. Может быть, и правда. Молодые люди охотно отвергают преданья, бывалые же знают, что много случается в жизни такого, чего никому не придумать. Ребячья доверчивость щедрее скупого неверия взрослых.

Есть курганы помоложе, дедовские, тех лет, когда русские сжигали мертвых и высоко закрывали пепел землей, чтоб прах не осквернялся. Другие курганы ставились для наблюденья за Степью. Иной раз и теперь на них жгут костры, оповещая о половецких набегах. Стоят и земляные крепостцы, издали те же курганы. Насыпают вал очертаньем, как конская подкова, выбирая землю изнутри. Снаружи стенка крута, изнутри полога, во внутреннем углубленье зимой и после летних ливней держится вода, можно напоить лошадь и самому испить при крайности. В такой курган сели половцы. И тут же выслали наверх глядеть. И луки готовят.

Солнце встало на половину дня, тени нет и для половцев. Хорошие дожди с грозами прошли днями, в земляной подкове быть воде, и сейчас половцы припускают коней пить. Травяного коня можно выпаивать и горячим, а овсяного нельзя — запалит жажду и заболеет. Скоро половецкие кони отдохнут. Решатся половцы вырваться? Может быть, хотя сшибок грудь с грудью они не любят, стрелами здесь им не поиграть. Луки есть и у русских, наши половцев постреляют на выходе из горла подковы.

В прошлом, помнится, году боярин Стрига посылал почистить несколько охранных курганов. Поэтому здесь лицо вала круто, подрезано заступами — не влезешь, а с двухсаженной высоты лошадь не спустишь. Человек же может соскочить. Чтобы не получилось осечки, Стрига послал четверых следить с другой стороны. В высокой траве любой уползет, без гончих собак не найдешь.

Слезши с седла, Стрига взял лук и долго примерялся глазами, поднимал, опускал и, растянув тетиву до уха, пустил стрелу вверх, метясь в солнце. Казалось, медленно-медленно уходила в небо стрела, однако же уменьшалась быстро. И вверху, потеряв силу, легла набок, завершая крутую дугу, приостановилась и — ринулась вниз. Идет, идет! Все ускоряя, мчалась вниз железным острием и — скрылась! Попал! Сюда, на три сотни шагов, донесся лошадиный визг, лошадь дико вырвалась наружу между концами земляной подковы. От страха и боли метнулась

прямо к русским, и кто-то, размотав аркан, успел набросить петлю на шею нежданной добыче. Стрела, глубоко уйдя в мясо, торчала из крупа — заживет.

— Вот так, друзья,— обратился к своим боярин,— войско нормандского Гийома сделало много вреда войску короля Гарольда, отца жены нашего князя. Стало оно за палисадами в лагере близ Гастингса и крепко билось. Такой вверх брошенной стрелой самому королю выбили глаз. В тех странах тоже стреляют тяжелыми стрелами, как наши.

— Да,— сказал Симон,— мы здесь, в степи, стоим перед половцами, ты же сумел нить протянуть в Англию. А ведь туда пути будет три месяца...

— Так попробуем еще вместе,— предложил боярин.— Кто вызывается? — Но боярин отобрал пятерых. Остальным сказал: — Повремените, ленитесь вы в свободный час заняться воинским делом. В поле же учиться поздно, зря стрелы разбросаете.

Шесть стрел ушли к солнцу и будто бы стайкой упали на головы половцев, но те на этот раз ничем себя не выдали. Повторили еще и еще. В земляной подкове тесно. Половцы догадались прикрыть головы щитами, но лошадей укрыть нечем, тесно там, тошно и нудно стоять, ожидая острожалых гостинцев. Подрезанные снаружи стенки голы, поверху же вала стоит трава меховой шапкой. Там можно спрятаться лежа, там лежат, наблюдая. Плохо стало лежать: жди стрелу не в голову, так в спину, спину прикрыл — в шею ударят. Да и в ногу невелика радость принять стрелу. Конники ездят с круглыми щитами — лицо и туловище прикрыть, с длинным щитом, которым закрывается пеший, верхом не поездишь.

— Проняло! — крикнул Симон.

На земляном валу, выросши из травы, торчал человек, разводя руки, будто для объятий. Один за одним половцы выезжали из курганного вала, как из подземелья или из-под кручи: сначала голова, за ней всадник вырастал над травой. Четверо. Русские, развернувшись, стали вправо и влево от боярина. Оставив спутников в сотне шагов, передний половец бойкой рысцой подъехал к боярину. Половец широко улыбался, будто встретил друга.

— Здравствуй, боярин Длинный Ус! — Он чисто выговаривал русские слова.— Ехал я к тебе гостем, а ты погнал меня, будто волка. Ай-ай!

— А чего же ты, хан, прятался, будто волк? — возразил Стрига.— Гостю положено ехать открыто.

— Поздно выехал, поздно приехал,— все с улыбкой объяснял половец.— Ночью нельзя гостю приходить, а? Пустился я в лесу ночевать. Твои охотники стали зверя гонять, я ушел — зачем охотникам мешать? А ты в засаде сидишь, я испугался, хотел домой уйти, ты не дал.

— Пусто тебе с пустыми речами, хан Долдюк, а по-нашему — Рваное Ухо,— прервал Стрига.— Мир между нами, ты мир нарушил. Слезай с коня, своим скажи, чтоб сдавались. Иначе ни один из вас живой не уйдет. Давай я сам тебе руки свяжу, чтоб с пути удрал ты не волком, а зайцем.

Будто бы ничего смешней не мог сказать боярин. Долдюк, зашедшись смехом, даже за бока взялся:

— Шутишь, ой шутишь! Сам говоришь — мир, а меня вязать вздумал! Слушай!

Смеха как не было. Долдюк выпрямился. Скуластое лицо в редкой бородке разгладилось, вместо щелок жестко глянули серо-зеленые глаза.

— Я в мире не клялся,— сказал хан.— Большие ханы с твоими князьями о мире говорили. Мой улус молчал. Ты меня изловил, а я тебя не боюсь. Не хочешь добром отпустить — биться будем. Побьешь ты нас, мы и твоих жизней возьмем. Хочешь, решим один на один? Я тебя одолею, они,— хан указал на русских,— мои будут. Ты меня свалишь — возьмешь всех моих, на веревке погонишь к себе.

— Вот ты и заговорил по-своему,— ответил боярин.— Всяк зверь шерстью линяет, норов не меняет. Бой приму. Но богатой ты просишь себе доли в чужом месте. Одолеешь — возьмешь себе с моего тела доспех и оружие, а тебя и твоих мои добром отпустят. Я одолею — всех твоих возьму. Не согласен, иди, прячься в курган, буду силой брать.

Не дожидаясь ответа, Стрига крикнул долдюковым провожатым:

— Слыхали? Поняли, чего я хочу?

Те в ответ закивали головами, прикладывая руки к груди: поняли и согласны.

— И еще тебе, как гостю, почет окажу,— сказал Стрига.— Мой конь твоего коня выше и сильней, будем пешими спорить.

Хан Долдюк косо усмехнулся:

— Щедро даришь, боярин. Сам о том хотел тебя просить. Далеко ты видишь, мысль видишь.

Чтоб не мешала высокая трава, посекли дикие колосья и подвытоптали малую лужайку, шагов десять длины и чуть поменьше ширины.

Два края у лужаечки — русский, на нем стал боярин, у него за спиной свои конники, а еще Сула течет и крепость Кснятин стоит; на другой стороне — Долдюк, за ним трое его половцев, дальше курган; на земляной подкове торчит, не скрываясь, с дюжину одноулусников ханских, все лицами сюда глядят. За ними река Псел, река Ворскла и степь половецкая.

Приказав своим, чтобы не на бой глазели, а смотрели б за половцами, чтоб они из кургана не вздумали бежать, боярин Стрига шагнул вперед, и, ни в чем не уступая, Долдюк тоже шаг сделал.

Русский ростом длиннее, зато половец кажется телом тяжелей, шире. Хотя на глаз трудно смерить. На обоих бойцах надеты из кованых колец рубахи-кольчуги, а под железом из двойной либо тройной кожи другие рубахи, подбитые льняной прядью — иначе доспех почти ни к чему: от удара сломается кость. От толщины подкольчужного кафтана зависит на глаз и сила бойца.

Прибавляет русскому роста и островерхий шлем — у половца железная шапка ниже. Зато щиты у обоих размером одинаковы, одинаково круглые, как с гончарного круга, толсто окованные по краю, густо покрытые железными бляхами. На русском щите средняя бляха с длинным и толстым острием, на половецком — острие покороче и оттого кажется крепче.

Еще шаг и еще. Сошлись. Ждут чего-то. Нет, ждать обоим нечего и не от кого, только от себя. Сверху будто бы наметился рубить половец, а ударил наискось снизу, тяжелая сабля метит в колено русского, а голову половец прячет под щит. Встретила сабля меч, железо лязгнуло о железо, и заметались оба клинка, как змеиные жала. Легко и вертко прыгает, отступает, наступает половец, видно, у него под кольчугой прячется больше мускулов, чем льняной набивки. Справа, слева, сверху, сверху, сверху бьет раз за разом без передышки, железо стучит, гремит, и — звонко-глухой удар по щиту, и боярин делает шаг, наступая, потому что половец ошибся и выщербил саблю о край щита, а может быть, на сабле вырубил кусок и меч при отбиве, никто не видал ведь, но быстрее и быстрее движется половец, а русский переступает и теснит половца на его сторону, и что-то отрывисто-резко кричит по-своему один из ханских провожатых.

Малая, малая лужаечка в степи велика, как вся степь, и еще шире она, чем степь, ибо степь легко пересечь от края до края, за одно лето пройти ее можно, а на такую лужайку жизнь кладут; тесно в степи, хоть много дней можно идти, не видав чужого огня, тесно — все кончается на лужайке в десять шагов; чтобы ее прошагать, нужна целая жизнь, и праздными здесь кажутся размышления о необъемлемом мире, ибо весь мир помещен на острие меча, копья, сабли, ножа, на остром жале стрелы. Говоришь, много ль места они занимают?! Обманывает тебя глаз — на них места хватает для тьмы тысяч жизней.

Сказано, в поте лица своего должен свой хлеб добывать человек за грех праотца всех людей. Верно сказано, и плох тот человек, которому никогда не заливал пот очей на тяжелой работе, кто не знает, как пот ест глаза, кто не отмахивался головой от пота, будто лошадь от мух, не имея мгновенья отнять руки, чтоб отереть лицо.

А вот руки, ладони не потеют или мало потеют, иначе бы не удержать человеку ни плуга, ни меча, ни орудий, ни оружия и пропал бы он без следа.

Солнце светит сверху и с юга — поперек лужаечки. Тигром прыгает Долдюк, уже не раз переменились местами бойцы, а смерть спит, утомилась, наверное, от сотворения мира собирая богатые жатвы в извечной борьбе между лесом и степью, плугом и кибиткой, мечом и саблей. Нет спокойного дня для нее, нет спокойного часа. Нынче она прилегла было на полуденный сон в тени старого кургана. Стучит железо, звенит железо — то не косарь точит косу, не молот тешится над наковальней. В жаркий час спят косарь и кузнец. Нет отдыха смерти. Поднялась и пошла, не сминая травы, никому не мешая, явилась и смотрит то одному, то другому в глаза, бесстрастна, послушна кому-то, чему-то. Ей все равно, кого взять, хоть обоих. Она — закон безжалостный, но не злой: вопреки клевете, никого не любя, никому она не отказала и в помощи.

На пряный запах распаленного тела слетелись мухи и черным роем жужжат на лужайке, вместе с потом лезут бойцам в глаза. Долдюк, отскакивая, опускает щит. Концом сабли он рассек щеку боярина. За удачу пришлось Долдюку открыться, и он сам получил удар по левому плечу. Доспех остался цел, но рука онемела, нет в ней силы, и щит сделался ненужной помехой, бросить бы его — не слушается.

Не страшно Долдюку, ярость душит, смело ждет он

боярина — не пощады, пощады не бывает. И сказал, как плюнул желчью:

— Жену твою хотел поймать, она бы мне кизяк собирала, а я ее бы брюхатил!

Звякнуло железо раз, другой, а смерть, повинуясь приказу, сделалась легкой, как дыханье, и, севши на меч, коснулась половецкого тела.

В переметных сумах у седла нашлось чистое полотенце перевязать боярскую щеку. Стащили с него кольчугу, освободили от кожаного подкольчужного кафтана, который как в воде лежал, сняли мокрую рубаху, и стоял боярин белый, будто вся кровь утекла из пустой царапины на щеке, глядел, как по одному выезжали из кургана половцы, оставив оружие. Им вязали руки за спину, поводья одной лошади привязывали к хвосту другой и в три нитки погнали пленников рысцой по следу.

Одного половца постигла в кургане смерть от стрелы, которая пала с неба в шею между щитом, прикрывавшим его спину, и краем шлема. Двое половцев были ранены, одна лошадь убита и три покалечены стрелами.

Заметив парня-табунщика, боярин погрозил ему: своевольничаешь! Парень мотнул головой и дерзко ответил:

— Половец моего отца застрелил!

— Где?

— У Лубен.

— Что ж ты сюда пришел?

— У меня там нет никого, а здесь дядя.

— Хочешь ко мне?

— Пойду.

— Но, гляди, слушаться заставлю.

Степь клонилась к долине Сулы, стали видны леса как зеленые заставы. Вот проглянули озера, бывшие русла, в камышовых ожерельях, вспыхнул желтый песок, и открылась серебряная Сула, извилистая, как нарочно перевитая лента. И свежестью пахнуло. Сосны на песках, березки нежатся, будто и не был ты в степи.

Людно перед Кснятином, но не слишком. С дороги Стрига послал сказать, что пойманы половцы. Люди, спешно бежавшие в крепость, бросив все в миг набата, также спешили вернуться: кто вспоминал непотушенный очаг в летней избе, кто — брошенную скотину, кто — дерево, дорубленное до половины, кто — найденную пчелиную борть в дупле, с сотами, полными молодого меда первого весеннего взятка.

На звоннице весело заливались два малых колокола-подголоска от ловкой руки церковного служки. Перед воротами крепости маячило злато-серебряное пятно. Отец Петр в полном облачении вышел встречать.

Стеснившись двумя крыльями перед мостом, кснятинцы молча проводили глазами пленных половцев, которые устало сгорбившись, повеся буйные головы, еле держались на утомленных конях: трудно ехать с руками, скрученными за спиной.

А потом, слившись, пошли своим навстречу, славя храброго боярина, славя дружину, а больше славя своих — от радости, что все вернулись,— встречали женщины, дети, мужчин же было немного, так как большая их часть отправилась двумя конными отрядами в Степь, на подмогу.

Статная женщина, повязанная косынкой алого шелка, в шелковом платье, с густым ожерельем из синих бусин, смешанных с золотыми, шла навстречу боярину. Завидев ее, Стрига спустился с седла, и жена, закинув мужу руки на шею, прижалась головой к груди. Ничего не спрашивая, шла она рядом с боярином, а конь сам следовал за хозяином, по привычке.

Священник благословил Стригу и дал поцеловать крест, теми же словами встретил он, называя по имени, каждого воина. Только молодого парня на пегом коне он спросил: «Звать как?» — «Острожко».— «А по-крещеному как?» — «Евтих».— «Запамятовал я тебя... Ты что же, бился, Евтих?» — «Бился, батюшка».— «Сильно поранили тебя?» — спросил отец Петр, указывая на заскорузлый от крови бок пестрядинного кафтана, и нужен был острый взгляд, чтобы заметить кровь на перепачканной, затасканной лопотине. «Шкуру половец поцарапал».— «А ты?» — «Я его засек». Отец Петр покачал головой: «Рано кровь начинают лить, рано». Так же дерзко, как боярину, Острожко ответил: «Он моего отца застрелил, я всех половцев буду сечь, пока самого меня не ссекут».

Дом у боярина в два яруса, наверху светелка размером три сажени на четыре, внизу пять комнат, считая и зимнюю кухню, да еще кладовые. Изнутри в светелку ведет лестница, приложенная к задней, глухой, стенке.

Крыльцо у дома высокое — побольше, чем в рост самого хозяина, под шатровой крышей с низкими свесами, чтоб дождь не забивал, а под крыльцом, снаружи, справа, простая дощатая дверь на простой щеколде. За дверью высокий порог и вниз ведут крутые, высокие ступеньки.

Внизу — комнатка с двумя узкими дверями. Двери из брусьев, окованные железными полосами внахлестку, с железными засовами, с висячими замками по полупуду. За каждой дверью — погреб, подземелье или поруб, иначе сказать — тюрьма, темница. Две их, так и называют — правая и левая. В темницах по одной стороне установлены сплошные нары, другая свободна, чтобы было где ноги размять. Стены рублены из толстых бревен дубовых из-за того, что дуб к сырости стоек, вверху четыре окошка, забранных частой решеткой, но ветру решетки нипочем, не как человеку, и он по темнице свободно гуляет, поэтому в ней сухо. Не к чему пленников гноить, пленники — товар, и тюрьма — тот же склад.

Может быть, где-то, за тридевять земель, в тридесятом царстве, порядки другие, но русским такие порядки неизвестны. На том краю земли, у Восточного моря, торгуют пленниками, а своих продают за проступки, за долги. Также и на западном краю, у Моря Мрака, по всем странам и берегам, где живут франки, мавры. В Англии французы-завоеватели торгуют англами и саксами, как скотиной, без всякой вины, по закону и по праву меча. Греки-византийцы торгуют всеми пленниками, перепродают любого. Турки повсюду хватают людей. Арабы ходят на дальний юг, в пустыни и дикие леса и захватывают черных людей, и черных рабов можно найти в Константинополе. Половцы хватают русских, германцы ловят литву, жмудь, поляков. Русские чаще селят пленных, но не брезгуют и торговлей. В Киеве иноземные купцы — греки, иудеи, арабы — не отказываются от людского товара.

Елена, жена боярина, чтоб не изнывать тоской и беду не накликать преждевременными слезами, озаботилась баню истопить. В этот день, пока Стрига с половцами воевал, приехали из Переяславля друзья, два лекаря: один — иудей Соломон, другой — русский Парфентий. Вовремя пришлось. Люди ученые рану на щеке Стриги промыли настоями трав и сшили разрез шелковой ниткой — через неделю срастется. Они же лечили бок молодого парня Острожки. Половецкая стрела прошла под кожей по ребрам, а парень прибавил рваного мяса, вырывая стрелу. Но не поморщился, когда лекаря и мыли, и шили. В просторной бане было многолюдно — сам боярин, гости, дружинка боярская; там же, отдыхая, пили мед, брагу, пиво в ожиданье большого стола. Но из бани Стрига пошел к пленным в поруб, чтобы покончить с делом.

С ним пошел и Симон. Оконца давали мало света, и боярский закуп держал толстую восковую свечу.

Половцы сидели, поджав ноги, на нарах. Зашевелились, кто встал на колени, кто спустил ноги. В углу стояла кадь с водой, в которой плавал ковш, остро пахло немытым мужским телом, кожей, шерстью.

— Хорошо у меня жить? — спросил боярин.

— Ой, плохо, плохо! — ответил ему чей-то голос.

— Встань, подойди ближе,— приказал боярин.

С нар легко соскочил крепкий мужчина. Закуп поднял свечу — половцу было от роду лет тридцать. На русский глаз он чем-то напоминал Долдюка.

— Ты родственник ханский? — спросил боярин.

— Нет, боярин,— отказался половец.— Род один, улус один.

— Кто у вас еще по-русски понимает? Иди все вперед! — приказал боярин.

К первому вылезли еще трое.

— Слушайте,— сказал боярин.— Томить долго я вас не буду. Через день отвезу в Киев. Там цены хорошие дают за рабов. Продам арабу, русскому, иудею, все равно. Вас отвезут к грекам. Греки найдут вам место подальше. В Египет, на острова, либо италийцам продадут. Мучить я вас не буду, и томиться вам долго не придется.

Как сломанные, четверо половцев упали на колени.

— Прости, боярин, не продавай, выкуп за себя дадим! — заголосили они наперебой.

— Выкуп! Потом придете ко мне выкуп назад брать?!

— Нет, не придем, не придем, клятву дадим, чтоб нам степи не видеть, ни солнца не видеть, живыми в землю лечь!

— Нет, не верю вам. Ваш хан два раза клялся, мир принимал. Яблочко от яблоньки недалеко падает. Будет, как сказал,— отмахнулся боярин и шагнул к двери, в которой, для порядка, стояли двое дружинников с короткими булавами.

Половцы разноголосо кричали по-своему. Первый, начавший разговор, цепко поймал Стригу за край длинной рубахи:

— Хороший выкуп даю, большой выкуп!

— Какой? — спросил боярин.

— Сто золотых дирхемов даю,— ответил половец.

— Да ты богат,— сказал боярин.— Дашь двести дирхемов, или тебя продадут в Константинополь.

— Столько у меня нет! — жалким голосом закричал половец.

— Лошади есть, бараны есть, коровы есть, жены есть — все продай. Ты сколько за меня взял бы?

— Ты большой хан,— возразил половец.— С тебя мало взять — для тебя стыдно будет.

— Я не хан, я из князевой старшей дружины, боярин я, у меня дирхемов нет. Будешь платить? Или не видеть тебе степи, не нюхать больше полыни.

— Боярин, головами с меня возьми, пленников дам.

— Пленники дешевы,— сказал боярин, отступая перед половцем, который, стоя на коленях, хватал Стригу за ноги.— И какие у тебя пленники?!

— Хорошие, сильные, молодые есть, девки есть, бабы есть.

— Девок ты, волчья кровь, перепортил, молодых голодом заморил. И откуда у тебя пленники?

— Хан Долдюк под Рязань ходил.

— И сколько дашь пленников?

— Двадцать дам.

— По десять дирхемов считаешь! — яростно закричал боярин, отбрасывая половца ногой.— Зря я на тебя время трачу, пес ты! Тебе не воевать, а баранов пасти!

Половцы закричали все разом по-своему, по-русски. Не слушая, боярин вышел, и провожатые затянули тяжелую дверь. Поруб гудел за дверью, будто рой шмелей. Кто-то стучал в дверь, кричал, но уже невнятно — толстые доски гасили голос.

В просторных сенях, освещенных заходящим солнцем, боярина встретили доспехи Долдюка. Умелой рукой на крестовине была распялена половецкая кольчуга, удерживаемая, как на человеке, подкольчужным кожаным кафтаном. Снизу — кожаные штаны с нашитыми спереди железными полосами и сапоги из красного сафьяна. Сверху — низкий шлем, чуть надрубленный справа, соскользнув откуда, меч Стриги освободил хана Долдюка от жизни, а боярина — от врага.

За столом Стрига рассказывал, обращаясь к гостям, как положено, и поглядывая на жену, которая села в нижнем конце стола, где было ей удобней следить за порядком:

— С хан Долдюком мы были старые знакомцы. Впервые встретились с ним мы давно, в день несчастного боя на Альте. Был тогда Долдюк лет двадцати с неболь-

шим от роду, а я уже зрелым мужем, усы были такие же,— усмехнулся Стрига.— Я Долдюка срубил, как думалось. Потом оказалось, что я ему только ухо рассек и в плечо ранил. От того дня и прозвище его пошло — Рваное Ухо. Тому назад лет пять он здесь гостил день проездом, когда все ближние ханы ездили мир покупать у Святополка Изяславича. Напомнил он мне о старой встрече сегодня в сшибке. Злой, злобный. Сказал, Елена, что хотел тебя взять. И я поверил.

Стефан, старший подручный боярина, сказал:

— Слыхать было, как он тебе говорил. Но что — не расслышали мы.

— Он хотел меня обидеть, чтобы я в гнев пришел. И обидел...

— Нужна я ему, старуха,— подала голос боярыня.

И все взглянули на нее, и никто не возразил, ибо не полагается, по русскому обычаю, чужую жену в глаза да при муже славить. Елене тридцать лет, темно-русая, сероглазая, на ясном лице нет ни одной морщинки, только сейчас в гневе брови сдвинулись и меж ними врезались две складки. В тонких пальцах держит платочек. Не думая, рванула, и с треском разорвалась нежная ткань.

Задумавшись, Стрига опустил голову, и концы усов легли на грудь рубахи, вышитой красными нитками. Такие усы у него одного — по старинному обычаю. Ныне все с бородами, подстриженными, или, как принято говорить, подщипанными. Седины много в усах и на голове боярина, и кажется он сейчас вышедшим из старого времени былого Святослава или первого Владимира. И серьги у него в одном ухе тоже по-старинному, ныне так не ходят мужчины.

— Вот так,— опомнился Стрига.— Не легко мне пришлось с Долдюком. Силы у него не меньше, моложе он меня лет на двадцать, коль не более. Уж очень я был ему ненавистен, слишком был он злобен, спешил, кровь мою хотел поскорее увидеть, и сам растратился... Я же был спокоен и дрался на своем месте. Вот и сказке конец, дорогие гости.

Двое слуг вносят разварную белужину на деревянном блюде такой длины, что одному не унести — руки коротки. Третий тащит серебряную миску, полную икры. Свежая икорка, сегодня вынута, промыта и в меру посолена самой хозяйкой. Кто понимает — нет ничего вкуснее икры, но вкус ее — от соли. Несоленую икру собака голодная есть будет, человек же в рот не возьмет.

Лекарь Соломон отказался от икры — закон Моисея не позволяет есть икру, ибо в каждой икринке заключена целая жизнь. Соломон был в русском платье, только стрижен не по-русски. На висках отпущены длинные пряди волос, а сама голова покрыта черной ермолкой — Соломон лыс, ему уже давно бог лба прибавил. Это человек, известный и в Киеве, и в Чернигове, и в Переяславле. Лечит он раны, переломы, и от его лечения кости становятся как были, а от ран остаются малые рубцы. Знает Соломон и травы, хорошо пользует от боли в сердце, от головной боли, даже женщинам помогает в трудных родах, и многие матери обязаны ему жизнью своей и детской.

Впервые прославился он, когда жена князя Изяслава Ярославича не могла разрешиться князем Святополком, и нынешний великий князь киевский ему обязан жизнью. Лекаря повсюду любили, как доброго человека. За труд брал он немного и отказывался, когда иной от радости хотел ему лишнее дать; сам же всем помогал, не рядясь о деньгах, и неимущему мог сам помочь не только наукой своей, но и деньгами. За то слыл бессребреником и по давности жизни своей среди русских был всем известен так, что встречал друзей везде, стоило ему лишь назваться. Любил Соломон ездить, повсюду оказывая помощь, для того он и в Кснятин приехал вместе с русским другом своим, тоже лекарем, ровесником, Жданом по русскому имени, в крещении — Парфентий.

— Сильно ограничивает Моисеев закон,— заметил отец Петр.— Белуга поймана не для икры, оказалась с икрою. Что ж? Бросать, что ли, добро? В Евангелии сказано: не в уста, а из уст. Телятину есть грешно, с этим согласен. Соломон, Соломон! Имя-то у тебя знаменитое! Святой ты человек во всем, одно в тебе — вера ложная, обряды обременительные у тебя.

— Вера у меня праотеческая,— возразил Соломон.— Мы, иудеи, подвергались многим гонениям за веру. Вера — от совести, от предания, от глубины человеческой души. Однако же бог, разметав нас в страны рассеяния, сохранил народ.

— Да, римляне-язычники жестоко вас гнали, но не за веру. Греки и латиняне воздвигали на вас гонения за веру, став христианами, но начали гонения через пять сотен лет по пришествии Христа. Стало быть, было у вас время избрать себе веру на полной свободе. А что от гонителя, от врага веру, даже истинную, стыдно принимать, в этом ты прав. Но гнали вас не только за веру...

— Отец Петр! — прервал священника боярин.— Прение о вере, коль наш добрый гость захочет, устраивай во время иное. Ныне же мы за столом.

Пора было вмешаться хозяину. Жадный князь киевский Святополк казну набивал с помощью иноземцев, имея советников среди иудеев. Они давние жители Киева,-в Киеве есть улица, ими заселенная, и ближние к ним городские ворота называются Иудейскими, по старому обычаю, как есть в Киеве Ляшские ворота по имени улицы, где живут ляхи — поляки. Боярин Стрига не хотел допустить неприятного разговора об иудейских помощниках князя Святополка. И, чтоб пресечь подобное под корень, добавил:

— Каждый из нас за себя отвечает и перед людьми, и перед богом. Что, отец Петр, не так ли нас Церковь учит? А также отвергает насилие в делах веры!

— Боярин, боярин,— ответил священник,— с тобой не поспоришь, ты ученый человек, хоть в Печерскую лавру игуменом можешь идти. Не сердись, Соломон, прости, если в чем тебе сгрубил. Скучно мне бывает. Боярину не до споров со мной, другие тоже охотнее железом с половцами спорят, у меня язык ржавеет, как заброшенный серп.

Соломон кивнул, улыбаясь, и вдруг поднял палец, призывая к вниманию. Откуда-то донеслась заунывная песня. Все прислушались. Прерывая молчанье, Стрига поднялся.

— Елена, любушка,— позвал он.— Прикажи-ка подать нам греческого вина, выпьем мы за нынешний день. Половцы-то мои запели наконец-то. Стало быть, уладились и меж собою, и со мной. Им невдомек, что я по-половецки понимаю. А Бегунок, что мне светил, и вовсе как половец. Там,— боярин указал вниз,— Долдюков неродной брат сидит. Испугавшись продажи в Константинополь, кто-то грозился его мне выдать. Теперь наменяю на них пленников будто из милости, а ведь скажи им прямо... Что, Бегунок? Придется тебе в Шарукань ехать купцом за пленными нашими.

— Поеду, боярин,— охотно согласился боярский закуп.

— А раненые каковы? — спросил Стрига лекарей.

— Будут живы,— ответил Парфентий,— коль к ранам огневица не прикинется. Четыре дня выждать нужно. У тебя, боярин, порез чистый и кровью омылся обильно, за тебя мы с друг-Соломоном поручаемся перед боярыней.

— А мы с отцом Петром будем молиться о здравии больных половцев,— отозвалась боярыня,— не из ко-

рысти, но потому, что за каждого из них выкупится сколько-то наших из половецкого плена.

— Да, красавица, да, сердце золотое,— вдохновенно сказал Соломон.— Изучаю всю жизнь, от раннего отрочества, болезни тела. Нет болезни тяжелее злобы; дух мятущийся, беспокойный есть болезнь, он тело ослабляет. Человек омраченной души чаще болеет, раньше умирает. Бог благословил древнейшего Соломона мудростью, долгой жизнью и храм разрешил ему построить, ибо Соломон мирно правил, не проливая крови. Давида же, отца Соломонова, бог лишил такого права, ибо Давид много людской крови пролил. Верно сказал нам муж твой сегодня: и в злом деле битвы злоба дурной помощник.

Час поздний, на северо-западе догорает долгая летняя заря, гаснут розово-желтые краски небесных цветов, сменяясь прозрачною бледностью, и бледность эта переселяется к северу. Там, в Новгороде Великом, нынче ночи кратки, зори вечерние целуются с зорями утренними. А в северных новгородских пятйнах на Ваге, Двине и по Белому морю совсем нету темноты. Там ночное небо сияет без звезд, без луны. Там летние дни захватывают владения ночи, оставляя себе из даров побежденной только свежесть.

Разогретые жарким солнцем громады кснятинских валов отдают тепло, как остывающая печь. Небо черное, россыпь звезд так ярка, что, не будь привычки, каждый подивился бы земной темноте, задумавшись, почему не в силах звездные тысячи заменить сияющее око дня, хоть малую его часть. От болота, от сульской долины сочится свежесть вместе с немолчным стоном лягушек-холодянок. Их там, как звезд небесных,— без числа, но они не в силах заглушить заливистый свист соловьев, прячущихся в сочных кустах по Суле. С каждым вечером все меньше становится милых певцов, молчаливое лето зовет их к отдыху после весенних волнений. Но и одного соловья не в силах заглушить лягушачьи мириады.

Успокоив гостей для ночного сна, боярин отправился в обход. Боярыня пошла вместе с мужем, как делает она всегда после дней, наполненных тревогой. Побывали они у западных ворот — их называют Переяславльскими — и у восточных — Половецких, они же и Сульские. Не спрашивая сторожей, боярин сам увидел по канатам, натянутым на вбороты, что мосты через ров подняты. Потом поднялись на вал, обошли кругом за заплотами. Безлюдно на

валах. Мало людей в крепости, и нечего их морить ночными бденьями. Не оклики встречали ночной обход, а тихое ворчанье, тут же смолкавшее. Сторожа сладко спали, полагаясь на собак, приученных к охране. И разбудят, и чужого не пропустят. Крупных псов в Кснятине до полусотни, на валу их дом, вечерами собираются они сюда на кормежку, утром их здесь кормят опять.

Окоем земной пуст от звезд, дальняя мгла встала стеной, закрывая Кснятин. Призрачная стена. Сульская долина не видна, и в ней человек обозначил себя самодельными звездочками костров. Сегодня мало их — поближе три, они кажутся глубоко внизу, и налево, в сторону Римовской крепости, четвертый видится, тлея, как светлячок в лесу. Нынче людей больше обычного вернулось в Кснятин ночевать. Нынче оставшиеся у своих угодий осторожны и не жгут костров. Сам Стрига и боярыня Елена знают: костерки эти видны только им, сверху. Зажжены они во впадинах, скрыто. Пройдет несколько дней, забудется неудавшийся наезд Долдюка, и Кснятин заживет обычной жизнью, не думая о половцах. Смертен человек, а ведь не провожает слезами прожитый день, хоть каждый вечер на малый шаг неустанно ведет каждого к порогу последнего дома земного. Даже радуются, торопят время, ждут лучшего, а не худшего.

— Я несколько раз, ожидая тебя, поднималась на звонницу,— сказала Елена.— Видела, как ты погнался за ними, а потом потеряла. Где же ты догнал их?

— Там,— ответил Стрига, показывая рукой.— Правее Двугорбого кургана. Налево там будет большая Острая могила, а поближе к нам — Близнята.

— Близнят я будто бы различала — дальше же слилось все.

Десятка четыре курганов видны на восток от Кснятина, но только в особенно ясные дни, и то лишь с утра. Большая часть из них бог весть когда крещена, и безымянным ведется счет от имеющих имя. Известны до них и расстояния. Некоторые служат для сторожей, там заготовлено смолье и укрыты от дождя дрова, чтобы днем пустить дым в знак тревоги, ночью — огонь. Сторожей высылают не часто, лишь когда сообщат из княжого Переяславля, что половцы шевелятся, либо когда тревогу в Кснятин привезут гонцы из Лтавы, Голтвы, Лубен. Дальний Донец гонит своих посыльных только в Лтаву.

Через Кснятин ходят разноязычные купцы к половцам, от половцев. Бывают и очень дальние, из-за полов-

цев: турки, арабы, иранцы. Вестей много, много пустых речей. Боярин Стрига научился понимать, весить чужое слово. Пятнадцать лет — срок большой. Князь Владимир Всеволодич спрашивал сам, опасаясь, как бы Стрига не покинул его: «Не соскучился ты? Не хочешь ко мне жить в Переяславль?»

Нет, не соскучился, прижился к месту, как сурок к своим подземным ходам, как бобр к береговой норе. Здесь он первый. Про древнего кесаря Юлия доводилось Стриге читать, будто тот говорил: лучше быть первым в деревне, чем вторым в городе. О ком-то писал римлянин Транквилл Светон: хотели его столкнуть на второе место, чтобы потом совсем свести вниз. На Руси все по-иному. Князья порою толкаются поверху, но никто не задумывается, как там, сбив князя, сесть самому на его место. Нет ярма и на дружине. Старшие ли, младшие ли вольны выбирать князя, место и без крови уходят туда и к тому, кто им кажется лучше. Зависть удовлетворяется не наговорами и заговорами, а переходом. Доброму дружиннику всюду место.

— Было у меня сегодня,— говорила Елена,— будто увидела я что-то... Сердце замерло, села и слушаю, слушаю, жду. И вдруг ты явился мне, улыбка твоя. И сразу нет ничего, и через окно солнце светит, луч лежит у моих ног. Отлегло от души. И приказала баню топить. Вскоре приехали Парфентий с Соломоном. Я их встретила, рассказываю, а сама к себе нет-нет да прислушаюсь: тихо все, покой на душе.

— Ведунья ты моя ненаглядная,— сказал боярин.— Все ты обо мне знаешь всегда.

Бывало так между ними не раз. Ранят Стригу иль смерть близко пройдет, жена знает, больше знает, чем сам Стрига. Ибо смерть в бою проходит рядом, ничем не извещая сражающихся. И потом, слушая жену, Стрига, вспоминая, понимал опасную близость.

— Гляди,— показала вдаль Елена,— там уже не три костра, а один. Пора и нам на покой.

В просторной светлице не жарко. Ночная прохлада успела перелиться через валы, и веет свежестью через открытые оконца, прорубленные в противоположных стенах. В правом от входа углу перед образом богоматери работы киевского мастера Алимпия-богописца теплится огонек в рубиновой лампаде. Икона писана по византий-

ским образцам, поясная. Мать придерживает правой рукой ножки младенца ниже колен, голова у нее чуть повернута влево, к младенцу, облачены оба пышно, а левой рукой мать поддерживает себе голову. Младенец сам собой держится на воздухе. Последнее можно понять, лишь внимательно рассматривая икону: чудо совершено столь естественно, что Стрига сам разглядел его через несколько лет. Однако же Алимпий-богописец не удержался в точном подражании. Лицо богоматери не изможденно-постное, не старообразное, но живое, молодое, здоровое, как у женщины счастливой, удостоившейся великого дара избрания. Нет в глазах скорби, а ласковая забота. Известно, что митрополит Киевский осуждал иконы Алимпия за ложнокрасивость, и было прение в Киеве между митрополитом с его клиром и Алимпием с его друзьями-мастерами. Митрополит ссылался на обычаи вселенской христианской Церкви, богописцы — на Евангелия и апостольские послания: нигде-де не сказано, что богоматерь находилась в страданиях и тоске. Митрополит указывал, будто бы грех изображать ее в радостной плоти, богописцы возражали, что грех будет изображать ее тоскующей и прежде лет старообразной, будто бы ропщущей против воли бога, она же была ликующей. Митрополит жаловался великому князю Всеволоду Ярославичу на непокорство богописцев. Князь Всеволод, выслушав обвиненных, их оправдал, говоря: «У греков так, у нас иначе. Лицезрение богоматери нашего письма способно вызывать у христиан слезы умиления, а не тоски, что будет угоднее богу».

На полу — широкий ковер мягкого дела. Вещь не простая и дорогая вдвойне: в добыче были взяты и ковер, и будущая жена. Елене тогда шел седьмой либо восьмой год. Знала она о себе, что захватили ее половцы вместе с матерью под Рязанью совсем малым ребенком. Вскоре мать умерла. Девочка запомнила из родной речи несколько слов. Возвращаясь в дружине князя Глеба из Тмутаракани, Стрига вместе с другими поднимался на лодьях вверх по Донцу. Зашли в реку Оскол и разорили половецкие вежи близ устья Оскола. Дело случилось поздней осенью, при заморозках. Мстили за нападенье: половцы напали ночью на дружину, когда, спускаясь по Донцу, Стрига с товарищами ночевал на берегу. Ушли от половцев по воде, потеряв и людей, и весь табун, который гнали берегом, и все, что осталось на привале. Теперь же, подкрепив силы тмутараканскими бойцами, половцев избили без поща-

ды, по тмутараканскому правилу: чтоб боялись. Тмутаракань на отшибе, держаться там можно только силой и страхом, и, воюя с ближними соседями, тмутараканцы их мало в плен берут: все равно не удержишь. Тогда освободили несколько десятков своих. Взяли много скота, лошадей. Из прочей добычи Стриге достался этот ковер персидской работы, горсть дирхемов, два серебряных кубка, кое-что из оружия. А девочку он сам подобрал почему-то. Вечером она откуда-то выползла к стану. Он ее накормил из забавы, утром нашел возле себя. Собирались — не отстает девчонка. Бросить на гибель не позволила совесть. Хотел добрым людям оставить в Донце, она вцепилась, как взрослая, и поклялась, что умрет. На пути в Переяславль и вправду чуть не умерла. Ударили ранние, необычные морозы, и девочка выжила лишь в ковре, в который закатывал ее Стрига.

Жена ужаснулась мужниной добыче: кожа да кости, на ногах не стоит. Спешно окрестили маленькую язычницу, чтоб невинная душа за первородный грех в ад не пошла. Нарекли Еленой — по имени жены Стриги, но крестной матерью Елена-старшая быть не захотела. Боялась — священник напугал сомненьями: крестит он-де неразумную, речи не знающую. Стрига напомнил: наших дедов добром крестили? Оба они, духовный и дружинник, род вели из Новгорода Великого.

Елена-маленькая от святой воды к жизни воскресла. У Стриги от жены было двое мальчишек-погодков, с ними, как с братьями, приемка росла, вместе грамоте училась и, надо же, власть взяла, они ее больше слушались, чем мать. Елена-старшая ревновала, наговаривала мужу. Малая же смотрит на Стригу, глаза — как у взрослой. Не открываясь, спрашивал жену: «Глядит она будто бы странно, как думаешь?» — «Мнится тебе что-то, ребенок как ребенок, мне ль не знать!»

Привыкла жена, не ревновала больше. Говорила без шутки: «Ты, маленькая, им как мать». Но называть себя матерью не велела. «Вот тебе мать»,— приказывала она девочке, заставляя целовать няньку мальчишек, крестную мать Елены-меньшой.

Стрига был в дружине князя Святослава Черниговского в годы, когда половцы сделали первый набег на Русь и побили князя Всеволода вместе с киевским князем Изяславом, а сами были истреблены Святославом.

Святослача Ярославича держался Стрига в дни его киевского княженья, когда Изяслав бегал за русской грани-

цей, ища помощи. От Святослава в последний год его киевского княженья Стрига отъехал к Всеволоду, досадуя на скупость, которая прилипла к Святославовой старости. От Всеволода Стрига добром пошел в новую дружину сына его Мономаха, Владимира по княжескому имени. И, первого из всех, кому служил, полюбил молодого князя.

Одному трудно делать. Бревно и то легче поднять вдвоем, а вчетвером — и подавно...

Стрига учился от людей, от русских, греческих, латинских книг, повествующих о государствах и правителях. Князь умеет дружину собрать, в ней выделить больших, умелых умом, а не только мечом, совещаться с боярами, и коль поступать не по их совету, то мудро, чтоб сами советчики соглашались — верно, что нас не послушал,— тогда он и князь. Подневольная 'дружина — не дружина. Хочешь, нанимай удальцов, чтоб смотрели тебе в глаза по-холопьи. У худого князя и дружина худая, у умного — умная и словом, и делом.

Улетел мыслями Стрига, жена вернула домой. Расчесывая на ночь косы, Елена сказала:

— Бывает со мной, снятся густые леса с чистой речкой в белом песке, птичий щебет, поверху ветер струится через вершины, тоже как песня. И тянусь я туда. Хочешь? — И Елена, не вставая от столика, где она глядела в загадочный сумрак едва освещенного зеркала, вдруг вся повернулась к постели.— Хочешь, уйдем отсюда? Где-либо у Владимира Клязьминского либо в верховьях Клязьмы у Дмитрова поищем себе места. Те места хвалят все.

— Что? Бросить наш Кснятин? — Стрига даже сел на постели.— Зачем?

— Затем, что покойно там. Глубинные земли. Ни половцы, никто другой туда не достанет.

— Бросить Кснятин, всех здешних людей?! Я каждого знаю, из кснятинской тысячи каждый знает меня! — Увлекшись, боярин встал — и дремы как не бывало.

— Кснятин пуст не будет, у князя найдется боярин для Кснятина,— спокойно возразила жена, опять повернувшись к зеркалу.

— Не ждал я,— только и нашелся сказать Стрига.

— И я не ждала.

— Чего?

— Услышать твои жалобы на слабость, на старость. Слышать, как ты лжешь на себя.

— Теперь понял я,— сказал боярин, опять улегшись

на широкую постель.— Время идет, любушка моя, время уносит и великих и малых.

— Я не о том,— возразила Елена.— Речи твои не новы мне, спор наш давний, к нему я привыкла. Но не нужно тебе так говорить при чужих, не хочу я, чтоб слух пошел. Слово — как лист. Несет его ветром и треплет так, что не узнаешь, с какого дерева он упал.

— Я при своих говорил.

— От тебя же я не однажды слышала, что чужая душа — потемки. Значит, не уйдем из Кснятина?

— Никогда! — ответил боярин.

Кончая заплетать косу в три свободные пряди, боярыня поднялась со стула без спинки. В ночной рубахе тонкого полотна, достававшей до щиколоток, казалась она очень высокой и стройной, что елка. Тихо, будто нет никого на свете. Немо стоит тишина, как бывает в помянутых Еленой лесах. Но прислушайся — и уловишь слитный лягушачий хор. К нему ухо кснятинцев привыкло до глухоты. А вот и далекий свист запоздалого соловья. Хор холодянок выпевает свое «ууу-у, ууу-у» то выше, то ниже, а соловей выводит трели, рассыпается, щелкает, ждет и вступает опять.

— Что ж он? — спросила Елена.— Ужель свою любушку до сих пор не нашел, или она его бросила?

— Он от счастья,— ответил Стрига.— С тоски так не станет.

В светлице свежий запах полевой мяты и донника с легкой примесью цветущей полыни. Не смешиваясь, сочится, как далекий-далекий зов, как воспоминание, особенный аромат, для которого нет русского названья, ибо цветы эти или растенья живут где-то у индов. Так говорил араб-купец. Это маслянистая янтарная жидкость. Араб отмерял ее каплями, наполняя крохотный, узкий сверху, пузатый внизу горшочек из глины с поливой изнутри и снаружи, чтоб удержать аромат. На вес шести золотых дирхемов пришлось немало: ароматный сок легок, как масло. Елена пользуется им изредка. Араб намекнул, что его снадобье добывают из цветов, которые увеличивают любовь мужчин к женщинам. Может быть. Елене такое не нужно, но запах прекрасен сам по себе. Есть и мазь для рук и лица из воска кашалотов, который привозят новгородские купцы. Смешиваясь с водой, эта мазь входит в кожу сама. Румян для щек и сурьмы для бровей Елена не держит — бог ее одарил и румянцем, и писаными бровями. Муж и так лю-

бил бы ее, но ароматы и нежность кожи нужны ей для себя: сладко ей ходить за собой.

Встав, женщина подошла к иконе, потянувшись, отбросила шелковую завеску, опустилась на колени. Кончив молиться, она оглянулась. Муж уже спал, сон сразил его мгновенно. Елена помолилась и за него. Муж за жену не замолит, а жена за мужа замолит.

Спит. А ей сейчас не уснуть еще. Днем после волнений, когда нечто шепнуло ей: он благополучен, Елена заснула, сберегая себя, заснула так же, как он сейчас,— будто срубило.

Спит. Ее собственный. Мужчина, муж. Уедем отсюда. Жаль будет, здесь вся жизнь, вся, вся. Здесь и могилка единственного младенца, бог дал и взял торопливо. За что?

Уедем. Сегодня в душу мужскую заложено зернышко. Забыл он сейчас все, завтра не вспомнит, через год не вспомнит. Но час придет. Нужно будет уехать, чтоб его сохранить, пусть старого, пусть дряхлого, но — своего. Этого ему не понять, это тайна. Знать ее ему нечего, слишком горд он, и жене думать надобно заранее, пока не срубил его новый Долдюк. Проклятый род: его побили тмутараканцы, когда Стрига спас ее. В те дни Долдюку лет двадцать было, и он начинал ханствовать под рукой отца-старика.

В доме Стриги найденку не бередили расспросами. Прошлого не изменить, забыть нужно плохое. Другие забыли, она помнит.

Нынешние пленники не обычные, они — собственная добыча Стриги, взятая на поединке по божьему суду. Проговорится Елена, и муж прикажет всех удавить. Брезгуя половцами до отвращенья, Елена их ничуть не жалела. А на кого своих выкупать из полона! Из-за ее избытого детского горя родится новое горе. Такое ей не на счастье, придется спорить с мужем, просить, уговаривать.

Не первая тайна... Считать ей, наверное, нужно от дня, когда он жене говорил о странных глазах ее — она научилась их прятать. Ей кажется, что она Стригу полюбила девчонкой-заморышем, когда к нему выползла после избиенья орды отца Долдюка. Училась наукам, чтобы его книги читать. Не из простой благодарности из кожи вон лезла, добиваясь стать правой рукой его первой жены. И с той же тайной мыслью за долгую болезнь старшей Елены крепко на себя переняла весь хозяйский распорядок, уклад, расчет и ключи.

Для него старалась. Для себя... Добилась того, что Елена-старшая на смертной постели ей завещала и заботу о нем, и о доме, и о сыновьях.

В Чернигове они жили тогда. Он привык, чтоб дом его был полной чашей, гостей любил. Она, девчонка-подросток, набелившись, насурьмившись, чтобы старше казаться, вела дом на удивление людям.

Город Чернигов не Киев, но в малом уступит. Сватали вдовца. И вольных прелестниц, своих, иностранных, достаточно. Соблазн на каждом шагу. Она же в себя верила, на него сетку плела. Языки о них стали трепать — она от себя подбавляла. Ныне вспомнить и смешно, и страшно: от глупости была девичья смелость. А все же свое взяла...

Вон он, раскинулся. Лежа в свете лампады, он кажется юным. Сон всегда его красил. И лампада была та же, и икона... Милый ты мой! Как же мне было трудно! Тебя не упустить, бесстыдной перед тобой не выйти, и твой стыд побороть. Пятнадцать лет мне было, тебе — сорок. Горд ты, гордость твою берегу. Не ты — я тебя взяла. Сколько тайн держу от тебя — для тебя, на твое счастье.

Выглянув в окно, Елена по звездам — он научил читать время по небесным соцветьям — узнала: поздно, через час будет полночь. Легла рядом с мужем, повернувшись на бок, чтоб, не мешая, чувствовать его за спиной. Закрыла глаза, размышляя о последней заботе и тайне: как его вести, чтобы он перестал тяготиться приближением старости.

Спит Кснятин, сон овладел живыми, все неподвижно, умолкли лягушки, замолчал соловей. Прах дальних предков смешан с землей, из которой насыпаны крутобокие валы крепости, и так же, как предки, потомки их полагаются на чуткость собак. Не выдадут, не было случая, чтоб выдавала собака человека, который кормит ее.

Мирно спят, позабыв дневную тревогу, наработавшиеся до темноты кснятинские жители, именуемые тысячей, хоть точно они не считаны — нет росписи,— спят, разбросавшись в окрестностях: верст на двадцать будет окружность ее, коль считать от креста церковки имени святого Константина. Спят спокойно, не думая о стрелах, о саблях, которые и близко, и далеко острят на их головы, спят где пришлось, не за крепостным валом, а просто — на воле.

Денница только заиграла, как все уже на ногах, уже готова пища, уже просит боярыня Елена к столу гостей и мужа. Еще не кончили есть, как прытко вбежал боярский закуп Бегунок и поклонился, желая всем доброй пищи. Стрига вскинул глаза: что?

— Так и вышло,— с улыбкой ответил закуп. И, показывая пальцем вниз, пояснил: — В полном разуме стали степные бояре. И этот, богатенький, смирнее всех. Просит за всех вместе выкуп принять — в пять пленников с каждой головы и со всех вместе сто золотых дирхемов. Начали с трех за ихнюю голову.

— Пусть будет,— согласился боярин.— Пойди-ка сюда. Садись, выпей чашу.

Бегунок принял угощенье, но сесть отказался:

— Непристойно, люди уважать не будут меня.

— Все-то они играют, как малые дети,— засмеялась боярыня Елена.— Который год играм пошел? — спросила она Бегунка.

— Шестой, матушка-красавица,— отвечал закуп. Был он сух телом, темноволос, длиннолиц. Было в нем нечто быстрое и в движеньях, и в словах, и в глазах.

— И долго ты с ними договаривался? — спросил Стрига.

— Да с ранней зари,— скороговоркой отвечал закуп.— Им еду отнесли, тут и я. Встал перед ними,— Бегунок преобразился, явив неподдельную важность,— и жду. Они говорят, я молчу. Так и вымолчал. Они,— и Бегунок сразу принял обычный вид,— мяса теперь просят, говорят: хлеб невкусный. Я обещал.

— Хорошо,— сказал боярин,— пусть не жалуются, что здесь их томили. А ты собирайся в путь. Кого возьмешь?

— Тропца да Иванку Берендея. Я уже их повестил, велел изготовиться в дорогу.

— Так с богом, счастливый тебе путь,— сказал боярин, обнимая Бегунка.

— Ну ж слуга у тебя! — воскликнул Симон вслед Бегунку.

— Золото,— подтвердил боярин.— Он бежал самосильно из половецкого плена, но дальше Кснятина не пошел. Некуда мне, говорит. Закупиться предлагает. Зачем тебе, дам землю, не хочешь на землю сесть, ремеслом каким займись. Надоело, говорит. Сейчас деньги нужны. Написали рядовую грамоту на десять лет. Проходили купцы из Киева в Шарукань. Вернулись — привели ему пять выкупленных. Свои? Нет, какие пришлись. Бегунок мой

признался, что, бежав, поклялся в страхе пятерых выкупить, для того сам закупился. Хотела ему боярыня выкупные деньги вернуть. Не взял. Одевают, кормят, греют — на что деньги? Хотел я порвать рядовую грамоту, он не позволил: бесчестье ему, зарока он не сдержал. Так и живет. Одного не терпит — чтобы его наставляли, как делать порученное дело. Поэтому я его не спросил, к кому он поедет, с какими половцами будет говорить в Долдюковой орде. Обидится — не малый-де я.

— А кто он, из каких, откуда родом? — спросил лекарь Парфентий.

— Не знаю. Он не говорил. Я не допытывался. Я купил его руки. Ум свой он мне дарит по доброте. Душа — его остается.

Кончив с трапезой, лекари ушли в отведенное им место, куда собирались нуждавшиеся в помощи, а Стрига повел Симона к колодезю.

Сруб под двускатной крышей уходил глубоко, воды не было видно. Водяная жила, по расчету Стриги, текла на одном уровне с низким стояньем Сулы. Бадьи вытаскивали воротом. Вкусная вода летом была так же холодна, как зимой,— зубы замлевали. Колодцем Стрига гордился и не уставал хвалиться. Мало того что приказал рыть, сам рыл, проходя последние две сажени до воды. До Стриги воду в Кснятин возили с реки, при осаде пришлось бы брать ее вылазками, с боя.

— Вот и все хозяйство мое,— заключил боярин.— Так и расскажи князь Владимиру. Сидит-де Стрига, накопивши запасу, голодом и жаждой его не взять. И оружия хватает у меня. Хватило б людей.

— Людей в твоей тысяче много,— возразил Симон.

— Много зимой,— согласился Стрига.— А весной, летом, осенью, когда жатвы да возки? Глупы половцы, тем мы и живы. Будь я половецким ханом из главных, я бы летом в эту пору да и раньше либо позже навалился б всей силой, разбросав конницу лавой. И нашлось бы у меня в крепости под рукой не больше полусотни людей. Земля — не камень. Кснятин силен, пока есть кого поставить на забрала. А так — начнут копать в десяти местах. В пяти отобьем, в пяти прокопают.

— Хорошо, что ты не хан,— только и нашелся ответить княжич.

— Хорошо, говоришь? А завтра они поумнеют чуть-чуть — и довольно.

— Что ж делать?

— Ничего. Что делали, то и будем делать. Пока я жив, Кснятин удержу. Так и скажи Владимиру Всеволодичу. И еще скажи — нужно прапрадеда его, князя Святослава, из могилы поднять. Вот как.

С того начинали, тем кончают боярин Стрига и Симон. Памятью о Святославе, о Владимире полны песни, устных сказаний столько, что в них запутаешься, как медведь в тенетах: в одних сказано, чего нет в других, иные хвалят такие дела, какие осуждены в других. Достаточно есть и записей. Кто-то сам видел, будучи участником, кто-то изложил рассказы других. Есть погодные описанья — летописи, тоже разногласные. Одному кажется худым то, что другой хотел хвалить. Так ли, иначе ли, однако прошлое не таит загадок.

— Я почитаю Святослава великим князем за то, что он в походах так хозар разбросал, что само имя их пропало. Дальше всех он ходил, Волгу покорил, Тмутаракань устроил. Величайшие дела ему удались, мало, что умел управлять боями, умел заботиться об обозах. Это, княжич, потруднее, чем полки расставлять. Святослав в степь уходил и в ней терялся, хозары не знали, где Русь. Он же вырывался, как барс из пещеры. С голодными дружинами на голодных конях не прыгнешь. Как ходил! Втайне пути разведает, будто сам смотрел. Ибо знал, кому что поручить, а поручивши — верил. По молодости — молодость не в упрек — ошибся он в патрикии Калокаре и посольских греках. Писали, будто греки соблазнили его золотом. У Святослава было больше золота, взятого на хозарах, чем во всей Византии. Калокар соблазнил Святослава имперской диадемой. На что было Святославу воевать империю! За то время печенеги из-за Волги пришли на место хозар, едва Киев не разорили. И пошло бедствие от печенегов. Князь Святослав дружины израсходовал против греков понапрасну и, на свою да на нашу беду, пропал на днепровских порогах от собственного небреженья. Да и дружина с ним шла глупая. Так он ушел, настоящего не совершив.

— Какого настоящего? — спросил Симон.

— На Волге рубеж положить. Кснятину, да Лубнам, да Римову стоять бы не на Суле — на правом волжском берегу. Были на такое у Святослава и сила, и время. Половцев били б на переправах, всех бы смиряли заволжских. И осаживали их на хорошей земле, учили б пахать, и, глядишь, они бы, оседлые, вместе с нами заботились о волжских крепостях. Как берендеи и торки на Ро-

си. Половец тоже человек. Сейчас труднее стало, а ничего иного не придумаешь. Мои мысли ведомы князю Владимиру Всеволодичу. Скажешь ему: на чем стоял, на том и стою. Нет и не будет покоя Руси, пока не пойдем в Степь по-святославовски. Сломать нужно половецкую кость, как сломали хозарскую, и встать на Волге.

Борется высшее с низшим, хочет солнце иссушить землю. В бледном небе оно уже расправилось со всеми облаками и, не терпя ныне оболоки, медленно катится огненным шаром, для которого нет сравнения — и добела каленное железо, и пылающие плавильные печи, да что ни возьми — все пустые слова.

Небесные звери, воздушные твари, которые, по старорусскому поверью, живут в воздухе, подобно рыбам морским, не касаясь твердой земли и в ней не нуждаясь, либо ушли в сторону тени за земную округлость, либо имеют иной, собственный способ укрыться от солнца.

— Помнишь, Симон, греческое преданье об Икаре, сыне Дедала? — спросил Стрига княжича.— В такой день, как сегодня, солнце ему воск на крыльях растопило б еще на земле...

Боярин Стрига рад новому человеку. Есть кому рассказать всем своим известное, не раз и не два обсужденное. К тому же новый человек — помощник для мысли. Находишь при нем новые слова для старых рассказов, и старое, истасканное, казалось бы, затертое, подобно древней монете из мягкого золота, о которой только и скажешь, что золото это, вдруг обновляется. И видишь, что не все знал, не все понял, и, добавляя, радуешься тайне разума, и постигаешь: не для затворничества создан ты, давая — берешь, раздавая — богатеешь.

Вчетвером — Симон, Стрига, Стефан и Дудка, оба из малой боярской дружинки — копья,— ехали левым берегом Сулы по кснятинским владеньям.

Здесь, в пойме, уже кончили с сенокосом, и, радуя глаз, островерхие стога разбежались от реки, обозначая своими дальними рядами границы весеннего половодья. И там, где начинались пахотные поля, среди свежих зеленых стогов попадались коричневые, а кое-где и почерневшие. Прошлогодние и более старые. Не понадобилось до новой травы, а там осталось и от новой. Как всегда, вывозили с осени ближние стога, добираясь к весне до

дальних, и не всегда была в них нужда. Служили эти стога и другой приметой.

— Не было пять лет под Кснятином половцев,— говорил боярин.— Проходили стороной, к нам не подступали, как тебе ведомо. Стога суть тоже свидетели, немые, однако говорят, не пишут, да летописцы! Вот тебе и загадка родилась!

На огородах близ реки гнули спины многие кснятинцы, занимаясь поливкой. Высоко речная вода пропитывает землю, но коротки корешки у капусты, репы, моркови, у прочей огородины. Заезжая на телегах в реку, кснятинцы возили воду. А на своем польце кто как приспособился. Одни растаскивали ведрами, другие выпускали воду по канавкам, и, остановившись у гряд, вода сама себе ход находила.

Первым издали боярин Стрига здоровался со своими, получая радушные ответы. Две женщины, выбежав на дорожку, которой должны были пройти всадники, еще издали кричали:

— Боярин, а боярин! Говорят, половец тебя попятнал!

Вторая молча спешила вслед первой.

Как все молодые женщины, обе, несмотря на жару, закрыли и лица платками так, что виднелись лишь глаза. Страдай не страдай, красоту оберегай. Остановив боярского коня за удила, первая с участием спросила:

— Не больно?

Сшитый лекарями разрез сегодня слегка воспалился. Пустяк, три-четыре пальца длиной, покрытый темной мазью от пыли, от мух, рубец менял лицо боярина.

— Не привыкать стать,— с удальством, не гасимым возрастом у иных, отвечал боярин.— Живая кость мясом обрастет, красавицы. Есть не мешает, говорить не препятствует.

— А она-то! — кивнула женщина на свою подругу.— В слезы! Посекли-де нашего, порезали. Увидела — глазам не поверила. Говорит, сгоряча он, а за ночь разболеется.

Обе открыли лица, свежие, белые, удивительные для глаза после огрубевших от солнца мужских лиц.

— Что ж, боярин, рада я,— сказала вторая женщина.— Хранит тебя горячая Елены молитва...

Женщины отошли, давая дорогу всадникам.

— Хороши как,— сказал Симон.— Та, скромная, особо хороша лицом. В Переяславле и то была б ей цена. Стало быть, здесь...

Но боярин перебил:

— Сестры они, и за братьями замужем. Люди хорошие, здесь недавно живут, четвертый год,— сухо сказал он.— Ты на другое взгляни! — И боярин указал на правильный, длинный кусок поля, заросший сорняком.— Не один мы уже проехали такой. Видишь? — боярин указывал.— Там, там. Еще гряды видны, а вместо огородины соры землю сосут.

— Почему же оставлены? — спросил Симон.

— Ушли. В глубь подались. Надоело ждать, пока половец придет.

— Стало быть, жидкие люди! — с презреньем сказал Симон.

— Нет! — воскликнул боярин.— Ты по-своему да помоему не суди. Хорошие были, сильные люди. Я всех знаю здесь. Ведь не бегут, приходят, прощаются, виноватые будто. Я каждому одно говорю: будем мы так все переставляться назад, я шаг, я два, ты три... Залезем в леса. Думаешь, в покое оставят нас? Половец и в лес научится лазить. С запада — литва да поляки, германцы мечом размахивают. Не понимают меня, думаешь? Понимают. Так и говорят — надоело под бедой жить. Ты, мол, боярин, умри сегодня, а я — завтра. И я книголюбив, и ты книге не чужд. Где, скажи, когда умел человек себя заставить выбрать горькое вместо сладкого? Биться легко — ты срубил, либо тебя срубили. Миг один. А вот так, каждый день ждать половецкой стрелы... Не для себя. Один говорил — не хочу дочь дать в половецкие рабыни. Другой за сыновей болеет душой... Я Кснятин люблю, места здесь люблю. Но я-то каждую ночь за валом сплю...

Почти у самой воды огибали опушку леса, заполнявшего овраг, откуда вчера облава выгнала хана Долдюка. Вброд пройдя через ручей, спешились напиться свежей воды из родничка. Лес гудел пчелами, которые брали последний взяток с доцветающих лип.

За лесом продолжались и огороды, и посевы. Симон замечал, что владельцы вышли с оружием — где на телегах, стоявших с поднятыми оглоблями, завешенными рядном для тени, где на меже торчали копья, виднелись длинные щиты, удобные в пешем бою, мечи в ножнах, длинные русские луки. Симону помнилось, что вчера подобного не было. И в самом Кснятине сегодня сторожа не ленились открывать и закрывать ворота. Симон понимал не спрашивая, что осторожности приняты из-за Долдюка. Пройдет сколько-то дней, и опять беспечных станет

больше. Боярин Стрига, сам Симон и провожатые выехали, как и вчера утром, только с мечами и с округлыми щитами. Боярин подвесил шлем к седлу и добавил, как бы подчиняясь общей мысли, лук с колчаном.

— Вот и мое хозяйство,— указал Стрига.

И огород, и поля боярские были на краю кснятинских владений. В пойме траву уже скосили и часть стогов вывезли. Огород устроился на уклоне, едва заметном глазу, но достаточном, чтобы вода, не размывая междурядий, спускалась вниз — к влаголюбивой капусте. Посев хлебов на глаз охватывал сохи три, как и на других полях; овес, ячмень и пшеница обещали изрядный урожай, пудов до тысячи пойдет в закрома, коль не случится беды. Над полем, примкнув к косогору, под купой развесистых ракит виднелось нечто вроде хутора. Глаз обманывал — вблизи обнаружились три избенки, слепленные кое-как из жердей, затянутых ивовой плетенкой, забросанных глиной, под камышовыми крышами. Как и все полевые строеньица кснятинцев, боярская усадьба годилась, чтоб укрыть от солнечного жара либо от дождя, но зимой подобному жилью обрадовался бы разве только забеглый бродяга. Такой усадьбы не жаль было лишиться, и не трудно восстановить разрушенное. Повыше, на степной траве, паслось несколько спутанных лошадей. Из-за хат веял дымок. Два крупных пса кснятинской породы повестили о приезде гостей ленивым лаем откуда-то из высоких зарослей сорной травы, обычно захватывающей землю около небрежно содержимого жилья.

— Э-гей! — позвал Стрига, и на его голос из-за хат и из хат также высунулись люди.

Оживившись при виде боярина, трое мужчин поспешили навстречу. Приняв лошадей, они отвели их к коновязи в густой траве, отпустили подпруги, скинули седла и положили потниками вверх — сушиться. Взлохмаченные, босые, в одинаковых пестрядинных штанах и рубахах.

— Спали? — спросил боярин.

— Час такой,— ответил кто-то.

Из хаток вышли две молодые женщины и старуха, успев, как видно, скинуть затрапезные платья. Предложили квасу, молока. Не отказываясь, боярин спросил, где Пафнутко. Ответили — с коровами нынче очередь ему. А Глазко? Глазко за хатами коптит дичину.

За хутором под низким навесом было сложено несколько плугов, бороны, рядом стояли четыре телеги. Под высоким навесом — большая печь с очень широкой внизу

и узенькой сверху трубой. Рядом костром сложены мелко наколотые дрова и большая куча древесного гнилья. Печь дымила вкусно, пахло особенным чадом, который дает гнилое дерево, медленно тлея, без жара, а все же из подвешенных в трубе кусков дичины капает сок и жир, что вместе и создает запах, который ни с чем не смешаешь.

Навстречу, сильно прихрамывая, ковылял человек, невеликий ростом, но широкий в плечах, чубатый и с такими же усами, как у боярина, но уже почти белыми, как и чуб...

— Я ж говорю им — не верьте,— сказал седоусый,— и жив, и нипочем ему. Это я про тебя. Сегодня утром до нас весть дошла: охлюпкой прискакал мальчишка. Дескать, тебе голову рассекли и будто ты весь кровью изошел. Я только спросил: на телеге или как привезли? Нет, говорит, сам в седле сидел. Я и прогнал дурачка. Они,— седоусый указал на обитателей хутора,— хотели в крепость гнать за новостями. Я не велел, Смотрите теперь сами,— обратился седоусый к своим.— Поцарапали щеку. Такое нам нипочем! — И указал на свой шрам, толстым рубцом начинавшийся на лбу, пересекавший бровь так, что глаз косил, и уходивший в ямку на раздробленной скуле. И, считая дело решенным, продолжал: — Вчера днем подстрелил я пару свиней. Они от Большого лога пришли.

— Я в Большой лог, в Кабаний, пускал облаву половцев выжать,— заметил Стрига.

— Так, так,— согласился Глазко.— Я и попользовался.

— А почему ты? — спросил боярин.— Почему им не дал потешиться?

— А! — махнул рукой Глазко.— Не хотят они. Вместе мы гонялись за свиньями, они свои стрелы по степи собирали, а свои я из свиней вырезал. Ленятся они. Лук — оно ведь что? Неделю в руки не брал, и глаз уж не тот.

— С этим-то я и пришел,— сказал боярин.— Пришлю я к тебе паренька, Острожку по имени. Учи его всему, и стрелять, и мечом биться, и конем править. Мнится мне, из него выйдет добрый воин.

— По-старинному, стало быть,— согласился Глазко.— Ему сколько годов?

— Пушок уже пошел по бороде.

— По старому правилу поздно уже. Да ладно, я его растяну, если он до железа охочий.

— Будто охоч. Злобится только легко.

— Это по глупости, поймет,— сказал Глазко.— Смирные да ленивые хуже.

— Так что же вы,— обратился боярин к хуторянам,— безрукие, что ли?

Трое мужчин безмолвствовали. Один глядел в сторону, другой одной босой ногой чесал другую, третий вертел в руках прутик.

— Недовольны чем? Скажите.

— Дел и так много,— ответил один.

— Устаешь как-то,— добавил второй.

— Нынче вы утром поливали огород,— сказал Стрига.— Управились рано. Вернулись, коней стреножили и пустили пастись. Все.

Седоусый Глазко занялся печью, показывая всей спиной, что ничего не видит, не слышит.

— Так вот и будете? — продолжал Стрига.— Вас тут трое, а я один всех побью, хоть я и стар. Не бесчестье вам?

— Такое твое боярское дело,— ответил один.

— Кому воевать, кому пахать,— заметил другой.

— Не верю,— возразил Стрига.— Что вы за русские, если меча держать не умеете?! — И с усмешкой спросил: — О Генрихе-императоре слыхали? О том, который в Германии воюет со своими врагами и с папой римским?

— Слышали.

— Еще послушайте. Недавно его помощники у реки Рейна в Эльзасе собрали войско из пахарей. В сражении императорских врагов-рыцарей едва ли было по одному на четыре десятка пахарей. Однако ж они неумелое крестьянское войско пленили, всех пленных оскопили и пустили домой для примера: чтоб впредь мужик не смел воевать![1] Нравится? Здесь быть вам половецкой вьючной скотиной, в Германии — ходить евнухами. Так, что ль?

— Ладно тебе тешиться, боярин,— со злостью сказал третий,— меч-то я удержу, будет у меня и стрела в деле!

Вслед посетителям хуторка летел издевательский хохот Глазка, женский смех и перебранка оконфуженных присельников.

Возвращаясь, свернули от берега влево, немного не доезжая Большого лога. По опушке струилась едва заметная тропочка — заброшенная и малохоженая уже не

[1] Исторический факт. Это произошло в 1078 году с крестьянами, сражавшимися на стороне императора.

первый год. Листья подорожника и низенькая муравка, которые любят селиться на человечьем следу, вольно расплылись, занимая местами всю тропочку,— скрыть хотят, а тем самым выдают. Бывает так и с людьми.

Домик казался скорее сараем — очень широкий, но глубины всего шагов пять. Три стены из таких же жердей и плетенки, забросанных глиной, как и на хуторе. Четвертой, задней стеной служил подрезанный обрыв, и, чтоб не текла земля, хозяин закрыл ее чем придется — корьем, горбылями и той же ивовой плетенкой.

Немудрящую внутренность Симон рассмотрел позже. Пока же он поразился другому. Издали казавшиеся ему пни и хворост вблизи превратились в собрание тревожащих душу чудовищ. Зверолюди либо человекозвери, многорукие, многопалые, застывшие в корчах, и отталкивали, и притягивали глаз. Что-то он видел подобное, во сне, что ли? Крупный орел сидел на плече одного из чудовищ. Почему он не заметил птицу раньше? Послышался слабый скрип. Из-за спины другого многопалого чудища появилось подобие руки с растопыренными пальцами.

— Чур, чур меня! — сказал Симон, едва сдержавшись от крика.

Но боярин Стрига, насколько позволяла ему опухшая щека, улыбался. Сзади донесся смех провожатых. Тем временем опять что-то скрипнуло, страшная лапа втянулась за чудище, а взамен ей приподнялся долгоносый череп неведомой птицы на шее неизмеримой длины.

— Это что же, капище языческое? — спросил Симон.

— А как хочешь понимай,— ответил ему невысокий человек в войлочной шапке, который прятался где-то за чудовищами. Идя навстречу гостям, он, скинув шапку, поклонился и, будто ведя давно начатый разговор, продолжал: — Ты Чура позвал себе на подмогу, подивившись моим дивам. Зачурался. Чур — по-древнему значит граница, рубеж, а заодно и божок-охранитель. Мы же здесь все русские и христиане. Морочить тебя не буду. Видишь, какое здесь место? Сзади — обрыв, слева — чаща непролазная, справа — круто. Подход один, которым вы приехали. Вот я и заставился. Ни половец, ни чужой человек не подойдет. Были случаи. Мои чудища крепче кснятинских валов.

— Чего-то скрипит у тебя, друг Жужелец? — заметил боярин.

— Да, подмазать пора бы, да времени нет, забываю,—

ответил Жужелец.— Да вы что ж, милые гости, с седел не сходите? Я гостям рад.

Не такое уж хитрое устройство: от ключика по деревянной трубе струйка воды попадала в бадеечку, и бадеечка, нарастая весом, медленно опускала короткий конец коромысла, поднимая длинный конец, к которому прикреплена смутившая Симона лапа. Дойдя до низу, бадейка переворачивалась, длинный конец с лапой, перевешивая, шел вниз и своим весом поднимал другое коромысло с искусно вырезанным птичьим черепом на тонкой шее.

— Просто-то как! — не то восхитился, не то разочаровался Симон.

— Послушал бы ты, что случилось, когда отец Петр, будучи у нас внове, прибыл навестить заблудшее чадо,— и Жужелец ткнул себя пальцем в грудь.— Сначала зачитывать стал: да воскреснет, мол, бог, и да расточатся враги его,— а потом, машины мои узрев, так выругался, как духовным лицам не показано, и с той поры стал мой над ним верх!

Жужелец не то шутил, не то говорил всерьез — не поймешь. Боярин перебил его речь:

— В чем нуждаешься, друг? Сколько ты времени глаз в Кснятин не казал? Я думал, не вознесся ли ты за облака.

— Все есть, боярин. Полмешка муки есть еще, соли достаточно, зелени в лесу хватит, а для мяса, сам знаешь, силочки поставлю, и нам обоим довольно,— Жужелец указал на черную собаку с узкой мордой, молча подобравшуюся к хозяину.— Она у меня поставлена силки проверять. Обегает и придет: в таком-то, мол, сидит наш обед, пойдем.

Жужелец, видимо, прискучил молчаньем и, радуясь людям, был готов говорить, только чтоб себя слышать. Боярину пришлось опять его перебить:

— А когда за облака?

Сразу став серьезным, Жужелец пригласил гостей в дом, усадил на длинную скамью у стола, занимавшего три четверти стены, а сам сел напротив, на подобии деревянного гриба, ножка которого была воткнута в земляной пол. И отвечал на вопрос:

— Может быть, и никогда. Крылья сделать просто, наделал я их и переделал много пар. Крылья... Вот говорят, были бы крылья! Не в них дело. Сила нужна. Ловил я диких уток, гусей, ястребов, орлов, снимал мясо

с костей, рассматривал кости, мясо, жилы. Всех сильнее орел, у него на груди мяса меньше, чем у утки, но жестко оно, почитай, как хрящ. Какие крылья для человека ни сделай, силы у него нет для полета. Слаб. А вот откуда силу со стороны взять? Пробую все. Пытаюсь построить из жил, наподобие того, как сделано у камнеметных машин. Пока нет удачи. Вот так здесь я сижу, ценя одиночество, будто затворник святой. Я ж зла никому не желаю... Чудища мои — дело пустое. Натаскал из леса коряг позатейливей, кой-чего подделал. Греха в этом нет.

Помолчав немного, Жужелец обратился к Стриге:

— Знаешь, боярин, я богу молюсь для покоя души. Нашепчешь молитву и — благо. Ни о крыльях и ни о чем ином не прошу. Я здесь все тружусь руками, понемногу, да весь день. Мысль витает, и обсуждаю с собой, что приходит на ум. Бог. Слово наше, русское, бог — богатый, и, верно, у бога все в руке. Однако же замечаю, что богу легче допустить в мое тело половецкую, скажем, стрелу, чем отвести ее чудесным образом. Оно так справедливее: человеку свободная совесть дана и свобода дело вершить своим разуменьем и под свой суд. А на белом свете, за что ни возьмись, несравненно легче разрушать, чем созидать что-либо, от топорища до управления землями. Потому-то в жизни больше неустройства, чем порядка. Стало быть, нужно человеку, неустанно размышляя, неустанно же и делать свое. Так то. А вы, гости милые, простите затворника, словами кормлю, угостить-то нечем. Уж вы не обессудьте меня!

— Оставь, друг, мы не за тем, нам и пора,— возразил боярин, вставая.— Приезжай в Кснятин на день, на два, подумаем о том о сем вместе. Гости мои скоро разъедутся, боярыне я надоел.

— Вот, спасибо, напомнил,— обрадовался Жужелец.— У меня для боярыни, красавицы нашей, подарок есть.

— Вот и привезешь, лишнюю чару, гляди, поднесет тебе,— пошутил боярин.

— Нет, возьми ныне, подарок особый,— возразил Жужелец.

На узком, не соразмерно ни с чем длинном столе в порядке лежали ножички, долотья, стамески, рубила, топорики, молотки, молоточки, куски железа, гвозди, гвоздики; небольшая наковаленка была вделана в конце, конец же опирался на толстую плаху, с другого конца — деревянные тиски и малые железные. Один угол дома был жилой, с постелью и ларями, в другом в том же

порядке для глаза были сложены доски и досочки разного дерева.

Подняв крышку длинного ларя, Жужелец вынул оттуда вещь аршина полтора длиной и положил перед гостями на свободное место стола.

— Видали? — спросил он.— А коль не видали, то слыхали.

— Это самострел! — сказал боярин.

— Он и есть. У латинцев его называют «арбалет». Слово, как и наше, составное. «Ар» — лук, и «баллиста», по-ихнему,— метательная машина. А это с руки бить. Соху прикладывай в плечо и правым глазом гляди через вырез этой дощечки на место, куда целишь. Тут крючок нажимай, тетива и соскочит. Легче, чем из лука, стрелять, силы особой не нужно, и целиться проще. Стрела железная, тяжелая, ее ветер не так легко относит.

Жужелец показал тонкий железный стержень длиной около двух с половиной четвертей. Один конец был заострен, но не слишком. На другом конце к продольным выемкам было привязано с двух сторон по расколу гусиного пера.

Прикладистая соха шириной пальцев в пять, а длиной в четверть переходила в длинную узкую ложу для стрелы, покрытую сверху железной полосой. С заметным отступом от конца был укреплен железный лучок длиной не больше стрелы, с двумя проволочными тетивами. К тетивам, не давая им соединиться, был приклепан длинный ящичек, который имел ход по железной полосе ложи. С задней, глухой, стороны ящичка выступал крюк. За крюк тянула сухожильная веревка, соединенная с маленьким воротом рукояткой. Жужелец, держа в левой руке самострел, правой навил на ворот жилу, ящичек пошел назад, натягивая лук, послышался легкий щелчок.

— Теперь вставляй стрелу, целься и спускай,— сказал Жужелец. И сам проделал, как сказал, но без стрелы. Спуск освобождал сразу и ворот, и ящичек.

— Лук надежней и быстрей,— рассудил боярин Стрига.

— Верно, верно,— согласился Жужелец.— Зато самострел силы не требует, и научиться бить из него легко ли, трудно ли, но не сравнить с луком. Немного дней потратишь — и стрелок. Из лука годами учатся, и то иной никак не добьется. Бьет самострел сильно. Зато и стрела не остра — ей не к чему. Тонкое острие сломится, а такое пробивает кольчугу. Бери, боярин. Глядишь, пригодится

боярыне. Это оружие страшное, из него и ребенок, и женщина могут свалить любого витязя. Был бы глаз верный. Стрел даю десяток. Прикажешь кузнецу, он откует еще. Стрела простая, закалил острие — и все тут.

— Спасибо,— ответил Стрига,— это вещь дорогая, ты не посетуй, когда лебедь моя отдаривать будет.

— Оставь, боярин, я уже все получил по любви, когда она за мной присмотрела. Одна она надо мной не посмеялась в ту пору-то, помнишь?

— Помню,— ответил Стрига.

— Ты между нами не вставай,— твердо сказал Жужелец.— Дару моему нет цены, другого самострела ей никто не сделает.— И, покончив с одним, Жужелец перешел на другое: — Недавно латинские епископы на своем соборе в Риме запретили арбалеты. Дескать, чрезмерно смертоносное оружие. Шутники латинцы! Да, небо святое, земля-то грешная.

— На грешной земле ты себя безоружным оставил? Или стал латинянином? — со смехом спросил Жужельца боярский дружинник Стефан.

Нагнувшись, Жужелец достал из-под стола еще самострел, но грубой работы и с рычагом для натяжки.

— Есть чем встретить друзей,— возразил он Стефану.

— А почему этот другой?

— Для этого силы больше нужно, да и некрасив он. Пока его делал, надумал иное.

Проводив гостей, Жужелец взял заступ. Одиночество учит быть собственным собеседником. Обращаясь к собаке, Жужелец сказал:

— День нам нынче выдался теплый. Хотел я просить Стригу убрать половца. И не просил. Почему? Не хотел, чтобы узнали... Боярыня-то, лебедушка, могла побрезговать кровью. Женское дело, понимаешь? Не понравится — в руки не возьмет. Или возьмет, кто разберется?.. Ты что скажешь? — Собака сидела, глядя грустными глазами в глаза человеку.— Эх ты! Не самострел, где бы я был сейчас, а? Куда, в ад либо в рай? Не знаешь? Я тоже не знаю. Пойдем-ка яму копать.

— Жужелишко этот явился к нам неведомо откуда, невесть зачем,— рассказывал Симону дружинник Стефан.— Однако же деньги у него были. Назвался мастером, поставил себе в крепости избу малую, сдружился с нашими кузнецами, и, верно, калить железо они стали крепче.

Он же, Жужелишко, любую вещь может сделать, из меди ли, из железа, бронзовую ли отлить. Серьги красивые, обруч на руку, застежки.

Потихоньку он сделал себе крылья, не птичьи, а похожие на нетопырьи. Жилки из дерева, перепонки из пергамента, каждое крыло повыше его ростом, а в длину больше сажени. Крылья у себя в избе держал, слова о них не проронил и часто ходил на вал — место искал. Выбрал день — ветер с юга дул. Вынес он крылья и пошел на вал. Кто заметил, за ним увязались, вернее сказать, за крыльями. И я тогда там же случился, и, как все, не мог понять — что он тащит? Он стал на валу, руки в петли продел — нетопырь, да и только. Выждал и прыгнул. Спорили потом: летел, не летел. По мне, он будто бы чуть-чуть поднялся, но тут же ему крылья заломило за спину, и он пал вниз, угодил в ров, в воду. Пока мы через ворота бежали, он едва не утонул. И от крыльев избавиться не может, и ушибся сильно, грудь разбил. Отец Петр тогда в воскресной проповеди говорил, что нельзя людям летать, не птицы — грех, мол. После службы боярин мой при всех с отцом спорил. Тот все о волховании твердил. Боярин же ему: от Евангелия нет запрета!

— А Жужелец? — перебил Симон.

— Долго лежал, не позаботься боярыня Елена — не встать ему. Ожил, крылья починил, доделал что-то и — надо ж! — опять прыгнул с вала. На этот раз крылья не загнулись, съехал он по воздуху, как на санках с горки, и лег на траву шагах в ста за рвом. И сам же решил — пустое дело.

— Когда ж это было?

— Уж лет десять прошло. С той поры он себе жилье устроил в том месте, а в крепость приходит только зимовать месяца на три. С его руками другой давно мошну бы набил. Он же глуп, сделает одному, другому, и все. Слышал сам, силу какую-то ищет! Пустой человек, но речист.

За вечерней трапезой в доме Стриги лекари Соломон и Парфентий шутливо хвалились длинным днем, доставшимся им на долю: денег набрали немало.

— Ты же знаешь, боярыня-матушка,— говорил Парфентий,— ни Соломон-друг, ни я никогда о цене не говорим, предупреждаем — нет, не давай. В Переяславле, в Чернигове, в Киеве за это иные лекари нас порочат, люди же пользуются. Нынче все здешние шли с деньга-

ми. Мы с Соломоном привыкли к людям, видишь — из последнего дает. Говоришь — не надо. Нет, сует. Возьми, мол, за труд, за лекарство возьми. Приходилось сдачи давать. Горды ваши кснятинцы. Мы с Соломоном порешили отделить часть. Ты, боярыня, возьми. Есть такие, которым нужно помочь.

Боярыня Елена с благодарностью приняла мешочек с серебряной и медной монетой, рассказала, что в Кснятине есть и свои лекари, пользуют людей травами, наговорами и помогают. По-разному бывает.

Боярин Стрига перевел речь на свое. Рассказывал о наймитах, которых держал он для обработки своей земли. Видел он в наймитстве необходимость, досадуя, что за наймитами нужен присмотр. Для того с ними и жил старый, ослабевший дружинник Глазко. Глазку уж не под силу походы. Не будь его, что делать? Держать наймита над наймитами? Стрига осуждал своих работников за леность.

— Требовать нужно сильнее,— советовал Симон.

— Я требую,— возражал Стрига.— Сам ты видел. Грех в ином. У наймитов половину души бог вынул. У меня тут не одни наймиты. Есть и половники — из тех, кто пришел, ничего не имея. Даю лошадей, коров, упряжь, плуги, бороны — все, что нужно, и мне второй сноп во всем. Пишем рядную грамоту на год, на два, на три. На четвертый год кончает ряд почти каждый. Покупает лошадь, коровы свои, хозяйство поставил, ему половничество ни к чему, он уж вольный. Таким помешать может болезнь не вовремя, либо саранча налетит, как было в пятом году от этого,— словом, несчастье. Им за чужой спиной скучно. Если б на поле, где мои наймиты, жили половники, пашни они б подняли в два раза больше, а то и в три.

— Откуда ж приходят? — спросил Симон, вспомнив жалобы Стриги на отход людей Кснятина.

— Чаще всего из-под Киева либо из самого Киева,— ответил Стрига.— Бывают из туровских, дорогобужских, из волынских.

— Беглые? Из должников?

— Может быть. Я ловить не обязан.

— Там людям потеснее живется, потеснее,— заметил лекарь Парфентий.

— Отходят ко Владимиру-на-Клязьме, к Суздалю. Там спокойнее,— сказал Стрига, взглянув на жену: помню-де ночной разговор.

— А мастер многорукий и летатель, Жужелец твой, из каких? — спросил княжич Симон.

— Не знаю. Придя, он слово мне дал, что не беглый он, что нет за ним никакого воровства. На духу он бывает у отца Петра, душу правит. Это дело тайное между ними. Поучитель наш,— Стрига кивнул на священника, который мирно дремал после трапезы, устроившись на широкой лавке у стены,— сказал мне: одного вы поля горькие ягодки, с одного дерева кислые яблочки.

— И скажу, и скажу,— отозвался отец Петр, не поднимая головы,— грешники вы нераскаянные, в вас всех язычество с христианством перемешано, как в старых сотах пчелиных воск с медом да с дохлыми пчелами. Ох-хо-хо, будет мне за вас ответ перед богом, что допускаю вас к причастию,— закончил отец Петр, повернувшись на другой бок.

Будто бы ничего и не было, Стрига продолжал:

— Жужелец пошел дальше греческого сказания. Он вместе Дедал и Икар. Человек он разумный, тому свидетель его мастерство.

— Предание об Икаре и Дедале, отце его, нужно понимать иносказательно,— заметил Соломон.— И в нашем святом писании, и в вашем многое понимается в духе, а не в видимых вещах. Странствия, виденья суть искания души.

— Не спорю,— отозвался Стрига.— Но разве тебе не хочется летать, разве ты никогда не летал?

В ответ лекарь Соломон только руками развел в недоумении.

— Но во сне ты ж летал? — настаивал Стрига.

— Во сне? — переспросил Соломон.— Было когда-то. Так мы ж не о снах, мы о яви ведем разговор!

— Я и поныне летаю во сне,— сказал Стрига.— Проснусь, и хочется, взяв жену на руки, подняться в ясное небо. То — сны. Было со мною однажды наяву чудесное дело. Давно, между Киевом и Вышгородом, ездили мы на охоту и, спешившись, разошлись по долам. Долго ли, коротко ли, но вдруг мнится мне — заблудился! День был позднеосенний, лист опал, прошли дожди, потом стало сухо, под ногой не гремело — чернотроп, по-охотничьи. Небо закрытое, тишина в воздухе — слышишь, как падает запоздалый листок. Бегом я пустился вверх, вниз, вверх. Несли меня ноги, как пушинку ветер несет, и долго так было, легко, просторно, воля без края, душа наслаждается, и просто все так, все мне доступно. Вынес-

ся я на холм, вижу — внизу конюхи держат наших лошадей. Усталости ничуть, будто сейчас ото сна. Пошел вниз обычным шагом. Товарищи уже собираются. Кто с чем, а у меня ничего нет, и ничего мне не нужно, ничего будто со мной и не было. Прошло сколько-то лет, и вдруг мне вспомнился тот день, и осенило — да ты ж летал! Пробовал повторить. Нет, не получается, не могу.

Подперев голову кулаками, Стрига уставился кудато. И все призадумались, и каждый вспомнил нечто чудесное, бывшее с ним, и неуловимое, как солнечный луч, как туман, как прошлое — было, и нет его более...

Встряхнувшийся кснятинский боярин подошел к ларю, стоявшему на высоких ножках, и откинул переднюю стенку.

— Еленушка, помоги-ка,— попросил он.

На полках лежали свитки бумаги, стояли книги разного вида: в деревянных крышках, скрепленных вощеной нитью, в кожаных крышках с матерчатыми затылками. Поискав, нашли небольшую тонкую книжицу, похожую на молитвенную, и боярин, указав место, попросил жену прочесть.

— «Некий сарацин-агарянин явился в город Константина. Объявил он, что хочет удивить всех людей, полетев над ипподромом, как птица. В назначенный день перед началом состязаний колесниц сарацин поднялся на верх главных ворот ипподрома. Был он одет в особое широкое платье из льна, распертое изнутри обручами. Сарацин долго стоял, ожидая сильного порыва ветра. Дождавшись, он поднял руки, прыгнул, упал вниз камнем, и, когда к нему подошли, он был уже мертв, ибо переломал все кости».

— Спасибо, боярыня,— сказал Соломон.— Случай доказывает невозможность полета. Сарацинский соперник Икара убил сам себя.

— Прав ли ты? — возразила Елена.— Легко осудить неудачника. Я вижу иное: Жужелец не одинок. Агарянина тоже обуревало желанье летать. Есть и другие, мы не знаем о них. Многого нет в летописях, многие летописи нам неизвестны. Жужелец не ищет славы. На своих крыльях с такой высоты он мог бы спуститься далеко от ипподрома.

— Ах, боярыня, сердце у тебя золотое,— вступил лекарь Парфентий.— Нет человека, кто не хочет славы. Друг мой Соломон премудрейший, думаешь, славы не любит? Ох как любит! Знаешь же кличку его? Бессребреник!

Словцо-то какое, не медным, звучит серебряным звоном!

— Люблю! — сказал Соломон и залился тихим смешком, от которого затряслись длинные пряди волос на висках.— Очень люблю, для того и стараюсь.

Глядя на лекаря, рассмеялась и боярыня:

— Так это ж добрая слава, что ж худого — искать себе доброго имени?!

— Без славы нет жизни,— сказал Стрига.— Празднословие и похвальбы — ничто. Соломон с Парфентием делом доказали свое знание, свое бескорыстие. Я Кснятин держу для князя Владимира Всеволодича без обмана: сам впереди, из-за того меня слушают здесь. Сам князь наш воин на поле и мудр в совете. Русские не любят трусливых князей. Сколько власти ни даст боярину князь, ничто моя власть без меня. Так издавна на Руси повелось, тем мы держимся. Не наймитами, не холопством — доброй волей. Рим упал от холопства, греки хиреют от холопства. Наймит не работник, холоп не воин. От холопства падают великие державы. Еленушка, найди-ка в том ларе, где записи мои, сказанье, которое мне передал перс. Ты, помнишь, читала его.

Боярыня открыла дверцы ларя размером меньше, чем первый, и достала несколько листов бумаги, скрепленных ниткой в тетрадь.

— Прочти нам, Еленушка,— попросил Стрига.

Боярыня приступила к чтению:

— «Сказание о шаиншахе — повелителе персов Нуширване Справедливом и о Дагане, который был судьей судей при Нуширване».

Рассказывал купец из индов, назвавший себя потомком персов, бежавших от арабов, они же сарацины и агаряне, к индам. Купец ехал через Шарукань в Киев. Заболев в пути, отдыхал в Кснятине.

«Был у персов шаиншах, самовластный властелин, наподобие греческого базилевса, по имени Нуширван, что значит Справедливый. Нуширван сверг своего предшественника, что часто бывает и у греков, и поставил одного из содействовавших ему, по имени Даган, своего ровесника и друга с детства, судьей судей. Много лет Даган, надзирая за судьями, утверждал приговоры к смерти также и замышлявшим против власти шаиншаха. Покоя среди персов не было, иные сочувствовали свергнутому шаиншаху, другие составляли заговоры, что

обычно у персов. Настал черный день для Дагана. Его сын, служивший в войске, был обвинен в измене и приговорен к смерти. Даган, уверенный в сыне, возмутился и принес жалобу к ногам шаиншаха.

— Почему ты жалуешься? — спросил Справедливый. — Разве судьи не те же, чьи приговоры ранее тебя не смущали? Разве прежде ты без моего ведома, по праву судьи судей, не приказывал вновь исследовать дела? Разве судьи не признавались в ошибках? Или, когда коснулись твоего сына, ты усомнился в правосудии? Может быть, ранее ты был небрежен? Или ты ослеплен родительской любовью? Помни: в беззаконии нет закона. Любовь, соблазняющая судью, превращается в порок. Иди же! Не мне ты служишь, но правосудию.

Даган приказал другим судьям исследовать обвинение. Новые судьи признали изменником Даганова сына. С уверенностью в невиновности сына Даган второй раз уничтожил приговор. За нарушение правосудия Дагана изгнали с высокого места, другой стал судьей судей. Сына Дагана зарезали на площади, как многих и многих других, жену сына и двух его сыновей сослали в пустыню. Семьи изменников у греков, у сунов и у многих других народов наказываются даже и смертью.

Дагана не казнили и не сослали, но лишь взяли имение. Имел он мало, ибо, надеясь на щедрость шаиншаха, тратил жалованное ему не копя. Заметьте! Не все люди стремятся к накоплению богатств. Быв судьей судей, Даган довольствовался властью, которая дает высшее наслаждение. Заметьте! Самые жестокие шаиншахи любят показывать милосердие, когда оно для них безопасно. Указывая на Дагана, персы говорили: «Справедливый милостив, Справедливый добр».

Даган стал уборщиком храма. В крохотной мазанке он спал на соломе и копил медные деньги, дабы послать нечто снохе и внукам. И посылал, не имея утешенья знать, доходит ли посланное.

Днем он не имел покоя. Приезжие издалека приходили в храм, чтобы потешить глаза видом униженья бывшего судьи судей. Заметьте! Люди радуются паденью сильных. Некоторые же заговаривали с участьем. Одни встречались с ним раньше, у других были к нему дела в прошлом, но Даган не узнавал их. Третьи, ничего не зная о судьбе уборщика, просили пояснений о храме. И они, с опрометчивой смелостью осуждая Справедливого, вызывали Дагана сказать нечто дурное

о словах и делах шаиншаха. Судья судей знал о людях, именуемых ушами и глазами Власти, их служба мнилась ему полезной и даже почетной. Ныне он понял иное.

Никто не мог добиться от Дагана неосторожного слова. И не было вечера, чтобы Даган, перебирая день, как прядильщик шерсть, не дрожал на своей соломе. Тайное ухо может просто выдумать нечто для награды за горло бывшего судьи судей, оскорбившего правосудие Справедливого. Даган трясся от страха за себя, за помощь снохе и внукам, и былая вера рассыпалась трухой в его сердце.

Громко, дружно, согласно многие и многие ежедневно твердили: шаиншах Справедливый принес персам величие, покой, богатство. Стоя на крыше государства, так твердил и Даган, так он верил. Уборщик храма убедился во лжи восхвалений. Вспоминал он слухи о несправедливостях, когда затыкал себе уши. Спрашивал себя: ко скольким несправедливым приговорам ты, наслаждаясь жизнью, приложил печать шаиншаха? Замогильные жалобы невиновных мучили его слух. Труха былой веры перемололась в пыль. Но оставалась в сердце. Ибо совершившееся неисправимо, и горечь воспоминаний нельзя выплюнуть, как желчь изо рта. Ему хотелось проклясть Справедливого перед его ушами, он сдерживался.

Прошло двенадцать лет. Даган пошел в бани, его вымыли и постригли. За деньги он взял на один день чистую одежду. Перед дверью Справедливого он назвал себя, и дверь открыли быстро. Многие ждали месяцами и не удостаивались даже плевка. Даган увидел, что он не забыт.

Исполняя закон, он упал ниц перед Справедливым, но шаиншах приказал встать, и Даган поднялся сразу, ибо Справедливый ценил повиновенье выше преклонений.

— Чего ты хочешь теперь? — спросил шаиншах, будто бы подданные могут желать.— Ты просишь пособия на дряхлость?

Ободрившись, Даган ответил:

— Молю милости, Справедливейший Справедливейших! Справедливый срок ссылки закончился. Благоволи приказать, чтобы сноха и внуки вернулись ко мне.

Справедливый не любил слышать о ссыльных. По истечении срока судьи назначали новый тем, кто выжил в пустыне, и так до смерти. По прихоти шаиншаха Дагану оказали небывалую милость. Сноха его состари-

лась раньше времени, внуки одичали, но их вернули живыми, неискалеченными. И Справедливый пожаловал Дагану постоянное содержание, о чем было объявлено всем персам.

Заметьте! Трудно понять свирепых владык, поступающих милостиво. Легче постигается причина жестокости.

Даган заставлял себя жить подольше, чтобы кормить сноху и снять кару с внуков. Справедливый тоже жил долго...»

Устав, боярыня положила листы.

— Жалко Дагана,— сказал Симон.

Лекарь Соломон хотел что-то сказать, но Стрига предупредил его:

— И я сказал то же самое персу. Перс возразил мне: «Сидя на крыше государства, Даган принимал несправедливое без исследования и очнулся, когда нож палача угрожал горлу сына. Но мой сын — это я сам. Подумай, когда пришел час Дагана, другие несчастные отцы тайно утешились его горем».

— Да, да, да...— закивал головой Соломон.

— Он творил зло по неведению. Раскаялся,— сказал Парфентий.— Далее он жил из любви. Бог его простит. Пошлет ему прозренье.

— Читай до конца, Еленушка,— попросил боярин.

— «Персы сотнями лет воевали с римлянами,— читала Елена.— Потом сотни лет персы воевали с восточными базилевсами. И базилевсы победили персов вскоре после правленья Нуширвана Справедливого. Затем на персов напали арабы. Арабов было во много раз меньше, чем персов, но арабы победили, ибо души персов были сломлены дурными правителями. Арабы, утомясь резать побежденных персов, поработили нас, дали нам новую веру — ислам, взяли в жены наших дочерей. Потом турки до изнеможенья убивали арабов, и нас, и смешанных с персами арабов, и женщины стали обязаны рожать детей туркам. Ныне только за пустыней, куда ссылали персов, персы же, только в восточных горах можно найти подлинных, чистых потомков былых персов. Они белокожи и голубоглазы, как я». Так купец из индов закончил рассказ.

— Страшное сказание! — воскликнул Парфентий.— Персы погибли от дурного правленья! Можно ли верить?

— Можно, увы, можно,— сказал лекарь Соломон.— У всех народов есть притчи о плохих хозяевах, расточителях. Наделяя таких хозяев дурными свойствами, притчи повествуют об их разорении. Составители притч подразумевают государства.

— Известно, что персы были побеждены сначала греками, потом завоеваны арабами, за арабами,— говорил Стрига,— турками. Что же касается моей записи, скажу — слова переданы верно, перс был человеком не мелкого ряда и рассказывал гневно.

— Много страшных сказаний, много,— молвил лекарь Соломон и потупился, вспоминая.

Хотелось ему рассказать, многое нашлось бы, но раздумал. Предпочитал он событиям смысл, и судьба людей казалась ему важнее судеб империй: люди связаны совестью, империи — насилием. В долгой жизни своего народа, себя сохранившего вопреки рассеянию, он видел знак правоты своей мысли. Но о своих здесь он не мог говорить: в Киеве сидел Святополк Изяславич, младенцем сохранивший жизнь из-за умельства лекаря Соломона. Князь вырос дурной, и дурной душой его пользовались, и на дурное поощряли для своей выгоды и ляхи, и германцы, и греки, и иные единокровные Соломона — жители Киева.

— Дурная слава бежит, добрая лежит,— сказал лекарь Парфентий, угадывая, быть может, чувства своего друга.— Послушаешь — битвы, сраженья, нашествия, захваты, убийства владык, казни, истребленья людей. Будто бы люди не жили, не населяли землю, не учились ею владеть.

Боярин Стрига рассмеялся было, но, взявшись за посеченную щеку, только замотал головой и, поневоле справившись с весельем, сказал:

— Ты, друг-брат, будто в воду смотрел. Мы с Еленушкой моей записываем, что в Кснятине было, что слышали. Так, по годам. Ныне запишем про долдюковский набег. А про спокойные месяцы, про весну, про пашню, сенокос, ныне обильный? Ни слова. Саранча налетит — скажем. Хорошее само собой разумеется. Как видно, человеку дано право на достаток, на покой, чтоб труд его награждался. Однако же есть у нас, знаете хорошо, много сказаний о былом. Сотнями лет они передаются изустно. Больше о хорошем, чем о плохом. Мы знаем — из древности у нас народное вече, из древности содержатся князья с дружинниками. Из древности же наши

князья живут, в селах ли, в городах ли, в простых домах за деревянной оградой. У нас не прятались, как в прочих странах, от своих же, строя в крепости малые крепости, собственные. Добрая слава тоже не лежит. Но злая должна бежать по свету на длинных ногах. Пусть же она опережает добрую. От плохого мы все больше учимся, чем от хорошего. Заговорил я о крепостях-замках. Есть такой город на сирийском берегу Средиземного моря: Библос, по-иудейски Гебал, а ныне он зовется Гиблетом — так, друг Соломон?

— Верно,— подтвердил лекарь.

— Там строения каменные и долго живут. Говорят, тот город построен вскоре после потопа. Ровесник тому, что на ксятинском месте стоял. Там доныне сохранилось жилье владетеля Абишмуна или Абшимуна по имени. В цельной скале высечен колодезь глубиной сажен пять. Там под крышкой Абшимун сидел по ночам, страшась, что свои его сонного зарежут. Тому минуло десятка два столетий. Так? — обратился боярин к Соломону.

— Так,— согласился тот.

— Другой, подобный, только у греков, забыл, в каком городе, по ночам сидел с женой тоже в подобии каменного колодезя, а сверху его стерегла отборная из отборных стража. Да и нынешние базилевсы запираются в Палатии со всех сторон и стражей окружены днем и ночью. На Западе все владетели сидят в замках. Французы, которые завоевали Англию, с первого дня стали себе замки ставить. Таких,— обратился боярин к Симону,— слушаются, гнутся перед ними до земли. Часто только режут там владетелей. По мне, лучше жить, как Русь живет. Это шапка будет ко всем беседам нашим с тобою, друг-брат Симон.

— Нет, еще, нет еще,— возразил лекарь Соломон,— подожди, ты мне душу поджег, дай и мне сказать. Слушайте меня. Потерпев несчастья, люди ищут виновных, упрекают правящих. Тысячу лет тому назад мой народ восстал против римлян. Было единодушие между бедными и богатыми, хотя бедные много терпели от жестокости богатых. Наши первосвященники не удерживали, но поощряли народ. Мы были ничтожны перед силой Рима. Наше восстание было безнадежно. Римляне разрушили храм, иудеи разбросаны по странам рассеяния нашего. Кто виноват? — говорил лекарь Соломон.

— Что нового сказано персом? — спросил Стрига и ответил себе: — Обучая лошадь грубостью и стра-

хом, я испорчу ее, тварь по природе добрую и разумную. О людях нечего и говорить. Закон нужен справедливый, нужна и вольная воля.

Отец Петр сел на своей лавке, жалуясь:

— Память моя, память! Худо старому. То ли в молитве какой, то ли в житии святых слова такие есть — да не пошлет бог людям все, что они в силах перенести. Так-то, братия. Ибо неведомы пределы земли и человеческой силы.

— Я показывал гостю нашему Симону свидетельства исконной жизни наших предков в Кснятине,— сказал Стрига.— Как звался былой Кснятин, сколько раз его воздвигали и падал он, никто не запомнил, хоть и засеяно место костями щедрее, чем семенами пашня рачительного хозяина. Место, удобное для крепости, привлекало к себе внимание древнейших насельников, как и нас. Стало быть, ум в них и цель их были такие же, как и у нас. Сила нужна. Честная сила. По моей мысли, в предании о Дагане и Нуширване сказано о беде, когда силу подменяют насилием, и о трудности для человека распознать одно от другого.

Над Кснятином гаснет заря. На твердую землю, как на постель, примеряясь сначала к низинам, нисходит сумрак, а в небе медленно движутся стаи воздушных зверей. Играют они, или во имя чего-то иного, не для игры, этот вечер избран ими для подражанья переселенью народов. Верблюды с длинными шеями, двугорбые, одногорбые, с вьюками и свободные, слоны с башнями, всадники, повозки на колесах, на полозьях, и толпы пеших людей, и стада струятся на юг с севера.

— Видишь, любушка?

— Вижу...

То ли не терпя пристальности взоров, то ли по собственной непонятной людям воле-желанью воздушные жители меняют обличья, падают верблюжьи головы, толпы превращаются в подобия волн, и весь караван, утончившись, тает — не как снег на солнце, не как туман после рассвета, но своим способом, безразлично исчезая в темной зелени, в густой сини небес. Что им, воздушным странникам неизмеримых высот! Покой и молчанье — такова их судьба.

Боярыня и боярин совершают обычный обход. Слышится сильный всплеск, будто играет крупная рыба в за-

ветном для Стриги болоте. Нет там рыбы. Через лягушачий стон прорезается истошный вопль: охотятся ужи, наверное, и старый знакомый Стриги — только один раз вскрикнула холодянка, сразу ее засосала широкая пасть. Остальным нипочем, орут. Не меня съели, и благо. Презренная тварь...

Тревожно... Разбередила душу беседа. Завтра гости уедут. Жаль, остается много несказанного. Сегодня Соломон и Парфентий, осмотрев щеку Стриги, решили — заживает лучше, чем на молодом. Боярин прислушался к телу своему — крепок. Будто бы крепок он еще.

Раб, прикованный к жернову, либо холоп злого господина знают, что выгонит из дома хозяин, когда кончится сила, и день нежеланной свободы станет худшим днем подневольных годов бытия. Ремесленник, земледелец, вдова, которым бог не послал либо отнял детей, со страхом ждут старческой дряхлости, и копят, и копят, чтобы, купив себе заботу чужих, не умереть бездомной собакой.

У боярина Стриги есть чем насытить и угреть себя в старости, есть что оставить вдове. Но он боится грядущего бессилия не меньше, чем раб иль холоп. Не хочет он сходить с поля, ему невыносима мысль о бездействии.

— Знаешь ли, Еленушка моя,— сказал Стрига,— не было у меня радости, когда я срубил Долдюка. Не было, нет. Разве только, что выстоял я. Разумом знал, что хорошо совершил нужное. На сердце же не было радости, как случалось мне раньше. И не гордился удачей. Зверь для русских Долдюк, но и он человек ведь. Что же делается со мной? Когда пленные половцы запели, тут я обрадовался. Чудно мне все во мне самом. Сердце возликовало несогласию половцев дать за себя много пленных на выкуп. Я только вид показал. Счастье было, что не придется половцев теснить, грозиться, запугивать. А ведь, бывало, я готов был рвать их голыми руками. Что со мной?

— Если б могла тебя больше любить, я тебя такого еще больше полюбила бы.

— А не слабею ли я? Велел я половцев хорошо кормить, не обижать. Велел водить их гулять, чтоб отдохнули на вольном воздухе. Для расчета, думаешь? Чтоб они, уйдя от злобы, меньше нашим пленникам чинили обиды? Нет, больше для того, что не лежит у меня душа теснить побежденного...

— Жить легче без злобы. Сам же признал ты — победил Долдюка, не дав душе замутиться, он же себя загубил яростью.

— Еленушка, лебедь моя, боюсь — слабею я. Говорю себе — нет во мне ничего, вид один. Сама знаешь, за князем у нас идут, а не князь гонит. Не пойдут, когда князь сзади останется. С бояр спрос еще больший. Не устоит Ксятин без моей руки. Бывает со мной такое — не то что на Клязьму уйти по твоему совету, туда бы ушел,— Стрига рукой указал в темноту.— Сидели бы мы с тобой в хатенке из жердей, радуясь солнцу, всходам. Вечером я, намаявшись за день досыта, засыпал бы сладким сном. Другие пусть за меня думают. Хотим — здесь. Хотим — уйдем. Вольные птицы! Не вправду ли нам подумать о Клязьме твоей?

— Нет,— ответила боярыня,— нельзя, не поедем. Там ты изноешь без дела. Спасибо тебе, открылся ты. Я давно чувствую смятенье твоей души. Нет, любимый, нельзя нам уезжать и не нужно.

На пустынном валу слышны последние соловьиные песни, да не слушают их ни боярин, ни жена его. Елена знала — есть еще много сил у любимого. Не было б силы, он в слабости бы не каялся. Душа его ищет, живет и растет в нем таинственным ростом. Изменяется он,— стало быть, бьется в нем сильная жизнь. И радовалась женщина цветенью неизносимой мужественности того, кого избрала, быв еще девочкой. Доведись начать все сначала, опять его взяла бы из многих.

И стала рассказывать, как осень придет в непролазной грязи, как тесно станет в Ксятине. Жужелец будет скуку развеивать, уча детей грамоте и споря с отцом Петром о каждой мелочи, даже — с чего начинать обученье и как продолжать, ибо оба они учат по-разному. Ссоры придется боярину разбирать, и на охоту будет он ездить, ловить ослабевших диких тарпанов, да и тура подстрелит, как случалось. В свободные зимние часы кто займется ремеслом, кто будет ворошить запасы зерна, чтоб оно не горело, кто овощи перебирать. Они же с боярином будут книги читать, будет Елена записывать под слова мужа погодные его записи о событиях, что видел, что слышал. Будут разбирать древнюю книгу Малха о старинных князьях Всеславе, Ратиборе и других, о годах, когда русские звали себя россичами. На двух языках писал Малх. Русский столь древен, что не все буквы понятны, разобравшись же с буквами, из пяти

слов только два понимаешь: изменилась речь с древних лет, и хорошо, что тот Малх писал рядом по-гречески. Местами пергаменты почернели, местами червь съел... Однако ж можно добраться до смысла.

Оживившись, Стрига стал досказывать женины слова: Малх-писатель жил на Рось-реке, а потом перешел в Киев. Не удалось еще понять, был ли тогда уже Киев или начинался. Река Лебедь Малхом упоминается и съезд крутой к Борисфену, по-гречески,— к Днепру, порусски. С лет Малха изменилось и греческое начертание. Жил Малх в годы правления Юстиниана Первого, более пятисот лет тому назад. Удалось понять листы, на которых Малх рассказывал, как предки обучались стрельбе из лука, езде, воинскому строю. Воины, они были лучше нынешних, умелые, могучие, смелые. С границы не уходили, хоть и жили под вечной опасностью от Степи. От них пошла воинская наука, с которой великий Святослав Игоревич ходил в свои походы.

Совсем оживился Стрига, и жена, выбрав минуту, сказала:

— Пойдем к дому, час благоприятен.

Глава шестая

В МНОГОЙ МУДРОСТИ МНОГО ПЕЧАЛИ

КОМУ В ЗРЕЛОСТИ ДОВОДИЛОСЬ ПОСЕтить памятный с детства берег, тот постигал жестокость будто бы ласкового моря. Даже сад, казавшийся далеким от воды, даже дом в его тенистой глубине — все исчезло. Смыта плодородная почва, разбито скалистое основание. Камни, привыкшие к древесным корням, теперь служат опорой для водорослей. Временность сущего очевидна...

Ранним утром двое русских стояли на одной из башен могучей стены, защищавшей Константинополь с моря. Базилевс Юстиниан Первый, обладавший империей пятьсот лет тому назад, по преданию, на этой башне любил встречать восход солнца. Здесь он, как говорят, размышлял о благе подданных и о благе империи, что не равнозначно, по мнению философов.

Палатий оставался владеньем базилевсов, от города его отделяла стена. Но нынешний

базилевс Алексей Комнин в эти дни командовал на Балканах войском, и охрана за некоторую мзду допускала осматривать Палатий людей почтенного вида. Юстиниан не водил войска, покидал Палатий лишь для отдыха на подгородных виллах, и в его дни Палатий не унижался любопытными.

Русские носили широкие плащи из тонкого, хорошо беленного полотна, с застежкой на плече, штаны из той же ткани были заправлены в низкие сапоги мягкой кожи, а длинные, до плеч, волосы удерживались тоненьким обручем. Это была одежда состоятельных и даже знатных людей, когда такие не хотели привлекать к себе внимание. Старшему русскому, Шимону, было лет сорок пять, другому, Андрею,— лет тридцать. Юстинианова башня, на которой они стояли, ветшала с годами, как все в мире, но выстояла: и ее, и стену защищали скалистые мели. Море могло сточить мели, но каменные глыбы, которые разбрасывали блюстители стен, мешали волнам. Империя тоже старилась. Бывали годы, когда она казалась неотвратимо обреченной, и все же она держалась.

— Как сохраняется империя? В чем ее сила? — спросил Шимона его спутник, недавно приплывший из Руси.

— Такой мыслью многие задаются,— ответил Шимон,— не замечая, как не замечаешь и ты, ответа в самом вопросе. Коль империя удержалась, мы можем легко справиться с прошлым временем: оно беззащитно. В нем, как в развалинах покинутого города, мы соберем то, что нравится нам, то, что подходит под уже известный ответ. Отбросив как ненужное все, с чем нам не справиться, мы воздвигнем легкое зданьице и объявим: се есть истина. Иначе скажу: мы обязательно примем победы империи за добро, ее пораженья — за зло. И утвердим — добро победило зло, поэтому империя и живет по сей день.

— Ты прав,— согласился Андрей,— а я поторопился. Действительно, слишком часто мы понимаем добро как свою пользу, а свой ущерб принимаем за зло. Верно, верно... Победитель не всегда прав и перед своей совестью, и перед богом. И все же мы обсуждаем, и обсуждаем, и ищем до последнего дыханья в груди...

— Человеку дана свободная воля,— ответил Шимон.— Я смиряю свою заносчивость, хочу понимать, объяснить. Бог знает все, но человека он заставил выбирать. Вот, гляди-ка!

В утренней тишине море блестело, как отполированная плита. Под стеной там и сям торчали изломанные реб-

ра каменных глыб. На них держались крабы. Эти странные существа, умеющие дышать и под водой, и на суше, стояли на тонких лапках, как причудливые изваяния. Маленькое живое чудо.

— В долговечии стены чуда нет,— сказал Шимон.— Бури точат и растаскивают волнолом, смотрители добавляют новые камни. Перестанут — и волна слижет стену. А эти,— он указал на крабов,— держатся сами. Волна их не щадит, рыба жрет, птица хватает. Ишь как напряглись, чуть что — и бежать. На сухой земле солнце их быстро убивает. А у воды краб греется, думает что-то, ему сейчас хорошо. И ведь вот какой — клешню или ногу оторвут, он новую умеет вырастить. Друг другу они пощады не дают, сильный слабого не только съест, но просто для потехи сломает и бросит. Но держатся все вместе, не разбегаются, здесь у них целый город.

— Ты говоришь о них, как о людях,— заметил Андрей.

— И они живые,— ответил Шимон.— Камень, вода — все неживое легко постигается. Камень падает вниз, и вода течет вниз — вот их закон, и нет у них воли. Но как зашевелилось самое малое творенье — тут и тайна. Объясни — почему, как, зачем? Все движутся, устраиваются, спешат, толкаются, спорят. Все хотят знать, хотят оправдаться. И никто не признает себя виновным. Свободная воля... Много дано, друг-брат, много и спросится...

Налево от мыса, на котором стояли друзья, синяя река Босфора терялась в зеленых холмах. Прямо за морем, на том, азиатском, берегу можно было различить отблески от золотых куполов. Там два города — Халкидон и Хризополь. За ними в неясной дали мягко синели Вифинийские горы, не скалистые кручи, которые вызывают мысль о трудном подъеме, а украшенье земли, сотворенное для радости человека.

— Было время,— напомнил Шимон,— когда имперская граница отстояла на тысячу и две тысячи верст на восток. За последние четыреста лет на том берегу побывали арабы и турки. И сейчас они сидят близко и точат нож на империю. В Азии двадцатой части не осталось от того, что Византия получила в наследство от Рима. В Европе тоже поубавилось, а в Африке и совсем нет ничего.

— Ты думаешь, что грекам близок конец? — спросил Андрей.

— Пророчат и такое,— ответил Шимон.— Возьми святое писание: от века пророки предсказывали бедствия в наказанье за грехи. Войны, мятежи, голод часты, их

легко предвестить. Но что будет после войны, мятежа? Как дальше будут жить люди? Я наверное знаю, что базилевс Алексей просил помощи у римского папы, чтобы западные христиане, невзирая на спор, помогли православным. Что выйдет, что будет? Я сам так сужу: тысячи тысяч человеческих желаний сплетают будущее, как канат сплетают из нитей. Даже тот человек, который будто бы ничего не хочет, ни к чему не стремится, все ж сотворяет нечто, называемое нами ничем. Бог дал человеку свободную волю. Кто сумеет сложить, собрать, взвесить все, совершаемое и желаемое нами сегодня, тот будет знать завтрашний день.

— Кто ж способен на такое? Только бог,— сказал Андрей.

— Стало быть, делай свое, внимай, гляди, постигай, что посильно тебе.

На площади Августы русские приостановились перед храмом святой Софии-Премудрости.

— Ты знаешь, когда был построен этот величайший в мире храм? — спросил Шимон.

— Читал я в книге Прокопия. Базилевс Юстиниан возвел храм на месте старой базилики, посвященной той же святой Софии,— отвечал Андрей.— Базилика сгорела при великом мятеже народа против утеснений того базилевса.

— И об этом я тебе расскажу в свое время. Скажу тебе по правде, я восхищаюсь Софией, но не люблю ее. Вначале, лет десять тому назад, по новости для меня здешней жизни, я Софию видел и во сне. Целые дни проводил в ней либо около. На торжественных службах мне мнилось — я возношусь к небу. Еще больше я тешился великим молчанием часов, свободных от службы. Ты видел, сколько там золота, драгоценных камней? Серебро же — как дерево у нас — повсюду. Денно и нощно там стоит бдительная стража.

— Я не заметил,— прервал Андрей.

— Они умеют сторожить скрыто. Спрятанные в умно устроенных убежищах, они невидимы, но сами все видят. И я, зная о страже, все же ликовал душой, будто один находился в лесах, где нет ничего, кроме дыханья предвечного. А потом — устал. Богу нужна доброта души. Купол, покрытый золотом, мал против звездного купола неба. Роскошные колонны не сравнятся с величием вольных дубрав. Софией и ей подобными храмами греки оглушают нас, варваров. И оглушают сами себя...

— Ты разлюбил греков? — воскликнул Андрей.

— Я? А разве я любил их? — ответил Шимон.— Почему я должен любить какой-то народ? И значит, ненавидеть какой-то другой? Я хочу любить человека... И однако же, ты прав. Греки мне ближе, чем арабы, турки. Ближе даже, чем наши братья по крови — поляки, чехи, болгары. Я признаюсь в своей слабости. Но довольно об этом. Я вспомнил о сгоревшей базилике. Там, по старому обычаю, в заалтарных кладовых хранились многие имперские записи, книги. хроники-летописи. Все погибло при пожаре, и утеря эта невознаградима. Человек смертен. И все же смерть вызывает мучительную боль, и нет утешения, кроме надежды встретиться в ином мире. Из созданного людьми для меня всего дороже мысли, запечатленные на пергаменте, на бумаге. Их гибель — вечная, настоящая смерть.

Русские шли по площади Августы, направляясь к улице Месе Средней. По преданию, в глубочайшей древности здесь была тропа, пробитая средь леса людьми, переправлявшимися через Босфор, в годы, когда не было Византии и когда Босфор не назывался Босфором.

На площади всегда многолюдно. Длительные богослуженья в Софии, вмещавшей несколько тысяч молящихся, к которым всегда примешивались любопытные иноверные, величественная красота статуй, великолепные здания, дворцы Палатия, поднимающиеся над стенами, грандиозная гора ипподрома, увенчанная скульптурами,— все здесь привлекало глаз.

Достаточно было бы естественного движения палатийской охраны, служащих и слуг — одних поваров в Палатии было больше двух сотен,— чтобы площадь Августы не оставалась безлюдной. Но здесь было также излюбленное место для прогулок жителей, сюда ежечасно приливали сотни приезжих. Даже ночью здесь не бывало пусто. Лунные ночи на площади Августы славились своей красотой. И, хотя после захода солнца улицы Византии становились небезопасны, любители прекрасного отправлялись группами в поздние прогулки.

Русская речь не привлекала внимания в городе, где звучали все диалекты. Беседуя, Шимон и Андрей приблизились к выходу на Месу. Толпа стеснилась. Почувствовав, как что-то скользнуло под плащ, Шимон резким движением поймал чье-то запястье и сжал руку вора. Андрей схватил вора за другую руку.

Молча сжав человека между собой, русские повели его,

выбираясь из толпы. Вор рванулся было, но сразу прекратил безнадежное сопротивление.

Взяв влево, Шимон остановился в громадной нише северной стены ипподрома, перед закрытыми воротами. Отпустив вора, русские встали между ним и площадью. Смирившись перед судьбой, неудачник спокойно ждал, шевеля помятыми кистями рук, расправляя пальцы. В длинной рубахе из серого холста, в грубых сандалиях, которые удерживались ремешками, обмотанными вокруг щиколоток, в мятом холстинковом колпаке на голове, он ничем будто бы не отличался от рыбаков, носильщиков грузов, мелких торговцев вразнос или мастеровых, к которым Андрей успел приглядеться за недолгие свои византийские дни.

Рядом с русскими оказался еще один человек, так же, но почище одетый, чем неудачливый вор.

— Господин,— обратился он к Шимону,— я следил. Этот человек хотел тебя обокрасть. Прошу, господин! Дом епарха близко. Вы оба принесете жалобу, и преступник более не будет вредить.

— Следил? — переспросил Шимон.— Я не хочу жаловаться.

— Но почему, господин?

— Он ничего не украл.

— Он хотел украсть, господин.

— Я не обязан заявлять! — решительно возразил Шимон. Сыщик сделал движенье досады.— Ты это знаешь,— продолжал Шимон.

Сыщик с гневом махнул рукой. Андрею показалось, что нечто выскочило из его рукава и скрылось.

— Господин плохо делает,— упрекнул сыщик и отступил. Вор сложил руки на груди:

— Да благословит тебя бог, добрый человек! Да хранит тебя и твоих матерь божья!

Сгорбившись, он скользнул между русскими и сыщиком. Соглядатай епарха схватил вора за шиворот рубахи. Но тот, присев, вырвался, ловко дал подножку своему врагу и скрылся в безразличной толпе. Вскочив, сыщик пустился в погоню, расталкивая прохожих.

— Ты видел, как он выдал себя? — спросил Шимон.

— Да,— ответил Андрей.— Он будто бы знает тебя.

— Наверное, знает. Византия полна ищеек. При Константине Первом содержали десять тысяч соглядатаев. Юстиниан Первый имел их в два раза больше. Сколько теперь? Немало. Этот следил за нами. Зачем? На всякий

случай. Известно им, Русь грекам не грозит и грозить не собирается. И все же... идут по следу, вдруг нечто найдется. Вор попался ему случайно.

— Но почему ты не выдал вора?

— В его глазах прочел я ужас, как у зверя. И простил его. По нашему закону. По здешнему закону его изувечили бы. Либо ослепили, либо отрезали нос и отрубили руку. Сегодня в моей сумке много золота. Срежь он ее — для меня большая потеря. Тогда сгоряча я, может быть, и отдал бы его на бесчеловечную казнь. Греческого закона я тоже не нарушил. По договору империи с Русью мы, русские, имеем право жаловаться на обиды от греков, но не обязаны жаловаться. И сыщик знает.

— Тонко судишь ты,— заметил Андрей.

— То-то. Поживешь — увидишь: здесь все тонкости, все не просто. А заметил, что прохожие будто слепые? Ни один не подошел ни к нам, ни к сыщику. Здесь люди отучены соваться в чужое дело. За себя постоит. Коль мятеж — себя не жалеют и действуют скопом. Но так, попросту, вора брать? Не его дело. К тому же сыщиков они ненавидят.

— Но как ты сыщика узнал, он же обличьем почти как вор тот?

— По голосу. И есть в нем что-то. Я уже пригляделся. А видел, у него в рукаве что-то было?

— Что-то мелькнуло,— ответил Андрей.

— У него там кистень подвешен,— объяснил Шимон.

На Месе Шимон вошел в лавку, заставленную сундуками, шкатулками, ящичками резной работы, ларцами. Кивнув хозяину, как знакомому, Шимон прошел в глубину. Там в открытом ларе лежал по виду хлам. Быстро и умело поискав, Шимон остановил свой выбор на трех тонких обломках, связанных пеньковой ниткой. Распустив узел, Шимон сложил обломки — получилась дощечка, не то крышка, не то боковина малого ларца с выступающими фигурками. Достав две медные монеты, Шимон предложил их хозяину, который принял цену с поклоном.

— Приходи через три дня, господин,— пригласил хозяин,— бог даст, будет что-либо новое. Мне обещали.

— Что ты купил? — спросил на улице Андрей.

— Все — и ничего,— шутливо ответил довольный покупкой Шимон.— Это копия, сделанная мастером по заказу какого-либо сановника по случаю брака базилевса Романа Четвертого и базилиссы Евдокии. Подобную работу

я видел из слоновой кости, целую — дорога она слишком. Да и не нужна мне. О страшной судьбе Романа и Евдокии ты слышал? Дела недавние. Евдокия, вдова Константина Десятого Дуки, мать шести малолетних детей, стала регентшей по смерти мужа. Вскоре она влюбилась в тридцатилетнего полководца Романа и сделала его базилевсом, вступив с ним в брак. На моей сломанной дощечке, как и на слоновой кости,— Христос, благословляющий их брак. По дьявольской злобе Роман изображен с лицом мальчика... После того как погубили Романа и постригли Евдокию, владелец выкинул вещь.

— Но почему так дешево ценят? — спросил Андрей.

— Она никому не нужна. Сломанное дерево, они же ценят не работу, а материал. К таким купцам ходят мастера-художники, ищут лом и бой для образцов. Но нам пора,— прервал себя Шимон.

Пройдя еще немного по Месе, он увел своего спутника вправо. Они шли узкими улицами, сжатыми высокими домами, в три, в четыре этажа, с крутыми лестницами, пристроенными к домам без плана, с единственной целью доставить многочисленным жильцам возможность поскорее спуститься и так же подняться. Безобразный ряд доходных домов внезапно прерывался стеной с глухо закрытыми воротами из толстых досок, обитых медными листами со шляпками громадных и нарочито грубо кованных гвоздей. Близ ворот — железная дверца-калитка. За стеной виднелись крыши, большие деревья высоко поднимали кроны, и толстая ветвь, протянувшаяся до половины улицы, вызывала воспоминания о сказочном лесе, замкнутом для людей, которые не знали слова. Это было владенье какого-нибудь сановника или просто богатого человека. Такие заранее устраивали себе крепость на случай частых волнений.

В нижних этажах домов и во дворах работали ремесленники. Пахло кожей, пекарней, чадом кузнечного угля, красильни поражали обоняние острой вонью красок и смрадом гнилых раковин-пурпурниц. Встречались красильщики с багрово-синими руками, с пятнами краски на лице. Тяжело тащился кузнец в кожаном фартуке, согнувшись под кулем с железом, гвоздями, углем. На тележках, запряженных ослами, везли камень, известь, дрова, туши говядины, облепленные мухами, мешки с мукой, соленую рыбу,— там, на главных улицах и площадях, жила, стояла, гордясь, поражая и угрожая, великая Византия, империя Востока, Второй Рим; здесь — задворки, кухня и кишеч-

ник, плата за пышность, оборотная сторона златотканой на мешковине парчи.

Где-то в глубине переулков Шимон нашел стену, ворота, калитку, похожие на ограду владений сановных людей, но с приметным отличием: над воротами — крест, гвозди в воротах образуют тоже кресты, тот же крест на двери калитки. Шимон постучал кулаком в гулкое железо калитки, выждал и сказал:

— Во имя отца, и сына, и святого духа...

Дверь отозвалась: «Аминь!» Андрей заметил человеческий глаз, явившийся в окошечке, неслышно открытом изнутри. Глаз исчез, послышалось бряцание железной цепи, грохот засова, и дверь открылась ровно настолько, чтобы мог пройти один человек. Русские вошли и оказались в нешироком, крытом помещенье монастырской привратницкой. Высокий широкоплечий монах прилаживал на место засовы и цепь. Андрей заметил дубину с окованным железом концом, которая стояла в углу. Тут же на стене висел тяжелый меч в черных потертых ножнах. Управившись с дверью, монах-богатырь, повернувшись к посетителям, приветствовал их:

— Во имя отца, и сына, и святого духа...

На этот раз «аминь» довелось сказать Шимону, и он осведомился у отца-привратника:

— Как спасение? — Монахов не спрашивают о здоровье.

Тот в ответ лишь вздохнул и горестно опустил голову. Но тут же, закончив с обязательным ритуалом, монах сказал:

— Вот, господин, в тот раз не решился, а ныне осмеливаюсь тебя спросить. С епископом, с преосвященным Ионой уехал к вам монашек один, служка его Матфей. Не видал ли его? И тебя, господин,— обратился привратник к Андрею,— о том же прошу.

— Нет, не видал,— отозвался Шимон.

— И я не встречал такого,— ответил Андрей.— Русь, отец, велика.

— Может ли быть? — удивился монах.— Поменее же будет нашей державы! Как же не встретить Матфея? Он видный собой.

— Видный не видный,— возразил Андрей,— да Русь во много раз больше империи. Так-то. Иона проехал в Новгород. Туда от Киева будет подальше, чем отсюда до Рима.

— Ты позови отца Марка,— напомнил Шимон.

— Да я уж повестил, прежде чем дверь открыть,— возразил привратник.

Отец Марк, сухой постник в черной камилавке с нашитым на лбу крестом из белой, коричневатой от времени, ткани, вошел, прихрамывая, и смиренно в пояс поклонился посетителям.

Русские ответили тем же низким поклоном. Не произнеся ни слова, отец Марк таким же поклоном и слабым жестом сухой руки пригласил посетителей следовать за ним.

По мощеному двору они, минуя встроенный в монашеское общежитие храм, вошли в узкую дверь первого этажа. Пахнýло маслом, бобами и еще чем-то съестным: кухня и трапезная близко. Отец Марк повернул влево — к церкви, сообразил Андрей,— и после узкого перехода они оказались в кладовой. Дверь в глубине ее, очевидно, сообщалась с храмом. На длинных полках стояли кадильницы, фляги с церковным вином, потиры, дароносицы, ковчежцы. Лежали богослужебные книги в роскошных переплетах, с тяжелыми застежками, кресты, свернутые епитрахили, фелони, золоченые домики — хранилища просфор с колонками и сводами или в виде голубей, с цепочкой для подвески над алтарем, светильники для масла в форме завитого рога, кораблика, дельфина, кита, в память о чуде с пророком Ионой.

В шкафах висели ризы, расшитые золотыми и серебряными нитями. В углу стояла большая крестильная купель. Из-под облезшего накладного серебра яро зеленела медь,— как видно, купелью не пользовались долгие годы. Сильно пахло смесью воска, застоявшегося ладана, меди, старой одежды, пыли и чем-то неуловимым и неповторимым — так пахнет в храмах, в монастырях. Не хорошо и не плохо, а особенно и незабываемо для того, кто слышал этот запах хоть однажды.

Так же молча отец Марк распахнул еще одну дверь. Это была вторая кладовая, меньшая, освещенная маленьким окном, забранным толстой решеткой. Здесь пахло плесенью и тоже особенным, тоже неповторимым запахом пергамента и египетской бумаги из листьев тростника — папируса. На полу лежало десятка три больших тюков и свертков, надежно, густо перевязанных веревками. Книги в переплетах из кожи и без переплетов, свитки разной толщины и ширины, от пальца и до отрезка бревна, просто листы бумаги, папируса, пергамента, подобранные по размеру, чтобы получился тюк. Высовывались

рваные, будто объеденные, концы листов, светлых, желтых или почти черных.

— Все? — спросил Шимон. В ответ отец Марк несколько раз кивнул.— Все, что я видел, что осматривал? — переспросил Шимон и получил немое подтверждение.— Я обдумал, сравнил,— сказал Шимон.— Я могу заплатить пятнадцать номизм. Полновесных, непорченых, старых, одним словом.

Ничего не говоря, отец Марк ушел. Вернувшись довольно быстро, отец Марк нарушил свое молчанье:

— Отец игумен повелел мне сказать: тридцать.

— Семнадцать,— предложил Шимон, и отец Марк снова исчез.

Так повторялось несколько раз, и каждый раз отец Марк отсутствовал все дольше. Последняя цена в двадцать три номизмы, предложенная Шимоном как окончательная, была наконец принята после особенно долгого отсутствия.

Шимон ушел, чтоб нанять телегу. Наедине с Андреем у отца Марка развязался язык:

— Ты по-гречески говоришь? И читаешь? И пишешь?

Удовлетворившись, отец Марк перешел на латинский язык и получил те же утвердительные ответы. Тогда, указав на тюки, монах сказал:

— Там и арабские есть рукописи. Есть иудейские. Однако таких не много там. Но не совсем уж и мало.

— Этих языков я не разумею,— ответил Андрей,— но знатоки у нас есть. Я ж по-арабски лишь говорю, да и то плохо.

— Ты что ж? Торгуешь с арабами? — слабо заинтересовался отец Марк.

— Нет, собираюсь в далекую дорогу. На восток. И подучился немного.

— Без языка — не дорога,— согласился отец Марк и вздохнул, потеряв интерес к разговору.

Отцу Марку было горько. Тридцать лет отбыл он монастырским библиотекарем. Монахи, умевшие и желавшие читать, убывали, или так казалось старику, жизнь которого уже явственно замыкалась. Впрочем, отцу Марку было все равно, он пребывал среди своих книг, не видя греховного даже в грубых словах Плавта, Аристофана, Апулея. Игумены не замечали светских книг. А вот последний, нынешний, приказал: все светские писанья собрать, запереть. Даже отцу Марку было запрещено к ним прикасаться. Все обрекли тлению, все, все... А потом пришел русский

с разрешеньем самого патриарха отбирать и покупать в монастырях ненужное, по мнению игуменов. И вот совершилось — все светские писания уходят на Русь. «Пусть, пусть,— утешал себя отец Марк.— Только бы жило державное слово». Великое, дивное чудо даровано людям через воплощение деятельной мысли в слово. Богу все едино, писал христианин либо язычник. По воле бога пишущий обращается ко всем народам. Чтение книг есть благо. Иные книги вызывают желание опровергнуть написанное, даже гнев против писавшего. Другие умиляют, возвышают душу, сообщая новые познанья, разъясняют бывшее темным. И те и другие хороши, ибо и в гневе отрицания, и в радости согласия с пишущим одинаково трепещет живая мысль. От бога и Сенека, и Тацит, и Апулей, как святой Августин и апостольские послания. От дьявола — льстивое слово, угодническое, ползучее. От дьявола идет слово, усыпляющее мысль и душу в ложном покое, в бездеятельной самонадеянности. Бог сказал: «Изблюю тебя из уст моих за то, что ты не холоден и не горяч, а только тепел. О, если бы ты был холоден или горяч!..»

Первая добродетель монаха есть послушание. Прав отец игумен. Некому в монастыре читать светские книги, пусть просвещаются русские.

В предместье святого Мамы, названном так по храму этого святителя, с давних лет базилевсы отводили места для постоянного пребывания иноземных купцов, следуя не какой-либо выдумке, но общему и старинному порядку.

По древнеиталийской пословице, равные причины не равные предвещают следствия. Эта мудрость, подобно каждой подлинной истине, предупреждая о сложности жизни, не может быть применена ко всем случаям. Ничуть не сговариваясь с прибосфорскими властями, власти древнего Новгорода на Волхове с не запомнившегося летописцами времени отводили особые места для жительства иноземцев: в Новгороде гости германские, шведские и другие имели собственные подворья. В Киеве такие подворья назывались улицами, как и в Чернигове.

В константинопольском предместье прихода святого Мамы Русь владела собственным подворьем, по-гречески — кварталом, где порядком ведал русский староста, консул — по-гречески. Отношения с городскими властями определялись писаными договорами. На одну из статей договора и сослался Шимон, не желая выдавать на жестокую казнь неудачливого вора.

Из-за частых смут, из-за многих войн, подвергавших опасности нападения столицу империи, русский квартал был защищен особой стеной, и русские, заперев ворота, могли какое-то время и отсиживаться и оборонять себя, свое добро. Ни городская стража, ни греческое войско не смели произвольно входить в иноземные кварталы. Сам городской епарх, называвшийся в римские времена префектом, или его помощники в случае надобности навещали иноземный квартал по предварительному условию.

Шимон с Андреем, идя вслед за тяжелогруженой телегой, почувствовали себя дома, когда сплошные тележные колеса покатили по мостовым плитам своей, русской улицы.

Дома со стенами тесаного камня — он здесь доступнее, дешевле дерева — выдавали вкус владельцев: есть лучше, есть и хуже, а такого нигде нет. Правда, не каждый, но многие дома глядели узкими окнами в резных деревянных наличниках собственного, русского дела, в котором нехитрый будто бы рисунок, сложенный кружками, крестиками, треугольниками да квадратами, радуя глаз, был в обманчивой своей простоте единствен и не повторен ни одним народом. Резная доска на коньке крыши, не тесовой, а местной крупной черепицы, не обходясь без петуха, делала крышу русской, своей — как знакомое лицо в чужом уборе побеждает чужое обличье, и, забывая покрой и узоры иноземного платья, смотришь только в милые глаза — они ведь окна души.

Откинув подворотную доску, Шимон распахнул ворота, и телега, подпрыгнув, въехала во двор. Из дома выбежали двое подростков. Шимон, скинув плащ на руки одному, велел другому открыть клеть и живо разгрузил телегу. В монастыре тюки таскал богатырь-привратник, а Шимон стоял с видом знатного человека, который не испачкает руки. Так здесь полагалось, как видно.

За обедом говорили по-гречески. Жена Шимона была гречанка, подростки — русские, отправленные родителями из Переяславля в науку к Шимону, им подобало учиться. Андрей пользовался греческой речью с удовольствием русского человека, легко осваивающего чужое. Шестым сотрапезником был человек в поношенной монашеской ряске, смуглый дочерна, с черными волосами, битыми проседью, как шерсть на спине серебристого лисовина. Знаток книг, Афанасиос гостил у Шимона, отдыхая после путешествия по Азии. «Шествуя пешком, мы любой путь одолеваем»,— шутил Афанасиос. Теперь он собирался на Русь, и время отъезда его зависело от срока,

в который подготовят к отправке очередные покупки книг. Он должен был доставить переяславльскому князю Владимиру Мономаху отобранные для него Шимоном книги, а остальные распродать русским любителям. Шимон почти двадцать лет занимался этим делом, получал достаточный доход, принимал заказы и брал учеников.

Для Афанасиоса поручение Шимона не было главным делом. Он был философ, по-русски — мудролюбитель или мудропоклонник. При Афонском монастыре лепилась кучка подобных людей. Одни из таких, приняв постриг, вели хронограф — погодные записи, другие оставались до старости послушниками, то есть, нося рясу, были обязаны лишь трудиться, а трудом были также и добровольные путешествия; о которых затем составлялись записи. Для Афанасиоса монастырь был домом, ибо некогда он дал туда вклад — хоть и весьма малое, как говорил он, зато все свое достояние.

За столом Шимон рассказывал Андрею:

— Вот подумай, друг-брат, я ведь за купленное ныне заплатил в десятки раз меньше, чем эти книги некогда стоили бывшим владельцам их.

— Почему же отдали? — спросил Андрей.— В монастыре не понимают цены?

— И понимают, и знают,— возразил Шимон.— Но книга, хоть ею торгуют, есть товар особенный, ни с чем не сравнимый. Возьми так. В купленном мною есть много испорченных книг, с гнилыми листами, наполовину и более истраченные. Что они стоят? Кто назовет цену? Коль говорить о монастырях, то многие игумены не хотят держать светских книг. И даже старых духовных книг избегают, ибо в них могут быть изложены еретические воззренья, а разобрать некому. А вот погодные записи, по-нашему — летописи, не отдадут. Могут согласиться переписать для заказчика. Такая работа стоит дорого, да и как ей быть дешевой! Чтоб написать книгу размером две четверти на полторы листов сотен в восемь, переписчику придется работать полгода. Сообрази, что стоит хотя бы только содержать писца. Но монастырская работа обходится дешевле, игумен всегда рассудит, что все равно монаха кормить нужно. Да и труд переписчика справедливо почитают богоугодным.

— Покупатель книг,— сказал Афанасиос,— подобен рыбаку или охотнику. Как у тех развивается некое чувство, чутье, которое помогает им выбирать место для ловли, так и у книголюба бывает.

— У нас говорят: на ловца и зверь бежит,— заметил Андрей.

— Так, так,— одобрил Афанасиос.— И на этого ловца,— он указал на Шимона,— набегают. Его знают в столице у нас. И на дом к нему приходят с книгами.

К вечеру склеенные обломки дощечки высохли, и Шимон, освободив зажим, взялся за кусок пемзы, чтоб подчистить клей, выступивший из швов.

— Расскажу тебе, друг-брат Андрей, о тех, кто на дощечке изображен. Издалека возьму. В 1056 году умерла от старости базилисса Феодора, последняя племянница базилевса Василия Второго Болгаробойцы и младшая дочка Константина Восьмого. Никого из родных своих она не сочла достойным, старуха была сурова до жестокости, ибо свои родные угнетали ее без пощады, хотя бы старшая сестра, базилисса Зоя Распутная. И передала старуха престол немногим ее младшему военачальнику Михаилу Стратиотику. Стал он шестым базилевсом этого имени, которое, как тогда же заметили ученые люди, добра империи не приносило.

— Друг мой Шимон,— прервал Афанасиос,— грешишь ты против бога истины и обижаешь ученых людей. Мало ли что твердят лжефилософы с историками, хиромантами, астрологами, гадателями на зернах, камнях, внутренностях! Наука и сущее-то, нынешнее едва может испытать, а будущее — нет, и при чем же тут наука? Коль будущее может чему-то открыться, то лишь вдохновенью!

— Нужно же чем-то и речь украшать, иначе слушать не будут,— усмехнулся Шимон.— Так вот, года не прошло, как Михаил Вурца, Никифор Вотаниат, Исаак Комнин и другие командующие в Азии избрали своей волей базилевсом Исаака Комнина. Мятежники с такой силой вышли на тот берег Босфора, что Михаил Шестой добром ушел с престола. Через два года базилевс Исаак, тоже человек старый, заболел, решил принять схиму и отдал престол знатному человеку и высокому сановнику Константину Дуке, первому своему помощнику по правлению. Они вместе успели сильно обрезать дворцовую роскошь, отняли имущество и именья, которые щедро раздавали своим любимчикам предыдущие, быстро сменявшиеся базилевсы и базилиссы. Крепко поубавили они церковные земельные владенья, отменили особые денежные содержанья, платившиеся храмам и монастырям.

— Все такое христиане одобряли,— заметил Афанасиос.

— Константину Десятому исполнилось пятьдесят два года,— продолжал Шимон,— когда он сел на престол. Умер он через десять лет, оставив жену с шестью детьми, малолетними. Евдокии тогда еще сорока лет не исполнилось. Была она больше чем на двадцать лет моложе мужа и, став вдовой, еще почиталась из первых красавиц, а в молодости ей, говорят, равных не было. К тому же светлого ума и великая книжница. Константин Десятый заранее нарек базилевсами трех старших сыновей, а от всего синклита, то есть от всех высших сановников и полководцев, были взяты клятвенные записи, что никого они не признают базилевсом, пока будет жить хоть один из младших Дук. Евдокию муж назначил базилиссой-регентшей на время малолетия сыновей. И с нее взял запись, что замуж она никогда не выйдет. Все покойник предусмотрел, да вышло иное...

— Иное вышло,— вмешался Афанасиос,— ибо нет у нас высшей силы, чтоб понуждать выполнять закон, хоть и есть он. У нас власть берет тот, кто одолеет.

— Верно говоришь,— согласился Шимон,— но везде так. Даже у нас на Руси хоть княжение и держится в одном роду, но между собой князья спорят. И даже брат на брата идет. Ты, друг Афанасиос, своих не слишком хули. Иль твое униженье паче гордости?

Афанасиос не ответил, и Шимон продолжал:

— Вскоре в Палатий под стражей привезли обвиненного в злоумышлении полководца Романа Дигениса, сына того Дигениса, которого без смысла загубил Роман Третий. Базилисса пожелала сама его допросить. Бог щедро наградил Романа красотой, силой, разумом, красноречием. Словом, объявили Романа очищенным от вины. Евдокия сумела получить обратно от патриарха свою запись, чтоб не выходить замуж. Так нашелся у Евдокии новый муж в том же году, когда умер старый, и венчали ее с Романом, нареченным базилевсом-регентом...

Жена Шимона вздохнула и сказала:

— Девчонкой была я. Отец меня на плечо посадил. Видала я их. Оба красавцы, и не скажешь, кто старше...

Шимон продолжал:

— Константин Десятый оставил плохое наследство. Повсюду были уменьшены войска, расходы на крепости урезаны, запасы оружия не возобновлялись... Что ж ска-

зать о законах? Пишут много законов и говорят: управляет закон. Люди правят, а не законы.

— Неверно говоришь,— сказал Афанасиос.— Если уподобить власть базилевса сердцу, то сколько раз оно останавливалось? Три, пять лет проходит — и меняется власть. Перерыв, а? И длится он, пока новый не усядется, не оглядится. А империя живет. Мы привыкли. Имперские служащие учатся друг от друга, от старого к молодому передают уменье. И судьи судят, и сборщики исчисляют и собирают налоги, и местная власть следит за порядком, и военная власть о своем заботится. Почта медленная — дождь, снег, гололед портит дороги. Базилевс сменился, а там через месяц узнают. Еще уподоблю империю теченью реки: от внезапного ливня выходят реки из берегов, но не изменяют руслу.

— А теперь как? — спросил Шимон.— Теперь сильные владельцы начали по-своему делать, начиная снизу. Теперь они, между собой сговорившись, ставят базилевса из своих... Но позволь, друг Афанасиос, я продолжу свой рассказ. Итак, Константин Десятый верил в убедительность слова. Указы при нем писались красиво — об истине, о божьей воле. Уверяли, что, отбросив блуд, лень, благодушие, чревоугодие, корысть с жадностью, все подданные — от высшего сановника до последнего обозного в войске — сумеют сделать с малыми средствами много больше, чем совершалось прежде с великими силами. Турки же рвали себе кусок за куском, в Азии падали крепости, и никто не понимал, как подобное случалось. Могли бы Евдокия с Романом Четвертым запереться в Палатии, подобрать своих людей и думать о собственном благополучии. Но не такие они были люди. Вскоре после свадьбы Роман побил турок в Сирии, выгнал их из припонтийских областей. Зимами Роман недолго жил в столице. Зима здесь коротка, и каждое лето Роман воевал, и удачно. Но сильные его ненавидели, и особенно злы были все Дуки, родственники трех малолетних базилевсов, именем которых правили Евдокия с Романом. На четвертый год Роман с войском в сто тысяч сошелся с турками близ Ванского озера. Запасным отрядом командовал Андроник Дука, и лишь попущенью бога можно приписать доверие к нему Романа. Дука в нужнейший час боя злоумышленно отвел свой отряд назад, чем дал туркам победу. Роман сам бился до последнего, был ранен и взят в плен. Тут уместно помянуть притчу, которую турки сложили про ромеев: «Создав ромея, аллах огорчился, но, по мило-

сти своей не желая уничтожить свое творенье, задумался, как быть? И создал второго ромея».

— Это верно,— заметил Афанасиос,— однако и мусульмане, злорадствуя взаимной вражде христиан, не замечают, как краток был век единства ислама. Еще быстрее, чем у христиан, в исламе погасла мечта, будто бы единство веры оснует единство людей. Явь жизни обманывает мечтателей и предсказателей...

— Узнав о плене Романа, Дуки отвезли Евдокию в монастырь Богородицы на Босфоре, где насильно постригли в монахини, а правящим базилевсом объявили старшего из отроков — Михаила. Турки выпустили Романа за обещание выкупа. Султан предлагал ему войско, чтоб изгнать из Палатия Дук. Но не таков был Роман, не мог он сделать так, как делали предшественники нынешнего Алексея, которые наводили на империю турок и уступали им имперские земли за помощь. Роман хотел сам собрать силу, но не успел и сдался Дукам. Три епископа были поручителями условия, что Роман отрекается от престола и уходит в монахи. Иоанн Дука сделал себя и их клятвопреступниками: по дороге Романа ослепили раскаленным концом шатерного столба, и он умер от ужасных ран. Его тело привезли в монастырь к Евдокии и позволили ей сделать над могилой роскошное надгробие. Ты, друг-брат Андрей, можешь навестить монастырь и взглянуть на гробницы обоих несчастных.

— Хоть и в тревогах, но четыре года была она счастлива. Такое дается не каждой женщине,— сказала жена Шимона, вытирая глаза. Положив ей руку на плечо, Шимон продолжал:

— Не высчитываю, что Роман делал верно, в чем ошибался. Вот преданье. Из всех базилевсов такое люди сложили только о нем. Рассказывают, что в маленьком поселке Катани, в половине дня пути морем на восток от Синопа, летним утром рыбак нашел в своей лодке, вытащенной на берег, спящего под сетью человека. Незнакомец спасся вплавь с судна, утонувшего ночью, и так устал, что тут же уснул. Рыбак торопился. Незнакомец вышел вместе с ним в море. За один час им попалось столько рыбы, что пришлось возвращаться неслыханно рано. Так повторялось три дня, а на четвертый сосед, у которого заболел сын, попросил помощи, и ему улыбнулась удача. Другие стали просить и себе приносящего счастье, и скоро был установлен ни для кого не обидный порядок.

Счастливый, как его звали в глаза, выходил в море с каждым по очереди, и круглые сутки дымки сочились над коптильнями, и каждые три-четыре дня лодки ходили в Синоп, и рыба была так хороша, что ее покупали сразу, без торга, и требовали еще и еще, и рыбаки остерегались спрашивать Счастливого, кто он, откуда, желая, чтоб он забыл свое прошлое и оставался с ними навсегда. Он был молчалив, спокоен, но почему-то порой ужасался, вслушиваясь в речи людей, хотя что могли рыбаки рассказать друг другу? Всем известное, и ничего более. Счастливый старался что-то объяснить. Его не понимали, и скучали от его слов, и скрывали скуку, ибо боялись, что он уйдет и вместе с ним — счастье.

В то лето дождь выпадал всегда вовремя, на каждом огороде, на клочках тощей земли среди скал выросло столько овощей, что хватило бы на всех жителей, и каждое малое дерево обещало столько плодов, сколько не бывало на больших.

Пришел черный день, и Счастливый не захотел больше помогать рыбакам. Он много говорил, но слова его не складывались в связную речь. Вскоре он надоел всем горше чесотки, и ему сказали, что должен он либо по-прежнему ходить в море по очереди, либо уходить вон, куда хочет. Ибо теперь рыба перестала ловиться, и люди лишились мечты, а потерявшие мечту злы. И Счастливый ушел, и никто не видел, куда и когда.

После первой осенней бури северо-восточный ветер выбросил на берег мертвого. Лицо было страшно изуродовано, будто бы море нарочно раздробило глазницы. А тело напоминало Счастливого.

Рассказ этот с небольшими изменениями обошел всю империю, но место появленья Счастливого называли поразному, упоминая и западные берега Евксинского Понта, и берега Эгейского моря, и даже провинции, расположенные далеко от морей. Там незнакомец приносил счастье не чудесными уловами рыбы, а пробужденьем небывалого плодородия земли.

И всюду его изгоняли и потом находили тело с изувеченными глазницами. Утверждают, что это появлялся тоскующий дух базилевса Романа-мученика, при котором сильные испугались, налоги облегчились и турки были бы изгнаны, не будь измены. Но как сумеют подданные защитить своего базилевса, коль даже слов его не могут понять!

— А дальше...— нарушил молчание Афанасиос, но

запнулся, потеряв нить мысли. Встав, поискал на полке, раскрыл книгу и прочел: — «Солнце ускорило свой ход, но убыстрилось и течение ночи. Время спешило, и все в мире спешило за временем, от созреванья трав до рожденья детей. Время спешило как веретено в руках нетерпеливого прядильщика, и нить казалась бесконечной, и кокон будущего, с которого сматывалась она, казался безгранично богатым, тяжелым, плотным, как слиток. И не было ни у кого ощущенья конца, ибо не было ни одного законченного действием дела, потому что жизнь не драма на арене, потому что только там, на арене, автор приходит к задуманному концу, утешая чувства зрителей искусной полнотой завершенья. А великий автор не получил бы признанья, ибо он знает, что нужно, начав, не закончить, а разорвать, тем самым возвысив свое сотворенье до истины...»

Чуть задохнувшись, Афанасиос воскликнул:

— Истинно так оно, так! — И, обращаясь к ученикам Шимона, строго потребовал: — Неустанно живым сердцем ищите, не гасите умственного огня! Чести не преступайте — и познаете тщету смерти. Нет смерти, ибо конец переходит в начало!

Ночь завершила подниматься к вершине и вниз пошла, тяжело кутая город вороньими крыльями. В улицах тесно от теней домов, уже проснулись добытчики пищи, пробудились слуги и рачительные хозяева, но отблески масляных светилен и пламя хлебных печей не светят прохожему, а слепят его. Но внятны запахи, тянет жареным орехом, горячим хлебом, мясным варевом, луком, чесноком, пряностями южных морей: еще недолго — и развернется голодная утроба столицы, требуя мириадами ртов пищи, пищи, пищи, и да получит каждый насущный хлеб по заслуге своей.

Шимон с Андреем спешили к Палатию, чтоб увидеть церемонию утреннего приема базилевса. Их провожали в неблизкой дороге трое соседей с тяжелыми дубинками, а под плащами все пятеро прятали длинные кинжалы тмутараканско-корчевского дела, какими и колотят, и рубят. По попущенью божьему можно ввести в соблазн ночных воров. Ношение оружия воспрещалось подданным, а иноземцы обязывались к такому же воздержанию договорами с империей. Меняются времена, законы не отменяются, но снашиваются, как все на свете. Много лет,

как стража не глядит на такое. Начальнику города — епарху сподручно не возбранять иноземцам самозащиту, это выгодней, чем платить пеню за труп.

К пятерым русским пристроилось несколько человек, пожелав им доброго дела, потом нашлось еще несколько попутчиков, и Шимон отпустил провожатых. Так в последнюю улицу перед Палатием оба друга вошли с кучкой десятка в два человек и оказались в тылу немалой и довольно шумливой толпы.

Мелкий дождь кропил невидимой пылью. Знаток здешних мест, Шимон отвел друга к стене. На уровне плеча нащупывалось подобие ступени. Опершись одной рукой на плечо Андрея, Шимон прыгнул вверх, протянул руку товарищу, и оба они оказались в глубокой нише. Когда-то здесь стояла статуя или большая ваза, по староримской манере, а сейчас нашлось укрытое место для гостей базилевса.

— Слушай, друг-брат,— тихо говорил Шимон,— вот тут пред нами множество не последних в империи людей. Разных людей — и признанных великими хитрецами, и просто разумных, и вовсе не славящихся умом, и совсем простодушных; есть жадные и щедрые, есть бескорыстные, но тщеславные, есть убежденные в себе и еле скрывающие робость, есть мечтатели, но также и безразличные ко всему, кроме собственного блага... Но всех их роднит вера в губительность сомнений, сближает вера в необходимость поддерживать однажды принятое. Верно тебе говорю, иначе они не пришли бы сюда: любопытных здесь, может быть, лишь мы двое. Пусть они верят только на словах. Но ведь само слово есть великая сила. Оно возводит и разрушает. Помнишь вавилонскую башню? Бог смешал языки, и строители бросили дело... Слово ползет муравьем, а муравей вряд ли постигает дерево, по которому движется. Слово летит птицей. Оно может быть гнусным, как клоп, и прекрасным, как херувим. Слово объединяет людей и сотворяет народы. Но, думаю я, никогда и никто не мог заметить дня, начиная с которого мысль, облеченная в словесную плоть, покидает ее, и слова, каменея, слагаются в безжизненные стены. Слушай! Не в самом ли союзе мысли и слова заложено богом тайное условие: чем совершеннее мысль воплотится в слова, тем крепче станет ее плен, тем сильнее слова человеческие, освобождаясь от власти мысли, сами, плотно ложась одно на другое, будут строить гробницы для отца своего, духа? В Болгарии доведенные до отчаяния

богомилы считают весь видимый мир твореньем зла. В далеких странах востока, куда ты собираешься, есть, говорят, инды, которые уверены в том, что вся жизнь лишь сонное виденье, и поэтому они ищут настоящую сущность в вечном молчании и в одиночестве...

Ты недавно спросил меня,— продолжал Шимон,— не погибнут ли завтра греки? Скажу тебе — всегда находились люди, которые старались разрушить и вновь возвести крепости окаменевших слов словом же. Но разрушали железом. И обманывались! И обманывали других, утверждая победу железа, подобно как больше тысячи лет тому назад Рим италийский свалил былую Грецию, как потом франки свалили Рим италийский. Обманывались и обманывали потому, что разрушенные на вид железом крепости слов, за которыми прячутся люди, на самом деле падали сами, истлевая в свой срок. Откуда мне знать, когда падет эта империя! Не верь мне, когда я ненавижу греков,— я люблю их, и я разыскиваю в них всякую скверну и проклинаю их потому, что люблю. Железо арабов и турок будет бессильно, пока не обветшают словесные стены. Да, мне кажется — здесь слово уже окаменело. Но что глаза и ум человека?

— Они — узкая щель,— ответил Андрей.— Да, щель узенькая, но я-то, друг-брат, через нее вижу нашу широкую Русь. Мой далекий путь — как петля, как круг. Пойду по нему, и Русь всегда передо мной будет. Ты же набрался великой мудрости, но душу себе замучил.

Хотел добавить Андрей, что пора бы Шимону вернуться домой — легче ему станет, но не решился из уважения к другу и к старшему. И молчал, а ветер упал с крыш домов в улицу, бросая дождь мокрой горстью. Тьма сгустилась и вдруг посерела — светает. Тучи рвались, как гнилое рядно, дождь хлынул ливнем и сразу прекратился, вылившись весь. Стали различаться фигуры людей, увиделись лица. В Палатии звонили колокола, заблаговестили городские храмы. Окончилась ранняя утреня.

Улица, вымощенная головами, шевельнулась, уплотняясь. Еще немного — и живой песок, безмолвно преобразившись в густое тесто, содрогнулся и липко потек, уминая и вдавливая себя в жесткий прямоугольник входа.

Шли, раскачиваясь, все вместе, с опущенными руками, чтобы сберечь ребра, неловко, мелко и быстро шагая, чтоб сберечь ступни в давке, и душно пахло мокрой одеждой, мужским телом, маслами для волос, сдобренными жасмином, розой, гвоздикой, мятой, и пахло сыростью, нечи-

стотами, конским навозом, размятым ногами, и шли, топчась, удушая ступнями лужи, наполненные истолченной грязью, и были сдавлены беспомощно, безвольно, как вода в желобе, и здесь не хватило б никакой силы, чтоб повернуться, свернуть в сторону, здесь сломили б медведя. Быть здесь, пройти через это испытанье было пробой смиренья, было неумышленным предупрежденьем тому, кто задумал явиться перед лицом власти: познай, ты случаен, мал и бессилен, когда собираешься в толпы, ибо в толпе каждый враг каждого, ибо только в рядах, построенных властью, ты будешь в безопасности, возможной для смертного.

Впоследствии Андрей рассказывал, что он испугался. Да, на него напал страх, настоящий, неизвестный раньше, в сравнение не идущий ни с чем, что случалось потом за пятилетнее путешествие в страну сунов на берегу Восточного океана и обратно на Русь.

Очевидно, эта мука входа, это течение к воротам продолжалось долго, ибо за воротами Палатия, где тело освободилось из тисков, а душа вырвалась из толпы, не было ни ветра, ни сумерек, а было солнце, которое успело восстать над зеленью Вифинийских гор, чтобы обозначить неизбежность победы света над мраком, чтобы обратить к себе венчики тех цветов, чьи стебли мудро послушны: ведь солнце бесконечно превосходит тысячи глаз, которыми глядит ночь. Знамение! Не мудр ли в людях тот, кто, обладая прекрасной гибкостью цветка, отдается воле единого светоча?

Здесь воздух чист, здесь шли вольно, оглядываясь. Здесь приветствуют друг друга. Но молча! Движеньем руки, головы и улыбкой. Много улыбок, улыбок. Пусть умело выражают радость, ибо мрачность здесь непристойна по этикету, но и вправду здесь хорошо. И как ловко умеют иные — и многие! — прибавив шаг, вырваться вперед и приостановиться, обернувшись, чтоб тебя увидели, заметили, запомнили твое усердие, от сердца идущее.

Этим — более чем тысяче видных, знатных людей — сегодня базилевс вовсе не нужен, и они ему не нужны. Сегодня только из служилых, только из высших сановников базилевс подзовет к себе для дела, может быть, трех, может быть, пятерых, но не больше. К чему же стремятся старательные сотни? Быть увиденными. Они будут молчать и присутствовать. Присутствие им зачтется, ибо они необходимы: пустые залы Палатия немыслимы, невероятны. Полные залы — собранье. Безгласное, но

так и нужно там, где говорит один. Без них нет речи, но собранье, где может держать речь каждый, это мятеж. Тех, кто не ходит на безгласные собранья по безразличию, по небреженью, по лени, кто-то в недобрый час может окрестить и мятежниками.

Великолепная охрана дворца холодно и спокойно скучала, и колокола звонили, звонили. Их звук не терял своей прелести, как теряет ее однообразно и часто твердимое слово: животворящая мысль отвращается от собственных созданий, а звук меди бездушен, потому и бессмертен.

В дворцовой двери — евнух, белый, как лебедь, с золотыми ключами в бледных руках. Это Великий Папий, всегда евнух, управитель Палатия, государь всех дверей, блюститель дворцов, садов и подвалов, повелитель всех слуг. Он отошел внутрь, высыпав мелкую монету — диетариев, младших мастеров церемоний. Эти люди — люди быстрых движений, с бесстрастно-строгими лицами — распорядились верноподданными.

Удерживая одних, пропуская дальше других, они кого-то размещали в первой от входа зале, кого-то — во второй, кого-то — в третьей... Андрей спешил за Шимоном, а Шимона на невидимой привязи вел один из этих вертких людей, скользя на мягких подошвах, плечом вперед, никого не задевая, дальше и дальше. Внезапно для Андрея, но на самом деле по точнейшему расчету, проводник-диетарий поставил обоих русских в широком проеме дверей перед пустой залой. В глубине ее — узкая дверь, блестящая серебром.

— Это Золотая зала; сюда выйдет базилевс, мы на лучшем месте,— шепнул Андрею Шимон.

Диетарий, друг Шимона, трудился по дружбе, а не за золотые номизмы, которыми оплачивались подобные услуги. Диетарий был любителем книг, посвященных Эроту — Амуру, и Шимон уступал ему такие без ущерба для своих русских заказчиков. Чего только не находилось в покупаемых гуртом библиотеках, а судьбы иных книг причудливей судеб человеческих!

В торжественном молчании четыре спальника принесли нечто златотканое и с почтительной осторожностью опустили на скамью близ серебряной двери: так пришествовала туника базилевса из ризницы. Тут же кто-то — старший диетарий, объяснил Шимон,— на цыпочках подкравшись к двери, постучал в нее, и серебро отозвалось, и дверь открылась, и явился Девтер, помощник

Великого Папия и тоже евнух. Всю ночь он сторожил изнутри дверь в личные покои базилевса.

По человеческому несовершенству, друг-диетарий иной раз одаривал Шимона дворцовыми секретами без выгоды для себя, и, коль подумать, не без риска. Про Папия с Девтером он говорил: «В сих божьих твореньях, исправленных человеком, тайное погибает, как слепые котята в колодце».

Спальники подняли тунику вчетвером, как поднимают икону, и унесли ее внутрь. Мгновение — и базилевс Алексей вступил в Золотую залу. Квадратный вырез туники открывал сильную шею, из коротких рукавов высовывались мускулистые руки. Блистая золотым шитьем, базилевс глядел поверху, чтоб не встретиться с кем-либо глазами. Уверенным шагом сильного телом человека, привыкшего и к седлу, и к ходьбе, он повернул к восточной стене, где в нише его ожидала икона Христа. Опустившись на колени, он молча молился, падал ниц, поднимался, простирая руки, как человек, просящий о помощи в крайней нужде.

Андрей сочувствовал Алексею-базилевсу. Этот — и воевода, и сам храбрый боец — взял власть и умом, и мечом. Его предшественник, Никифор Третий, грязный и распутный старик, полководец, захвативший престол насилием и хитростью, за недолгое правление расточил империю в борьбе с соперниками. Последний из них, Никифор Мелиссин, командовавший войском в Азии, заключил союз с турками и за военную помощь уступил им все ранее захваченное ими, даже Никею. Оба Никифора собирались договориться, и, не вмешайся Алексей, они поделили бы остатки империи себе на прожиток, как купцы — прибыль. С запада герцог Апулийский нормандец Гискар собрался завоевать империю по примеру нормандского герцога Вильгельма, завоевателя Англии. Алексей отбился, отбросив врагов, но только на несколько шагов. Империю сравнивали с больным стариком, дряхлость которого делает опасной любую болезнь. Базилевсу есть о чем молиться...

И все же публичность утренней молитвы была обрядом. Подданные должны были видеть общенье владыки с богом. Давно уже базилевсы так начинали свои приказы: «Во имя отца, и сына, и святого духа, моя от бога державность повелевает...»

Такое совсем не пусто от смысла, как понимали русские. Ибо, коль бог допустил восшествие к власти, коль

позволил патриарху благословить базилевса на престол своим именем, нет верующим бесчестья почитать в базилевсе божьего помазанника, и ему не бесчестье напоминать подданным о божьей воле.

В Золотой зале на возвышении стояло большое изукрашенное кресло. Это Священный престол, на котором базилевсу было положено восседать в особо торжественные дни и принимая послов. Налево и прямо на полу — меньшее размером кресло, обтянутое пурпурным шелком, назначенное для церковных праздников. Направо, тоже на полу, раззолоченное кресло для будних дней. В него и сел базилевс после молитвы, а перед ним склонились Великий Папий с Девтером. Базилевс что-то сказал, и Папий заструился к выходу из зала, где стояли русские, сел на скамью у входа, отдуваясь и всем видом показывая усталость.

К нему подскочил малый сановник адмиссионалий — вводящий. Великий Папий приказал ему нечто, и тот пошел, негромко восклицая:

— Великий Логофет! Великий Логофет!

Не заставив себя долго ждать, к Папию подбежал чернобородый сановник и поклонился с уважением, но не слишком низко. Сморщив улыбкой безволосое лицо, Папий утомленно поднялся со скамьи, на которой он один имел право сидеть, и повел сановника в Золотую залу. Перед креслом базилевса Великий Логофет пал ниц, целуя высокие пурпурные сапоги Алексея, по его жесту поднялся и заговорил, удерживаясь от жестов, Папий же вместе с Девтером отступили подальше.

Великий Логофет по должности ведал внешними сношениями империи и содержаньем дорог. От входа в Золотую залу до кресла базилевса было, на взгляд Андрея, не меньше тридцати шагов — звуки слов гасли, и базилевсы, соблюдая этикет, занимались государственными делами перед лицом подданных, но втайне.

Шимон коснулся руки Андрея, и оба они потихоньку попятились. Освобожденное место заплыло, а русские с благопристойной медленностью покинули первую приемную. Часа через два общий прием прекратится, и посторонние освободят Палатий, дабы отдохнуть и подкрепить свои силы. Через три часа после полудня вся церемония повторится. Так бывает, если не происходит особых событий. От тысячи до двух тысяч людей дважды в день посещают Палатий не для того, чтобы делать что-либо, но чтобы показать свое усердие.

Стоя в первом ряду, Андрей ощущал подобие жужжанья пчел в улье. Во второй приемной звук усилился: здесь разговаривали чуть громче, но тоже не шевеля губами и не глядя друг на друга. Особое уменье. Но в следующих, отдаленных приемных уже различались голоса.

Русские уходили не одни, из дворца сочился живой ручеек. «За последние годы,— говорил Шимон,— этикет ослабел».

Солнце стояло высоко, от ночного дождя не осталось следа. Прошел час или немногим более. Андрей пожаловался, что устал, будто болен: в седле от зари до захода так не устанешь. Шимон утешил — и ему не легче, место такое и давит, будто ты льняное семя под гнетом.

Вечером за общей беседой Шимон говорил:

— Нет правителя, который замышлял бы зло, мысля о подданных: сделаю так-то и так-то, чтобы в моем государстве люди жили хуже. И нет более легкого дела, как осуждать дела правящих.

— Отказываясь от суждений, человек отказывается от свободной воли, дарованной богом,— возразил Афанасиос,— и делается подобным животному. Принимая безгласно дурное, человек соучаствует в нем.

— Но где мера? — спросил Шимон.— Я разумею меру для намерения.

— Дело есть мера,— возразил Андрей.— Зверь неразумный или дитя поступают, не зная зачем. Первый — от голода, второй — для забавы.

— Нелегко указать на первую причину в государственных делах,— ответил Шимон.— Она может быть скрыта, как сила, которая весной оживляет росток в семени. Мы с тобой, Андрей, видели сегодня, как высший сановник всенародно глотает пыль с сапог базилевса. Такой обряд соблюдают уже сотни лет. Зачем он? Почему он вечен? Здесь бывает и так, что высоких сановников за малую вину при всех обнажают и бьют палками, как рабов. Избыв вину, сановник продолжает служить базилевсу. Такое не считают позором, но уподобляют отеческому поучению...

— Если б князь тебя на Руси...— вскинулся Андрей, но Шимон остановил его:

— Не сравнивай! Одному — одно, другому — другое. Было — и я, сравнивая, рассекал имперские порядки, как

нож воду. Изучая, постигая, я изменил скороспелым сужденьям. Рассудим. И четыреста лет тому назад, и больше, и совсем недавно законы империи ратуют за земледельца. Не было базилевса, который не понимал бы, что достаток, жизнь империи идет от земледельцев: пища для всех, нужный ремесленнику материал, воины для войска, налоги в казну. Многие законы начинались словами: «Еще в Евангелии сказано, что богатому труднее войти в рай, чем верблюду проникнуть в игольное ушко, что бедные будут у бога, а кто не трудится, тот не ест». Неоднократно базилевсы отбирали монастырские земли, раздавая их земледельцам. Богатым запрещалось не только захватывать землю обманом, но даже покупать ее. Все эти законы не отменены и действуют по нынешний день. Иные базилевсы, как Василий Болгаробойца, убивали сильных, делили захваченные земли на участки и раздавали бывшим наемникам и слугам убитого сильного. Жадных сановников постоянно укорачивали, даже смертью. Заботились и о налогах, чтобы земледельцы могли платить, не разоряясь, не теряя охоты к труду. Итак, я сказал о намерениях, изложенных в законах. Хулить такое не должно. Отсюда же я коснусь униженья высших. Базилевс всех равняет, потому-то сановник ползет перед ним, как низший слуга.

— Ты прав как философ,— согласился Афанасиос.— Однако ж позволь мне напомнить, что учитель мудрости призывает к делу. Без дела желания и вера мертвы. Почему в империи при добрых намерениях получается иное? Против такого ты не возразишь.

— Слово расходится с делом. Базилевсы обманывают — вот тебе легкое объяснение,— ответил Шимон,— но неверное. Сущность вижу совсем в ином: империя находится в непрестанной войне. Как часто в те же годы, когда сочинялись добрые законы, империю брали за горло. Сам этот величайший во вселенной город разве не бывал осажден с моря и суши? Разве не спасался он только прочностью своих стен, которые легко оборонять изнутри? Империя не остров. И где тут беречь подданных, когда смерть наступает! А с кого взять деньги? С земледельца. Была бы империя островом... Юстиниан Первый мечтал превратить в остров весь мир, распространив империю и христианскую веру до пределов земли. Он хотел добиться единства веры в империи, и того даже не добился. Но мог бы достичь желаемого, будь он базилевсом острова. Но, повторяю, империя не остров, а укрепленный лагерь,

палисады которого каждодневно ломает враг, внутри которого беспрерывны поджоги...

— Да, друг,— ответил Афанасиос,— и мне казалось подобное, и даже от других слышал похожие слова. Воистину, империя не остров, и иное было бы с ней, находись она на острове. На острове, может быть, добились бы уравнения всех на службе империи и базилевсы, требуя исполнения законов, сотворили бы легкую жизнь даже для убогого калеки.

— Вы оба ищете оправданий,— вмешался Андрей.— Но, по мне, коль законы хороши, а получается плохо, то не мудрец законодатель и не добрый человек, а напрасный мечтатель. На Страшном Суде будут нас судить не по мечтам, а по делам, и тою же мерой отмерится правителям.

Афанасиос возразил:

— Ты, русский, ищешь пытливым умом. Достаточно ль ума? Шимон живет среди нас не двадцать ли лет, ты, Андрей, ста дней еще не прожил. Пусть глаза зорки, пусть остры суждения, а все же...

Затруднившись, Афанасиос продолжил:

— Ты, друг Андрей, сегодня впервые видел почитание базилевса. В языческом Риме императоров приветствовали, поднимая руку. И еще можно было поцеловать в плечо. Потом опускались на одно колено. В христианской империи обряд еще усложнился, и вскоре начали ползать, как ты видел сегодня. Но что на душе у ползущего? Любовь или подделка, подобострастие? Удивляетесь? А тому не дивитесь, как часто у нас вслух клянутся в любви к базилевсу, к империи? Ты, Шимон, не наслушался?

— Да, слыхал и слышу,— отозвался Шимон.

— Но ведь многие, многие,— продолжал Афанасиос,— воистину любят. Заподозрив в другом холодность чувств, такие разъяряются, могут даже убить. Такие доносят не из выгоды. Подобная любовь к властям для вас, людей посторонних, есть извращенная похоть...

— Это грех,— заметил Андрей,— ибо что сказано в первой заповеди? Не сотвори себе кумира и всякого подобия!

— Ты судишь, как русские,— возразил Афанасиос,— а русские суть недавние язычники, воспринявшие веру в простоте учения. Мы, древние христиане, отличны от вас...

После паузы Афанасиос продолжал:

— Друг Андрей, ты видел сегодня роскошно вооруженных телохранителей базилевса. Это избранное войско еще недавно пополнялось норвежцами, шведами, датчанами, исландцами. Эти северяне, люди воинственные, были привлечены роскошью и жалованьем. Ныне преобладают англичане. Они здесь женятся и остаются навсегда. Нормандцы лишили их родины. Ты скажешь, Англия осталась? Остались названье и толпа, которую нормандцы обтесывают себе на потребу. Нет там обычаев, привычек, свободы. Значит, и родины нет. Что человек, как не сын человеческий? А империя не плавильный ли тигель?

Шимон и Андрей не отвечали. Афанасиос сказал:

— Трудно постичь империю. Уподобления уводят в сторону. Сравнения, без которых не обойтись, убедительные сегодня, завтра теряют силу. Позвольте мне, друзья мои, предложить вам рассказ, чтоб ум отдохнул от рассуждений?

Не встретив возражений, Афанасиос начал:

— Еще и сегодня некоторые народы, как в отдаленной древности, живут простой жизнью. Счет родства они ведут по материнским линиям, ибо не знают брака. У них ребенок не будет покинут, больного, старого, увечного кормят без укоров. Добытое одним делится между всеми. Все они равны во всем, нет между ними богатых и бедных. Там каждому тепло, как овце в стаде.

Не золотой ли век? — продолжал Афанасиос.— Не о таком ли люди хранят память, разукрашая ее сказками? Но некогда пришло время, когда люди, наскучив общностью, разделились. И мужчина сказал себе и другим: «Вот моя жена и мои дети!» И женщина соглашалась из любви к мужчине, и они оба уходили, ведя за собою детей. И почитали своей собственностью землю, обработанную ими под пашню, и колодезь, вырытый ими, и рощу, и деревья. И научились говорить «мое», «наше», и не допускали других к своему, возражая: «У вас есть свое, а нашего не берите».

Так они жили, объединенные любовью, и ветер дул на них, и не было защиты у них, кроме собственной руки, и хотя одна семья селилась рядом с другой, но у каждой было свое поле, свой скот и вся остальная собственность. И вот империя прислала к ним писцов, и писцы измеряли, сколько югеров пашни, и добивались знать, сколько чего родилось за последние десять лет, сколько оливковых деревьев, сколько югеров под виноградными

лозами, сколько самих лоз, и сколько лугов, и где пасут скот, и сколько скота, и сколько ставят стогов, и нет ли соленой воды, чтоб выпаривать соль...

И вычисляли: сколько платить за пашню по ее урожаям, сколько за масло, за вино — по числу масличных деревьев и лоз и по их силе, и за пастбища, и за скот, и за луг, и за лес, и за соль, если она добывается земледельцем. Но если соль не добывалась, то за соль не брали. Так же брали за жилища — по числу очагов, от которых поднимается дым по утрам, и за каждого человека, который дышит,— эта подать называется «воздух» — «аир». И сверх того особый сбор на возведение крепостных стен и другие... И также самому сборщику подати, что называлось пошлиной, ибо сборщик шел к плательщику, а не плательщик шел к сборщику. И сверх того, тому же сборщику погонные на содержание помощников сборщика. И еще нечто, ибо сборщики были ответственны перед казной базилевса, а казна, имея списки, знала, сколько должен принести каждый сборщик, и за недобор требовала от сборщика не объяснений, но денег. Не получив денег, могла взять жизнь сборщика. Хоть жизнь сборщика имела цену лишь для него самого, но, взяв ее, казна получала устрашение другим сборщикам, что для казны полезно. Еще были самые деньги, которые изменялись, ибо в целях выгоды империи базилевсы выпускали более дешевые деньги, примешивая к золоту серебро и медь в большем количестве, чем прежде, а налоги взимали по расчету старой монеты, и был такой счет тонок и труден даже обученному человеку, а плательщик не знал грамоты.

Был такой же военный постой — митатон: обязанность дать кров и пищу солдату. И доставлять хлеб для войска по особо дешевой цене. Своей силой участвовать в строении крепостей, возить камень, дерево, песок, известь, а также строить военные корабли. Живущие вблизи государственных дорог обязаны содержать в порядке дороги и на своих участках возить на своих лошадях имперских служащих.

И еще было войско, которое шло на войну, и солдаты брали все у своих же, и пасли лошадей на полях, и разводили костры из плодовых деревьев, и военачальники не мешали солдатам, ибо от этих солдат они завтра потребуют самоотвержения, стойкости перед смертью, а живет человек не три раза, и не два раза, а только один и в тоске повторяет: лучше живому псу, чем мертвому льву, и при

мысли о битве, навстречу которой он идет, рвет сегодня куски с жадностью пса.

И все беды из-за того, что человек сказал: «Моя жена и дети мои», и захотел заботиться о них, и привязал себя к куску земли, и не может бросить свой удел, ибо земля дает жизнь тем, кого он любит, а без любви жизнь не имеет цены, и он, грубо и зло проклиная себя и любимых, несет свою ношу.

Он говорит своим волам: коль на вас бы столько навалить, сколько на меня! И пашет, и смеется, и слагает песню, потому что он человек и нет конца человеческой силе.

И вдруг он останавливается. Колокол сельской церкви дребезжит: «длинг-длонг-длинг». Что случилось? Пахарь развязывает сыромятные ремни, сбрасывает ярмо с бычьих шей и бегом гонит волов. Из дома выбегают его жена, его дети, каждый тащит на себе самое дорогое, о чем вспомнилось в страхе, и, навьючившись сами, они выгоняют со двора свинью, овец, осла, и все бегут к лесу на ближней горе и гонят глупых животных, непослушных, заразившихся страхом от хозяев. Туда же бегут соседи, кто-то несет больного ребенка, тащат бессильных стариков, старух. Видны яркие, праздничные платья — то девушки уносят лучшее достояние на себе, чтобы освободить руки для другой ноши. На северо-востоке, там, где поворачивают между невысокими, но крутыми, поросшими лесом хребтами и речка, и прорытая ею долина, и дорога, протоптанная со времен сотворения мира, веет облачко дыма. Набат умолк — звонарь спасает свою жизнь.

Через реку вброд, воды по колено. Зимой и в ливни река разливается в поток, который уносит вековые деревья, как щепки, летом воды едва хватает. Люди и животные гремят окатанной галькой. Скорее, скорее! Волы бегут медленно, их бьют. Никто не оглядывается. Не к чему, не к чему оглядываться. По узким тропкам, пробитым между зарослями колючих кустов, беглецы врываются в лес. Вперед, еще глубже, еще дальше. Убедившись, что все свои — женщины, дети, волы, свиньи, овцы — здесь и теперь в безопасности, будто бы есть безопасность в этом мире, мужчина отстает. С ним его сын, старший, лет двенадцати, помощник, который уже умеет все, знает все, не хватает лишь силы. Мальчик захватил — не забыл — отцовский лук и колчан из луба, обшитый овечьей шкурой, отцовский меч, боевой топор на длинном топорище и деревянный щит, окованный железом, с ши-

рокими бляхами, подбитый двумя слоями толстой кожи. Старший и младший, утирая пот, возвращаются на опушку. Из леса слышен голос, женский голос, протяжный крик, в котором оба различают — один свое имя, другой — имя отца. Поворачиваясь, мужчина отвечает, в ответе — приказ и утешенье.

На опушке двое — большой и малый — оказываются не одинокими. Десятка два таких же отстали и вернулись. Все вооружены, здесь все умеют держать оружие. Они ждут, пользуясь тенью. Они видят, невидимые. Пыль, пыль, пыль. Всадники. Передние уже у домов, передние уже проскочили мимо домов. А там, левее, все клубится пыль. Нашествие? Набег?

Конные толпы движутся медленно, лошади идут шагом. Это передние скакали, отряд разведчиков, глаза войны, чтобы осмотреться, чтобы высмотреть, нет ли засады. Десяток всадников скачет к реке, прямо к мелкому броду. Муть уже улеглась, ее унесло тихим теченьем, но свежий навоз выдает, выдает влажная галька, которую солнце еще не успело просушить с теневой стороны,— у разведчиков глаза — осиное жало. Видно, как лошади тянутся к воде, как всадники не дают им пить. Мелко, подпруги затянуты; лошади вредно низко опускать голову, когда затянута подпруга. Осторожно, чтоб не разбить копыта лошадей, всадники движутся по широкому руслу. К лесу. По следам. Все сразу они поднимают коней в галоп, скачут, нарастая, увеличиваясь. Защитники леса жмутся в тень — знают: солнце сзади, солнце бьет всадникам в глаза. Тетива лежит в вырезе стрелы. Пахарь привычно щурит левый глаз, мускулы вздуваются. Мальчик стоит справа, готовясь подать новую стрелу в руку, которую отец отбросит назад после выстрела. Шагах в ста от опушки всадники с криком, в котором слышится особенное, гортанное «ааа!», круто берут в стороны, и пестрая стремительная стая в развевающихся ярких повязках на острых шишаках, в вихре длинных лошадиных хвостов, во вспышках крыльев плащей, с топотом, звяканьем стали разлетается, отброшенная невидимым препятствием, и — назад, круглые щиты подскакивают на спинах, и — стой, стой! Вот они все вместе. Их, казавшихся толпой, вряд ли больше десяти, они — кучка, лицом к лесу, глядят, ждут. Чего?

Люди жили в раю, был мир, лев и ягненок пили из одного ручья.

За широким ложем реки с узенькой лентой блестящей

воды идут конные. Налево, в проходе между горами, стало ясно — пыль улеглась. С опушки видны обломки каменных стен над проходом. Когда-то и кто-то построил там крепость, замкнул долину. Когда-то и кто-то разрушил ее. Кто и когда? Неизвестно, бог знает. Дети Каина или потомки Авеля? Других нет, все люди братья.

С развалин крепости видно очень далеко. Там живут старик и старуха, их содержат складчиной. Это они подняли дым, который увидел звонарь, пробивший тревогу.

Разведчики хотели узнать, кто в лесу. Хотели вызвать движенье, бросились назад, будто увидели и чтобы вызвать стрелы. Но никто не сорвал тетиву, они ничего не узнали. Что они будут делать дальше?

А они не рискуют больше, каждый держится за жизнь: прожить лишний день, лишний день взять у судьбы. Человек понимает человека, все люди были братьями, от родства остается способность понимать, хоть бог и смешал языки, мстя за грех вавилонского столпотворенья. Но в лес конные не пойдут, сарацины и турки любят чистые поля. И — хотят жить.

Разведчики посылают коней к реке, находят глубокое место, выпаивают лошадей. Исчезают. Войско идет. Идет много сотен конных, тысячи, наверное, отсюда не сочтешь. Верблюжьи шеи поднимаются, как змеи. Пахари знают, что сарацины, турки, кто бы там ни был, не остановятся здесь. Весна в начале, ранние посевы едва всходят, под поздние еще пашут. Дальше к югу, на половину дня ходьбы, долина расширяется, там широкие луга покрыты травой, там нашествие остановится на ночь. Местные пахари знают, чужое войско тоже знает. Не в первый раз. Так было, так будет.

Отец подсаживает сына на дерево. Ловкий, как ласка, мальчик исчезает в молодой листве ореха. Ствол толщиной в два охвата несет лес раскидистых ветвей. Вершина, опаленная молнией, суха, и оттуда видно далеко. Мальчик спускается, прыгает на землю, от него пахнет яблоком — аромат листьев ореха. Никого не видно, пусто у домов, и вся дорога пуста — сарацины ушли.

Ушли? А не вернется ли кто-то из них, чтобы застать людей врасплох? Сарацины и все, кто воюет, ловят людей.

Дождавшись сумерек, мужчины возвращаются. Сарацины походя разгромили, что попало под руки. Плодовые деревья изрублены мечами, ссеченные ветки валяются на земле, стволы изранены. Двери сорваны, ограды

повалены. Дома, сложенные из нетесаных камней, связанных глиной, слишком тяжелы, чтобы их можно было походя свалить, но сарацины побывали всюду, ломали столы и дощатые кровати, били корчаги для воды, глиняные миски, скамьи, нарочно оскверняли жилища нечистотами. Тайники, вырытые под землей, где припрятывают зерно, семена овощей, запасное платье и другое, в чем не нуждаются каждый день, целы, но ущерб все же очень велик, все нужно починить, все исправить своими руками, все сделать заново. Уйдут дни и недели тяжелой работы. Не теперь, теперь еще не к чему стараться — рано.

В лесу, за первой складкой горы, за колючими стенами жестких, как из рога кустарников, бьется невысыхающий источник сладкой воды, там — пещерки, подрытые в мягком камне под слоем крепкого камня, там всегда прячутся, так как туда нет дороги, туда не топчут троп, подходы туда берегут и ходят, даже в бегстве, поврозь. Теперь будут жить там, пока не прекратится война сарацинов с империей.

Живут в норах-пещерках. На рассвете, как только по кручам, по лесу можно пролезть, а через кусты можно продраться, мужчины, и подростки, и мальчики, и девочки, и женщины, и девушки — все, кто может и обязан перед своими и перед собой, уходят из убежищ на свои поля — нужно кончить с посевом. Одни гонят волов, четырех волов, которых можно запрягать в тяжелый плуг. Таких сборщики налогов называют зевгарями, у таких большие земли, такие больше платят. У других — пара волов, эти платят меньше, у третьих — один вол, у четвертого нет вола, такой пашет на себе, ему помогает осел, но осел плохой пахарь, и его владелец записан у сборщиков пешим.

Из тайников достают семена, пашут, у одного больше поле, у другого меньше, но все работают одинаково — в полную силу. Проходит один дождь, выпадает другой, семена превращаются в зеленую поросль, в стебли, стебли колосятся. И падает третий дождь, и колосья наливаются так, как давно не бывало — бог смилóстивился и посылает урожай. Старшие говорят: «Такого не помним». Они помнят, но им хочется думать о будущем, а прошлое не имеет цены. О прошлом рассказывают сказки, так как песни забылись.

Было так — за великим Дунаем на черной от жира земле, в которой ни камня, ни корня, хлеба стояли, спо-

собные скрыть конного с пикой. И по сю сторону Дуная были обильные урожаи на красной земле. А как же здесь оказались? Прадедов переселил базилевс. Какой? Забыто имя, забыто, почему поселили, зачем. Нет ответа. Бог знает. Божье всеведенье необходимо, так как люди знают слишком мало: ничего не знают, как говорит священник, который однажды в год приходит, дабы окропить могилы усопших святой водой и дать отпущенье умершим в его отсутствие, благословить браки, крестить новорожденных, принять исповедь, отпустить вольные и невольные грехи и приобщить святых тайн. И проверить, как помнят молитвы, и напомнить о соблюдении постов. И, отслужив литургию в развалинах церквушки, на развалинах звонницы которой надтреснутый колокол будет звонить благовест, а не набат, священник в проповеди своей будет обещать рай всем и ад — непослушным.

Новая луна народилась, минуло полнолуние, наступили темные ночи, ячмень созрел, и его сжали. Сушили на поляне в лесу, вылущили зерно, перебрав руками, чтобы не пропадало ни зёрнышка, солому спрятали в зарослях. Сарацины же не возвращались, и ни одна живая душа не появлялась. Сарацины могли вернуться другими дорогами. Сарацин могли победить. Однако же разъездные торговцы всегда проезжали во время созреванья ячменя и возвращались к жатве поздних хлебов. Год был хорош, израненные плодовые деревья дали больше, чем в прошлом году. Богато родили лесные деревья. Орехи сидели семейно — и пять и шесть крупных ядер в зеленом кожаном глянце на одном черенке. Наливались маслины. Стебли пшеницы подсыхали, колосья склонились, еще немного — и пора жать.

Имперское войско пришло в тот же час, что сарацинское, только с другой стороны. Конница походя травила поля лошадьми. Жители бросились к начальникам. Начальники отвернулись. Потом навалилась пехота, подобно второй волне саранчи. Пешие успели порыться в домах, около домов и, с чутьем на чужое добро, добрались до иных тайников. Насыпали сумы зерна, взяли из одежды, что показалось им лучшим, а начальники пеших так же отворачивались от жалобщиков, как начальники конных.

Едва пятая часть от обещанного богом урожая досталась пахарям — тяжелый пришелся год, год гнева божьего. Свое войско наделало бед больших, чем вражеское.

Все, что в силах человеческих собрать, собрано. Ди-

кие деревья обобраны, как и посаженные человеком. В лесу не оставлено ни одного яблока-кислицы, ни одной дикой груши, ни одной ягодки красного кизила, ни одного мелкого ореха с кустов, крупного — с деревьев. Все, что нужно сушить впрок, высушено, накопчено на дымных сушилках. Ходили вверх по теченью реки. Там, за поворотом и узким местом, которое берегла былая крепость, некогда жили люди. Ныне — развалины домов и одичавшие, но обильно родящие деревья. Ходили и вниз по теченью реки, в широкое место долины, где тоже развалины, много развалин, там жили, наверное, тысячи. Широкие луга захвачены дикими травами и зарастают кустарником. С гор спускаются деревья. И все же кое-где еще чувствуется след плуга, межи, торчит отесанный камень, на котором высечены буквы. Это хозяин обозначил границу владенья.

Есть преданье, что здесь, как и вверх по теченью, жили люди одного языка. Их всех — много тысяч семей — переселил давным-давно базилевс, имя которого они забыли, из страны, именуемой Фракией. Земли они взяли, сколько хотели, сборщики налогов к ним не ходили. Знались они с полководцами, которым давали воинов, и сами себя защищали. Плохо было выбрано место: далеко до леса, а проходящим войскам удобная стоянка. Поэтому и погибли здешние жители. Это истина. А прочее, наверное, сказка, бог знает... Здесь много дубов, желуди — хорошая пища для людей, когда нет иной.

Стало холоднее, от частых дождей вздулась река, настало время мира. Мира без хлеба — собранного урожая едва хватит на семена. Разъездные купцы приезжали с опозданьем из-за войны. Базилевс победил врагов: сарацин — в Азии, болгар — в Европе. Когда напились допьяна крепко выбродившейся браги из слив, один купец пустился обличать победы — они-де хуже поражений; другие ему заткнули рот: язык твой — враг твой. Это истина, бог знает.

Торговали плохо. Шерсть и кожа были нужны самим, чтобы соткать одежду и сшить обувь вместо украденных и отнятых войском, сало нужно самим, чтобы не отощать без хлеба, не было меда и воска — ульи разбили сарацины. Брали в долг, с отдачей в будущем году, но купцы назначали большую лихву, двойную цену, нужно дожить, люди смертны. По необходимости отдавали купцам последнее — не на словах, на деле,— серебряные монеты миллиарисии и золотые номизмы, по-старому — солиды,

или статеры, извлекаемые из немыслимых тайничков, устроенных со змеиной хитростью, которой человека наделяет только любовь к своим и на которую не способно себялюбие.

После купцов приехали сборщики налогов для базилевса. Старший начальник, двое помощников, трое воинов, нанятых сборщиками для охраны. Развернулись свитки списков. Начался счет: за пашню, за плоды, за скотину, за дым, за дыханье души, за рубку, за хворост, за воду. К итогу добавить — первая добавка. К итогу добавить — вторая добавка. Ко всему добавить по закону для сборщика, то же — сборщику за помощников, то же — за охрану, то же, сверх всего,— первый новый налог, и еще, сверх всего, второй новый налог.

Пахали каждый порознь. Жали — каждый для себя. В лесу собирали кто сколько мог. Бежали вместе, защищаться хотели вместе, жили в пещерках вместе, теперь вместе, все два десятка хозяев, считали — привычно и споро,— раскладывая цветные камешки и палочки, назначенные для дела, все одинаковые. Никто не знал грамоте, но все умели считать, и все помнили счет, и всё держали в уме, а камешки и палочки служили для доказательства — как запись. Однако же сбивались, отвлеченные сложностью выводов сборщика, мудреными его рассужденьями, утомлялись и, чтоб не казаться глупцами, кивали, делая вид, что понимают. И вот наконец против каждого имени в одном списке записано, сколько номизм и миллиарисиев он должен дать. Во втором списке — сколько всего отдает с присчетом второй добавки. И в третьем, и в четвертом — дополненье по новым законам.

Все двадцать отказались платить. Нет ничего. Сарацины разорили дома и порубили деревья. Свое войско потравило поля и отняло оставшееся после сарацин. Нет ничего. Пусто. Голод. Смерть.

Сборщик излил каскады звучных слов: базилевсу нужны деньги, иначе сарацины и другие враги империи воспрянут, разорят империю, разрушат храмы, уведут в рабство христиан и сделают их язычниками, что есть бедствие хуже смерти, ибо люди лишатся рая. И опять убеждал, и вновь другими словами говорил то же, с чего начинал. Не убедил.

Прибегнул к сильным словам: не выдумывая, перечислил казни, заключения в тюрьмы, продажу в рабство, пытки — удел неплательщика. Не испугал. Упорствовали — «ничего не имеем».

Обратился к хитрости: встретил-де купцов, рассказали о покупках, жители-подданные имеют, на что покупать, имеют, чем уплатить налоги. Пахари не поверили, ибо знали, что купцы, поневоле оберегая своих должников, их не выдали, чтоб не причинить себе убытка.

Тогда сборщик объявил решенье именем правящего базилевса, великого, мудрого, защитника закона, любящего праведных подданных и ненавистника злобной корысти лжецов: в залог недоимки он, сборщик, именем закона берет весь скот — волов, коров, ослов, лошадей, если они есть, свиней, овец и коз. И десять недоимщиков, которых он назвал по именам из списка, обязаны гнать их под надзором сборщика и его людей в город, где скот будет продан и выяснено, покрыта вся недоимка или нет.

Все двадцать долго молили о пощаде. Не вымолив, умолкли и вдруг накинулись и связали всех шестерых прежде, чем кто-либо успел защититься. Сборщик угрожал, напоминая о городе, о воинском отряде, который, придя на поиски, дознается, и все будут казнены как мятежники. Не слушая, бунтовщики вытащили шестерых на берег реки, вздутой дождями. Шестеро просили о пощаде. Сборщик клялся всеми святыми и спасеньем души, что прощает недоимщиков, что в городе заявит казначею о вопиющей нищете разоренных войной подданных, что недоимка будет с них сложена. Не верили. Всех своих они собрали на берег, кроме самых малых, несмышленых детей. Одним ножом резали сборщика, передавая нож из рук в руки, мужчина — мужчине, женщина — женщине, подросток — подростку, чтобы каждый был соучастником, и так покончил жизнь старший сборщик и все, кто был с ним, и все участвовали, и никого нельзя было уволить от страшного дела, ибо один неучастник мог всех погубить. Тела зарыли далеко за горой, куда никто не ходит, и позаботились, чтобы не осталось и нитки из того, что принадлежало убитым. Сохранили только оружие, которое в тот же день размягчили в горне и отковали совсем иное, чем было. И молчали, не вспоминали, будто бы ничего не было. Вечером бог послал ливень. Дождь лил всю долгую ночь, будто купель, чтобы омыть грешных людей и землю, обагренную кровью. Двадцать пахарей не стали бы пачкаться холодно обдуманным убиением беззащитных для собственной пользы. Ныне же не только сами загрязнились, но осквернили и своих — тех, для кого совершали, ибо в любви, как в бою, как в войне, приходится делать то, от чего хотелось бы потом навсегда

отказаться. Для спасенья слабых заставили слабых делать едва доступное, сомнительное даже для сильных, чтобы молчали. Заговор против власти. Участники! Все. А «все» равносильно «никто». Почти равносильно.

Священник вместе со служкой приехал на ослах, опоздав против обычного времени. Старый духовник, который многих крестил и по многим отпел панихиды, недавно занемог и опочил после долгих лет многотрудной жизни. Вновь назначенный был молод. Отпрыск сановного рода, наследник имения если и не выходящего из среднего ряда, то и не бедного, он, едва достигнув тридцати лет, отказался от мира и от соблазнов его. Шум Константинополя не умолкал и за толстыми стенами столичных монастырей. Постригшись в монахи, новичок инок выпросил у патриарха назначение в дальнюю обитель, мечтая, наверное, даже о подвиге. Грубость жизни в малом монастыре, укрепленном, как цитадель, в пограничном городе, некогда богатом и многолюдном, ныне наполовину запустелом, но сохранившем могучие стены и глубокие рвы, показалась сладкой будущему подвижнику. Умирающий духовник дальней деревни передал свою паству преемнику, завещая ему быть строгим, о строгости же напомнил и игумен, напутствуя неопытного пастыря душ человеческих, ибо нет ничего беспокойнее людских стад.

В конце первого дня пути из города священник и служка нашли ночлег в селении, не пострадавшем от весеннего набега сарацин. Далее путь их лежал в пустыне. Служка, всегдашний спутник умершего пастыря, был проводником. Простодушный монашек, в удаленном прошлом неудачливый ремесленник — скорняк-кожевник, нашел тихое пристанище от угрозы разорения, принеся в дар монастырю кое-какие остатки малого достояния и смиренный характер. То ли от простодушия, то ли по неосознанной храбрости, вторую ночь он сладко спал в развалинах некогда богатого владения, рассказав новому своему преподобному страшные истории о бывших владельцах, которые были погублены базилевсом за участие в заговоре. Среди подробностей, достойных по своей точности пера ученого хрониста-бытописателя, не хватало одной — имени базилевса. Базилевс есть базилевс, имя — случайность. Так — и не в первый раз после начала новой жизни — бывший столичный житель убеждался в бесконечном удалении простых подданных. Они даже не пальцы, не ноги, коль пользоваться обычным сравнени-

ем империи с телом. Они столь удалены от главы — базилевса, столь чужды, как если бы жили от Босфора не в десяти днях пути, но в тысяче.

Третий день уже не пути, а путешествия был утомителен. Служка спешил достичь засветло известного ему места, жалуясь: «Мы по болезни усопшего отца Иеронима запоздали, дни укоротились, да и скользко после дождей». И в словах слышался не то упрек, не то наивное сожаление — пораньше б умереть бывшему духовнику...

Ехали берегом реки, то удаляясь, то приближаясь к мутноватой от дождей быстрине. Иногда, показывая то в одну сторону, на дальнее устье лесистого оврага, то в заречье, где тоже, как путники, отходили и опять приближались горы, служка поминал о людях. Там скрыто живут будто бы, хозяйничают, кормятся какие-то. «Кто?» — «Да христиане. Говорят, выходят иной раз, меняются с купцами, берут товары на воск, на мед, на шкурки куниц. Горная куница подороже лесной. Иной раз и в город приходят — для торговли. Но троп от себя не протаптывают, ходят лесом, без следа».

Объяснением служила сама местность со следами былой жизни. Здесь виднелся фундамент здания в виде угла из замшелых серых камней. Там кроны деревьев намечали прямую линию, недоступную природе. Некогда населенная земля была опустошена вековыми войнами империи с наступленьем мусульман и теперь отдыхала, ожидая победителя и хозяина, безразличная к тому, кто выиграет спор.

Остатки, живые обломки таились в горах. «Не еретики ли?» — спрашивал новый священник. «Бог знает,— отвечал служка.— Христиане, однако же».— «Но как же без богослуженья, без исповеди? Без отпущенья грехов?» — «Бог, видно, так решил».— «Как же без бога-то!» — «Да вот так, будут в аду, если бог не простит, не зачтет земную тяготу».

Для глаз недавнего жителя Константинополя — даже для них — была великолепной долина между не слишком высоких, но сильных резкостью гор в безыскусственной окраске осенних лесов, в переходах от пепельно-сизых оттенков к ярко-глянцевой зелени вечнозеленых лавров и дубняка, с россыпью цветенья листьев, тронутых порфиром и золоченой медью, цветенья особенного, которое, пусть увядая, могло поспорить с весенним.

«То-то хорошо, величественно, как в храме,— говорил

служка,— а по весне здесь бело, одеты горы белым, дички яблонь цветут, груш, да и сладких не мало».

Однако ж усопший отец Иероним вещал: более красоты в осени, ибо она, душу возвышая, скорее подходит отрекшимся мира. Он, весенний цвет, мало полезен человеку. Вызывает стремленье к земной любви, говорил преподобный отец. Надо воздерживаться. Ибо бедствия происходят от людского множества, в тесноте пробуждается злоба, от нее грех человекоубийства. В древние годы о сарацинах слуха не было. А как расплодились они, им своего не хватило, пошли за чужим. Так отец Иероним вещал.

Нравилась пустыня молодому священнику. «А зверь?» — спрашивал он служку. «Зверь? Что ему? Он безгрешный. Не тронь его — и он тебя не тронет. Вон, гляди-ка туда! — показывал он на дальние выступы голого камня.— Вон, видишь, видишь? На лысине!»

Вглядевшись, преподобный различил черное пятно на серой площадке. Не верил. Постой-ка! Было — и не стало ничего.

«Вот, вот! — радовался чему-то служка.— Медведь! Поглядел на нас и ушел к своему делу. А будь человек? Мы бы думали, не замыслил ли чего против нас, да кто такой он, беды не оберешься с людьми-то».

Незадолго до захода солнца добрались они до развалин большого селенья. «Отсюда полдня пути до нашего места»,— объяснил служка. Убежищем послужили три стены с остатками свода, который мог укрыть и от дождя. Четвертую стену заменял завал с узким проходом. «Мы тут всегда колючкой завешивались с отцом Иеронимом,— сказал служка,— и спокойно, хорошо, будто дома, в келье».

А в темнеющих горах, да и здесь, поблизости, уже начинались невинные, но тяжкие для человеческого слуха разговоры сов. Уханье, выкрики, вызовы, отзывы непонятно зачем, для чего, сплетались с вечерними тенями. «Покричат да и уймутся,— утешал служка, затаскивая в проход сухие колючие лозы ежевики.— Вот так-то хорошо,— приговаривал он,— хорошо будет.— И, уколовшись, высасывал больное место.— Я прежде, грешник, думал, совы людям сулят недоброе. Отец Иероним осудил за грех на птицу, поучил веревкой малость, объяснил: языческое суеверие это. Птицы для себя кричат, так им от бога положено. Объяснение сущему надо искать в свя-

щенных книгах, да не обучен я чтению. Псалтырь читаю по памяти, так же и ответы даю в святой литургии».

Ослы сами зашли под свод и стояли, понурив голову. Колючки были охраной для них, священник знал, что зверь, осенью безопасный человеку, может польститься на животных.

Стемнело. Утомленный служка заснул на сухом месте рядом с ослами. Священник тоже задремал от усталости, но, как ему показалось, тут же очнулся. Совы молчали, из-под зазубренного края каменного свода глядела ярко-синяя звезда, воздух был холоден и неподвижен. Преподобный слышал глубокое, спокойное дыханье служки и тревожное, чуть слышное похрапыванье рядом с собой. Он сел и коснулся плечом осла. Поднявшись на ноги, священник почувствовал, как осел сунул голову ему под мышку. Разбудив человека, осел замолчал. Зато там, за колючей преградой, что-то было.

По привычке, священник, шевеля губами, прочел молитву господню раз, второй, третий. Стало легче. Затаившись, он слушал, вспоминая, что, идя в монахи, искал покоя душе, а покой находят не в бездействии, но в исполнении долга. Ему было страшно, но не так, чтобы закричать, разбудить служку. Высечь огня? Нет, нужно терпеть, бог заповедал терпенье. И ему было бы стыдно перед служкой, которого он разбудил бы. Он затаил дыханье, чтобы лучше слышать. Ничего. И осел отошел в черную яму тени под сводом. Священник опустился на землю, зябко кутаясь в грубую шерсть рясы. Спрятав руки, он прижался спиной к спине служки и очнулся, когда пришел день.

Служил литургию, совершая таинство превращенья хлеба и вина в подобии алтаря, отделенного занавесом восточного придела ветхой храмины. И ни одной иконы, ничего, кроме креста, высеченного барельефом на стене. Будто бы в годы свирепства иконокластов — уничтожителей икон!

Старший — к нему обращался священник, по ошибке именуя старейшиной, а он был старшим только годами — на упрек отвечал, как все и всегда, отводя вину на других: сарацины-де, из-за них-де нельзя иконы держать, набегут, предадут оскверненью, ныне был набег, сами едва успели бежать, покинуть иконы — грех, мы уж в сердце... И кто-то добавил только два слова: «Им грех». И пока

священник искал глазами — кто? — еще один голос молвил: «Свои похуже». И не нужно было искать ни первого, ни второго, в сумрачном полусвете все будто на одно лицо. Колокол же не благовестил, а жаловался надтреснутым дребезгом раненого металла. Почему? Священнику показали яму в полу звонницы, куда колокол опускали, отвязав канат. И покрывали дыру досками, а сверху сбрасывали землю. В этом году не успели. Сарацины канат обрубили — колокол пал и треснул по краю. Кузнецы щель связали скобами, чтоб колокол не пропал совсем, но звон уж не тот. Нового взять неоткуда и не на что.

«Кто же забыл позаботиться?»

Помялись, стоя около звонницы, опустили глаза, и никто не ответил.

«Кто же?» — настаивал священник, обращаясь к старшему. Тот развел руки и, глядя в сторону, рассказывал: «Было то, сеяли тогда, в поле были. Вот, выпрягли, бежали, пыль, скачут уже, грех-то... Видно, не вспомнили, грешны мы, бог попустил».

Молодой священник не знал строгости отца Иеронима; служка не рассказывал, приглядываясь к новому своему владыке и таясь, по невинной, внутренне-естественной монашеской не то хитрости, не то осторожности. Отец Иероним умел поучать столько же посохом или веревкой, которой подвязывал рясу, сколько словами. Побои из рук священника, на коем почиет благодать, не поношение, будто даже и больно не так. Не менее строго отец Иероним обращался и с паствой: назначая епитимью бичевания, сам помогал, не доверяя, для пользы кающегося, собственным рукам грешника, получать очищенье души через страданье тела. Для пользы твоей всякая вина виновата!

Священник обошел несколько домов, в душе ужасаясь бедностью: «Как люди могут жить!», и, объявив, чтобы через малое время все христиане явились исповедоваться, вернулся в церквушку. Жалкий дом божий успели коекак прибрать. Присев на короткую скамью, священник обратился мыслями к делу, которое тяжко и больно лежало у него на душе. От этого дела он отвлекался в пути величием пустынных красот, усталостью тела, необычайностью своего положения; самые тревоги и, он не хотел себе лгать, даже недостойные ночные страхи — да, он боялся — служили ему облегченьем. Ныне час пришел. Отец игумен, напутствуя пастыря к его служению, при-

казал узнать, что случилось со сборщиками государственных податей. В трех селеньях они были обязаны побывать, и следовало им вернуться, и не вернулись, и более десяти дней прошло от крайнего срока. По просьбе местного управителя сборов налогов и пошлин градоправитель собирается послать воинский отряд для сопровожденья расследователей. Игумена же правитель просил — на этом слове игумен сделал особый удар,— итак, просил повелеть духовнику узнать. Вздохнув, отец игумен посетовал на смерть отца Иеронима. Тот, крепкий столп веры, все б сделал. «А ты справишься ли, не знаю. Не по молодости, но опыта нет у тебя. Однако благословляю на труд. Не ошибись!»

Входили по одному, становились на колени у скамьи, тихо рассказывали: и в том грешен либо грешна, и в том, и в том... «А еще?» Вспоминали, добавляли: и в грубости, и в злобе, и в мыслях нечистых, и пост нарушал, нарушала, и еще, и еще. И шли унылой чередой кающиеся, и грехи их, и каждого духовник спрашивал: «А еще? А еще?» А заканчивал вопросы: «Не убил ли, кровь не пролил ли человеческую, не покушался ли на жизнь ближнего?» Спрашивал не потому, чтобы игумен мог ответить правителю города, но следуя своей совести. Каждый и каждая отвечал: нет, нет, не грешен, не грешна. «Имя как?» И, покрыв голову кающегося епитрахилью, отпускал грехи носителю временного имени именем бога предвечного.

Покончив со взрослыми, исповедовал подростков, детей, трудясь до вечерней звезды. На следующий день причащал частицами привезенных просфор и красным вином, которое служка умело и в меру разбавил. Совершил три брака, крестил пятерых детей разного возраста, родившихся за год, отслужил панихиды на двух могилах умерших, подумав, что упорное племя людское все же добавилось в числе, вопреки вопиющей нужде и непрестанному ужасу от ожиданья нашествий. Божья воля. Она и в той плотской любви, от которой он отказался и которой не хотел больше, хоть и познал в мирской, грешной жизни ее жгучие тревоги.

Ходил по домам и в каждом доме служил молебен, прося милости бога к живущим в нем, к их достоянию, к их трудам, да не оставит их бог без призрения и благословит их на добрые дела. Что бы ни делал, чувствовал, как далек он от этих людей, чьи души ему доверены. Говоря, ощущал будто стену; через нее проходили слова: «да», «нет», «да», «нет»,— стена опять замыкалась. Уго-

щали — он не отказывался, хотя служка привез сухарей на двоих, крупы и флягу масла,— он принимал, чтобы не обидеть, и трижды в день вкусил угощенье, каждый раз в новом доме: пасомые, видимо, заранее между собой поделили и честь, и расходы. Ел, беседовал — через стену.

В последний вечер, в четвертый, собрал всех мужчин и всех женщин в церквушке и прямо спросил: «Когда были сборщики податей и где они ныне?» Не получив ответа, спросил ближайшего. Тот назвал и дни, и сколько налога начислили, и что все уплатил. Следующий не ожидал вопроса, и все, до последнего домохозяина, говорили одно и то же, менялись лишь уплаченные деньги — у кого больше, у кого меньше.

Собравши налоги, сборщики уехали. Куда? Обратно. В город... Здешние подданные живут на краю империи. В город сборщики не вернулись!

Молчат. «Не знаете?!» — «Не знаем, не знаем...» — «Никто не знает?» Молчат. Робко кто-то сказал: «А не похитили ли их скамары?» И все, выдавая волнение и заботу, как понял бы другой расследователь, а не молодой монах, заговорили: скамары, не иначе как скамары.

Скамары, иначе говоря — беглые разбойники, грабители, которые прячутся в горах и живут в иных местах от поколения к поколенью. Служка по пути ничего не говорил о скамарах, поминал об ином, о мирных людях, прячущихся ото всех из-за непрерывных войн. Кое-как новый пастырь добился от своей замкнутой паствы рассказов о людях, христианах, которые иной раз заходят сюда кое-что выменять.

«Не грабят вас?» — «А что с нас взять? Взять нечего».— «Их вы и зовете скамарами? Почему?» — «Не знаем, нас не обижали, а сборщики едут с большими деньгами».

Навестил пастырь и сторожей — старика и старуху в развалинах неизвестно кем возведенной крепости, глянул с обломка башни в неизмеримые дали открытого на север пространства, которое, излившись меж гор, где-то обрывалось в море. «Нет, до моря еще далеко»,— сказали ему. Неблизко было и до жилищ мусульман. Ничейной землей временами владели войска в меру случайности войн, а постоянными хозяевами были птицы небесные и звери лесные — как в раю, до сотворенья Адама. Но здешний рай был дорогой бедствий.

У старухи не слушались ноги, и муж от нее не отлучался. Ласковый, крепкий старик и чисто умытая, оде-

тая в чистые лохмотья жена его, о которой заботился муж, как о ребенке, их незлобивая, ясная старость напомнили преподобному сказки о Дафнисе и Хлое, о Филемоне и Бавкиде, будто они нашлись на краю света и на пороге могилы...

Провожали нового пастыря все. А пятеро мужчин, вооруженных луками и мечами, дошли до первого ночлега в разрушенном селенье, вместе ночевали под остатками свода и потом еще шли, как охрана, полдня. Расстались. Служка сказал: «Полюбили тебя, отца Иеронима провожали по его повеленью, а ты не приказывал. Однако ж отец игумен может тебя поставить на правило».— «За что?» — «Да за сбор». Действительно, причастники оставили на скамье, единственном сиденье церквушки, меньше монет, чем было людей, и все медные, коль не считать четырех серебрушек.

Пастырь, с сердца которого упал груз подлинной тяжести — дознанье о сборщиках,— шутил: «Что ж ты мне там не сказал, я бы потребовал».— «Нет,— возразил служка,— я тебя понял: ты бы не смог».

Да, он не смог бы. Но по невольной подсказке служки преподобный добавил к жалкому сбору четыре номизмы, которые он захватил с собой из остатков достояния, дабы особенно нуждающимся дать в милостыню. И не дал по жалкой забывчивости, так как, подавленный сначала предстоящим следствием, затем томительностью стены отчужденья и расспросами, не вспомнил о маленьких златницах, бережно зашитых в полу суконной рясы. Пусть теперь послужат не для выкупа его вины, а для обеления чести новых подопечных его пастырской совести.

Рассказывая игумену, монах хранил в душе виденье. Быстро очистилось бывшее от внешней грязи, и осталось нечто высокое о людях великого мужества, безропотно добывающих свой хлеб в поте лица своего, и вместе воинов, подвижнически живущих на границе христианского мира. Так сильно было виденье, что игумен, прервав расспросы, похожие на допрос, заметил: «Ты, я вижу, мечтаешь!» — и поставил мечтателя на колени, и приказал исповедоваться, под исповедью же до мельчайших подробностей добивался узнанного о судьбе сборщиков, и, благословив по обряду, отпустил молодого монаха с неудовольствием.

У священника осталось в душе сомненье: не нарушил бы игумен тайну исповеди? И он думал о тяжести жизни и о шумном мире, которого, как видно, не избегнешь и

под монашеской рясой. Не попроситься ли через былых друзей у патриарха о переводе в другой монастырь? Нет, его тянуло к людям, которых он оставил в горной долине, и он тешился новой мечтой — выпросить у игумена благословенья на постоянное житие среди них для заботы о душах. Мечтал, уверенный в своем постижении истинного пути, не зная, что жизнь коротка, а истина скрыта и одному человеку не дано совершать. И все же был прав, ибо хотел дела, а не покоя созерцательного жития.

Таковы пути жизни,— заключил Афанасиос,— сами судите, друзья мои, каков закон, и каково намерение, и что есть свободная воля, и каков свободный выбор. Мой ум слабеет...

Шимон возвращался к недавнему своему постиженью, которое хранил и будет хранить в тайне: воистину ад страданий и горя здесь, на земле, в жизни сей, его проходит человек, и нет такой муки, такой казни, которой можно избежать. Одинок человек, от одиночества он ищет спасенья в дружбе, в товариществе. Совершенней всего против одиночества любовь мужчины и женщины. И ничто так не ведет в сущий ад, как любовь, ибо больнее всего мы страдаем от несчастий нами любимых...

Голос Андрея вызвал Шимона из забытья. Андрей спрашивал:

— Но откуда упало зерно, из которого выросла великая сила арабов?

— Может быть,— сказал Шимон,— ты найдешь ответ в рассказе, составленном мною из достоверных известий и моих мыслей?

И, найдя рукопись, он начал чтенье:

— «При базилевсе Юстиниане Первом некто Ассим, житель Баальбека, жаловался на черную тоску другу своего умершего отца, богатому купцу:

«Воистину, утром я вздыхаю о вечере, а вечером желаю, чтоб пришло утро...»

«Тебя излечит путешествие»,— сказал друг.

Вскоре Ассим оказался далеко от Баальбека. Не так уж далеко, если положить дни на следы копыт. И очень далеко, коль измерить расстояние отраженьем в душе. Бедави, жители пустыни, которым друг доверил Ассима, удалялись от города к востоку. Но также и к северу, и к югу. Иногда они шли даже на запад, будто желая вернуться по другой тропе. Каменистая Аравия и Счастливая Аравия, она же Песчаная, она же Страна Фиников — все это единая Великая Аравия, где каждый придет к цели,

хотя бы и шел в никуда. Шейх Ибн-Улла однажды в год подходил к Баальбеку для торговли. Он объяснял Ассиму: «Баальбек — значит возвышенность в долине, хотя эта долина сама была бы горой, не будь с ней рядом Ливана и Антиливана. Греки звали этот город городом Солнца, ибо Солнце возвышенно. Но ведь каждый город возвышен. И каждый дом тоже. Не следует человеку гордиться своим ростом, ибо кто может поспорить величиной тела с верблюдом? А Баал — имя бога, то есть Высокого. Как Солнце. Мы, бедави, вернули городу старое имя, ничего не исправив по смыслу. Слова меняются, ибо они живы. Как я, как ты, как эта лошадь! Неизменны могильные камни, а живые смертны, и это великолепно, Ассим! Так мы говорим, мы, бедави, бедуины, арабы. Имена изменяются, они смертны, ибо изреченное слово по́лно жизни. Говорят, если бог поднимет нашу Аравию и опустит на Индию, она покроет две трети маленькой Индии, набитой людьми, деревьями, тварями. Нет, Аравия больше Индии. И всех других земель тоже, Ассим!»

Три сотни полных жизни смертных бедави перемещались от источника к источнику, от русла одной пересыхающей речки к другому руслу, незаметно подчиняясь временам года и каждому дню, сочтенному по изменениям неизменной Луны. Для каждого дня было свое место на просторах Великой Аравии, где бедави обязаны были получить этот день и обменять на другой в щедрой казне Времени. Таков Закон. О нем Ассим узнал не скоро, так как бедави не нарушали его, а настоящие Законы, невыдуманные, умеют спать молча в тени бездействия.

Да, соблюдая Закон, бедави будто нечаянно оказывались там, где созрели финики на деревьях, принадлежащих роду Ибн-Уллы. Находили бобы, посаженные ими для себя столько дней тому назад, сколько нужно для созревания. Женщины копили верблюжий пух, собирали красящие растенья, пряли, ткали для своих и на продажу, выделывали кожу, шили обувь. Женщины бедави прекрасны лицом и телом, сильны, скромны. И послушны.

Оберегая покой Закона, бедави останавливались где хотели, и никто не томился тоской, не вздыхал от нетерпенья. Вдруг как бы нечаянно тропа рода Ибн-Уллы пересекалась с другой. О, встречи в пустыне! Друзья одаряли друзей, получая взамен равноценное. И пели, поощряя пляски молодежи, и состязались в речах, становившихся поэзией, и слова рассказов-поэм блистали самоцветными камнями и живыми цветами, какими полно аравийское

небо. Слова гремели грозой — и небо бывало, как обгорелая шкура, и вселенная корчилась, и призраки, закрыв лица плащом, совершали невозможное. Небо оставалось ясным, вселенная тихо спала, и не было призраков... Сила поэзии преображала сущее. Бедави сотрясались от ужаса и любили его.

Порой мужчины, взяв лучших лошадей, где-то исчезали и иногда возвращались с добычей. Однажды они привезли несколько трупов своих и молча похоронили их в песке. Эти смертные ушли. Они изменились, и только. Кто признает исчезновенье живого, какой безумец поверит в Смерть! Как! Я, ты, он — нас больше не будет! Кто утвердит подобную глупость? Никто.

Ассима не брали в набеги: его баальбекский друг чем-то обязал Ибн-Уллу, остальное понятно без слов. Ассим жил с бедави. Большие шатры, в каждом спят и сорок, и тридцать мужчин, женщин, детей. Нигде нет укрытий, ты всегда у всех на глазах. Совершаемое тобой видят все, и ты видишь всех, и приучаешься не видеть, не слышать, ибо здесь все просто в своей необходимости и необходимо своей простотой. Супруги зачинают детей, и женщины рожают, и никто не замечает творимых таинств, а нуждающийся в одиночестве берет его перед всеми. И получает его, и воздух становится непроницаемым для зренья, для слуха, и вы более скрыты, чем если бы притаились в подземных дворцах Баальбека.

Так было у бедави, именно так. И не потому ли они совершили то, что в дальнейшем смогли совершить?

Ассим стал бедави: его глаза и уши замыкались сами собой, он никому не мешал, и ему не мешали. Он не впадал в соблазны желать назначенного не ему, не вожделел невозможного и освободился от отвращенья к естественному. Он стал чист.

Но откуда пришли в мир бедави? В городе Мекка есть место, где стоял шатер Ибрагима-Авраама. Туда архангел Гавриил принес Ибрагиму святой камень. Для него Ибрагим построил храм Кааба, или Куб. Рядом хранятся изображенья малых богов арабских племен, их столько, сколько дней в году. Там погребен Измаил, предок всех арабов, и там могила Агари.

Было так. Ибрагиму исполнилось восемьдесят пять лет, когда жена его Сарра, став бесплодной от старости, дала мужу служанку Агарь. И Агарь родила сына Измаила, и бог обещал ей: умножая умножу потомство твое так, что нельзя будет счесть его от множества. И будет Измаил

среди людей, как дикий осел: руки его — на всех, и руки всех — на него. Жить он будет перед лицом братьев.

Потом милостью бога Сарра родила сына Исаака. Измаил посмеялся над ним, и Сарра сказала Ибрагиму: выгони рабыню Агарь и сына ее, чтобы не наследовал сын рабыни вместе с сыном моим. Ибрагим огорчился, но бог сказал ему: слушайся голоса Сарры, ибо в Исааке племя твое. И от сына рабыни я произведу великий народ, ибо он тоже племя твое. Ибрагим изгнал Агарь с Измаилом, и бог был с отроком, отрок вырос, и стал жить в пустыне, и сделался стрелком из лука.

По предку бедави-арабы суть измаильтяне. Их зовут также сарацинами, бедуинами, но имени агарянина они не признают. Не из-за того, что Агарь была рабыней, а бедави больше всего чтут свободу. Свою, конечно. Других они охотно лишают свободы. Впрочем, и в этом все люди — братья. Вопреки разноречью мы склонны считать благом свою прибыль, а злом — свой ущерб... Но об Агари: называть человека по имени матери есть оскорбление, а бедави обидчивы.

Ассим полюбился Ибн-Улле. Глядите, из сидячего араба вылупился бедави! Ибн-Улла обещал Ассиму дочь, обещал и вторую жену, коль гость останется навсегда. Но Ассим излечился от тоски и отклонил предложенье с тонкостью подлинного бедави. Вернувшись в Баальбек, Ассим ощутил новое для него желанье — беседовать. Его общества стали искать, его называли поэтом. Но ведь он теперь говорил, как бедави, и только! И он думал: «Откуда сила речи нищих бродяг? У них нет вещей, их пища скудна, простая их жизнь не изменилась от века. Откуда великое Слово?»

Передохнув, Шимон продолжал чтение:

— «Вскоре после того, как Юстиниан Первый покинул этот мир, младенец Магомет увидел аравийские звезды через прорехи ветхой крыши. Это было на окраине Мекки. Отец умер до рожденья сына, вскоре за ним ушла и мать. О мальчике заботился дед, деда сменил нищий дядя. С раннего отрочества Магомет стал пастухом. Это занятие почему-то считается низким, особенно если скот принадлежит другому, хотя животные красивее многих людей и благороднее почти всех: они отвечают добром на добро, любовью — на любовь, ласка не утомляет их и не делает наглыми, и тому, кого они полюбили, они дают все до последнего толчка сердца.

Среди этих друзей в часы, когда воздух дрожит и стру-

ится над раскаленной землей, и в тихие ночи, и в предрассветных морозах, и в урагане Магомету являлись виденья, которых не купишь казной базилевса. Иногда его тело падало в судорогах, а дух успевал за мгновение облететь вселенную. Это священная болезнь.

Пастуху было двадцать один год, когда богатая вдова Хадиджа поручила ему ведать имуществом. Магомет ходил с караванами по западному концу Шелковой дороги, которая начинается в стране сунов, у берегов Восточного моря, а кончается на берегу Средиземного. Везде он беседовал, стремясь к смыслу жизни.

Хадиджа полюбила Магомета. Женщина была старше его, он впоследствии любил многих других, но оставался преданным Хадидже до конца: она была умна, верна, скромна и послушна.

Ему исполнилось сорок лет. В пути, когда Магомет ночевал в пещере у горы Хыр, к нему пришел архангел Гавриил. Он принес не камень, как Ибрагиму, но приказ бога: «Ыкра!» — «Проповедуй!»

В мир уже приходили Ибрагим, Моисей, Исса — Христос. Через нового пророка бог хотел сказать людям новое слово, и каждую проповедь Магомет начинал словами: «Бог сказал!»

Его сила была так велика, что близкие, привыкнув видеть его в слабостях бренного тела, поверили сразу. К Хадидже, к дочерям, к двоюродному брату Али, к рабу Зейду присоединился молодой богатырь Омар, отдавшийся пророку как глоток воды. Богач Абу-Бекр принес в дар себя и имущество.

Завистники попрекали пророка: ты — нищий пастух! Грамотные возмутились дерзостью безграмотного. Он проповедовал! Его род исключили из арабской общности, и корейшиты, хозяева Мекки, назначили сразу многих для убийства смутьяна. Прежде чем сомкнулся круг ножей, пророк бежал, и Медина, завидуя Мекке, признала его своим главой. Тогда Магомету было пятьдесят два года. От его бегства начинается хиджра — отсчет лунных годов Ислама, начавшийся в шестьсот двадцать втором году христианского летоисчисления.

Мединские иудеи хотели видеть в Магомете обещанного им Мессию. Молодое вино не вливают в старый мех. Командуя тремястами всадниками, Магомет победил шестьсот мекканцев и захватил охраняемый ими караван. Он изгнал иудеев из Медины, взяв их достояние на дела веры. Он, заметив непочтенье книжников и поэ-

тов, казнил нескольких. Аравия почувствовала новую силу.

Вскоре Магомет взял Мекку приступом, а Ислам овладел десятками тысяч душ. Отныне пророку подчинялись десять тысяч всадников и тридцать тысяч пеших воинов, из которых каждый крепко держал в руке ключ от рая, обители вечного блаженства для храбрых.

Магомет приказал написать ближайшим правителям — базилевсу ромеев, шаиншаху персов, владыке абиссинцев: откажитесь от заблуждений, примите веру в единого бога!

Никто из правящих и советников правящих не постиг рокового значенья посланий пророка. Правители живут сегодняшним днем, советники — минутой вниманья правителя. А слова ясновидящих подданных — это полова, брошенная на ветер.

Через десять лет после бегства Магомета из Мекки в Медину Абу-Бекр с помощью Зейда записал откровенья пророка. Потом Омар добивался стройности корана. И кто-то еще. Не стоит искать имена. Все владели речью бедави, и коран — великая поэма, объяснившая арабам бога, вселенную, человека. И руки Измаила поднялись на всех, а руки всех — на него.

На шестом году хиджры арабы ударили в дверь Византии: их трехтысячный отряд проник к Мертвому морю, но был разгромлен при селении Мут. Убитые арабы завещали своим месть. За что? Нападающий не думает о справедливости. Еще через шесть лет арабы обложили крепость Босру. Другая их армия подошла к Дамаску, была отброшена — долг крови, навязанный арабами империи, все возрастал. Но вскоре Босра пала, а византийское войско было бито в новом сражении под Дамаском. Империя широко открыла глаза, вспомнили о странном послании недавно скончавшегося нового пророка. И базилевс Ираклий послал восемьдесят тысяч войска — все, что имел.

Судьба решилась близ Тивериадского озера, оно же Галилейское море. Эти места священны для христиан. Русские Галилейское озеро-море назвали бы Ильменем — речным разливом. Пройдя через него, река Иордан кончается вскоре в тяжелых водах соленого Мертвого моря. Поражение арабов могло свести их движение к одной из многих пограничных войн империи, ничтожной в сравнении с недавним разгромом персов. Их, с которыми не могли справиться римские императоры и все базилевсы, только что и навсегда сломал базилевс Ираклий!

Арабы спустились в Иорданскую долину. Трижды тя-

желая конница Византии сминала легкую арабскую конницу. И трижды арабские жены, матери, сестры, бывшие в армии для заботы о своих, бросались под копыта беглецов, возвращая их в бой. Византийцы не выстояли. Брат базилевса Феодор вырвался с немногими. Десятки тысяч христиан уснули вечным сном на поле сраженья. Затем пал Дамаск, великолепная столица Сирии, пали Эмасея, Баальбек, Антиохия, Алеппо. Побережье от Газы до Лаодикеи стало арабским. Поднимаясь к северу, арабы разгромили остатки персидских сил при Кадесии, и через три года Персия превратилась в арабскую провинцию, а Византия бессильно взирала на крушение мира. Такого не предвидели ни маг, ни провидец-отшельник, ни астролог, ни поэт: будущее отказалось открыться и науке, и вдохновению. Базилевс Ираклий увез из Иерусалима святыню — Древо Креста. Вскоре Иерусалим, святой город и сильная крепость, был взят измором.

Не останавливаясь, арабы бросились на Африку. Отрывая от империи кусок за куском, на восьмидесятом году хиджры арабы увидели волны Океана — Моря Мрака. Но еще до этого они взяли Среднюю Азию, ворвались в Индию. А их флот лето за летом появлялся в Мраморном море, и арабское войско брало в кольцо осады саму столицу Восточной империи».

Мы привыкли,— продолжал Шимон,— к чуду превращенья зерна пшеницы, за три месяца создающего стебель и колос, вес которых в сотни раз превосходил все крошки семени. Но как за немногие годы ничтожные бедави стали великим народом? Такое мне непостижимо. Я возвращаюсь к Юстиниану Первому. Он отдал жизнь объединенью империи, чтобы около нее собрать весь мир, превратив его в подобие мирного острова. От его гонений обильные еретики Сирия, Палестина, Египет, Африка лишились большей части населения. Не он ли набил лебяжьим пухом арабские постели? От кого ислам заразился мечтой мировладычества? И не явилась ли сила арабов от величия Слова-Глагола бедави?

Так русский книжник закончил рассказ. Андрей отдыхал на мыслях о близком, завтрашнем дне. Арабский купец, с которым он отплывает, в Антиохии поручит русского купцам, которые ходят в Персидский залив. Там его сведут с другими. Арабы ходят по морю и суше через индов до страны сунов, желтых людей, живущих в своей империи по своим законам. Дорога ждет длинная, но ни за что на свете Андрей не уступил бы своего места другому.

Глава седьмая

РЫСЬИ ГЛАЗА БЛЕСТЯТ В СУМЕРКАХ

НИКТО НЕ ЗНАЕТ, СКОЛЬКО ПОКОЛЕНИЙ всадников выбивали конскими копытами степные тропы. Никто не назовет имени первого всадника. Смотри, там, на краю степи, пасутся дикие кони. Скажи, кто первый посмел изловить зверя, приучил конский рот к железу, а спину — к седлу? Кто?

В степи человек без коня — ничто. Кто же отдал тебя, степь, человеку? Молчит степь. Людей же спрашивать нечего. Разве что посмеются: много знать хочешь, больше других. Но не спеши обвинять людей в неблагодарной забывчивости. Великое Небо создало землю, человека, лошадь. И — довольно об этом. Коль ты желаешь все знать, ступай на восток, за Стену, к сунам. В их древних книгах все сказано, и чем древнее книга, тем больше в ней истины, а ищущие нового — безумны. Учись, наслаждайся десятками тысяч знаков и беспредель-

ностью их сочетаний. В старости найдется ответ на забытый тобою вопрос: мертвые — мертвы.

Тропы струятся по степям, как ручьи; как вода, текут всадники. Как ручьи, извилисты тропы, потому что ни человек, ни зверь не могут двигаться прямо к своей цели, подобно тому, как видит глаз и как бьет солнечный луч. Приглядись: птица и та не летит прямо, и стрела, взмывая сначала, вынуждена потом опуститься. Не дано никому власти двигаться прямо. Земля — как жизнь, нет прямого пути.

Тропы извилисты, а путь не случаен. От долины к долине, из долины на перевал, вниз и вверх, вверх и вниз — для того извиваются тропы, чтобы вести к речному броду, к поселению, к городу, чтобы обойти озеро, чтобы сберечь конское копыто от каменной осыпи, чтобы миновать болото, где топь, чтобы опетлять смольный солончак — он хуже топи, чтобы в лес не завести — в чаще конному нечего делать, разве что, покинув коня, укрываться от погони.

Для всего этого и вьются тропы, отброшенные горами, отклоненные лесом, но упрямые, как старики, которые все испытали, все поняли, которым уж совсем ничего не нужно, кроме одного — настоять на своем. И степные тропы своего добиваются, как ни петляют, а ведут с востока на запад либо с запада на восток — это как будто одно и то же.

Будто бы так? Ан нет, не так. На ходу лошадь бьет зацепом копыта и опускается на пяту. Умеющий видеть прочтет знаки копыт и скажет, в какую сторону едет больше людей, в какую — меньше.

Вдоль троп да и по всей степи много могил. Бег жизни неровен, иногда время спешит, как погоня за вором, иногда дни замирают, как шаги погибающего от жажды. Но всегда, всегда жизнь слишком коротка, слишком много забот, чтобы воскрешать умерших. И без того мысль о смерти обременяет живого. Коль встанут мертвые, живым среди них не пробиться. Тому, кто не убежден в этой истине, скажем,— есть и еще доказательство, оно неоспоримо, но, переданное словами, лишается силы — каждый обязан познать его сам. Познав — понимает, почему в начале многих рассказов нужно напомнить, что мертвые — мертвы.

Сидя на месте, опыта не добудешь. Слова, как люди, считаются родством: путь, опыт, путный, опытный, пытливый, путать, испытать. От одной мысли, как горошины

из стручка, рассыпались в речи эти слова. За путевые труды путь одаряет путника опытом, опытный убережен от беспутства, без пути пропадешь. Но пути у людей разные, и слова они понимают по-разному, и время старит слова, и слова осыпаются, как листья в лесах, и выводятся новые: как листья, пока живет лес, как звуки, пока живет мысль живая в живом человеке.

Не случайно молчит степь: тропы ее стучатся в сердце, стучатся, как судьба. Вот от большой, торной тропы отбивается тропочка. Опытный глаз сразу видит: по ней редко ездят, но она не пропадает многие годы. Потому что там, за холмами, Великое Небо создало угодье, где тепло жить. Степняк не творит — он находит.

В долине нет реки, есть ручьи с водой, которая не исчезает в самое жаркое лето. Воды немного, как невелико и само угодье. Трава обильна на мягкой земле, но долина узка и земли мало. Здесь ничто не соблазнит завистника, мечтающего о большом или о бо́льшем, чем табун лошадей, десяток коров, стадо горбоносых овец. Склоны долины лысы и круты, поэтому тропка кончается в долине.

В тупике хорошо жить взыскующему покоя. Он, испытав крутизну лестниц ханских дворцов, сам узнал, что воспевающий бури поэт только льстивый наемник: подвиг связан с убийством слабейшего сильным, победа — это грабеж без возмездия, а величие — насилие одного или немногих над совестью всех остальных.

Для счастья людей азиатские степи заставлены горами. В горах и в холмистых предгорьях Великое Небо сотворило долины. Они, поставленные вдали от торных троп, суть мирные озера покоя.

Дела Великого Неба многообразны, дела людей — двойственны. Испытавший бури наслаждается молчанием. Всего более он ценит свободу.

Медленно-медленно движется пасущееся стадо. Хозяин, бросив поводья, дремлет в седле. Лошадь тоже пасется, переступая за стадом.

Человек спит и не спит. Перед очами его души проходят виденья, столь же неторопливые, как стадо, такие же вольные, как он сам.

Свобода. Нет власти, которую видит глаз, слышит ухо, ощущает живот, шея, спина. Великое Небо пошлет град или молнию. Или выпадет слишком много снега. Такие несчастья подобны болезни, старости. Посланные высшей силой, они не унижают человека: коль придется погибнуть, человек погибает свободным. Только власть другого

человека может лишить свободы. Только может? Или обязательно лишает? Что это? Игра словами или игра головами людей?

Очам души Гутлука, дремлющего в седле, доступно все. Он или видит, или вспоминает другого человека, совсем молодого Гутлука, который движется в обширном мире. Не видит и не вспоминает, а рассказывает себе. Не рассказывает сам, а другой Гутлук, молодой, будто бы рассказывает нынешнему, и вместе сплетаются звуки и образы.

Как в старой сказке о человеке, голова которого выросла так, что в ней вместился и весь мир, и сам тот человек, весь мир покачивается и дремлет в седле, дремлет и грезит, а конь переступает за пасущимся стадом, срезает желтыми зубами и жует траву. Может быть, и конь тоже грезит, не зная, что сейчас человек на его спине так же велик, как Брама Создатель, сны которого — это жизнь людей и лошадей и жизнь всего движущегося и неподвижного, ибо камни тоже живут своей жизнью. И Земля жива, она дышит, любит, страдает своим дыханьем, своей любовью, своим горем, непонятными людям, как непонятна им жизнь камней.

Так говорил о Земле святой из Тибета, с которым Гутлук повстречался не на степной тропе, а по дороге в столицу сунов, там, за Стеной.

Начальники Стены заставили хана Онгу, которого в числе других провожал молодой Гутлук, ждать ночь, день и вторую ночь, прежде чем пропустили в ворота Стены. Святой просто шел, его не спросили ни о чем.

Онгу догнал святого за Стеной, сошел с лошади и предложил святому сесть. Святой отказался. Онгу велел устроить сиденье, подвешенное между лошадьми, как делают для почетных стариков и для больных. Святой отказался.

Тогда все спешились — с ханом Онгу было почти сто человек,— и все шли, ведя лошадей в поводу, чтобы почтить святого и стараясь услышать его речи. И все изнемогли — монгол не умеет долго ходить пешком. Тогда святой отпустил Онгу, сказав, что хочет остаться один.

В то время глаза и уши Гутлука были жадны, как в засуху степь жадна к воде. Тут Гутлук не умел смотреть внутрь себя и слушать себя, искать смысл внутри. Так говорил святой, но Гутлук не понимал. Но как степь, которая вбирает дождь и, сверху сухая, будто прошлогодняя полынь, хранит воду, так и Гутлук впоследствии нашел много дел и слов, которые стоило сберечь: ста-

рая кожа — кора, под ней крепкая древесина познания.

В столице хана Онгу поселили в большом доме с крышей, края которой были загнуты, как поля войлочной шапки, и заставили ждать. Давали странную пищу из рыбы, зерен, травы, птицы, а мяса — только оно нужно монголу — совсем не хватало. Зато вволю пили настой черных листьев, называемый «ча», «ша» или «ташуй». Напиток освежает и приятно бодрит. Через два или три дня приводили женщин для развлеченья, и эти женщины дарили особенную, жгучую любовь.

От странной пищи и от странной любви все ослабели. Утомляла и неподвижность: монголов не выпускали дальше двора. Жители Поднебесной не любят чужих, даже если эти чужие — гости. И верно. Когда Онгу со своими ехал во дворец Сына Неба, жители, несмотря на почетную охрану, кричали нечто дурное, коль судить по выражению лиц.

Людей в столице сунов несчетно много. Цветом кожи и волос, формой глаз суны похожи на монголов, но речь их странно криклива. Потом Гутлук узнал, что в Поднебесной слова речи — как звуки песни. Но певец изменеными голоса ласкает душу, а у сунов смысл слова зависит от тона. То, что выкрикивают суны чужим, значит: северные дикари, глупцы, степные черви, вонючие змеи...

Во дворце Сына Неба пришлось снять сапоги. Зал, куда провели босых монголов, мог бы, наверное, вместить тысячу человек. В глубине на возвышении стояло золотое кресло. Даже издали оно казалось большим. Хотя кресло было пустым, много сунов, ожидавших монголов, кланялись креслу, приседая, становясь на колени и доставая лбом пол. Хан Онгу тоже поклонился. Подражая хану, все монголы по-степному сели на корточки и по нескольку раз кивнули головами. Толмач принял из рук Онгу подарки Сыну Неба: пучок степных трав, мускус кабарги в пузыре, связку сурчиных шкурок, пару остроносых сапог, кожаные штаны, кафтан и плащ из кротовых шкурок, шапку, лук в налучье с двадцатью тремя стрелами, по числу родов племени.

Толмач брал из рук Онгу вещь за вещью — в них во всех вместе было весу для одной руки — и, низко приседая, передавал кому-то. Тот — другому, другой — третьему. Так степные подарки достигли золотого кресла и успокоились на возвышении.

Там и остались, кроме пучка травы. Особенно пышный

сун, коснувшись трав кончиками пальцев, указал на них соседу, и скромный пучок по той же живой цепи вернулся к хану Онгу. С той разницей, что теперь важные суны не кланялись, а горделиво выпрямлялись. Последний, собственноручно возвращая травы Онгу, сказал по-монгольски:

— Священный Сын Неба жалует тебе Степь. Охраняй ее и пользуйся, как и раньше, величественными милостями Владыки Поднебесной.

За хана ответил толмач:

— Слышать — значит повиноваться.

Онгу же молча улыбался — он был щедр на улыбки, что вводило в заблужденье иных людей. Сейчас хан был искренен: кончилось томленье, скоро под копыта лошади ляжет степь. Нежный запах степи, в котором добрые чары, сочился из сухой травы, как светлый ручей в тяжелых ароматах, льющихся из курильниц дома Сына Неба.

Монгольскую степь пожаловали монголам! Суны любят пустые обряды. Мне подарили мое же. Попробуй не дать!..

Гутлук не знал силы обрядов, не понимал железных цепей церемоний, поклонов, могущества будто бы пустых слов, которые, будучи вколочены в людскую память, превращаются в оружие. Не понимал, что для сунов согласие монголов на обряд перед троном есть признание ими подданства. Так же не понимал, как не постигал силы знаков — цзыров,— нарисованных на длинных полосах бумаги, которые висели на стенах и колоннах дворца, утомляя монгольский глаз, как черные скопища невероятных насекомых.

Сунский сановник, ободряемый улыбками хана Онгу, говорил о подарках, которые сейчас получит хан, дабы он со своими конными воинами охранял границу от диких людей, коль такие нагло помыслят вторгнуться в Поднебесную. И дабы он ловил сунских разбойников, бегущих за границу, они же изменники и враги трона, да, они спасаются от справедливого возмездия. И дабы хан хватал каждого, кто вознамерился в злобе покинуть Срединное государство самовольно, не получив от властей разрешения...

Сановник говорил, медленно роняя слова, подбираемые с некоторым трудом, и заполнял паузы торжественными жестами. Монголы бесцеремонно переминались, зевали от скуки и глазели на остальных сановников. Те расходились, подобные стае птиц в своих длиннорукав-

ных и долгополых разнообразно ярких одеждах, птиц старых, усталых, так медленно они двигались, сгорбленные, нахохлившиеся под странными шапочками с разноцветными значками на темени. Их обязанностью было поразить северных дикарей величием, конечно непостижимым для «степных червей», но подавляющим.

Слепой силе грубых тел следует противопоставлять непонятное. Превыше всех та мудрость, достижение которой наиболее трудно, ибо она никогда не сделается достоянием многих. Оставаясь уделом избранных, наука наук питает вершины. Вечное — неизменно, неизменное — вечно. Таков круг, в центре которого находится Поднебесная, именуемая по праву Чжуго, то есть Срединной страной. Она — ось вселенной. Никаких перемен — в этом и цель, и средство прочности государства.

Пока блюстители постоянства таяли, как туман, растворяясь в дверях, чьи-то руки покрыли золотое кресло громадным желтым полотнищем. Желтый цвет есть цвет Сына Неба, а покрывало легло с таким искусством, обманывая зрение, что казалось: там, в кресле, невидимо уселось Нечто великое. Закончив речь, сановник пал ниц, обожая это Нечто, чтобы привлечь к нему внимание и подавить вонючих степняков. Поднявшись, он отпустил монголов жестом руки, скользнувшей, как змея, из широкого рукава.

Онгу, Гутлук и двое-трое других чуть задержались, чтобы выслушать последние слова сунского благоволения из уст толмача.

Остальные, толкаясь и спеша, топтались в груде сапог, выискивая свои: босой монгол — не монгол!

Затем приступили к подаркам Сына Неба, к хорошо зашитым в кожи или грубую ткань тюкам разных размеров, но одинакового веса, чтобы один человек мог взвалить груз себе на спину или навьючить на лошадь. Толмач, глядя на длинную полосу бумаги, испещренную цзырами, перечислял содержимое. Ча, или ша,— самое дорогое монголу лакомство-питье, разные по толщине и качеству ткани, но все синие, как цвет воды любимого монголами голубого Керулена. Украшения. Ножи, сабли, медная посуда... Все нужное, известное, привычное. Подарки, которые монголы считают данью-платой за мир с подданными Сына Неба. Сверх всего — четыре сумки, которые кажутся особенно тяжелыми из-за малого объема: серебряные та-эли, четырехугольные пластинки, на которые можно сменять у купцов любую вещь.

Перед дворцом Сына Неба монголы встретили святого и склонились перед ним от души, не так, как перед золотым креслом. Вся Степь чтила святых, которые поражали душу монгола. Едва одетые, босые, с головами, не знавшими иного укрытия, кроме собственных волос, бескорыстные, святые выражали нечто пусть непонятное, но высшее. Небо защищало их, иначе разве могли бы они, почти голые, не бояться зимней стужи, ходить по льду босыми ногами, спать в снегу!

Зачем? Святых не допрашивают. Иногда святой даровал монголу счастье оказать гостеприимство. Иногда святой говорил. И даже если не все было понятно, в душах оставалось нечто неповторимое.

Онгу просил святого навестить монголов в отведенном им доме — и святой, и монголы чужие в столице сунов. Святой согласился исполнить просьбу хана, и счастливый Онгу приказал Гутлуку привести святого, когда он сможет. След в след Гутлук поспешил за святым.

В саду, где купы странных деревьев чередовались с не менее странными домами, святого встретили несколько человек, похожих для Гутлука на тех, кто стоял в зале Сына Неба. Они упали перед святым, как перед золотым креслом, и сердце Гутлука открылось для дружбы к умным сунам. Святой ответил на приветствие, указав вверх. Гутлук знал — святой напоминает сунам о равенстве всех живых перед Небом.

Домик, куда Гутлук вошел вслед за святым, был сложен из разноцветных гладких плиток, почти таких же нежных, как прозрачные чашки, в которых всем, и Гутлуку, подали горячий чай. Не такой темный, какой пьют монголы, но светло-желтый, вкусный, с запахом незнакомых цветов. Сидя за спиной святого, Гутлук сосчитал сунов: десять и четыре. Он следил за лицами, готовый слушать. Но слушать было нечего.

Один из хозяев, с пятью шариками на шапочке, быстро-быстро чертил на сероватой бумаге знаки — цзыры. Святой, следя за рукой суна, прерывал его жестом и сам с той же чудесной легкостью чертил, чертил, и все вставали, теснились, заглядывая, и вот уже каждый спешил изобразить нечто, спешил выразить ответ, и сказать свое, и задать вопрос.

Как видно, разгорелся спор. Как видно, при чудесном мастерстве черчения цзыров кисточки не поспевали за мыслью.

Первым святой, подняв левую руку ладонью к немым

собеседникам, указательным пальцем правой руки изображал на ладони не видимые для Гутлука, но понятные сунам знаки. И сразу несколько голосов прерывали святого резким выкриком «хо!» и отвечали немой речью на своих ладонях. И это длилось, длилось бесконечно для Гутлука.

Он устал. Его переполняли впечатления дня, уже долгого, теперь — нескончаемого. Метанье пальцев, шуршанье жесткого шелка одежд сунов, рассеянный свет пасмурного дня, отраженный, преображенный разноцветными блестящими стенами... Насколько же легче провести в седле весь день от утренней звезды до вечерней!

Плохая пища, без мяса. Женщины, сначала желанные, но потом — тоска и отвращение. Гутлук хотел спать. Он боролся, из самолюбия сдерживая перед чужими зевоту, хотя вредно укрощать естественные желания. Спать, спать...

Святой резким жестом поднял обе руки, и Гутлук очнулся. Святой говорил:

— Наши владыки мысли прислали меня к вам, владыкам мысли сунов, с вестью. Так как будущее грозно. И я не могу передать вам весть. Не по вашей вине. Не по моей вине. И не по вине кого-либо третьего. Между мною и вами, между каждыми двумя из вас стоит преграда из цзыров, из знаков вашего письма. Между мыслью и действием, между мечтой и действительностью стоят знаки вашего письма, ваши цзыры. Чтобы воплотить мысль, нужно слово. Вы не имеете слова. Слово есть плоть мысли, а цзыр — лишь знак ее, лишь указание на то, что существует, но не выражение сущности мысли. Уподобьте слово живому человеку, а цзыр — скелету умершего, и вы поймете, в чем виноваты знаки-цзыры. Доказательство? Все, что я сказал вам сейчас, есть доказательство. Ибо сказанное мною н е л ь з я изобразить цзырами. Знаю, можно нарисовать знак, изображающий отрицанье знаков. Вот он! — И святой, взяв бумагу, нарисовал кисточкой квадрат, а в нем много пересекающихся линий, углов, точек и фигурок, названий которых Гутлук не знал.

Раздались короткие поощряющие восклицания — суны поняли. Святой продолжал:

— Итак, этот новый знак понятен — отрицанье знаков. Но он, новый знак, не может — он только знак, цзыр — передать сущности отрицанья. Отрицанье есть движенье. Новый же знак н е п о д в и ж е н. Добавьте к нему другие, поясняющие, но сколько бы вы ни прибавили новых

знаков, движенья не будет. Так как отрицанье, выраженное новым цзыром, не отрицание. Оно — утверждение, будто бы существует ничто. Но ничто не существует! Значит, знак этот есть ложь знаков.

Гутлук, всеми силами души стремясь постичь, запоминал. Опять навалилась усталость. Желтые лица сунов, сморщенные или круглые, с редкой растительностью, через которую просвечивала кожа, сделались одинаковыми, как близнецы.

Святой молчал. Внутри Гутлука отзывалось, как эхо,— ложь, ложь... Свет погас. Когда Гутлук очнулся, святой говорил:

— Цзыры выражают названия, меры, счет, вес, свойства, качества, ценность всех вещей. Все действия. Все приказы родителей детям и власти — подданным. Все желания. Все чувства. Все ощущения. Наставления хозяина работнику. Объяснения работников, нужные для совместного труда. Рассказывают о всех событиях. Цзыры выражают все. Но не живую душу человека, вложенную Вечным с известными Вечному целями. Знаки держат душу надежнее, чем границы, и, как стража границ, закрывают государство. Знаки живут своей жизнью, знак порождает знак, как человек — человека. Знаки роднятся между собой своим видом, а не содержанием, которое вы хотите вложить в них. Поэтому знаки искажают мысль. Взгляните — вот родовое имя человека: Бао. А вот слоги, они вместе с родовым дают личное имя человека: Бао Тзэтзун, или Бао Гдце-гдцун... Произносимые по-разному, последние два слога одинаково изображаются знаком солнца. Знак солнца есть также и знак творящей, созидающей силы. Я, читая имя человека «Бао Гдце-гдцун», вижу вместе с тем — «Бао-творец». Когда после имени «Бао Гдце-гдцуна» стоят цзыры доброты, богатства, благоденствия, я осознаю Бао Гдце-гдцуна как творца знания, богатства, благоденствия. Таким путем знаки-цзыры, как говорил я, способны искажать. Как мне различить, добр ли Бао Гдце-гдцун по характеру своему, или он является творцом добра?

— Но мы различаем,— заметил один из сунов.

— И, различая, вы, созерцая цзыры, ощущаете Бао и тем и другим,— возразил святой.

— Ты прав,— согласился сун с пятью шариками на шапочке.— Всегда правы люди, находящие в чем-либо несовершенство, ибо ничто не совершенно. Наши цзыры созданы людьми, они несовершенны. И мы пополняем

нашу сокровищницу, улучшаем цзыры. В беседе с нами ты создал новый цзыр: ты доказал, что равен нам в знаниях. Мы будем размышлять над твоим цзыром. Но что может нам заменить цзыры и зачем? Люди Поднебесной, живущие уже на день пути одни от других, не понимают друг друга. В Поднебесной больше десяти десятков наречий. Срединная объединена цзырами. Цзыры создали однообразие обычаев и привычек. Уничтожьте цзыры, и многоязычная Поднебесная рассыплется, как горсть сухого песка.

— Я не призываю вас к уничтожению цзыров,— ответил святой.— Такой призыв был бы подобен совету раздеться на морозе тому, кто не имеет другого платья. Иное мне поручено — нарушить покой. Не Поднебесной, не законов, но покой вашей мысли. Вы, ученые, управляете Поднебесной. Высшие почести в Поднебесной воздаются знанию. Мудро и благородно с древнейших времен и до сегодня вы никому не препятствовали добиваться знания. Вот семья земледельца. Заметив живость ума одного из сыновей, отец освобождает мальчика от всех обязанностей. Семья содержит его, расходуется на учителей. Тяжелая наука и самоотречение близких приносят плоды. В памяти сына скопились десятки тысяч цзыров, он владеет искусством красивого письма, познал из книг законы, историю, получил сведения о вселенной, постиг учения мудрецов о духе и смысле жизни... Отец и мать давно скончались, братья самоотверженно содержат ученого и его семью. Сочтя себя подготовленным, такой человек, презревший все ради науки, приходит к вам. Однажды в год вы собираете много таких. Они не молоды, тела их увядают, а головы полны знаний. Вам все равно, дети ли сановников и богачей перед вами или сыновья беднейших ремесленников и земледельцев. Вы даете каждому уединенное место, заботясь, чтобы никто не мог помочь испытуемому обмануть вас. Он пишет сочинение. Способности людей неодинаковы, одни сочинения не равны другим. Но редко кому вы отказываете в звании, так как редко кто приходит к вам невеждой. Остальные получают разные степени, но позволяющие занимать должности на государственной службе. Человеку, не прошедшему испытаний, нет места в управлении Поднебесной. Я обращаюсь к вам, ибо вы управляете государством.

— И это великолепно,— сказал сун с пятью шариками на шапочке.— Ты рассказал мою жизнь и жизнь многих из нас. Ни в одном месте за окраинами Поднебесной нет

подобного. Повсюду властвуют невежды по ложному праву наследования власти либо захватив власть насилием войска. За нашими окраинами есть правители, которые плохо владеют даже грубыми знаками собственного письма! Из всех выделяется римский первосвященник христиан. Он пытается установить власть священников. Их наука ничтожна, но священники все ж более учены, чем воинственные правители западных дикарей.

Немного отдохнув, сун продолжал:

— Иностранцы жалуются на грубость, встречаемую ими от нашего народа. Жалобы справедливы, ибо высший не должен оскорблять низшего. Однако подданные Сынов Неба правы, привыкнув считать других людей ничтожными дикарями, правы, привыкнув презирать всех иностранцев. Самый невежественный и ничтожный подданный, грубыми окриками оскорбляя даже иноземных послов,— что запрещено! — знает: его сын, его внук могут стать учеными, сыновья и внуки иностранцев — никогда. Мы совершеннее других народов цветом кожи, красотой лица, тела, волос. Еще более возвышаемся обычаями и устройством жизни, государства. И безгранично превосходим в науке. Мы Середина вселенной.

Слушая святого, ученые суны привстали. Когда он кончил, все опустились в низком поклоне: сказано хорошо, добавить нечего. И сидели, склонив головы в шелковых шапочках.

Склонил голову и святой: любовь к родине есть великая добродетель, родина прекрасна. Но в величии добродетелей прячутся нетерпимость и насилие, а родина святых — весь мир. Мягко, как бы стараясь успокоить, святой ронял слова, как капли дождя, которые начали падать на звонкую крышу фарфорового дома.

— Опасно людям отказываться от порядка жизни, установившегося из древности. Народ не путник, который утешается переменами мест. Забвение отцовских заветов погубило не одно племя и сделало многих несчастными. Племена, не сумевшие создать свою самобытность, ушли, имени своего не оставив. Поднебесная побеждает даже своих победителей, преобразуя их в себя. Да, ваши цзыры и ваша наука — сила, подобная той, которая связывает песчинки в жерновой камень. Земледелец, затеявший преобразование своих полей, обязан иметь запас, чтобы не умереть от голода в годы преобразований. Будущее известно только Небу, земледелец же не знает, хватит ли ему запаса.

Святой обвел сунов долгим взглядом, спрашивая без слов. Суны ответили одобрительными кивками.

— Вы поняли меня,— продолжал святой,— я не зову к разрушению и отрицанию. Вам известна двойственность творенья. С нее я начал, к ней возвращаюсь! Ищите! Не довольствуйтесь тем, что имеете уже. Будущее чревато грозой, но разве когда-либо случалось, чтобы не зрели бури? Покой не есть неподвижность мысли, но — свобода ее движения. Я пришел вестником тревоги. Вы пользуетесь познанным, не увеличивая уже известное. Вы лишены движения. Горы и камни живут не познаваемой нами жизнью, и даже их жизнь — движение. Движение внутри человека — вы препятствуете ему. Надлежит допускать нечто новое. Вы блюстители цзыров и правители науки. Пославшие меня из любви к людям смиренно просят вас — способствуйте свободе мысли.

— Как? Каким способом? — спросил старший сун.

— Известным вам. Или тем, который станет вам известным. Ибо в вашем деле только вы судьи. Если есть способ, только вы его найдете.

Сохранив каждое слово, лицо, движенье, Гутлук сложил все в свободные кладовые памяти, как вещи ценные, но употребления которых не знает человек, случайно нашедший нечто непонятное, но, по догадке, значительное.

В молодости воспоминанья детства затмеваются богатством открывшихся возможностей. Молодые силы требуют испытания, дни полны, и, хоть кажутся длинными, их не хватает, чтобы взять, овладеть, воспользоваться, отдаться разочарованию, сменить радость на тоску, слезы — на смех. Раньше или позже, как у кого, но всегда внезапно воскресают воспоминания детства. Не стыдясь их, человек понимает, что вступил на порог зрелости. И за этим порогом он еще сделает находки из прошлого, дивясь в неповторимости собственной жизни тому, что до него познавали другие: ничто не потеряно зря, все нужно — в памяти накоплены настоящие богатства. Могут отнять нажитое имущество, но то неприкосновенно для других.

Впоследствии слова святого и сунов очнулись в памяти Гутлука, к радости невольного хранителя, но, что ключом, который открыл хранилище, был собственный опыт, Гутлук не подумал. Он начал с вопроса: а почему святой не сказал сунам прямо, что окаменелые цзыры-знаки хоть и охраняют Поднебесную лучше армий, но самый

страшный ее враг? Ответ разыскался в мудрости святого и его братьев, обитающих в гималайских убежищах: стремясь убедить, будь терпеливо-осторожен; а когда убеждаемый учен, будь осторожен вдвойне, если нет у тебя силы, чтобы ломать упрямые шеи... Так, к дальнейшему счастью Гутлука, суждено будет распуститься сухим почкам его памяти. (А силу он добавит, защищая самобытность монгола!) Но эти события мысли свершатся гораздо позднее. А в тот день, еще не подозревая его значенья, Гутлук ласково тянул святого за обтрепанный рукав: «Теперь пора. Онгу-хан ждет тебя, все ждут, пойдем».

Кажется, они были уже близки к воротам в стене, замыкавшей обширные столичные владенья Сына Неба, когда, к величайшей досаде Гутлука, их догнали. Какие-то суны, окружив святого шуршаньем жесткого шелка, увлекли его, оставив Гутлука ждать.

Кочевник привык соглашаться с властью признанного им самим хана. Среди считающих себя счастливыми обитателей Поднебесной Гутлук выделялся не столько одеждой, сколько дерзкой для чужого глаза вольностью повадки. Святой как бы прикрывал Гутлука. Оставшись один, он резал прохожим глаза, заметный, как воронье перо на желтом ребре бархана. На монгола оглядывались с подчеркнутой неприязнью. Поспешные шаги умерялись, кто-то останавливался, всем своим видом выражая недоумение: что здесь делает «степной червь»?

Гутлук не замечал беспорядка, нараставшего среди прохожих. В фарфоровом доме он, присмотревшись, отличал ученых одного от другого. Здесь же все были на одно лицо, и Гутлука занимали не люди, а вещи. Деревья были подрезаны, подстрижены — шары, острые грани, груши. Зачем? Среди странных древесных куп вверх выгибался угол крыши низкого дома. Особенная форма, простая причуда на первый взгляд, при внимательном осмотре приобрела неприятную значительность: сравнить ее было не с чем. Даже крыша, как и деревья, как стена дома, была совсем непонятна.

Прохожие, позабыв о своих делах, собирались заняться делами степного дикаря, забравшегося в дом Сына Неба, конечно, с недобрыми целями, чтобы высмотреть, сделать что-то дурное... Не замечая сунов, Гутлук перешел тропу, дорогу, улицу — ему все равно как называлась мощенная мелким камнем земля,— чтобы лучше рассмотреть полосу толстой бумаги или проклеенной ткани, подвешенной на шесте. Над столбцами знаков, о которых

Гутлук теперь знал кое-что, было вырисовано лицо суна. Глаза из косоватых орбит смотрели вбок и вверх. Сзади, из центра, скрытого головой, исходили стрельчатые черточки, напомнившие Гутлуку лучи солнца.

Святой, наберись Гутлук смелости спросить, мог бы прочесть знаки-цзыры, и получилось бы иное, быть может, что решил Гутлук. Гутлук же, в меру понятого им о цзырах, решил: на бумаге сообщается имя и величие изображенного человека. Это был творец. Но чего?

Кто-то схватил Гутлука за плечо. Естественным движением Гутлук рванулся, высвободил плечо и оглянулся. На него наступала целая толпа. Суны молчали, все на одно лицо, все злобно оскаленные. Гутлук попятился с неприятным сознанием беззащитности спины, не больше, так как не видел причины для настоящего испуга. Он отходил медленно, как от собак: пока не дашь повода сам, ни одна не бросится.

Споткнувшись, Гутлук удержался на ногах, но вызвал нападение. Кто-то ударил его палкой. Злость не придала удару меткости и силы, а Гутлук, рассердившись, вытащил из-за голенища нож. И тут же, ощутив спиной стену, остыл. При виде ножа остыли и нападающие. Немного отступив, суны переговаривались крикливыми голосами. Толпа все прибывала. Гутлук ждал — придет святой и его оставят в покое.

Вместо святого, который все может, через толпу, отбрасывая зазевавшихся, пробились воины дворцовой стражи. В высоких шлемах с причудливо загнутыми полями, в украшенных на груди латах, воины держали копья с широкими клинками. Что-то говоря, один из них грозно наставил копье. Мгновение — и нет Гутлука! Спасаясь, Гутлук схватил копье за древко, под клинком, и толкнул воина. Тот потерял равновесие и упал, не выпустив копья. Гутлук прыгнул на воина, вырвал оружие, но тут-то на его голову и обрушилась стена.

Он очнулся лежа, уткнувшись лицом в землю. Согнутая ветка распрямляется, если не сломана. Гутлук подтянул руки, приподнялся, встал. Ему не помогали и не мешали. Укрепившись на ногах, он заметил горку свежевырытой красновато-желтой рыхлой земли. Дальше была глубокая яма. Долго думать не пришлось. Его схватили, веревка стянула руки, ловко и сильно закрученные назад.

Два воина своими шлемами, узорчатыми латами и ко-

пьями напомнили о случившемся. Но место было совсем не то — Гутлука куда-то отвезли. Здесь и там на взрытом пустыре торчали широкие остроконечные крыши из тростника, опиравшиеся не на стены, а на столбики выше человеческого роста. Крутой глиняный вал грубо и грязно зажимал это место, в котором было что-то отвратительное. Перед Гутлуком вал был пробит воротами с тяжелыми — издали видно — створками.

Несколько сунов около Гутлука спорили. Он видел это по жестам, не чувствуя слов в странных, нечеловеческих для него выкриках. Ему набросили веревку на шею. Кто-то закатывал рукава, обнажая толстые, налитые желтым жиром руки. Другой, выбрасывая коротенькие выкрики из растянутого улыбкой чернозубого рта, вертел коротким, очень широким ножом, будто и сверлил, и строгал нечто в воздухе, и, перекашивая рот все больше и больше, подмигивал Гутлуку, и подходил маленькими шажками, разглядывал и целился ножом, явно издеваясь над беззащитным живым мясом.

Смерть падала, как лавина, сброшенная горой. Гутлук, опираясь на гордость, единственную опору свою, заставил себя не попятиться перед ножом. А! Он бежал бы, он бился бы, не будь связаны руки, не будь петли на шее. Он просто выбрал единственное, что оставляло его самим собой, как всадник, не думая, выбирает единственно нужное положение тела, чтобы удержаться в седле при броске лошади, испуганной зверем, неожиданно прянувшим из-под копыта.

Что-то крикнули. Нечто короткое, приказ. Человек с ножом отступил, превратив устрашающую гримасу в маску разочарования. Веревку на шее потянули. Чтобы не упасть, Гутлук повернулся и пошел, как корова на привязи. Его подтащили к ближней из странных крыш без стен. Он ощутил смрад, сочившийся изнутри. Там, за столбиками, зияла дыра, нечто вроде зева колодца, но очень широкого.

Гутлуку развязали руки, с шеи сняли петлю, под мышки продели толстую веревку, которая тут же натянулась, рванула, и Гутлук повис над пустотой колодца. Прежде чем он что-либо сообразил, его уже опустили глубоко, в темноту. Ноги коснулись мягкой грязи и ушли по колено. Веревка ослабла, потом ее дернули и ослабили опять. С трудом — руки одеревенели — Гутлук освободился от петли, и она исчезла наверху.

Теперь Гутлук догадался, куда он попал. Грязь заса-

сывала. Оставив сапоги, Гутлук едва вырвал ноги и ступил прямо перед собой, в темноту. Топь сразу обмелела, и Гутлук уперся лбом в твердую землю, с которой беззвучно потекла струйка пыли, набившейся в рот. Подняв руки, он понял, что земляная стена уходит не прямо, а заваливается внутрь.

Подземная тюрьма Поднебесной: ловушка, из которой не убежать. В Степи убивают сразу. Убивают мучительски. Берут выкуп. Изгоняют. В Степи нет тюрем, но Степь слыхала о Поднебесной. О многом. Конечно, и о тюрьмах.

Роют яму глубиной во много ростов человека. Круглую яму. Книзу ее постепенно расширяют: желто-красная земля Поднебесной держит сама, без подпорок. В другой земле такую тюрьму на устроишь — осыплется. Сверху накрывают крышей от дождя и окапывают. Тоже от дождя, иначе земля разбухнет и обвалится. Спускают на веревке, на веревке и поднимут, кого нужно, когда нужно. Наверху сторожат, чтобы никто не пришел и не вытащил пленников.

Не было и нет таких мест, откуда бы пленники не убегали. Из самых высоких башен, из подвалов, из крепких крепостей, от сторожей, глаз не сводивших. Из подземных тюрем Поднебесной никто не убегал. Нет людей хитрее сунов.

Притерпелись глаза. Гутлук начал если не видеть, то различать середину ямы, куда хоть едва-едва, но падал свет. Притерпелся и к страшному смраду, так притерпелся, что уж и не чуял.

Через сколько-то времени сверху спустили бадью с водой. Можно было бы счесть, сколько здесь у Гутлука невольных товарищей. Но ему так хотелось пить, что он, отбросив кого-то, вцепился в край бадьи и пил, как лошадь, опустив лицо в воду, и не давал себя оттащить, пока не напился и не набрал в шапку воды. Шапка, приклеенная к волосам кровью, осталась с ним. Она, вероятно, и спасла череп от удара, оглушившего — Гутлук понимал — на много времени. Додумался он, что его собирались похоронить, как мертвого, и, не очнись он на краю могильной ямы, пришлось бы ему захлебнуться сунской землей.

Впоследствии, приведя мысли в порядок, Гутлук вспомнил все из своих ощущений, вероятно, без умысла, как обычно бывает, исказив многое в лучшую сторону: всю пережитую мерзость помнить нельзя и не нужно.

Спал он, сидя под самым земляным откосом, в том

месте, куда сразу выбрался и которое счел как бы собственным — даже в сунской тюрьме не обходится человек без своего угла, хотя, что уж там выбирать, под землей...

Штаны и кафтан набухли, пропитались гнусной грязью. Монголы не моют ни тела, ни одежды, нося однажды надетое, пока не истлеет, так как Небо не любит видеть мытье и побивает громом владельцев Степи, если они предаются такому недостойному делу. Но та грязь была степная, другая, своя. Гутлук терпел сунскую грязь.

Бадью с едой спускали однажды в день. В первый раз Гутлук опоздал. Когда, дорвавшись, он запустил руку, то на самом дне вырвал из чьих-то пальцев кусок едва ли не камня. То была не то лепешка, не то остатки после отжима масла из бобов. Скобля зубами странную вещь, Гутлук не утолил и не обманул голода.

Ночь, предупредив о себе угасанием серого пятна, навалилась мраком, плотным, как сама земля. Зато подземная тюрьма, будто бы разбуженная мраком, заговорила. Кто-то тянул песню, монотонную, унылую, похожую на степную, но голос звучал глухо, как если бы певец держал перед ртом глиняный кувшин. Двое разговаривали. Вмешались другие голоса, певец умолк, и вдруг вспыхнула драка, вызванная непонятными Гутлуку словами. Он слышал удары, кто-то хрипел, кто-то стонал. Ноги шлепали по невыразимо отвратительной грязи, увеличивая зловоние. Густой всплеск известил о падении, кого-то давили, топили,— Гутлук слышал, как кто-то захлебывался в смрадной жиже. Забывшись, Гутлук позвал. Возня прекратилась. Срывающийся голос ответил с чужим звуком, но понятно: «Эй, иноземец! Где ты, иноземец? Эй, пес!»

Сжавшись, Гутлук прислушивался, как к нему вдоль нависающей земляной стены подбираются все ближе, как густая грязь чавкает под ногами, как тот же голос спрашивает: «Иноземец, отзовись, где ты?»

Руки коснулись шапки. Неизвестный враг что-то завопил, ища горло Гутлука, которого он распознал на ощупь, по шапке. Ударив изо всех сил обоими кулаками, Гутлук ощутил голую костлявую грудь. Человек странно икнул. Гутлук слышал, как отброшенное тело упало в грязь, чуть повозилось и замерло.

И здесь, в тюрьме, суны так же ненавидят иноземцев, как в городе! Это мнилось Гутлуку невероятным, и все же так было. Ждать ли еще нападения?

Он ждал, прижавшись к земляной стене спиной, сидя в ямке, продавленной им в густой, как творог, грязи, согре-

той его теплом. Потом сон сморил его. Он очнулся от боли в щеке. Какое-то крупное насекомое хрустнуло под пальцами, по лицу текла кровь. Гутлук опять забылся, и опять его разбудил укус. Нечто гнусное забралось в рукав. Здесь жили свои хозяева, свои кровопийцы, которые коварно ждали ночной тьмы и сна пленников, чтобы попользоваться.

Вверху вернулось серое пятно, опустив вниз не свет, но нечто подобное самой темной ночи, осенней ночи, когда не видишь собственной руки,— день тюрьмы. Опустили бадью с водой. Метнувшись к ней, Гутлук наступил на что-то затянутое жижей, и, напившись, понял, что это было мертвое тело, вдавленное в грязь.

Тот, что напал на Гутлука? Или тот, кого ночью душили сами суны? Гутлуку было все равно. Коль он убил, то убил защищаясь, и виновен зачинщик. Такова справедливость. Он один против всех с той минуты, когда его оставил святой.

После схватки за пищу — на зтот раз Гутлуку достался плотный ком просяной каши с шелухой, которая царапала язык и десны,— несколько пленников уцепились за пустую бадью, не давая ей подняться, и о чем-то переговаривались со сторожем. Это продолжалось долго. Наверху хохотали и грозились вперемежку. Потом бадья поднялась, опустилась и опять поднялась. Оба раза, когда она появлялась вверху, Гутлук видел руки и ноги, свисавшие с краев. Ночью число пленников уменьшилось на два.

Гутлук потерял самое простое — счет дней, ибо считать было не для чего. Зато он научился слышать и понимать все звуки. Научился ловить спуск бадьи и быть если не первым, то в числе первых, встречавших ее внизу. От укусов гадов вздувались нарывы. Не будь Гутлук среди врагов, он подговорил бы других выдать его за мертвого: ему казалось, что достаточно лишь вырваться наверх. В какую-то бессчетную ночь он тешился надеждой на бегство. Утром он понял бессмысленность затеи для всех, не для себя одного. Он молчал, отвечая другим мычаньем во время схваток у бадьи. Боясь, что его, чужака-иноземца, опознают по шапке, он бросил ее, как убийца — улику.

Он обращался с немой молитвой к Небу, жалуясь на злобу сунов, и, напрягая волю, думал о святом, передавая просьбу о помощи. Стараясь мысленно прикоснуться к святому, он внутренне повторял все его слова, раз за разом читая их, глубоко вырезанные на чистой доске памяти. Это облегчало и поднимало, Гутлук не понимал, что ему

было лучше, легче, чем сунам, утопавшим вместе с ним в размокшем от нечистот земляном полу подземной тюрьмы.

Он еще не был женат. Он знал свою невесту, его ждал брак, по обычаю племени, не оставляющего мужчину холостым после достижения зрелости. С родителями его не связывало, как и многих других, что-либо большее обязательного уважения младшего к старшим. Но и будь Гутлук отцом, будь он единственной опорой родителям, нашлись бы родственники, чья забота, по обычаю монголов, заменит отца детям и сына родителям.

Кто-нибудь из сунов тоже, вероятно, обладал этой удачей в несчастье — быть одним. Но другие? Для кого-то тюрьма была также и нищетой близких. Для иных, по закону сунов, над кем тяготело обвинение в государственном преступлении, предстоящая казнь была также и казнью семьи и всех родственников близких колен. Для таких оставалось одно — ожесточив сердце, бежать от самого себя. И ожесточали. И бежали.

К Гутлуку можно было применить присловье другого народа: одна не болит голова, а коль болит — то все одна. Он решил жить и выжить.

Он дожил. Его позвали сверху по-человечески, то есть по-монгольски. Спустилась бадья, и Гутлук забрался туда, в это носилище воды, пищи, людей, мертвых или живых — для тюрьмы все равно.

Гутлука звал Онгу. Гутлук не узнал голоса хана и старшего в своем роду. И не Онгу принес благодарность — святому. Ему упал в ноги Гутлук, видя, что немые посланья приняты.

Святой не побрезговал прикоснуться к голове жалкого существа, смердящего хуже, чем падаль. Только святому мог подчиниться Гутлук: снять с себя все и здесь же, в одной из ям, где едва не нашлась ему могила, вымыться отваром золы, не боясь грома и молний.

И тут же в седло. И тут же в путь. В счастливый путь. Святой шел впереди шагом, более широким, чем шаг лошади. Чтобы не отставать, монголы рысили. Святой приказал им остаться в седлах, так как монголы не умеют ходить пешком.

За нападенье на мирных жителей и на стражу суны приговорили Гутлука к смерти. Особенно увеличивало вину то, что Гутлук обнажил оружие в пределах дома Сына Неба. Сунский суд получил два десятка свидетельских показаний о буйстве Гутлука, хотя достаточно было двух.

Так рассказывал Онгу. Гутлук пробовал оправдаться, хан остановил родича:

— Я знаю, ты смел, но ты благоразумен и не напал бы один на многих только с ножом в чужом городе. Однако что можно было нам сделать! Тебя спас святой — твое сердце поняло. Разве мы сами могли бы узнать, где ты и что с тобой? Твои глаза заросли гноем и грязью, ты не заметил коротенького суна в шапочке с шариками. Он большой сановник и мудро почитает святого. В Поднебесной свои обычаи. Я заплатил пять пригоршней серебра. За этот выкуп наняли какого-то суна, и вчера его казнили вместо тебя.

У западных ворот города, и на стенах, и на кольях, вбитых в землю, торчали головы казненных и висели доски, испещренные знаками. Сообщалось о справедливо наказанных преступленьях.

Суны напоминали прибывающим и отъезжающим о законе, который стоит на страже добродетели и неумолимо карает злых. Ибо человек по своей природе добр и лишь нуждается в поучительных примерах для достиженья совершенства. Так учат старые книги, слова из которых с собственными поясненьями приводил толмач, сопровождавший к Стене презренных «степных червей».

Гутлук видел уже немало примеров в виде отрубленных голов на пути в столицу Поднебесной, но не обращал на них внимания. Теперь он глядел с особенным и непонятным для него чувством: среди жалких обрубков есть голова и того, кто умер за Гутлука, соблазненный серебром. Зачем мертвому нужны деньги?

Онгу не знал и не хотел знать. Для него суны — все равно что собаки волку. Человек, монгол, не должен обременять себя постиженьем обычаев сунов. К тому же только глупец будет рисковать, пытаясь заглянуть змее в глаза, чтобы понять ее мысли.

Толмач с десятком сунских воинов провожал гостей для почета, наблюдая, чтобы чужие не сворачивали с большой тропы с целью вызнать Поднебесную и обидеть жителей. Скучая, сун ответил любознательному Гутлуку длинными рассужденьями об обязанностях детей беспредельно почитать родителей, о великой добродетели самопожертвования, о мудрости многочисленных законов Поднебесной, которые все предусматривают.

Хотя толмач будто бы свободно владел монгольской речью, Гутлук, запомнивший состязанье святого с учеными сунами, не понял многого из сказанного толмачом,

а понятое показалось неубедительным. Так в игре, поначалу увлекшей зрителя, действия игроков начинают казаться нелепыми, когда вступают в силу условия состязания, неизвестные зрителю.

Вопреки желанию толмача, изображаемое в Поднебесной знаками и по законам знаков не поддалось объяснению словами: мысль воплощается в слово по живым, собственным законам и сердца, и разума.

Толмач расстался с монголами сразу за воротами в Стене. На прощанье хан Онгу подарил ему горсточку серебряных денег, нарочно на глазах сунских солдат, которым он не дал ничего: пусть поссорятся. Хан Онгу любил шутку и шутил, как умел. Подарок толмачу был тоже шуткой — хан унижал болтливого суна, как наемника.

Вскоре монголов покинул и святой. Куда он шел? Никто не осмелился спросить. Сойдя с лошадей, монголы склонились перед святым так низко, как позволила земля, и выслушали поученье: жизнь человека совершается по начертанному Небом кругу, человек не должен искать изменений, об изменениях заботится Небо, совершая их в известный ему час; помня об этом, человеку не следует противиться Небу; счастье человека — в созерцательном познании души, ибо внутри человека находится мир больший, чем видимый глазами.

— Не осуждайте других, кто чтит Небо, называя его иначе, никому не препятствуйте молиться, как он умеет и хочет, уважайте священнослужителей всех племен,— так не приказывал, а просил святой.— Ни один из Учителей не желал людям ничего, кроме добра. Зло происходит от невежества людей.

Сурово упрекая Поднебесную в желании ослабить развратом души, святой повелел забыть коварные угощения женщинами, искусными в неназываемых уловках.

И святой ушел своим собственным шагом, будто поднимаясь над землей, будто тело его было легче, чем у людей, подобно телу птицы. Он ушел на юг, где над желтой мглой еле виднелись призраки гор. Монголы глядели, как святой исчезал, подобный орлу в поднебесной пустыне. Для монголов не было бы ничего невозможного, прикажи он сражаться. Да, сражаться — у них не было более высокого для принесения жертвы...

Поднебесная говорила с ушами и глазами монголов, соблазняя их тело, и монголы жили с Поднебесной в недоверчивом и лживом для обеих сторон мире. Изредка

Степь пересекали святые, беседуя с душами монголов, давая высокий пример. Время шло, и будто бы ничего не изменялось, и будто все изменилось.

Скончался хан Онгу. Ханом синих монголов стал Арик, того же старшего рода. Скончался и он, и его погребли с конем и оружием.

Ханом пришлось быть Гутлуку, по праву рождения и по праву признания племенем, как и его предшественникам.

Гутлуку больше не доводилось навещать Поднебесную. Он не хотел. В его нежелании не прятался страх перед опасными неожиданностями. Поднебесная внушила ему отвращение, и нечего ему было там делать. Находилось и без него довольно желающих сопровождать ханов на прибыльный обряд свидания с золотым креслом владыки, которому нравилось именовать себя Сыном Неба и называть подарками плату, покупавшую спокойствие монголов. Став ханом, Гутлук потребовал, чтобы пустой обряд совершался в Туен-Хуанге. Гутлук не хотел позволять Поднебесной учить монголов разврату.

Через оба этих города — Су-Чжоу и Туен-Хуанг — проходит главная тропа восток — запад — восток. Вскоре после Туен-Хуанга она распадается на две: одна ветвь — через Памир в Индию, другая — через Самарканд, Мерв во все остальные страны, какие есть в мире.

Как на небосводе рассеяны звезды, так на монгольской земле разбросаны места, пригодные для жизни. Горы, бесплодные камни, пески разделяют угодья, из которых каждое принадлежит одному из монгольских племен, поэтому монгол не пустит к себе чужого, как оседлый не пустит чужих в свой дом. Поэтому не пропустит он никого чужого и по тропам, которые монгольские лошади, верблюды, коровы, овцы пробили от ручья к ручью, от озера к озеру, от пастбища к пастбищу. А многоученые суны, управляющие Поднебесной, думают, что они платят монголам за охрану границ. На самом деле они не покупают и дружбу, ибо дружба не продается.

При ханах Онгу и Арике монголы несколько раз нападали на Туен-Хуанг, на Су-Чжоу, иногда останавливали караваны на большой тропе. Это не было войной с Поднебесной. Монголы не разрушали; если убивали, то немногих. Схватив добычу и пленных, они так же стремительно отходили, как появлялись.

Вскоре в Степь приходили послы правителей Су-Чжоу и Туен-Хуанга, которых встречали с почетом. Завязыва-

лись многодневные, многословные переговоры. После упрекали монголов в непочтении к Сыну Неба, в нарушении договоров, в неподчинении, намекали на силу армий Поднебесной. Ханы Онгу или Арик, с помощью старших, поминали о древних и новых монгольских обидах. Какие договоры? Какие обиды?

«Состязание в красноречии и трата слов — дешевое занятие в мире, где правят сила с насилием, пригодное для удовлетворения потребности во лжи. Кому не по силам дело, тот зарывается в сухой траве слов»,— так думал Гутлук. Ему не было дано радости еще раз встретить святого, который спас его жизнь и поставил на тропу познания. Приходили другие, редкие посланцы Высшего. Как тот, и эти святые поднимались над страданиями тела. Иначе и их слова, как слова надоедливых сунов, пролетали бы мимо монгольского уха, так же как пух весенних цветов мимо коня.

Переговоры с сунами всегда кончались заключением мира. За подарки монголы возвращали всех мужчин, почти всех женщин и те вещи, которые, будучи схвачены в спешке грабежа, не были нужны в Степи,— шелка и ткани, статуэтки, картины и многое-многое другое.

Сделавшись хáном, Гутлук воспрепятствовал очередному набегу. К чему? Случайное обогащение не делало монгола счастливее. Да и обогащается ли тот, кто навязывает себе заботу о вещах, без которых можно обойтись? Спаситель Гутлука, святой предупреждал об опасности забвения заветов отцов. К чему монголам искать перемены? Что стало с киданями, завоевавшими весь север Поднебесной?

Под названием «ляо» они превратились в сунов. Они исчезли. Народилось шестое поколение после победы киданей, а кто назовет счастливыми потомков хана Елюя Дэгуана? Они похожи на женщин. Набравший рабов, сам делается рабом. Богатый — слуга богатства, а не господин. Чем меньше человек имеет, тем он свободнее.

В сердце хана синих монголов не стучали тревоги степных троп. Неслышимый для оседлого, голос Степи поет Гутлуку песнь о покое, в котором живет движение. Весь мир дремля движется в седле вместе с монголом-кочевником. Дремлет и грезит монгол, слившись с Небом, плавно покачиваясь в седле вместе с мерцающей мириадами огней вселенной, живет одной жизнью с ветром, с камнем, с травой, единый с ними в покое, который есть совершенное движенье.

В чтимых монголами храмах, спрятанных внутри холмов Туен-Хуанга, улыбаются и дремлют с полузакрытыми глазами каменные воины в каменных доспехах. Они охраняют Будду. Будда мирно спит на каменном ложе, погрузившись в каменные перины. Полон великого движения сон Будды, его услаждают танцовщицы — они витают на стенах с бесстрастными лицами, беззвучно играя на пастушьих свирелях.

Ни с кем из Учителей не спорит Гутлук. Но мил ему только Будда. Будда — сон, и его неизъяснимый сон есть зеркало желаний.

Из трех сыновей Гутлук любил Тенгиза. Потому что Тенгиз был первым. И верным. И послушным. И часто предпочитал всему молчать рядом с отцом.

Потому что не было дикого коня, не усмиренного Тенгизом. Не было стрелка, равного Тенгизу. Никто не мог побороть его. Никто не был так вынослив.

Любовь — вот самое слабое место самого сильного сердца. Будда любил всех живых одинаково. Будда воплотился. Гутлук же был только рожден. Об этом он вспомнил в день, когда Тенгиз сказал:

— Отец, я ухожу.

Кто ответит сыну, если сын не просит, а приказывает? Сколько лет нужно растить сына, чтобы он научился оскорблять отца?

Двадцать пять лет минуло Тенгизу. Молчание есть сила зрелости. Гутлук молчал.

Руки человека выдают его. Глаза — открытые двери души. Лицо, как степь под ветром, говорит и глухому. И только глухой не знает о предательстве голоса.

— Разве не был я послушным, отец? Разве я когда-либо прервал твою речь, отец? Разве не я год за годом висел на твоих губах, как младенец у груди матери? — спрашивал Тенгиз.

Подтверждая, Гутлук на мгновенье опустил веки.

— Благодарю тебя, ты удостаиваешь говорить со мной, как мужчина с мужчиной,— продолжал Тенгиз.— Благодарю тебя за знания, ты был щедр, таких отцовских даров не получал ни один монгол. Свобода! Только кочевники свободны. Все оседлые — рабы. Там,— Тенгиз указал на восток,— люди, гордящиеся своей Поднебесной. Лгут! Это мы живем под небом. Они — под крышами, до которых достает рука. Вместо разума у них в голове знаки,

о злом смысле которых, об опасной бессмыслице которых ты не уставал говорить. Сердца у них вялые, как зимнее пастбище, они трусливы и злобны от трусости. А на западе, за широкими степями, где живут наши братья кочевники, тоже страны людей под низкими крышами, с низкими сердцами. Отец! Оседлые — рабы. Кочевники — свободны. Оседлые должны быть пищей кочевников. Я хочу справедливости. Тот, кто не сдается, будет уничтожен. Склонившиеся переменят хана, как лошадь всадника.

— Зачем тебе это? — спросил Гутлук.

— Я так хочу. Я, мужчина, обдумал,— ответил сын.

— Ты причинишь много зла.

— Что такое зло? — спросил Тенгиз и сам ответил: — Зло — боль, которую ощущаю я. Боль преследует меня. Я не имею желаемого. Добро — в завоевании мною власти над людьми. Я не хочу причинять боль для боли, как сун.

— Ты понесешь боль другим,— возразил отец.

— Я не чувствую чужой боли и не боюсь своей. Не будь тебя, я был бы слеп. Теперь я зряч.

— Добро — это покой, добро — наша Степь, добро — в созерцании себя,— убеждал Гутлук.

— Я не спорю. Покой — твое добро. Созерцание — твое добро. Я был в покое, я созерцал. Теперь я хочу дела. Разве я не мужчина?

Подтверждая, Гутлук опять на миг закрыл глаза. И опять смотрел на сына. Руки не выдавали Тенгиза, его руки спокойны, как каменные. И лицо Тенгиза — как лицо спящего Будды. А голос бесцветен, как если бы сын говорил о самом обычном. И глаза закрыты изнутри. Гутлук понял, что сын, если будет нужно, отбросит его, как откидывают кошму у входа в юрту.

Добро и зло, цель жизни и путь. Воистину, сын жил рядом с отцом, они вместе топтали тропу мысли. Сказанное Тенгизом родилось от мыслей Гутлука. Могло б и не родиться. Тогда Гутлук только предчувствовал, что разум — слуга затаенных стремлений и послушен им, как меч — руке. Сын внимал отцу для себя, отсекая одно, переправляя другое. Добро и зло каждый понимает посвоему, и миром людей управляет сила желаний.

— Кто пойдет с тобой? — спросил Гутлук.

— Все. Почти все. Они скучают. Они признали ханом меня.

Бывало и так — бездействие хана утомляло монголов. Гутлук один раз добился повиновения, воспрепятствовав

набегу. Сколько дней или лет он наслаждался покоем, не думая о своих? Долго. Он не считал, будучи счастлив. Тревога степных троп стучала в сердце Тенгиза, чужой и сильный мужчина жил рядом. Гутлук не чуял, не слышал. Глядя внутрь себя, он созерцал мир, весь мир — кроме сына. Смотря вдаль, отец разучается видеть в собственной юрте.

Бывало и так — преемник убивал предшественника, сын, обремененный ожиданьем, тайно торопил отцовскую смерть. Другая судьба свершалась над Гутлуком. Он, принимая общее молчанье за повиновенье, не требовал ничего, и о нем просто забыли.

Насколько лучше конец слабой власти Гутлука, чем отвратительное крушенье владык! Тех, кто утомив всех похвальбами и требованиями невозможного, наобещав невыполнимое, сделав скромных трусами, а смелых — злобными, погибает от страха.

Тенгиз прощался с отцом:

— Для синих монголов ты святой, хоть и не ходишь зимой босым и живешь среди нас. Мы чтим тебя. Прости, что я оскорбил тебя.

— Нет, не оскорбил. Иди. Идите все, и ты иди искать. Сумей быть счастлив исполненьем желаний.

Да, да, сила правит миром. Когда Тенгиз победит, все скажут, что он был прав, и первыми к нему придут ученые суны и докажут ему, себе, всем, что путь его был путь добра, путь величайшего общего блага... «А что сказал святой? — спросил себя Гутлук, и странное сомнение остановило мысль: — Двойственность творения? Покой есть движение мысли?»

Гутлук перестал понимать. Тенгиз ушел искать покоя своей мысли в движении. Значит, и покой не един для людей?

Могло показаться — хан Тенгиз, сын Гутлука, не должен был поручать важное дело таким людям. Могло показаться — послы синих монголов нарочито грубы. Не по молодости — степная молодость столь же коротка, как цветение степных трав.

Веди себя послы иначе — и, вероятно, хан и старшие найманов еще поразмыслили бы над предложением своих соседей, синих. Трудно глядеть на себя со стороны и трудно взвешивать в раздражении. Оскорбленные наглостью, соседи синих монголов найманы с бранью выгнали послов

Тенгиза. Выгнали после спора между собой — отпустить ли послов целыми или обкарнать им для позора носы и уши.

Выгнали. Выгнав, успокоились. А далее что делать? Поразмыслив, найманы решили оставить летние угодья и отойти на север, тем самым положив между собой и синими монголами палец Гоби, который пустыня высовывает на восток. Больше трех дней требуется, чтобы пройти палец — бесплодную песчано-каменистую полосу.

Обремененные стадами и вьючными верблюдами, найманы двинулись, медленно спеша и без всякого порядка. Кто сожалел о покинутых местах, утешаясь временностью разлуки, кто тешился переменой, желанной по своей неожиданности. Пыль, взбитая сотней тысяч конских, овечьих, коровьих копыт, застилала землю и небо. Серо-желтые облака ее были видны на день пути.

Утром третьего дня синие монголы набросились на найманов. Они могли бы напасть и на рассвете. Пренебрегая временем, обычным для внезапных нападений, они дали найманам сняться с привала. Синие гнали пастухов, избивая отставших, пытавшихся сопротивляться, и с ходу сбили найманов в толпу. Найманы считались людьми храбрыми и гордыми. Благоразумие заставило их перекочевать после угроз хана Тенгиза, так как синие монголы заметно превосходили найманов числом. Превосходили и воинским строем, впервые увиденным найманами только сейчас, в час позднего утра и поздних сожалений.

После краткого сопротивления, утроившего ярость нападающих, найманы бросили бесполезное оружие. К Тенгизу привели найманского хана. Победитель спросил побежденного:

— Согласен ты сам стать синим монголом и приказать твоим перестать быть найманами?

Хан, возрастом годившийся Тенгизу в отцы, не подарил молодого хана длинной речью. Мотнув головой так, что кровь из рассеченной щеки окропила морду Тенгизова коня, найман плюнул и ответил:

— Нет! Да поразит тебя Небо!

Тенгиз согнул палец, и хан найманов рухнул с рассеченной головой. Кто-то из близких с криком упал на тело. Тенгиз опять согнул палец, и монгольское копье соединило в смерти обоих.

Через час найманов не стало. Смирившихся включили в десятки. Разбавив собой войско синих монголов, бывшие найманы рядом с новыми товарищами по тропе ста-

нут такими же. Кибитки, стада, женщины и старики были отосланы назад, на бывшие найманские, теперь же общие кочевья.

Хан Тенгиз двинулся к верховьям реки Керулен. Шли быстрыми переходами, привычно пользуясь запасными табунами. Высокой степью, прикрытой горными грядами, откуда свое начало берут реки Онон и Керулен, владели татары. Среди них, как выяснилось впоследствии, замыслы хана Тенгиза увлекли некоторых, сумевших заранее навербовать тайных сторонников. Открытое предложение Тенгиза было обсуждено на бурной сходке. Спор между татарами вылился в схватку: были убиты хан татар, его старший сын и несколько десятков противников союза. Младший сын хана, отказавшись от татарской отдельности во имя объединения всех людей монгольской крови и обычаев, увлек остальных. Хан Тенгиз создал цепь войска из десятков и сотен, в которых каждый отвечал за всех и все отвечали за одного. Как и найманы, так теперь татары растворились по одному, по два в первых десятках. Тенгиз говорил: нет более деленья на племена, все ра́вно монголы, все ра́вно кочевники, все одинаково свободны душой, все одинаково послушны без размышленья: в десятках — десятнику, в сотнях — сотнику, в тысяче — тысячнику. И все одинаково — цепь, и каждый в цепи равноценен, ибо самая сильная цепь не сильнее каждого кольца.

Увеличив войско чуть больше чем вдвое против числа, с которым начал поход,— легко знать, когда строй весь одинаков,— хан Тенгиз пошел на юго-восток. К сунскому городу Калче, о чем знал он один. По пути, занявшему время от одной молодой луны до другой — сейчас Тенгиз не торопился,— сдались без сопротивления еще три племени кочевников родного языка. Склонились они без спора, и кровь не пролилась.

Монголы шли вне обычных путей и не ближе одного перехода от торной тропы, древней торговой дороги, по которой Поднебесная общалась с Забайкальем и Прибайкальем, богатыми мехами, золотом, скотом.

Использовав скрытость — залог ужаса, хан Тенгиз упал на Калчу, подобно камню, выроненному небом над вершинами воздушных стен земли.

Калча, что значит — «ворота», называемая также Калган, была сильным торговым и перевалочным местом перед Стеной. К востоку от Калчи, за Стеной, начинались исконные владенья Поднебесной. Перед зимой к Калче

приближались кочевники со стадами, и здесь происходила торговля лошадьми, верблюдами, крупным и мелким скотом, кожами, салом на пространстве, для простого обозрения которого сунскому купцу приходилось проводить в разъездах шесть дней.

Монголы обложили Калчу, угрожая штурмом и, для начала, уничтожением всего, расположенного за стенами. Через несколько дней переговоров Тенгиз соизволил принять выкуп. Полученное серебро монголы тут же в Калче превратили в железо, железные изделия и оружие. Обещая необычайно высокую оплату и награду за усердие, хан Тенгиз вербовал кузнецов, оружейников и шорников. Монголы, ограничившись угрозами, никого в Калче не обидели. Несколько сотен калчинских ремесленников соблазнились выгодой. Правитель Калчи обязал ремесленников вызнать все о монголах и не стал им препятствовать. Нескольких оружейников правитель вызвал к себе в ямынь и беседовал с каждым порознь, секретно.

Хан Тенгиз исчез из-под Калчи так же незаметно, как появился. Правитель Калчи, послав донесение о буйстве монголов, сообщал, что он сумел окружить кочевников соглядатаями и принять некие особенные меры. Проницательно говоря о хане Тенгизе, как исключительном по свирепости вожде, правитель намекал, что опасный монгол скоро будет «грызть землю»...

По извилистым степным тропам, через перевалы, через броды, через пальцы Гоби птицами полетели слухи. Порхало сделавшееся сразу знаменитым имя — Тенгиз, Тенгиз, Тенгиз. И то же имя опускалось и давило горой, отягощенное несколькими тьмами всадников — десятками тысяч, которыми будто бы уже начальствовал, которых будто бы вел прямо на слушавших вести хан Тенгиз. Тенгиз! Само имя звучало, как удар: Тен-гиз!

Но где он, где? В Калчу не пришли в свое время несколько караванов, ожидаемых из Кинь-Луня, он же Курен или Урга. Хан Тенгиз грабит на дороге? Опять северные дикари, «степные черви», разоряют подданных Поднебесной!

В Суань-Хуа, большом городе за воротами в Стене южнее Калчи, и в самой Калче некоторые купцы, особенно обеспокоенные, в складчину нанимали бывалых людей, наряжая их для разведки.

Базарные предсказатели судьбы гадали на книгах, на гадальных табличках, изрекая темные и угрожающие общему спокойствию пророчества. Другие истолковывали

черты, из которых слагались выбранные наудачу цзыры, и почему-то попадались наиболее зловещие.

Правитель Калчи, уважая науку предсказания, был вынужден своей высокой должностью вмешаться и восстановить спокойствие. Один из гадателей был схвачен, и голова его была выставлена с надписью: «По злобе и корысти невежественно искажал предсказания для нарушения мира».

После этого жители Калчи осмеливались говорить о монголах лишь с глазу на глаз. Предсказатели попрятались и гадали втайне за удвоенную плату. А правитель Калчи получил от тайного союза воров, покровителя гадальщиков, письмо, составленное с большим искусством. Намеки в письме не давали возможности кого-либо преследовать, даже если бы авторы письма были обнаружены. Вместе с тем явствовало, что дальнейшие преследования гадальщиков заставят правителя «грызть землю» — выражение общеупотребительное в Поднебесной. В ту же ночь дверь ямыня в Калче была осквернена действием, естественным только для младенцев. Правитель разумно закрыл глаза на гадальщиков.

Тревожно стало и у западного конца Стены, в городах Су-Чжоу и Туен-Хуанге, о которых уже упоминалось. Су-Чжоу мог бы именоваться Воротами Поднебесной, но, кроме этого, ничем особенно не выделялся. Туен-Хуанг для людей, отправляющихся из Поднебесной на запад, был Воротами Гоби, пустыни, называвшейся также Шамо. Туен-Хуанг был город особенный. Если не единственный, то один из немногих.

Холмы Туен-Хуанга сложены камнем, легко поддающимся кирке. И достаточно крепким, чтобы выбитые в нем своды не боялись обвалов. Там сухо. Как и в некоторых других местах, удобных для подземелий, в Туен-Хуанге начали строить под землей. Может быть, начинатели подземного Туен-Хуанга, не перенимая чужого, действовали по подсказке здравого разума или помнили о древних людях, обитателях пещер. Вернее, уменье строить под землей было принесено из Индии — очень многие подземелья сразу же стали храмами Будды и жилищами его служителей, и подземные владенья Будды быстро разветвились, быстро украсились сочетанием мечты индуса с точной работой, на которую всегда был способен житель Поднебесной.

Туен-Хуанг был первым местом встречи юга, запада и востока.

Поднебесная, нетерпимая к нарушителям государственного покоя, благосклонно относилась ко всем вероучениям, целью которых было спасение человеческих душ, но не преобразование основ государства. Рядом с буддистами строили подземные храмы христиане, последователи Нестория, гонимые на западе. Мистические даосы — волшебники и заклинатели — и другие, даже арабы, исповедовавшие ислам, могли найти в гостеприимных подземельях место для молитвы и убежище.

Начало Туен-Хуанга неизвестно. В нем веками до рождения Тенгиза толпились паломники, прибывавшие для поклонения святыням.

В смутные времена среди них могли скрываться — и, конечно, скрывались — лазутчики, они же распространители злонамеренных слухов с целью заранее ослабить Поднебесную.

Многие в Туен-Хуанге уже видели тревожные сны. Буддисты и даосы, последователи Лао Цзы, сжигали в пламени пахучих свечей молитвы верующих, написанные на бумажках, бумажные деньги — вернее, подражание бумажным деньгам Поднебесной — и фигурки жертвенных животных из той же бумаги. Так к Небу возносились и молитвы, и дары: образные, а не обманные!

В Туен-Хуанге, как и в Калче, смыслы снов и гадания не утешали сновидцев и толкователей.

Осведомленный обо всем, правитель Туен-Хуанга господин Хао Цзай был вынужден вывесить таблицы: какие-либо опасности отрицались, благонамеренных успокаивали, злоумышленникам угрожали. Приказ господина Хао Цзая был доведен до сведения неграмотных с барабанным боем и ударами в гонг.

Правитель Туен-Хуанга искренне успокаивал людей: как ученый мыслитель, он понимал бренность существования, и так не столь счастливого, чтобы обременять его преждевременными страхами.

Гадатели по табличкам, знакам, приметам, снотолкователи, священнослужители всех догм по человеческой своей сущности искренне верили в гадания и толкования. Не по их вине предсказания оказывались неблагоприятными. Те священнослужители, кто по скромности считал недостойным ухищрением низшего существа — человека — разгадать волю Неба, все же не могли безучастно внимать пророчествам.

Решительно все, как всегда, бессознательно судя о прошлом по воспоминаниям несмышленого детства, были

склонны считать свои детские годы годами спокойствия, а зрелые годы разумного вйдения жизни — особенно тревожными.

Вспоминали: в прошлые годы волненья и схватки между кочевниками могли казаться ничтожными, ныне колебались устои. Не так уж давно кидани, северные варвары, овладевшие было всем севером Поднебесной, основали государство Великое Ляо. До сих пор династия Сун, владеющая южной и средней — наибольшими частями Поднебесной, платит ежегодную дань Ляо. Суны духом слабы, ослабели душой и ляо. Ляо и суны устраивают церемонии, называя подарками дань, платимую кочевникам. А монгольская Степь, недавно бывшая подвластной Ляо, сейчас только именуется такой сановниками. На самом деле любой Тенгиз может вершить в Монголии все, что захочет. Поднебесная переделала Ляо. Ляо и суны стали неотличимы, на словах они любят мирную жизнь. Но сумеют ли они защититься и охранить мир?

Купцы по необходимости своих дел следят за происходящим. Купцы знакомы с народом ниуджи. Ниуджи живут в самой северной части Ляо, за рекой Ляо-хе. Они так же свободны от всякой власти, кроме своей, как монголы. Но земли там не так разъединены горами и пустынями, как монгольские. Ниуджи более многочисленны, более сплоченны, чем монголы.

Стене исполняется двенадцатая сотня лет. Она простоит еще столько же. Каждая стена, даже Великая, подобна любому запору: коль его не охраняют, злоумышленник сломает самый крепкий замок. Для охраны Стены нужно войско. Где оно?

Поднебесная полна рассказов о военачальниках-богатырях. Изучив войну по книгам, они побеждали, пугая врага учеными построениями войска и показом хитрых маневров. Богатырем не станешь, десятками лет иссыхая над книгами. Врага бьют в открытом поле силой на силу. Сказки — все эти рассказы. Купцы тоже умеют складывать сказки.

И купцы знают, что рассуждение без примеров не убеждает. А! За примером ходить недалеко. Те же кидани! Северные дикари не испугались хитрых перестроений сунских войск и книжных мудростей ученых полководцев. Ни грома пороха в железных трубах. Эти трубы опаснее солдату, который обязан совать к затравке уголек или фитиль, чем врагу, в которого направлено жерло.

Увы, доброго не жди!

А не сложил ли уже голову в Степи этот Тен-гиз, или Дан-гис? Иные так хотели знать, что поддавались, как глупые рыбы, на удочку обманщиков, якобы только что приехавших из монгольской Степи, и награждали за выдумки... Снижались торговые обороты. Как всегда, имевшие деньги придерживали их. Серебро и слитки легче унести или зарыть, чем другое имущество.

В донесении о «небольшой неприятности», постигшей Калчу от Тенгиза, правитель города, изысканно расставляя художественно выписанные знаки, среди употреблявшихся ранее несколько раз применил новый знак-цзыр.

Созданный на идеях старых знаков — иначе новый цзыр был бы непонятен — и все же новый, этот цзыр наглядно свидетельствовал, что злоба «степных червей» проявляется из самой их природы и, подобно стихии, возникает самостоятельно, существуя неотъемлемо от указанных «двуногих червей», как неотъемлемы влажность от воды и жгучесть от огня.

Новый знак-цзыр, художественно связанный с известным знаком «грызть землю», самим своим существованием утверждал невиновность правителя Калчи и постигшей город неприятности: бедственность стихийно происходит от степных дикарей.

Правитель провинции, читая послание, мысленно благодарил правителя Калчи за доставленное наслаждение. Без зависти, с благородной гордостью ученого, радующегося успеху собрата, начальник провинции созерцал красивый цзыр. Он понял главное: как кисточка, тушь и бумага нужны ученому, как воину — стрела, кошке — когти, так новый знак нужен каждому сановнику. Он поясняет, объясняет и оправдывает — без оправданий!

Для ученого хорошо начерченные цзыры подобны лицам. Одни наделены мужественностью, другие женственны, третьи прелестны по-детски — и так до бесконечности, как формы цветов и оттенки красок. Новый цзыр волновал память правителя провинции, как воспоминание о давней любви. Какой, когда, с кем? Нужно искать.

Правитель провинции не случайно отложил дела и занялся научными поисками в дни смятения на границе. Приблизительно три десятилетия тому назад он, едва

получив ученую степень, присутствовал в столице на диспуте между учеными Поднебесной и высокоученым гостем из Тибета. Гость высказывал мысль, что знаки-цзыры будто бы останавливают развитие мысли, лишая человека возможности выразить себя. Будто бы цзыры непроницаемо отграничивают Поднебесную от вселенной. Будто бы из-за цзыров в Поднебесной иначе, чем везде, смотрят на жизнь и смерть, на любовь мужчины и женщины, на государство, на самую цель жизни!

Высокоученый тибетец призывал к новому. Нового нет и не может быть, все сказано в знаках-цзырах. Нет даже новых знаков! Ибо знаки, рождаясь из знаков, остаются знаками. Так говорил тибетец, не понимая, что на таком и покоится благо.

Через семь дней правитель провинции нашел искомое в рукописи времен правления Сына Неба Ву Ти [1]. Память не обманула. Собрат по науке из Калчи не создал новый цзыр. Вернее, идея такого цзыра уже существовала двенадцать сотен лет тому назад. Калчинский собрат сумел усовершенствовать старый цзыр художественным исполнением, что усугубило смысл. И несомненно, это было сделано бессознательно!

Так лишний раз подтвердилось, что мудрость уже была заключена в старых книгах, что нового нет, новое лишь кажется новым. Собрат из Калчи не выдает чужое за свое. Сущность дела куда значительнее: встречаясь с одним и тем же, люди одинаково относятся к встреченному, пусть их, как в данном деле, разделяет двенадцать столетий. Жаль, нет здесь тибетца, дабы сразить его еще одним доказательством.

Подобное куда важнее, чем тревоги на границах. Нужно укреплять науку, в ней больше силы, чем в крепостных стенах. Наукой, а не стенами длилась, длится и будет длиться жизненность Поднебесной.

Донося в столицу, правитель провинции воспользовался новым, вернее, возрожденным цзыром. Не забыв упомянуть о заслуге правителя Калчи, правитель провинции намекнул на древнее сочинение, где была зачата душа цзыра. Так, не унижая собрата, правитель провинции доказал глубину и собственных знаний, как умеют и любят делать настоящие ученые.

По приказу правителя провинции были изготовлены и повсюду разосланы особенно красиво написанные таб-

[1] Сын Неба Ву Ти правил во II веке до н. э.

лицы. В них наглядно для понимающего цзыры разъяснялись стихийная зловредность и стихийная ничтожность северных дикарей, а также величие и прочность Поднебесной.

В дальнейшем калчинский цзыр помогал сановникам внешних провинций, которые по необходимости служения государству были вынуждены терпеть общенье с дикими народами.

Ученые правители внутренних провинций попытались создать свои новые цзыры для сообщений высшей власти о болезнях, грабежах, неурожаях, разрушении плотин на реках и других подобных неприятностях. Их научные поиски в той или иной степени венчались успехами, порой предложенные цзыры выглядели достаточно убедительными, чтобы облегчить ответственность правителей, поэтому вошли в «золотой склад» науки, но с меньшим блеском, чем великолепный калчинский цзыр.

Зато еще раз было доказано, во утверждение величия науки, что каждый знак-цзыр не выдумка, а открытие. Открыть же можно лишь уже существующее во вселенной. Следовательно, калчинский ученый, как и его собрат, живший двенадцать веков тому назад, могут быть уподоблены рудокопам, нашедшим в земле серебряную жилу. Затем некоторые ученые в увлечении с необдуманной поспешностью и в чрезмерно доступной форме сделали следующий опасный вывод: пограничные бедствия действительно происходят от стихийных свойств дикарских народов. Действительно, по уничтожении этих народов возникнут мир и благоденствие. Это доказано калчинским цзыром. Но неурожаи? Болезни? Мятежи? Грабежи, воровство и прочие внутренние беды? Может быть, они не так уж исходят из свойств подданных Поднебесной? Такие крайне рискованные вопросы были вызваны явным несовершенством по сравнению со знаменитым калчинским цзыром всех новых цзыров, предложенных для внутренних дел с целью облегчить труды правящих сановников. И диспуты между учеными сановниками были немедленно прекращены по «явной своей бесполезности».

Меньше всего о значении знаков-цзыров думал человек, давший толчок научному творчеству Поднебесной. Хан Тенгиз отошел от Калчи в места, удобные для отдыха, чтобы там обучать и готовить к дальнейшему быстро разросшееся войско. Тут среди ожиданных и неожиданных забот хану встретилось безлико-опасное — нож тай-

ного убийцы. Так случилось, случается и будет случаться с людьми, взявшими власть для цели, которую не только льстецы, но сами они признают высокой: приходится убивать своих, чтобы оберечься от своих же.

На одного синего монгола, начавшего поход под значком хана Тенгиза, приходилось двое из включенных в племя насильно или присоединившихся добровольно. Казалось, опасность могла угрожать от чужих, так судят люди недалекие. Хану донесли о заговоре, составленном своими. Всадники из шести семей задумали вернуться в родовые угодья, им достаточно уже полученной доли, хоть для них эта доля — ничтожество. Не решаясь уйти открыто — по закону, объявленному Тенгизом, беглецы подлежали казни,— недовольные распускали языки, еще не понимая опасности болтовни. Они порицали хана Тенгиза за слишком широко разинутую пасть. Недовольные похвалялись: можно и укоротить на голову молодого хана. Монгол рождается и живет свободно. Хан Гутлук не позволял ходить в набеги, но зато не мешал всем жить, как хотят. Так передавали хану, и хан знал: передают правду. Хан воздержался от немедленных действий.

Чадный дым вился над кузницами, не умолкал дробный перестук молотков. Нанятые мастера денно и нощно изготовляли оружие, латы, шлемы. Шорники слепли над сбруей из-за высокой платы и в надежде на обещанную награду помогая однотонной песней просмоленным до костей пальцам.

Хан Тенгиз подобрал себе десяток телохранителей. В редкие минуты безделья он беседовал с братьями и с двумя сотниками, проявившими способность к разведке между своими. Пропитанная салом черная кошма ханской юрты еле прикрывала советников. Кто недовольные? Почему недовольны? Новички в деле сыска постепенно добирались до настоящей причины. Забастовали богатые. У этих дома осталось больше скота, чем у многих, у них было наиболее ценимое — лучшие лошади.

Богатство — так назывался кончик нити: потянув за него, Тенгиз размотал клубок, в котором пряталось нужное хану-правителю — смысл. Богатый легче насыщается, быстрее устает, скорее стремится к покою. Сытые ленивы — то-то они и упрекают Тенгиза за слишком широко разинутый, как у голодного, рот.

Так, лежа на бараньей шубе, молодой хан постигал науку власти. Молча старея душой рядом с отцом,

Тенгиз воздвигал свое будущее в подобии лестницы. Слишком высоко парила мысль Гутлука, и на ступенях своей лестницы Тенгиз помещал способы управления, искусство боя, сражения, освоение захваченного. Пришлось порасширить эти ступени, чтобы на каждой нашлось место для отнюдь не почетной охраны — для тайного надзора за тайными мыслями, для войны со своими же...

Спину хана и юрту хана уже охраняли небрежные по виду, как почетная стража, но бдительные сторожа. К хану пускали еще всех, а не по выбору, и без осмотра. Хан еще не носил под кожаным кафтаном гибкую кольчугу сунской работы, которую ему достали младшие братья. Повсюду Тенгиз беседовал и с простыми всадниками, и с десятниками. Он хотел знать и ощущать всех, пока войско не разрослось. Ничто не остановит его в малом, но нужном, дабы свершилось большое.

К указанному ханом сроку мастера-оружейники и кузнецы израсходовали железо, а шорники — кожу. Тенгиз приказал заплатить обещанное. Мастера удалились, благословляя хана. Хан дал им провожатых, иначе, по глупости оседлых, эти не найдут дороги и погибнут, для них монгольская степь — пустыня.

С легкостью великого, который сам себя освобождает от данного обещания, в Калче Тенгиз решил перебить мастеров, когда они закончат работу. Не из жадности, а от презренья к гибким хребтам оседлых, из отвращенья к заискивающим голосам, к приниженности оседлых, которые, дрожа, все же польстились на заработок. Сейчас он щадил их отнюдь не из милости: попросту он понял полезность ремесленника для монгола. Показав пример, хан приказал войску разумно оставлять жизнь умельцам.

Монголы кое-как умели работать, но презирали работу рук. Принимаясь за дело под плетью крайней необходимости, они подчинялись ей, как болезни, и работали, как больные, медленно, через силу.

Спартанцы — те, о которых помнят,— исчезли больше чем за тысячу лет до рожденья Тенгиза. Ликург, научивший Спарту презирать и роскошь, и труд ради войны, стал мифом давным-давно. История и поэзия облачили монголов и спартанцев в одежды двух разных миров. О том как будто постаралась и природа — внешне, тогда как между теми и другими существовало внутреннее братство.

На опыте с ремесленниками Тенгиз познал, что разумная перемена решения, что измена себе есть признак

силы, а не слабости. Слабые от лености ума и из страха цепляются за принятое однажды. Размышляя о пределах, Тенгиз нуждался в Гутлуке. Умея незаметно предложить отцу своей плоти и духа какую-либо мысль, Тенгиз терпеливо выжидал. Не скоро, но Гутлук возвращал ту же мысль, преображенную золотом разума.

Святые отвергают дела внешнего мира, боясь, как видно, своей силы. Для Тенгиза отец был как гора. Превосходство отца возвышало сына — он будет иным, но и таким же.

Кусок кошмы, закрывавший вход в юрту, был отброшен. Хан, согнувшись, вышел. Трое сторожей не шелохнулись. Опираясь на копья, они будто дремали стоя, но каменная неподвижность тел выдавала бодрствование. Тенгиз долго стоял, долго ждал. Звезды начинали гаснуть, а босые ступни окоченели. Хан обулся. Юноша, родственник и слуга, поднес миску квашеного молока, холодного, чуть пенящегося, и положил в деревянное корытце — тзбши — окорок вареной баранины с воткнутым в холодное мясо длинным сточенным ножом.

Свет овладевал миром медленно-медленно, как прилив Океана, который без спеха поднимался вместе с солнцем на длинные отмели восточного берега Поднебесной. Солнце еще не одолело подножий горной гряды, защищавшей монгольскую стоянку.

Здесь, на западном берегу Поднебесной, приливы подчинены другой силе. Лагерь — люди и лошади уже жили в сумерках нового дня, наполняя его движеньем и шумом: люди часто слишком торопятся, а лошади всегда чутки к людскому волнению. Ветер еще безучастно спал, давая всем некий срок тишины, называемый утром, когда далеко слышны слабые голоса живых и даже самый слабый из них — человеческий, какую бы власть над другими ни воплощал его хозяин.

Перед юртой хана выставили длинный шест. К нему пахучим сыромятным ремнем привязали копье с белым шелковым лоскутом знамени над девятью пучками черных волос из хвоста яка.

Вернувшись, хан лег на баранью шубу. Срезая мясо, он громко жевал и глядел наружу из темной юрты, как дикий зверь из пещеры. Он не был ни диким, ни зверем. Просто еще не пришло время поэтов, которые на чистейшем языке корана будут писать поэмы-манифесты для монгольских ханов и — от своего имени — поэмы о величии ханов. Поэты еще не успели присосаться, как

рыбы-прилипалы к акулам, к монгольским сапогам. Великое Небо сберегло от липкой лести Тенгиза, сына Гутлука.

Подходя в точном порядке, монголы становились тугими сотнями, обжимая плотным строем тысяч юрту хана. Хорош такой строй, коль ему подчиняются люди, умеющие жить просто, как проста сама жизнь — пока сам человек ничего не придумал,— которые молоды в молодости, в зрелости — зрелы, как чувствуют они сами, а случившееся с ними случается в первый раз — для них. Хорошо, когда хан чутко освобождает строй, вытягивая в десятники, в сотники других, памятливых, которых и собственная и чужая жизнь наделяет богатством опыта. Пусть, как всякое, опасно и это богатство: умные ненадежны деятельностью живой мысли. Молодые ханы смелы, еще тонок их вкус. До времени им, как пресное жирное блюдо, претит зловонная преданность самодовольных тупиц.

Посеяв в монгольских головах мысли о пути кочевника, человека несравненной свободы, хан назвал имена заговорщиков на свою жизнь и произнес приговор.

Все было готово, исполнители знали, кого хватать, сколько рук помогут тебе скрутить обреченных. Их вытащили, неудачливых хвастунов, и хан приказал, навсегда возвысив себя над расправой:

— Монгольская степь не будет пить кровь монгола, пролитую монгольской рукой!

Уже были затянуты в кожаные мешки враги хана — мешки припасли. Тяжелые удары дубин обрушились на живые мешки, и мешки стали мертвыми, как коровы, из шкур которых их сшили.

Лица монголов, совершавших казнь, и лица всех остальных были одинаковы. Так, немного в сторону и чуть вверх, глядит монгол, когда он режет барана по своему обычаю: связав ноги, валит он скотину на правый бок, вспарывает брюхо и, засунув руку по локоть, нащупывая сердце, останавливает биение кусочка мяса.

Молодой хан еще не знал, что его враги обязаны сами строить тюрьмы, рыть себе могилы и, ложась в них, славить его имя. Поэтому яма была приготовлена, как и все остальное, заранее.

Глубокая яма. И камни навалили, чтоб зверь не потревожил монгольские кости. Тогда монгол никому, даже своим, еще не мстил после смерти.

Ветер, дождавшись завершенья мелких людских дел, прянул буйной стаей с гор в долину. Сейчас голос хана был бы неслышим.

Тропа восток — запад — восток, на которой знаменитый город Туен-Хуанг слыл Воротами Гоби, была протоптана в дни, которые казались близкими к дням сотворения мира. Да и теперь то время кажется чудовищно удаленным, вопреки познаниям в астрономии и в истории Земли.

Наверное, тогда Будда еще не бродил по Индии, разделенной на множество жестоко враждующих владений, мечтая найти путь мира между людьми через примирение человека с самим собой.

Тогда в долине Нила творцы каменных книг, изобретатели собственных знаков записи не слов, а идей, стремились к созданию власти, которая, по их убежденью, должна была стать вечной. Им казалось, что править должны обладатели знаний, которые позволят сосчитать звезды, предсказать появление комет, подъемы Нила. А также — и это главное — нужно изучить свойства веществ настолько, чтобы сохранять от тленья тела умерших: тогда души умерших, оставаясь вблизи места сохранения земных оболочек, удесятерят срок жизни государства, если не сделают его вечным. Забота же о живых была так настоятельна, что врач, чей больной умер, представал перед судом равных себе: смерть неизбежна, но все ли сделал врач для продления жизни пациента?

И уже в ту пору один из дальних отростков тропы, начинавшейся в Поднебесной, обрывался на восточном берегу Средиземного моря, у каменной стенки порта Тира и Сидона, темноволосые моряки которых, впоследствии названные финикийцами, хозяйничали на море, через многие века ставшем Срединным Римским морем.

В ту же пору предки белокурых ионийцев и дорийцев, еще не осмеливаясь выходить в море дальше расстояния, преодолеваемого средним пловцом, пробирались от мыса к мысу на север, через узкие, как реки, проливы, и кто-то из них решился на не сравнимый ни с чем подвиг: перешагнуть через Евксинский Понт. Его сын, а может быть и правнук, сумел подружиться с русоволосыми сильными людьми, которые владели землей по реке Борисфену. Размышляя, что предложить русоволосым за их полновесное зерно, за сало, за кожи, за воск и мед, за оружие закаленного железа, за красивые меха неизвестных на юге зверей, этот сын или правнук увидел у новых друзей вещи, которые Тир и Сидон получали с удаленного Востока. Удивительно! Один из отростков все той же тропы кончался на Борисфене!

Так длинна и так стара была тропа восток — запад — восток, и так нуждались в ней все.

Ходили по тропе и армии. Когда бывали походы и чем они завершались?

Потребность знать прошлое, как видно, присуща самой природе человека. Лишь изредка — и никогда в прямой форме — кто-то возражал против этой потребности, а утверждениями ее можно наполнить многие тома. И все же почему мать начинает такими словами любимую сказку, и почему они звучали и звучат лучше музыки: давным-давно, за тридевять земель, в тридесятом царстве?..

Расставшись с всеведеньем сказок, я спрашиваю: а что известно о прошлом? Очень мало. То, что случайно поразило поэта или случайно упомянуто в чьих-то записях. Однако же поэт должен быть большим, иначе рассказанное им не уляжется в памяти, не будет сотни раз пересказано, переписано. Ибо малое творчество умирает раньше творцов.

Не простым писцом обязан быть и историк, чтобы его записи нашли преданных хранителей, усердных переписчиков. У беззащитных записей — беспощадные враги: войны, пожары, крысы, мыши, черви, плесень, даже воздух, даже солнечный свет.

Талант пристрастен по своей природе. Где же истина, которую люди искали, ищут и будут искать без всякой корысти: так они утверждают, и спорить здесь непристойно. Мы все нуждаемся хотя бы в призраке правды, как в пище насущной.

На западном конце тропы Египет бывал завоеван пришлыми народами. Восстанавливая себя после изгнания завоевателей, Египет уничтожал памятники, стирал и переписывал каменные летописи. Римские историки почти не упоминают о тропе, хотя она порой своеобразно досаждала Риму. Выборные сановники — цензоры, устанавливая бюджет республики, преследовали любителей роскоши — носителей шелковых одежд, которые разоряли республику. Риму нечего было дать Поднебесной за шелк, и тропа, как насос, высасывала римское золото.

Лет за четыреста до Тенгиза арабы, овладев Ферганой, прошли по тропе на восток через перевал Терек-даван и заняли город Турфан. Современные этому событию ученые Поднебесной умолчали о разрыве тропы. Поднебесная терпелива, она молча ждала, пока время скажет свое, и дождалась: ведь она — Середина!

Говорили: коль вымостить тропу всеми товарами, что по ней провезли, получился бы вал от Стены на востоке и до Самарканда на западе высотой в десять человеческих ростов. Оспаривали — в пятьдесят ростов! В сто! Кто же сосчитал? Все — и никто. Всё может быть. Терпение, время и необходимость возводят горы и сносят горы.

Хан Тенгиз вывел войско на тропу в конце ночи и пошел на восток с тем, чтобы подойти к Туен-Хуангу до полудня. Ему не было дела ни до тех, кто ходил по тропе до него, ни до остающихся сзади. Ни впереди, ни позади нет ничего, все начинается здесь, здесь, здесь. Он повиновался своей судьбе, или звезде, или чему-то еще, очень для него простому, такому же простому, как просты были сами завоеватели, еще не обязанные прятать меч, нож и мертвую петлю под словами о праве, общей пользе, служении людям и прочем.

Не стаей волков, не табуном зубров, не соколами и не воронами надвигались монголы на прекрасный по-своему и для всех богатый Туен-Хуанг. На неказистых лошадях, большеголовых, седлистых и малорослых, сидели люди тоже некрупные, но сильные и выносливые — всадник коню под стать.

Лошади хоть и далеко отошли от диких своих родственников, но не попадали в беду, коль им приходилось отбиться от хозяйского табуна. Вернуться к вольности могла любая, что и случалось. На пастбищах монгольские лошади, отражая волков, учились бить передними ногами, рвать зубами. Злой монгольский конь для чужого человека был опаснее барса. Не зная ухода, монгольские лошади всю жизнь проводили под небом, открытым всем бурям.

Не знал ухода и сам монгол. Мыли его однажды, после рожденья,— хватало до смерти. Помогали ему, как коню, открытое небо и свежий ветер. Выжившие были крепки, расплачивались за отвращение Неба к мытью бугристой зачастую кожей. Домашние заботы были свалены на женщин, и в юрте женщине отводилось худшее место — у входа. Но если женщина старалась овладеть оружием наравне с мужчиной — наездницами были все,— ей никто не препятствовал. Сильная умом и волей женщина могла оказаться главой семьи, иная мать правила племенем через сына-хана или мужа.

В десятках и сотнях Тенгизова войска на Туен-Хуанг шли и женщины. Только монгольский глаз мог

распознать их. Никто из монголов не думал, будто такой товарищ окажется помехой в походе и в схватке. Необычного не было, было привычное.

В Туен-Хуанге хана Тенгиза ждали давно. Правитель города Хао Цзай, погруженный в науку, отдавал немногие свободные часы суждению о городских делах, разбору жалоб, наблюдению за взиманием налогов с проходивших через Туен-Хуанг торговцев — все осложнялось и замедлялось неизбежно-необходимым церемониалом. Юэ Бао, начальник гарнизона, как умел, готовился к войне. От лазутчиков, снующих по монгольской Степи под видом мелких торговцев, Юэ Бао знал о движении синих монголов, о сокрушении Тенгизом найманов, присоединении татар и трех других племен еще до налета на Калчу.

Юэ Бао умел «видеть» — качество, необходимое для каждого военачальника. Иначе обстояло с выводами, решением и действием.

Поднебесная много и постоянно воевала. На границах, за своими пределами, внутри. Оборонялась. Наступала, захватывая все, что можно схватить. Отступала, обессилев и роняя завоеванное. Истощалась во внутренних войнах. А наука, плотно прикрывшись броней цзыров, утверждала: Поднебесная есть страна мира, страна покоя, в которой высшее назначение — труд, труд и труд. Труд-созидатель! И Поднебесная расплачивалась за ложь цзыров. Солдат не ценился. Солдата презирали.

Иногда какой-либо ученый задумывался над войной: как во всем, и здесь должны быть свои законы и, конечно, правила. Появлялись сочинения о способах войны и как выигрывать сражения, плод размышлений ученого, который, никогда не видав войны, увлекался своими открытиями. Искренняя убежденность автора придавала вес сочинению, особенно среди людей, привыкших чтить науку.

Другой ученый обращался к событиям былых войн. Талантливое изложение способствовало широкой известности таких книг: события в них развивались к чести Поднебесной, что всегда привлекает любящих родину людей. Они распространялись в сокращенных списках, в отрывках, пересказах, и быстро очень многое превращалось в народное сказание. Позднейшие авторы, вдохновляясь сказаниями, не улавливали искусственности построения: такая же искусственность была присуща им самим, они получили такое же образование, их мысль

была подчинена той же системе связей, тому же мировоззрению. Многократное отражение, многократное преломление действительности, искажая ее, вызывало опасное смещение понятий. А однажды установленная догма тем самым усиливала свое мертвящее действие.

Управляющий каким-либо большим хозяйством вынужден выслушивать много донесений и каждый день встречаться с чем-либо новым. Может случиться, что осознание всего нового и всех донесений окажется выше человеческих способностей управляющего. Защищая свое достоинство перед самим собой, он начнет отбирать посильное, отбрасывая то, что не может вместить. Отброшено якобы ненужное, лишнее, недостойное внимания. А так как от него ждут приказаний, управляющий будет их отдавать, чем внесет новые осложнения. Донесенья будут расти в числе, в сложности. Управляющий подвергнет их тому же отбору. Сам того не желая, он переместит и себя, и подчиненных из действительности в «отобранный», кажущийся мир, и вся система его управленья подвергнется крушенью — когда-то!..

Ученые правители Поднебесной создали легенду об ученых советниках — руководителях полководцев. Все зависело от глубокомысленных маневров, хитрых, умных выдумок. Много убедительных примеров красивой игры ума. В легенде, принимавшейся всеми за истину, не было места ни для действительности, ни для подлинного орудия войны — рядового солдата.

Поднебесная испытала несчетно много больших и малых войн. Неудачи перемежались столь же случайными будто бы успехами: и сражения, и войны выигрываются и проигрываются вопреки командованию, вопреки военной организации. Поднебесная стойко выдерживала любое военное крушение волей своего всегда громадного по числу и всегда трудолюбивого и умного в труде населения. На глазах этого населения армии действовали слишком часто отнюдь не по правилам, отнюдь не геройски, не то что в годы, о которых умно и убедительно повествовали книги и порожденные книгами предания. Общенародное презрение к солдату всех степеней было, надо думать, результатом несоответствия видимого своему воображаемому небывалому образцу.

Сколько-нибудь сто́ящий человек всегда находил себе занятие, все виды труда были почетны. Бездельник нанимался в войско, клеймя себя и позоря семью. В хро-

никах нередки такие записи: «столько-то тысяч бездельников были посланы туда-то на войну, где и нашли заслуженную смерть». Если дружно, настойчиво твердить кому-то, что он негодяй, таким он и станет.

Для военных не существовало проверки знаний, на командные должности солдаты пробирались из рядов, подталкивая один другого, и по личному усмотрению ученых сановников: нужно же кому-то командовать и «бездельниками». Начальник гарнизона Туен-Хуанг Юэ Бао был изделием системы.

Ученый Хао Цзай, правитель города, видел в Юэ Бао темную, низшую личность. «Этот Юэ Бао», способный кое-как прочесть небольшое количество знаков-цзыров простейших понятий, куда менее заслуживал звание человека, чем ученик ремесленника либо беднейший земледелец. Те были для Хао Цзая и полезными и необходимыми сочленами многоступенчатого общества Поднебесной.

Хао Цзай называл Юэ Бао «главным солдатом», то есть худшим представителем презренного сословия. С таким же остроумием правитель Туен-Хуанга уподоблял начальника гарнизона некоему органу тела. На самом деле, существование некоего органа есть следствие несовершенства человеческого тела. Так и всяких Юэ Бао терпят лишь по причине пока еще недостаточно хорошего устройства общества.

Приказав раз и навсегда следить за всеми воротами в городских стенах, набить порохом все боевые трубы — до самого горла! — и заставить «бездельников» не расставаться с оружием, правитель отпустил «главного солдата» размышлять, что ему делать.

Говорили, что некогда Туен-Хуанг обладал крепкими стенами и все же попадал в руки кочевников. Об этом Юэ Бао слышал от монахов буддийских святилищ. Во время завоевания киданями северной части Поднебесной и последующих смут городские стены сколько-то раз разрушались и восстанавливались. Действительно, нынешние стены были сложены из разнообразных остатков, связанных глиной, местами — целиком глиняные, с деревянными укрытиями для стрелков. Башни в свое время возводились из тесаного камня и кирпича, на глиняном растворе, с еловыми бревнами, заложенными в кладку для связи, как в Стене. Восстановленные наспех, башни были разной высоты, и на некоторые из них боялись подниматься, так как ступени разрушались и камни вы-

падали сами. Обветшавшее дерево на укрытиях для стрелков крошилось от простого прикосновения руки.

За время своей службы в Туен-Хуанге Юэ Бао несколько раз, стоя по церемониалу на коленях, «униженно обращал внимание Превосходительного Господина» на плохое состояние укреплений. Какие-то деньги на работы имелись — Туен-Хуанг есть окраинная крепость,— но куда их девал Господин? Это не касалось Юэ Бао. Почтение к ученым он всосал с молоком матери, а жизнь научила его не задевать величие сановников и мириться с их волей — им виднее.

Юэ Бао располагал пятью с половиной тысячами «бездельников» и командовал ими с помощью полусотни начальников низших рангов. Кое-что Юэ Бао удерживал себе из солдатского жалованья, а за счет денег на кормление солдат, на содержание солдатских домов и на прочие военные дела подкармливался и сам начальник гарнизона, и низшие начальники.

Для Юэ Бао солдаты не были безличным сбродом, как для правителя. В обращении с солдатами приходилось быть и ловким, и смелым, а иногда и храбрым. В строю находили прибежище неоплатные должники, беглые рабы, преступники, ускользнувшие от кары разбойники, уставшие от бродячей жизни и ежедневного риска, заносчивые неудачники, любители гашиша, опиума, не говоря уже о пьяницах. Люди самого разного возраста, от юнцов и до стариков, скрывавших свой возраст. Некоторые имели семьи. Такие прирабатывали чем придется и заставляли работать жен, включительно до сдачи их в аренду другим солдатам на день, или до новой луны, или на другой срок по договору. Юэ Бао, как высший начальник, имел право смертной казни на месте, к чему и прибегал в случае надобности, располагая для таких дел особыми исполнителями.

Трепеща перед правителем города, как мышь перед совой, Юэ Бао согнал солдат на работу. Поощряемые бамбуковыми палками и угрозами, но не страхом перед кочевниками, солдаты таскали глину и воду, поднимали обвалившиеся участки стен, сооружали глинобитные укрытия на стенах в местах, где окончательно рассыпались деревянные заплаты. Дерево в Туен-Хуанг доставляли издалека, бревна и доски стоили дорого. Юэ Бао не собирался вкладывать собственные деньги в совершенно бесполезное дело. Страшный Хао Цзай не придет проверять, а его соглядатаи удовлетворятся тем, что дело

кипит. Как и солдаты, Юэ Бао боялся только начальства. Страх перед монголами подождет своего часа. Монголы — в степи, будущее в руках судьбы, а гнев Хао Цзая опалит сразу, как порох.

Порох тратили на хлопушки для праздника Нового года и на торжественные приемы. Для двух десятков боевых труб зарядов еще хватало. Грохот, похожий на гром, мог испугать степняков. Но если они не испугаются? Боевые трубы очень хороши для сигналов. Некоторые пробуют класть поверх пороха камни и куски железа. Юэ Бао распорядился так и сделать, хотя, по опыту, и камни, и железо летят недалеко и попадают лишь в того, кому звезды назначили такую участь. Юэ Бао предпочитал рычажные камнеметы. Эти действительно грозные машины тоже обветшали, канаты сгнили, жильные пружины от времени вытянулись и засохли до жесткости дерева.

О желательности починить машины Юэ Бао докладывал Хао Цзаю без успеха, поэтому ни о чем не тревожился. «Главный солдат», вопреки презрению высокоученого господина, не только боялся, но понимал и, как умел, чтил Хао Цзая. Правитель Туен-Хуанга памятлив и не будет казнить подчиненных, упустивших что-либо не по своей вине.

Поспеши монголы — и они встретили бы гарнизон Туен-Хуанга в возможном для сунских солдат напряжении. Но монголов все не было. Ожидание очень быстро утомило солдат, наскучило и Юэ Бао. После десяти дней оживления все положились на богов удачи. Работы производились еле-еле. Юэ Бао доверил подчиненным проверять, закрыты ли на ночь все ворота. Наблюдатели на башнях устроились по-домашнему, развлекаясь игрой в кости, куреньем опиума и сном.

Хао Цзай составил план нового сочинения — «К причинам»: были ли те или иные действия, приемы, поступки завоевателя обдуманы заранее? Или они исходили из природы завоевателей и тех, кого он вел? Возможно ли для смертного увидеть волю высших сил в завоевании? Если возможно, то как отделить волю высших сил от воли завоевателя? Трудности: после успеха ученые из подданных завоевателя доказывали разумность действий, вынуждая побежденных соглашаться. При неудаче происходило обратное. Поэтому сообщения ложны.

На этом кисточка Хао Цзая остановилась...

Остановка не была случайной. Наконец-то Хао Цзай

постиг: если нельзя познать неподвижное прошлое, то как объять настоящее — оно движется?! Но без понимания сущего нельзя управлять государством. Итак, нужно остановить движение, оставив все вещи в покое. Никаких перемен, как на острове. Ибо ныне науке известно все. Следует совершенствовать существующее. Такова должна быть цель. И все иное — прах.

Пользуясь открытыми пространствами полустепи, полупустыни, хан Тенгиз расчленил конницу на дальних подступах к Туен-Хуангу. Всадники шагом двигались в укрытых местах, сберегая лошадей.

Через хребты песчаных дюн, подернутых жесткой, подсушенной летним солнцем травой, сотни проносились вскачь и, свалившись в ложбину, переходили в шаг. Они появлялись, и исчезали, и вновь появлялись будто бы отовсюду, обманывая глаз.

Наконец странное зрелище осветило страшной догадкой ленивое зренье наблюдателей на самой высокой и самой прочной башне городской стены. Сторожевые подняли крик. Один из солдат забрался на острую крышу. С этого сооружения мирного вида, назначенного укрывать защитников от дождя, солдат указывал на юг, стараясь привлечь общее внимание. И тут же он принялся размахивать руками во все стороны в знак того, что опасность угрожает отовсюду.

Двое его товарищей возились около боевой трубы, которая выставляла закопченное ржавое жерло в небо через прорез в крыше. Почуяв горький дымок тряпичного фитиля, солдат слез вниз, чтобы принять участие в споре: пора поджигать или нет?

Все трое относились к таинственной для них черной смеси с почтением и страхом. Грохот взрыва очаровывал величественностью, красотой, сладким ужасом. Поднеси к дырочке у нижнего заклепанного конца горящий фитиль или уголек — и ты станешь творцом грома и молнии.

Столь же хорошо знали о возможной расплате за соперничество с Небом. Боевые трубы иногда срывались, сокрушая ремни, канаты, сооружение, к которому они были прикреплены, и — походя — самих участников чуда.

Самый молодой солдат, как самый глупый, настаивал на выстреле. Самый старый, как умный, зажимал рукой затравочную дыру, настаивая: нужно выждать, всадники могли померещиться, может быть, это просто путешественники, да и труба опасна, как все знают.

Солдат, побывавший на крыше, человек средних лет и доверявший своим глазам, не стал уличать старика в трусости перед стрельбой. Он предложил привязать фитиль, а всем спуститься вниз.

Немного поспорив для «сохранения лица», старик согласился. Ждать пришлось довольно долго. Как часто бывало, неравномерная смесь принялась шипеть, как вода на раскаленной плите. Гнев пробужденного огнем черного дракона длился бесконечно для солдат, робко жавшихся внизу.

Наконец раздался оглушительный взрыв. Приказ правителя набить трубы порохом до дула был, конечно, лишь образным выражением. По простому небрежению труба получила чрезмерный заряд. Башня сверкнула, выбрасывая густой черный дым. Крышу снесло, и верх рухнул на головы неосторожных, которые раздразнили великую силу.

К этому времени в крепости трещали барабаны, гудели гонги. Из нескольких труб грохнули выстрелы, более удачные для целости самих труб и стрелков. Никто из самых ленивых, сонных солдат не смог бы сослаться, что не слышал тревоги, как заметил себе Юэ Бао для возможного доклада Хао Цзаю.

Правитель заседал в ямыне — правительственном дворце, завершая суд над тремя преступниками, уличенными в ночном грабеже и убийстве. Обвиненные в надетых на шеи тяжелых досках — кангах, сжимавших также и кисти рук, выслушивали приговор на коленях. Из уваженья к суду и высокому сану судьи все присутствовавшие тоже пребывали на коленях.

Посланный Юэ Бао младший начальник, человек старый и сильно ожиревший, почтительно полз от порога, чтобы доложить правителю о появлении «степных червей». Остановив невежу и невежду движением руки, Хао Цзай закончил торжественную формулу приговора.

Хао Цзай все слышал. Его быстрый ум сразу связал все в одно целое. И свел, по привычке мыслителя, к первому положению, двойному: либо дикие хотят сорвать выкуп, как произошло в Калче, либо захотят взять город, дабы взять все. Каждая часть двойного, в свою очередь, предлагает две новые части. Следовало сначала исключить одно из двух первых...

Но ничто не может прервать течение суда, кроме пожара самого здания, и правитель вынес смертный приговор. За совершенные преступления полагалась мучи-

тельная казнь, с предварительным объявлением о дне, публичная для воспитующего устрашения. Ввиду угрозы войны правитель воспользовался своим правом помилования: приказал казнить немедленно перед ямынем простым отсечением головы. В предстоящем беспорядке осужденные преступники вообще могли избежать наказания. Хао Цзай проявил предусмотрительность, которую вряд ли кто успел оценить, но Хао Цзай не нуждался ни в лести, ни в одобрении.

Холмы Тысячи Пещер лежали вне городской стены. За пределами укреплений находились и сотни караван-сараев, складов и самых различных жилищ, от крепко поставленных заезжих и торговых домов до беспорядочных сборищ лачуг и лачужек с населением, постоянно обременявшим власть заботами. Тому пример — только что законченное судебное разбирательство, отнюдь не радующее судью. Подобные гадостные занятия утомляли душу правителя Туен-Хуанга. Мудрые правила человеческого общежития были установлены Кун-Цзы пятнадцать веков тому назад! Каков же тогда был мир, коль столько усилий оставили так много грязи. История ничего не сообщала о распространении преступности, что не обманывало Хао Цзая. Сам историк, он знал, что дурное следует гасить молчанием.

В вольном поселении между холмами Тысячи Пещер и стеной Туен-Хуанга обитали грузчики, погонщики, которые нанимались в караваны взамен тех, кто не хотел далеко уходить за пределы Поднебесной или не желал идти в нее с караваном, пришедшим с запада. Ютились здесь и самые различные ремесленники, например, скульпторы забавных изделий из мягкого камня, грубых, но развлекающих воображение, и подобные им живописцы. Гнездились поставщики, продававшие женщин на час или на всю дорогу, торговцы детьми, обученными для любителей. Не все занятия жителей вольного городка были одинаково почтенны. Власть, как известно, вынуждена мириться, допускать, чуть ли не поощрять то, от чего мыслитель приходит в негодование: лучше позволить совершать нечто, без чего люди еще не могут обойтись, открыто и под наблюдением, чем путем тщетного запрета погрузить в темноту, где дурное распустится особенно ядовитыми цветами.

Среди людей, занимавшихся перечисленными и прочими допущенными делами, легко устраивались те, которые прикрывались ремеслами и занятиями, на самом

же деле — воры, грабители, скупщики крадеиого, торговцы и перепродавцы товаров, не оплачениых пошлиной. Здесь в проулках и закоулках всегда бывало миоголюдио.

Тревога — особенио гром боевых труб — вызвала паиику. Не иадеясь на зыбкие стены собствеиных жилищ, одни бросались к городу, другие — к холмам Тысячи Пещер. Подбежавшие к городу наткиулись иа закрытые ворота. Их крики и просьбы не повлияли иа запоры. Кое-где солдаты, хозяева положеиия, торговались, обещая спустить веревку. Кто-то прятался в тайиики, устроеииые в городке для разиых целей.

Перевалив через холмы Тысячи Пещер, моиголы ворвались в вольиый городок. Не заскакивая в ограду, оии рубили и кололи с выбором, скорее тешились, чем истребляли. Заполоиив, вероятио, больше тысячи человек, монголы приказывали брать бревна, доски, лопаты, ломать дома, чтобы запастись орудиями. Здесь монгольскую речь знали миогие. Непонимавших или мешкающих моиголы рубили иа месте. С удивительной для защитников Туен-Хуаига быстротой иа иих рииулась толпа, ощетииеиная дрекольями.

Место было выбраио с очевидной предусмотрительностью — здесь когда-то стеиа подверглась полиому разрушению, и Юэ Бао забил брешь глиеобитиым валом.

Боевые трубы изредка извергали огонь, дым и гром, заглушая крики и шум. Голоса «чериых дракоиов» обладали только призрачиым могуществом звука. Снаряды, может быть, и выбрасывались выстрелами, ио если оии и приносили ущерб иападавшим, то никем ие замечениый.

Моиголы прикрыли подиевольиых рабочих, не давая своими стрелами защитникам стены высовываться из укрытий. Скоро и в этом ие стало необходимости. От сухой глины, в которую под ударами рассыпалась стеиа, поднялась непроглядная пыль. Выждав, монголы нажали иа толпу. Спасаясь от моигольских клииков и разъяреных суматохой лошадей, несчастные собствениой грудью закоичили разрушение.

Пленники ринулись вперед. Бегство от моиголов было нападением на защитников города. Плотные ряды солдат встретили толпу густым лесом пик, выровиеииых самим Юэ Бао по шнуру. Если кто из иесчастиых жителей и пытался остановиться, как пловец, влекомый течеиьем, то его уносили невольные разрушители стеиы, ослепшие от ужаса и пыли, дико рвавшиеся только вперед, как беглецы в дыме степного пожара.

Монголы визгливо выли, горяча себя и лошадей. Лошадь видит в пыли во много раз лучше человека. Через облака истолченной глины на штурм шли не монголы, а монгольские лошади. Привычные к бездорожью, они умело выбирали, куда опереться чутким копытом.

Разделенные преградами образования, должностей, заслуг, имущества, все жители Поднебесной равно презирали дикарей. Пусть нищий торговец, загнанный нуждой в Степь, раболепно изгибался перед дикими. То был вынужденный и сознательный прием общения с грубой, безмозглой силой. Внутренне торговец из Поднебесной сохранял такое же сознание своего превосходства, как и сановник, обманувший послов дикарей.

Солдаты Юэ Бао в однообразных шлемах с выгнутыми вверх краями, в самых разных доспехах, опираясь один на другого и подпираемые сзади, стойко ждали. У пленников не было иного выбора, как ринуться на солдат, солдатам тоже некуда было деваться. Навалившаяся толпа потрясла и строй, и воображение солдат. Одни невольно подняли пики, другие опустили. Подобное не предусматривалось, и некоторые, растерявшись, дали вырвать оружие из своих рук. Обеспамятев, многие пленники напарывались на пики.

Хао Цзай напрасно презирал «главного солдата». Юэ Бао успел стянуть и построить для защиты опасного места свои главные силы. Они приходили в беспорядок также и по причине чрезмерной плотности строя. Но и в этом Юэ Бао был неповинен. Он следовал установленной традиции.

Поднебесная не располагала солдатами, способными к одиночному или групповому состязанию с конницей, и не могла их создать — не по вине «бездельников». У солдат были свои правила, и нарушение их могло быть таким же губительным, как нарушение основ науки сановников.

Несколько монгольских сотен толкали пленников на солдат. Другие сотни, прорвавшись вправо и влево, уже скакали по улицам Туен-Хуанга, били всех попадавшихся — все были чужие.

Удар в тыл главным силам Юэ Бао, при всей своей неизбежности, увеличил беспорядок. Командующий гарнизоном подготовил было опасную для нападающих хитрость. Четыре боевые трубы были поставлены против разрушаемой стены и скрыты за строем. По команде передние ряды расступятся, и огненный вихрь сметет

нападающих. Из-за тесноты маневр никак не удавался, перед черными пастями боевых «драконов» делалось все теснее, вопреки усилиям самого Юэ Бао.

Стиснутые в давке до невозможности пошевелиться, солдаты, не в силах нанести удар, выпускали из рук бесполезное оружие. Пики, которые никто не держал, колыхались над задыхающейся толпой, как камыш над озером, а монголы косили со всех сторон живые колосья.

На нескольких башнях, как гром среди ясного неба, еще рычали «черные драконы». Приставленные к ним солдаты добросовестно расходовали порох до конца, так как монголы, не любившие слезать с седла, не собирались карабкаться на башни по узеньким, ненадежным лестницам.

Сопротивление погасло в ту частую в сраженьях роковую минуту, когда солдаты начинают думать о спасении собственной жизни, от утомления и растерянности не сознавая, что в их положении это стремленье отнюдь не лучший способ остаться в живых.

Монголы убивали и убивали, холодно, терпеливо, обливаясь потом от усердия. Ловко свешиваясь с седел, добивали упавших. Две женщины, неотличимые от мужчин, загнав в глухой тупик не менее сотни побежденных, махали клинками до изнеможения, отдыхали и опять рубили, пока не покончили с последним. Без вести исчез Юэ Бао. Принято считать, что история несправедлива к побежденным. Вероятно, так оно и есть, особенно если побежденные чрезмерно возвеличиваются либо чрезмерно унижаются. Человеческая история не только история человеческих страстей, но и зеркало самих рассказчиков. Так ли, иначе ли, но Юэ Бао, чья жизнь менее всего была добродетельной с точки зрения самых доброжелательных судей, заслуживает как солдат самой лучшей эпитафии: сделал все, что мог.

Покончив с улицами, монголы ворвались в дома, деловито убивая, деловито насилуя. Было известно, что богатые иногда глотают драгоценности, поэтому некоторые монголы вскрывали животы убитых.

В ямыне хан Тенгиз, сын Гутлука, уселся в позолоченное кресло правителя, за два или три часа до этого произнесшего свой последний приговор. Хао Цзай был знаком и с Гутлуком, и с Тенгизом. Гутлук не желал ездить в столицу за ежегодными подарками Сына Неба

монголам. Церемонию перенесли в Туен-Хуанг, и Тенгиз всегда сопровождал отца.

Молодой хан приказал Хао Цзаю сесть против себя на стуле без спинки, предназначенном для почетных посетителей правителя. Тяжелая шелковая одежда Хао Цзая была испачкана, изорвана тяжелыми руками монголов. Случайное появление хана спасло правителя от судьбы других богатых людей Туен-Хуанга.

Ученый был спокоен. Он холодно отказался послать правителю города Су-Чжоу совет покориться монголам, дабы спасти город и себя.

— Твое желание разумно, понятно и, может быть, человечно,— с вежливой терпеливостью пояснял Хао Цзай.— Но ты требуешь от меня бесполезного. Советы пленников доказывают либо трусость этих пленников, либо их измену. Ученый правитель Су-Чжоу даже не посмеется надо мной.

— Итак, ты отказываешь мне,— согласился Тенгиз.— А нет ли у тебя просьбы? Может быть, я не откажу тебе?

— У меня нет желаний,— возразил Хао Цзай, складывая руки перед грудью.— Я не сохранил доверенный мне город,— пояснил он.

— Ты не мог его удержать,— сказал Тенгиз. Молодой хан долго молчал о главном, не имея равного себе собеседника, и ему хотелось говорить с человеком, в котором он ощущал нечто, роднящее этого суна с Гутлуком.— Когда монголы хотят, они могут многое, никто перед ними не устоит. Монголы покорят и Восток и Запад.

— Может быть, может быть,— соглашался Хао Цзай,— может быть, монголы покорят Запад. Но Поднебесную — никогда.

— Почему?

— Если ты обещаешь мне исполнить нечто, я объясню тебе.

— Что исполнить? Ты хочешь торговаться?!

— Нет, нет,— поспешил сказать Хао Цзай, предупреждая гнев этого особенного степного дикаря, который хотел рассуждать.— Нет, не настаивай, это будет мелочь для тебя. Обещай, мне легче будет говорить...

— Пусть так. Говори,— согласился Тенгиз.

— Поднебесная — множество. Нас бесконечно много. Нет другого племени, равного нам числом и единством. Поэтому ни один народ не может нас понять. Тебе,

сыну малого народа, нас не постичь. Нужно происходить от многих поколений, родившихся в Поднебесной, чтобы ее понимать. Знание доступно только подготовленному к знанию.

Хао Цзай остановился. Он владел монгольской речью. Но трудно переводить знаки-цзыры в звуки. Однако нужно сделать это, дабы посеять сомнения в душе врага, который необдуманно расстегнул доспех в надежде на забаву.

— Это все? — прервал Тенгиз затянувшуюся паузу.

— Нет, нет, не все,— поторопился Хао Цзай, почувствовав досаду в Тенгизе. Дикарь не так дик, он отдается, как хищная птица умному ловцу.— Не все,— продолжал Хао Цзай.— Ты будешь, будешь побежден. Если не сам, то в твоих потомках. Монголы уйдут на дно Поднебесной, как камни на дно Океана. Поднебесная останется, как была. Она подобна кругу, замкнутому в неизменности. В неизменности — настоящая сила. Никаких перемен в обычаях, в семьях, на земле, на небе. Пусть нас упрекают, будто мы гасим сильных и умных. Таков круг, такова вечность. Народ, разрушитель своего круга, погибнет, пустившись в путь, тому много примеров. Все новые люди и мысли растворяются в Поднебесной, как соль в Океане, он же не изменяется. Окрась Янцзы — вода унесет краску, река останется желтой. Воюют не для войны, а для мира. Кончались битвы победой или поражением, Поднебесная всегда побеждала и будет побеждать. Тебе, сыну малого народа,— Хао Цзай едва не сказал — дикарю,— тебе не понять этого, нет, не понять...— Хао Цзай повторял, сам стараясь понять, не утомил ли он дикаря, вошло ли сомнение в душу Тенгиза? И, удовлетворенный, Хао Цзай дал своему голосу перейти в шепот, погаснуть.

— И это все? — опять переспросил Тенгиз, опять выдавая себя.

— Почти, почти все,— подтвердил Хао Цзай.— В Поднебесной иначе относятся к смерти, чем в других странах. И — к жизни. И мужчина у нас иначе любит женщину, а женщина — мужчину. Сам смысл существования мы понимаем иначе. И этого тебе тоже не познать, никогда не познать...

Хао Цзай устал от небывалых усилий, от забот жизни, чрезмерно затянувшейся, как внезапно оказалось. Никогда ему не приходилось пытаться выразить в словах высказываемое только немыми знаками-цзырами. Он

совершил подвиг, стремясь к последней заслуге перед Поднебесной, подвиг, который останется неизвестным. Но удастся ли он? С горечью Хао Цзай думал о близорукой покладистости столичных сановников, которые согласились перенести церемонии подарков в Туен-Хуанг. Этот хан дикарей не видел своими глазами громады Поднебесной. Будь иначе... Зная тщетность подобных сожалений, Хао Цзай не избежал общей судьбы.

Голос Тенгиза вернул Хао Цзая из страны мысли на землю.

— Ты самонадеянно считаешь свою мудрость недоступной,— говорил молодой хан.— Я понимаю тебя, вопреки твоему многословию. Вы, суны, глядя внутрь себя, находите не мир, который, по словам наших святых, больше видимого глазами, а только самих себя. Вы, суны, как песчаные змеи в пустыне, думаете, что во вселенной нет ничего, кроме сухого песка.

— Нет, нет, не обольщайся,— настаивал Хао Цзай.— Познание не может выразиться в произносимых словах. Ни твоя, ни моя речь не способна на это. Произнося слова, я теряюсь, и моя мысль слабеет. Постижение доступно лишь человеку, в молчании созерцающему знаки-цзыры.

В ямыне тяжело пахло горелой бумагой и тлеющей кожей. Как всегда, огонь с грозным и жестоким весельем спешил по стопам победителя.

Хан Тенгиз думал: нет, он не даст себе утонуть в сунском хитроумии. Гутлук научил сына ощущать заманчивую опасность мыслей, в каждой прячется бездейственное сомненье. Монгол пойдет верхом, по-монгольски. А что делать с правителем? Тенгиз сдержит слово.

— Я обещал тебе что-то,— сказал Тенгиз.— Я исполню. Чего ты просишь?

— Смерти,— ответил Хао Цзай.

Его книги горят вместе с рукописями, честь правителя потеряна, близкие погибли. Он утешил себя, отомстив дикарю истиной. Сунская стрела не пройдет мимо цели. Все завершилось. Ни к чему, кроме отказа от исчерпавшейся жизни, не мог стремиться бывший правитель Туен-Хуанга, загубленного «степными червями». Хао Цзай, опустив глаза, ждал, вытянув шею и опираясь руками в колени, на удобном стуле без спинки.

Тенгиз сделал знак. Дробно семеня косолапыми ногами, целясь на ходу, подкатился низкорослый монгол.

Приподнявшись на носки — с седла было б удобнее,— он чисто, как на состязаниях в рубке барана, скосил голову бывшего правителя.

Су-Чжоу, плотный, как сыр, твердый, как орех в каменной скорлупе, один из пограничных, но старых, коренных городов Поднебесной, защищался крепкими стенами, не как Туен-Хуанг.

Монголы надвигались медленно, как поднимается вода на полях, удаленных от водопада, который хлещет из прорванной дамбы.

Войско великого хана Тенгиза после взятия Туен-Хуанга перестало быть легким и быстрым в движеньях конных сотен, соединенных в тысячи. Величество как бы само собой утяжелило сына Гутлука после первой победы. Чтобы победа не изменила и дальше, великий хан сам обременил войско тяжелым обозом. На верблюдах, вьючных и упряжных, на телегах, повозках везли обильные запасы и припасы, везли захваченные в Туен-Хуанге боевые камнеметы, разобранные на части, везли бревна, доски, уголь, железо, инструменты, дрова.

Туен-Хуанг остался как громадное кладбище, хотя Тенгиз к вечеру победы остановил разрушенье и убийства. Монголы занялись разыскиваньем ремесленников по приказу хана, выполняемому с охотой — полезность таких людей, пусть и сунов, была понятна. На ходу создавались и новые потребности, и способы их удовлетворенья. Холмы Тысячи Пещер монголы посетили не как победители, а как паломники для преклоненья перед святынями. Они дивились невиданным богатствам, притронуться к которым воспрещено. Поучения святых были не напрасны.

Под Су-Чжоу нашествие остановилось. Окрестности были опустошены самим населением по приказу правителя города, подкрепленному отрядами из солдат гарнизона. В обозе монгольского войска было достаточно продовольствия: предусмотрительность великого хана победила сунские уловки, как говорили монголы. Они осторожно разведывали подступы, решаясь подходить вплотную к стенам только ночью. Су-Чжоу кроме боевых труб, над которыми монголы быстро научились смеяться, располагал исправными машинами. Меткость камнеметов и стрелометов была невелика, но борьба с летящими камнями и стрелами длиной чуть ли не в человеческий рост казалась бессмысленной. Против машины нужна машина.

Пленные ремесленники работали не покладая рук. Старые камнеметы, привезенные из Туен-Хуанга, были исправлены. Изготовлялись новые. Не забыли об укрытиях — щитах. Машины ставились на катки, чтобы в нужное время подтащить их поближе к стенам Су-Чжоу. Сооружались тараны. Приготовления близились к концу, когда один из летучих отрядов донес о приближении большого сунского войска. Через два перехода суны достигнут Су-Чжоу.

Армия, собранная правителем провинции для подавления беспорядков за счет ослабления городских гарнизонов и частично по новому набору, включала почти двадцать пять тысяч пехоты и около шести тысяч конницы.

Уместно еще раз напомнить, что солдат нанимался за ежедневную плату, никак не превышавшую заработок мужчины на самых простых работах. Он имел право на шляпу из рисовой соломы с широкими полями, на обувь и мог получить кое-какую одежду в случае похода. Право на шляпу объяснялось палящим солнцем, а без ног солдат — не солдат. До остального ему не было дела. Он брал любое оружие, какое попало,— пику, копье, меч, нож, лук. Если оружия не давали — это дело начальников; солдату же тем лучше, легче нести службу. Доспехи, обычно сшитые из толстой и толсто простеганной ткани, таскать в тюке за спиной и носить на себе было весьма обременительно, хотя, при своей простоте, они были довольно надежной защитой.

От высших командующих и до новичка вся армия прочно опиралась на веру в судьбу. Если в брак вступали, сличая гороскопы жениха и невесты, заказанные родителями местному знатоку сочетаний звезд, то тем более нуждались в гороскопе и солдат и, конечно, солдатский начальник.

Еще более прочно армия Поднебесной опиралась на то особенное отношение к жизни и смерти, о котором Хао Цзай справедливо говорил хану Тенгизу: другим народам нас не понять.

Но, как и у других, как везде, вера в судьбу, подвигавшая сунов на смелые дела, слишком часто сковывала их решительность. Боясь искусить судьбу, нечто прихотливо-коварное, суны предпочитали воздерживаться, не рисковали начинать, выжидали, пока события, развернувшись сами в полную силу, не решат за них. Всякое решение свыше, извне облегчало: можно начинать бой,

можно двигаться в поход... Однако и в действии, будто бы неудержимом, проявлялись те же черты пловца, который перед броском в воду с возвышенья не хочет измерить глубину, а перед длинным заплывом склонен больше полагаться на волю теченья, чем на собственные силы.

Ощущение вечности, соединенное с ощущением ничтожества своего вмешательства, и боязнь нарушить неизвестное равновесие — все это подлежит осуждению, не так ли? Нет ничего проще сокрушительного обличенья былых обитателей Поднебесной в нежелании задуматься над основами обороны страны. Здесь все просит обвинительного приговора, который и выносился сотни раз к общему удовольствию судей и присутствующих. Единственный защитник никогда не выслушивался — очевидная стойкость самой Поднебесной...

Великий хан решил не принимать боя под Су-Чжоу. Оставив и лагерь, и подготовку к штурму под охраной, достаточной, чтобы удержать гарнизон Су-Чжоу от желания выйти из крепости, Тенгиз пошел навстречу сунам с восемью тысячами своей конницы.

Сунский военачальник не сумел получить о монголах иных сведений, кроме того, что они приблизились к Су-Чжоу. Опасаясь подвижности монголов, военачальник поместил обоз, боевые машины и боевые трубы в середине почти тридцатитысячной колонны пехоты. Около шести тысяч конницы, разделенной на два отряда, прикрывали пехоту с головы и тыла. Внушительная масса войска была закрыта пыльным туманом, через который тускло и сумеречно светил медно-желтый диск солнца. Струи воздуха над горячей землей, завиваясь в смерчи, ходили как призраки, одетые пылью.

Тенгиз бросил своих на сунов в середине дня, избрав местом сражения широкую, ровную долину. Как и предвидел сунский военачальник, монголы напали разом и с тыла, и с головы.

Сунские конники сидели на старых или слабых лошадях, купленных у земледельцев либо конфискованных у них же за неуплату военного налога. Эти лошади засыпали на шагу, требуя постоянного понуждения, и не переходили в рысь и вскачь без усиленной работы плетью. Сунские всадники и не справились бы с иными лошадьми. Верховая езда никогда не была развита в Поднебесной, а одного уменья не падать с коня на рыси недостаточно, чтобы считаться конным бойцом.

Монголы разгромили сунских конников первым ударом. Отброшенная на пехоту, конница смешалась с ней, препятствуя изготовиться к бою, и монгольским сотням сразу открылись дороги, которыми они и воспользовались. Боевые машины и боевые трубы не смогли принять участие в обороне армии. Командующий с двумя-тремя десятками высших начальников не захотел сдаться. Кучка этих людей в отличных по прочности латах долго отбивалась, как камень в пене прибоя, пока все не были взяты арканами и копьями с крючьями. Раздраженные монголы мучительски прикончили пленников.

Рыбы нехищные сбиваются в плотные, многослойные стаи для того, может быть, чтобы, жертвуя хищникам неудачниками, чье место снаружи, сохранить род. Иначе бывает в разгромленном войске. Монголы врубались в толпу, густую, как косяк трески, которая сбилась около бессильных боевых машин. Здесь жизнь была сохранена нескольким тысячам, в которых монголы нуждались для своих целей, но только случай дал возможность временно выжить каждой из единиц, сложившихся в эти тысячи.

Пытавшиеся убежать погибли, вероятно, все. Для монголов было забавной игрой ловить сунских конников на их жалких лошадях. Монголы добивали раненых, на скаку рубили и мертвых. Как из воинственной старательности, так и по лихости. Все виды езды и действий с седла были любимейшим развлечением степных наездников.

Долина, где погибла армия провинции, мало чем отличается от многих других азиатских долин, по которым проходила древнейшая «шелковая» тропа восток — запад — восток. И здесь горные хребты кажутся обманчиво-близкими. Веснами маки, поворачивая чашечки за солнцем, делают землю красной для того, кто смотрит по солнцу, и зеленой — против. Летом колючая ползучка прокалывает изношенную подошву сапога, а как только после знойного дня солнце касается гор, долину заволакивает легкий туман — это пыль, которую от еще горячей земли увлекают токи воздуха к мгновенно охладевшему, сухому, как земля, небу. Днем та же пыль, увлекаемая струями раскаленного воздуха, ходит низкими смерчами, такими же медленными, такими же живыми, как в день побоища, но теперь, встретив их, трудно не подумать о тенях тех, кто тяжко жил, умер в страхе и отчаянии и превратился в пыль.

В течение времени, вечного для современников и короткого для потомков, эта долина звалась Местом Слез или Полем Крови, как многие другие в разные годы и в разных странах.

Великий хан Тенгиз вернулся под Су-Чжоу с новыми боевыми машинами, с новой добычей и с толпами рабов, которые будут работать, прежде чем их израсходуют в штурме. Приготовления заканчивались. Испытывались исправленные старые машины, построенные вновь и взятые на Поле Крови. Монголы развлекались, забрасывая через стены Су-Чжоу отрубленные головы убитых за нерадивость и умерших пленников, а также горшки с нечистотами.

«Мужчину испытывают богатством, властью и несчастьем»,— говорят кочевники. Несколько пленных сунов, натерпевшись страха смерти, голода и монгольской плети, вспомнили, что в мире все преходяще, а все происходящее — обратимо. Служили Сыну Неба. Служили киданям — Великому Ляо. Почему нельзя служить монголам? Но чтобы возвыситься из раба в слуги, надобно нечто принести господину как выкуп. Что предложить? С ненавистью озираясь на крепкие стены Су-Чжоу, монголы все более злобились: им смели сопротивляться, их волю не принимали. Город-оскорбитель будет наказан, жестоко наказан. Снисходя к покорному, монголы жестоко мстили за самозащиту. Опытные купцы, подвергаясь нападению монголов, встречали грабителей склоня головы. Лишаясь имущества, они сохраняли жизнь. Более того, смирение награждалось, монголы зачастую оставляли ограбленным необходимое, чтобы те могли добраться до ближайшего города.

Даже к зверю монгол относился иначе, чем другие охотники. Однажды, преследуя в предгорьях диких баранов, Тенгиз столкнулся с медведем. С двумя стрелами в брюхе, разъяренный медведь насел на Тенгиза, сломал копье и, уже издыхая, помял охотника. Придя в себя, Тенгиз запретил товарищам брать шкуру и мясо дерзкого зверя. Оправившись, монгол разыскал падаль и разбил камнем обглоданный череп — из мести и в наказание.

Тенгиз, мечтая рядом с отцом, сам дошел до слов, пригодных для знамени завоевания: оседлые — рабы, кочевники — свободны, поэтому оседлые должны быть пищей кочевника. Казалось, должен был последовать вывод

об особенной расе, с высшим ее призванием, с ее высшими правами на господство. Такого обобщенья не получилось, монголы действовали так, будто им все позволено, стоя на пороге зрелости и не переступая его. Теория высшего народа не сотворилась, и Тенгиз принял без размышлений естественную для него покорность сунских механиков. Главарь механиков Фынь Мань был человеком сложной судьбы.

Фынь Мань мог удостоиться ученого звания, стать сановником, не поступи он глупо в решающие дни. Минуло двадцать лет ученья — это еще очень короткий срок,— и тридцатилетний Фынь Мань был допущен к государственным испытаниям. После проверки объемистое сочинение Фынь Маня было сожжено, а сам он ославлен, как вор, покусившийся обокрасть радушных хозяев.

Отверженный Фынь Мань действительно был виновен. Испытуемые доказывали свою ученость отнюдь не буквальным повторением заученного, но рассуждениями по поводу текстов: есть разница между поверхностным усвоением на память и настоящим познанием. Фынь Мань позволил себе выйти за границы дозволенного, оспорив одну-две принятые истины.

Неуважение к общепризнанному неприятно для всех. Некоторую игру мысли ученые суны могли позволить столь же ученому собрату. Свободомыслие ученика вызвало гневный протест дальновидных ученых: по какому праву ничтожество, ровно ничем себя не утвердившее в науке, осмеливается? Что будет дальше? И с наслаждением добродетели, уличившей порок, ученые выгнали наглого.

Родись Фынь Мань в семье, с трудом добывающей на рис себе, истощая силы содержаньем будущего ученого, он был бы скромнее, не для вида — что ненадежно,— но всею душой. Фынь Мань, сын ученого, не рисковал преждевременной могилой сановного отца. Досыта кормясь крохами родительского стола, Фынь Мань питался и семейной мудростью, получая наставления годами и приказы перед длинным месяцем государственных испытаний. Безусловная покорность отцу есть одна из основ Поднебесной. Позор сына был также нарушением сыновнего долга. Преступник был проклят и выброшен на улицу пинками старательных слуг. Как случается часто, сын не понимал, а отец не мог допустить мысли о том, что пошлость старшего снабдила младшего ростками мерзкого вольнодумия.

Не умея что-либо делать руками и ничего не зная о жизни, тридцатилетний Фынь Мань, растерявшийся и голодный, пустился просить милостыню. Через два-три дня он едва не лишился жизни: в книгах ничего не было о союзе нищих, права которого Фынь Мань неосторожно нарушил.

Несчастного подобрал вор, прельщенный лоском, еще видным из-под нараставшей коросты грязи. Воры тоже объединялись тайным сообществом. Чтобы получить права сочлена, следовало пройти науку и выдержать испытания. Неловкий Фынь Мань был отвергнут и здесь.

Объявленный набор солдат спас жизнь Фынь Маня, которой угрожали сразу голод, длинное шило, которым союз нищих расправлялся с нарушителями монополии, и плаха, куда Фынь Маня толкнули бы либо неопытность в нарушении законов, либо сами воры по тем же соображениям, по каким нищие пускали в ход шило, а также по дополнительным: судьи становятся излишне деятельными, когда число нераскрытых преступлений превышает какую-то норму...

В солдатах неудачливый ученый, а также неспособный вор и стал Фынь Манем, скрывшись от отца: тот мог подать некий знак, узнав, что сын вконец опозорил родовое имя.

И здесь Фынь Мань оказался неудачником. Глядя на мир из-за широкой отцовской спины, он воображал, будто все низшие, невежественные почитают ученых. Так оно и было. Но низшие нуждались в осязательных приметах учености, поэтому и товарищи, и начальствующие сумели укротить самозванца. Уподобленный псу, Фынь Мань лизал солдатские миски, упражняясь в истинно собачьем подобострастии.

Самой легкой считалась служба в коннице — конника возила лошадь, а не собственные ноги, как в пехоте. Самой трудной — около боевых машин, где приходилось работать, да еще рискуя либо получить увечье, либо жизнью и в мирные дни. Через три года Фынь Маня перевели к машинам. Тут ему пригодились не науки — ни сами машины, ни обслуживающие их люди не занимаются философскими рассуждениями,— но память. Изучение цзыров развивает способность запоминать и мысленно видеть даже самые сложные сочетания рычагов, тяжей, блоков, в чем Фынь Мань убедился, к собственному удивлению и к удовольствию начальников.

Из ста тысяч сусликов не слепишь и одного верблюда,

а из всех ящериц Поднебесной — самого маленького дракона. Среди невежественных начальников и товарищей Фынь Мань оказался единственным верблюдом или драконом. Обучившись многому, он постиг драгоценность скромности. Вскоре — года через четыре — Фынь Мань получил высокое звание младшего помощника четвертого заместителя начальника боевых машин войска провинции. Машины нравились Фынь Маню. Он занимался незаметными для начальников усовершенствованиями и сочинял для себя способы защиты городов и нападения на них. Но втайне, ибо начальники обидчивы, и самое большое оскорбленье для них — умные подчиненные.

Один из таких способов Фынь Мань предложил великому монгольскому хану: повалить стену через подкоп. Как? Через подземный ход из-под подошвы стены уносят землю, а стену снизу подпирают столбами. Столбы поджигают сухой щепой, залитой маслом. А будет ли дерево гореть под землей? Будет, дым потянет через другой ход.

Тенгиз велел хорошо кормить Фынь Маня, а к работам приставить охрану. Фынь Маню позволено было набрать из пленников сколько будет нужно. При успехе великий хан обещал полезным сунам награду и постоянную службу.

Тенгиз навещал работы — дело, не виданное им. Суны сновали с удивительной для монголов ухваткой — как муравьи. Слабосильные, они часто сменялись, отдыхали, хватая воздух разинутыми ртами, почти голые, тощие — все ребра наружу, и все же облитые потом. И опять ползли, скребли, сверлили, грызли, и усмиренная земля лилась непрерывной почти струей из подкопов, начатых сразу в четырех местах. Переползая один через другого, там, в глубине, суны, наверное, переплетались, как змеи. Подкопы глотали доски, короткие и длинные бревна, выбрасывая землю и будто бы насмерть замученных сунов, задыхающихся, облепленных жидкой грязью из пыли и пота.

На третий день великий хан привел с собой младших братьев, приказав явиться начальникам тысяч и сотен. Входы в подкопы были заслонены от Су-Чжоу камнеметами. Фынь Мань, желая все предусмотреть, завесил камнеметы сшитыми шкурами коров, лошадей, верблюдов. Шкуры поливали водой — осажденные пытались поджечь машины горящими стрелами. Чтоб не выдать замысел, выброшенную землю отвозили ночами подальше.

Монголы теснились молча, не выдавая изумленья перед ловкостью сунов. Каждый, сидя в седле, перерубил

бы один всех этих сунов в чистом поле. Но того, что здесь делали суны, монгол не умел и не хотел уметь.

Через четыре дня великий хан смог дойти под землей до подошвы стены и своей рукой дать пощечину ненавистному камню. Масляные светильни горели под землей ясно, как в юрте, и пламя отклонялось от тяги. Проход был узенький. Тенгиз шел согнувшись, доставая руками до земли. Тогда же Тенгизу открылись препятствия: в Поднебесной много городов, бо́льших, чем Су-Чжоу. Какие взять сначала, куда идти потом и каково множество подданных Сына Неба, которым пугал Хао Цзай, бывший правителем Туен-Хуанга? Против сунов будут нужны суны же...

Взяв в ханскую юрту Фынь Маня, великий хан приказал ему говорить. Тот, больше дивясь, чем ликуя, взлету своей странной судьбы, старался дать монголу, что мог. Что оставалось Фынь Маню? Прилепиться к новому господину, заслужить жизнь, еще раз сбросить старую кожу. Было и еще нечто, тревожившее Фынь Маня часто, но не более, чем гвоздь в сапоге: колет, когда наступишь, но можно терпеть. Вскоре после начала солдатской жизни Фынь Маня его отец, сановный ученый Чан Фэй, получив повышение на государственной службе, был назначен правителем Су-Чжоу. Сидя на телеге с запасными канатами для камнеметов, Фынь Мань ехал в Су-Чжоу, не опасаясь встречи с отцом. Вельможный правитель никогда не узнает сына в обличье солдата. Фынь Мань, давно презрев добродетель, забыл об отце. Сейчас он его ненавидел. За все.

Великий хан Тенгиз еще не думал, будто к нему могут прилипнуть нити сунской паутины. Говорят, слова острее стрел, летят они медленно, но остаются внутри. Тенгиз действовал, помнил. Вероятно, наибольшая часть завоеваний и переворотов не была бы начата, понимай затеявшие их люди все дальнейшее.

Считая своих, Тенгиз вспоминал о других монголах, бездельно кочующих в степи. Он может подчинить их, они тоже пойдут по новой тропе. Кто знал, сколько монголов? Тенгиз думал о сотне тысяч всадников. Будущее принадлежало ему. Монголам.

Камнеметы, поставленные в ряд против северной стены Су-Чжоу, били все вместе в верхушки башен, в стены, разрушая зубцы и укрытия защитников. Машинами управляли пленные суны-механики под командой монголов.

Су-Чжоу отвечал своими машинами, стараясь повредить камнеметы осаждающих. Против одного камнемета осажденных били десять монгольских. Под городом хватало места для машин. Строители городских укреплений соорудили площадки для машин только на башнях. Вскоре монголы сбили их. К вечеру сами башни были повреждены, как и укрытия на стене. Поддавалась и сама стена. Камни облицовки вываливались рядами, обнажая сердцевину — рыхлую смесь из камней неправильной формы, ненадежно связанных глиной. В сумерки монгольские пленники беспрепятственно собрали отскочившие от стены каменные ядра, которые завтра продолжат дело разрушения.

Великий хан был доволен своим днем, а монголы — своим ханом: он может все. Даже не будь Фынь Маня, ханского суна — так его звали монголы,— Тенгиз разрушил бы стены Су-Чжоу в нескольких местах, скрывая от осажденных место решительного удара. Изготовленные тараны издали нацеливались на ворота, высовывая кованые лбы из-под шатровых укрытий. Если завтра ханский сун не повалит южную стену, падение Су-Чжоу замедлится немногим.

Вельможный правитель Су-Чжоу ученый Чан Фэй видел сон. Его, неизвестно кем и за что заключенного в трюме джонки, уносила река. За прорубленным в бревнах оконцем, куда не проходила голова, плыли странно пустынные берега, безлюдные, дикие, и во сне Чан Фэй мучился сомнениями: где он, где Поднебесная с ее заселенными реками? Гористые берега сменялись равнинными. Джонку поворачивало, качало, крутило в водоворотах. Берег уходил все дальше. Вода успокоилась в беспредельности. Чан Фэй понял — его унесло в открытое море.

Сердце остановилось, и он проснулся, задыхаясь, дивясь мягкой перине, заменившей сырые доски джонки. Томясь от волнения, от тоски, правитель подошел к окну. Звезды сказали — идет третья часть ночи. Виденья, посещающие спящих в эти часы, посланы в помощь. Они сбываются, и смысл их полезно разгадать, чтобы помочь совершению предначертаний судьбы.

На рассвете правитель, упреждая разрушительную работу монгольских машин, предложил переговоры. Великий хан согласился принять послов, если их главой будет сам правитель: сон сбывался...

С первого дня стоянки под Су-Чжоу сунские пленники соорудили хану высокий шатер, который мог вместить две сотни людей и в дальнем углу которого поставили походную Тенгизову юрту. Стены и крышу шатра затянули шелками, взятыми в Туен-Хуанге. Новая роскошь получила старомонгольскую печать — жирные следы рук, вытираемых после еды, испестрили шелка на высоту человеческого роста.

Тенгиз встретил посольство, сидя в золоченом кресле правителя Туен-Хуанга. Два младших брата хана сидели на земле, на подушках. Тысячники и многие сотники разместились вправо и влево, как руки хана.

Сзади будто дремали телохранители. Среди них присел на корточки Фынь Мань. Этой ночью, может быть, в час, когда Чан Фэю виделся пророческий сон, Тенгиз осмотрел законченные подкопы и оценил способности суна. Хан стал выше людей, которые требуют завершающего успеха. Фынь Мань доказал свою полезность. Хан назначил его начальником над всеми умелыми сунами и разрешил надеть монгольское платье: кожаный кафтан, кожаные штаны и сапоги с острыми носками, удобные для верховой езды.

Суны вошли один за другим, медленно, мелкими шагами. Перед шатром шаманы окурили их дымом. Шурша жестким шелком длинных платьев, в туфлях на очень высоких многослойных подошвах, они кланялись хану, прижимая к груди скрещенные ладони.

Чан Фэй вежливо, без назойливости смотрел на Тенгиза. Такого монгола он не встречал. Длинные черные волосы хана, отброшенные назад, были прикрыты обычной изношенной шапкой. На просторном лбу широкие, приподнятые к вискам брови брошены, как развернутые крылья. Между бровями, чуть выше их, небольшая, но ясная выпуклость напоминала о третьем глазе Будды,— по убежденью индов, это признак выдающегося человека. Короткая острая борода делала резче тупой треугольник лица. Темно-серые пристальные глаза не моргали, как и приличествовало обладателю Глаза Будды.

«Такой хан и нарядившись в лохмотья не спрячется в толпе»,— подумал Чан Фэй с облегчением. Он молчал, легко и свободно,— получалось не так трудно,— по этикету ожидая приказа высшего, то есть сильнейшего. Этого человека нужно ублажать мягкой покорностью...

Поднялась рука хана, тоже особенная: узкая, с длинными пальцами, образец для ваятеля, который пожелает

сочетать выражение силы с красотой. Рука тоже в чем-то помогала правителю Су-Чжоу.

— Ты поздно пришел,— сказал великий хан.

Фынь Мань, переменивший кожу, стоя на коленях, просунул голову под рукой хана. Он будет толмачить, узнает его отец или не узнает, все равно.

— Великий, я не мог прийти раньше,— возразил правитель Су-Чжоу.

Фынь Мань отодвинулся. Этот человек, по возрасту старый, но еще сильный телом, говорил по-монгольски! Фынь Мань не подозревал способностей отца. А что он знал когда-либо об этом холодно-злом и чужом человеке? Ничего.

— Почему не мог? — спросил Тенгиз.

— Ты повелитель, ты сам идешь, сам делаешь по своей воле,— уверенно, но скромно оправдывал себя Чан Фэй.— Я, ничтожный слуга Сына Неба, только исполняю строгие приказы неумолимых законов. Не смею оскорблять тебя, великий, увертками. Ты разбил армию, которая могла помешать тебе. К чему тебе еще этот ничтожный город, он не прибавит много к венцу твоей славы. Прими выкуп, какой захочешь.

— Нет! — закричал Тенгиз, с наслаждением давая себе волю.— Нет! Я сам возьму все. Я научу сунов, как сопротивляться монголам. А ты будешь глядеть вместе со мной, как я сломлю Су-Чжоу, а монголы обратят вас, оседлых, в свою пищу.

Фынь Мань, поняв, что пришел его час, выскочил вперед и поймал немой приказ хана. И побежал выполнять. Неловко прыгая в тяжелых сапогах, он споткнулся, упал — и опять пустился вскачь, как подкованный козел.

Кто-то из тысячников расхохотался. Смех подхватили. Выходя из ханского шатра, монголы держались за бока. Смеялся и Тенгиз над своим суном. Чан Фэй, подавленный неудачей,— неужто сон обманул? — странно думал про монголов: как дети. Страшные дети!

Чан Фэй не понимал, почему здесь, с южной стороны, чего-то ждут и монголы, и толпы пленников. В час утренней тишины было слышно, как на севере, у другой стены, глухо, с треском бьют камни в поврежденную вчера стену. Доносило и крики. Бесполезный гром боевой трубы покрыл звуки только на мгновение.

Наверное, там уже осыпалась сердцевина стены. Камнеметы монголов ломают внутреннюю облицовку, как вчера сломали внешнюю. Вчера в ямыне Чан Фэй, поте-

ряв привычное спокойствие,— может быть, он играл перед подчиненными,— проклинал строителей, в последний раз восстанавливавших стены. Проклинал тогдашнего правителя и приказал внести в опись событий осады указание на обман: стены, будто бы сложенные из камня, оказались набитыми глиной. Казну обокрали, а он, ничтожный и неученый Чан Фэй, был обманут, ему дали править городом с бумажными стенами.

Поистине, драконы-покровители и герои-тигры Поднебесной скрылись с таинственными для смертных целями. Империей управляют жадные сановники. Став стеной вокруг Сына Неба, трусливые, как мыши, коварные, как лисы, они говорят его именем. Нет выше добродетели, как подчинение власти. Срединная подобна сосуду, собранному из мельчайших чешуек. Добродетели — клей, пока клей держит, не все ли равно, чьи ноги топчут покои Сына Неба. Он — не человек, он понятие, как знак-цзыр... Такими размышленьями Чан Фэй готовил себя к смерти. Покой безбрежного моря, дарованный во сне, был извещением о близком покое смерти. Сны лгут, как явь...

Из земли сочился черный дым. Едва заметный вначале, он густел, ползучий, приподнимался. «Высшие люди, совершенствуясь, совершенствуют низших, и вся Поднебесная идет к совершенству. Когда низшие впадают в заблуждение, все грязное поднимается, как этот дым»,— горевал Чан Фэй о своей неудачной судьбе.

Дымы поднимались, светлели. Горячий воздух выбрасывал пепел. Фынь Мань, закопченный, как углежог, выполз из подземного хода и подошел к великому хану. На шее ханского суна болталась мертвая петля, и конец веревки он готов был вручить палачу. Нет сомненья в удаче, но разве Судьба не капризна? Хитрый механик заклинал коварный Случай, в обдуманной смиренности перед ханом он искал лекарства против тяжкой болезни неудач.

Дым стал почти невидимым, только горячий воздух трепетал над вытяжными ходами. Выгорело масло, выгорели дрова. В кучах рдеющих синим пламенем углей в раскаленном подземелье дотлевали короткие, толстые столбы.

Стена будто бы шевельнулась. Еще немного. Падение стен — небывалое зрелище, глаз отказывается верить. Но вот, проседая и отрываясь, выпучился, накренился и рухнул наружу сразу целый кусок протяжением в четверть ли. Рядом, зияя неправильным обломом, стена еще

держалась. Дрогнув, разламываясь в воздухе, обвалилась и она.

Су-Чжоу открылся таким, каким его никто не видал. С узкими улицами, которые убежали бы — не перекрывай их повороты — среди острых крыш, стай крыш, столпившихся плотно, как семья грибов, но таких разных, будто строители нарочно сговаривались не повторяться. И — метанье людей, которые падали из окон, рвались из дверей, бежали куда-то внутрь, за повороты улиц, волны спин, обращенных к зиянью пролома.

Фынь Мань пал на колени и, пытаясь встретить взгляд господина, снял петлю с шеи: вовремя. Ханский сун еще не понимал, что кто-нибудь из монголов мог потянуть за веревку, как мальчишка, для забавы. Не понимал он и забвенья, в которое его по праву отбросил великий монгол, как вещь временно ненужную.

Тенгиз смотрел, ждал, пока пленники не расчистили проходы, пока спешенное войско не начало вдавливаться сотня за сотней в побежденный Су-Чжоу. Потом пошел к шатру. Всадники охраны заскакивали вперед, окружая шатер, и погнали сунов вслед великому хану.

Два брата хана держались около старшего, когда Тенгиз вывел синих монголов за черту племенных земель. Выросло войско. Три десятка своих всадников, Тенгизова рода, спали около хана, ели рядом с ним, не отлучались ни в походе, ни в бою. Такие же десятки появились у ханских братьев, поставленных в тысячники. То была еще не охрана, но помощники, вестовые, посыльные — без таких не обойтись и сотнику,— они же естественные хранители тела хана или другого начальника, надежные, почетные люди.

Будни войны, будни походов и лагеря создавали новые формы. Ни охраняемый, ни охрана еще не размышляли о возможных опасностях. Будущее пока оставляли в покое, ничье дальновидно-настороженное воображение еще не творило опасных призраков, не одевало их плотью. Никто не подозревал, что подобные призраки можно так смешать с миром живых людей, что сами творцы не поймут, где друг, а где враг. Великому хану Тенгизу было очень далеко идти до тех неизбежных лет, когда забота о теле повелителя лишит свободы и его самого, и весь его народ.

Поэтому Тенгиз мог вольно, без оглядки, как в седле, упасть в позолоченное кресло, не думая, что охрана плоха, что убийца, без труда проскользнув под шелковой стенкой, воткнет нож в беззащитную ханскую спину.

Поэтому, раскинув ноги — в кресле хуже сидеть, чем в седле,— Тенгиз еще не думал о заговорщиках, не взвешивал слов, поступков и возможных намерений возможных соперников, хотя у ханов много соперников и самые опасные — самые близкие. О заговорах Тенгиз будет думать, когда ему донесут, не раньше. Он дремал, будто Гутлук в степи, грезя, творя в полусне полумысли, полуобразы, произнося безмолвные речи, видя лица, не виданные наяву, свободно слушая не сказуемое словами. Он жил, как вольный хан, еще не униженный страхом.

Суны жались за спиной Чан Фэя. Великий хан открыл глаза, и правитель Су-Чжоу ощутил на своей спине дрожащие пальцы: его толкали. Он невольно шагнул вперед.

— Ты знал правителя Туен-Хуанга?—спросил Тенгиз.

— Да, великий,— склонился Чан Фэй.— Он был славен своей ученостью. Хао Цзай мог творить новые знаки-цзыры. Я сожалею о его смерти. Он обладал великими знаниями.

— Ты сожалеешь? О других ты тоже сожалеешь?

— Люди не равны, великий. Хао Цзай был ценнее других. О нем я обязан сожалеть больше, чем о других.

— Во сколько же раз твое сожаленье больше? В два раза? В девять? — настаивал Тенгиз.— И почему ты обязан сожалеть? Кто тебя обязал? — добивался сын Гутлука.

Правитель Су-Чжоу не нашел слов: объяснять очевидное произносимой речью труднее всего, а цзыров-знаков хан не знает...

— А ты тоже все знаешь, как он?

Чан Фэй рискнул поднять глаза, хотя ему было трудно встречаться взглядом с монголом. Не насмехается ли странный дикарь? Нет...

— О себе, великий хан, нельзя говорить похвально. Оставь знания себе, а похвалу — другим, учат наши старые книги.

— Ты хочешь служить мне?—спросил страшный монгол.

Струйки пота скользнули по бокам Чан Фэя. Мир качнулся, вернулся на место, но перестал быть прежним. Выбор? Желание? Правитель сломленного Су-Чжоу, не сломавшись сам, ждал смерти — без навязчивого страха, без навязчивой мысли: и менее стойкий человек не нашел бы места для страха. События развивались стремительно, как в одной из многих трагедий на сцене театра: дикий

завоеватель и ученый, мужественный сановник, чьи добродетели торжествуют посмертно.

Чан Фэй, назначая предусмотренные законом пытки и мучительные казни, сам присутствовал при поучительных для других уроках по обязанности. Как все, он свыкся со страданиями и насильственной смертью, как с обстоятельствами естественными, справедливыми и нужными. Зрелище страданий его не страшило; как многие, он испытывал некое приятное ощущение, конечно непредосудительное. Живописцы и скульпторы Поднебесной с точностью воспроизводили пытки, казни, плоды их труда были допущенными предметами торговли. Особенным спросом пользовались изображения некоторых изощрений: закон отдавал палачу все тело преступника, не оставляя ничего тайного.

Ничто не преграждало дорогу смерти, преступник успокаивался ее прикосновением так же, как человек добродетельный.

Наука дала Чан Фзю ключ, он мог постигать значение событий. Наибольшим из них за годы его правления в Су-Чжоу был недавно открытый правителем Калчи цзыр, связавший степных дикарей и бедствия. Тут же последовавшие прискорбные несчастья — разорение Туен-Хуанга, гибель провинциальной армии, осада и гибель Су-Чжоу — необычайно смягчались: суны, особенно же сановники, были ни в чем не повинны, как заранее доказал правитель Калчи. Калчинский цзыр снимал вину и с Чан Фзя. Поистине, только дикари могли предпочесть разрушение Су-Чжоу. Ведь выкуп дал бы им больше, чем результаты беспорядочного грабежа.

Для Чан Фзя мало что существовало за границами цзыров. Как-то ему довелось прочесть рассуждение о сущности человеческого «я», составленное гималайским ученым. По общему мнению, перевод этого случайного сочинения — автор не ссылался на других и на сунские цзыры — сам собой доказал праздность мысли тибетца. Цзыры, примененные в переводах санскритских книг, раскрыли привязанность ученых индов к сказкам. Встречи с учеными тибетцами, которых дикари считают святыми, не убеждали в полезности углубления в сущность человеческой личности. Удивительные будто бы способности святых быть неуязвимыми для мороза, подолгу обходиться без пищи и угадывать мысли легко объяснялись утомительной системой упражнений. Бесполезный труд — результат многолетних усилий ничего не давал: куда про-

ще носить теплое платье в холод и вызнавать чужие намерения хитростью или подкупом.

Монгол несколькими словами разбил медные ворота заученных воззрений. Чан Фэй, обливаясь потом, чувствовал — ему сейчас изменят ноги, как крабу, выброшенному на песок под жгучие лучи солнца. Он задыхался. Сделав шаг назад, Чан Фэй упал бы, не подхвати его руки советников, этих ученых более низких степеней, которых он заставил быть его свитой.

— Советуйте, советуйте,— умирающим голосом шептал Чан Фэй.

— Соглашайся, соглашайся,— нашептывали советники.

Чан Фэй не слушал, Чан Фэй не слышал, Чан Фэй не понимал.

— Как Сюэ Лян, как Сюэ Лян...— усердно в самое ухо кто-то вколачивал знакомое имя.

Сюэ Лян? А! Добродетельный Сюэ Лян! Семнадцать веков тому назад на юге Поднебесной Сюэ Лян покорился вторгшимся дикарям, став в дальнейшем с помощью драконов и тигров причиной гибели завоевателей. Силы вернулись к Чан Фэю: пример нашелся! Шагнув раз, другой, Чан Фэй опустился на колени перед ханом:

— Повинуемся и принимаем волю великого.

Но почему-то мир опять покачнулся, почему-то Чан Фэй не мог сомкнуть медные ворота, за которыми жил. Прежде жил.

Насилие, грабеж, убийство. Убийство, насилие, грабеж. Монголы мстили Су-Чжоу. Толпы сунов, обезумевшие от страха, разрушали стены, башни, ломали дома. Стиснутые, смятые, избиваемые, они погибали под обвалами, которые вызывали сами, погибали под монгольским железом, под копытами монгольских коней, под остроносым сапогом монгола.

Но кто-то прятался под обломками, в подвалах, в закоулках, кто-то выживал случайно, кто-то старался выжить, кто-то обязан был выжить.

Нужно, непременно нужно кому-то выжить, чтобы вновь — в который-то раз! — отстроить древний Су-Чжоу, сколько-то раз разрушенный и столько же раз возведенный опять,— и лучше, чем предыдущий,— возведенный для нового разрушенья. Нужно, чтобы город восставал вновь и вновь, чтобы вновь и вновь решался неразрешимый вопрос: кто лучше, что нужнее? Выжить, притаившись, как мышь, либо погибнуть героем? Чтобы маленький

человек — для смерти нет больших — совсем один выбирал либо одно, либо другое. Так как не было третьего, не было места, где удалось бы переждать, ничего не решая. Ибо и тот, кто, возмущаясь общей слепотой или пользуясь властью, заранее приготовил себе надежную щель с такими запасами, с такими сводами и в столь совершенном секрете, что мог там отсидеться годами, разве такой тоже не выбрал? Выбрал, выбрал и еще утешался: в роду любого героя всяко бывало, иначе не было б рода.

Окованный стенами от рождения, Су-Чжоу всегда давил собственные улицы, сужая их выступами, нависал этажами, теснил площади, превращая их в площадки, дворы — в дворики, чердаки — в жилища, подвалы — в склады. На заходе солнца убитый город вытеснил и завоевателей. Пожары возникали от очагов, брошенных хозяевами, от монгольской потехи: огонь довершит.

В сумерки пожар осветил буйство одних людей, пособничая им для гибели других. Описания совершавшегося тягостны, не нужны, не новы. И — не стары...

Великий хан решил завтра же начать отход в монгольскую степь, к подножиям монгольских гор, на тощие пастбища, на сумрачные зимовки, решил уйти в места, краше которых для монгола пока еще нет ничего на свете. Весной он легко подчинит себе всех монголов, не придется ему по необходимости избавить своих же, требуя покорности. Нужно собрать всех. С теми, кто есть, рано покорять Поднебесную.

Не когда-либо раньше, но только сегодня Тенгиз понял, как поступать дальше. Поняв, решил. Решив, отбросил, не ловя ни вчерашний день, ни истекшую минуту. Иначе не было бы Тенгиза, сына Гутлука, ни других таких же.

Мы измеряем события собою — другой меры нет — и настойчиво снабжаем людей действия задолго обдуманными решениями, сознательно преодоленными препятствиями, говорим об исторических рубежах и считаем ступени. Если действительность нуждается во лжи, как свет нуждается в тени, чтобы проявить себя и стать видимым, то поиски средств и старания искателей средств не должны вызывать ни восторга, ни осуждения, как любая неизбежность.

Невиданный костер размером в целый город освещал разгульный лагерь монголов. Впервые за время похода всякий порядок был нарушен. Стоянка войска едва ли охранялась. Да и что могло угрожать?! И в двух неделях

перехода от пылающего Су-Чжоу не было иных сил, кроме монгольской.

Владея настоящим, определив будущее, великий хан наслаждался особенными блюдами и напитками. Бывший правитель Су-Чжоу с помощью других сунов услужал новому владыке; монголам не было дела до того, откуда добыты припасы, в какие городские склады сумели проникнуть хитрые суны, не изжарившись сами.

Как всякий монгол, Тенгиз мог подолгу обходиться без пищи и мог после долгого перерыва безнаказанно съесть неправдоподобно много. Не спеша вчетвером или втроем, орудуя одними ножами, монголы незаметно оставляли от целого барана кучку обглоданных костей. Еще и сейчас в местах стоянок кочевников на берегах озер земля набита сплошными слоями костей.

Шелковые пологи ханского шатра были приподняты, как кошмы летней юрты. Ночь стояла безветренная. Масляные лампы светили без помехи. Совсем рядом, в полутора тысячах шагов, догорал Су-Чжоу, делая еще великолепней тихую ночь конца лета игрой многоцветных языков пламени, догорал — не мог догореть. Еще и еще что-то рушилось, еще и еще в местах обвалов взлетали фонтаны искр.

Устав, пламя упадало, зарываясь в развалинах, и вдруг вздымалось. Может быть, масло, закипев в подвале от жары, превращало подземное хранилище в лампу, достойную духов зла, может быть, пожар находил склад драгоценного лака, дощечки дорогого дерева для шкатулок и ящичков, которыми славилась Поднебесная...

Восхищаясь особенно мощным факелом, Тенгиз встал, указывая пальцем. Он не хохотал грубо, отрывисто, как утром, потешаясь неловкостью своего суна Фынь Маня. Сейчас он залился смехом, как ребенок, и стал совсем молодым. Совсем по-юному он хотел, чтобы все глядели, радуясь с ним, совсем как юноша приказывал радоваться. Не к чему и некому было допытываться, попросту забавляется ли великий хан доселе невиданным зрелищем либо, казня непокорство Су-Чжоу примерной огненной казнью, тешится местью. Вернее было бы первое. Жизнь прекрасна удачей, а месть утоленная превращается в радость.

Разгорячившись, Тенгиз сбросил тяжелый кафтан, рубаху, сапоги, штаны и стоял, наслаждаясь прохладой, блестя потной кожей, как начищенная медь, с раздутым животом, но бодрый, крепкий, как бронзовый. Суны, по-

чтительно подползя к хану, предложили халат желтого шелка, расшитый изображениями черных драконов. Тенгиз, приняв услугу, приказал подать сапоги: босой монгол — не монгол.

Ханские братья, подражая старшему, тоже разделись догола, избавились от излишнего тысячники и сотники, и все, очень похожие один на другого крепкой статью смуглых тел, стояли, требуя халатов и себе. Суны, роясь в грудах мягкой добычи, поспевали за всеми желаниями: умный, быстрый слуга становится господином своего господина.

Размахивая руками, наступая в блюда, расставленные повсюду, но крепко держась на ногах, великий хан выбрался наружу. Уселся свободно, как дитя или как зверь, которому нет дела до чьих-либо глаз.

Тем временем два-три монгола, достав свои костяные дудки, встретили возвращение хана пронзительной мелодией пастушеской песни. Откинув голову, Тенгиз запел, как поет монгол в степи, в прекрасной пустыне, научившись у ветра да у волка. Другие вступили, каждый старался взять выше и тоньше. Суны, сидя на пятках, слушали — мотив был понятен. Робко они вошли в хор господ. И скоро, распялив рты в широких улыбках, дали своим голосам полную волю.

Все отдались песне, а песня взяла каждого и подняла его в нечто более высокое, чем будни, на время в шатре Тенгиза сравняла монгола с суном. Они родственники, поэтому и растворялись в Поднебесной ее азиатские завоеватели.

Чужой не судья в песне другого народа. Но и чужой, кому доводилось слышать вой ветра и волчий вой с седла, либо на степной стоянке, или в камышах безлюдных озер, не отнесется с презрением к песне кочевника, хотя она и может быть ему неприятна.

Легко перейти границу между двумя народами, даже если эта граница — Океан, и дружески протянуть руку. Трапезу разделить труднее: каждый привык к своему, и любимое блюдо соседа бывает противно.

Но как быть с другими границами? Почему непроницаема стена искусства? Легко сказать — я не понимаю. Нет ничего опаснее непонятного.

Тускнел, будто уставая, огненный дракон — временный правитель Су-Чжоу. Утомив горло, монголы затихли

и ленивее, а все же в охоту, принялись кормить отдохнувшие животы.

Ночь медлила, звезды стояли на месте. Хлопотливые суны возились с блюдами, с котлами, кувшинами, мисками. Наводя порядок, они расчистили место перед Тенгизом, расстелили ковер. Бывший правитель Чан Фэй вывел на ковер трех женщин, снял с них темные покрывала и, склонившись перед великим ханом, отступил, оставив женщин, как бабочек, покинувших пыльный кокон.

Этих пленниц Тенгиз взял в Туен-Хуанге и, ни разу не вспомнив, таскал за собой. Чан Фэй опознал храмовых танцовщиц. Случайная несвоевременная прихоть — они покинули свое жилище в Тысяче Пещер для какой-то покупки — отдала их в руки монголов.

Чан Фэй разыскал с мешках с добычей подходящие драгоценности, сам убирал танцовщиц и подбодрил несчастных, запуганных женщин шариками из смеси макового сока с соком индийской конопли. Бывший правитель изредка пользовался этим сильным средством. Напрасно Чан Фэй рассчитывал если не на благодарность, то хотя бы на удивление великого хана. Тенгиз принял бы как должное покорность самого Сына Неба и в эту разгульную ночь, и завтра, на поле сраженья.

Обитательницы Неба апсары награждают своей благосклонностью владык и героев. В земных храмах о нежных небожительницах напоминает высокое искусство танцовщиц. Тенгиз вспомнил: таких женщин он видел нарисованными на стенах пещер Туен-Хуанга по соседству с каменным спящим Буддой. Полет, хоть без крыльев.

Такие же. Тонкие босые ступни. Темные шаровары из легкой ткани, стянутые на поясе шнурком. Браслеты над локтями, тяжелое ожерелье, причудливый убор на волосах. Так же опустив глаза, будто стыдясь наготы груди, танцовщицы держали тонкие флейты. Такие же, но — живые!

Скользя тонкими пальцами по дырочкам флейт, они свистели нежно и согласно. Песня без слов, слабая, как тонко звенящий писк камышового листика на ветру, была, как и дикий будто бы вой монгола, голосом Великой Азии. Звук флейты слаб. Но былинка, стонущая под ураганом, отдается вся целиком. Разве этого мало! Разве не это Величие!

Флейты пели. На холмах ветер играл с метелками полыни, всадники лились через холмы, как воды переполненных озер, пригнувшись в седлах, как барсы. Тенгиз

стал и ветром, и степью, и всадником, неотличимым от всех, и ханом, который, собрав всех кочевников, вел их съесть всех оседлых: на востоке — до Океана и на западе — до той же границы.

Флейты пели. Опираясь сжатыми кулаками на голые колени скрещенных ног, Тенгиз следил за чудесным явлением, и все, немые как рыбы, тянулись, но давая волю только глазам.

Медленный танец возникал в легких, будто тайных изгибах тела, в осторожных движеньях ног. И что-то длилось вместе со звуками флейт, внутри звуков, около них, совершенно единое, неразлучное, как запах и дыханье.

Внезапно одна из трех, высоко подняв правую ногу, коснулась узкой ступней бедра левой и, приподнявшись на носке, застыла. Замерли обе другие танцовщицы. Флейты умолкли. Перед Тенгизом был рисунок на стене пещеры. В нем был смысл... Это чары, не нужно искать: познание погубит прекрасное.

Танцовщицы ожили — опять они играли на флейтах, опять исполняли священный танец. Не для хана. Не из страха. Для себя — они любили танец и флейту.

Они исполняли обряд. Из тех, что созданы индами, чтобы общаться с богами.

Рожденный вдохновеньем, священный танец созрел и отлился в законченность изреченного Слова. Он стал высоким искусством. Произносимый движениями, он сделался Глаголом среди других Глаголов ритуала. Он утвердился, как равный, среди молитв, возгласов, огней, порядка процессий, звона, пения, курений, священных растений и животных и даже изображений богов.

Захватив чувства монголов, храмовый танец дал невеждам опору для непонятной им, но властной мечты. Такой же темной, как сами монголы...

Ханский сун Фынь Мань, начальник боевых машин в звании советника, как равный устроился в ханском шатре среди монгольских начальников. А! Когда дверь великого хана будет открываться избранным, и тогда Фынь Мань переступит высокий порог, если смерть пощадит его среди случайностей осад и сражений.

Не глядя на танцовщиц, Фынь Мань, который оставался в монгольской одежде, подкрался к бывшему правителю Су-Чжоу. Молча подталкивая перед собой отца, сын выбрался из шатра. Старший пятился, младший наступал. Они прошли через цепь стражи. Всадники спали в седлах. Расставив ноги, спали и лошади. Здесь не степь, здесь

не было стада, за которым лошадь несет сны хозяина-пастуха.

В сотне шагов от шатра Фынь Мань приступил к мести:

— Здравствуй, великий ученый, монгольский повар и поставщик женщин. Каким способом новоявленный Сюэ Лян спасет Поднебесную, вознеся свое имя в список героев?

Чан Фэй не ответил. Фынь Мань, уверя себя, что отец притворяется, издевался:

— Ты! Законодатель древних законов! Где твоя верность государству? Хао Цзай выбрал смерть. А ты надеваешь на монгола цвета Сына Неба? Ты хитер. Ты собираешься остаться правителем пепла?

Чан Фэй молчал. День был длинен без меры, а ночь бесконечна. Его тошнило, в левом боку толкалась колющая боль, внутренности грызли крысы. Согнувшись, Чан Фэй тщетно пытался облегчить себя рвотой. Фынь Мань концом ножа приподнял подбородок Чан Фэя.

— Гляди мне в лицо! — Неужто отец не узнал его? Неужто все сказанное было напрасным?

Борясь, Чан Фэй внушал себе: «Я нашел щит Сюэ Ляна, нашел, держу крепко, монгол не отнимет, не отнимет, не отнимет... Что, для чего, для чего?» — сбиваясь, Чан Фэй терял нить.

Между отцом и сыном просунулась лошадиная морда. Проснувшийся сторож хана осадил коня: это не драка, запрещенная в войске. Свой хочет расправиться с суном, пусть режет.

Фынь Мань оттащил отца ближе к пожарищу, на свет. Стащив с головы монгольскую шапку, он лез на Чан Фэя, называл себя, грозил, но не добился ни слова.

Как волк барана, он приволок Чан Фэя в шатер. Тут он чертил на своей ладони цзыры, с их помощью рассказывая о своих похождениях, цзырами же поносил отца, виновника бедствий. Советники Чан Фэя лезли, как мухи на падаль, пытаясь что-то понять, и Фынь Мань отбивался локтями.

Что-то дошло до бывшего правителя. Он пытался ответить, но руки его тряслись, и цзыры были непонятны. Не понял Фынь Мань и крушенья отца.

Ненавистный, непроницаемый, бесчувственно-холодный, сильный, невозмутимо-спокойный отец — враг. Точно такой же выдумал некогда подчинение родителям, как высшую добродетель детей, что бы ни совершали родители.

«И все же он узнал меня, он только притворяется,— убеждал себя Фынь Мань.— Он только прячется под хитрым обличьем немощи. Знаю, дать ему власть, и он сдерет с меня кожу...»

На немом языке цзыров Фынь Мань обещал отцу разоблачение перед ханом — и забился за спины монгольских начальников. Он слишком много ел, его подташнивало. Он скорчился и плакал одними глазами, и слезы лились по неподвижному лицу, как бывало бесконечно давно, в детстве, которого не было.

Фынь Маню было хуже, куда хуже, чем в жалкие дни голодной беспомощности после отрешения от родительского очага. Хуже, чем в первые — длинные-длинные — годы солдатских унижений за миску грязного риса и кусок тухлой рыбы, когда одна за другой ломались кости души.

Были глупые мечты загнанного пса о мести начальникам, товарищам и главному врагу — отцу. Были! Потом он забыл, успокоился, устроился, он ехал в телеге среди боевых машин, забавляясь: в Су-Чжоу, может быть, он увидит правителя издали, но сановник никогда не узнает сына...

Он дал мести воскреснуть, и месть обманула, ибо верно кто-то писал в старых книгах: мстящий безумен. Все ложь, бессмыслица, грязь, жизнь — клоака. Счастливы нерожденные...

Встревоженные советники Чан Фэя напрасно добивались приказа, как поступать перед лицом новой беды и грозного завтра. Чан Фэй мысленно искал знак, способный выразить день без завтра или ночь, за которой не последует утро. Черные цзыры сомкнули перед ним ряды, как армия перед боем. Чан Фэй метался, подобно солдату, потерявшему место в строю. Глухо и жестко, будто люди, цзыры отвергли Чан Фэя. Ни один не захотел помочь, ни один!

Ученый высшей степени, непреклонный правитель, который держал Су-Чжоу и подчиненных жесткой, как из нефрита, рукой, бормотал обрывки изречений. В них и лучший гадальщик не прочел бы пророчества. Советники не смели понять, что в Чан Фэе еще бодрствовала память, но разум ушел, может быть навсегда. Прижавшись друг к другу, как куропатки в морозную ночь, суны притихли. И они катились к пределу, за которым не поднимается солнце.

Ночь не кончалась, ночь не могла кончиться. Падали тяжелые головы. Скорчившись, подтянув колени и пряча между ними кисти рук, старый тысячник устраивался, как у себя, в уютной юрте, на толстой кошме из пахучей овечьей шерсти. Другие вытягивались, как укушенные, корчились, будто от ожога. И успокаивались.

От сунских напитков темная вода заливала глаза, шумело в ушах, звуки двоились, как двоились и образы.

Не как в монгольской степи, не как в юрте из пропитанной салом кошмы, здесь в шелковый ханский шатер на сунской земле вползали чужие сны. Мягколапые, грузные, черные, они вертели длинными верблюжьими шеями, жевали беззубыми челюстями.

Потух, будто сразу догорев, Су-Чжоу. Померкли звезды. Не стало твердой земли. Колдуны, подняв ханский шатер, потрясли его, и в бездонную темноту посыпались спящие. Нужно было проснуться, прогнать подлые сны, но не стало силы, и крик застрял в горле, твердый, как конский навоз на снегу.

— Подними глаза,— приказал великий хан. Танцовщица стояла перед ним на коленях, прижимая к впадине груди умолкшую флейту.— Подними глаза!

Не сердясь за непослушание, Тенгиз коснулся пальцами дрогнувших век и вглядывался в зрачок, ловя что-то скрытое во влажной глубине. Что ему нужно? Чего хотел этот, чужой и страшный, которого танцовщица не боялась?

Положив руки на плечи женщины, Тенгиз искал ее глаза, притягивая слабое тело. Длинные пальцы хана, способные согнуть клинок, охватили шею кольцом. Смертная хватка нарастала. Женщина вытянулась, не сопротивляясь. Опьяненная соком мака и конопли, она удивленно глядела в глаза монголу, не понимая, что происходит. И вдруг сразу поникла, уходя из жизни так же случайно, так же без воли, как явилась на свет.

Разжав пальцы, Тенгиз положил женщину на ковер, дождался, когда слабая жизнь вернулась в слабое тело, и погладил жесткой ладонью холодную щеку. Он не хотел убивать. Он и шутил, и сбрасывал чары колдовского танца. Сбросил? Да, но нечто осталось между ним и этой танцовщицей. Пусть...

Светало. Едва заставив ноги слушаться, Тенгиз встал, один непобежденный, единственный уцелевший в поле. Тела валялись — трупы, скошенные мечом разгула. Скорченные, как младенцы в утробе матери, бесстыдно разметавшиеся, как Ной перед сыновьями, переплетенные, как

враги, перервавшие друг другу горло. Ни один не приподнялся навстречу хану, никто не пошевелился. Даже услужливые суны не выдержали. Они сбились в плотный ком, как змеи весной, и чья-то рука с обвисшей кистью торчала, как змеиная голова на толстой шее.

В опустевших лампах дотлели фитили. Молчание лежало, как зимний снег в овраге — глубокий, ровный, без черточки следа, будто все замерло навсегда и никто никогда не очнется.

Пора солнцу! Где солнце? Уже светло. Свет без солнца давил плечи Тенгиза, легкий свет гнул монгола, который без усилия взбрасывал на плечо самого крупного барана.

Тяжело, не поднять... Тенгиз сопротивлялся. Ощущая присутствие высшей силы, он боролся с ней, как в других пустынях и горах некий человек боролся с жителем небес — не за добычу, не за власть, а просто из гордости.

Предали ноги. Тенгиз сел, чтобы не упасть. Опираясь на левую руку, хан приподнялся, схватил правой брата, лежавшего рядом.

— Встань, встань! — приказывал Тенгиз шепотом, думая, что кричит.— Встань!

Тяжело дыша от гнева и напряжения, Тенгиз приподнял спящего. Голова брата вяло отвалилась, будто шея лишилась костей. Тенгизу показалось, что брат не дышит. Разжав пальцы, хан дал телу повалиться на место. Хан хотел позвать — и не смог.

«Нет! Не хочу! Нет силы, которая сломит Тенгиза! Встань!» — приказывал хан сам себе. Нет, срок пришел. И на Тенгиза, как на других, садился грузный черный сон, как других, он жевал Тенгиза беззубыми, мягкими челюстями, мял лапами, крал силу. Не ранил — без боли, без раны сосал кровь. Молча...

Танцовщица сидела рядом со спящим Тенгизом, чуть-чуть поглаживая виски монгола. Осторожно, концами пальцев она делала круговые движенья. Ее научили не одному искусству танца. Овладев врачеваньем руками, она умела изгонять головную боль и усыпляла страдающих бессонницей. Она хотела, чтобы этот страшный, могущественный человек проснулся свежим, здоровым.

Ему понравились танцы. Он едва не задушил ее. Она простила сразу. Могло быть и худшее. У него Глаз Будды, он особенный. Он просто слишком силен, но ведь шея цела и не болит.

С помощью сока мака и конопли она построила свое великое будущее: она и ее подруги будут танцевать и иг-

рать на флейтах только для него. Так будет, будет: ведь он уже затронут Глаголом-Словом танца, она знает. И он не будет жесток...

Женщину терзал особенный голод — сразу. Его вызывает сок конопли. Продолжая правой рукой — в правой сильнее излучения — делать круги над лбом Тенгиза, женщина запустила левую руку в глубокое блюдо с остатками какой-то пищи. Мясо и еще что-то острое. Она ела и ела, жадно, быстро, пока не опорожнила все. Она облизала руку, палец за пальцем, не спеша и тщательно, как кошка. Вскоре она незаметно заснула, опустившись на широкую, медную грудь хана.

Сегодня солнце будило монголов, а не монголы — солнце. Приподнимая опущенные полы ханского шатра, телохранители Тенгиза заглянули раз, заглянули второй и вошли, не слишком медля. Здесь слишком крепко спали, слишком крепко. Хан Тенгиз еще не был столь велик, чтобы его не решались будить и устраивали совещания перед закрытым шатром.

Принялись за крайних — никто не просыпался. На тревожные крики сбежался лагерь. В шатре никто не дышал, многие были уже холодны.

Сорвали шелковые пологи, чтобы дать больше света. Хлопотали лекари, приступая к Тенгизу. Под окоченелым телом женщины лежал бездыханный великий хан. От смерти нет лекарства.

— Мы думали, что он хан, а он — простой человек,— простодушно сказал всадник из чьего-то десятка.

Покинула жизнь или покинули жизнь и оба ханских брата. Из почти семидесяти человек, которые праздновали победу над Су-Чжоу в ханском шатре, удалось разбудить только пятерых.

Погибший Су-Чжоу отомстил каким-то ядом, которым угостились пирующие. Кто виновник? Суны, конечно. Но все суны, служившие гостям Тенгиза, вместе с тем, кого прозвали ханским, тоже умерли.

Тайна судьбы известна Небу...

Потеряв начальников и великого хана, монголы не превратились в толпу. Повинуясь привычке, они сомкнули роды и племена. Тенгизовы десятки, сотни и тысячи, сразу рассыпавшись, сразу же и собрались в старые племенные отряды. Синие монголы, вознесенные было Тенгизом на высоту главенствующего племени, стали одними из равных.

В то время почти никто не осознал величины потери, так как мало кто успел постигнуть замысел Тенгиза. Поход обернулся излишне долгим набегом. Спад напряженья казался усталостью. Дни укорачивались, пора возвращаться к себе, на зимовки, к долгому сонному покою.

Вспыхнули стычки из-за добычи. Мелкие стычки. Завоеватели превратились в разбойников, а жадность грабителей удовлетворяется малой кровью.

Пленники разбегались; прятались кто как умел, в страхе перед всеобщим избиением. Но занятые мелочами грабители, боясь гнева неизвестных сил, думали лишь о том, как поскорее покинуть проклятое место.

Первыми Тенгиз покорил найманов. Они и ушли первыми. За ними поспешили татары и другие.

Только единоплеменники Тенгиза проявили способность к чему-то более высокому, чем забота о возвращении домой. Устроив облаву на разбегавшихся сунов, синие монголы заставили их собрать в одно место и сжечь все боевые машины.

Синие тронулись через пять дней, оставив в добычу хищным птицам и зверю непогребенные трупы чужих.

В хвосте обоза телег и вьючных животных десятка три верблюдов везли зашитые тюки с телами умерших на ханском пиру. В двух переходах до Туен-Хуанга монголы остановились в пустынном месте. Несколько выбранных всадников погнали в сторону от торной тропы, к предгорьям, кучку пленных, которые вели верблюдов с телами хана и других начальников. Через два дня монгольские всадники вернулись одни.

Место погребения осталось тайным навсегда. Пустыня не только молчит. Она — что только и важно — хороший учитель молчания.

Суны не молчали. Гонцы, понуждая плетью лошадей, везли в столицу Поднебесной крикливо-напыщенные извещения сановников: в ужасе перед содеянным «степные черви» бегут, а их разбойничий хан «грызет землю», убитый своими же из раскаяния перед Сыном Неба.

В разоренном Туен-Хуанге возились уцелевшие жители. Похоронив убитых — по необходимости, а также из благочестия,— каждый в меру сил восстанавливал свой разрушенный угол, пользуясь разрушенным у соседей, погибших в день разгрома. Как всегда, кто-то наживался раскопками развалин, особенно коль удавалось добраться до имущества, припрятанного бывшими хозяевами при

вестях о кочевниках либо еще раньше: с начала веков люди поневоле щедры на клады.

Возвращаясь в степи, монголы не могли и не хотели обходить Туен-Хуанг. Рассыпавшаяся армия Тенгиза прошла несколькими волнами и совершенно мирно. Наступательный порыв погас. С детским простодушием, будто бы ничего не было, монголы предлагали ненужные им вещи из поделенной добычи. Такого нашлось много. Те из жителей Туен-Хуанга, у которых были серебряные та-эли или пригодные монголам товары, совершили выгоднейшие обороты. Не первый раз война подсаживала на коня будущих богачей, для которых боевой рог превращался в рог изобилия.

Очень скоро Поднебесная, обильная людьми, как Океан водой, не замечая убыли, плеснув живой волной своего полноводья, наполнит до отказа и Су-Чжоу, и Туен-Хуанг, и вольные пригоро́ды. Здесь ворота тропы. Пока Запад и Восток не найдут других путей для общения, везде на тропе вместо разрушенных будут воздвигаться новые стены, чтобы жителям новых домов было на что надеяться в ожидании новых войн и разорений.

Путешественники разных народов и сословий, успевшие укрыться от монголов в Тысяче Пещер, воспрянули духом. В начале вынужденного сообщества они, обмениваясь необходимыми словами, приглядывались: что за человек? Скромность мила и в родной семье. В пути же внимание к спутнику, соединенное с терпимостью да с вежливым умолчанием о собственных достоинствах, превращается в добродетель. В Пещерах неизбежно образовались подобия товарищества. Связью служили, как бывает в трудных обстоятельствах, характеры людей — они в дни испытаний проявляются сами собой.

Слабые души льнули одна к другой, делясь страхами, и находили утешение у служителей разных религий, своих невольных и добровольных благодетелей.

Человек не камень. Дружились и сильные, чтобы поддержать себя суждением о том, что стоит выше мелочей жизни одного человека.

В обширной келье Бхарави, одного из старейших сочленов буддийской общины, беседовали четверо.

— Так было, так будет. Пока человек живет, он надеется,— говорил русобородый мужчина.— Надежда — прекраснейшее свойство души. Без надежды кто же отправится из дома, кто начнет дело, даже самое малое? У нас есть женское имя — Надежда. Бывает, обращаясь к князю,

у нас говорят «надежда-князь». Не льстят этим, нет, но обязывают.

В пещерной келье было сухо. Сверху, из отверстия, пробитого в каменной плите — естественной крыше, падало достаточно света. Снаружи продух был искусно защищен от песка, и днем здесь не нуждались в лампах.

Русобородый, именем Андрей, возвращался из Поднебесной на Русь. О Руси знали как о сильной западной державе между Итилем — Волгой и родственными русским по крови чехами и поляками. На севере Русь выходила к холодным морям, на юге — к Евксинскому Понту, иначе Русскому морю.

Андрей побывал в Поднебесной для продажи мехов, надо думать, большой ценности, и возвращался с малым весом дорогих товаров да с двумя спутниками, тоже подданными русского князя, но по виду нерусского племени. Так знали со слов Андрея и большим не интересовались.

Равви Исаак, ученый еврей из древней Александрии, ныне арабского владения, ехал в Поднебесную. Он заставлял Андрея рассказывать о сунах, с терпением сильного человека мирясь с неизбежными повторениями.

— Все разоренное суны восстановят по-прежнему,— говорил Андрей.— Они въедливы, упрямо-настойчивы, цепки. В труде себя не щадят, неприхотливы.

— Драгоценные свойства, драгоценные. Заслуживают всяческого поощрения,— заметил равви Исаак.

— У сунов я жил недолго,— продолжал Андрей.— Едва год. Речи их чуть подучился. Грамота у них трудна неимоверно. Даже со своим человеком нужно много соли съесть... Однако ж смотрел, видел. Вот, к примеру, как в Нанкинге сун начинает пробиваться в купцы. В поиске счастья пришел издалека, продав в родном месте все, что имел. Зажав малую толику денег, он пробирается в город. Питается подаянием, нет милостыни — ест траву, пробавляется бог весть чем, суны способны есть все. И то сказать, жить у них дорого, с нашей Русью невозможно и сравнить. В Нанкинге пришелец, ночуя под небом, перебивается любой работой, согласен на все, лишь бы как пропитаться. Таких, как он, там много. На самую трудную работу за безделицу заработка согласны сразу и десять, и сто человек, а хозяину нужен один. Пришлый голодает зло, но своих денег не тронет. Они для него — надежда. Так перебивается, пока не узнает города, пока не поймет, с чего начинать. Вот решился. У него лавочка-конура с товаром. Он в ней спит, скорчившись ужом. На рассвете открывает торгов-

лю. Сидит голодный, пока не подсчитает, что есть барыш. Тогда купит лепешку, с которыми в рядах ходит такой же, как он. Если не заморит себя, если не пропадет от мора либо какой болезни, то через сколько-то лет начнет богатеть. Тут зальется жиром, станет важным и давит других, как его давили, без пощады. Ибо сам через все прошел, пусть другой терпит.

— Сильные люди, очень сильные,— сказал равви Исаак.

— Сильные,— согласился Андрей,— однако телом слабы и в работе берут терпением, выносливостью. Ремесленники у них хороши. Ткут дивные ткани, кожу выделывают, любую вещь украсят. Режут на камне, на кости, на меди так мелко, что едва видно глазом. Лак наносят слой за слоем с перерывами по многу дней, по два года проходит, пока не кончат. Землю любят, землепашец, не стыдясь, все нечистое несет в поле — без удобрения земля не родит, ибо покоя ей не дают,— и поля смердят, как нужное место. Земледелец работает цепко, не щадя себя. Видел, как на поле из реки носят воду. С двумя ведрами лезут на кручу. Тропинка пробита ногами. Трудно лезть и пустому. Сун же норовит капли не расплескать. Спрашиваю, почему не устроите поудобнее? Говорят — так и деды воду таскали. У них считается: чем древнее обычай, тем лучше. Я поклонился великому труду. Про себя же подумал: хоть бы дорожку-то прорыли. Нельзя... Труд они чтут. Сунский цесарь — Сын Неба каждый год сам с великой церемонией проводит деревянным древним плугом в поле борозду.

— Это очень доброе дело! — воскликнул равви Исаак.— От труда все богатство.

— Кто ж того не знает,— подтвердил Андрей.— Но почет, я думаю, оказывают больше для вида. У сунов закон — почитать начальников, как дети родителей. Но терпят они от начальников столько, сколько другой не вынесет. Начальников у них бесчисленно много. Налогами их обирают, как курицу щиплют. Нигде подобного не увидишь, ни у арабов, ни у греков, ни у булгар. О Руси не говорю, ибо непристойно хвалиться. Нет, у сунов жизнь тяжкая. Ты, равви, правильно заметил, что они сильные. А случись мор — мрут, как осенние мухи. Да и простой болезни сун легко поддается, сгорает, будто лучина. Стариков у них я редко видел. Жестокости много. Сунов запугивают пытками, мучительными казнями. Почему?

— По закону Моисея тоже полагаются мучительные

казни для устрашения злых и возмездия,— заметил равви Исаак.

Со всем пылом молодости русский посол, некогда ездивший в Данию за Гитой, невестой Мономаха, возразил бы Исааку: «В обычаях Руси, в законах Русской Правды нету пыток и казней!»

Усердие пуще разума... Во всех странах люди развлекаются рассказами путешественников. Для развлечения арабы в ученых книгах мешают быль с небылицей, суны, инды тешатся невероятным. Где-то оно существует, чудесное! Однако ж самые странные на вид звери, встречавшиеся Андрею на длинных его путях, своей бессловесностью и повадками выдавали свою общность со всеми зверями. Как не сказать — удивительны различия между народами в цвете кожи, в речи, в одежде, в обычае, даже в пище! Но все одинаково хвалятся своим и все равно недоверчивы к словам иноземцев. В чужой земле ты посол своей земли, по тебе будут судить о твоих. И Андрей ответил Исааку:

— Были великие учителя. Не было великих учеников.

Равви Исаак встрепенулся: русский будто бы намекнул, что нынешние иудеи не так уж верны закону? Не напомнить ли ему о христианах, вовсе неверных Христу?.. Но Бхарави с тибетцем, оценив ответ по достоинству, согласно кивнули Андрею. Остерегшись свести беседу о большом к спору о малом, Исаак смолчал. Андрей продолжил:

— Скажу тебе, и сам ты скоро убедишься: сунам устрашение не в страх и мучительство от властей не в науку. Шайки разбойничают на дорогах, нападают даже на селенья, такими же пытками вымучивают у жителей их достояние. Грабят, убивают и в больших городах. А воры, сговорившись между собой, собирают с честных людей собственные налоги-поборы. В Нанкинге я платил ворам через хозяина, у которого жил. «Иначе,— говорит,— у тебя могут унести все имущество, а мне плохо будет и от воров, и от начальника, которому ты пожалуешься на покражу». И, будучи в Су-Чжоу, я платил ворам, пока ждал каравана. Слышал я, будто бы воры начальникам дают от себя, чтобы те воров не ловили...

Равви Исаак вздохнул. Лихоимство власть имущих клеймило и страны у берегов Средиземного моря. Ему ли не знать! Его народ был вынужден откупаться и умел покупать чужих начальников. Хорошо было бы услышать о местах, где подобного нет.

— Много дурного, много зла,— сказал третий собеседник, немолодой тибетец в желтой одежде, с темным ли-

цом.— Простите меня, дорожные братья, за повторение давно вам известного. Но что еще скажешь! Все борются со злом злом же, и от этого зло не слабеет. Не откажусь от возмездия, говорит обиженный. И, воздавая, превосходит ту меру своего страдания, за которое мстит. И замыкает круг. Однако же мир очень стар...

Да, мир стар,— продолжал тибетец.— Ты, человек из далекой Руси, сочувствуя сунам, говорил о дурном управлении. Жадные правители готовят ложе из острых ножей если не себе, то своему роду. Суны будто бы смирны. Будто бы. Позволь, я расскажу тебе о страшных делах. Сообщение об ошибках чужих правителей есть один из лучших подарков, которые может сделать своим правителям вернувшийся из дальней дороги. Слушай же! Восемь или девять поколений тому назад товары прибрежных провинций Поднебесной плыли морем кругом Индии к персам, к арабам, а от них в земли дальнего Запада. Многие купцы-иноземцы осели в приморском Ган-Чжоу, откуда распространились до столицы Поднебесной. Они скупали товары и увозили их на своих кораблях. В Ган-Чжоу они построили себе внутренние городки, и жили арабы с арабами, иудеи с иудеями, христиане с христианами. Купец, ты знаешь, наживается перепродажей сработанного другим и хочет купить подешевле. Я не осуждаю, но говорю: трудно соблюсти меру, лучше не искушаться...

— Мы молимся, чтобы не впасть в искушение,— сказал Андрей.

— Я уважаю твои молитвы,— ответил тибетец,— но слушай дальше. Суны самолюбивы, их глаза оскорблялись самоуверенностью иноземцев: то, что прощают или терпят от своих, втройне ненавистно в чужих. Ни сунским купцам, ни сунским ремесленникам не нравился жир торговых выгод, которым наливались иноземцы. И вот, на горе, пришли годы правления Сына Неба И Цзуна. Этот недостойный, мечтая совершить нечто великое, неизвестно какое и непонятно зачем, бесконечно нуждался в деньгах для бессмысленной роскоши. Окруженный льстецами и дурными сановниками, он уподобился безумному, который, приказывая лить воду в сосуд без дна, не видел, что вода уходит и окрýга превращается в болото. И Цзун за деньги отдавал сбор налогов иноземцам. Иноземцы выдумывали новые налоги с пользой для себя и Сына Неба. Нашептывая не Сыну, но воистину Пасынку Неба и прельщая золотом, они установили цены на шелковые ткани, на нить, на коконы. Такие цены, что производящие не имели чем

прокормиться. Но уйти не могли. По законам И Цзуна беглых ловили, наказывали увечьем или лишением жизни. Произошло восстание. Вождем был некий Гуан Чжао. Одни преувеличивают его значение, другие преуменьшают. Думаю, искра на крыше одного дома после долгой засухи сжигает весь город. Так и Гуан Чжао. В бедствиях восстаний уничтожается многое, создается же мало: такова неизбежность, когда правящие не исполняют обязанностей. Тогда, во время лет восстания, восемь или девять поколений тому назад, в Поднебесной повсюду избивали иноземных купцов — иудеев, арабов, христиан. В Ган-Чжоу таких убили почти двести тысяч, другие упоминают о пятидесяти тысячах. Не счет имеет значение, но то, что озлобленные долгим угнетением суны истребили всех иноземцев, всех до одного, и никто не получил пощады. Городки иноземцев были сожжены, имущество разграблено, хотя народы не богатеют грабежом... Среди убитых было очень много ни в чем не повинных. Они ответили за корыстность своих близких и за бесчеловечную жадность И Цзуна. Таков Закон, и я склоняюсь перед Законом, не понимая. Я только человек. Потом корабли иноземцев, осмелившихся приплывать, сжигались, а людей убивали. Неповинный шелк стал ненавистен жителям Поднебесной. В прибрежных провинциях люди повсюду вырубили тутовые деревья, и шелковые черви пропали от голода. С той поры в Поднебесной еще более невзлюбили иноземцев. Итак, мир очень стар. И люди мстят за боль болью...

— Мы знаем,— начал Бхарави, продолжая мысль тибетца,— что воздержавшийся от возмездия награжден более, чем если бы дал себе волю. Так говорил и учитель христиан.— Бхарави кивнул Андрею.— Ничто не исчезает. Преступник получает возмездие от Кармы, равновесие восстановлено. Несчастный Тенгиз, быть может, уже очнулся в теле паука или скорпиона. Загубленные им, быть может, вознаграждены перевоплощением в новорожденных детях, чья жизнь даст им возможность заслуги.

— Говорят, здешний правитель Хао Цзай был справедлив? — спросил Андрей.

Бхавари кивнул, подтверждая.

— А правитель Су-Чжоу Чан Фзй был высокомерным, жестоким и хищно стяжательствовал, не так ли?

Бхавари опять согласился. Андрей продолжал:

— Однако же оба они не сумели оборонить доверенные им города. Не знаю, как Чан Фзй погубил Су-Чжоу. Здесь же все случилось перед нашими глазами. Справед-

ливый Хао Цзай не заботился о городских стенах, не дал жителям оружия, не выслал дальних дозоров. Суны презирают всех, кто не сун. Для них иноземец — нелюдь, монгол — червь. Степь краем подходит и к Руси. Кочевники — люди, они храбры. Я говорю о них не как зритель, а как воин и без злобы. Здешние степняки свирепее наших соседей.

— Андрей прав,— сказал равви Исаак,— и я нахожу, что правитель, потерявший город, потерял добродетель.

Бхарави поднял руку, как бы останавливая полет слов:

— Не спешите осуждать! Ты, Андрей, не так много жил в Поднебесной, чтобы понять, что суны могут и что им недоступно. Ты, равви, еще не был у сунов. Не уподобляйся человеку, пожелавшему узнать тяжесть горы песка взвешиванием щепотки за щепоткой на весах торговца золотом. После свершения события один, другой, третий легко указывают: надо было сделать то либо другое... Мало кто замечает, что текущий день непонятен, что рассуждение о прошлом не изменяет прошлого, а будущее остается неизвестным.

— Мы не оскорбляем ничьей веры и не стараемся обращать в свою,— сказал тибетец.— Мы уважаем тебя, Андрей, и учение Христа. И тебя, равви, и закон Моисея. Мы, немощные и сами слепые, из любви ко всему живому предостерегаем вас: не отстраняйте бога — он один под всеми именами — от участия во всех больших и малых делах. Не вставайте на этот путь, в конце его вы найдете отрицание Неба. Отвергнув Небо, люди потребуют от самих себя всезнания и всемогущества. Будут наказывать себя за незнание и немощность. Они озлобятся и сломаются под непосильной тяжестью. Монголы терпимы к чужой вере, ибо они чтут Великое Небо.

— Мой друг только напоминает, только напоминает,— мягко продолжал Бхарави.— Он напоминает о милости. Иначе люди будут требовать предвидения и наказывать за неумение предвидеть. Будут казнить за неурожай, хотя земледелец вовремя положил зерно в землю, но не случилось дождя. Будут награждать нерадивых, чьи поля обогатились самосевом с прошлой жатвы и орошены тучами, принесенными будто бы праздным ветром.

— Израиль не отступался от бога! — с силой сказал равви Исаак.— Если по воле бога родятся отрицающие его, не грудь Израиля вскормит их. Скоро исполнится десять веков от разрушения храма, от изгнания. Римляне-гонители создавали богов по своему образу и подобию. Где

римляне? А Израиль живет! Греки гнали нас — бог лишил их счастья. Израиль будет жить, из плоти Израиля явится мессия. Через мессию Израиль овладеет вселенной, и тогда завершится путь всего сотворенного богом. Прекратится течение времени, и мертвые восстанут из гробов, и на Страшном Суде каждому воздастся должное. Для дел веры нужен разум, а не милость. Поэтому у нас один бог и один закон, и бог никогда не изменит закона. Ты, Андрей, справедливо говорил о надежде. Но надежда вселенной — это Мессия!

Бхарави и его тибетский гость кивали головами. Да, да, они понимали равви. Они слыхали и об Израиле. И суны — приверженцы разума, а не милости, и Надежда Мира согласна называться по-разному.

— Что у нас есть, чем владеет Израиль? — спрашивал равви Исаак.— У нас нет земли, десять столетий мы скитаемся у чужих очагов. Мы не носим с собой бренных изображений бога — он вездесущ. Наш бог и наш закон — таково наше наследство, наша земля, наш очаг. И вот — народы появляются, исчезают, мы же, все потеряв, все сохранили.

Равви Исаак начал гордо, а закончил, вопреки содержанию, угасая. Свесив голову в черной шапочке, с длинными прядями волос на висках, равви Исаак спрятал в ладонях сухое, жесткое лицо. Андрей дружески коснулся плеча равви. Сильному человеку неприятно сочувствие в грусти даже от родных: в такие минуты ласка для него горше обиды. Но, понимая движение души Андрея, равви заставил себя не отстраниться.

Он молился о жене и детях, оставленных на волю иудейской общины. Его избрали, как знатока закона и языков, для далекого путешествия. Конечной целью был Нанкинг, где иудейская община будто бы нарушала правоверие. Были дела и в других общинах, по пути. Не спеша, уже два года равви Исаак пробирался из Александрии Нильской «дорогой шелка». Он гостил во многих общинах единоверцев-единоплеменников. О нем заботились, его передавали из рук в руки, он нес вести, поучая и учась сам. Он встречал добрых и злых, видел богатство одних общин, слабость и бедность других. Он не напрасно взывал к богатым иудеям, указывая им на обделенных. Сила в единении, иудей обязан помочь иудею. Но везде, везде Израиль живет в унижении. Везде Израиль вынуждается хитрить, обманывать, угождать, покупать, дарить, давать — чтобы чужие терпели его. Ибо везде Израиль живет на чужой

земле, и над ним шумят чужие знамена, и нет средь чужих прямого пути, а кто не гнется, тот будет сломан.

Равви Исаак молился, поминая общину в Су-Чжоу. Их было немного, они погибли в чужой распре, между чужими знаменами, затоптанные, как слабый источник под копытами взбесившегося стада...

Исаак вез денежное письмо для су-чжоуских единоверцев: деньги опасно возить. Теперь же ему не хватило бы на путь до Нанкинга. Русский выручил, сам предложив та-эли. Взамен Исаак дал письмо на кашгарскую общину, но русский не согласился получить заемный рост. Он благороден — Исаак судил не по услуге, так же как судил Бхарави и тибетца. Подобных Исаак встречал в пути не однажды. Встречи с ними утоляют голод души, с такими искренность не опасна.

Сегодня, чтобы укрепить себя, Исаак мог говорить о тайне Израиля. В книгах, священных и для христиан, открыто сказано об избранном народе и о Мессии. И все же это тайна.

Молясь, равви Исаак еще и еще напоминал богу: «Твой народ в муках несет плоть обещанного тобою Мессии. Наставь же Израиль, как ему готовиться к пришествию Мессии!» Есть путь золота, путь власти через богатство, так как золото побеждает в битвах, золото выигрывает войны, золото правит народами, лишь слепой отрицает власть золота. Многие иудеи считают этот путь предуказанным. Таким заблуждающимся равви напоминал о золотом тельце, проклятом богом. Путь золота есть путь крови, это не путь Израиля.

Нет, не путь, нет! Не однажды за столетия скитаний случалось, что иные иудеи, соблазненные выгодой, своим живым умом способствовали какому-либо чужому правителю набивать казну золотом, проклятым богом Израиля. В Александрии Исаак слышал о нескольких иудеях, которые из корысти служат киевскому князю Святополку. Подобное плохо кончалось в других государствах. Так случилось и в Поднебесной при И Цзуне. Вместе со стяжателями и больше стяжателей страдали честные иудеи...

«Боже,— молился равви Исаак,— да не истощится в твоем народе маккавейская кровь. Но да не превратятся пальцы, державшие рукоять меча, в когти жадного торгаша. Пусть рука иудея будет рукой врачевателя, рукой ученого, которому ты разрешаешь исследовать полезные тайны небосвода, глубин земли, морей, горных вершин, тайны наследства Адама. Отврати разум иудея от золота,

направь его разум в науки, дабы на этом сильном пути Израиль подготовился к пришествию Мессии сам и подготовил другие народы. Тебе я служу, сохрани семя мое в детях моих, чтоб я мог, вернувшись, увидеть их возросшими и умереть, благословляя твое имя. Боже, ты обещал Израилю! Исполни и большое и малое! Ты исполнишь, ты сам сказал нам: ничто не может ограничить того, кто все содержит...»

Честь гостя — в руках хозяина, и чрезмерность внимания к гостю близка к унижению его.

Будто не замечая скорби равви Исаака, Бхарави и тибетец беседовали с Андреем.

— Скажи, как люди твоей земли общаются с Небом?

— Ответ на такое превосходит мои силы,— начал Андрей.— Я попытаюсь, но не будьте строги ко мне.— Он продолжал медленно, как посол, который излагает главное:— При прадедах русские князья приняли христианскую веру, и наши люди крестились толпами. В моем детстве священник научил меня верить в чудо озарения истиной, которая свыше пролилась на Русь...

— И это благо,— отозвался Бхарави,— вера в высшее возвышает меня, и души людей ищут чуда.

Соглашаясь, Андрей наклонил голову. Подумав, он продолжил:

— Мужая, я понял — к тем дням обветшала прежняя русская вера. Такое же было у римлян, у греков. И у них христианство заменило их прежнюю одряхлевшую веру. А к памятному для нас году крещения Руси многие русские уже были христианами. Да, деревья и злаки, где ни растут, все одинаково питаются водой из небесных туч. Этим примером я хочу вам сказать, что моя земля и до своего озаренья учением Христа не была темным, диким местом. Крестившись, мы сохранили былые законы и обычаи. В речи нашей, не кривя душой, мы поминаем имена старых богов, ибо мы не стыдимся прошлого. И у нас не преследуют тех, кто еще держится старой веры. У нас нет гонений на инаковерующих людей других народов, тогда как греки, латиняне, арабы жестоки к иноверным.

— Проповедующий насилием — враг самому себе,— заметил Бхарави,— такой губит свое учение.

— И я осуждаю таких,— сказал Андрей.— Но что еще мне сказать? Судить о сущности высшего я не могу. Бога я чту в чести, в любви, надежде, милосердии, разуме...

— Да, это его имена,— сказал тибетец.— Их много.

Мудрец твоей веры, не помню его трудное имя, назвал бога Владыкой Тишины. Вспомним еще одно имя Неба — Покой — Мир Души. Покой есть движение, в нем Душа, оплодотворяясь Любовью, разрывает Круг вещей. Безмерно усилие бабочки, сотворяющей себя из личинки. Безмерно усилие личинки, сотворяющей из себя бабочку. Разум соблазняет человека непокоем, и человек бежит и бежит, но внутри Круга,— и он неподвижен.

Андрей взглянул на тибетца, отвел глаза, но темно-коричневое лицо будто осталось перед ним, цвета старого луба, в странных твердых морщинах. Без возраста, каменно-спокойное и такое грубо-чужое, что не назовешь и уродливым. А под ним — те же заботы, те же тревоги обо всем, обо всех. Живая душа, свой! Такие встречи на крутой лестнице дней — это пир, это высшая роскошь. Андрею захотелось встать, крикнуть: о вы, братья мои! И вдруг его потянуло на Русь, домой, так потянуло, как, может быть, никогда еще за долгие годы странствий.

Мгновение остановилось, щедро помедлив. Потом время вновь двинулось в будущее.

— Есть еще знание и незнание,— сказал Андрей.— Знай сильные духом, как редка их сила, они были бы куда храбрее. И умные тоже. Ведь редкость и ум. Стало быть, сомнение в себе тоже от бога?

— Это сказано справедливо,— одобрил Бхарави, а тибетец улыбался. Радуясь удачно выраженной мысли, он сказал:

— Незнание нужно, как и сомнение. Они могут оградить человека от искушения насилия, как перила моста ограждают от падения тех, кто боится высоты.

— Есть и третье — хитрость,— продолжал Андрей.— Она не стеснена. Она способна нагло попирать и силу, и ум. Несправедливо это как будто. У нас говорят: «Бог знает...» Много нужно работы, чтобы построить дом, который один человек развалит за утро. Хитрость... Горькое презренье сильных и умных — мед перед ядом презренья хитреца.

— Это тоже правда,— согласился Бхарави.

— А ты знаешь, о каком яде я думаю сейчас? — спросил Андрей.

Трое невольно потянулись друг к другу, и Бхарави ответил за себя и за тибетского гостя:

— Знаем!

— О яде, который убил?

— Да, да,— подтвердил Бхарави и, читая мысли рус-

ского, продолжал: — Может быть, когда-либо откроется, кто остановил Тенгиза, сына Гутлука, соком грибов или чем-то еще. Но думаю, не откроется. К чему? Совершившееся — совершилось.

— Мы — точно братья,— сказал Андрей.— Ничто не изменится, если имя убийцы — Случай, Судьба, Небрежность... Таких слов много, и мы, не соглашаясь со злой волей, возлагаем надежду на божий суд. Так ли, иначе ли, но суны имеют в монголах опасных соседей. Что будет?

— Сейчас — ничего. Даже война нуждается в отдыхе. Скоро пойдут караваны. Ты без помехи уйдешь на запад, он,— Бхарави кивнул на Исаака, погруженного в молитву,— на восток. Пока — будет мир. Суны — множество, но им хватает пределов Великой Стены.

— А потом? — спрашивал Андрей.— Чего ждать потом?

Потом... Суны и сильны, и слабы. Верховная власть развращена. Монголы ленивы, жестоки, как дети, любят оружие и развлекаются войной. Может быть, найдется кто-то среди них же, только среди них, кто научит их находить счастье в мире. Но, не умея трудиться, они скучают, скучают... Им снятся походы.

Наверху смеркалось. Из продуха в каменной плите-крыше падал тусклый, слабый свет, и пещера-келья казалась погруженной в туман. За дверью был слышен шорох многих ног, издали, из храма Будды, доносился глухой звук меди.

— Не знаю, не знаю,— повторял Бхарави.— Ты заставил меня гадать о будущем. Это не нужно, не нужно... Время то стремится, то замедляется. Не знаю. Может быть, Брама спит и грезит, а мы, вселенная, все, что движется и что неподвижно,— только сны Брамы. Что я знаю? Может быть, есть нечто совсем иное, совсем. Нечто непостижимое для нас и находящееся вовне. Что могу я сказать? Я — тень. Я только сон...

На тропе восток — запад — восток встречались и расходились караваны. Один — на восход солнца, другой — на его закат. Самый умный следопыт не мог бы сказать, куда же ведет тропа, так как число встречных следов было одинаково.

Синие монголы развлекались бездельем, оружием, конской скачкой и рассказами об удалых делах войны. В сумерках пряный дым кизяка поднимался сереньким столби-

ком в холодеющем воздухе. Кто-то поминал Тенгиза. Того, кто стал великим ханом и кем-то был побежден на пиру после взятия сунского города Су-Чжоу.

Кто-нибудь из очевидцев в который-то раз повторял, по-детски дивясь виденному:

— И мы пришли. И он был уже без дыханья. И на нем лежала мертвая женщина. И тогда мы поняли — мы думали, что он хан, а он был человек. Как я, как ты...

Коль так, то чему удивлялся рассказчик? Что за беспокойство ему хотелось будить в себе и в других? И почему он нуждался в подтверждении смертности даже тех ханов, которые могли сделаться великими и не сделались ими по милости или из зависти Смерти?

Вместе с Тенгизом умерли другие сыновья Гутлука. В семье остался единственный мужчина, сын Тенгиза, мальчик Есугей. Дети не годятся в ханы синих монголов. Гутлук, забытый ради Тенгиза, схватил падающую власть стареющей цепкой рукой. Кто-то хотел возразить. Гутлук избежал большой крови, пролив малую с усмирившей всех стремительной жестокостью.

Так Тенгиз после смерти выиграл еще одно сражение и после зла, принесенного многим десяткам тысяч людей, убил отцовский покой.

Гутлук не учил монголов миру, воздержанию от насилия и гнева. Видения мира ушли из его души. Учить труду он не мог, так как сам не знал труда.

Заранее хан Гутлук выбрал девочку Аслун невестой для внука. Ожидая, пока детям не исполнится шестнадцать, он наставлял их, готовя к большому.

Не замечая, отец Тенгиза повторял мысли сына, дополнял, исправлял. Он создавал наставление — ясу, как хану взять власть и как удержать, одевая железом монгольские сны.

Так, отвергнув покой, хан Гутлук утверждал осужденное им самим. Так как суны убили Тенгиза. Так как месть чутко дремлет в монгольской душе, просыпаясь по первому зову. И потому, что любовь — самое слабое место сердец сильных людей всех племен.

Дальновидно или недальновидно, но Поднебесная быстро простила кочевников. Соблюдая честь — все мы нуждаемся хотя бы в призраке чести,— ученые сановники скрыли от самих себя причину великодушия государства. Кочевники висели над тропой восток — запад — восток, а у Поднебесной не было войск, способных пойти в степи облавой, чтобы уничтожить опасных соседей. Живут се-

годня, о завтрашнем дне заботятся завтра. Другие поступали так же и не имея утешения в цзырах.

По принятому ранее ритуалу возобновились церемонии подношения дани Сыну Неба. Монгольская «дань» обменивалась на «подарки» в Туен-Хуанге. Новый правитель многострадального города, как и его предшественник, понимал, что грандиозные картины внутренней Поднебесной полезны для воображения «степных червей». Гутлук опять отказался. Грубая маска лица хана со шрамами от какой-то болезни устрашала каменной решимостью. Правитель отступился.

Как и раньше, посещая Туен-Хуанг, Гутлук созерцал спящего Будду в храме Тысячи Пещер. Для глаз Бхарави не было грубых лиц. Гутлук изменился, изменился... Бхарави убеждался в непостижимости Кармы: вот человек, твердо вставший на путь Заслуги и бесцельно ушедший с пути. Размышляя о свободе воли, необходимости, праве выбора, предопределении, Бхарави не искал ответа.

Монголы говорили:

— Узнав о смерти сыновей, он прянул, как снежный барс из берлоги. Мы думали, он святой, а он оказался нашим ханом.

Взрослея, Аслун стала не слабее телом, чем Есугей, и опережала его быстротой мысли. Гутлук сделал хороший выбор: будет умная жена для совета, выносливый спутник в переходах — лучшей женщины не надо монголу.

Совершился брак Есугея. Первый сын Есугея умер вскоре после рождения. Старость спешит, но Гутлук умел ждать. И когда в юрте закричал на диво крепкий младенец, прадед приказал Аслун и Есугею:

— Этого вы сохраните. Его имя будет Темучин.

Вскоре Гутлук ушел искать в других местах покоя, которого он лишил себя на земле. Он отправился в длинный путь, закрыв землей лицо, на котором годы, ветры, морозы и само солнце не могли скрыть белые шрамы — вечную память монгола о подземной сунской тюрьме.

Говорят, что Сила и Насилие родились близнецами. И лишь в поздней зрелости их проявилось единственное между ними различие — бесплодие Насилия.

Но кто скажет, чем закончится Завтрашний День, когда он еще не родился?

Никто.

Оглавление

Валентин Дмитриевич Иванов

Русь Великая

Роман-хроника

Зав. редакцией Н. П. Утехин
Редактор М. Е. Устинов
Художник Д. М. Плаксин
Художественный редактор В. А. Баканов
Технические редакторы А. И. Сергеева, Г. В. Преснова
Корректор Н. Б. Абалакова

Сдано в набор 10.05.83. Подписано к печати 07.03.84. Формат $84 \times 108^1/_{32}$. Бумага газетная. Гарнитура обыкновенная новая. Офсетная печать. Усл.-печ. л. 30,24. Усл. кр.-отт. 30,56. Уч.-изд. л. 34,01. Тираж 700 000 экз. Зак. 268. Цена 2 р. 30 к.

Ордена Трудового Красного Знамени Лениздат, 191023, Ленинград, Фонтанка, 59.

Ордена Трудового Красного Знамени типография издательства ЦК КП Белоруссии. 220041, Минск, Ленинский проспект, 79.

2 р. 30 к.